

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ





ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✻

ТОМ ШЕСТОЙ

ДОРОГА НА ОКЕАН

Роман



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р 2
Л 47

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Леонов Л. М.

Л 47 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 6. Дорога на Океан: Роман /Примеч. О. Михайлова. — М.: Худож. лит., 1983. — 528 с., ил.

Роман Л. Леонова «Дорога на Океан» — одно из лучших произведений советской литературы 30-х годов. Повествование книги движется в двух временных измерениях. С одной стороны — это рассказ о жизни и смерти коммуниста Курилова, начальника политотдела на одной из железных дорог, с другой — устремленность в Завтра — мечтания о коммунистическом будущем человечества. Философский образ Океана воплощает в себе и дорогу в Будущее, в воображаемую страну, и всечеловеческое добро и справедливость, и символ и смысл жизни.

Л $\frac{4702010200-234}{028(01)-83}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ДОРОГА НА ОКЕАН

Роман

КУРИЛОВ РАЗГОВАРИВАЕТ

Беседа с другом не возвращает молодости. Неверный жар воспоминанья согреет ненадолго, взволнует, выпрямит и утомит. Разговора по душам не выходило. Друг рассказывал то, что помнил сам Курилов. Он и не умел больше; это был старый, бывалый вагон, но дизеля и моторы вставили в него, пол покрылся мягкой травкой хорошего ковра, а кресла и шторки на окнах придали ему непривычное благообразие. В купе, где почти вчера смердели жаркие овчины политработников, сверкало сложенное конвертами прохладное белье... Поколение старело, и вещи торопились изменяться, чтобы не повторять участи людей. Как ни искал Курилов, не осталось и рубца на стене, разорванной снарядом. В этой четырехосной коробке мой герой когда-то мотался по всему юго-востоку, цепляясь в хвосты ленивых тифозных поездов. Но член армейского реввоенсовета назывался теперь начальником политотдела дороги. Судьба опять одела его в кожаное пальто и тесные командирские сапоги. Кольцо замыкалось.

Он достал трубку и пошарил спички. Коробка была пуста. Последнюю сжег диспетчер соседней станции, которого он разносил на предыдущей остановке. С минуту Курилов глядел на свои большие, в жилах, руки. Вдруг он покричал наугад, чтобы дали спички. Секретарь доложил кстати, что дорожные руководители собрались у вагона, Курилов приказал начинать совещание. Семеро вошли, толкаясь в узком проходе. У первого нашлось смелости рапортовать о благополучии Черемшанского района, и Курилов усмехнулся детской легкости, с какою тот соврал. Не отрываясь от бумаг, он махнул рукой. Они сели. Смеркалось, но все успели разглядеть нового начальника. Он

был громадный и невеселый; лишь изредка улыбка шевелила седоватые, такие водопадные усы. Он поднял голову, и все увидели, что не лишены приветливости начальниковы глаза. Догадывались, что он приехал шерстить нерадивых, и всем одинаково любопытно стало, с чего он начнет. За месяц пребывания в должности он не мог, конечно, постигнуть сложной путейской грамоты.

Страхи оказывались напрасными. Дело началось с урока политграмоты. Начальник меланхолически спросил о роли коммунистов на любом советском предприятии. Ему хором ответили соответствующий параграф устава. Курилов поинтересовался, хорошо ли задерживать выдачу пайков рабочим, и опять вопрос понравился всем своею исключительною простотой. Алексей Никитич осведомился также, есть ли бог. Парторг пушечным голосом объяснил, что бог не существует уже шестнадцать лет: таков был возраст революции. Курилов сдержанно выразил недоумение, каким образом пьяный машинист, на ходу поезда выпавший из будки, остался невредимым. Кто-то засмеялся; случай действительно обращал на себя внимание... Он оказывался совсем милым человеком, этот Курилов; такого удобнее было называть попросту Алешей. Вдруг начальник попросил директора паровозоремонтного завода снять калоши: с них текло. С алеющими ушами тот отправился за дверь, в коридорчик.

Курилов заново набил трубку. Синий дымок путался в его усах и расходился во все углы салона. Вопросы стали выскакивать из начальника, как из обоймы. Совещание превратилось в беглый перекрестный допрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех своих страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его — от бешенства. Значит, начальник не зря высидел двое суток на станции, не принимая никого. Сразу припомнилось, что в Ревизани этот человек с плечами грузчика и лбом Сократа одного отдал под суд, а троих собственной властью посадил на разные сроки; что в прошлом он — серый армейский солдат, которого эпоха научила быть беспощадным; что сестре его, почти легендарной Клавдии Куриловой, поручена чистка их дороги. Повестка дня неожиданно разрасталась.

— Начальник депо среди вас? — брюзгливо спросил Курилов.

— Никак нет. Он уехал в Путьму по вопросам снабжения.
— Он знал, что я здесь?
— По линии было известно о вашем прибытии.
— Беспартийный?
— Нет, он член партии.
Курилов взялся за карандаш, приготовившись записать:
— Его фамилия?
— Протоклитов.

Заметно удивленный, Курилов раздумчиво вертел карандаш. Должно быть, он понадеялся на память, раз не записал фамилии смельчака. Ждали неожиданной разгадки, но здесь задребезжал звонок. Секретарь Фешкин схватил трубку. Он долго мычал какие-то вопросительные междометия, всунув голову между кабинкой управления и старомодным ящиком аппарата. Стало очень тихо. Трубка начальника гасла; что-то всхлипывало в ней. Фешкин попросил разрешения доложить, но все уже поняли сущность дела. Происшествие случилось на двести первом километре, у разъезда Сакониха. Шестьдесят шесть вагонов было разбито, из них восемнадцать ушло под откос. Причины крушения, наименование груза и количество жертв остались неизвестны. Вспомогательный поезд вышел из Улган-Урмана час назад... Курилов пошел к окну. Оно запотело: семеро надышали. Он протер стекло взмахом рукава. Лицо его было усталое и хмурое.

Шли ранние осенние сумерки. Мелкий, почти туман, сеялся дождик на путях. Между вагонов бродили тучные куры, подбирая осыпавшееся зерно. Два чумазых, тепло одетых мальчугана, дети депо, играли возле вагонной буксы. Старший объяснял младшему, как надо насыпать туда песок; в ребенке угадывались незаурядные педагогические способности. Детскими совочками они набирали материал из-под ног и стряхивали в смазочную коробку. Вагон был товарный, с чужой дороги и направлялся в ремонт.

— Фешкин, сколько до Саконихи? — спросил Курилов, и на этот раз детишки показались ему чертями.

Начальнику ответило хором несколько голосов. Туда было час с четвертью, если не задержат в Басманове. С этого узла открывалось большое встречное движение. Кроме того, шел хлеб нового урожая. Курилов повторил вслух это могущественное слово.

— Включиться в график... едем! — И посмотрел себе под рукав; было ровно девятнадцать.

И опять, щуря кубанские свои, со смородинкой, глаза, Фешкин испросил позволенья доложить. Голос его звучал надтреснуто. Автомотриса не могла отправляться немедленно. Несмотря на ряд напоминаний, все еще не доставили соляровое масло с базы. Курилов помолчал.

— Хорошо, я поеду на паровозе. Распорядитесь... — Он повернулся на каблуках и удивился, что эти люди еще здесь. — Ну, все могут уходить. Совещание отменяется. Мысленно обнимаю вас всех. — И резкий жест его пояснил истинный смысл приветствия.

Он надел пальто. Перекликались маневровые. До контрольного поста было шесть минут ходу. Кочегар раздвинул шуровку. Носовой платок в руках механика казался куском пламени. Плиты под ногами зашевелились. Зеленая семафорная звезда одиноко всплыла над головой. Курилов вышел на переднюю площадку паровоза. Машина набирала скорость, поручни больно колотились в ладонях. Здесь он простоял целый час, наблюдая, как в пучках света вихрится, пополам с дохлыми мошками, встречный мрак. Паровоз стал замедлять ход, в октаву ему откликались осенние леса. Курилов спустился вниз и двинулся прямо на задние сигнальные огни вспомогательного поезда. Оттуда в лицо ему повеяло острым холодком беды.

КРУШЕНИЕ

Было холодно, глухо и печально. За теплушками ремонтной бригады попался первый вывороченный рельс. Отсюда поезд шел прямо по балластному слою, дробя шпалы гребенкой колес.

Кто-то бежал навстречу, размахивая фонарем. То и дело посверкивало в мокром лаке калош. Человек панически спросил, не приехал ли начподор. Курилов назвал себя. Они пошли вместе. Человек оказался начальником местной дистанции. Курилов задал неизбежные вопросы. Была надежда, что движение откроют завтра к полудню. Огромный этот срок определял размеры катастрофы. Выяснилось, что произошел отлом головки рельса. Это была старая, запущенная ветка с рельсами образца девятьсот первого года, с подошвой в сто восемь миллиметров. Начальник дистанции образно прибавил, что это не путь, а исторический памятник. Курилов недобро взглянул на него и промолчал... Минуту спустя он спросил, давались ли

предупреждения поездным бригадам. Сбивчивому ответу соответствовала такая же суматошная жестикуляция. Фонарь стал описывать крайне замысловатые фигуры. Оказалось, что требования на рабочую силу и ремонтные материалы выполнялись всегда в урезанных количествах. Но начальник дистанции знал, что в его власти было вовсе закрыть движение, и сбился окончательно. Надо было, однако, заполнить чем-нибудь эту зловещую тишину... Итак, санитарный поезд ушел полчаса назад. Да, раненых было не очень много! (Впрочем, он воспользовался тем, что Курилов не настаивал на точной цифре.) Пассажирских вагонов во всем составе было только четыре; все четыре — облегченного типа, двухосные. Конечно, они вошли друг в дружку, как спичечные коробки.

Курилов сдержанно попросил не размахивать фонарем.

— Вы подшибете меня, гражданин,— сказал он грубовато.

А тот и себя-то еле слышал.

— ...когда мы прибыли сюда, представьте, возле обломков стояла отдельная... вполне отдельная ступня в лапте. Я так удивился, что чуть было не поднял посмотреть. Но самого человека, который к ступне, как ни искали, не нашли...

— Какую вы чепуху плетете!.. — вскользь заметил Курилов.

— Никак нет, товарищ начальник... — Ветер, невидимый ветер, затыкал ему гортань, и вот уже не оставалось сил сопротивляться неминуемому. — Но это означает, что под грудами лома могут еще находиться пассажиры!

Несколько шагов они прошли молча.

— Подходящее место для пассажиров... — тихо сказал начподор. — Вы не особенно нужны мне. Ступайте!

Но тот не отставал. Именно теперь страшно было оставить начальника наедине с его мыслями. Курилов почти не слушал, что болтал его спутник. Скоро они добрались до самого места крушения. Горы путаного железного лома громоздились на насыпи. Мятые вагонные рамы, сплетенные ужасной силой, служили основанием этого варварского алтаря. Еще дымилась жертва. Тушей громадного животного представлялась нефтяная цистерна, вскинутая на самую вершину. Судорожные полосы факельного света трепетали в ее маслянистых боках. Навсегда запоминался тупой обрубок шеи. Орудие убийства было налицо: два кривых рельса уходили в подбрюшье цистерны. Еще капал из раны густой и черный сок. И точно затем, чтоб никто не видел агонии, висела фанерка с запрещением подно-

сить огонь. Курилов подошел ближе. Исщепленная обшивка вагонов щетинилась в нечистом дрожащем сумраке. Все это было скуповато полито ползучим багрецом несчастья.

— Очень хорошо... — прохрипел начподор.

Могучие костры полыхали далеко внизу по сторонам насыпи. Их было много, может быть семь. Пламя достигало верхнего уровня леса. С обугленных ветвей струились тоненькие ленточки дыма, вышитые искрами. Они долго метались и маялись над головой, прежде чем погаснуть. Эти неповоротливые, равнодушные пламена лишь усиливали ощущение гибели и разрушенья. Дальше стало не пройти: опрокинутый вагон перегораживал путь. Курилов спустился вниз под откос. Сапоги глубоко тонули в сугробах сыпучего, непонятного вещества. Это оно придало такую бугристость очертаньям насыпи и теперь с легким шелестом бежало вниз, к огням.

Стараясь не наступать даже на тень Курилова, начальник дистанции преследовал его сзади.

— ...Обстоятельства крушения представляются в следующем виде. Уклон в этом месте достигает шести тысячных, то есть шесть метров падения на километр пути. Двадцатисемиминутный перегон машинист проходил с нагоном времени в восемнадцать минут. Шли с толкачом. Выяснено, что опоздание произошло по причине свеклы. Я хочу сказать,— потухшим голосом поправился он,— бригада задержалась в Басманове для покупки двух корзин свеклы, которая в этом районе отличается сахаристостью.

— Допросить старшего кондуктора.

— Никак нет, он убит. Когда мы прибыли, он висел сплюснутый на стоп-кране. Мы пробовали кувалдами сбить с него тяжесть, чтоб расспросить подробнее, но он... Нагнитесь, товарищ начальник!

Скрученный рельс торчал на весу поперек пути. Вагонная дверь в чудесном равновесии покачивалась на нем. Люди молча подлезали под головоломное сплетенье крыш, осей и швеллерного железа, нависавшего над головой. Курилов расстегнул пальто, ему стало жарко. Отчаянно покричали сверху: «Пырьев и Тетешин на домкраты, остальных давай на канат!» И, точно клапан открыли в тишине, стали слышнее голоса, треск дерева и металлические стуки, но жалобного шелеста под ногами не могли заглушить все остальные громы и шорохи ночи.

— ...в таких условиях следовало давать не более тридцати километров, но, опасаясь помять график своей свеклой, маши-

нист поднажал и попал как раз на то место возле пикетного столбика. Он дал сигнал тормозам и на мосту стал натягивать состав, чтобы с ходу взять подъем...

— Посветите мне, займитесь делом! — сказал начподор. Этот человек обладал даром быть неприятным.

Нагнувшись, он черпнул ладонью с насыпи. Он испытал при этом ноющую боль в спине: сказывалась поездка на открытой площадке паровоза. Было, однако, не до простуды. Внимание целиком принадлежало горсти этого щекотного, жирного, с таким вкрадчивым шелестом, вещества.

— Что это, зерно?

— Так точно, пшеница.

Она мерно цедилась сквозь пальцы, и горстка убывала на глазах.

— Сколько ее здесь?

— Под хлебным грузом находилось шестьдесят два вагона. Из них разбито... почти все разбиты! — признался тот с удалью крайнего отчаянья. — Словом, мы образовали комиссию под моим председательством и постановили... Вы желаете что-то спросить, товарищ начальник?

Курилов поднял голову. Должно быть, это пыль и копоть от часового пребывания на паровозе искажали так его черты. Как судьба, он безотрывно глядел теперь в лицо этого человека, участь которого была ему известна наперед. Начальник дистанции был немолод; липкая темная прядь волос, подобно следу от топора, пересекала его потный лоб. Глаз его, запавших в глубину, Курилов не разглядел вовсе.

— Дети у вас есть?

Тот по-своему понял вопрос: в его положенье хороша была и милостыня.

— Так точно, двое. Кроме того, я плачу алименты... — И взяткой пахла его непрошеная искренность.

— По-видимому, это вам больше удается!

...Итак, речь шла о хлебе. Это было самое грозное слово тех лет. Политическое значение хлеба давно переросло его товарную ценность. По существу, новая эра начиналась с этого первого социалистического хлеба... Все вокруг было зерно. Одеялом его была укрыта насыпь, и деревья росли на пшеничных холмах. Оно ползло в костры, трещало в них и смрадило. Никто никогда не сеял так щедро. «То-то всколосится по весне!» — глуховато сказали сзади.

Теперь уже не один, а целая свита сопровождала начподора. Как на подбор, вся она состояла из начальников. Рядышком, на правах старшинства, шагал начальник района. Сердито посапывая, он изредка останавливался высыпать из калош забившееся зерно... По-солдатски мерил пространство артельный староста, он же начальник ремонтной колонны, монументального строения старик со смоляной, из-под самых глаз, бородою. Начальник улган-урманского депо приехал взглянуть на катастрофу окружного значения. («Ваша фамилия не Протоклитов?» — спросил на всякий случай начподор. «Никак нет, Кусин!») Еще какая-то долгополая власть присоединилась к этой беспримерной прогулке. И, наконец, высоко держа факелок, который шипел и ронял капли керосинового огня, лихо завершал шествие детина с самоотверженным лицом, тоже — факелу своему начальник. Так они шли, сопровождаемые пальбой и трескотней костра, когда бросали в него с маху сырые чурки.

Курилов снова нагнулся, и тотчас же все повторили его движение. На сдвинутом рельсе лежала старая сплющенная железка. Едва зажатая под соединительный болт, она прикрывала отломанную и приложенную на старое место головку рельса. Покрышка еле держалась, не стоило труда оторвать ее напрочь. Начподор приказал произвести промер отлома. Панцирный ноготь артельного старосты вдавился в линейку близ цифры пятнадцать. Старик не посмел произнести вслух эту цифру. Тотчас же несколько рук вытолкнули вперед не шибко расторопного, тонкошеего старичка в обтрепанном красноармейском шлеме. Он и не думал бежать, но каждый держал его за какой-нибудь незначительный клочок одежды. Курилов спросил, кто этот местного масштаба чудак. Ему дружно гаркнули в самое ухо, что это и есть дорожный мастер, непосредственный хозяин катастрофы.

Запинаясь и завороженно поглядывая в орденок, что поблескивал за отворотом распахнутого начподорского пальто, мужик стал объяснять назначение железки. Это было не его изобретение; как чрезвычайная мера она допускалась и на других линиях, чтобы не задерживать очередного состава; и не его была вина, что здесь это стало обыденным явлением. Курилов вяло усмехнулся этой дурацкой правде, и вдруг все поняли его усмешку как одобрение происходящему. Раздались голоса, недружные вначале, что страшного в этой штуке ничего нет, называется бандаж, по-русски — бинт, накладывается под болт, крепится гайкой, а колесо прижимает его при проходе, и

все получается хорошо, даже с пользой государству. «Как есть мы бедняковско государство, и должны мы отсоль обходиться по маленькой!» —вскричал тонкошеий, и какой-то подвернувшийся мужчина с утиным носом прибавил от себя, что «жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты гораздо больше». Тут же выяснилось, что железа на бандажи не хватает, и артельный староста все ведра у бабы своей покрал, все крыши посымал с битых вагонов, лишь бы не останавливать движения на любимом транспорте.

— Путя шибко плохая! — воодушевленно вскричал тонкошеий. — Иной раз рельсу от старости в одиннадцати местах порвет, пра! Еле поспеваю, дорогой товарищ. Все бегаю да железки накладываю!

— Вы, что же, спринтер, что ли?.. Все бегаете,— полюбопытствовал начальник района.

— Не, я из-под Житомира, беженец. У меня и семейство тут...

Жертва была найдена. Потянулись взглянуть на нее в последний раз перед тем, как отдадут ее прокурорам. Факельщик поближе поднес огонек. Желтое пламя озарило круглые конопатые щеки, как бы облепленные тополевым пухом. В бедных варварских лаптях, с клоком ваты на плече драной кацавейки, мужик глядел напуганно, но улыбался, улыбался всем.

— ...и надолго такого бандажа хватает? — вялыми губами спросил Курилов.

И опять начальник дистанции скрипнул калошами и тряхнул головой:

— Разрешите доложить. Трехмиллиметровое железо пропускает восемнадцать составов. Я проверял лично...

Начподор вздрогнул и брезгливо качнул головой. Итак, преступление опиралось здесь даже на научное исследование. Точность его гарантировал инженерский значок на фуражке путейца.

— Я вас выпущу из своих рук только под суд... — сказал начподор, глядя на эти новенькие, как бы гарцующие перед ним калоши. Ему все еще было жарко, но он не понял и стал застегивать пальто; пальцы срывались с петель. — Бесстыдник вы...

Он заторопился из этой человеческой ямы. Начальников кругом поубавилось. И тотчас же веселее стало глазу. Сотни ловких и безотличных людей сновали между обломков, и как будто целый заводской цех приехал сюда в полном составе.

Клекот дорожных кирок, плакучий визг домкратов... даже их не хватало преодолеть давешний шелест под ногами! Внизу, мимо костров, вереницами шли с ведрами колхозные бабы. Они черпали зерно и ссыпали его во временные бунты. Сам колхозный председатель управлял людским потоком, и по лицу его, напряженному и багровому от огня, проходили тени этих пятисот мужиков. Подгонять их не приходилось, потому что им понятнее всех была истинная цена хлеба. Так они спасали зерно.

Иногда лихой гортанный крик раздавался сверху: «Давай на канат!» И потом щекастый паренек, уткнув в бока ручищи, зачинал длинную и не очень сложную песню. В ней было и про то, как «совецку власть спасали меленковски кулаки», и про то, как собственную милку его посватал «черноусый раскоряка, из Сарапуля купец». Никто не смеялся, хотя все знали, что это очень смешно. Парень вертел головой при этом, чтобы песни хватило на всех, и пламя факела трепетало от пронзительности его голоса. Мужики внизу слушали его в почтительном и сумеречном молчании. Затем следовал одинокий вскрик, тяжелая вагонная рама вставала на дыбы и сразу, кромсая дерн, брызгаясь землею, теряя окна и двери, рушилась под откос. Так они чистили путь.

Курилов шел дальше. Лесная тишина густела. Начальники отстали.

ЧЕЛОВЕК НА МОСТУ

Действовал закон дорожных катастроф. Площадь крушения была обратно пропорциональна его размаху. Всего на протяжении восьмидесяти метров срезало и раскидало путь. Тотчас за поворотом начиналась нетронутая трасса. Изредка чиркая спичку, Курилов взглядывал себе под ноги. Качество пути всюду было одинаковое. Еще один, вроде давешнего, бандажик попался ему по дороге. Начальник сложил его вчетверо, как бумагу, и спрятал в карман, чтобы показать в наркомате. Одуряюще пахло острым, после первого заморозка, лиственным тленом. Табор, суматоха, длинные огни ада — все оставалось позади. Сюда не достигал суетливый, расплесканный гомон этой ночи. Все спало, даже ветер.

Курилов много думал об этих людях, потому что глядел на них не из вчерашнего дня, а из завтрашнего. За последний месяц перед ним прошли сотни людей: стрелочники, кондуктора,

инженеры, ревизоры движения и пути. Все соревновались на показатели лучшей работы, все состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможенья выступали на совещаньях, все повторяли то же самое, что говорил и он. Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами, плакатами и еще множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения. Партия ждала ответа от него, Курилов пока молчал. Он еще не знал... Боль в пояснице мешала ему сосредоточиться. Просунув руку под пальто, он тер кулаком простуженное место; боль унималась, он шел дальше.

Влажным знобом потянуло в лицо. В проеме леса объявились пустынная река и мост на ней. Пространство расширялось, и, хотя накрапывало временами, колдовски светилась западная закраина неба. Очень далеко горела деревня. Зарево состояло из тусклых желтых воланов, как рисуют зарю на трактирных картинах. На мосту чернел плотный и невысокий силуэт человека. Опершись локтями о перила, он глядел в стылую предзимнюю реку. Она была омутиста и ленива; только у деревянных быков, у самой пяты, вздувались лиловые горбыли воды. Курилов неслышно подошел сзади. И хотя сердце всегда учует прежде, чем увидят глаза, человек не обернулся.

— На мосту запрещено стоять посторонним,— сказал Курилов.

Человек вздрогнул, оглянулся, и тело его мгновенно подалось назад, на железо. Они узнали друг друга с первого взгляда. «Здорово, президент республики!» — чуть не выговорилось у Курилова. Встреча была неожиданная для обоих. Но и вся эта ночь была полна необыкновенностей. Она началась с имени Протоклитова, с подыхающей цистерны, расточительных россыпей зерна, а до конца ее было еще далеко. Сама природа события, ради которого попал сюда Курилов, неузнаваемо искажала всю действительность.

— А я обходчик тут,— тихо сказал человек и немножко выпрямился. — Тут и служба моя.

— Обходчик — значит, твое дело ходить, стеречь, наблюдать порядок. Слышал, что у тебя случилось? — и кивнул в сторону, откуда пришел.

Человек сказал спокойно:

— Тот участок не мой. Взаимного отношения не имеем.

— Да... но и у тебя эти штуки есть! — Он вынул из кармана давешнюю железку. — Это я у тебя снял. Что на это скажешь?

Тот принял улику из рук Курилова, погнул в одну и другую сторону; ржавая, она подавалась даже без металлического хруста. Усмехаясь, он вернул ее.

— Плохая!.. Заплатка временной нищшаты!

Дерзость была острая, она пахла намеком, но не стоило обижаться до срока, пока не выяснены будут правила начавшейся игры.

— Говоришь ты чудно́. К слову, как зовут-то тебя?

— Меня? — Он погладил мокрое железо перил. — Я Хожаткин. Родион Хожаткин, вот кто я.

Он солгал без запинки и с тем большей легкостью, что Курилову незачем было уличать его. Сомнений не оставалось. Настоящей фамилии этого человека, когда-то знаменитой на Каме, нельзя было забыть. Да и слишком памятна была эта громадная черноволосая Олофернова голова на широком, коренастом торсе. Помнилось также, что Павел Степанович Омеличев не имел живых братьев; старший умер во время войны, и похороны его запечатлелись в памяти провинциального городка как образец неуклюжего купеческого тщеславия. Была, значит, какая-то причина Омеличеву стать Хожаткиным. Может быть, стыдился нынешнего непотребства своего и нарочно рядился в новое, полное фонетической отвратности имя.

Под стать фамилии была и внешность: грязная стеганая на вате куртка и пролыселый, как бы истоптанный треушок. По громадности чурковатых ног, по веревочным колтунам на них Курилов понял, что они обуты в лапти. Словом, перед начподором стоял битого вида мужичок, который от беспокойств нынешней деревенской жизни продал бедную свою лапотинку и веселое ремесло променял на одинокую, отшельническую должность. Все, включая и напевную, окающую речь его, было сработано искусно, продуманно и слаженно, без единой щелки. Был вполне достаточен для этого четырнадцатилетний срок.

Поздороваться ему с былым знакомцем значило бы признаться в падении и проигрыше, согласиться на превосходство Курилова, которого видывал в иной, посмешнее, форме и однажды почти держал в руках; протянуть ему руку — не означало ли заискивать в куриловском снисхождении, или, что еще поганее, как бы напоминать про уплату старого должка. Все

это понимал и Курилов и оттого решил держаться принятого тона.

— Что же, на пожар любуешься, Хожаткин?

Зарево выдувалось вправо: должно быть, свежей пищи подвалил ему ветерок.

— Вот, гляжу: пожар, суета, небось бабы стонут, коровы мычат, ребятишки пустыми глазами смотрят. А до меня уж не доходит: дальность. Воспоминанье одно: почадит и заглохнет! У самого тоже все погорело. Так и живу, как Ефрем Сирин, с дыркой посередь души. И даже сам не знаешь, чего в тебе больше — дырки аль души. А только с той поры тянет меня на огонь, как на водку...

— И большой дом был у тебя, Хожаткин? — раскуривая трубку, спросил Курилов. Обширные палаты Омеличева, венец творения прикамских зодчих, где впоследствии помещалась Чека, были ему хорошо известны, да не о тех палатах шла речь.

Огонь пятнисто осветил лицо этого человека. Нет, это был не прежний Омеличев, цыганской масти и русской закваски. Этот выглядел много старше, а между тем были они с Куриловым почти однолетки. В бровях, одна ниже другой, серебрились волоски; глаза запали вглубь, ближе к разуму, и мудрость их стала плачевна. Росла полукружиями клочковатая борода, делавшая его похожим на сыча. Но меховой козырек треушка не прикрывал высокого, пазухами вперед, лба. Соколенок улетел, цыган улетучился, а злой и горький разум остался... Курилов разжигал свою трубку несоразмерно долго.

— Уж ладно, погляделся, и хватит! Туши свою спичку, пальцы сожжешь,— глухо заметил Хожаткин, отворачиваясь. — Ты про дом спросил. Дом мой был хороший дом; тесноват — да в тесном-то теплее. А сколько добра накоплено было!

— Жалеешь?

— А нет. С непривычки-то перво время и холодно, и стыдно, и боязно было по канавкам скитаться, а потом обошлось. Папаня говаривал: огонь — божья ласка. Он слабже не умеет приветить, бог-то!

— Один здесь живешь?

— ...как перст. Всё обрубили. Культяпый я, милый гражданин...

— Фрося-то жива? — неожиданно для себя спросил Курилов.

Хожаткин досадливо закусил губу.

— А не знаю. Семь лет — сроку много.

Они замолчали, оба недовольные случившейся обмолвкой. Тут собака подбежала, тощая, как бы в лохмотьях, собака нищего. Она обнюхала куриловские сапоги; запах был привычный, лежалого железа и мазута. Легонько, без обиды, Хожаткин толкнул ее ногой. Она села и уставилась туда же, на зарево. Взгляд ее был древен и печален. Всякому свое: на пожаре могли оказаться и собаки.

— Пес твой?

— А мой. Егоркой звать. В мороз подобрал, собачью дружбу легко купить. Вот окривел намедни, мальчишки выхлестнули. Известно, дети, цветы жизни!.. — Он потрепал по шее пса, Егорка лизнул руку, угадывая мысль хозяина. — Я сюда, на мост, кажную ночь хожу, как в клуб. Человек там поет, на реке. Иногда час попоет от полуночи, иногда более. Тут ведь лес, поселенья нет. — И с вызовом махнул на круглое, косматое, пустое пространство впереди.

— Рыбак, что ли?

— А не знаю. Может, святой, а может, просто так, коней караулит. А может, тоже Ефрем Сирин. Их ноне табуны развелись. Знаешь, даже мудрый, даже в уединении ищет эха, чтоб поделиться с ним. Иные львов заводили при себе, либо змею, либо птаху какую, а этот с песней тешится. Голос не старый, и слово неразборчиво, а поет нежно и с понятием звука...

Курилов слушал, покачивал головой, не умея добраться до смысла хожаткинских намеков.

— Спустился бы узнать, что за человек. Может, без документов? Ты — обходчик. — Он нарочно огрублял свою мысль, чтобы вызвать своего ночного собеседника на ссору, потому что в ссоре открывает человек свое лицо.

Но уже и теперь не выдерживал Хожаткин взятого тона: мужики так не говорят.

— Песне документа не нужно. Она сама по себе. Да и поет он для себя, а я вроде вора пользуюсь. Коли не торопишься, пожди малость, скоро запоет. Занятно бывает: чужую песню слушать — точно на звезды смотреть.

— Нет, мне уж пора, Хожаткин. Ты проводи меня до поворота.

Тот неохотно оторвался от перил.

— Что ж, мы с ним ходить легкие. Пошли, Егорушко?

Все трое они двинулись в одну шеренгу. И опять не давались им слова. Хожаткин прятался. Скоро, учуяв поживу, собака метнулась под откос. И верно, мгновение спустя послышался тяжелый плеск птичьих крыл. Опять сорвалось собачье счастье. Слышно было, как, отчаявшись в удаче, лакал Егор воду из канавы.

— Ты на будущее время святым-то не особо верь, Хожаткин. Осмотри молодца, паспорт спроси... они такие! Как на людях стыдно, так к богу за пазуху укрывались! — снова начинал и начинал Курилов. — А что про крушенье думаешь?

— Тебе виднее, ты сверху приставлен,— уклонился тот. — Тебе виднее, причина родит людей аль люди причину.

— Притча! Я знаю, ты скажешь: рельсов нет, рабсилы не хватает. Но ведь здесь временную заминку в постоянное правило возводят. Неверно, мы богаты, Хожаткин.

— Это правильно. Через всеобщую нишшату ко всеобшему богатству!

— Опять притча,— сердился Курилов, хотя и понимал, к чему тот клонит. — А почему предупреждений бригадам не выдавали?

— А что ж их давать? Ездить-то надо! Смотри, сколько грузов навалили. В былое время, как я сюда определился, начальник станции с семейством на паровозе за грибами ездил. Самовар поставят в лесу, детишки перепелок гоняют, а кучер тем временем выспится на тендере...

— Значит, признаешь, что выросли от той поры?

И с этого места возобновился старый разговор, прерванный когда-то на одном купеческом чердаке.

— Мы не говорим, что развития нонче нет. Оно есть. Нам державы удивляются, и так ли еще впредь удивятся! Содрогнутся однажды державы и головами покачают, которые уцелеют. А только... — Он шел, грузно переваливаясь, почти как его пароходы когда-то с хлебными баржами позади. Он шелшел и тихо засмеялся вдруг. — У нас тут очень смешно вышло. Барышня одна, така жулябия, завмагу за головку сыра отдалась. Шуму что было! Завмага вон, магазину ревизия (свиной головы недосчитались да маргариту пуд!), правление в газетах раскровенили. А дело-то не в завмаге, а в барышне. Завмаг, вишь, кривой, вроде моего Егорки. На него глядеть-то — в горле першит. А при барышне ейная мама да меньшой брат. Хотя не жаль, барышня-то из поповен, чего ее жалеть!

Наш папаня, бывало, говорил: «Не кажной маме дорога кровь чужого сына». Оно и наоборот справедливо...

Все это казалось непостижимым. Человек этот, даже если не читал газет с приказом о назначении Курилова, мог легко догадаться о его должности по форменной фуражке, по звездочкам на выпушке воротника. Он не был пьян,— значит, просто не дорожил своим местом? Видимо, гоненья и ненастная скитальческая судьба не отбили прежней дерзости у этого человека. Все его речи были только нагноеньем на старой ране.

— Давно на дороге?

— Двадцать шестой год,— в упор, не сморгнув, солгал тот.

— В профсоюзе состоишь?

— Плачу́.

— А ты еще злей стал, Павел Степаныч!

Тот отпрянул, Курилов смешал карты игры. Отшельник поторопился отыскивать себе эхо и теперь раскаивался.

— Ты меня спрашивал, я отвечал, начальник. Ты бы мне подмигнул, я тебе по-твоему отвечать стал бы. Ну, отпусти меня теперь. Мой участок досюда. Позвал бы тебя в гости, да табуретка у меня одна. Кому-нибудь на полу сидеть, а ты ведь не сядешь. Да и неловко тебе со мною. Могут за это стукануть и тебя... — И сдернул треушок на прощанье.

Нужно было знать многое из их прежних отношений, чтоб не дивиться сумасшедшей проникновенности беседы. Курилов молча пошел вперед. Через несколько шагов он оглянулся. В темноте еще угадывался коренастый, без шапки Хожаткин. В дымке осенней ночи мерцал его лоб. И еще слышно было, как чесалась собака: донимали ее клещи.

В ПОВЕСТЬ ВТЯГИВАЕТСЯ АРКАДИЙ ГЕРМОГЕНОВИЧ

Из-за поворота показался костер. В него только что свалили вагонную раму. Целые копны искр метнулись с раздавленных головней. Мимо раздробленного железного хлама, мимо озер зерна, мимо телефонистов, которые пристроились тут же на брезентах, закинув свои шесты на провода, Курилов шел дальше. Гудели зуммера, трещал огонь, как подкидывали ему свежих поленьев. У громоздкого окосолапевшего существа, носившего имя 509-А, Курилов остановился, и тотчас же его снова окружили начальники. Кучка людей суетилась возле паровоза.

Воздетый на домкраты, он беспомощно, выбитым зраком, глядел впереди себя. Штук тридцать шпальника, который он сгреб, зарываясь в землю, беспорядочным штабелем преграждали ему путь. Что-то еще дымилось в нем: пáрил неостывший котел. Все его умные геометрические сухожилья были в песке. Передний поршневой шток согнулся. Самую коробку правого поршня ударом отвалило в сторону. Оторванное колесо передней тележки валялось тут же. В свежем стальном изломе бродили крупитчатые искры. Под брюхом котла, лежа на спинах в песчаной яме, молчаливо работали люди. Свежий, еще ржавый рельс они старались подпихнуть под скаты.

— Осторожнее, не зашибись!

— Не вперво-ой...

Сопровождаемый начальниками, Курилов спустился вниз, к пассажирским вагонам. Четыре плацкартных двухосных, они были завалены битым порожняком, опутаны травой, облеплены глиной, с дырявыми пролежнями в боках. Колеса полнолуниями круглились над головой. Из одного окна, чудом просунувшись через оба стекла, росла ободранная березка. Рядом, на завалившейся стенке, стыла черная, с лаковым отблеском, лужица. Факел отразился в ней круглым, во много колец, бликом.

— Кровь, что ли? — вяло спросил начподор.

— Не, ето мазут. — Факельщик коснулся пальцем и, суеверно отдернувшись, вытер о траву. — Во, начальства ждут, а вытереть не догадались, дьяволы!

В застылую лужицу упала огненная капля, поворчала и загасла. Кто-то коснулся куриловского локтя. Начальник обернулся не сразу. Может быть, Омеличев вернулся досказать при людях то, чего не посмел наедине? Курилову приятно было вдвойне, что ошибся.

Это был маленький, старомодного вида и вконец обезумевший старичок. Широкополая шляпа сбилась на затылок, мелькали полы его громадного брезентового плаща, рябило в глазах от его рук, которых, казалось, было вчетверо больше против обычного. Качалась его голова и тряслись безволосые щеки. Он походил на волчок, запущенный в неистовое вращенье. Не сводя глаз с высокого начальника, не в силах выкрикнуть и междометия, старик суматошливо шарил у себя по карманам. Прекратив работу, люди угрюмо наблюдали эту истерику. Что-то передавалось, однако, и им; всем становилось одинаково тошно и как-то зыбко под ногами. Это был пассажир с разбитого поезда. Кто-то шепнул на ухо начподору, что старик два часа

высидел среди обломков, прежде чем прорубили пол и извлекли сверху.

— Уберите его отсюда,— приказал один из начальников и выбранился. — Суньте его к черту, в теплушку...

Уже протянулись решительные руки, но тут личико старика прояснело и оживилось. Он сорвал с себя шляпу и молниеносно завертел в пальцах. Похоже было, что самая участь его решалась в эту минуту. Он вскрикнул, и на лицах у всех множественно отразилась его улыбка. Утраченная вещь была на своем месте, под ветхой лентой шляпы.

— О, мне всегда везло! — И рванулся вперед, на Курилова. (Кто-то благоразумно и вовремя подхватил небольшой, в наволочке, узелок, выпадавший из его рук.) — Мне нечего роптать на судьбу! Знаете... знаете, я даже мух ловлю без промаха. И я сразу догадался о вас. Начальника, э, легко узнать во все века по тому, пардон, флюйду беспокойства и подчинения, который он распространяет вокруг себя. Я заметил вас издали, когда еще...

— Не шумите, а то я прикажу удалить вас отсюда,— вразумительно прервал Курилов, потому что этот пронзительный голос даже приостанавливал работы. — Что вам надо от меня?

Старик смутился. Провидение на этот раз принимало слишком суровую осанку.

— Вот,— сказал он потерянно, протягивая крохотный кусочек картона. — Возьмите! Моя фамилия Похвиснев. Был сенатор Похвиснев, который в наше время судил еще Нечаева, но я...

— Дайте сюда.

То был плацкартный билет на проезд от Москвы до станции Черемшанск. Билет выглядел вполне законно: стоял порядковый номер, и была выбита дата продажи. Это объясняло, каким способом Похвиснев попал сюда сквозь расставленную всюду охрану. Курилов вернул ему эту неоспоримую декларацию пассажирских прав.

— Нет,— сказал сухо Курилов. — Я не смогу вас взять с собою. Я приехал сюда на паровозе. — Он мог бы прибавить также, что мотриса политотдела не предназначена для перевозки пострадавших.

Он возвращался мимо людей, которые все еще кричали, гипнотически заражая друг друга бодростью и ожесточением. По дороге он встретил Фешкина; соляровое масло доставили наконец. Обрадованный встречей с начальником, секретарь стал

докладывать сводку о суточной работе дороги. Не дослушав, Курилов повернул вспять: он изменил намерения относительно давешнего старика. Похвиснев находился на том же месте, с прижатым к груди узелком, похожий на провинившегося школьника. Более оскорбленный, чем поверженный своим несчастьем, он все еще улыбался. Какой-то жалостливый слесарь с куском тормозной кишки в руках толковал ему сбоку, что ежели он заявление в дирекцию сопроводит надлежащими удостовереньями, ему, без сомнения, возвратят затраченную на билет сумму.

— Идемте,— сказал Курилов, беря старика за рукав. — Моя мотриса, кажется, прибыла.

Тот повиновался, но выражение испуга и потерянности он сохранял все то время, какое провел в вагоне начподора. Фешкин, обязанности секретаря совмещавший с комендантскими, отвел ему свободное купе. С тем же страхом и ожиданием еще бо́льших бед старик присел на плюшевое сиденье. «Металла не люблю...» — бормотал он на разные лады, и в его положении это была естественная реакция на пережитое. Он уже не слышал, как заходили в вагон начальники, как приводили под конвоем обожженного и напрасно арестованного машиниста, как дал ему стакан водки и яблоко Курилов и как в сопровождении той же охраны ушел начальник дистанции. Когда, перед рассветом, Курилов зашел в купе, старик спал.

Седой и не очень жалкий, он спал сидя. Щеки его, с младенчески розовой кожицей, лежали складочками на грубом воротнике плаща. Он напоминал что-то ботаническое, бестелесное, из семейства тайнобрачных, и в каких-то поворотах, наверно, даже просвечивал насквозь. Представлялось сущим издевательством всадить это хрупкое растеньице в брезентовый, на кокосовых пуговицах, балахон.

Он вскочил и, оглядевшись, мгновенно припомнил все события протекших суток. Брови его нахмурились; он склонил голову набочок, прислушиваясь. Под ногами глухо гудели моторы.

— Что это, мы едем? — высокомерно удивился он.

— Сидите, сидите... — ободрил его Курилов. — Мы трогаемся через две минуты.

Гражданин Похвиснев прищурил глаза, и нижняя губка его отпала вниз от негодования:

— Вы, кажется, решили захватить меня, э, с собой... как трофей ваших преуспеяний?

— Но вы же сами просили меня довезти вас до Черемшанска!..

— Простите, вы не давали мне досказать... Вы даже пригрозили скрутить мне руки! Я имел в виду выразить вам протест по поводу порядков на вашей дороге. Э, ваши пассажиры приезжают домой далеко не в полном виде... Э, их доставляют по частям! Это и называется мокрое дело. Но там сперва убивают, а потом берут деньги, а у вас наоборот! — Он схватился за шляпу и сделал паузу, чтобы сарказм его проник до самых недр ошеломленного начальника. — Нет, я не могу... я не рискую продолжать с вами путешествие. Когда-нибудь попозже, в урне... э, с удовольствием. Ну-ка пропустите меня!..

И, как-то по-якобински, ядовито и набекрень нахлобучив шляпу, он прошел мимо Курилова. Тому оставалось только посторониться. Хлопнула наружная дверь. Курилов бросился к заднему окну и поднял шторку. Светало. Небо подчистили и подмели. Звезды гасли; заглатывало их зеленоватое безветренное утро. Мятое, непроспавшееся облако подымалось на восходе. На рельсах лежал иней... Путаясь в полах своего брезента, старик уходил по шпалам. Время от времени он обеими руками поправлял шляпу, чтобы не свалилась. Походка его была почти величава. Вероятно, он подозревал, что сзади наблюдают за ним. Узелка при нем не было.

— Вот гусак,— усмехнулся сам себе Курилов. — Запозистый какой...

У окна он задержался до первого солнечного луча. Осень выдалась в том году рыжая и неистовая. Местность была красива.

КУРИЛОВ И ЕГО СПУТНИКИ В ЖИЗНИ

Алексей Никитич вообще не одобрял железной дороги. Было смешно знать, что весь путь от океана до океана выложен деревянными плахами, а на них нашиты десятиметровые стальные полосы дорогой и вычурной прокатки. Самый паровоз, невыгодная, паразитическая машина, казался ему более острым и метким символом капиталистической системы, чем Марксова водяная мельница. В мыслях он видел эту дорогу иною: ее служащие говорили на десятке непохожих наречий, ее шпалы были из многих и различных сортов дерева, и еще снегоочистители ползали по ее северным путям, когда на южном, конечном ее пункте распускались стройные хамедореи. Курилову всегда хотелось явственно представить себе ту далекую путеводную

точку, куда двигалась его партия. Это был единственный способ куриловского отдыха. Разумеется, он мог предаваться фантазиям лишь в тесных пределах книг, на которые удавалось украсть время у сна или работы. И этот воображаемый мир, вполне материальный и соответствующий человеческим потребностям, увенчивался в его догадках пределом знания — неумиранием. Как и большинство его современников, он пугался мысли, что ему не придется держать в руках зрелых плодов дерева, которое вот уже росло, ветвилось и могучими корнями распирало землю. Он не боялся смерти, он только не хотел ее.

Мысли о смерти — это было не куриловского порядка. Солдат, продырявленный столько раз и вдобавок опробованный революцией, он имел право усмехаться над чужими страхами. Тот возраст, когда разум впервые сталкивается с мыслью о неизбежном, застал его на фронте. Ему едва минуло тридцать и только что удалось ускользнуть от полевого суда. Он был молод, драчлив и здоров — условие самое главное для плодотворности такого рода размышлений. Кроме того, вокруг него так много и разнообразно умирали, что притуплялось то недоверчивое удивление, с которого начинается всякое исследование... Однако в последние месяцы ему довелось наблюдать умирание совсем вблизи, и это происходило не посреди истоптанного военного поля, где самый страх гасился неодолимым вихрем гибели и уничтоженья. На этот раз опыт был обставлен с лабораторной тщательностью. Больница предназначалась для ответственных работников. Модернизованные цветочки вроде лакфиоли были нарисованы на матовой охровой панели. По желанию включалось радио, и долгие больничные сумерки насыщались мелодиями, блаженными, как сновидение. Профессора приходили, как маги, рассыпая дары надежд, мудрой горечи или примиренья. Самая смерть в этом убежище несчастных представлялась таинственным медицинским средством, необходимым для последнего исцеления.

Дважды в декаду, вначале даже и чаще, Курилов навещал это место. Стояли две кровати; вторая до самого конца оставалась незанятой. На ближней к окну лежала востроносенькая, никогда ни судьбой, ни мужем не балованная женщина. Она конфузилась перед сиделкой посещений Курилова; больше всего она боялась, что ее заподозрят в чувствительности. И пока он сидел, рассказывая о новостях, ей доступных (никогда во всю совместную жизнь они не узнали так много друг о друге!), она поминутно напоминала ему то о заседании, которого он не

вправе был отменить, то высылала покурить на лестницу; трубка была его второй привязанностью. И он шел, солидно поглаживая усы и по-мужски умиляясь щедрости этого дара. Он преувеличивал расточительность Катеринкиной доброты, потому что лишь в этом и мог проявить свое эгоистическое великодушие.

Подробности этого процесса, продленные во времени, представали как бы под лупой. Уже уйдя с работы, Катеринка отказалась ехать на юг. Все сидела у окна с гитарой, подергивая струну. И крепко вошла в память Курилову эта сухонькая ручка на звонкой деревянной деке... Сюда Курилов перевез жену еще весной, когда чахоточным всегда становится хуже. Шел лед. И Катеринка все просила, чтоб он повез ее в машине поглядеть на эти грязные уплывающие льдины. Они становились все синее (нет — голубее, прозрачнее!), приближаясь к родному морю. Он ее не понял и последнее желанье принял за блажь... В каждое посещенье он заставал Катеринку иной, чем была прежде. Чужали и западали глаза, углублялась землистая морщинка меж бровей; днем и ночью трудились над этой женщиной непонятные ему силы. И, наконец, убавлялось чего-то понемножку в Катеринкиных руках. Он не спрашивал о здоровье, а лишь следил за неспокойным биеньем ее пальцев... О, в эту пору целую дорогу, с вокзалами, станциями и разъездами, можно было поместить в тесное пространство между ними. Они стояли на разных ее концах, и голос мужа почти не достигал жены. Все тягостнее становилось бывать здесь. Процесс как будто остановился. Казалось, еще немного — и доктора перетянут ее в свою сторону. Курилов стал пропускать дни посещений; он засиживался на работе.

Тогда были хлопотливые дни организации политотдела. Не хватало ни людей, ни необходимых знаний. Еще не умея разобраться толком, в какой логической последовательности железо, уголь, люди и вода образуют этот высший тип инженерного хозяйства, вдобавок раскинутого на тысячу километров, он уже отвечал перед страной за показатели дорожной работы. Не хватало дней, и он тратил ночи, точно владел неисчислимым количеством их... После трехнедельного отсутствия, перед самым выездом на линию, он заехал в больницу. Впервые он приходил сюда в железнодорожной форме. Шитая без примерки суконная гимнастерка сидела на нем мешковато, но — «Какой ты нарядный нынче, весь в черном!» — шепнула Катеринка. Ей захотелось коснуться звездочек на его воротнике, но Курилов

сидел неподвижно, напуганный этой непривычной нежностью. Ее рука не дотянулась и упала. Вдруг Катеринка круто откинула голову и спрятала свои виноватые руки под одеяло. «Эх, Алешка, Алешка...» — сказала она еще, но уже так тихо, что он догадался о смысле лишь по движению ее губ. И такая знойкая лучезарность была в ее взгляде, что он испытал почти смятение. А он-то полагал, что э т о происходит незаметно, как неслышно задергивают оконную занавеску, чтобы не будить задремавшего ребенка... Слова эти, самая интонация их, звучали в нем весь вечер, пока сидел в своем политотдельском кабинете. Работа не ладилась.

Он натуго набил трубку, сгреб в портфель бумаги, пересыпанные табаком, и раскрыл окно. Дерево стояло невдалеке, гривастое, в растрескавшихся пробковых доспехах — совсем Руслан, скинувший с себя шлем. На кудрявой лиственной кроне маслянисто лежал лунный свет. Политотдел помещался во втором этаже. Две тени, тесно приникшие одна к другой, несколько утолщали самую тень дерева. Это не были воры, и легко было догадаться, что более тонкая из них принадлежала девушке. Курилову показалось даже, что шел снег: е е плечи побелели. Но это и был лунный свет, милый лунный свет!.. Они шептались,— глупые, растерянные слова, при помощи которых влюбленные ощупывают друг друга, как слепцы. И хотя все это были пустяки, недостойные серьезного человека, Курилов бессознательно спрятал трубку в карман (снизу могли приметить ее вспышки) и приник к коробке окна. Дверь в кабинет оставалась незапертой, и он все время думал о ней.

Повесть была в самом начале, о н и еще не смели обниматься.

— Да.

— Меня боишься?

— Себя... нас обоих.

Изредка набегал ветерок, и лунный свет проливался глубже. Толстый сук над головами молодых казался змием библейского сказания. Шепот сливался с шелестом листвы, и самая парочка становилась листком, гонимым неизбежностью через мир. И снова философ с неподкупным и ревнивым лицом цензора прислушивался, как в материи происходит таинственное обращение соков... В этом месте хорошо бы свистнуть, вложив пальцы в рот, что однажды и проделал господь бог. Повторилось бы знаменитое изгнанье, погасло бы очарованье сада, и не они, а сам Курилов стал бы беднее... Пробуждалось любо-

пытство к чему-то, никогда им самим не изведанному. С Катеринкой у него всегда были отношения только честной и трезвой дружбы. Тихонько притворив окно, он вышел из комнаты.

Было поздно. За столом Фешкина сидела неизвестная девица. Она листала старые папки и делала выписки на длинную полоску бумаги. Нет, она не походила на того инструктора, что отправлялся с ним в поездку; у той нос был мясистее и какой-то точковатый. Курилов постоял, покусал губы. Ему пришло в голову, что это и есть новое, социалистическое отношение к труду: никто не заставлял девицу оставаться на работе до ночи. Неожиданно для себя Курилов предложил отвезти ее домой. Она благодарно согласилась. Трамвай уже не ходил, а утром в учрежденье выдавали картошку; не случись Курилова, ей пришлось бы собственными силами волочить мешок к себе на окраину. В машине он спросил ее, не ударница ли. Она застенчиво объяснила, что, работая в пропагандистской группе, скитается из города в город, куда пошлют, разъясняет массам художественную литературу, кино, а также пение. «У меня есть подобранные работы, которые производят колоссальное впечатление на слушателей». Ее огорчало только, что авторские построенья редко сходятся с политической схемой. Она привела в пример Джованьоли, Спартак которого, вождь восстающих рабов, на поверку оказывается князем.

— Жизнь сложнее всяких схем! И посмотрите, какие громадные механизмы созданы природой, чтоб приводить в движение совсем простые вещи,— поучительно заметил Курилов, думая о давешней парочке за окном.

— Я понимаю, что жизнь. Вот от нее-то иногда прямо хоть в бутылку лезь! — с досадой призналась она.

Он улыбался наивности ее сообщений. И хотя своих детей никогда у него не было, детей он любил и с ребятами сходился быстро. Она осторожно поинтересовалась, не знаком ли он с Джованьоли. При своем высоком положении Курилов мог бы одним духом узнать из первоисточника о замыслах автора. (Ее уважение к начальнику политического отдела дороги достигало уверенности, что все судьбы мира решаются в его служебном кабинете.) Алексей Никитич отвечал, что нет, с Джованьоли он не знаком... Кстати, они приехали. Курилов помог ей взвалить на спину рогожный мешок. Она жила во втором этаже ветхого деревянного строеньица. Больше того, ухаживать так ухаживать, он даже вышел из машины открыть ей парадную дверь. Никогда еще при живой жене он не бывал так любезен

с посторонней женщиной. Было тихо, и все еще не без луны. На фоне серенького облачка рисовалась труба какой-то фабрики. Густо попахивало укропцем: сразу за домом начинались огороды. Сбросив мешок, девушка объявила, что сейчас позовет соседа по квартире помочь ей. Курилов не возражал, но ему не хотелось уезжать так быстро. Давешние лунные лучи, застрявшие и обломавшиеся в нем, болели, как занозы. Вдруг она спросила тихо: правда ли, что у него умерла жена...

Он поморщился, как подколотый. Вопрос содержал в себе скверное пророчество. Любопытство железнодорожной девицы показалось ему просто наглостью... Ну да, она стремилась в заместительницы и вот украдкой пробовала его ноготком! Он достаточно слышал про эту породу: они быстро постигают несложную науку ездить на казенной машине по всяким распределителям житейских благ, сплетничать и вообще вести интенсивную аристократическую жизнь, как понимают это мещане. Что касается ее ребячливости, то не слишком ли много пышного тела было на ней для одного ребенка? Кстати (позвольте, позвольте!) он припомнил, что зовут девицу — Марина Сабельникова (он еще в прошлый раз решил, что или солдат, или оружейный мастер был в роду!), что два месяца назад ее собирались послать на работу в депо, под Пензу, но сперва она отпросилась в отпуск, а потом так и прижилась при дирекции... Словом, пока доехал до дому, он придумал десятки способов избавиться от наважденья. Вылезая из машины, он так решительно произнес: «В Пензу, в Пензу ее!» — что шофер даже переспросил о значении такого небывалого адреса. (В отношении безыменной парочки на пустыре он решил дать нагоняй коменданту, по нерадивости которого двор государственного учрежденья превращался в сад свиданий.)

Ничем, кроме простуды, Курилов никогда не болел; ранения не шли в счет. По замечанию ближайшего друга, Сашки Тютчева, Алексей Никитич вполне годился бы вертеть чигирь в среднеазиатской пустыне. Болезненной и тихой Катеринки всегда ему было мало. Самое начало их супружества обошлось без любовной игры, без шалостей и излишеств, но зато и без той греховной силы, что доставляет первобытную сытость душе. Впрочем, со временем он свыкся со своим полуголодным любовным пайком, старался щадить самолюбие жены и лишь с недавнего времени стал примечать, что запоминает всех молодых женщин, попадающихся по дороге. Уже через день выяснилось, что мысль о Марине ему приятна. Кстати, еще раньше

довелось где-то прочесть, что женщины, сами добывающие свой хлеб, уважают время любовника и не требуют особых усилий. О, Катеринка не осудила бы, если бы эта миловидная, с круглым лицом, простоватая девушка, придя к нему раз в декаду, ушла бы немножко позже обычного, чуть вялая и с глазами, обращенными в себя. И опять он великодушно предоставлял Катеринке право на эту якобы материнскую щедрость. Все обстоятельства к тому и шли. Однажды девица Сабельникова робко пришла к нему за материалами для его биографии: ей поручили составить ряд поучительных жизнеописаний виднейших работников транспорта, и Курилов находился одним из первых в ее списке.

В самом разгаре стояло лето. В обширной каменной площади-плошке за окном, жаркий и пыльный, остывал вечер. Слабым ветеркам с реки было не под силу расплескать эту гнетущую духоту. Курилов покраснел, когда она вошла. «Сбывалось, сбывалось...» Марина бесшумно прошла по квартире; количество книг удивило ее. Стоя перед шкафом, она читала вслух заглавия на корешках. «Вот здорово, все о войне, о городах, о Дальнем Востоке...» Напуганная своим невежеством, она схватилась за портфель. Едва написав десяток строк, из которых половина выражала лишь степень ее смущенья, она поймала на себе пристальный, прищуренный взгляд Курилова, вскочила со стула, и листки с шуршаньем разлетелись с ее колен. Это запоздалое происшествие отрезвило его. Уже с закрытыми глазами он сидел на диване, вслепую набивая в трубку табак.

Только на одно мгновенье он увидел ее глазами любовника, и хотя ни разу не испытывал, как начинается это (и даже всегда удивлялся изобретательности влюбленных, заполняющих чем-то промежуток между обручением и брачной ночью!), он уже знал все наперед. Наверно, Марина будет покорна и трогательна. У нее не будет торжествующих глаз победительницы. Она не спросит его ни о завтрашнем дне, ни о чем. Конечно, она станет стыдиться своего дешевого простиранного белья и голубой майки поверх тела... Он помнил, что никого, кроме них, нет в квартире, и все-таки испытал мучительную потребность запереть дверь в пустующую комнату Катеринки... Медленно, как во сне, Марина проходила по комнате. Осиротевшая Катеринкина гитара попалась ей на глаза. Мимоходом и резко она дернула квинту. Звук заставил Курилова поморщиться, как несвоевременное напоминание о забытой жене.

Он глухо позвал Марину по имени; она отрицательно покачала головой:

— Я не хочу, чтоб вы раскаивались, Курилов.

Она стояла у окна, царапая истрескавшуюся шпаклевку подоконника. Бездонный провал в целых двенадцать этажей простирался под нею; Курилов жил высоко. Желтая одинокая звезда всходила над Воробьевыми горами. Для Курилова, оставшегося на диване, она висела как бы над самым теменем Марины.

— Вы не заметили, *сколько* сегодня жары? — спросил он в оправданье себе.

Она сказала тихо:

— Днем в тени было двадцать два. — И вдруг: — Скажите, ваша жена *была* красивая?

И теперь его уже не возмутило, что о живой Катеринке говорят в прошлом времени.

— Она была добрая.

— У вас нет ее фотографии?

— Она не любила сниматься.

— Тогда опишите мне ее!

Все это было не очень понятно, но сейчас он уважал Марину именно за то, чего не понимал в ней. Он подчинился самой властности ее приказания.

— Она была очень честная к людям и всех считала лучше себя. Она была простая работница. В годы тюрьмы она много сделала для меня и товарищей. Все, кто знал ее, называли ее просто Катеринкой...

Марина склонила голову, как это делают в память мертвых. Ветерок из окна шевелил прядку волос над ее маленьким пылающим ухом. Курилов застегнул ворот гимнастерки. Оцепенение проходило, жара спадала. И вдруг он разглядел все в Марине: и ее розоватые локти, почему-то испачканные чернилами, и ее сбитые, на стоптанных каблуках туфли. И хотя рядом, в гардеробном ящике, находилась вся непошеная Катеринкина обувь и, по его мнению, не было дурного в том, чтобы Марина выбрала себе лучшую пару, он не посмел предложить ей это. Больше того, он решил, что слишком сурово встретил свою простодушную гостью. Представлялось, что уж чаем-то ее напоить — совершенно необходимая вежливость. И пока возился на кухне, разжигая газ, Марина неслышно ушла. Решив, что она спряталась, он искал ее всюду и сердился, что его на старости лет заставляют играть в прятки... Час спустя он еще

думал о ней. Ночью ему не хватало Марины. Утром выяснилось, что его пугала мысль утерять ее навсегда. Такие, как он, достаточно постоянны в своих привязанностях. Квартира ему казалась огромной и неуютной с тех пор, как увезли Катеринку; с уходом Марины она стала нежилой.

Здесь, на закате, у подобных Курилову всегда случается смятение, толчея чувств, сердечная путаница, недоступная разве только памятникам да дуракам. Тютчев как-то раз сболтнул ему, что именно с этого биологического распутья между старостью и женщиной и виден бывает заключительный рубеж. Неверно!.. Не смерти он боялся, а умирания: утратить возможность влиять на мир, стать в потеху врагу, в жалость и тягость другу! Его выводы отличались поспешностью и чрезмерной упрощенностью. У людей там, внизу, в чернорабочих ходовых частях социальной машины, никогда не образуются эти поганые — накипь сидячей жизни и ржавчина. В такие минуты с восхищением и завистью он вспоминал бывшего учителя и друга литейщика Ефима Демина. Когда-то, на заре большой жизни, он посвящал Алешку в высокие тайны формовочного искусства. Позже Курилов постиг удивительные законы движения идей, товаров, масс; узнал, кто такой Шекспир и откуда началась собственность на земле, но так и не выучил всех секретов Ефима Арсентьича. Демин был на тринадцать лет старше. Уже он перескочил рубежи куриловских сомнений. Он ходил теперь в хорошем пиджаке и с палочкой. В дни больших технических побед о нем напоминали в газетах наравне с героями ударной стройки. Каждое лето завод отправлял его ремонтироваться в Кисловодск.

Еще год назад он сидел у Курилова за столом; Катеринка потчевала его семгой. Посещенье пришлось в выходной день. Старик выпил, разгорячился и цвел линялыми стариковскими радугами. Во хмелю он бывал обидчив и честолюбив благородным честолюбием труженика, горбом зарабатывающего право на почесть. «Такой я теперь человек, что все меня знают. Третьевость в П р а в д у пришел, а и там знают». Волнуясь и заново переживая, хвастаясь удачами и риском, он повествовал, как начинал свою бедную юность на Балтийском заводе (о-отличный завод!), по четвертаку в день, как скитался в жизни и даже заходил к одному святой жизни старцу (и старец, хе-хе, повелел мне заняться торговлей!), как ставил впоследствии литье на Мотовилихе, когда Колчак увел с собой литейных мастеров; как отливал на П у т и л о в е первый в Союзе

волховский ротор, а в Колпине знаменитые ахтерштевни для лесовозов, рулевые рамы, гребные винты для морских судов. Разумные стальные детки, созданные его рукою, жили и двигались самостоятельно на всех морях и дорогах страны... Ему вполне нравились жизнь и Москва в целом, и вид из окна, и советская власть (о-отличная власть, надо сказать!), и то ему нравилось, что для него одного поставлено столько еды и вина, а Катеринка оделась для него в новую вязаную кофту, а Курилов (бывший хоть и неспособным в учении!), питомец его, запросто заседает с наркомами. Его рассуждения были немножко крикливы, он размахивал руками, грозил кому-то (самому себе!) бросить все и разводить дроздов, едва ему стукнет шестьдесят пять. Успокоился он не прежде, чем опрокинул стакан... Курилов щурился на него, дымил трубкой и думал, что, наверно, при социализме будут жить только вот такие мастера, влюбленные в свое искусство, их подмастерья и ученики. И еще подумал про себя, что, хоть и высоко поднялся по общественной лестнице, никогда не испытает простецкого деминского удовлетворения, происходящего от близости к самому горну жизни.

— Бери меня назад, в учебу,— пошутил Алексей Никитич, рассматривая свои руки, давно утратившие чернорабочую грубость.

Арсентьич засмеялся, поперхнулся, закашлялся; синие жилки налились на висках.

— Что, аль тесен стал сановнику государственный камзол? — При случае он бывал ядовит на словцо. — Понимаю тебя, ты делаешь вещи д о л г и е, а я к о р о т к и е, так, что ли?

— Ну, и твои — долгие. Вот, скажем, сахар, что держишь в руках,— продолжал Курилов. — Простая вещь, сладкая, распилена на кубики. А надо посадить, пропахать, полить, прополоть, наверно — окучить, собрать, промыть, сварить его... Да еще вправить его в поток всего мирового хозяйства!

Арсентьич все еще улыбался, но теперь чужой, суровый старик сидел перед Куриловым.

— А ты избери работу полегше. Например, пальто стеречь. О-отличная работа! Оно, скажем, висит, на хорьке, а ты сидишь супротив и со вниманием и лаской наблюдаешь его. И очень хорошо вам обоим. — Так бранился он долго и, наконец, сжалясь над смущенным учеником, посбавил яду: — Выпей, Алексей, в твои годы не опасно. Мало пешком по жизни ходишь. — И тут же стал рассказывать про блюминг, заказанный его заводу. Должно быть, это было самое торжественное слово его

заката. Повесть была длинная, с отступлениями, неминуемыми при взволнованности: как рыли яму под бетонный кессон, как наткнулись на подпочвенные воды, как дрался с каменщиками, когда дренажный отвод они соорудили из кирпичной щебенки, и, в заключение, какое они, мастера, испытали сердцебиенье, когда многоручейная лава хлынула из ковша. Через месяц предполагалось литье второй станины.

— Таки костры возжжем — подпалим серенько уральско небо! — Азартные руки его дрожали, как у игрока, а Курилов слушал жадно: бесстрашие так же заразительно, как и страх.

Учеба не состоялась. Все обернулось по-иному: случилась ответственная командировка, потом заболела жена, потом опубликовали постановление о политотделах на транспорте. Новое назначенье оказалось лучшим лекарством от сомнений. Дорога была из самых длинных, самых важных, самых худших в стране. Строенная по частям, группами предприимчивых коммерсантов для обслуживания ближайших российских провинций, она всегда еле справлялась со своим грузооборотом. Состояние пути, паровозного и вагонного парков, дисциплины и подготовки кадров ухудшалось с каждым годом. Дорога прославилась классическими катастрофами; она содержала неистощимый материал для острословия, и утверждали, что по ней ездили преимущественно простаки.

Хозяйство куриловское становилось огромно; сюда входили заводы, депо, сотни станций; все остальное исчислялось в цифрах со многими нулями. С политической и экономической точки зрения линия продолжалась много дальше, и Алексею Никитичу всегда хотелось побывать на ее истинном конечном пункте. Он никогда не пользовался отпуском и перед выездом сумел договориться, где полагается, относительно месячного своего отсутствия. Словом, на этот раз давнее куриловское желание побывать на Океане как будто начинало сбываться.

ОН ЕДЕТ НА ОКЕАН

Его мечта свойственна была, наверно, всякому сухопутному человеку. Эта царапина на душе сохранилась еще с детства, от одной по складам прочитанной книжки. Ее написал совсем неумелый человек, и потому его взволнованной искренности не пожрали требования высокого искусства. Книга посвящалась разным морям на земле. Вперемежку с текстом раскиданы бы-

ли рисунки — то парусника с загадочным и манящим названьем, то молоденького юнги, что покачивался на рее над излучиной волны, то забулдыги боцмана; он скалил зубы, истертые о трубку, и звал людей испробовать от его скитальческой судьбы. И даже обложка книжки была пронзительно-синяя... Мальчишку захватили эти строки, хоть и не понимал полностью очарования вольных океанских сокровищ, не принадлежащих никому. Он прочел их не разумом, а сердцем. Так и осталось это на нем, как шрам, как памятная зарубка... Стоило пристальнее вглядеться в эволюцию ребяческого влеченья, чтоб постигнуть все остальное в Курилове. (Так в окаменелом куске янтаря, по волокнам плененного растенья, по пузырькам первородного воздуха, по чередованьям золотистых слоев читается повесть о чудесной юности мира.)

Мальчику взмечталось стать моряком. Он и во снах видел круглые синие просторы, неописуемые города на их побережьях, крылатые посудины в заливах. В дождливую пору разливался ручей под городком, где вырос Курилов; на нем-то и устраивали слободские ребята примерные сражения самодельных эскадр; бессменным адмиралом и корабельным мастером бывал у них Лешка Курилов. Но сезон, наиболее благоприятный для посещения первозданной родины мира, как таинственно и необхватно сказано было в книжке про Океан, миновал. Куриловская весна проскочила, как нахлестанная. Отец выписал его к себе в столицу. Мастер показал мальчику тиски и ящик с инструментами. Выдали табельный номер и научили, как опиливать головки прижимных винтов. Впервые Алексей заработал себе сапоги. Мечтание не возвращалось... В полном разгаре стояло лето жизни, когда снова вспомнилось об Океане. Воспоминание застигло его на телеге. Днище ее было застлано жаркой соломенной трухой. Армия отступала, по арьергардам лупили немецкие дальнобойки, раненых везли в тыл. Стоял июль. Солнце добивало недобитых. Где-то на полпути Курилова положили в доме ксендза. Скрипели колеса за окнами, и пели уцелевшие петухи. На тесовом потолке билось смятенное стрельчатое отраженье лужи. Мечта приступила внезапная, встрепанная, истерзанная бредом. Поднималась и падала прозрачная волна; он сам был на ее гребне. Потом затихала острая, такая прямая боль в груди, и ощущением зрелой океанской тишины наливалось обессилевшее тело.

Со временем наглухо зарубцевалась царапина детства. Самое понятие об Океане как о вольном множестве вод распалось.

В жизни вода пребывала в самом низшем своем качестве: ее наливали в ванну, в тендерную коробку паровоза, в стакан с лимоном; иногда также она неопрятно падала из тучи. Вдруг он снова заболел Океаном. Случилось это на совещании по топливу,— Курилов был тогда председателем облисполкома. Недогрузка угля и нефти совпала с прорывом по торфу и дровам; заводы целой области сбивались с плана. Ломило голову после ночи, потраченной на подготовку к докладу. Сараистой этой комнаты не проветривали никогда. Все в ней, даже чернила, пропиталось вонью стоялого табака. Курилов вел заседание, открыл окно. Мокрый океанский сквозняк ворвался сюда с разбегу. Завихрились занавески, по-птичьи затрепетали ожившие бумаги, где-то хлопнула с дребезгом стеклянная дверь, курьерши помчались по коридорам. Капли дождя упали на картонные папки, оставляя пухлые желтые кружки... Океан был осенний, тревожный, он старел. Срывало корабли с причалов; все доступное глазу двигалось: в зеленоватых распадах волн не успевали отражаться дымчатые бегучие облака. Оппонент демонстративно поднял воротник пиджака, четыре фурии ворвались в разные двери, Океан закрыли.

Вот в последний раз представлялась возможность побывать на его берегу. В вагоне Курилова висела карта страны. Он следил по ней за ходом мотрисы... Вагон успел пройти две трети Волго-Ревизанской, когда Алексея Никитича нагнало сообщение из Москвы. Катеринке было плохо. Телеграмма была подписана сестрою. Курилов побаивался этой знаменитой старухи. Суховатая, своенравная, прямая, она не терпела возражений. Эта женщина не имела личной биографии; отдельные этапы ее обозначались общественными и партийными датами. И если Клавдия любила кого-нибудь из живых, то одну лишь Катеринку.

Телеграмму принесли на разъезде, когда Алексей Никитич вышел посмотреть, как тут, в глуши, делается жизнь. Пыхтела местная лесопильная установка. Наливная рябая девка в белой мордовской рубахе несла две доски на плече; они плясали и прогибались в такт ее шагу. Кроме того, беременная женщина развешивала белье на плетне, и посвистывали какие-то соответственные сезону птицы. Курилов спрятал бумагу в карман и, горбясь, вернулся в вагон.

Не задерживаясь нигде, наводя трепет на районных диспетчеров, мотриса мчалась назад. Линялые чувашские леса провожали ее бегство. Куриловский Океан снова оставался позади.

Телеграмма пришла по дорожному селектору, и на станциях уже были осведомлены о переменах в семейном положении начподора. Начальники находились на своих местах; они прикладывали руки к козырькам, когда стремительный, с приспущенными шторками, вагон ракетно проносился мимо. Дверь к Алексею Никитичу была закрыта. Транспортные сутки начинались в восемнадцать часов. В середине двадцать первого сюда с пачкой телеграмм входил старший ревизор движения. Он просил разрешения доложить предварительную сводку работы.

— Сколько погрузка?

— Две тысячи семьсот. — И смотрел, как в узкой щели под шторкой мчится осенняя горелая лента насыпи.

— Плохо. Прием с других дорог?

— Четыре тысячи триста. Сдано пять тысяч ровно, Алексей Никитич.

— Ладно. — Он становился совсем путейцем; неудачи соседей помогали ему привести в порядок свой собственный вагонный парк. — Почему мы идем так плохо?

— Мы не плохо идем, товарищ начальник. Подстегнуть — не останется от нас ни рожков, ни ножков... — Ревизор был из бывших машинистов.

— В былое время я делал в этом вагоне больше. Позовите секретаря.

Фешкин вырастал в двери, пряча в рукав папироску.

— Запишите, Фешкин. Выяснить, с какого времени на шестом участке работает обходчиком Хожаткин. И еще: вызвать ко мне в Москву Протоклитова, начальника черемшанского депо. Попутно наведите о нем справки где следует... записали? Принесите пачку табаку со стола.

Так он сидел взаперти, глядя в точку перед собою. Газетные сообщения старели с каждым километром пути. Книг не было. У Фешкина отыскался Дюма, но Курилову было не до мушкетеров. Проводник нашел за креслом узелок в наволочке: багаж гражданина Похвиснева завалился туда в суматохе. Сутки находка валялась перед Куриловым, дразня его грязноватой оберткой. Случайно он прощупал там полотенце, мыльницу и книги. Он обрадовался: книги — как колодцы в пустыне, они принадлежат всем!.. Верхняя, самая толстая, оказалась историей религий. Со скуки Курилов полистал ее. Полтысячи по-немецки добросовестных страниц сопровождались картинками. Это был наиболее полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого. Выяснялось, что агонии

их длились столетиями. Можно было проследить, как медленно спадала с человека первородная шерсть, как пытался он охватить природу своими неумелыми руками, как трудно поднимался с четверенек будущий хозяин земли. Все это были автопортреты давно исчезнувших народов. Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога. Там были крылатые, с неистовым оком в затылке, чтобы человек не напал сзади; в подобии равнодушной женщины, украшенной панцирем из грудей; в виде мохнатой ноздри, вдыхающей жертвенный дым, или, напротив, в образе мглистой сферы, полной скошенных в непрестанном движенье глаз; боги тридцатирукие, по числу человеческих ремесел, песиглавцы, быки, циклопы, слоны со священным пятном на лбу (и занятно проследить, во что отложился и сформировался на протяжении нескольких месяцев этот образ в сознании Курилова), волчицы, змееглавые тетрахироны, колючие африканские эвфорбии с ядовитым млечным соком и, наконец, просто незамысловатые чурбачки; жертвенной кровью были нарисованы на них щелеватые остяцкие глаза и жадный рот, достаточный поглотить самого себя.

В былое время Курилов неоднократно на больших армейских митингах путем обычного голосования выяснял вопрос: есть бог или нет? Осложнений, как и оппонентов, никогда не случалось. В те годы солдат Курилов не предполагал, что религия может стать предметом серьезных научных расследований. Правда, его всегда удивляло, почему голод и чуму варвар неизменно почитал за даяния божества, а дьяволу приписывал компас, медицину и типографский станок; почему в честь юродивых воздвигались храмы и учреждались ордена, а гениев своих человечество сажало поглубже в землю и жгло на кострах; почему Джордано Бруно был объявлен циником, а Эванс — сумасшедшим, Соломон де Ко заперт в сумасшедший дом, а Симпсон, применивший хлороформ при родах, и Дженнер, введший оспопрививание, объявлены слугами дьявола. Должно быть, всегда владела человеком темная и жадная надежда выиграть истину через интуицию, кратчайшим путем. Вдруг Алексею Никитичу представилось, что когда-нибудь в эту книгу войдут страницы, написанные о нем самом. Он усмехнулся, ему стало интересно, он листал дальше.

За мрачной ночью человечества пришла Эллада. Со страниц книги поднялось солнце. Прежде чем научиться думать, люди учились улыбаться. Курилова вдоволь потешили картин-

ки эллинской космогонии. В лавровых рощах резвились розовопятые богини; на высокой центральной горе пировали с выдвиженцами и родственниками здоровенные мужики, Гомеровы игрушки, боги-выпивохи, боги-жулики и военного звания боги. С наивной и беспечной точностью была разграфлена вселенная, и только Харон, перевозчик на иной, безветренный берег, омрачал веселое повествование об Элладе. От румяного животного хаоса отслоилось первое грустное познание самого себя. Познав улыбку, люди научились пугаться ее утраты. Незнакомый с бытовым строеньем древности, Курилов представил себе Харона на русский образец. С круглым щербатым лицом, в солдатских обмотках, Харон сидел на корме дырявой ладьи, подстелив под себя рядно, скручивал махорочную ножку и вонял; облезлая армейская манерка — вычерпывать, что натечет из щелей,— валялась у него в ногах. Курилов захлопнул книгу и, как был, в шлепанцах и без гимнастерки, стукаясь о стены, отправился пить боржом.

Темный чад образа преследовал его до ночи. Что ж, такой аккомпанемент соответствовал цели поездки. По существу, Курилов возвращался на похороны. Он торопился отдать последний поклон человеку, с которым прожил двадцать три честных, ничем не возмущенных года. Эта женщина дружески заботилась о нем, это была его последняя хорошая женщина. Нетрудно было вообразить, как вслед за длинным ящиком пойдут они вместе с Клавдией; она еще жестче сомкнет губы и ни слова не промолвит ни о чем. За тридцать с лишком лет подпольной работы она хоронила и не такое! Садный гриппозный ветерок понесет им в лицо бумажки и пыль... Он позвонил сестре еще с вокзала. Бранливым голосом она упрекнула его за опозданье. Катеринку сожгли накануне. Подробности были обычные. Кроме того, у Клавдии шло заседанье; она положила трубку. Оба знали, впрочем, что в тот же день встретятся в столовой партийного комитета.

Она присела к его столику просто, точно виделись еще вчера. Пахло едой, все спешили. И опять Клавдия не сообщала ничего о последних днях Катеринки. Молча они хлебали борщ. Дальше их меню раздвоилось: сестре запрещено было мясо. Курилов изредка взглядывал на Клавдию, на ее сухие, поптичьи тонкие, точные в движеньях руки, на ее волосы, стянутые в тугой и маленький, как, бывало, у земских учительниц, пучок. Она не стригла волос, чтобы не следовать моде; вместе с тем она укладывала их так плотно, как будто боялась, что в

ней заподозрят женщину. Тютчев был несправедливо зол, утверждая, что она напоминала Фукье-Тенвиля. Возможно, острослов имел в виду желчную и резкую прямоту знаменитого прокурора, но не желтое, кабинетное его лицо. Обращала на себя внимание моложавая свежесть впалых старухиных щек.

— Что всматриваешься, приглянулась?

— Как мало меняешься ты, сестра. Ты как русская баба. Они бывают только трех возрастов: десяти, двадцати трех и пятидесяти лет. И перемена происходит сразу, в один день. — Он заметил ее иронический взгляд и каким-то сложным путем перекинулся на другое. — У меня были занятные встречи в эту поездку.

Она подняла глаза и ждала.

— Во-первых, я отыскал Протоклитова... кажется, сына того генерала, который, помнишь, в разное время судил нас обоих.

— Председателя судебной палаты? — Она не удивилась: борьба в стране еще не была закончена. Лицо ее осталось равнодушным. И не то чтоб примирилась, но просто мстить отпрыску врага за преступления целой политической системы не пришло ей в голову. — Ну, и что он?

— Он у меня в депо. По всей видимости, неплохой работник. На чем-нибудь сорвется, конечно... Буду с ним говорить на днях. Любопытно, сохранились ли у сына длинные желтые отцовские зубы.

— О, зубы Протоклитова! — И жесткая улыбка шевельнула рот Клавдии.

Алексей Никитич долго смотрел на котлету, точно не понимая ее назначенья.

— Потом Омеличева встретил. Он обходчик на путях... назвался другой фамилией: тоже н о в а я жизнь! Мужик прокис, но рана еще гноится. Кстати, ты не получала писем от Ефросиньи?

— С чего она станет писать мне?

— Все-таки сестра...

— Не дразни меня, Алексей. — И заговорила не прежде, чем допила свой кисель. — Что же ты о н е й ничего не спросишь?

— Все понятно, Клаша. Мне жаль Катеринки.

Прищурив глаза, сестра смотрела куда-то мимо Курилова.

— Жаловалась накануне, что так и не показал ты ей ледохода...

Она попросила довезти ее. Собственный ее старинной системы автошарабан не выходил из ремонта. Они пошли к выходу. Толстяк в чесуче, хохотавший с приятелем, значительно поубавил веселья,— Клавдия не терпела любителей советского анекдота. Официантка почтительно посторонилась в дверях. Не видные под длинной юбкой, чуть поскрипывали на старухе башмаки. В машине она сказала в пространство перед собою:

— ...будешь жениться?

Нет, у него просто не было времени подумать об этом!

Она пояснила:

— Вам не сидится в этом возрасте.

— Я так полагаю, что для Катеринки это теперь безразлично, а?

Сестра не любила, когда против нее употребляли ее же оружие.

— Лицо у тебя нехорошее. Устал?

Нет, не усталость! Но вот навалился урожай, а дорога не успевает оборачивать порожняк. За десять последних суток набралось двести шестьдесят случаев несвоевременной подачи паровозов. Из пятисот вагонов, пригнанных в Улган-Урман под хлеб, шестьдесят два процента без крыш, а в двадцати на вершок угольной пыли. Машины по выходе из ремонта имеют до семидесяти дефектов. У директора паровозоремонтного завода татуировка на руке в виде двуглавого орла... «С некоторого времени поезда ходят по моим собственным нервам». Но все это вышло бы слишком длинно в перечислении. И он сказал только, что схватил простуду, наказанный за ребячество прокатиться на площадке паровоза.

— Надо беречься. У тебя и пальто холодное,— упрекнула Клавдия.

— Ничего, у меня пуговицы на меху.

Она поняла его шутку так, как ей хотелось.

— Ну, рада за тебя. Ты хорошо держишься. — И, не дожидаясь подтвержденья, захлопнула за собою дверцу авто.

ЖМУРКИ

Куриловы жили уединенно,— друзей они не видали подолгу. Все это были люди, раскиданные по периферии: Курилова чуть не ежегодно перебрасывали с места на место. Два боль-

ших кольца сделал он вокруг столицы, прежде чем получил свое последнее назначенье. Как и большинство куриловских современников, друзья узнавали новости друг о друге единственно из газет. Одно значительное и постороннее обстоятельство заставило их в эту пору съехаться в Москву. Тотчас по возвращении Алексея Никитича они наперебой звонили ему на службу. Они торопились услышать его голос, не убавилось ли в нем бодрости после Катеринкиной смерти. Впрочем, никто не спрашивал ни о чем, а Курилов избегал отвечать па незадапные вопросы. Самых близких приятелей он спроваживал на один из ближайших выходных дней. Пускай, пускай пошумят они в его огромном опустелом доме!

Ничего не изменилось там, но самое эхо комнат стало иное. К пустоте в квартире он привык и раньше, но теперь еще не изведанная пустота прошла совсем рядом. И хотя, уходя из жизни, Катеринка не оставила следов по себе, как в зеркале, куда так часто и испытующе гляделась в начале болезни (и всегда муж посмеивался: вдруг стала заботиться о красоте), все здесь напоминало о ней. По существу, ему нечего было делать дома, но в служебном кабинете не на чем было спать. Он возвращался сюда только ради кровати. По счастью, он никогда не страдал бессонницей.

За этот срок образ покойницы как бы тинкой заволокло. И только один человек дальними, окольными путями напомнил ему о Катеринке. Однажды он вошел к Курилову без доклада и чумазыми кулаками оперся в стол.

— Моя фамилия Протоклитов. Вы вызывали меня, начальник.

— И даже дважды!.. У меня создалось впечатление, что вы избегаете меня.

— Это неверно, незачем! Я вернулся в Сакониху час спустя после вашего отъезда,— с достоинством и без подобострастия объяснил он. — Я слушаю вас, начальник.

— Садитесь, я сейчас освобожусь,— не подымая головы и посасывая потухшую трубку, бросил Курилов.

Перед ним лежал финансовый план дороги, поставленный на вечернее обсуждение в наркомате. Такого рода заседания бывали в особенности боевыми. Дорога давала дефицит. Курилов просматривал листы в последний раз, ставя на полях отметки цветным карандашом. Внимание его раздвоилось. Он услышал чирканье спички и вслед за тем ощутил дым дурного табака. И тотчас же крупным планом увидел перед собою по-

лыхающую спичку. Сперва он не понял даже, что ему давали прикуривать. Спичка догорала. Черный, вроде спорыньи, рожок угля гнулся в сторону; пламя лизало протоклитовские пальцы, но они оставались неподвижны. В складках кожи чернела застарелая паровозная копоть.

— Мерси,— сказал Курилов. — А то у меня всегда воруют спички.

Он поднял голову.

В сереньком свете осеннего денька он смог разглядеть этого человека лишь поверхностно. Протоклитову вряд ли было больше тридцати девяти. Для своего роста он был неплохо сделан. Широкая грудь в клетчатой спортивной рубахе нависала над столом, как угроза. Две глубоких морщины, похожих на надрезы, просекали его лоб, невысокий, очень впалый на висках и выпуклый в надбровьях; третья, более короткая, обозначала рот. И рта было ровно столько, чтобы говорить мало слов и просунуть пищу. Спокойная, расчетливая воля светилась в глазах. Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайностей в жизни. Игра, которую он вел, была огромна.

Курилов знал о нем мало. Вскоре после декрета о политотделах на транспорте Протоклитов подал заявление об уходе с дороги. В его расчеты, наверно, не входило, что оно попадет в руки начподора как высшей партийной инстанции на дороге. Столкновение стало неминуемым. Этот человек принял вызов.

— Итак, я прочел вашу просьбу,— начал Курилов и откинулся на спинку кресла. — Имеете намерение уходить с транспорта?

— Да, у меня есть причины.

— Они секретны?

Тот удивленно приподнял бровь.

— Я ответил бы на это как следует, если бы вы не были начальником. Я партиец. — Он откинул куда-то во впадину виска острую прядь темных волос. — Действительно, я хотел переменить профессию. У меня есть способность к изобретательству. Я собирался подучиться и заняться этим делом вплотную.

Энергично, наотмашь, Курилов смахивал со стола рассыпанные крошки табака.

— Вам везет,— сказал он мягко. — Транспорт наш как раз такая область, где вы с успехом сможете применить ваши способности.

— Я предполагал, что человек вашего положения смотрит на это дело шире.

— Нет, мне нечем похвастаться в этом смысле. Время тревожное. Оборот вагона достиг шести суток, и вот,— он хлопнул ладонью по докладу,— мы выходим из драки с годовым убытком в одиннадцать миллионов. Морально мы с вами отвечаем за это поровну. Не огорчайтесь, вы еще молоды, и у вас есть время показать себя на транспорте! — По-видимому, Курилов не желал выпускать Протоклитова из пределов наблюдения своего и власти.

Начальник депо сдавил папироску между пальцев; осыпались искринки. Он стряхнул их с колен и поднялся.

— Жаль. По существу дела, вы правы, товарищ начальник! — И взялся за шапку.

Он носил кубанку с кожаным донцем, она ему шла.

— Погодите, я еще не кончил,— на полпути остановил его Курилов и выждал, пока тот снова не занял прежнего места. — Мне хотелось ближе познакомиться с вами. Странно, что, будучи партийцем, вы так легко смотрите на эти вещи: уйти, остаться. К слову, вы давно в партии?

— Шесть лет.

— Все время в депо?

— Нет, три года ездил машинистом, потом работал инструктором-механиком. В депо я пришел полтора года назад.

— Вас не любят в депо.

— Да, меня боятся,— холодно и кратко согласился Протоклитов. — Я командир, и дело наше почти военное: дорога на восток. Люди несговорчивы. На протяжении истории сколько их резали, жгли, топили, и как туго они всегда подавались вперед! Людишки любят, чтобы им приказывали. А можно было бы втрое быстрее вести дело. Люди — мозгляки, они не умеют даже голодать...

— Вам не следует говорить таких слов. Кроме того, это и не обязательно для них!

— Конечно. Я и сам сработан из того же теста...

— Вы недовольны и собою?

Тот имел право не поддерживать беседы такого свойства, Курилов дружественно кивнул ему:

— Скажите, вы сами не с Алтая? — Вопрос был ложный, он сбивал с толку.

— Нет.

— ...и не с Камы?

— Это не совсем соседние области, товарищ начальник. Я вижу хитрость и не могу понять, зачем она так неуклюжа. Нет, я волжанин.

Его ответы заслуживали похвалы за сухую и ясную точность. Чужаки, которых и раньше приходилось разоблачать Курилову, были покустарнее... Устроили небольшую передышку. Беседа пошла о работе депо. Показатели по ремонту, промывке и подаче паровозов были в Черемшанске вполне приличны. Курилов похвалил. «Служим революции»,— усмехнувшись, откликнулся Протоклитов.

— Пересыпкин говорил мне, что вы противились помещению вашего портрета в газете.

— Я считал это отличие лишним, товарищ начальник. Я не делаю ничего, чего бы не могли и другие. К сожалению, конечно!

— Да... но мы на лучших примерах воспитываем отстающих.

— Я слышал про это. У меня своя точка зрения, когда дело касается меня самого. К слову, я не коренной пролетарий. И вообще это не деловой разговор!

Курилов пристально взглянул на него, и тот бесстрашно выдержал взгляд. «Гляди, гляди, старик, привыкай ко мне!» — читалось в ответном взгляде.

— У вас плохой табак, возьмите моего. — Он перебросил Протоклитову кисет, и реплика его прозвучала так: «Вы мужественный человек, зачем вам прятаться? Дайте мне уважать вас». — Вы и раньше работали на транспорте?

— Когда раньше?

— До революции, например.

Протоклитов скручивал самоделку; не упало и крупинки из его ловких и длинных пальцев.

— Вас, видимо, не на шутку интересует моя личность, товарищ начальник,— засмеялся он, делая вид, что конфузится такого внимания. — Но жизнь моя переполнена событиями, ничем не замечательными. Детство мое идеологически не выдержано. Отца почти не помню, мать была очень набожная. Впрочем, если бы не религия, она давно подвесила бы себя на одном из тех крюков, на котором навязывала бельевые веревки.

Постоянное общение с веревкой, как и с ножом, будит мысли, товарищ начальник... вы не замечали? Она была прачка, в земской больнице. Ночью, бывало, разбудит меня, лохматая, страшная, кричит...

— Она была больная?

— Она была пьяная — иногда она запивала. Тогда она требовала, в слезах, чтобы я читал ей вслух всякие патерики, сказания о святых отцах и прочие церковные выдумки. Ветер, ночь, подвальное окно снегом заносит, вонь: общественная уборная помещалась у нас в коридоре, дверь в дверь... Я читал ей какого-нибудь авву Дорофея, Максима Великого. Зевота до корчей, обоим непонятно, но она сидит против меня и плачет. Я никогда не видал, чтобы столько зараз вытекало через глаза! Но, знаете, Курилов, все матери — славные женщины. И я разбил бы лицо тому, кто сказал бы про мою дурно. Теперь я уже простил ей все — и свой ночной испуг, и эти бессонные сидения. Впрочем, многое из прочитанного нравилось и мне самому. Мне тоже хотелось жить в лесах, в каком-нибудь кедровом дупле, запросто беседовать с богородицей, останавливать взглядом диких зверей... словом, зарабатывать то царствие, о котором, помните, сказано у Иоанна Лествичника?..

— Как же, как же! — с поспешностью, как зачарованный, поддержал Курилов. — У него, у этого Ивана, прекрасная одна формула есть: в чем найду тебя, в том и буду судить!

И он взглянул в упор, но тот продолжал как ни в чем не бывало:

— ...после смерти матери (она опрокинула на себя котел с бельем!) я ушел в Сибирь. Туда меня давно влекло. Это теперь мы там понастроили, а раньше туда ходили за приключениями. — Он комически развел руками. — Вот уже целое паровозное хозяйство на руках, а все еще тянет промерить тайгу до самого океана.

— Все мы были детьми,— сочувственно сказал Курилов, потягивая понемножку сладкую горечь табака.

— Дальше началась жисть. Я не шибко грамотен в марксизме, я диалектику больше по жизни изучал. Долго шатался, обовшивел весь; потом один чиновник принялся меня воспитывать. В общем, собирался из меня такого же подлеца вырастить, каким был и сам. Взяточник, сыщик... а что жену свою делать заставлял! Впрочем, благодаря ему я три года проучился в иркутской гимназии. Не бывали в Иркутске? Напрасно, непременно побывайте... Сбежал я от него; взял на дорогу

новый его пиджак, портсигар и сбежал. Служил в трактире балбеской в полотняных штанах, по приискам скитался. Много позже устроился на Уссурийскую дорогу в ремонтную колонну, подручным по забивке костылей. И тут уронили раз книгу из поезда, а я поднял. И прочел, и жадность меня взяла все на свете ощупать... Но скоро попал в компанию; тут выгнали меня за выпивку. Материнское пристрастие сказалось!.. — Он озабоченно взглянул на Курилова. — Это у меня еще до вступления в партию было. Теперь я ни капли не беру. Ничего, что я так вкратце?

Зябко засунув руки между колен, он как-то жалостно улыбнулся, и восхитил Курилова этот умный, математически показанный разрез человека. Да, этот человек видел много, усвоил еще больше и уж, наверно, недешево заплатил за такое бесстрашие взгляда. «Ничего, мне и этот орех по зубам!» — думал Курилов, не сдаваясь.

— Высшее образование вы получали потом?

— Нет, я почти самоучка. Упорство — главное мое качество, а книги всегда бывали у меня основной статьей расхода. Ближе книг нет у меня родни.

— Но почему же... — усомнился Курилов. — Такая культурная семья, а сына не учили... Ваш родитель, я слышал, был видным чиновником при губернаторе?

Протоклитов ждал, что Курилов применит какой-то встречный маневр, но не думал, что это произойдет так грубо. Трубочный табак плохо курился в папиросе. Молчание длилось ровно столько, чтобы спичкой уплотнить самокрутку. Потом гость улыбнулся, и Курилов узнал знакомый желтоватый оскал зубов.

— Мне не очень нравится весь тон беседы, начальник,— сказал Протоклитов спокойно, но кожа кресла захрустела под ним. — Я вижу вас впервые. — И это была правда! — Мы не приятели и не сидим за бутылкой вина. Видимо, я мало жил, плохо смекаю. Вы всех служащих протаскиваете через такой допрос или я один не внушаю вам доверия? Вам знакомы — мое лицо, мои слова, моя фамилия?

— Ну, вот уж и рассердился! — дружелюбно рассмеялся Курилов.

Он встал, прошелся по комнате, открыл окно, выглянул наружу. Лужицы в человечьих и конских следах вздрагивали от капель измороси. Дерево линяло. Парочки не было,— хорошо!

— Я не обидчив,— говорил Протоклитов,— но ты упорно путаешь меня с кем-то. Я ведь понял, для чего ты начал этот разговор. Угодно тебе слушать басни мои дальше? Но или я высокого давления жулик, или твоя память стала расклеиваться с годами. — Он уже не решался действовать прежним методом нагромождения подробностей и вести борьбу на то, кто утомится первым. — Моя фамилия Протоклитов, ты припомни! Вообще говоря, эта фамилия довольно редкая; мне говорили, в основе ее даже греческий корень. Но в Москве имеется еще какой-то Протоклитов, не то гинеколог, не то артист... кажется, довольно известный. Потом один из черниговских архиереев был тоже Протоклитов, Герасим или Иона, не помню. А с этим гинекологом, я смотрел, даже инициалы мои совпадают. Из нашей же семьи, кроме меня, не осталось мужчин. — Он снисходительно усмехнулся. — Да ты разъяснись, чудило, а то нескладно выходит!

Видно было, его терзало простецкое любопытство, с кем именно его спутал Курилов, и тот охотно шел ему навстречу.

— Понимаешь, ты напомнил мне одного чиновника царских времен...

— Пойми же, человечина, не мог я быть царским чиновником. — И, зайдя за стол, дружественно хлопнул Курилова по плечу. — В год объявления войны мне было восемнадцать лет!

Приличнее было для обоих объяснять интерес Курилова личной симпатией к незаурядному партийцу. Но — «Вы далеко пошли бы, Протоклитов, если бы я не попался вам на дороге!» — таков был смысл последней куриловской улыбки.

— Товарищ начальник имеет еще вопросы к обвиняемому? Меня ждут в депо.

Да, тот имел. Не менее всего предыдущего интересовала Курилова подготовка к соревнованию на переходящее знамя и еще — как осуществляется в черемшанском депо постановление ЦК о перестройке работы транспорта. Начальник очень искусно показал свое раскаянье в неосновательных подозреньях, а Протоклитов как-то слишком быстро поверил ему. Все это походило на неписаное перемирие, и когда через десяток минут тот вышел, Курилов не сомневался в правдивости своих догадок.

Затем он слушал, что происходило в приемной. Вплотную эта скверная дверь никогда не притворялась. Кто-то спросил у секретаря (и голос был похож на пересыпкинский):

— Слушай, Фешкин, что это?

— Бумажка, как видишь! — ответил Фешкин. — Не тереби ты мою душу.

— Но я и спрашиваю, что за бумажка?

Все секретари Курилова бывали нетерпеливы с посторонними.

— Я ж тебе излагаю в популярной форме: один старик забыл в вагоне Алексея Никитича книги. Велено узнать адрес старика, я узнал. Понятно? Катись теперь... — И вдруг: — Эй, товарищ, частные разговоры с этого телефона воспрещены!

— Я по служебному делу. — И этот голос принадлежал уже Протоклитову.

Начальник депо вызывал черемшанский коммутатор. Он предупреждал своего дежурного, что покончил дела в дирекции и выезжает немедленно. Слегка отклонясь в сторону двери, Курилов слушал этот голос, глуховатый и с машистым разбросом слов. Теперь был похож и голос. И если бы не опасение, что раскрылся слишком рано, думать о Протоклитове доставляло ему темное и волнительное удовольствие, понятное рыбакам, птицеловам и охотникам, когда уже на прицеле добыча. Голос напоминал Курилову об удивительной поре: у него тогда хватило мужества выслушать суровый приговор с песней и с такой усмешкой, что председателю суда мигренилось до поздней ночи. И тут-то вставал в памяти рассказ Катеринки, как ходила к старику Протоклитову просить о свиданье с мужем и как скверно пошутил тот насчет домашней замены отсутствующего дружка.

Обида имела свыше чем двадцатилетнюю давность. Совсем выдохся яд той равнодушной и цинической издевки. Не в привычках Курилова, всегда небрежного к врагам, было бы желать поздней и бесстрастной расплаты. Но выстрел должен был произойти независимо от воли уже потому, что добыча начинала двигаться под прицелом. Следовало только фактически установить родство этого железнодорожника с тем статским генералом. За это, правда, говорило и совпадение фамилий, и несвойственная чину интеллигентность Протоклитова, и, наконец, то, что с дороги он задумал бежать как раз при появлении Курилова. Внимательный разбор последнего обстоятельства и сбивал Алексея Никитича с толку. Через руки председателя судебной палаты прошло слишком много всякого кандального народу, чтоб он запомнил вихрастого, задиристого паренька да еще рассказал о нем сыну годков через шесть, когда тот

подрос... Словом, Курилов гнался за ним потому лишь, что тот убегал.

Будь беспартийным протоклитовский сын, Курилов нашел бы предлог без шума выкинуть его с дороги. Бок о бок находиться с ним в одной партии нравилось ему еще меньше. В эту минуту он нечаянно увидел раскрытую телефонную книгу на подоконнике. Подчиняясь еще не осознанному влечению, Курилов полистал ее лениво. Там действительно значился еще один с такой же фамилией, какой-то профессор с Чистых прудов. Решаясь на дополнительное исследование, Курилов притворил дверь поплотнее и позвонил туда. Соблазняла легкость приема, каким ловилась жертва. Требовалось только узнать, нет ли у профессора брата-транспортника. Лживость одного этого пункта означала бы порочность всей протоклитовской биографии... Долго не отвечали. Потом голос, торжественный и гулкий, точно из готического собора, спросил, что и кому нужно.

Курилову везло, однофамилец был дома.

— Я Петроковский,— наспех выдумал Курилов и ждал, что из этого получится. — Мы виделись мельком, и при вашей загруженности работой вы вряд ли помните меня.

Профессор ответил не сразу. В раковине трубки шипело и шевелилось их собственное дыхание. Потом стали бить часы. Машинально Курилов сверил их со своими. Профессорские отставали на четыре минуты.

— Нет, сейчас отлично припоминаю. Я сперва не узнал вашего голоса. Вы относительно вашего отца?

Удивительно, как гладко и удачно налаживалось это знакомство.

— Да, я насчет отца,— наугад согласился Курилов, рассчитывая всунуть свой вопрос где-нибудь в конце беседы.

— Он умер сегодня на рассвете,— строго сказал профессор-однофамилец. — Третьего дня его оперировал сам Земель. Мой диагноз подтвердился на вскрытии: гипернефрома! Болезнь была так запущена... Он погиб при обычных для уремии явлениях.

Профессор ждал дополнительных расспросов; родственники любознательны, но Курилов как бы забыл про заготовленный вопрос. Известие о смерти выдуманного Петроковского не только настораживало. Правда, оно не испугало его. (Ему однажды довелось прийти с обыском в дом, где стоял покойник, обыск состоялся.) Это известие почему-то расслабило его. Он

не клал трубки. С полминуты Протоклитов слушал его дыхание, потом произнес утешительно, что этого следовало ждать. Их разъединили. Курилов рассеянно взглянул на часы. Времени оставалось в обрез, чтобы выслушать сводку, принять редактора дорожной газеты Алешу Пересыпкина, который уже буйствовал у секретаря, и отправляться в наркомат.

Вошел Фешкин и сказал, что машина подана.

БРАТЬЯ ПРОТОКЛИТОВЫ

Первая часть протоклитовской биографии, пока действовала инерция социального происхождения и полученного воспитания, действительно изобиловала вредными подробностями. Они были недостаточны, чтоб столько лет спустя умертвить его физически, но их хватило бы, чтобы он споткнулся о них на всю жизнь. Конечно, то была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми и студента путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками. Еще в юности Глеба отличала от товарищей положительная трезвость взглядов. И раз не удалась путейская карьера, стоило сделать попытку отыграться на другом. Глеба не на шутку увлекла карьера национального героя. Кое-кто из бывших приятелей мог бы многое порассказать о делах и намерениях молодого поручика, по счастью не осуществленных никогда. Ему пришлось на собственном опыте изведать изменчивость политического успеха, нюхнуть власти и дать ее почувствовать другим, а потом узнать горечь поражений и разочарований.

Мирный городок из глубокого тыла передвинулся вдруг на передовую позицию самого грозного из фронтов. Он стал столицей всего Приуралья, и обыватель последовательно знакомился с ужасами российской контрреволюции, а затем с механикой партизанской войны и суровой логикой народного гнева. Белый фронт закачался и заскрипел. Получив распоряжение об отводе своей части, Глеб Протоклитов зашел проститься с отцом. Действительный статский советник сидел на скамеечке в уборной и спускал в трубу какие-то бумаги. Он бегло просматривал их при этом и вполголоса разговаривал сам с собой.

— Папа приводит свои дела в порядок?

— Всякий за своим делом. «С ношей тащится букашка, за медком летит пчела»,— ворчливо процитировал старик, не

оборачиваясь к сыну. — Говорят, вас под Казанью шарахнули? Что у вас там, всё бегствуете?

— Назначена общая эвакуация, отец.

— А, пора кончать, надоело. Ночью стреляли, я не спал.

— Матросы... нарвались на заградительные огни. Многие взяты живьем.

— Да, я видел, как вели утром. Имей в виду, никогда не оставляй позади себя обиженных... живыми. Наше поколение этого не понимало. Вот я просматриваю всякое старье... — Он с вожделением ненависти погрузил руку в архивную пачку, ожидавшую его расправы. — Сколько их прошло через мои руки... и горько обнаружить к старости, что и ты был таким же гуманистом, правдоискателем, русским дерьмом!

Отец был очень стар. Обострившимся взором Глеб попеременно смотрел то на желтые, редковолосые складки старческого загривка, то на крючковатые, подагрические пальцы. Старик ушел в отставку всего четыре года назад; сейчас он подводил итоги своей многолетней деятельности. Протоклитовы никогда и ничем не обманывались. Все становилось ясно. Городок уже горел; при Пугаче занималось с той же стороны. Осадное положение было объявлено три дня назад. Ни смех, ни людская речь — один скрип повозок и лафетов доносился сюда. Старик заговорил не прежде, чем дочитал какую-то бумагу.

— По прямому назначению! — сказал он, и труба зарычала. — Любопытная эволюция понятий. Каждое высокое звание, которого люди добиваются с риском для жизни, когда-нибудь становится ругательством. Так случилось со словом интеллигент... Прости, что ты сказал?

— Я спрашиваю, хочешь со мной? Я постараюсь устроить тебя в обозе. Остальное, к сожалению, зависит не от меня.

— Не стоит, милый. Туда можно доехать короче,— ворчливо и растроганно бросил старик, вспарывая новую пачку. Впрочем, он поднялся обнять сына. — Извини, что принимаю тебя в таком месте. Тяжко тебе?

— Да, вы оставляете нам мир в скверном состоянии... и мы не умеем отказаться от наследства. Я хотел строить железные дороги, изобретать паровозы, отец, а меня заставляют...

— ...работать на социальной эпидемии? — засмеялся старик. — Ничего, и еще раз запомни: бойся уцелевших обиженных. Иди... Встретишь Илью, скажи ему, что он интеллигент и дурак, а кроме того, перебежчик. Балда, кому поверил: большевикам! И если господь не благословит его пулей в затылок

заблаговременно, его обстригут, дадут два раза по шее и выгонят... Ну, дай я перекрещу тебя. Ступай... — И пихнул в плечо с плаксивой и бессильной лаской. Он тоже торопился: личные его архивы были громадны, а часа через два красные части должны были вступить в городок...

Глебу пришлось принять участие в одном из самых лютых отступлений. Сибирь взрывалась на каждом шагу. Когда осатанелые, почти — крылатые советские командармы стали настигать, он спрыгнул с бронепоезда и бежал в ночь. По нему стреляли свои же. Провидя все наперед, он добровольно отказался от ладных сапог и верховой лошади, полагавшихся ему по чину. Со споротыми погонами, коверкая речь и обличье, в раскромсанных сапогах, потому что опухали ноги от беспрестанного бегства, Глеб отступал вместе со своей солдатней... Потом он искал новых знакомств и обдумывал попытку вмешаться в свою судьбу. Стало много труднее рождаться заново в третий раз. Каждую деталь новой биографии он кропотливо обтачивал под лупой. В эту пору руки его часто покрывались кровяными мозолями с непривычки. Начав себя чернорабочим в ремонтной колонне, он быстро стал дорожным мастером и в два года прошел учебу на машиниста. Как многие в те времена, он скрыл свою предварительную техническую подготовку. Его добротные познанья тем охотнее принимали за следствие природной одаренности, что это подтверждало распространенную тогда уверенность, будто культуру поколенья можно сработать в кратчайшие сроки. Ничто не преграждало ему путей к дальнейшему возвышению. Порой он даже пугался убыстрения своего роста: следовало помедлить! Но те, кто помнил его до последнего перевоплощения, были или расстреляны, или, подобно Курилову, с достаточной скоростью катились в старость. О, поддуваемое ветерком одержимости, это поколение горело хорошо!

И вдруг пришло письмо от приятеля, чудом уцелевшего, как и он сам. Это случилось после того, как Протоклитова расхвалили в газетах за изобретение батальонов колхозной самодеятельности в борьбе с заносами. Это очень искреннее письмо, кроме дружеских излияний, понятных по прежней близости, содержало просьбу о присылке пятисот рублей... «...Понимаешь, я не обратился бы к тебе, если бы деньги нужны были мне самому. Эти несчастные червонцы предназначаются моей старушке матери. Конечно, ты помнишь ее и сам: это у нее мы провели неделю во время наступленья на Котлас. Она до сих пор

чтит тебя, как сына, и молится о тебе всякую ночь. Здоровье ее, под влиянием понятных страхов, сильно пошатнулось в последнее время; у нее накопилась какая-то задолженность, а мне так хочется чем-нибудь помочь ей. Будет еще лучше, если ты сам отвезешь эту сумму матери. Я, к сожаленью, совсем запутался, а у тебя, как у железнодорожника, имеется, конечно, бесплатный проездной билет. Ты сможешь погостить у нее и отдохнуть. Ее зовут Полина Петровна, если ты не забыл. Разумеется, Глебушка, если сумма для тебя разорительна, пошли ей пока триста, после дошлешь остальное...»

Нет, сумма была не такова, чтобы испугать Глеба, хотя он и не имел ее на руках; но отозваться на просьбу Кормилицына значило признать себя сообщником этого человека. Впрочем, пока это пахло еще не шантажом, а только простодушной глупостью пошляка. И по этому признаку Глеб зрительно припомнил белобрысого, безобидного, небольших воинских чинов верзилу с непропорционально маленькой для такого туловища головой. Помнилось также, балбес этот был большим любителем карточных пасьянсов, шпрот, французской борьбы и рассуждений на генитальные темы; кроме того, он бренчал на чем-то струнном и обожал рассказывать невероятные истории, бывшие предметом товарищеских издевательств.

Протоклитов получал в месяц четыреста, но промолчал он на письмо совсем из других соображений. Вражда с дураком не умнее дружбы, а письмо Кормилицына могло и не дойти по адресу... Месяца через полтора, однако, пришло и другое. Приятель жаловался на забывчивость Глеба и довольно подробно упоминал, что он — тот самый поручик Кормилицын, Евгений Львович, Женька, которого Глеб когда-то выручил из одной неприятности. «Старушка пишет мне, что денег от тебя до сих пор не получала. Не знаю, чем объяснить твою черствость; а я-то предполагал в тебе сердце еще довоенного образца! Если же ты так высоко забрался, что я могу скомпрометировать тебя, как павший человек, то вот тебе стишок на это: «Ты меня не любишь, ну и бог с тобой,— черт тебя накажет серной кислотой!» Дурак был, видимо, из вредных. По счастью, никто третий не интересовался пока перепиской начальника черемшанского депо. Эти пятьсот Глеб взял заимообразно у брата и под вымышленной фамилией послал по приложенному старушкину адресу с таким чувством, точно опускал деньги в вонючую дыру. Кормилицын замолк, на этом дело и покончилось.

Теперь уликой становился даже брат. На его холостяцкую квартиру Глеб отправился прямо от Курилова. Каждая минута была дорога ему. В случае отсутствия Ильи он решился на этот раз проехать к нему в клинику. Братья не виделись два года. Установилось правило не надоедать друг другу расспросами. Оба были холосты. Глеб благоразумно избегал заводить под боком у себя врага или двойника; делиться кроватью означало делиться и едой, а там и до души недалеко. Илья жил наедине со своей коллекцией часов и с книгами; поместить жену было некуда... Оба были хорошего роста, расчетливы в мелочах; отличались сдержанностью, пока не начинал действовать какой-то взрывчатый механизм, спрятанный в обоих. Оба удивляли отменным здоровьем, требовательностью к себе и одинаковой силой воли. Однако это были совершенно разные люди.

При разнице всего в четыре года братья не имели никакого сходства. Перечисленные черты Глеба были искажены, преувеличены до безобразия в Илье. Профессор был не столько высок, сколько длинен; не плотен, а костист; смуглый румянец Глеба выродился у Ильи в неприятную краснотцу кожи, которая вдобавок постоянно шелушилась на скулах. Знаменитые зубы были слишком крупны у Ильи, чтоб его украшал этот родовой протоклитовский признак. Впалые виски удлиняли его голову, шишковатую, выбритую, посаженную на массивную шею. Словом, все протоклитовское заключалось в нем в преизбытке. «Бог сердился и переложил в него нашего добра, когда лепил его,— сказал про него иронический старик Игнатий,— и оттого Протоклитова не получилось». Отец не любил и боялся Ильи, Глеб уважал и остерегался брата, Илья тяготился обоими.

С порога Глеб спросил — дома ли? Старуха в кухонном подряснике поглядела на его грязные сапоги и сказала, что профессор не принимает на дому. Гость подчеркнул, что ему нужен не профессор, а Илья Игнатьевич!.. Он отпихнул старую, прежде чем та успела добиться, как следует доложить о нем. С какого-то времени жизнь в этом доме стала происходить по строгому этикету... Половинка двери в столовую (а два года назад здесь помещалась библиотека!) была открыта. Глеб сразу увидел длинные, в узких ботинках, ноги Ильи; они отражались в сумеречных бликах на паркете.

— Га, летучий голландец! — без особого оживления сказал Илья, не поднимаясь из своего низенького кресла.

— Я спешу и не задержу тебя,— еще из прихожей предупредил Глеб. Он раздевался и все старался уловить, какая именно произошла здесь перемена. — Здравствуй... вижу, ты не особенно обрадован моим нашествием!

Илья качнул головой, брови поднялись с медлительностью шлагбаума.

— Было бы славно, если бы ты зашел получасом позже. Но хорошо и то, что ты не заявился на полчаса раньше. Нет, не зажигай! — дернулся он, когда Глеб потянулся к выключателю.

Стало поздно тащить гостя в соседнюю комнату: тот все уже увидел.

Пол был засыпан белыми, неправильной формы лепестками; огромная, с кочан, роза отцвела и осыпалась здесь полчаса назад. Лепестки были из фарфора. Они не звенели, а с глиняным хрустом лопались под ногами. Разбитая вещь была большая и не особенно ценная.

— Ни о чем не спрашиваю тебя, но живешь ты, по-видимому, шумно. Кто это наделал? Собака?

— Нет, жена,— скучным голосом сказал профессор и, хотя были сумерки, стал смотреть себе на ногти. — Это сор в моей избе.

Глеб схватил брата за плечи.

— Старик, два года назад ты сам настоятельно остерегал меня от женитьбы. Что это, несчастный случай, любовь, оплошность?

Старший Протоклитов погладил острые свои колени. Через его руки, привычные руки хирурга, ежемесячно проходили сотни пациентов. Ему ли было не знать, какие случайности постигают неосторожных!

— Не говори так громко. Старуха может передать ей. И будь снисходительнее к людям старше себя! — ответил он сконфуженною шуткой.

Глеб притворил дверь. Все это было так невероятно, что собственное его дело мельчало в сравнении с такой катастрофой.

— Она твоя ассистентка?.. Кажется, так всегда бывает с профессорами. — Он хотел сказать, что обычно ученые по рассеянности женятся на том, кто находится под рукою. — Ты извини меня за вопрос...

— Нет, почему же!.. Га, она актриса.

— Известность нашей фамилии ты хочешь дополнительно увеличить славой знаменитой актрисы?

— О, она совсем не знаменита. Га, скорее это переходное состояние от гусеницы к бабочке... — Он не пояснил своего заключенья и смотрел на мокрые сапоги Глеба. — На улице дождь?

— Да, с утра. Денек какой-то... как горе безутешное. Ты не выходил еще?

— Видишь ли... — он замялся,— я сегодня кончил рано. Зато вчера был трудный день. Две классических гипернефромы... и еще делал нос одному прохвосту. Отлично получилось. Любимая женщина разберет, но в месткоме, например, не заметят.

— Как ты сказал, гипернефромы? — заинтересовался новым словом Глеб.

— Да, это когда на почках нехорошо: опухоль. По существу, оба были смертники... — Пальцы на профессорской руке, слабо окрашенные выцветшим йодом, шевельнулись. — Открой буфет, будь добр. Там есть коньяк. Э, не тот... Погоди, я сам!

Он сложился, распрямился вновь и пошел к буфету. Громко треснул осколок под его ногой. В величайшем раздражении Илья ударил по черепку носком ботинка, дважды и трижды, пока не загнал его под буфет.

— Чудак, прикажи вымести!

— Нет, еще рано. Это мое лекарство.

Вдруг он вышел в коридор, и Глеб слышал, как где-то в самом конце его Илья тихо спросил кухарку, надела ли его жена калоши. Это был обреченный человек: он любил... То здесь, то там стали бить часы: шесть вечера. Время обходило комнаты. У Ильи была обширная коллекция часов. Он вернулся через минуту. Глеб улыбался:

— Часовая мания все еще продолжается? Я для тебя вычитал одну историю. Знаешь, Карл Пятый был большой любитель этих вещей. Однажды холуй уронил его коллекцию на пол. Император сказал спокойно: «Отлично, теперь все они станут ходить одинаково!»

— Га, это смешно,— без улыбки заметил Илья и зевнул. — Хочешь? Это приличный коньяк.

— Нет, ведь я не пью совсем.

— Да, ты никогда не умел. Я забыл.

Он налил в кофейную чашку, что подвернулась на глаза, и отпивал долгими затяжными глотками, как молоко.

— Кто ты теперь? — спросил он в промежутке.

— Ты про мою форму? Это железнодорожная форма.

— Я не про то. Но, судя по тому, что ты начал бриться, ты шибко идешь в гору. Ты перестал притворяться неграмотным? Не делай огорченного вида, я же не уличаю тебя ни в чем. Но сделай одолжение, не лги при мне. Ну, я настроился. Га, давай твои дела!

— На этот раз я с большой просьбой... и последней!

— Если речь идет о деньгах, то не рассчитывай. Я в нищете. Конечно, советская власть не даст мне умереть с голоду, но времена заработков прошли. Сейчас нужны эпидемиологи, санитарные врачи... а мы все-таки обслуживаем индивидуальные потребности. Но... много тебе надо?

— Нет, я и без того должен тебе. Дело мое несколько необычно. Но видишь ли, Илюша, мне всегда и все удавалось, хотя я никогда не верил в свою удачу. Мне даже казалось, судьба заманивает меня, чтоб тем злее прихлопнуть напоследок. Сейчас наступил перелом. Вот видишь, как я извиваюсь перед тобой... — Он многословил из опасения сразу получить отказ. — Словом, мне нужно, чтоб ты забыл меня...

— Но я и так вспоминаю тебя лишь потому, что ты сам даешь поводы,— иронически заметил Илья.

Это была правда. Братья охладели друг к другу давно. Волнений детства и совместных приключений юности, родства и мнимой социальной близости их — всего этого топлива хватило ненадолго. Обычно Глеб налетал раз в год, вот так же шептался, благодарно тряс руку брата и опять растворялся в неизвестности. Когда жена спросила однажды о его родственниках, Илья ответил, что их не осталось. Люди такого склада в слишком приподнятом смысле понимают родство; его ответ выражал скорее меру душевной горечи, чем правду.

— Представь себе, Илья, что меня вовсе не было на свете.

Тот неторопливо допил свой коньяк.

— Га, ты решился на самоубийство? Я не отговариваю тебя... но почему ты сообщаешь мне об этом?.. Хочешь, чтобы я помешал тебе?

— Нет... я просто перестаю существовать как твой брат. У тебя остается только однофамилец.

— Признайся, наши отношения никогда и не были ближе.

— Тем легче это сделать. Я допускаю даже, что тебя однажды спросят обо мне.

Начиная понимать, Илья перебил его:

— Да... но, позволь, инициалы-то сходятся.

— Я не спорю. Но тебе поверят. У тебя отличная репутация.

Руки старшего Протоклитова длинно провисали между колен. Он поднял одну, и пальцы веером растопырились на ней. Это был его обычный жест недоумения и настороженности.

— Ты хочешь, чтоб я соврал для тебя, Глеб Игнатьич?

— Тебе придется сделать это только раз. Мне даже обидно, что мы так долго об этом... Видишь ли, я не могу объяснить всего, но мне не хотелось бы преждевременно свалиться в яму. Поддержи меня! Почему ты молчишь, боишься?

— Я ничего не боюсь,— рванулся из кресла профессор, и можно было верить этому холодному и жесткому утверждению. — Га, что же, это я компрометирую тебя?

— Нет, но ты можешь стать косвенной причиной большого несчастья, которого ты, разумеется, не хочешь.

Рот профессора разъехался в длинной усмешке.

— Я не знал, что родство со мной так преступно. Пятнадцать лет назад я кромсал солдатские ноги в походном госпитале и жевал мой жмых, как и все. Правда, я не делаю паровозов и блюмингов, но я чиню людей, авторов этих машин... и в меру сил исправляю ошибки господа бога. Это неплохая должность, Глеб. Не стыдись меня!

— Ты меня не понял, Илюша,— вставил брат, очень довольный его страстностью и гневом; только в этом состоянии и можно было ждать сговорчивости от Протоклитовых. — Я не то имел в виду...

— Нет, погоди! Мне мало нравятся наши отношения. Что я знаю о тебе? Только то, что ты инженер и мой брат. Ты хочешь отнять у меня и это. Но в чем проявляется наше родство? Га, давай перечислим наши свиданья! Однажды, после шестилетнего перерыва, ты пришел ко мне вечером занять пятьсот рублей...

— Я перешлю их тебе по почте! — в раздражении крикнул Глеб.

— Дело не в монете. Я живу отлично. Я акцентирую другое. Ты сжатый человек: не пьешь, не куришь, не играешь в карты... куда тебе деньги? Потом через полгода ты прибежал ко мне спросить, хорошая ли болезнь ишиас. Я помню, как ты оживился, когда я рассказал тебе о подколенном симптоме. Это, разумеется, не государственный секрет, но у меня странное ощущение...

— Просто ты не в духе. Когда жена бьет вазы...

— Э, нет. Но если бы ты заболел на деле, ты отлично изучил бы все и сам. Тебе нужно было обмануть кого-то!

— ...не вижу странного, что обратился к тебе с медицинским вопросом. Было бы смешно расспрашивать тебя о тутовых червях или дымогарных трубах...

— ...и было бы ужасно узнать, что ты лжешь всякий раз,— поморщившись, досказал Илья. — Мне противно, изолгалось все, вчерашние мои друзья... га, даже вещи! — Вторая волна гнева шла на Илью, но вдруг он смягчился и подался в сторону брата: — Слушай, ты стыдишься отца?

— Да,— с опущенной головой признался Глеб.

— Папашу провидение подсунуло нам посредственного, правда. Гаер и убежденный крепостник. Кстати, ты никогда не рассказывал о нем. Красные его не тронули?

Глеб медлил с ответом. Были смысл и искушение солгать, что он расстрелян. В сумерках сошло бы, но он остерегся.

— Он умер заблаговременно, до их прихода... и, кажется, собственноручно.

Братья замолчали. Пальцы Ильи сжимались, стягивая бархатную скатерть. Коньячный штоф заметно сползал к самому краю. Неожиданно Илья нагнулся и погладил пестрый комок, лежавший у него в ногах. Это был кот, дорогой, трехмастный. Видимо, не поверив ласке Ильи Игнатьича, он оскорбленно и величественно пошел вон из комнаты. Конечно, он знал и сам, что он дорогой, что он трехмастный.

— Ты с детства не любил кошек, Илья.

— Я открыл в них особое очарование позже! — И Глеб понял, что это е е кошка.

— Что же, у твоей жены спектакль сегодня?

Илья не ответил. Глеб взял со стола фотографию в кожаной рамке. По-видимому, это и была ж е н а. С карточки улыбалась простенькая девочка. Должно быть, серая игра бромосеребряных теней совсем не передавала прелести, погубившей Илью. Ничего не сказав, Глеб поставил рамку на место. И вот он уже каялся, что пустился на эту чрезмерную даже в его положении предосторожность. Было невероятно предположить, что Курилов когда-нибудь столкнется с его братом!.. Глеб нерешительно поднялся: не хотелось встречаться с женою Ильи. Кроме того, ему всегда бывало скучно с пресными, правдолюбивыми людьми. И все-таки дождевик свой он надевал долго, выжидая минуты возобновить атаку на брата.

Илья спросил наконец:

— Что же, они преследуют, гонят тебя?

— Пока нет, но если узнают... — Он сделал паузу. — Хотя, пожалуй, ты и прав. Я также не мог бы солгать человеку, которого уважаешь. Но если этот человек вызывает в тебе...

— Ну, у нас с тобой разные представления об аморальности. Я глубоко несовременный человек, Глеб. Впрочем, советую тебе наплевать! Га, всякий человек отвечает сам за себя своей работой для общества. Итак, я не буду... не хочу врать даже для тебя, Глеб. Знаешь, у меня как-то нос распухает при этом, я становлюсь похож на Мусоргского, а я и без того нехорош. А тут еще молодая жена, знаешь ли...

Глеб схватился за шапку.

— В тебе всегда была эта ледяная, барская честность, Илюша. Ты осторожен... ты и женщин избегал в молодости из страха заразиться... ты... — Он задохнулся.

— Приходи, когда отойдешь. Мы докончим наш разговор в более мирной обстановке,— примирительно улыбнулся Илья, и это была его первая такая улыбка за всю беседу.

Дверь захлопнулась. Илья постоял в прихожей, опершись рукой о вешалку. Зимняя шубка жены висела здесь. Меховой обшлаг коснулся его руки. Мех был беличий, вкрадчивый, мягкий. Нежное, тревожное тепло одело его пальцы. Он вернулся, и штоф оказался снова в его руках. На этот раз Илья Игнатьич ограничился разглядыванием рыжих огоньков, бродивших в жидкости.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Профессорские интересы не выходили из круга клиники, лекций и некоторых коллекционерских увлечений. Последняя страсть началась у него еще со школьной скамьи, и возраст определял предмет собирательства. Вначале это были перья всяких сортов, приспособленные к различным человеческим конституциям. Илья не писал ими, а выменивал на завтраки у неимущих соклассников и запирал в заветную шкатулку. Восемнадцать лет спустя он подарил их одному десятилетнему мальчугану, первому своему пациенту.

На смену перьям пришли марки. На них были изображены жирафы, вырезанные подковкой лагуны коралловых островов, пальмы, черноусые южноамериканские генералы, пирамиды

и яхты под парусами. Все это были картинки о мальчишеских странах Купера, Жаколио и Буссенара... В юности его пленяло оружие. Для юноши это был неплохой подбор всяких, индийских и персидских, сетчатых и полосатых дамасков. Старинное афганское ружье, увитое ременными кистями, навсегда осталось у него на стене. С годами он также отдал дань гравюре и особую привязанность питал к романтическому Пиранези, который на бумаге воздвигал все то, что ему не удавалось строить в жизни. Илье Игнатьичу нравилось пустынное одиночество этих руин, увитых плющом, нагроможденья каменных арок, башен и лестниц, архитектурные неистовства гениального неудачника. По любой из упомянутых коллекций можно было бы проследить историю мысли над вещью, как эволюцию человеческой потребности, но его привлекало в них другое: почтовый штемпель на марке с датой события, которое не повторится никогда; щербатая зазубрина на малайском клинке, по которой угадывалась сила удара; первый, еще до подписи, черновой лист со следами пальцев взыскательного гравера... Это не было прикрытой формой стяжательства; вещи, не задерживаясь, текли через разум его и руки, не оставляя ни жалости по себе, ни сердцебиения.

Материально окрепнув в жизни, он пристрастился к часовым механизмам. В его квартире скопилось множество всяких деревянных, кожаных и бронзовых коробок с певучей, на все стальные голоса, начинкой. По этой части он проявлял такую же осведомленность, как и в области скальпеля и кетгута. В прошлое посещение Глеб пошутил, что только башенных часов не хватало здесь для полноты собрания. И опять Илья копил эту звонящую и тикающую рухлядь не потому, что стремился изучать этапы развития часовой промышленности, не из стремления по облику часов понять разницу в отношениях людей ко времени, этой гробнице идей, порывов и героев; просто тело его стало примечать непреклонный бег лет, и стремление коллекционера совпадало в данном случае с привычкой ученого уложить все это в законченную наглядную схему. Имелись в его коллекции и чеканные луковицы восемнадцатого века (мельчайшие, чуть не в пшеничное зерно, колокольчики играли беспечный менуэт); были и масонские, угрюмой немецкой выдумки часы (трое в черном заколачивали длинный скорбный ящик; по числу ударов их молотков отсчитывались часы, четверти и минуты). Когда-нибудь и эта причуда должна была окончиться, но потребовалось участие

десятка лиц и сотни смежных обстоятельств, чтобы это наконец произошло.

Началось с газетного объявления. Протоклитов прочел о продаже старинной часовой луковицы; ее изготовил знаменитый Карон, отец Бомарше. Собирателя насторожило это объявление, как охотника шорох дичи. Блистательная вещь, дважды описанная в литературе и сама — литературная реликвия, исчезла с любительского горизонта лет сорок тому назад и вот снова возвращалась из небытия, подобно комете совершив свою таинственную параболу.

В первый свободный вечер Илья Игнатьич отправился по указанному адресу. Место находилось где-то у Лефортовской заставы, на пустынном церковном дворе. Продолговатое, древней кладки, приземистое и на лабаз похожее строеньице стояло здесь. Оно треснуло наискосок и, судя по двум железным накладкам и потекам известкового раствора, его еще до революции пробовали свинчивать домашними средствами. Две нестарых, свилистых и в цвету, впрочем — беспощадно ободранных, сиреньки украшали это вполне гиблое место.

Итак, судьба воскрешала наяву померкшую грезу Пиранези и вводила Протоклитова на ее задворки. Продавец сокровища жил в яме, на манер отшельников. Нужно было по сбитым, источенным ступенькам (молодая крапивка росла из каменных трещин) спуститься в полуподвал и потом завернуть за угол этой старорежимной катакомбы. Что-то чавкало под ногами, пока Илья Игнатьич на ощупь пробирался по коридору. Он не курил и спичек не носил с собою. Теплый, влажный смрад усиливался по мере того, как гость подвигался вперед; коридорчик упирался в отхожее место. И верно, скоро Илья Игнатьич учуял близость дыры и увидел на уровне головы незастекленное оконце; уцелевшая ветка сирени просунулась сюда снаружи, чтобы задохнуться от мерзости; слабый свет уличного фонаря множественно мерцал на обвядших, умирающих лепестках... Коллекционерская страсть не раз заводила Илью Игнатьича во всякие углы, но в такую трущобу, слишком мрачную даже для притонов, он попадал впервые. Любитель редких механизмов вернулся назад, шаря по ослизлой стене. Под ногти забивалась какая-то липкая дрянь. Наугад он постучал в дверь, которую признал по двум оборжавевшим пробоям для замка и рваной войлочной обшивке. Ни шороха не послышалось ему в ответ. Сокровище

было искусно упрятано как от воров, так и от музейного ведомства!

Протоклитов постучал опять, и теперь дверь распахнулась внезапно. Не отступи он вовремя, это тюремное сооружение, сбитое из отсырелых лафетных досок, раскрошило бы ему плечо. Низкий, слегка синеватый просвет двери заполнила громадная и смутная фигура; голова ее терялась по ту сторону притолоки. Пока можно было лишь догадываться: это был старик, оборванный, стремительный и невообразимо бородатый.

— Какой черт ломится там? — окликнул хозяин, без вызова, однако, или особого ожесточения. Выслушав объяснения Протоклитова, он чертыхнулся и отошел в сторону. — Вдвигайтесь... порог высокий. Если в калошах, можно не снимать. Вообще все можно, пики-козыри!

Илья Игнатьич огляделся на всякий случай, чтоб не пырнули финкой из-за угла. Пахло здесь явным неблагополучием. Над круглым мраморным столиком висела скудная лампочка на изглоданном шнуре; многократно обернутая цветной тряпицей, она освещала лишь самое себя да то, что под нею: рожок для надеванья башмаков и стакан с каким-то темным пойлом. Попривыкнув, Илья Игнатьич разглядел вокруг классическую паутину на пятнистых, заслеженных стенах, лекарственные пузырьки и боржомные бутылки в углу и, наконец, овальное зеркало прямо на полу; время от времени, при каком-то повороте, вонзался оттуда в зрачок тоненький, дрожащий лучик звезды. Это и было здесь самой ошеломляющей подробностью. Стены находились на своих местах, но вместо потолка, по крайней мере над половиной комнаты, темнело вечернее небо; уже проступила по нему белесая россыпь звезд. В одном, правом, углу еще чернели две-три перекладины стропил... Другая часть комнаты, налево, совершенно пропадала во мраке. Протоклитову было так, точно вступил на дно заброшенного колодца.

— Чего уставились? — глуховато и насмешливо пробубнил хозяин. — Это как раз Орион, пики-козыри, слыхали про него? Это звезды такие. В ясную погоду — недурное зрелище; как-никак самая емкая из книг. Сколько в нее всякой чепухи вписали народы за минувшие века! Писали-писали, а крышу покрыть нечем, пики-козыри... — И он покосился украдкой на почтительного и изумленного посетителя. — Видите, крыша-то — тю-тю! Просела; собрались ремонтировать — оказалось,

гвоздей нет. Жильцов, кроме меня, не осталось, вот и порешили в жакте (он как бы сплюнул это слово, и оно отвратно шмякнулось о воздух), что не стоит пылить ради одного человека. Ждут, скоро и я сойду на нет. А я все не мру да не мру, пики-козыри. Хожу по моей пещере да пою на манер Ивана Дамаскина! — Он резко смолк и отвернулся.

Протоклитов помалкивал, не зная, как следует вести себя в таких случаях. Обсуждать всерьез отсутствие крыши означало бы сочувствовать, а сочувствие, в свою очередь, приводило к неминуемому блоку, даже сообщничеству, с этим нищим и обреченным подпольем. Оставалось отшучиваться, он это и сделал, не особенно ловко:

— Так и живете под открытым небом, на манер халдейских мудрецов?

В свое время, верно, был красив и даже величав этот одряхлевший гигант, но все утекло. Точно с манекена, свисали полы люстринового пиджака, и никакое чудо не могло бы вернуть прежнего благообразия этой отощалой, продырявленной суме с человеческой тоскою. Лицо у него было опухлое и нездоровое, точно пальцем выковырянное из исполинской тыквы. Илье Игнатьичу показалось, что когда-то встречал его, и даже довольно часто,— однако паутинка воспоминания тут же и порвалась. Непримиримо и дико глядели эти все еще не потухшие глаза.

— Вы образованный человек,— заметил хозяин с укором и гораздо тише. — Сейчас никто уже не помнит о халдеях. Теперь все больше насчет повидла да штанов. Верхнюю часть тулова не утруждают работой, пики-козыри. — И опять захлебнулся шершавым, злым смехом; переливчато свистнул воздух в его расширенных бронхах. — Образованный человек и часы покупаете. Значит, деньги есть. Платят, значит? Ничего, не обижайтесь; нынче все мы родня. Шибче горя не бывает родства! Ну, уж присядьте, поговорите со мною... А то насидишься с чучелом,— он ткнул перстом в неосвещенную часть жилья, но, как ни вглядывался Илья Игнатьич, ничего там не разобрал, кроме какой-то непонятной статуэтки да вороха мятого белья на кресле,— так, верите ль, мозги затекают, и волос начинает вовнутрь расти. Э, чайком бы вас, пики-козыри,— полувопросительно заметил он, но сесть было не на что, да и распивать чаи в столь непотребном месте было Протоклитову просто не к лицу.

Вдобавок хозяин все шаркал подошвами, перхал,— мучила его эмфизема, чесался и снимал что-то из-под бороды. Он делал это так часто, что следовало отнести его поиски за счет дурной и бессознательной привычки. Речь его была в достаточной степени сдобрена прокисшей философической окрошкой и еще такой желчью, что вещи, казалось, начинали коробиться, когда он заговаривал о них. Протоклитову стало скучно и противно. Очень учтиво, даже не без интеллигентской приятности во взоре, Илья Игнатьич напомнил старику о цели своего визита. Тот сердито забурчал что-то, пятерней разгребая бороду, и гудел еще долго, без всякой связи и видимого смысла.

— ...итак,— стало слышно, когда оформилось в слова его бормотанье,— вы притащились за моим Кароном. Что ж, в могилу не спускаются без дела. Так вот и уплывает добро-то! На прошлой неделе я задарма отдал гудоновский ларец с аметистами (а про него и в летописи помянуто!). А месяц назад отсюда унесли Эмиля с авторским посвящением Екатерине. Что ж вы все спали-то, господин инженер?! Тут ко мне грек ходит... а может, итальянец или еврей. Вежливый, по-немецки говорит... говорит, точно напилком по стеклу режет. Этот все покупает и за границу везет. Вы поспешите, а то он так и расклюет меня, понемножку, живого; вам ни ребрышка не достанется! — Он протянул руку наобум в свое могильное пространство, извлек из него две вазочки растленной формы, вытряхнул оттуда какие-то стручки и сохлую моль, сдунул пыль прямо на покупателя и без особой настойчивости протянул ему. — Видали, стиль чистейший директуар, не угодно? Так. А милосская девка без рук, голая, тоже не пройдет? Зря, пики-козыри. Красота — полезно, при красоте стыднее! Чего же бы вам такого?

Так он рассчитывал проговорить с оступившимся в его яму любителем, может быть, всю ночь. Он что-то переставлял в темноте с места на место, оттирал рукавом, показывал округлым, дугообразным жестом и все свистел, свистел. Очень волнуясь почему-то, Протоклитов еще раз, уже настойчивее, указал, что он не старьевщик и, кроме распубликованных часов, не имел другой причины для того, чтобы злоупотреблять гостеприимством хозяина. Это было высказано столь витиевато, что старик понял не сразу. Покопавшись в бороде, он долго смотрел себе на отросшие желтые ногти. Брови поднялись разочарованно. Вдруг, что-то сообразив, он бережно

принял с подоконника один из цветочных горшков, одетый в пухлую белую плесень. Их там стояло множество; в некоторых еще теплилась слабая зеленца, из других торчали бурые комья гнили.

— Погодите, мы договоримся, пики-козыри. Вы не ботаник? Жаль, я отдал бы эти орхидейки бесплатно: некуда приладить. Я ведь, как в затворе, не выхожу. Ботанических садов в России не осталось: повырубили. Да и что от нее осталось, от матушки! Василь Блаженный на площади да я вот, срамной... — Снова он заворковал что-то в бороду длительно и невнятно, а Протоклитов, закусив губу, решился терпеть до конца: кароновская луковица стоила беседы с маньяком. — А когда-то это растение цвело у меня, господин химик... онцидиум кавендишианум, слово-то какое, а? За одно слово рублей двадцать можно взять... а ныне какие-то цветные паучки под листьями развелись, с предприимчивыми такими лицами. Сидит, подлец, и паштет из мух крутит... Гляньте разок на память, да гляньте же, ведь бесплатно! — Он отвел в сторону безлистый суставчатый стебель и показал совсем пустое место: видимо, паучков следовало принимать как аллегорию. — Все сгибло, туда и дорога. Библиотеку крысы сожрали... вот и продал Э м и л я-то от греха. При этом заметьте, господин ботаник, что и крысы предпочитали книги довоенные, идеалистического содержания. Ваших Лафаргов они не жрут: клей не тот-с!.. Да и кому это нужно. — Все оттуда же, из темноты, подобно балаганному магу, он хватал книгу за книгой, потрясал ею и кидал назад, во что-то мягкое. Протоклитову почудилось, кто-то в потемках с обезьяньей ловкостью ловил их на лету. Сверкала тусклая позолота корешка, всхлипывали развернувшиеся страницы, и снова вещь тонула во мраке ямы. — Вот, вот они, творения голландского солдата Декарта, путешествующего по обету на поклонение Лоретской богоматери. Или вот книга чисел Галилея, присвоившего изобретение миддельбургского очешника. Или вот еще листовка друга герцога Виллеруа, вашего незабвенного Марата, который, обезглавив живого математика Бальи, уже тянулся за мертвым, за Ньютоном... Запамятовали, хе-хе, пики-козыри? За исключением десятка вот этих подмоченных праведников, для вас история только уголовный архив человечества... и ни песен там, ни книг неугасимых, а только пестрые стрекулисты, хапуги да фантомы! Всё хвастаетесь, что новые корабли построены плыть в неоткрытые океаны. А забыли: там, позади, в

тумане, было такое же благословенное со-олнечное утро (и сведенным пальцем погрозил кому-то), когда корабли Веспуччи только подплывали к берегам чудеснейшего из материков. Ха, вы и это забыли, во что превратили его впоследствии... Забвенье — высшее социальное качество, господин музыкант!

Тут уже окончательно выяснилось: профессии посетителя он путал единственно от ожесточения и бешенства скуки. Новая эра мнилась ему лишь бесчестной и бестолковой суетней невежд... но он слышал песни молодости, лившиеся поверх его пещеры, и завидовал со всею жадностью громадного и холодеющего тела. Чем-то отпугивало его то единственное средство, с помощью которого возможно было избежать дальнейшего одичания и сократить муки распада. Уже он набрасывался на все живое, имевшее неосторожность попасться ему на глаза. Без видимой связности он швырнул в Протоклитова какие-то сомнительные исторические факты, адресуясь, может быть, к самим халдейским звездам, размахивая руками, подгребая воздух под себя, грозя массой своей раздавить воображаемого оппонента. Он спрашивал, кому подражают атомы, сцепляясь в образ человека или дерева, он ворчал о каких-то гигантских, стоптанных, окровавленных башмаках, в которых шагало вчерашнее человечество, а врач, забыв о Кароне перед лицом такого яркого клинического случая, относил все это за счет расслабления ассоциативной мысли и того чрезвычайного возбуждения, какое постигает память перед тем, как ей погаснуть навеки.

— Амба, господин флейтист. Я раздумал продавать моего Карона. Не хочу; понятно? Я отдам его моему грекосу... и пусть он увозит его с собою, на мотоцикле, в ад!

Предприятие срывалось, и, конечно, не драться же было за потраченное время с размахавшимся стариком. Илья Игнатьич стал незаметно отступать вдоль стены, вздрагивая, когда задевал плечом оторвавшийся клок обоев. В эту минуту что-то зашевелилось в глубине (то самое, что Протоклитов принимал за груду белья в кресле), но кому принадлежал этот плачевный, пронзительный голос, сразу нельзя было понять:

— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, Николай Аристархович... но посмотрите, до чего вы довели вашего гостя. Вчуже мне обидно за него!.. И кому интересны ваши конфиденции? Кто же виноват, что, свергая вековых истуканов, народ поколебал почву и под вами? Вы вспоминаете грехи великих, как будто они оправдывают и ваши собственные.

А вспомните Бакунина, которого вы, вы пытались чернить. Это был святой человек, а и он брал в долг, например, и... э... и не отдавал!

Хозяин насмешливо отмахнулся.

— Помолчите, высоконравственный друг мой,—огрызнулся он с непонятным озлоблением. — Вы и прежде страдали потливостью ног и склонностью стращать девушек якобинскими мыслями. Вы всегда играли роль мудреца и праведника и мучились незнанием, чего в вас больше. А случай на Псне помните?..

Снова послышался треск мебели, и, чудо, груда белья привстала. Образовавшийся человек сделал шаг вперед. В сумраке явилось чистенькое стариковское личико с вислыми седыми бровями.

— Я возмущен вашей выходкой, Николай Аристархович,— надтреснуто и важно произнес он. — Я раскаиваюсь в своей доверчивости. Вы старый человек и не стыдитесь при постороннем шутить про такое!..

И тогда-то свирепый взрыв завершил невероятное приключение коллекционера. Видимо, то были старинные, никогда не помирившиеся соперники. Век давно перешагнул через их распрю, а они продолжали жить ею, потому что других интересов уже не оставалось. Их сводила теперь только взаимная ненависть, ставшая сильнее всякой привязанности. Но, значит, здесь суждено было покончиться и ей.

— Ты надоел мне со своей бессмертной любовью, поганец, тухлая мышь и кривляка! — загремел большой старик. — Мне надоело видеть этот сохлый крапивный лист, надетый вместо лица. Арлекин... Эй, дьяволы, заберите его, посыпьте его золой! Ты слышишь, она жила со мною, твоя бессмертная любовь. Каждую ночь я шатался к ней в мезонин, пики-козыри. Я спал с ней, пока ты сочинял ей внизу свои дурацкие вирши...

— Я не слушаю, не слушаю вашего бесстыдства, Николай Аристархович! — заикаясь и тоже благоразумно пробираясь к выходу, шептал старик маленький. — Вы клеветники, Николай Аристархович, вы бесчестите мертвую... Этого не было, не было!

— Ты жил у нас под кроватью... и когда мы ворочались на ней, было слышно, как ты чихал от пыли, разрисованный мозгляк. Гробовщики... мерку хóдите с меня сымать!.. Вон отсюда все! Дайте мне сдыхать одному, одному... подарите мне

хоть... — его голос почти пресекался,— хоть вашу брезгливость к трупу...

И в эту минуту (будем справедливы до конца) Илье Игнатьичу не очень хотелось уходить. Не лишен был глубокой занимательности петушиный бой стариков. Во всем они казались полной противоположностью друг другу. Это были лев и мышь, но в том возрасте, когда красоту и могущество их примирительно уравнивает старость. Пальцами заткнув уши, маленький пробирался к выходу, путаясь в брезентовом балахоне, громадном, как рояльный ящик. У него были явные шансы опередить Протоклитова, которому дорогу преграждало раскорякое, с вывернутыми внутренностями, кресло. Последовала какая-то бессловесная суматоха, как бывает только на пожаре. В коридор Илья Игнатьич просунулся одновременно с маленьким стариком, и тотчас же со стоном и дребезгом позади ударилось что-то в захлопнувшуюся дверь. (Вазочкам директуар нашлось наконец подходящее применение.) Протоклитову посчастливилось первым выскочить из подвального лабиринта, но весенняя грязца раздалась из-под подошвы, он поскользнулся, и мгновение спустя маленький повалился на него.

— ...не верьте, не верьте ему,— жалобно шелестел он, еле переводя дыхание и цепляясь за рукав. — Он лгал, он всю жизнь лгал! Я объясню вам все...

— Дайте-ка мне встать,— ворчал Протоклитов, багровый от негодования.

— Да-да... вы не ушиблись? — Вдруг он потерянно схватился за голову. — Это ужасно... я забыл там свою шляпу. Помогите мне, не бросайте меня!

Никто, однако, не порешился бы войти туда снова... Они смятенно стояли во дворе, слушая торжественные звуки погрома и неистовства. Никому не нужный человек буйствовал в потемках среди гадких, падающих стен. Судя по тоненькому стеклянному взвизгу, разбилось зеркало: погасла заветная халдейская звезда! Грохот и возня становились слабее; вот и последние шорохи растворились в прохладной майской тишине. И только сердце угадывало еще не законченную суету созревшего и увядающего тела. Не требовалось особых знаний, чтобы поставить диагноз происходящему. Это была агония, и социальная предшествовала физической.

Они подобрались к окну. Привстав на колени, не выпуская протоклитовской руки, маленький заглянул в подполье.

У Николая Аристарховича было темно. Маленький поднялся; детский страх округлил его глаза.

— Да. Знаете, у него был веронал, он выменял его у грека на Эмиля. Два пузырька... тот еще хвастался, что это импортный, хороший... — подавленно зашептал он. (Протоклитов отчетливо представил себе этого покупателя, вкрадчивого и вежливого, в бархатистой шляпе, с мертвенно-синими бритыми щеками, обменивающего бесценную книгу на смерть; мировой образ покупателя душ претерпевал в этой стране занятную эволюцию.)

Молча он повел со двора своего нового знакомца; было бы жестокостью вторично возвращать к жизни то, что оставалось позади. Старик слегка упирался, ему жаль было утраченной шляпы. Внезапно он вырвался и вприпрыжку побежал назад. Илья Игнатьич подумал, что это была жгучая потребность взглянуть на соперника в последний раз. Протекло, наверное, четверть часа, прежде чем старик показался снова. Он шел пошатываясь и держа в руках широкополую, измятую, точно на ней лежали, возвращенную собственность. Кроме нее, он ничего не унес оттуда, а может быть, даже и оставил часть себя. Так вот как происходила смена жизни! Из нее ушли купцы, чиновники, монахи, биржевики; заодно пропали и самые слова, их обозначавшие. Но, значит, оставалась какая-то шеренга, которой лишь теперь наступил срок. И, словно отвечая на задуманный вопрос, старик забормотал вяло и раздельно, как в былое время читали над покойником псалтырь:

— ...И этому человеку я завидовал сорок с лишним лет. Он взошел надо мной, как звезда, а мы начинали вместе. Сам того не замечая, он проглотил мою жизнь. Он был удачник. У него были холеные, гордые дети и высокая, нарядная жена. Он был директором классической гимназии, оплот тогдашнего реакционного министерства. И вот бог наказал его долголетием за его презренье к людям! — В конце концов его горечь была понятна: людей всегда устрашала гибель светила.

— Послушайте... его фамилия? — тряхнув за плечи маленького старичка, по-мальчишески закричал Протоклитов.

Старик поднял на него незрячие, опустошенные глаза.

— Дудников! — сказал он, ежась от холода и величия имени.

Илья Игнатьич разжал руку; точно затхлым ветром прошлого опахнуло его. Дудников был директором той гимназии,

где он учился. Нельзя было забыть этого большелобого надменного человека,— только нимба не хватало вокруг его головы. Он носил синий диагоналевый форменный пиджак на красной генеральской подкладке и с гербовыми пуговицами. Воспитанники старших классов шутили, что, даже лаская жену, он не снимал с себя парадного мундира, чтоб не забывалась. Даровитый преподаватель истории, он совершал удивительную карьеру, разбег которой остановила революция. Его кабинет походил на храм, где он сам был и жрецом и божеством. С расписного потолка низвергались позолоченные символы наук и искусств. Его швейцары обладали сарказмом Вольтера, внешностью и выправкой римских легионеров. И когда он сам проходил по коридору, отражаясь в безднах навощенного паркета, гипсы латинских классиков провожали и ели его глазами, как полководца солдаты на смотру.

— Ага, так это был Дудников... — вслух повторил Илья Игнатьич.

Ему захотелось узнать подробнее судьбу этого человека. Им руководило почти ребячливое чувство добыть секрет учителя, заглянуть в завешенное окно, прочесть запретную книгу. Он задавал вопросы, но старик не был в состоянии отвечать. Тогда Илья Игнатьич попросил позволенья навестить его. Тот охотно сообщил свой адрес и даже обрадовался случаю свести знакомство со знаменитым хирургом. Его звали Аркадий Гермогенович Похвиснев.

Густо пахло распускающейся листвой, сыростью задворков и непросохшего щебня.

Протоклитов проводил старика до трамвая.

АКТРИСА

Свидание состоялось только через два месяца. Работы навалилось столько, как будто вся Москва встала в очередь резаться у Протоклитова. Да и на этот раз он зашел к Похвисневу лишь потому, что случайно оказался в том районе. Старика не было дома, его ждали из очереди с минуты на минуту: выдавали хозяйственное мыло. Илью Игнатьича встретила племянница Аркадия Гермогеновича. Ей было двадцать один, ее звали Лиза, у нее были заплаканные глаза. Протоклитов заинтересовался как врач. Оказалось, актрисе не

давалась роль: ей собирались поручить Анжелику в *Мнимом больном*, постановку которого готовили в ее театре. Оставшись ждать, Илья Игнатьич предложил ей выслушать ее монолог и, так получилось, сам подчитывал ей за Аркана. Лиза побранила его за плохую, несколько жестковатую дикцию; он, со своей стороны, также дал ей ряд ценных практических указаний. Между прочим, он отметил полную правдоподобность мольеровского замысла, согласился с едкой критикой тогдашнего врачебного сословия, а о состоянии французских больниц в восемнадцатом веке посоветовал прочесть хоть бы в донесении того же Бальи. (Имя это, вскользь упомянутое покойным Дудниковым и теперь пришедшее ему на память, показывало, что в этот момент он еще помнил о цели своего прихода к Аркадию Гермогеновичу.)

Он так уважал театр и звание актрисы, до такой степени был искренен и не знал женщин, что предположил, будто все это ей очень интересно.

— ...их клали по шестеро на одну кровать, больных, и так, что ноги одного приходились к самому затылку другого. Га, вот была медицинка!.. Мертвец, лежа на спине, занимает полметра. Тем, кто рисковал поболеть в королевском Париже, приходилось всего по двадцать пять сантиметров. Удачники, получавшие койку в больнице, лежали на боку втроем, не в состоянии шевельнуться; остальные ждали своей очереди под кроватями. Судите сами, Лиза (вы позволите старику называть вас так? — вставил он с неуклюжим кокетством холостяка), что творилось на задворках блистательного Версаля!.. Заразные, хронические, беременные — все лежали вместе, как спички в коробке; лихорадку и чесотку лечили одинаково; оспенные бродили между кроватей, ища местечка прилечь. Существовали два способа леченья: клистир... га — извините за подробность!.. — и пила. Операции производились тут же, на глазах у всех. Нет, вы почитайте при случае этого честного простака: жуть берет!

Несколько сконфуженная его горячностью, она смотрела на него с любопытством, во все глаза.

— Да, я непременно прочту. Постойте, я запишу автора. Спасибо, что вы надоумили меня, но ведь в театральной библиотеке этого не достанешь!

— О, я сам занесу, если хотите,— предложил Протоклитов, радуясь отзывчивости совсем молодой девушки к вескому научному слову. — Вам это пригодится в работе.

Похвисневы жили в утепленной стеклянной галерейке. Две прозрачных ее стены выходили в крохотный и пыльный садик. Грядка моркови, два кустарничка да еще деревцо простоватой породы составляли все его содержание. Лиза объяснила про деревцо, что в непогоду оно скребется всеми лапами в стекла, как бы просясь поближе к печке. «Посмотрите, оно ластится к человеку, как большая, умная дворняга!»

Она сказала простодушно:

— Я с детства люблю собак, кошек... а вы?

— Кошки... они приятные,— неуверенно и содрогнувшись произнес Илья Игнатьич.

Ситцевая занавеска делила эту тесную комнатку пополам (во второй половине и жил дядя). Огненные на ней петухи клевали жука. «Такая множественность бывает, если смотреть через стеклянный подвесок с люстры, правда?» — заметила Лиза. Жилище это выглядело почти убого, но Протоклитову нравилось тут все: и обилие зеленоватого, от листвы отраженного света, и масса книг (стопка книг даже замещала четвертую, отсутствующую, ножку клеенчатого кресла), и койка с дырковатым байковым одеялом, и самая теснота, казалось насыщенная чистой свежестью незнакомой девушки. Лиза поминутно задевала Протоклитова то локтем, то лоскутом платья, то дыханьем.

— Дядя рассказал мне, как вы встретились у Дудникова. После этого он неделю проболел. Кстати, разве вы часовщик?

— Нет, не совсем.

— Зачем же вам старые часы? Уж лучше новые. Они вернее ходят.

— Га, это трудно объяснить. Это склонность...

— Ах, скло-онность!.. — протянула Лиза, и в интонации ее выразилось раздумье, гораздо большее, чем причина, вызвавшая его.

...Видимо, в один прием невозможно было изучить биографию Дудникова. Илья Игнатьич стал бывать у Похвисневых. Ему дополнительно понравились — открытый, как под ветром, лоб девушки, ее манера улыбаться, приподымающая самые крылья бровей, ее чистые, без единой лжинки, глаза, даже ее привычка говорить много, быстро и — ни слова о самой себе. Он и сам был скрытен, и потому его вдвойне привлекала Лизина замкнутость, причин которой он не умел разгадать. Словом, ему пришлись по вкусу даже самые недостатки Лизы. (Он сформулировал это чувство гораздо позже: когда

любовь — и недостатки радуют, когда ее нет — и достоинства раздражают.)

Илья Игнатьич долго желал этой девушки, и было в его круженнях что-то от ребенка, которому приглянулась нарядная конфетка, забытая старшими на столе. Незнакомый с современной ему техникой дела, он пускался во всякие ухищрения и добивался Лизы усилиями, одной трети которых хватило бы для любого успеха. Этот предельно занятой человек изобретал всякие головоломные подарки, загородные прогулки в сопровождении дядюшки и даже письма, полные достоинства, научности и растерянности. Дело затянулось почти на год; дядюшка, вначале говоривший, что «робость влюбленного — единственный вид трусости, заслуживающий снисхождения», начал волноваться. Втайне он уже обдумал план объяснения с молодым человеком (в его возрасте все без исключения человечество казалось ему легкомысленным и преступно моложавым), когда Лиза сама, минуя все условности, шутливо и простодушно намекнула Протоклитову о своем согласии.

— Условие, Илья: вы никогда не будете надоедать мне расспросами.

— Я заранее люблю и ваши детские тайны, Лиза!

Переезд в жилище мужа состоялся лишь после того, как там побывал букинист. В лютой расправе с книгами муж принял участие на стороне жены. Была выбита пыль из штор и вчерне намечено новое расположение комнат. Лиза открыла окно и, свесившись за подоконник, болтая ногами, разглядывала свои испачканные пальцы; она славно потрудилась в этот день! Шел теплый летний дождь, капель с крыши падала ей в розовую раковинку затылка... Свадебный подарок Протоклитова был поистине расточителен. Полтора месяца московские букинисты рыскали для него по книжным кладбищам. Они собрали целую библиотеку по сценическому искусству. Сюда входили классики мировой драматургии, многотомная история театра, монографии о крупнейших актерах и театральных учреждениях. Илья Игнатьич разложил все это у себя и позвал жену,— она уже догадывалась о причинах переполоха. Она вошла, она изумилась, она не поверила, что об этом можно написать так много. Озабоченно и виновато она полистала одну толстую тетрадь, сверху. Величавые, насупленные старики в кружевных жабо, в париках, в сюртуках какого-то вампирного покроя, сморщенные старушки в тальмах выглянули на нее из прошлого. В глаза ей бросилось лишь одно:

разнообразие бород и причесок, какие изобретались на протяжении веков. Ее охватила растерянность, подобная отчаянию художника, который впервые пришел в музей, полный первоклассных произведений; казалось безрассудством вступать в соревнование с ними. «И все это нужно читать?..» Она посмотрела на руки мужа, ища там другой, главный подарок; они были пусты. Смущенно кивнув головой, она отошла к окну. Он был простоват, бедный супруг начинающей актрисы!

Конфетка была наконец в его руках! Целых полгода Илья Игнатьич ожесточенно жевал ее в меру здоровья и сил; в таких не сразу доберешься до начинки. Увлеченный своими занятиями, он не замечал, как менялся распорядок в его квартире. Протоклитов ложился в одиннадцать,— Протоклитовы ужинали в час. Протоклитов не выносил кошек,— у Протоклитовых всегда на ночь примащивался к ногам трехмастный, неприятнейшего характера зверь. У Протоклитова не чаще раза в полугодие собирались коллеги обсудить новости оперативной урологии,— к Протоклитовым гости стали забредать запросто, на огонек. В большинстве это были развязные молодые люди в заграничных джемперах, с патефонами и со скептическим образом мышления. Они и в гостях чувствовали себя как дома, а он и дома вел себя среди них как в гостях. Старики перестали бывать у Ильи Игнатьича, и теперь, самый молодой среди них, он выходил на положенье старика. Только неизменная преданность этому звонкому кареглазому существу заставляла его мириться с неудобствами брачного существования.

В круг его профессиональных забот вошли новые, пока еще незаметные и приятные. Маленькая женщина имела склонность к большой деятельности. Лизу не удовлетворяла роль второстепенной актрисы малозначительного театра. Ее выпускали к рампе не дальше выходных дверей. Она уверила мужа, что режиссеры и директора боялись в ней соперницы своим бездарным женам; ей завидовали, ей мстили за страх, который она внушала... Все это, сопровожденное безжалобным молчанием жены, принимало в глазах Ильи Игнатьича острую убедительность. Он терялся, писать ли пространное письмо наркому, ехать ли на сражение с директором. Сам он, однако, за все время ни разу не удосужился посмотреть свою жену на сцене, хотя она настоятельно звала его к себе за кулисы. Тяжеловесная внешность Протоклитова, его имя, его профессия должны были произвести переполох в среде ее врагов. Сло-

вом, она хотела пригрозить им ремеслом мужа. Никто из тех, кто строит мосты, или командует парадами, или пишет разоблачительные книги, никто не смел зарекаться, что завтра же не возляжет на эмалированный стол Ильи с откидным шарнирным изголовьем. В пылу обиды она преувеличивала значенье своего оружия. Власть Протоклитова была не больше власти диспетчера, направляющего поезда, или социального могущества пекаря, замешивающего общественный хлеб.

Прежде чем выступить на защиту актрисы, Илья Игнатьич тайком купил билет и сказался, что идет на встречу с американским невропатологом. Театр, где упражняла свои дарования Лиза, находился далеко. Нужно было ехать трамваем на тридцать копеек и один переулок пройти пешком. Храм искусства оказался купеческим, в прошлом, средней руки, двухэтажным особняком. Бытовым аммиаком шибало из подворотни, и местные жоржики с подрагивающими галстучками стайкой погуливали по тротуару. В общем, заведение было довольно глухое, сюда приходили в валенках, а перед спектаклем читались лекции о пользе Шекспира. Пожилая женщина в вязаном платке матерински провела Илью Игнатьича на место и продала ему бумажку, где среди действующих лиц значилось имя и его жены. Вентилятор над головой вытягивал вредный воздух. Его остановили, как только занавес раскрылся и сапоги под занавесом ушли. Произошла суматоха, зрители рванулись в пустые передние ряды. Когда все улеглось, Протоклитов увидел жену.

Тогда обожали импортные пьесы из заграничной жизни. Это обнаруживало тонкий вкус дирекции и в свое время давало возможность под благовидным предлогом показать запретные танцы и нарядные туалеты. На этот раз сцена представляла незамысловатую американскую избу. Укрывшись дерюжкой, Лиза спала в глубине ее, пока ее не будила старуха, похожая на тюк утиля. Она стала разносить негодницу за то, что не затопила печь, не подмела избу. По всему видно было, что старуха притесняет ее. На Лизе были такие же лохмотья и парик, как и на гнусной тетке. Пришли люди сообщить о смерти старухина мужа. С напряженным лицом Лиза действовала метлой, выжидая времени подать наконец свою реплику. Между тем появился Васильев, одетый под ковбоя. И хотя бы этот Васильев был влюблен в нее... нет, Васильев был влюблен в другую!

Условная световая граница отделяла от Ильи милую его Лизу, и ему не удавалось смотреть на нее иным, чем зрительским глазом. Участие Лизы в пьесе было незначительно. Она играла роль стенки, в которую ударяется мяч, чтобы лететь в руки другого. И вот Илья Игнатьич забыл про темную, ему одному знакомую родинку,— родинку у полудетского Лизина плеча, близ мышцы pectoralis major, где прячется голубая ямочка ключицы. Этих послушных, доверчивых зрителей окраины увлекал не талант жены его, а крепкий, наотмашь разящий юмор знаменитого памфлетиста. Пятнистый румянец побежал по мглистым щекам Протоклитова. Ему казалось, что его узнали и присматриваются — без глумленья, но и без особого сочувствия. Наблюдать конфуз мужа было им интереснее, чем кривлянья его жены. Кроме того, что-то начало капать на голову. Он изогнулся — стало падать на плечо; он мазнул пальцем и понюхал,— к его удивлению, не пахло ничем. Вдобавок в продолжение всего акта колени его упирались в переднее сиденье, и сзади, точно из печки, кто-то усердно дышал ему в шею. Театр не был рассчитан на таких долгоногих посетителей... Наконец хирург поднялся и, путаясь в чужих ногах, цепляясь за номерки на стульях, бежал к выходу. Женщина в вязаном платке семейственно пожурила его вслед.

— Это, батюшка, дома надо делать, не доводить...

Вернувшись из театра, Лиза застала мужа уже дома. Без жилета и в туфлях, готовый к ночи, он читал у себя. Свет настольной лампы падал сбоку. Угловатая тень носа тонула во впадине щеки. Илья не поднял глаз, когда тихонько приоткрылась дверь. Лиза посвистела; она умела издавать тоненький тревожный звук, похожий на манок рябчика. Муж не замечал ее. Танцуя и кружась, еще в шубке, она перебежала комнату и заглянула сзади. Журнал был иностранный; на развернутой странице с предельной тщательностью изображен был какой-то человеческий орган, до вскрытия похожий на человеческий зародыш, и рядом — сморщенная, уже выхолощенная его оболочка, совсем как стратостат перед полетом (о нем только что отшумели газеты).

— Я тебе не мешаю? Что здесь нарисовано?

— Это киста почки до и после резекции.

— Фу, гадость какая! — из-за плеча прочтя подпись, суеверно шепнула Лиза.

Илья Игнатьич продолжал читать. Лиза обиделась и отошла. О, как ей надоели все эти книги о кистах, папилломах,

экстирпациях... страшные обозначения человеческого несчастья! Когда-то, в самом начале, она очень трусила этих слов. Профессию мужа она помещала где-то между чудотворцем и мясником. Однажды, договорившись с ассистентом, она пришла в клинику; на нее надели халатик и полотняный беретик зашпилили на голове английской булавкой. Она отказалась проследить весь путь больного от ванны до операционной. Она имела об этом представление: палаты, и в них лежат мужчины, похожие на чурки, и женщины с наружностью выздоравливающих солдат. Ей хотелось видеть главное, ее повели. Ничто не удивило ее, не заставило содрогнуться. Много людей в белом стояло возле высокого стола, и пальцы хирурга ловили что-то в темном, квадратном, совсем бескровном пространстве. Не было и следа тайны в ремесле мужа. Право же, дело графолога, что сидел у них на табуретке в фойе, было во сто крат сложнее! В глянце библиотечного стекла она поймала свое отражение. На щеке и кончике носа лоснился свет. Она торопливо расстегнула сумочку, чтобы припудрить лицо.

— Ты был сегодня в театре? — тягуче, спиной к мужу, спросила она.

Ему было как-то неловко глядеть на нее, точно и он в компании с ней приканчивал сегодня знаменитого писателя. Илья Игнатьич читал. Статья принадлежала одному мировому светилу, но, кажется, статистика смертных исходов на его операциях не соответствовала его славе.

— Почему ты не досидел до конца? — монотонно и тем более зловеще повторила Лиза. — Я видела, как ты уходил. Тебе не понравилась пьеса?

— Я должен был навестить больного. Он нервничает, завтра его кладут на стол.

— Это не тот, которого ты кромсал третьего дня?.. Он еще жив?

— Нет, тот поправляется.

Она иронически пощурилась:

— Ты лжешь, Илья, и ты плохой актер. Почему ты ушел из театра?

Отложив журнал на колени, Илья Игнатьич смотрел на жену. Она показалась ему вдвое несчастней, чем прежде. Ее средства не превышали средств дикарки, очаровательной и ничтожной, и он подумал при этом, что описание ее потребовало бы исключительно уменьшительных эпитетов. Она была

небольшого роста. Ее карие глаза, если бы не эти бродячие золотинки в них, были рядовые, немножко грустные, из тех, какие часто встречаются у людей, потерпевших крушение, или у девушек в поездах дальнего следования. В ее личике, не очень правильном и с чуть приплюснутым носиком, привлекала воспаленная и беспомощная вялость губ. В конечном итоге она была такая простенькая, что было бы стыдно обидеть ее. Но, значит, надо рассердить женщину, чтоб увидеть, какою она станет много лет спустя. Вот, враждебная, зачужавшая, она наступала на него... И вдруг, расхохотавшись, как была, в шубке, вскочила к нему на колени. Сквозь тонкую рубашку он кожей ощутил зимний холодок ее пуговиц. Статья знаменитого уролога валялась в ногах. Лизина туфля, соскользнув с ноги, упала на скверную, изрезанную почку.

— О, тебе не понравилась Кагорлицкая, ведь верно? — И погрозила пальчиком, таким розовым и тонким, что почти не давал тени. — Ты помнишь ее, у нее такая востренькая мордочка, как перочинный ножичек. Но эта ужасная женщина идет в гору!.. Хотя все же знают, как она пробивалась в люди. Надевала трусики, пряталась в платяной шкаф и кричала «ку-ку». А Анатолий Петрович искал ее и, конечно, ну... сразу находил! — Она с тем большей легкостью приписывала Кагорлицкой грехи своей подруги, Гальки Громовой, что Протоклитов не знал их обеих. — Кстати, я заметила тебя с самого начала и показала подругам. Мы по очереди смотрели в дырочку занавеса. Что это ты жевал, вкусное?.. Зойка Ершова сказала, что ты похож на допотопного ящера, а Кагорлицкая — что ты вроде Каменного Гостя. Но ведь это глупости, ведь ты не задушишь меня? Жаль, что ты ушел: весь первый акт я играла только для тебя... ты заметил? Но ты ушел, и дальше я играла плохо, знаю сама. Между прочим, ты не помнишь, какие социальные корни у Беранже? Давеча зашел спор, и мне пришлось молчать. Не знаешь? Ну, а вдруг тебя спросят на конференции, а ты... Кстати, тебе понравилось, как я играла? Что же ты молчишь?

Щекой она чувствовала его замедленное, в два темных ветра, дыхание. Как она изучила его! (И все-таки боялась какой-то одной, никогда не прочитанной в нем строчки.) Так она тормошила мужа, ласкалась к нему, а кресло под ними пыхтело и отдувалось, как толстяк.

— Ты все-таки молчишь?

— Что тебе сказать, Лиза! — Он с содроганьем вспомнил поганую капель с потолка, простодушную шутку билетерши и то упрощенное лицедейство, которым торговали под видом искусства для масс. Он постарался изобрести оправданье; все известные театры начинались так же — с двух-трех энтузиастов, дачного сарая и веселой, нищей молодости. — Ты молода, у тебя все впереди. Га, снимай пальто, детка, и давай ужинать!

— Ты не отвечаешь на вопрос.

— Я очень голоден, Лиза, и устал. У меня был трудный день. Заходил твой парикмахер. Я назначил ему завтра... ты свободна?

Ее бровки сдвинулись у переносья, ее терпенье истощалось. Так среди птичьего щебета и при ясном небе внезапно заворчит гром. О, давно следовало выяснить: она ли — жена врача, или он — муж актрисы. Наступление продолжалось; копенгагенская ваза, дар восторженного пациента, сомнительно покачивалась позади них, на этажерке. Но снова озорной улыбкой озарилось нахмуренное личико, туча сошла, и солнечные лучи беспечно заскакали по полянкам. Он прижал Лизу к себе и очень тихо спросил о ребенке, которого они начинали ждать. Она прислушалась и по-детски определила, что он прорастает.

— ...совсем забыла. Одевайся скорее! Со мной пришел Виктор Адольфович... Ты еще не слышал о нем? Я тебя познакомлю, идем. Это наш главный режиссер. Он очень, очень ценит тебя, имей в виду. У него, кажется, аппендицит, и он хочет посоветоваться.

— Га, но поздно же, Лиза... и тут не приемный покой. Пусть приходит завтра.

Она пристально взглянула на него.

— Значит, ты не хочешь моего успеха? В театре ходят слухи, что пойдет Мария Стюарт... ты понял? Ты способен понять, что это означает для меня? Ну же, вдевайся в свой пиджак! Странно, у тебя совсем нет друзей. Как ты жил раньше, как ты жил! Идет большая, бурливая жизнь, новые массы вступают на арену, а ты... Ты сидишь взаперти, несчастный кустарь-одиночка, и любуешься на какие-то мочеточники!

— Лиза...

— ...и ни слова! Виктор во всех смыслах джентльмен... я уверена, вы подружитесь. Он проговорился, что хотел бы

работать со мной. Знаешь, у него своя система... он одного пожилого актера заставил целый акт провисеть на веревке; очень левый, очень левый! Тебе может оказаться полезной дружба с ним... а почему бы и нет? Кстати, он долго упирался, но я сказала, что ты давно искал познакомиться с ним. Впрочем, я ему очень нравлюсь...

— Какие, по крайней мере, постановки-то у него? — заражаясь ее таинственностью, спросил Илья Игнатьич.

— Ну, Фредерик, Бесприданница и еще какая-то мелочишка на клубных сценах. Это не важно, ты только хвали его...

Она все журчала, завязывая ему галстук. Ей с детства хотелось играть Марию, она сообщает это ему первому. Кагорлицкая полиняет от злости в случае ее удачи. Виктор Адольфович ужасно трусит своей болезни. Он будет ставить Марию по-новому, в социальном разрезе. Действие будет идти в зрительном зале, а публика будет посажена на сцену. Музыку пишет Власов, который выиграл автомобиль по какому-то билету. Афишу задумано напечатать в виде выдержек из обвинительного акта. В курилке будут развешаны диаграммы по феодальной экономике, а посреди фойе — поставлена плаха и кукла палача в натуральную величину. Это будет общеобразовательный, острый спектакль, он вызовет неминуемые подражания, соперничества по выдумке и десятки полезных дискуссий.

— Ну и все готово! — И подтолкнула его, такого несговорчивого, к двери.

...В бывшей библиотеке сидел за столом молодец с мертвенно-бледным лицом и в крагах. Он был уже немолод и признаки не аппендицита, а явного расстройства печени имел на лице. Он вопросительно взглянул на Протоклитова: вражду или дружбу несло ему новое знакомство. Взгляд его был замученный и тусклый. Илья Игнатьич просил извинения за свои ночные туфли.

Тот сперва насторожился, потом прояспел:

— Что вы, в такое позднее время!.. Но Лиза так настойчиво уговаривала показаться вам, что я решил воспользоваться ее любезностью. Она права: уж если потрошиться, то только у вас. Но скажите прямо, пугайте... это очень больно?

ЛИЗА

Уменье прочно пускать корешки даже в самую тощую почву всегда отличало Лизу от ее сверстниц и подруг. И когда думала о себе, хорошая она или дурная, умная или только жадная, мысль незаметно замещалась созерцанием одной давней подробности детства; она освоила ее много лет спустя... Был один овраг в Пороженске, весь в осыпях и богатырских бурьянах, огромный, как из Библии или сна. Битое стекло, ведра без днищ, конские копыта и гигантские сотлевающие сапоги валялись там вперемежку, и на грудах их качались плодовитые, с тусклыми соцветиями, дикарские травы. Ничто другое не уживалось здесь, кроме повилики. Ее гибкий, беспомощный стебель, подобно недугу, обвивал грубые солдатские тела сорняков. Наверно, всем этим пижмам, пыреям, чертополохам лестно было рядиться в хрупкую прелесть ее нежных и маленьких цветов.

Лизин отец, чиновник пустякового ведомства, перебрался в славный Пороженск посредине войны, как только ясно стало, что не пройдет даром миру пролитая кровь. Это было еще до поры заградительных отрядов и запрещений покидать города. Старик перевез сюда имущество и купил небольшой, весь в вишеннике, домишко. Скоро он спрятался от жизни еще глубже, и только на поминках вдова познакомилась с соседями, считавшими их за гордецов. Похвисневых соблазнили легенды, пущенные про это место, как про обжорный, беспечальный рай; и, правда, по слухам, когда-то проживало здесь старинного уклада племя — без взлетов, но и без векселей, без лекарств, но и без напрасных сердцебиений. Упадок наступил после появления железной дороги, и Лиза открыла эту не очень веселую летопись городка на самой последней ее странице.

Там были написаны житейская скудость и недоброе провинциальное хамство. Очень скоро Похвисневы изведали это на себе. Домишко присел, а собаку тамошние шутники подтравили иголкой, а соседи вырубали вишенник на хворост, руководясь старинным правилом, что чужая яблонька жарче своего поленца горит. Чиновничий скарб поехал на барахолку; из имущества оставалось метров тридцать припрятанной мануфактуры, имевшей тогда хождение наравне с разменной монетой, да пара золотых колечек — воспоминание об одном смешном семейном торжестве. Мать стала прихварывать но-

гами. Девочке приходилось добывать хлеб для обеих. Сперва она побиралась, протягивала руку, и глаза ее были так чисты, что от одного смущенья ей торопились дать. Хлеба ей с матерью никогда не хватало; несколько позже Лиза обучилась красть его. Привычно каждое утро она отправлялась за овраг, в слободу Басурманку. Это не была жалость к матери — нищете неизвестна чувствительность; это был пока слепой инстинкт, выталкивающий осиротелого звереныша из его норы на добычу.

В ту пору было что́ красть, начинались первые базары нэпа, еще робкие, еще с оглядкой на устаревший декрет. Магически преображалось бытие. Из ям, подвалов, железных сундуков вылезали сидельцы со своими товарами. У них была внешность того, чем они торговали; молодцы с осетровыми и севрюжьими лицами постукивали плавниками по прилавку. Низвергнутый вчерашний день дразнил и виденьями обволакивал сумрачных, состарившихся, насквозь простреленных войною людей. По желтым с красноватым жирным отстоем рекам топленого молока, среди берегов дымящейся снеди, плыли ослепительные караваи ноздреватого, из домашней печи, хлеба. Это походило на пышные проводы сахарина, ржавой воблы и картофельных очисток. Люди жрали всюду, молча и украдкой от родных, точно творили преступление. Появлялись товары, способ употребления которых следовало искать в словарях: принимают это вовнутрь или только нюхают в вареном виде. Какие-то профессора кулинарии с ненавистью в потухших глазах готовили эти разухабистые яды. Можно было неделями колесить по стране и, не выходя из вагона, наблюдать тысячекилометровые натюрморты пылающих яств. Это фламандское неистовство, парад и разгул послевоенной нищеты, соблазны, сделанные из всех съедобных животных, обитающих в воздухе, в воде и на земле, завершались пирожными, райскими цветами из масла, сахара и миндаля,— низменные тезисы старого мира, высказанные на лаконическом кондитерском языке. И было жутко, жарко и смертно любопытно глядеть в прищуренные, беспощадные глаза врага, приблизившегося на штыковую схватку.

Эти люди с Басурманки скоро признали маленькую воровку. Они усмешливо, вполглаза, следили за ее неумелой хитростью и, хотя знали, что дело добром не кончится, не хватали до поры, даже помогали своим притворным равнодушием, давая время созреть событию. Так копят скряги, еже-

дневно жертвуя сытостью, и ребятишки сбирают землянику по закустьям, чтобы потом захлебнуться ею в припадке блаженного и жестокого расточительства. Весь базар принимал участие в игре с десятилетней замарашкой, и то, что умещалось в детском кулачке, служило ей нищенской платой вперед за приближающуюся развязку.

Всю игру спутал приезжий огородник из Устерьмы. Там народ живет ладный, бабы ходят подобно башням под самые облака, а этот и вовсе был как рыжебородая сосна, в горелого цвета армяке; он все щурился по сторонам, не нападут ли, не отнимут ли его богатств. Впервые после долгого перерыва он вывозил на продажу дары устеремских песков, вспоенных его пóтом. Дивные с розовыми бочкáми репы обнимались с морковью, длинноликою и той смешной расцветки, что бывает у дьячков в предбаннике. Скуластая, лиловая на ссадинах свекловуха нежилась бок о бок с перезрелыми огурцами, похожими на деревенских, с белыми лысинками, старичков,— их уже в прожелть ударило ранним заморозком. И все это до одури, до сладкого головокружения припахивало укропцем, запахом деловитой сытости, прочного зажитка и уютного чужого жилья. Лизе до слез захотелось репки, и, добыв ее, она успела выскочить из тесного круга телег; но чернички, пришедшие побираться и целиком зависевшие от базарных благодетелей, задержали ее в узком проулке, куда она метнулась. Ее схватили и, дурно ощупывая, как добычу, привели назад. Базар сдвинулся, привстал на свои лари и кади и, уставясь на зрелище, замолк.

— А ну, пострадай, сердешная,— молвил хозяин покраденной репки. — У самого такие-то! — И, задрав грязные воровкины юбчонки, леностно, вполсилы — чтоб не убить, взмахнул кнутом.

Лиза не заплакала, не закричала, и не страх испытала она, а пристальное детское любопытство к людям, в грозном ребячестве своем принимавшим ее за взрослую. Рыжебородый не ударил. «У самого такие-то...» — раздумчиво, совсем в ином смысле, повторил мужик и, шлепнув ее рукой, шершавой от земляной коросты, лишь бы исполнить закон, подтолкнул вперед. Не выпуская репки из кулачка, Лиза упала ничком, рванулась, побежала, и всё кругом — эти рыбы, птицы, мертвые свиные головы — возбужденно засмеялось, взликовало, забило в ладоши, точно птаху выпустили на Благовещенье.

— Ножечки-то у ей бо-сенькие! — умиленно сказала громадная торговка в мужском картузе, и видно было, что пощада доставила ей удовольствие выше всякой расправы.

Украденное осталось у девочки в руке; репку она съела, репка попалась горькая... Так, понемножку, Лиза приобретала опыт.

Школьное образование ее не превышало скудных знаний двух местных учительниц-сестер; одна из них была горбатенькая, и это качество избавило ее при взятии города белыми от лютых офицерских ласк. Судьба другой, искренне любившей девочку, была печальнее... Все остальные познания приобретались от матери. Жизнь этой женщины сложилась прихотливо и поучительно; она обучалась в институте, знала языки и музыку, переводила Жорж Санд, бывала за границей,— и все это затем, чтоб устроиться женой старательного незадачливого тупицы, бросавшегося на всякие ухищрения и всегда с одинаковым неуспехом. Преждевременная, во всем разочаровавшаяся старуха, она когда-то мечтала о больших страстях, но самые условия существования постепенно подменяли хороший творческий гнев — мстительностью, любовь — безвольным восторженным обожанием и отчаянье, приводящее сильного к мужеству,— скукой. Ее здоровье ухудшалось с каждым годом, и, не имея возможности охранить первые шаги своей дочки по жизни, она заранее стремилась приучить Лизу ко всем несчастьям и сомнительным радостям, какие могли обрушиться на нее впоследствии.

Властно держа за руку напуганную девочку, она делилась с нею всякими чрезвычайными случаями жизни и то тащила в анатомический театр, где в самых неожиданных сечениях и уродствах представали трупы человеческого сердца, то подводила к черным ямам прежней жизни, одно дыхание которых оскверняло. Все, на что падал ее взор, коробилось и чернело. Ее сомнительная мудрость была, во всяком случае, разностороннею. По ее словам выходило, что жизнь есть медленное, милосердное убивание, что три темноты — юности, здоровья и радости — одинаково заслоняют свет истины, что мужчины изменяют от нечистоплотности, а женщины от величия и горя. Слишком рано оставляя дочку на милость людей, она сама впрыскивала в нее яд своих разочарований, чтоб не убило ее в самом начале зло. Ее уроки запоминались с тем большей легкостью, что подлая жизнь городка служила наглядным пособием к этим занятиям. И когда Лиза не пони-

мала с первого раза, у матери хватало терпенья объяснить ей дважды и трижды.

Так, сидя на скамеечке у разбухших, почти слоновьих ног матери, одиннадцатилетняя Лиза по складам училась обхождению с людьми. Правда, мать сумела также сообщить ей свою поверхностную, бескостную культурность; дочь забирала без переоценки это пестрое, неравноценное наследство. Рассказы матери об исторических событиях приобретали странную увлекательность, когда хотя бы в малой степени сюжет их походил на ее собственную судьбу. Лиза навсегда сохранила в памяти, как первую травму детства, историю одной шотландской королевы, Марии Стюарт, также приспособленную к облику рассказчицы. В передаче матери, точно гляделась в зеркало, это была грустная повесть о красивой и несчастной женщине, обманутой приверженцами, оскорбленной любовниками и тоже вычеркнутой из памяти роднею. Событие, почти ничтожное, романтически закрепило этот образ в воображении Лизы.

В то лето у Похвисневых снимал комнату режиссер сезонного театра, он же директор, он же исполнитель всяких характерных ролей. Он и провел пороженскую замарашку на спектакль. Закат в полнеба был красен и тих, как после казни, и только эшафота не хватало там для полноты впечатленья. Горели вечерние огни. На опухлом от дождей фанерном листе, забрызганном суриком, были нарисованы топор и корона, и в скобках стояло: *из королевской жизни*. Имени автора не значилось вовсе; да и вряд ли принадлежало Шиллеру это мелодраматическое крошево с пением и танцами, со вставными *штучками* антрепренера, рассчитанными на привлечение туземных сердец. Бедные комедианты! Фигуры, одетые в цветную ветошь, ломались при полупустом зале, жадно вслушиваясь в каждую шелестинку одобрения. Посреди монологов у них обламывались носы, над ними рушились колонны, фининспектор выглядывал из-за кулис, на глазок определяя сбор. Но и среди развалин и под угрозой *фина* эти юноши продолжали царствовать, сражаться и любить. Так зарождалась и комедия масок!.. Сэр Дудлей обзывал государственного секретаря задницей и лоботрясом, а тот поддавал ногой в тыльную часть его светлости. Но Лизу одинаково захватили и ритмическая речь спектакля, и лубочные страдания королевы, и дешевые принадлежности балаганного

гения, и даже неразбериха интриги, которой толком никто в Пороженске не понимал.

Целую неделю Лиза прожила в каком-то задумчивом оцепененье... и все спотыкалась. Пороженск стал ей тесен; и хотя не сохранилось древних стен вокруг городка, выйти отсюда представлялось невозможным. Вдруг она пропала... Можно было бы рассказать длинную и чудесную историю о ребенке, который один, без чужой помощи, бредет через пропасти и волчьи ямы жизни, и сторукое зло шарахается от его спокойных, неведающих глаз. Долгими окольными путями она добралась до о б л о н о. Еще существовали бродячие труппы, остатки военного коммунизма. Лиза сказалась безродной, ее приняли в передвижной театр. Так начался самостоятельный опыт актрисы. Она играла детей. Из села в село, по бесконечным зимним проселкам, ее возили на дровнях, жалкую и счастливую своим несчастьем, закутанную во что придется, и добрая зеленоватая звезда, покровительница бездомных, сопровождала ее в небе.

Она вернулась домой три года спустя; мать еще жила. Она уже не поднималась вовсе. Страшная нищета в Пороженске. Дочь вошла и присела у двери. Ей было пятнадцать лет. Мать провела пальцами по ее лицу. Дочь была жива, а это главное.

— Что ты делала?

— Мы играли пьесы, разные... из жизни стран капитала. — Ее зрачки потемнели, и задрожали кончики пальцев. — В крестьянской избе... народу набьется тесно... всем хочется попасть, а мест нет. Один раз парни с досады стали бить окна. Я так испугалась...

— Что ты ела?

— О, все!

— Где ты спала?

Она спала на театральном занавесе; на нем хорошо спится!

— Тебя не обижали?

Лиза неуверенно покачала головой:

— О, я у всех т а м была дочкой!

Мать улыбнулась ее скрытности. У всех — значит, ни у кого. Уж конечно, были у ребенка причины бежать от счастья в прежнюю пороженскую дыру! Мать велела дочери раздеться и стала штопать ее лохмотья. Лизина вылазка не удалась.

Затем опять продолжалась скудная пороженская жизнь. Через полгода Лиза осиротела; домик пришлось продать.

Три последующих года Лиза с нетерпением ждала возвращения труппы, но прежний театр прогорел с таким треском, что других смельчаков уже не обреталось. Театральная муза со страхом обходила это место. Местный ремесленник и жестковатый купец нэпа, уже не меценат и не шалопай, предпочитали посещать бесплатные представления живой церкви, что во имя Симеона-Богоприимца-на-обрыве, где завелся один голосистый тенорок. Все лето он в одиночку и вполне успешно соревновался с цыганскими каруселями, обосновавшимися в слободе. На третий год благодаря стараниям скучающих властей приехал наконец театр, составленный пополам из безусых энтузиастов и всякой престарелой комедиантской голытьбы. Газетка всячески рекламировала культурное начинание, и на этот раз успех был необъясним и огромен. Дощатые стены временного театра ломились от публики... Лиза посещала почти каждый спектакль и репертуар заучила назубок. У нее были причины с такими усилиями добиваться этих контрамарок: она прицеливалась, прежде чем повторить прыжок в жизнь.

Среди прочих фигурантов, заносчивых и бесталанных, имелся там один трагик с гремучим, почти фанфарным именем, звучавшим, как титул. То был Ксаверий Валерьянович Днестров-Закурдаев Второй. На афише это наименование ставилось в самом начале, как роскошная виньетка, намекавшая на преемственность театральных династий. Он пользовался особым почетом от властей, жил в номерах и расхаживал в крылатке какого-то демонского образца, пугая пороженских монашек и коз. Выбор Лизы остановился на нем. Однажды она протиснулась к нему в дверь, подобно героине одной заигранной пьесы, с букетиком поздних васильков, робкая, сияющая, ангел благовестия. Тонкие ключички торчали из сарафанчика... Вступая в храмину великого артиста, она еще не знала, что скажет ему. На пороге ее платье зацепилось за крючок, что-то треснуло. Она втянула голову в плечи и замерла, смутившись окончательно.

Гений сидел у раскрытого окна. Рассеянным зраком взирая на каланчу, окрашенную жидким закатцем, он глушил какой-то спиртной состав своеручного изобретения. Так заряжался он к спектаклю. Вечером ему предстояло сходить с ума в Арбенине.

— Мне нужно сказать вам некоторые вещи,— с поникшей головой произнесла Лиза, и руки покорно обвисли вдоль ситцевого платьишка.

Тот царственно повернул голову. Девушка приходила в минуту изжоги и тоски. Черные толстые мухи сновали над ним взад и вперед, ползали по рукам; он их не сгонял, бесчувственный и великодушный.

— Реки, отроковица,— одобрил Закурдаев маленькую и покровительственно махнул рукой, репетируя какой-то не дававшийся ему жест из Маскарада.

Правдиво, как умела, Лиза объяснила, что она всем сердцем предана театру, что она пыталась играть в любительских спектаклях, что у нее ничего не выходит, что она хотела бы умереть на сцене, что она служит секретарем в дорпрофсоже, что она пришла просить у него совета и, наконец, что она любит его. Закурдаев стойко выдержал весь этот залп и лишь на последней фразе отпрянул от нее, как от черта. Что-то, подобие восторга, взбурлило, однако, на самом донышке души. Гостья глядела так пристально, так скорбно, точно знала всю пустоту его бездомной жизни, видела морщины на его лице, изрезанном, как перекресток у Басурманки в ярмарочный день. И все-таки продолжала любить его смешной любовью восторженной, ничем не запятнанной провинциалки. Он испугался: ему почудилось — сама смерть, наряженная в девственность, посетила его. Он заежился, но этот холодок в спине был ему приятен.

— Меня?.. Не может быть! — И хохотал долго, внушительно и неискренне, сдвинув на один глаз свою самаркандскую тюбетейку. — И давно? — Он все хохотал, исподлобья присматриваясь к девушке выцветшим от алкоголя треугольчатым зрачком. — Ну и что же ты испытываешь при этом?

Она покраснела: нет, еще не существовало точного определенья ее чувствам! Это была производная испуга, восхищения, обожания и покорности высшей силе. Она перечислила его роли, сопровождая их выдержками из текста; для каждой из них у нее нашлась наивная, но по-своему меткая оценка. Женщина, в глаза хвалящая артиста, всегда представляется ему совершенством ума и такта,— а эта хвалила даже самые слабости его. Закурдаев ерзал, гладил лохматые брови, подкручивал их кольчиками, поглядывая искоса на кольцо с опалом какой-то судорожной расцветки. Невинная девушка с грошовым букетиком цветов льстила ему больше, чем корзины

роз, о которых мечталось в начале карьеры. Впервые в жизни он боялся женщины, конфузился и, не доверяя, требовал подтвержденья.

— Тогда садись. Портер пьешь? — громово и неожиданно гаркнул он. — Местного завода. По особому заказу, марка А, экспортное. Правитель прислал...

Она потерянно улыбнулась и, закинув голову, медленно выпила то, что ей налили из черной, как грех, бутылки. Оно пролилось к самому сердцу, все закачалось в ее глазах: игра началась, отступление стало невозможным. Было мутно и гадко, слегка поташнивало. Портер был в смеси со специями, составлявшими закурдаевскую тайну. Крупинки пряной горечи долго тлели на ее губах. До спектакля оставался час. Закурдаев приказал ей рассказывать все, что она знает. Ему нужно было время обдумать это происшествие. Она не поняла, чего он от нее хотел.

— Ну, я спрашиваю, как у вас тут жизнь и в чем она примерно проявляется?

Лиза тряхнула головой и усмехнулась.

— У нас жить вольготно, только скучно,— начала она, растопыривая пальчики на руках.

— Ты говори громче. Тут акустика плохая. А? Кстати, я послушаю твою дикцию.

Должно быть, действовал выпитый яд. Сейчас у нее был зоркий глаз, и легко набегало острое слово. Она начала с детства и не задерживалась на подробностях, а лишь показывала пестрый лоскуток факта и откидывала в сторону. Сюда входило и описание кучи галок, подобно копоти оседающих на вечерние деревья. («Ребята под вечер сшибали их палками, чтобы было чем играть в похороны. Мы обертывали галчат в серебряную бумагу и хоронили, как митрополитов. Я люблю жалостные игры!») Она поведала также о посещении с подругами Щеньгинских песков, где, по слухам, находилась братская яма с расстрелянной волчьей офицерской сотней. («Вечерело, когда мы пришли. Что-то черное стоймя торчало из бугра. Мне показалось, что это черная рука того, кто сделал гадость с учительницей, тетей Глашей,— она меня жалела. Тогда я взяла камень побольше и кинула. Рука упала, сломавшись у корня. Потом оказалось, что это просто колышек, и вообще никакой могилы нет: их увезли в Москву. Мне тогда шел одиннадцатый год».) Повествованье коснулось, между прочим, и монашек из множества закрытых окрестных мона-

стырей. («Когда же вас черт заберет, блохи вы, блохи опилочные!» — ужасался их количеству начальник местной милиции; но кланялись земно старухи и припевали хором, пуще сводя с ума высокую ту власть: «Всегда готовы, батюшка комиссар, мученический венец принять!») И заключила свой рассказ упоминаньем о пороженской сирени, изобилием которой как будто прикрыться, оправдаться хотел городок за множество крыс, за топи улиц, за пьяные бесчинства жителей.

— У нас ее *синель* зовут! — по-детски улыбнулась Лиза (ничем она не обмолвилась о первой вылазке в жизнь); а гений зверино урчал и жмурился, точно последний яркий луч заката упал ему на обессилевшую лапу.

— Вкусно рассказываешь,— важно и оглушительно хрипел Закурдаев. — От тебя прямо электрический ток бежит. Литургия!.. Хо, вали дальше, Лизенок!

Она перешла к перечислению захолустных сплетен, секретов и чудовищных событий городка. Ее рассказы напоминали фрески на церковной стене. Темные, скорченные грешные тела, обгорелые в огне своих злодеяний, причудливо нагромоздились перед Закурдаевым. И она сама, втиснутая среди них, стремилась вырваться из этого страшного хоровода, чтобы кто-нибудь унес ее в любую иную жизнь. Чего только не насовал старинный русский черт в эту подлую копилку! — Старуха убила сына за вступление в комсомол. («Топором!» — и глаза блеснули.) Купец, что торговал басоном в галантерейном ряду («Знаете, пружины, волос, диванная трава!»), сошелся с молоденькой монашкой, бросив семью. («А у него восемь сыновей, и все мальчики!») Милицейская корова принесла в приплод пятиногую телку. («Лишнюю обрубили... зверюшка и сдохла».) Соборного протоиерея, пьяного, в полном облачении, застали в алтаре с извещением о закрытии собора. («А вокруг всё клочки от Евангелия валялись...») Закурдаев слушал, отпивал понемногу и то усмехался, то вздрагивал, когда его физически толкало слово Лизы. Тюбетейка так и ерзала у него на голове.

— Земля, как и вода, содержит газы... и это были пузыри земли! — глубокомысленно процитировал он.

...и этот любовный пират, каракатица в сюртуке, как его именовали товарищи, поверил, что провинциальная девушка влюблена в его громовый голос, в неряшливую шевелюру, в его золотые запонки и петушиный кадык. Тем легче далась ему эта вера, что когда-то необыкновенный успех у женщин

сопровождал его гастрольные поездки. Редкая выдерживала его натиск. Ходили слухи, что даже получавшие отставку без надежды на возобновление отношений тем не менее сохраняли о нем теплое и благодарное воспоминание пополам с изумлением. Можно было представить поэтому, как выглядел Ксаверий в свои молодые годы.

Все это оставалось позади. Чудовище дряхлело. Оно тяжелело и, чего никто не знал, глохло. Свои роли он выкрикивал почти наизусть. Непрочная слава осквернителя домашних очагов увядала. Все больше приходилось тратить усилий на одоление крепостей, которые прежде сдавались при одном его приближении. Да тут еще, одно к одному, убавили актерские ставки, врачи запретили пить, а старинный институт бенефисов, сладчайший венец провинциального театра, заменили юбилеями: дважды в году не попразднуешь! Рушились привычные стены. Старость с грязным помелом заглядывала с порога. Понятно поэтому, как он должен был встретить нетронутую дикарку, которая принесла ему свой венок, возвращающий молодость.

— Ты вкрадчивая. Повтори же, что ты любишь меня. Еще... мало! Кричи мне в ухо, громче. Бог покарает тебя, если ты солжешь мне в такую минуту...

Это был час восхищения, смешанного с ужасом. Как никогда, его жгло смертное влеченье к этой женщине; оно осталось неутоленным. Все смешалось. Так, на закате, добивала его любовь. В замешательстве он сказал Лизе, что ему достаточно женских слез, пролитых по его воле: он не хотел губить свою последнюю! И, сняв с руки кольцо с опалом, почти уронил его на тоненький пальчик Лизы. С еле скрываемым испугом она вернула ему драгоценность: «Это только в сказках обручаются с драконами!» И хотя ее трясло и тошнило, всю дорогу домой она смеялась над вынужденным великодушием Закурдаева. Уроки матери пригодились. Ее планы сбывались даже в мелочах. Она не приходила к нему целую неделю. Он мучился боязнью утратить сокровище, недоступное и все-таки принадлежащее ему одному. Он ждал Лизу, откровенно искал ее глазами со сцены, расспрашивал о ней пороженских старожилов; оставаясь один, он повторял это имя нараспев. Она пришла, когда он полностью испил от разлуки. Его брови извивались, похожие на уколотых гусениц. Растроганный, он спросил о самом большом ее желании. Она сказала. Тогда он поклялся, что через шесть лет она сыграет

Стюарт на столичной сцене. Он решился принять предложение одного молодого театра, перейти на уменьшенный оклад и второстепенную категорию, лишь бы не терять Лизы. Хитря, он доказывал ей, что обучение самым первичным навыкам высокого искусства требует времени. Сезон кончался; Лиза согласилась ехать в Москву. У Закурдаева имелись там друзья более удачливой судьбы, чем он сам. На первых порах Лизе было безразлично, кто станет лепить из нее великую актрису.

За день до отъезда она обошла городок. «Откуда же произошло название Пороженск?» Она побывала у сестры тети Глаши. Горбатенькая все жила, все учила; какой-то суховатый и стыдный для Лизы оттенок святости появился в ее лице. Она не одобряла этой поездки... «И пусть, и пусть!» Лиза прошла также мимо своего домика; в нем поселился сапожник; пара лихих яловочных сапог, эмблема ремесла, торчала в окне, где когда-то сидели ее самодельные тряпичные куклы. Могилу матери засыпал желтый лист. Дни укорачивались. Наступала пора пожаров, сплетен, любительских спектаклей и пьяной ножевой драчеи в Басурманке. Лизе показалось, что уже никакая сила не вернет ее сюда.

Осторожно ставя туфельки, чтоб не утопить их в размокшем суглинке, Лиза спустилась в слободу. С очень холодным любопытством она прошла среди этих простецких колымаг, на которых одинаково возят хлеб и навоз, покойников и новобрачных. Из ларьков глядели злые, враждебные глаза. Их уже прижимали в эту пору, торгашей с Басурманки... Все размокало. Позднее солнце не справлялось с пороженскими грязями. Усталая, Лиза выбралась из оврага на другую сторону его и уселась на ослизлых выпученных корнях березы. Все ей было видно отсюда. У собора шла приемка свиных шкур. Отважный велосипедист, не покидая седла, пробирался через улицу. По красным размытым глинам бродили куры. С базара разъезжались возы; посверкивали тоненькие спички оглобель. Бугор был высок. Лизе представилось, будто она сидит у окна дирижабля, пересекающего вечность. Осенние воды проступили на поймах. Над дальними лесами бахромчато повисал дождь, походивший на рваный театральный занавес. Он вздрагивал и быстро опускался. Заканчивался первый акт ее спектакля.

Пока не стало накрапывать, она сидела здесь, напевая песни, какие знала. Хотелось угадать хотя бы вкратце содер-

жание второго акта. Она еще не знала, что скоро-скоро этот суматошливый старик станет ей окончательно тягостен и бесполезен; она выгонит его, обозвав глухарем и уродом. Все это произойдет так естественно, что соседи не заподозрят о ссоре, хотя Закурдаев и уйдет в состоянии, близком к апоплексическому. Ей уже и теперь надоели его признания про батальоны целованных девок и ушаты выпитого вина. Глухота довершит дело справедливости над Закурдаевым. (Ей довелось видеть, как посреди спектакля однажды он забыл роль: повернувшись спиной к зрителям, он крутил судорожно салфетку и бил ногою в пол от нетерпения и досады.) Выяснится окончательно, что Ксаверий не *прошел* на московской публике. Он будет желать привычной славы и легкой жизни, а с него потребуют работы и молодости. С последнего места его уволят за пьянство и дебош. Связи его порвутся сами собою...

Так, перед второй ступенькой огромной лестницы в жизнь, Лиза прощалась с детством, иронически благодаря за уроки, полученные в этой практической академии бесчестности, унижения и мелких бедствий.

ДРУЗЬЯ

На совещании начальников районов, состоявшемся в ноябре, Курилов снова увидел Марину. Появившись лишь к самому концу заседания, она уселась на подоконнике в углу. И потому вся вторая половина куриловского заключительного слова носила оттенок резкости, не адресованной, впрочем, ни к кому... Несмотря на мелкие колебания, дорога выбиралась из прорыва, но зато и все остальные показатели народного хозяйства стояли в эту декаду на рекордной высоте. Газеты отмечали высокую слаженность между всеми частями хозяйственного организма; оставалось добиваться, чтобы эти новые качества вошли в привычку у работников... Курилову не хотелось встречаться с Мариной. Тотчас после заключительной речи он быстро прошел к себе в надежде, что Марина тем временем уйдет. Он раскурил трубку и впотьмах ходил по кабинету.

Дома уже не менее часа дожидались его друзья, которых созвал наконец в гости. Было славно посидеть за бутылкой вина, вспомнить бывшее и обсудить предстоящее. Но где-то у выхода караулила его Марина, и он с досадой осуждал

себя, что хотя бы только в разговорах пошел на близость с сотрудницей своего же учрежденья. Он стал вспоминать, как все это случилось, и самый круг мыслей заставил его снова подойти к окну. На стекле с наружной стороны висели капли дождя. Слоистое осеннее, лиловое с желтинкой, небо слало изморось и ветер. Неслышно он раскрыл окно и выглянул наружу. Оголенные деревья шевелились и скрипели. Руслан стоял голый, раскачивались его круглые ребра. Налетал ветер, и крупные капли дождя ударялись в лоб Курилова... Он пожмурился, приучая глаза к темноте. Под окном было не пусто, парочка находилась на своем месте. Их силуэты отлично угадывались на фоне рябых осенних луж. Больше того, во мраке мерцал вырез ее шейки, куда он целовал длительно и беззвучно... Должно быть, этот пустырь знали все влюбленные их района.

Курилову показалось, что за шумом дождя он разбирает их шепот:

— Как оно бьется в тебе... даже сквозь рубашку.

— Оно молодое, а ты глупый... Пусти.

— У тебя рот ириской пахнет! Дай ухо... я скажу тебе.

И через мгновение:

— Пусти меня, мне холодно.

О, Курилов слышал даже то, чего они не говорили. Его гимнастерка просырела; усы стали тяжелы и влажны. Горьковатый привкус был на губах, точно он сам касался ими влажных щек девушки. Наверно, Марина давно ушла, отчаявшись в возможности объясниться с ним, а все (хоть и стыдно было обкрадывать этих нищих!) держала его здесь какая-то притягательная сила. Чувство было смежное с завистью к той вольной и упоительной бездомности, какая сопровождает всякую юность. На этот раз он снова не решился прогнать их, а только... Надо наглухо замазать окно, чтобы предохранить себя от наваждений!

Он спустился вниз. Сотрудники разошлись. Сторожиха обходила дозором вымершие коридоры. И тут, в раздевалке, к нему подошла Марина. Она не знала, с чего начать.

— Вы еще не уехали? — строго упрекнул он, имея в виду Пензу.

— Нет, я уже вернулась.

И правда, он забыл, уже три месяца прошло с той поры, как он отвозил ее с картошкой.

— Мне говорили, вы хотите уходить с дороги. У меня препятствий не имеется.

— Меня не отпускают, пока я не закончу вашего жизнеописания.

— Чего же вы хотите, Сабельникова?

Она заметно робела и вместе с тем очень уважала себя за настойчивость.

— Я многое уже сделала... получается интересный агитационный материал. Но без вас, Алексей Никитич, список был бы неполный. Я могу зайти в любое время и записать с ваших слов. Мне бы только даты, остальное я разовью сама. Пролетарское детство, завод, революционная деятельность, палачи, каторга...

Он засмеялся:

— Ну, если вы под каторгой разумеете нашу Ревизанскую дорогу, то пожалуй... — Курилов никогда не был на каторге. — Вас ведь Мариной зовут?

Марина опустила глаза.

— У вас хорошая память,— улыбнулась она.

Курилов искоса взглянул на нее, ему почудился намек. Нет, она ни о чем не напоминала. Это был скромный рядовой работник, каких много, простенькая, без кудряшек и затей, круглощекая, с прямым пробором в гладких волосах; и только глаза, всепонимающие, сияющие бабьи глаза оправдывали эту чрезмерную простоту. На носу у нее была красная царапина; она конфузливо прикрывала ее пальцами. Они были красные; вязаная кофточка грела плохо. То и дело Марина совала их в карман, то ли пытаясь согреть их, то ли придать трикотажному изделию своему хоть какую-нибудь форму, но вдруг вспомнила про нос... И вот ей уже не хватало рук говорить с Куриловым!

— Ладно,— сказал он, сердясь. Ледяным сквозняком поминутно обдавало их из двери. — Давайте в конце декады. Вот, например, двадцать четвертого утром, хотите?

...Он не успел надеть пальто,— место Марины заступил секретарь.

— Пощадите, Фешкин, тороплюсь. Ждут пятнадцать человек... А, цифры, давайте!

Монотонно, следя за лицом своего шефа, Фешкин докладывал сводку. Кривая проявляла тенденцию идти вниз. Сказывались первые заморозки: грунтовые воды распирали балластный слой, сильнее покачивались вагоны, количество

предупреждений возрастало, падала коммерческая скорость движения. Шел ноябрь.

— ...кроме того, вы просили выяснить,— он справился с бумажкой,— о Хожаткине. Такого на дороге не значится. Обходчиком на шестом участке состоит Омеличев, Павел Степанович. Два года он пробыл на принудительных работах и выпущен, как доказавший свою социальную полезность. В прошлом судовладелец и...

— Дальше!

— Но есть сведения, что из будки обходчика он образовал подобие постоялого двора, берет по десять рублей за постой и торгует вином. Что касается Протоклитова, то партийная организация дала о нем вполне приличный отзыв. Грубоват, но точен и исполнителен; просился учиться. Взысканий не имел, под судом не состоял, особых регистраций не проходил. Самый запрос о нем вызвал удивление... — Фешкин сделал сочувственное лицо, в душе он разделял преувеличенную куриловскую бдительность. Как правило, секретари не очень либеральны; они всегда — волноломы перед гаванью, о которые обрушивается жизнь. — Нет, Алексей Никитич, дело на сей раз, пожалуй, безупречное.

— Это я знаю. Чистку он проходил? Ага, тогда узнайте, когда его чистка. Всё?

— ...и, наконец, я выяснил адрес и фамилию старика, забывшего книги. Там имелся библиотечный штамп, а в таких местах ведется точный учет клиентов. Фамилия его Похвиснев... — Он опять заглянул в бумажку.

— Дайте сюда, спасибо. Кстати, окон в моем кабинете на зиму не замазывайте. Форточки обычно забухают и... это единственная возможность проветривать комнату. Понятно?

...Уже при самом выходе пробовал еще навалиться на него начальник районного политотдела, у которого дирекция в видах экономии отобрала личный вагон, но такие дела ждали утра. Курилов помчался домой. С полдороги он держал в руке ключ от английского замка. Дверь открывалась неслышно. «А, други!» — сказал он с порога, оповещая о себе. Его встретили шумом, свистками за опоздание, взрывом восклицаний, образовавших своеобразный товарищеский туш. Сразу он оказался и «стройным путейским мужчиной», и «грозой красноголовых» (начальники станций по-прежнему носили красные фуражки), и даже «главкрушением». Никто не назвал его *моржом*, по-старому; слово было Катеринки-

ной выдумки. Дружеская суматоха была сработана по сговору. И пока Курилов шарил трубку в карманах, уходил раздеваться и мыть руки, почтительная тишина стояла за столом.

Пряча улыбку в усах, Курилов двинулся по кругу пожать дюжину протянутых ему навстречу рук. Тут же, шуткой платя за шутку, он справился у Тютчева, не выгнали ли его за очередные штучки из театра, где тот сидел директором; на Аркинда подивился, не на экспорт ли угнал свою богатейшую когда-то шевелюру,— они не видались шесть лет; у Иванова, что бессменно заведовал одним облздравом на Волге, осведомился, научился ли хоть спирт из аптеки выписывать; Ваське Ананьеву, ровеснику и другу по ссылке, напомнил, как лучили однажды рыбу на Ангаре и Федоска, сын его, упал в воду. Оказалось, что Феодосий Васильевич теперь инженер в Донбассе и дочке его одиннадцатый год. Незаметно молодое поколенье заполняло пробелы в передней боевой шеренге.

— Матереют детки, усатеют... — одобрительно и мужественно сказал Василий Ананьев.

...Стеше, старой пулеметчице и Катеринкиной подруге, пообещал подыскать в женихи какого-нибудь лихого ингуша в бешмете и с серебряными газырями, а как добрался до Арсентьича, просто сжал старика в плотных и безмолвных объятиях. Сопя, старик отбивался от ласки.

— Ну, что с птицами твоими, старче?

— Вот второй отолью... — он даже не произносил слова блюминг, оно подразумевалось,— ...и баста! Шибко просят.

(Должно быть, на куриловском Океане обитали птицы Арсентьича!)

Место Ефима Арсентьича пришлось на углу, в стороне от общего веселья. Весь вечер был он важен и неприступен. Большинство этих людей он видел впервые и по-старчески ревновал к ним Курилова. Не вмешиваясь в беседу, он придирчиво высматривал мелочи. Стол был такой, какой и полагался вдовцу: без скатерти и тесно, вперемежку с бутылками, заставленный всякими консервными коробками; бутылок было больше, чем коробок. Глаз старика тяжело нащурился; сам Арсентьич вдовел уже давно. Но в поле его зрения вошла чужая рука; на манжетке болталась перламутровая запонка. «Разрешите проявить инициативу!» Арсентьич поднял суровые глаза. Рука и голос принадлежали Сашке Тютчеву. Однако, прежде чем начать распределение, Сашка мельком спра-

вился, часто ли навещает Курилова грозная его сестра. «Ой, не любит она меня»,— шепнул он при этом. «И меня!» — сказал Табунцов. «И меня...» — с огорчением присоединился Савва. Курилов успокоил друзей. Клавдия и до несчастья-то навещала брата не чаще раза в месяц, а ее привязанность к Катеринке была известна всем.

Упоминанье этого имени заставило всех замолчать на минутку. В трудные годы Катеринка всем им была и прачка, и повариха, и товарищ, и мать.

— Рукодельница была! — молвил Арсентьич и вдруг поднял голос, багровея. — Эх, горели, не жалели! Оттыкай бутыль, гололобый...

Пир начинался. Центральная посудина с хмельной кавказской чернотой пошла по кругу. Курилов, слегка горбясь, ел. Он делал это истово, по очереди обходя все закуски. Но, прежде чем выпили за единение друзей, встал со своего места Кутенко. Встреча совпала со днем рождения Курилова; он хотел говорить, ему дали слово, полагая, что хозяину будет посвящена его речь. Впрочем, кое-кто заранее посмеивался: беспартийный Кутенко слыл еретиком и поэтом между ними. Опасения подтвердились; высоким петушиным голосом Кутенко заговорил о дружбе, которую несет и бьет о камни в порожистом потоке времени. Он заикался вдобавок: слово, прежде чем явиться на свет, долго мучило его, как роженицу. Никто не глядел ему в лицо. Тема тоста заключалась в восхвалении чести и доблести его поколенья — драться до последнего и ложиться безропотно,— так, чтоб этой лестницей мертвых все выше, на одоление последних высот, поднимались юные фаланги бойцов.

Он волновался и не следил за оговорками.

— ...мы пришли в жизнь молодыми и нескладными парнями. Ты с завода, Алеша, я — из-за фабричной конторки. Дорога была длинна. Мы оба пели, чтоб идти было веселее. Признаемся: песня наша вначале носила чисто этнографический оттенок!.. Но попутный ветер ударил в нее, как в парус, она выпрямилась и зазвенела по-новому. Нас подняло, скрутило и бросило с размаху о твердыню. Наши юности гремуче взорвались, и в брешь ворвались штурмующие полчища нашего класса. Мы не успели сделать все, что хотелось: многое нами сделано начерно и наспех. Будем спокойны: те, которые придут позже, приведут в стройный порядок наши огромные, зачастую неряшливые черновики...

Кутенко был сух и высок. Сидящим видна была страстная игра мышц на лице его и шее. Сейчас он почти не заикался. Изредка, как бы проверяя себя, он взглядывал на Курилова; тот продолжал есть.

— Ты говори, говори,— подбодрил хозяин и подмигнул оратору в промежутке. — Я еще не обедал нынче. Делал генеральную промывку дороги, жаркий день. Ты говори!

— ...пробитую брешь оплели ветвями, украсили флагами: она стала триумфальной аркой в будущее. Под нею легкой спортивной походкой проходят наследники. Вглядимся в их лица; не будем льстить себе, разговор идет о самом главном: я вижу там разных. Но гремят оркестры, и шествие продолжается. Мы не ходили так, Курилов! Они поют про паровоз, который летит стрелой, чтоб остановиться в коммуне. Но до такой-то степени мы, самоучки, знаем и Гегеля и Гераклита: не останавливается поток, и всегда в нем несется всякое, необходимое для осуществления жизни.

Кажется, он хотел выразить мысль, что декреты не распространяются по вертикали, что новые, неизведанные фазы экономики и техники могут вызвать какие-то новые социальные новообразования. Стараясь перекричать фанфары, он задавал наследникам своим вопрос: знают ли они, от каких клоак и кладбищ увело их стареющее поколенье? Известно ли им, какими усильями пробивались эти бреши в веках; как великие успехи тормозились не менее почтенными заблужденьями; как зачастую гибли лучшие из бунтарей, потому что не разум и знание руководили порывом, а минутные взрывы голода, гнева или отчаянья? Знают ли они также, что последний штурм за преобразование планеты будет сопровождаться беспримерными гражданскими войнами, сыпняками и грозными восстаниями? Он не спрашивал: «наши ли вы?», но — «готовы ли?». И он забывал, что начало уже сделано, а люди, рождаясь, вступают в производственные отношения независимо от их воли.

— Не томи, закругляйся, Костя! — почему-то со сконфуженным лицом сказал Тютчев.

— Кутенко, тебя подкупил новорожденный, чтоб мы не пили его вина,— очень холодно посмеялся Аркинд.

Кутенко принял его упрек, точно произнесенный в миллион голосов.

— Я понял тебя, Матвей. Нет, мною говорит не сомнение. Мир — это двигатель, работающий на молодости. Они

рано узнали социальную стоимость хлеба и радости. Звание человека, которое раньше нам выдавали вместе с паспортом, многие из них успели заработать беззаветной отвагой и трудом. Но помни, что именно в них созревают ростки будущих бесклассовых отношений, завтрашней морали и новой, социалистической человечности... Итак, за пример высшей социальной дружбы, скрепляющей два смежных поколения! За молодость, за наше будущее, которого мы с тобой, наверно, не увидим!

Он выпил почти в одиночку, поперхнулся и сел. Перед ним стояла ветчина, он придвинул ее поближе. Ему попался хрящ.

— Не скрипи ножом, Костя,— попросила Стеша,— даже ногти, знаешь, от звука болят!

— Хороший ты, но провинциальный человек, Кутенко,— вскользь заметил и Тютчев. — У меня еще сохранилась книжка ранних твоих стихов. Плохие! Ты мало изменился с тех пор. Чего ты напугался, чудак?

Кутенко обиженно молчал, не поднимая глаз. Всем было немножко стыдно за сомнения, высказанные оратором. Но это был тот самый Кутенко, который сидел вместе с Аркиндом, совместно с Саввой экспроприировал один из банков и вместе с Куриловым бежал от полевого суда. В тот раз Курилова арестовали первым, но Кутенку вздернули бы вне очереди, лишь бы поскорее умолк. Страстное душевное тепло всегда излучалось из этого человека. Однажды его уже проработали за утвержденье, что социальная зрелость класса в искусстве приходит через трагическое, а трагическое будущего он полагал хотя бы в биологическом угасанье. Было необходимо исправить оговорки товарища, и первым это понял Тютчев. С каменным лицом трактирного лицедея он принялся показывать Стеше и Арсентьичу всякие явления из области прикладной магии. Он втыкал, например, в себя фруктовый нож и с мистическим свистом извлекал его назад через затылок. Точно так же он брал стакан, ударял по донышку с притворной силой, и под стеклом рождалась стертая серебряная монета. Хохоча и показывая золотые зубы (взамен выбитых когда-то в белой контрразведке), Стеша собрала целую кучку монет, а тот все печатал и печатал. Арсентьич же, привстав, сокрушенно качал головою: рекорды его блюмингов оставались позади.

— Халло, филистимляне! — в испарине, вздувая щеки,

кричал Тютчев. — Прошу дать мне золотые, а также бриллиантовые предметы... — И буква «р», точно песок, хрустела у него на зубах. — Я буду опускать их в себя и возвращать в виде любых вещей мелкого домашнего обихода. Халло, у вас нет золота?.. Ваших шей не украшают алмазы? Тогда я попрошу...

И хотя жаль было губить веселье, тут-то и поднялся Курилов. «Слово ему, слово!» — закричали со всех сторон. Одна Стеша продолжала хохотать на Ананьева, который, соперничая с Сашкой, приподнимал сам себя с полу за седеющие волосы.

— Итак, Кутенко, по-твоему — социализм для тех, которые уцелеют,— начал Курилов, и все приблизительно поняли, на какой манер он станет его разносить. — Но вот я смотрю на ваши лица, милые ваши рожи, и вижу себя, многократно повторенного в них. (Я не умру никогда: отсюда я вижу, как много меня впереди, в потомках!..) Все вы куски моей собственной жизни; это оттого, что биографии наши мы делали сообща, руководясь одним и тем же. Все вы по отдельности — друзья мне. Я не сводил вас друг с другом, я и не знакомил вас, а вы друзья и между собою. И если я выпаду из этого кольца, ваша дружба останется неизменной. Она скрепляет вас железной и разумной дисциплиной, она не портится, не выветривается,— не будем говорить о тех, кто изменил ей! О ней и следовало говорить, а не о мертвых или неродившихся, Костя.

— Теперь держись, Кутенко!—шутливо погрозил Аркинд.

— Я вижу в вас всего себя целиком. С тобой, Арсентьич, мы познакомились на заводе Лесснера. Ты был помоложе, чем теперь, и волос на тебе было погуще. Ты получал уже рубль, а я продавал себя по сорок копеек в сутки. Ты любил говорить со мной и однажды, в завершение разговоров, привел меня в одно место на Петергофском шоссе. Это было в воскресный день. Дом принадлежал гробовщику. Нарядной пирамидкой стояли в окне гробы, и сверху, помнится, стоял дамский, весь в серебряном кружеве. Мы сидели; один бренчал на мандолине; водка имелась на столе. Потом пришел Ленин. На нем был чесучовый пиджак с мокрыми пятнами на плечах. Месяц стоял дождливый, то и дело спрыскивало. Жизнь тогда делалась совсем просто. Он читал нам доклад о штрафах на заводских предприятиях. Два лица наплывают одно на другое: твое, Арсентьич, и Ленина. И еще помню, он уронил карандаш, вы оба наклонились за ним и стукнулись крепко...

— ...но не дал мне поднять карандаша,— тихо и твердо вставил Арсентьич.

— После того я говорил с ним только раз, когда приехал делегатом от армейского комитета депутатов. Дело было в Смольном, дела было много. В приемной стояла фанерная перегородка, и эсеры острили, что строительство социализма уже началось. Ленин не узнал меня, а я не решился напомнить... Это была занятная пора! Я еще только открыл Пушкина, пробовал ходить в воскресную школу рисовать Лаокоона, а Шекспир был еще впереди. Я бился над Энгельсом, и многое пока не приставало к моим неуклюжим мозгам...

Телефонный звонок прервал его на полуслове. Савва, ближе всех сидевший к аппарату, взялся за трубку.

— Тебя, Алексей, с дороги,— сказал он.

Извинившись перед друзьями, Курилов наклонился над столиком. Он слушал и сумрачно наматывал ус на палец.

— ...сколько?.. Пятнадцать метров высоты? — удивленно ударил он на цифре. — Хорошо, я выезжаю. Прицепите к скорому ночному на Ревизань. Вспомогательный вышел?—Он повернулся к гостям. — Вы уж пируйте тут без меня. Спешно вызывают в одно место...

Он напрасно делал секрет, все уже догадались, в чем дело. Наскоро простившись, Курилов при общем молчании двинулся к дверям. На полдороге он остановился, и лицо его стало такое, точно он забыл что-то и не может вспомнить. На глаза ему попался Сашка; закусив губу и необычно выпрямясь, Курилов смотрел на него. В замешательстве Тютчев перешел в другое место, но Курилов продолжал глядеть туда же, в безличный и пыльный простенок. Его окружили, его брали за руки, а он молчал, все молчал и делал один и тот же жест, как бы призывавший к тишине.

— Ка-ак... в спине буровит,— сказал он удивленно и через силу. — Вот опять, опять...

Его простуда грозила стать хронической. Шел ноябрь. Боль была волниста; она просекала спину наискосок и застревала где-то под коленом. Курилов вспомнил мать, как маялась покойница поясницей и знахарка из слободы лечила ее топором и приговором... Друзья исподлобья наблюдали померкшее лицо Курилова. Ему подставили стул, и он сперва не понял, чего от него хотели. Боль в самом низу спины поглощала все остальное. Тост оставался незапитым, о Кутенке забыли.

— Будь добр, позвони,— хрипло, не обращаясь ни к кому, сказал Алексей Никитич,— позвони на дорогу, что я не могу выехать в таком виде. Пускай едет Мартинсон. (Это был его заместитель.)

Алексей Никитич поочередно, жалко и виновато, глядел на друзей. Конфузясь, он рассказал о роковой поездке на паровозе. Немедленно образовалось подобие медицинского совета при начподоре Волго-Ревизанской. У всякого отыскался самый испытанный и скорый способ лечения прострела. В названии болезни никто не сомневался. Кроме аспирина, рекомендовали также умеренный массаж, синюю лампу, русскую баню с веничком, спиртовой компресс, а Стеша, простая душа, даже красную шерстинку на запястье. Солидное мнение приволжского облздрава пересилило остальные. Облздрав Иванов грудью стоял за горчичники. На кухне отыскали два пакетика желтого порошка. Стеша действовала за аптекаря. Газетный лист поверх чьих-то физиономий густо замазали едкой кашицей. Алексея Никитича отвели к дивану и, хоть сопротивлялся, содрали с него гимнастерку.

— Сложение у тебя, братишка, как у юноши,— говорил Иванов, деловито накладывая на спину горчичник. — Ты словно и не жил. Погоди, ты еще развернешься у нас. У, ты ведь бабник, скрытый бабник; такие самые злые! Ну-ка, привстань. Чего дрожишь?

— У тебя ж пальцы, как у мертвяка... — сквозь зубы жаловался Алексей Никитич.

— Терпи, для твоей же пользы! — И вдруг стал догадываться. — Э, а уж не подагра ли у тебя, Алексей?

Оно прозвучало грозно, это слово старости.

С серым лицом и глазами в потолок, Алексей Никитич лежал посреди них, в равной мере удивленный и ослабленный припадком. Боль проходила, и он порывался ехать на крушенье, но его не пустили. Наперебой друзья старались повеселить его. Табунцов делал вид, будто фотографирует его головкой сыра; захмелевший Тютчев поверх одеяла засунул ему под мышку огурец вместо градусника. Алексей Никитич улыбнулся, но слушал иное. Водосточная труба проходила тотчас за окном. Ливень не прекращался. И если вслушаться, получалось, будто в другом конце трубы играет осипший, разбитый патефон...

Он так и не слышал, как все они, кроме Ефима Демина, разошлись по домам.

УТРО

Вот истончается сон, и Курилова будит слабый шелест стружки. Арсентьич чинит окно. Разбухшие от сырости рамы не прикрываются плотно; в непогоду сквознячки разгуливают по квартире. Курилов осторожно двигает плечом: нет, не болит, ничего и не было! Вместе с ночью ушла и боль. Ему досадно на себя за вчерашнюю слабость,— вчерашнее всегда маленькое. Достойна осмеяния болезнь, излеченная двумя пакетиками горчицы. Какая там подагра! Это поганое слово скорее обидело, чем испугало его. Оно связано с представлением о безделье и излишествах, которых он не изведал. Ты соврал, недоучившийся заволжский фельдшер!

Попросту здоровье, на которое он никогда не обращал внимания, напоминало о себе. Надо бы не пропустить зимы, купить коньки или съездить на месяц в дом отдыха, хотя бы в ту же Борщню. Заведующий усадьбой клялся, что в голодуху все население окрестных деревень питалось исключительно зайчатиной. То-то бы пострелять! С его слов Алексей Никитич добросовестно изучил топографию местности. Тотчас за бугристым холмом, что, по местной легенде, притащил на себе безвестный разбойник Спирька, на сотню километров распростирается нерубленое чернолесье. Кажется, Тютчев хвастался своим ружьишком?.. И вот воображение ставит Алексея Никитича на лыжи и спускает с крутой и снежной Спирькиной горы, запудривает до макушки снежной пылью и бешено несет к лесу, который сперва пропадает и вдруг в белом вихре вскидывается над головой. Знойко и весело от мокрого холодка, что струится ему за ворот... Раннее утро скупится на краски. Все, лес и поле, по-детски намазано синькой. И даже невысокое зимнее солнце, красное, сплющенное и большое, точно нарисовано ребенком.

...Он открывает глаза. На прибранном столике сверкает свежий хлеб в плетенке и деликатной струйкой бьется из чайника пар. «О Арсентьич, ты как древний Мидас из похвисневской книжки! Ты обращаешь в золото все, к чему протянешь руку. Ты коснулся моей юности, и она зазвенела, как песня. Ты строишь машины и всякие инструменты, которыми человек меняет лицо мира. В годы нэпа ты оживлял омертвевшие станки. Люди от встречи с тобой делаются человечнее и умнее. Ты умеешь не только блюминги и ахтерштевни — ты у м е е ш ь ж и з н ь!..» Ладно, что не довел вчерашней речи до

конца. Она неминуемо закончилась бы тостом во здравие Океана. Посмеялся бы Арсентьич, Кутенко счел бы Алексея своим союзником. «Други, милые, телесные, живые соратники, самая большая река Океана, куда мы все течем!»

Мигая мне, чтоб я подождал его, он вскакивает и босыми ногами бежит в ванную. Упругая ноябрьская вода скрипит в ладонях; он льет ее нещадно на себя в наказанье за вчерашнее малодушие. (Катеринка всегда бранилась за эти брызги на известковых стенах.) Потом, на правах временной хозяйки, Арсентьич приглашает к столу. Облачась в профессорские очки, старик развертывает газету. В комнате становится светлее. Как всегда, он читает вслух. Япония рыщет по Монголии, Литвинов едет в Америку, французская эскадрилья летит в Москву. И опять ни слова о Катеринке; мертвая, она все еще здесь!

После чая Арсентьич прощается. На праздники он уезжает к своим, на Урал. Они уходят от меня в прихожую. Мне слышно, как старый литейщик журит ученика за вчерашнее хвастовство биографией и тут же хвастается сам, что завод вышлет на станцию за ним машину. («О-отличная машина!») Наверно, лицо его при этом застенчиво морщится. Курилов берет его голову в руки, никто их не видит, они колют друг друга усами, Арсентьич очень стар. Крепче, еще крепче целуй своего друга, Курилов. Больше вы не увидитесь никогда!.. Старик бранится, шумит и хлопает дверью.

...Мы смотрим в окно. Дом высок. Если прижаться щекой к наличнику рамы, из куриловского окна виден краешек Кремля. Он сутулый и какой-то небольшой сегодня. Пасмурно, хоть и подморозило за ночь. Черный гигантский локон от близкой электростанции тянется к линялому золоту кремлевских куполов. Порхают снежинки и долго выбирают место, куда упасть. Идет зима, и прохожие на улицах, наверно, пахнут нафталином. Я узнаю среди них Арсентьича по желтому фанерному баульчику, спутнику его путешествий. Старик лихо вбегает на мост. Он торопится к блюмингу и к птицам. Его перегоняет ящичник. Два разных размеров ящика у него в руках, а третий, самый большой, на голове.

— Похоже на чертеж Пифагоровой теоремы,— говорю я, но Алексей Никитич не отвечает.

Нам видно обоим: прислонясь к перилам моста, Арсентьич пропускает мимо себя Пифагоров макет. Потом старик

раздваивается: один вскочил на ходу в трамвай, другой завернул за угол дома, где кино. Огромная, с планер, ворона падает с крыши и по ветру виражирует перед окном. Ей зыбко и зябко. И сразу, точно черный капюшон надевают на город, все исчезает под ее крылом.

— Хорошее утро,— говорю я. — Пройдемся!

— Где мы остановились в прошлый раз?

— Мы начали строить дорогу через пустыню. Мы довели ее до станции Улу-Мергень. Остаток мы пройдем пешком: там недалеко. До Шанхая три с половиной тысячи километров, десять минут ходьбы!

И мы вступаем в громадное песчаное пространство. Караван людей и машин уходит в бескрайнюю даль перед нами. Алексей Никитич жалуется, что его оглушает говор лопат и кирок. У вас слишком трезвое и нечуткое ухо, товарищ!.. Всмотритесь, еще невиданные дорожные комбайны стелют путь на ваш Океан. Они идут громадной очередью, кажется — самой тяжестью оплавляя пески и оставляя готовую, уширенной эмерсоновской колеи, трассу позади себя. Они жуют все под собою — старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного, павшего когда-то в песчаной буре. Визжат гусеницы, и гремят экскаваторные цепи. Зной и смрад стоят в тени этих чернорабочих драконов. Это похоже на пахоту, и пласт весь в слепительных стекловидных гребешках. Нам некого расспросить о причинах спешки и об источниках этой фантастической энергии. Мы помешали бы этим осатаневшим людям. Они разговаривают междометиями, как в атаке. Сжалясь над моим недоумением, Курилов кричит мне в ухо шестилетней давности новость о социалистическом Китае. Он все-таки настаивает на кирках, потому что этот упрощенный способ прокладки на целую пару десятилетий приближает наши события. Между нами происходит очередная распря... Впрочем, все это требует дополнительных пояснений.

Моя дружба с этим человеком выгодно отличалась от обычных отношений повседневного приятельства. Изредка мы сходились для шутливых, воображаемых путешествий за пределы видимых горизонтов. (Строитель нашего времени образуется из мечтателя [1], а искусство жить всегда слагалось в ос-

[1] — Неверно, литератор,— поправил меня Курилов. — Строитель осуществляет не мечту, а железную необходимость!

Я охотно согласился с ним.

новном из умения глядеть вперед.) Нам было по пути до самого Океана. Мы вылезали на редких остановках познакомиться с людьми, которых нам не дано увидеть никогда. Некоторые занятные вещи были подсмотрены нами в эти часы. Когда не хватало глаза и прозорливость поэта равнялась проницательности политика, мы пользовались и вымыслом. Он служил нам зыбким мостком через бездну, на дне которой — неизвестно в какую сторону — шумит поток.

Это было трудно потому, что, разумно планируя историю, всегда приходится оставлять кое-что на долю случайностей, гениев и дураков. Наши догадки неизменно носили оттенок спешки и неполного знания, но пусть опровергатели исправят наши ненарочные ошибки. Словом, это была наша с ним шахматная игра, а школьный глобус с продранными материками и морями служил нам шахматной доской. Все лучшее в этих партиях принадлежит Алексею Никитичу; мне же лишь неточности, побрякушки образов и упущения, неминуемые при пересказе.

Мы изымали себя из настоящего; мы уничтожали эту подвижную перегородку между будущим и прошлым, и тогда оба эти небытия приобретали одинаковую убедительность. Мы выходили в четырехмерный мир; все становилось нам доступно, и внятной была удивительная единовременность событий. Я малодушно рвался вперед, к воротам сада, о котором так поразному мечтали лучшие дети земли; мне хотелось прорваться сквозь кровь и пламена неминуемых несчастий, но мой насмешливый Вергилий непреклонно вел меня через все потрясенья, что размещены в узловых пересечениях истории. Иногда мы забирались так глубоко, что уже не хватало мудрости определить, чтó добро и где зло. Но на ближней дистанции, когда начался предпоследний тур мировых войн, мы с глубокой горечью мирились с ролью созерцателей, хотя там часто пригодились бы здоровье и силы двух лишних солдат. Я сожалею также, что нет у меня куриловского дара ясных и точных построений. Так, я не смогу восстановить в памяти, в какой хронологической последовательности произошли восстания венгерских и галицийских крестьян, поддержанных социальной революцией в центре Европы, но помнит сердце, как пылко откликнулось им на Сьерра-Неваде; и пока соседняя держава торопливо, всеми юбками, тушила и топтала этот человеческий пожар, обжигавший ей бока, она получила смертельный нож в спину от своего другого недремлющего соседа.

Дальше началось неописуемое рукоприкладство. Все народы, в обход их согласия, были впряжены в каторжный плуг, перепахивавший карту планеты. Никто не смог бы сказать, чего было больше в этой нечеловеческой трагедии, величия или низости. (И как хорошо, что самое спасительное свойство памяти — забывать!) Эти войны были длинны и опустошительны. Самый ужас их со временем вырождался в гнетущую скуку. Их прологи начинались по правилам бандитской дуэли, потому что демон войны покровительствует тем, кто первым схватится за пистолет. Сражения походили на клубление первозданного расплавленного вещества, и поражала способность человеческого сознанья выдерживать даже такое испытание. Наконец стало так жарко, что потребовалось скинуть совсем потрепанный фиговый листок буржуазного гуманизма. (Кстати, эта штука была изобретена еще в ту пору, когда полевая пушка не делала и выстрела в минуту!) Были превзойдены устарелые рекорды Навуходоносоров и Васильев Болгароктонов, Хулагу и Альб, Махмудов всех номеров и Омаров. Появились вожди, утверждавшие, что полезно, по обычаю долгобородых предков, сожрать в бою дымящееся, кровоточащее сердце врага. Бывали случаи, когда враждующие страны в одну ночь обращались в кладбища и трупные бочонкообразные черви становились единственным населением благословенных долин. Были примеры, когда ночь заставала двух вооруженных друзей-держав на шумном банкете, и потом одна с легкой дрожью изумления просыпалась в брюхе другой. Кратковременные передышки и мирные сны капиталистического процветания не обманывали уже никого: дьявол любит казаться ласковым. Время от времени начинались эпидемии бегства в Советский Союз, и требовались заградительные кордоны на границах, чтобы остановить поток одичавших людей из полыхающего дома. Старая эра умирала трудно, и древнее ложе земли содрогалось под нею.

Азию постигли наиболее крутые перемены. Великая желтая страна, которая века защищалась лишь бездорожьем да непротивленьем бронированному злу, сама схватилась за упущенные поводья судьбы[1]. Это горемычное место колониаль-

[1] Одна восточная держава окончательно заглотнула Китай и даже перенесла на материк столицу, но кусок был громаден, он взорвался, и чрево расползлось по швам, и организм изменил свою социальную форму. Случилось это, разумеется, не сразу, и можно было по частям наблюдать этот поучительный процесс.

ных грабежей и бессовестных накоплений подверглось почти физической переплавке. Громадный народ, никогда не знавший, сколько его есть, сдвинулся с места. Еще ни разу в истории закон численности не играл такой роли. Судя по легендам, которые мы застали пятнадцать лет спустя, великий национальный полководец[1] проверял наличность своих повстанческих полчищ испытанным способом Чингисовой матери. Он всходил на гору, и если все до горизонта заполнялось живою, колеблющейся лавой, он считал, что войска его в целости. Такой и установился расчет: первый круг неба, второй, пятый... Нельзя было придать какие-нибудь более регулярные подразделения этой тьме разгневанных людей. Ян-Цзы дал знак, и они двинулись в поход. Облака летучего лёсса, хуанту, заслонили солнце. Народные певцы вскричали, плача, что Ван-Суйе-Ян-Цзы скомандовал ночь, чтобы поработители не подсмотрели с неба. Сперва много лет бились внутри страны, а потом перешли на границы. Самым кустарным образом подвергалось избиению все, что спускалось с воздуха или высаживалось с моря. Карательная коалиция, куда за исключеньем Советского Союза вошли все, вплоть до мелких залетных пташек, отступила. Беззаветный героизм всегда сопутствовал освободительным войнам, но в особенности это сказалось в стихийной атаке китайского народа. От века умевший работать, видеть историческую цель и презирать опасность, он не считал трудодней в свою героическую десятилетку подъема[2].

То был наиболее емкий на сенсации век, и самая неожиданная из них имела будничный оттенок. После срока, который сократят или удлинят потомки, наступила одна ночь: петух переправлял свои сокровища в Среднюю Африку, и лев на острове Маврикия с урчаньем зализывал свои обрубки. Все перемешалось. Никто не протестовал, когда в эту пору конвульсивных поисков опоры Голландская Индия неторопливой походкой устрицы вошла в великую островную империю; ни-

---

[1] Этот миньжэнь, человек из народа, происходил с порожистых верховьев Ян-Цзы-Кианга, и в просторечии все называли его именем великой китайской реки.

[2] Стремясь объединить свою культуру с западной, молодой Китай и выстроил ту дорогу на северо-запад, которую мы посетили с Куриловым в начале главы. Так как проблема водных коммуникаций между Востоком и Западом была затруднена пиратством неприятельских армад, таскавшихся по океанам, потребность в этой внутренней магистрали окончательно созрела.

кто не удивлялся, когда малайская революция вытолкнула ее и оттуда. Похоже было, что историческая роль Атлантики как цитадели деспотов уже угасла. Наш Океан давно стал ареной мировой деятельности народов. Полушария поменялись именами; стал называться Новым — Старый Свет, и — наоборот. Варвары, последние варвары земли, отступали, как они делали это всегда. Одно время заатлантический Старый Свет служил постоялым двором для беглых королевств и республик. Опасность и вынужденное соседство заставляли их искать сближения между собою, но братание буржуазий не состоялось. Последовал передел империалистических материков; некоторые из колоний без особой гордости приняли имена бывших метрополий. Жизнь в этих странах складывалась исключительно своеобразно[1]. Старость, как и в жизни индивидуума, усилила и подчеркнула черты юности. И оттого, что орудия подавления трудящихся действовали безупречно и бесперебойно, это полушарие двигалось все время при перегретых котлах... Словом, ко времени первой решительной схватки двух миров граница между ними проходила от Камчатки, мимо Тайваня, на Яву, на Дели и Аден, по вогнутой кривой, через пески, на Монровию и дальше, вверх по восьмому меридиану, считая нулевым проходящий через острова Верде[2].

---

[1] Ученые исследователи когда-нибудь более подробно осветят историю возникновения и развития самой популярной организации Старого Света — General Providence Trust. В своем первоначальном виде — частная артель сыска и нападения — она оказала финансовым владыкам двуглавого материка некоторые секретные услуги, была легализована и превратилась в крупнейшую контору всяких комиссионных поручений. Этот тысячерукий левиафан брался за любые предприятия — от организованного похищения детей до избиения держав-малюток, уцелевших кое-где на материке. Председатель фирмы м-р Д. Мекези имел самую толстую совесть, и оттого, что всегда греховны тайные помыслы людей, он за недорогую плату принимал на себя прегрешения всего мира. (Война южноамериканского типа, например, стоила по каталогу всего в двести раз дороже отрыва ноздрей у какого-нибудь конкурента.) У меня в записной книжке сохранилось несколько рекламных объявлений этой фирмы: «24 процента наших акций у священнослужителей. Почитайте Библию, и вы поймете, кого вы приобретаете в сообщники!» — «Вручая нам деньги, вы делаетесь пайщиками рая (Paradise-investors)!» и др.

[2] На Международной географической конференции, состоявшейся за восемь лет до большой войны, принято было за нулевой считать меридиан Верде, как разделяющий континенты поровну на два полушария.

Мы долго не знали, произойдет ли это грозное столкновение, или переустройство планеты будет следствием сотни мелких социальных взрывов. Почему-то Алексей Никитич держался этой осколочной теории. «Халло, не пугайся, доброе человечество. Главное уже произошло!» [1] Я взбунтовался: поэту в равной мере, что и политику, требуется пророческий дар для предсказаний на таком расстоянии. Впрочем, мы сошлись на том, что важна конечная цель, а не предварительные варианты... Итак, разность двух классовых потенциалов сдвигала их все теснее, пока не начал действовать механизм физического притяженья. Несмотря на искусное лицемерие послов, континенты жили недружно [2]. Правительство Северной Федерации Социалистических Республик до конца придерживалось миролюбия. Это не было боязнью: тылы и резервы ее были неисчислимы. Сдержанность происходила из уверенности, что каждый день ослабляет противника и облегчает его будущий разгром. Кроме того, не только проигрыш, а и неполная удача повлекли бы чрезмерное потрясение культуры. Человекоубойная промышленность процветала, а штабы еще *не обнародовали* своих секретных достижений. Творцы новейших доктрин о *дешевой* войне давно осмеяли манеру нашего времени раскидывать горы металла в расчете лишь на механическое поражение осколками [3]. Кадры войны росли. В условиях пространственной стратегии, поражавшей

---

[1] Он рассердился на меня, когда я приписал ему эту мысль с целью выудить из него секретное признанье. Он сказал лишь, что ни Маркс, ни Ленин никого не убаюкивали насчет невеселых перспектив капиталистической эры.

[2] Неоднократно на территории Федерации происходили странные и неуместные несчастья, а за три года до малайского инцидента произошло гомерическое нашествие вшей в районе Бордо. Отличной породы, плоды многолетней селекции, заслуженно названные именем Монтекуколли, изобретателя бактериологической войны, они поползли на поселения плотным фронтом, эти подвижные ампулы с сыпняком, не подверженные грозным случайностям насекомой судьбы. На некоторых, покрупнее, были обнаружены микроскопические клейма с надписью: «Бог да покарает вашу скуку!» Уровень санитарной техники исключал всякие последствия этой диверсии, справедливо расцененной современниками как хулиганский шлепок по плечу.

[3] В Верденской операции (во вступительной войне предпоследнего империалистического тура 1914—1918) требовалось полторы тонны металла, чтоб вывести из строя одного бойца. У римлян же убийство человека обходилось только в 0,0012 коп. (энергия в 0,0003 квт, необходимая на добрый взмах меча) плюс стоимость солдатской чечевичной похлебки.

врага на всем его расположении, даже механизированная война требовала участия огромных масс, а господа тем более страшились своих рабов, чем упорнее они молчали. Ходили слухи о существовании в Старом Свете каких-то установок, болванящих и, таким образом, обезвреживающих солдатскую массу[1]. Была достигнута также возможность с больших расстояний управлять автоматами истребления, которые видели вокруг себя и отсылали хозяину визуальное изображение поля битвы. Синхронная скачкообразная шкала радиоволн приемника и отправителя исключала всякую возможность постороннего вмешательства. Приемный инструмент, названный «механическим полководцем», внешне был устроен по принципу мушиного корзинчатого глаза; тончайшие нервы сливали воедино разрозненные и зашифрованные теледонесенья. Пугали точно так же наличием особых снарядов, прославленных под именем «летающих глаз»; они сами руководили пристрелкой, не требуя прямой корректировки, и хотя при той застроенности промышленными предприятиями нельзя было промахнуться и вслепую, неприятель имел возможность выбирать объекты[2]. Наконец почти накануне конфликта в арсеналах Эджвуда, на родине старомодного люизита, родился патриарх убийц, студнистый газ. Он имел способность расти за счет и дождевой влаги, и сока своих жертв. Не существовало посуды для его перевозки; нашли способ путем комбиниро-

---

[1] Передовая в Известиях Кантонского Совета, напечатанная в день прибытия нашего туда. Это и были известные впоследствии деттеровские камеры.

[2] Одно время мы с Алексеем Никитичем превратили себя в лаборатории и опытные заводы. Мы не стеснялись изобретать. Мы строили орудия для обстрела из полушария в полушарие, особые тугоплавкие пули, достаточные пробить полк, если выстроить его гуськом, подводные линкоры громадных скоростей — про них сказали бы, что они ходят в ухé, намекая на рыбу, убитую разогревом воды. (За счет температуры работали внутренние охладители.) Мы выдумывали атомные рассеиватели вещества, при воздействии которых, испытывая подобие щекотки, человек растворялся в улыбающееся ничто; мы запускали танки вторжения на газе из всякой древесной дряни (они двигались, пользуясь подножным кормом, пожирая леса, выдирая половицы из каменных домов, прокладывая по планете страшные просеки войны); мы вставляли человечеству особые газоупорные пробки в ноздри и уши, чтоб уцелело что-нибудь, и девушек земли обмазывали огнеупорной глиняной гадостью, чтоб сохранились матери для продолжения человеческого рода... Так было, пока занятия эти не показались нам отвратительными, и мы зачеркнули всё. Наравне с техникой главным оружием Федерации мы сделали идейную человеческую закалку.

ванного обстрела создавать его на месте поражения. Он был назван «субдевилитом» [1], как бы в угрозу, что еще поострее припрятан за пазухой нож [2]. Она надвигалась неотвратимо, улыбающаяся ведьма войны.

...Погода мечты всегда благоприятна для путешествий. Наши предшественники описывали в стихах легкие, чудесные страны, залитые солнцем, с блаженными долинами, полными мудрецов, детей и яблонь. Кто-то мечтал и о нашей эре! Итак, мы не раз с Куриловым обошли эти печальные развалины, средоточие вчерашней цивилизации. Кровь из Европы была выпущена, и материк долго лежал бездыханный, как исполинское, дурно заколотое животное, об одной ноге и носом в Гибралтар. Мы заходили в заброшенные города, строенные по последней моде капитализма [3], мы спускались в города подземные, куда люди прятались от ужаса и солнца, наконец, мы видели вовсе сметенные военной бурей города, похожие сверху на срезы громадного мозга, в извилинах которого долго бушевало безумие. Не осталось даже Иеремии оплакать эти подлые кирпичи. Среди полыни и раскиданных плит бегают маленькие ящерицы, бродят кладоискатели в поисках зарытых сокровищ да роются археологи, стремясь по останкам соборов, тюрем и дворцов восстановить разбойные отношения предков. Зимой дымится снег, а летом — каменная пыль. Она ест глаза, они текут слезами... Столицы молодых советских республик возникали в стороне от прежних очагов, как будто новая мысль страшилась жить в домах, где про-

---

[1] Знаменательно, что химики Нового Света еще отрицали самую возможность создания так называемых «коллоидальных газов», а в Старом их уже употребляли при подавлении восстаний. Впоследствии субдевилиту приписывали такое же революционное значение, как хотя бы открытию красного ализарина в 1869 году.

[2] Мы видели его действие в бамбуковой роще под Такао. Издалека заметно было его слабое спектральное свечение, как будто тысячи спутанных радуг опустились на местность. Мы вошли в глубь этого поучительного гербария. Все заколыхалось вокруг. Было ощущение, что дьявол газа видит нас и содрогается от смеха.

[3] С дождевальными антеннами вдоль улиц, на случай дегазации, с сотнями механических глаз и ушей на кровлях, с автоматическими батареями, которые сами наводились на тепловое излучение авиамоторов, с вместительными баллонами искусственного тумана, почти мгновенно одевавшего город покрывалом под цвет почвы или воды, если город стоял у моря. И уже не смешным кажется эпизод из газет того года, когда свирепая пальба была открыта по стае вечерних галок и весь Нибелунгенштадт зарылся в гадкий зеленоватый дым.

исходили такие убийства... Мы посетили также и Москву. Новая столица давно передвинулась на восток, а эта жила на пенсии веков, почетная музейная старуха, подпольщица всемирного возрожденья. Мы нежно любили этот город...

Мы исходили много побережий в поисках места для главной из четырех столиц нового мира. Мы поместили ее под Шанхаем[1], невдалеке от места двух последних поединков. Исторически и географически это был величайший перекресток земли. Этот город мы назвали безыменно, Океаном, потому что в пространном этом имени заключено материнское понятие в отношении всякого ранга морей, в свою очередь соединенных братскими узами каналов и рек... Неоднократно, смешными провинциалами, мы посещали это место. Мы поселились во временной рыбацкой сторожке на берегу, но адрес наш звучал романтично и гордо: «Океан, Большая Набережная, 1035». Страшась механических чудовищ, нами же изобретенных, мы выходили только ночью... Я теряюсь, с чего начать описание этого города. Это была прежде всего столица людей, которые летают естественно и без усилий; старинная тенденция архитектуры заботиться о виде сверху получала здесь окончательное и стройное завершенье. Там было много турникетов, воздухоплавательных аппаратов в виде крылатых байдарок, от одного вида которых поташнивало, зданий с глазурованными башнями в ожерельях из металлических скоб, похожих на причалы для океанских кораблей; многоярусных улиц в официальной части города, получивших здесь третье свое измерение; уборных с фамилиями всех палачей китайского народа в сточной канаве, начиная от Сун Чуан-фана, Янг-Ху и Чжан Чжуй-чана; громадных лун высокочастотных дисков, истребляющих всякую мушиную нечисть, и много другого, засоряющего память. Мы не замечали диковинок, потому что самые чудеса служили человеку незримо и преданно, как собаки.

Но, так же как, создавая богов, дикарь наделял их человеческими свойствами, мы не сумели создать племени, отличного от наших современников. Там тоже были в должном ко-

---

[1] Большинство городов было переименовано в память героев, или событий, или, наконец, по климатическим признакам. Мы оставляем их старые названия, чтобы не сбивать с толку путешественников, которые отправятся туда по нашим картам.

личестве и лентяи, и завистники, и дураки. (Я оговорюсь в защиту Курилова: Алексей Никитич категорически отрицал в городе будущего и пыль, и мух, и несчастные случаи, и даже то нормальное количество мелких пакостей, какое неминуемо во всяком человеческом общежитии.) Мы отметили равным образом, что мальчишки всех времен одинаково нестерпимы. (Хотя иногда они служили нам гидами, и наша восторженность была им щедрой платой за этот не очень тяжелый труд.) Словом, бывали часы, когда мы почитали себя оказавшимися вне закона.

Случилось, я заинтересовался с научной точки зрения гуденьем в непривлекательной уличной дыре, и меня втянуло в гигантский магнитный пылесос. Двадцать семь минут, распятый, я провисел на проволочной сетке, облепленный всяким мерзейшим мусором. Руки мои искрились, и солоноватый привкус долго оставался на языке. Курилов, пытавшийся меня спасать, оказался рядом со мною вроде Вараввы. Толпа зевак, мальчишек, уличных фотографов, этой публики третьего разряда, окружила нас. Напрасно я кричал им, что друг мой, Алексей Никитич, является начальником политотдела большой дороги, а следовательно, и на меня распространяется сиянье его святости. Ничто не помогало. Няньки показывали на нас своим детишкам, как на плененных обезьян. Другие ребятки, постарше, летали мимо нас на каких-то жужжащих машинках, вроде наших медогонок. Не очень метко они плевали мне на шляпу. (Было смешно узнать впоследствии, что не шляпа моя, а дымящая трубка Курилова была причиной экскурсии к месту нашего совместного унижения. О, старая, обуглившаяся с одного края, куриловская трубка, неизменная спутница наших путешествий!) Здесь и состоялось наше очередное столкновение с Алексеем Никитичем (пока не сняли нас с ужасной сетки!). Он категорически отвергал это происшествие. Кажется, он этих летающих малюток намеревался сделать благовоспитанными, чистенькими бакалаврами.

— Но вы же собираетесь соорудить христианский рай из нашего Океана! — кричал я, отплевываясь от гадости, летевшей нам в лицо. — Вы намерены начинить его херувимами и невозмутимыми статуями. Пускай они тоже дерутся, мучатся, расстаются... в этом и жизнь.

— Зачем вы всюду ищете сор, товарищ литератор?

— Хотя бы затем, что это и указывает на присутствие живого человека! Человек проходит по земле и оставля-

ет сор, большой и маленький, пепел своего горенья... Не хотел бы дожить до времени, когда некому будет сорить на земле... — И много другого на ту же тему выложил я ему в тот раз.

Он стал сердито раскуривать трубку, и я ушел от него, вполне убежденный, что споры ведутся не столько с целью разубедить противника, сколько с намерением доказать самому себе правильность своих воззрений.

МАРИНА СОСТАВЛЯЕТ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КУРИЛОВА

Каждое утро менялся пейзаж за окном; так капризный художник чернит и перемазывает свое творенье. Однажды, еще не подымаясь с постели, Курилов увидел снеговую оторочку на оконном переплете. Потолок светился ровной сизой белизной. Мокрая свежесть стояла в квартире: с вечера форточка оставалась открытой. Стылая река не шевелилась в берегах. Кремль нарядился в рваные горностаевые лохмотья. Из-за снега глуше стали гомон трамваев и зимний скрежет ворон. У двери позвонили. По пути сняв чайник с плиты, Алексей Никитич пошел отомкнуть запор. На пороге, иззябшая, стояла Сабельникова.

— Сегодня двадцать четвертое,— напомнила она, зубами стаскивая рваные вязаные перчатки. — Можно мне в калошах, не раздеваясь? На этот раз мы быстро покончим...

— Зачем же вам спешить... снимайте вашу резину! — Он перехватил чайник в другую руку; струйка пара из-под крышки обжигала пальцы.

Снять калоши оказалось затруднительно. Он понял это с запозданьем. У Марины вконец разваливались туфли, и до приобретения новых она ходила в них, не снимая калош. Дома, видимо, она снимала их вместе с туфлями, чтоб не оторвать подошву вовсе.

— Они у меня... пришепетывают,— объяснила она, морща лицо застенчивой улыбкой и поднимая с полу опухлый свой портфель.

— Входите, садитесь, двигайтесь... Чай пили сегодня?

Нет, она не успела; у них раскопали улицу под метро, и с утра трамвай не ходил. Кроме того, ей сообщили из управления, что сегодня Курилов не будет на работе, и она пото-

решилась застать его дома. Алексей Никитич вспомнил, что собирался потратить этот день на докладную записку в ЦК, но... Велик был этот день!

— Вам погуще? Хозяйка из меня вышла бы плохая. Постойте, у меня варенье было. — Он пошел к шкафчику, но оказалось, что варенье съели друзья; оставались только громадные конфеты в пакетике, похожие на чертовы пальцы в бумажках. Они лежали здесь еще со времен Катеринки. — Вот вместо варенья. Наверно, любите конфеты? — И шутливо погрозил пальцем.

Она подумала, вспыхнула и, не теряя времени, сунулась в портфель за блокнотом. Надо было пользоваться хорошим настроением Алексея Никитича. Начальники бывают рассеянны и в таком виде непостоянны, как женщины.

— Нет, уж лучше займемся биографией. — Впрочем, она развернула одну и сунула в рот. — Вот я и готова!

Он рассмеялся; с этой конфетой, не умещавшейся во рту, как она похожа на провинившуюся школьницу!

— Отлично, тогда записывайте! — начал он, грея пальцы о стакан. — Есть такой город Пороженск. Так установилось: слава города измеряется количеством людских костей, положенных в его основанье. Так вот: это сильно исторический город. Но главная слава этой дыры в ее знаменитой русской юфти. Вы, конечно, не знаете, что такое юфть!

— Нет... И мне конфета очень трудная попалась.

— Да вы раскусите ее пополам!

— Она не раскусывается.

Он не внял ее замечанию.

— Юфть... записывайте!.. представляет собой шкуру годовалого быка, выделанную на чистом дегте. Когда-то там находилась уйма мелких кожевенных заводов, но потом все заглохло. Теперь это просто захудалый угол, весь в сирени и яблонях. Кстати, яблоки там с грецкий орех величиной, рот от них наизнанку выворачивает, но их только в чай и кладут, вместо лимона. Вкусно! — И он так звучно прищелкнул языком, что Марина ощутила терпкую кислинку на деснах. — От прежней славы осталось только разное кустарное производство да еще кружевницы. Слыхали что-нибудь, женщина, про пороженские кружева?

Марина замялась; в точности она не имела представления, где находится этот город, но самое имя его почему-то пахло кожей и дополнительно вызывало воспоминание о немереных

лесных пространствах, о близости чувашской земли, о знаменитом кулацком восстании. Что касается кружев, она по недостатку средств не употребляла никаких. Поэтому она сказала торопливо:

— Пороженские?.. как же, как же!

Он начал тоном душеспасительных сказаний:

— Итак, я родился пятьдесят лет назад от честных и благочестивых родителей. Отец работал отдельщиком на кожевенном заводе. Интересного в его грубой жизни мало. Он главным образом трудился, и я никогда не любил его за суровость. Он и разогнал детей. Клавдия убежала из дому пятнадцати лет, сестра Ефросинья, буйная, сорвиголова, вышла замуж за крупного промышленника, а я ушел в Питер, на завод. Вообще мне с родней не повезло. Дядя по матери был торговец, имел на базаре ларек с щепным товаром. Он умер, когда я был еще мальчишкой, но я любил его товар и, наверно, через товар его самого. Дуги, сани с крашеными передками, расписные ушаты, долбленые ковши — и все это в анилиновых бальзаминах, в конях, в заячьих лапках. На каждой вещи — весь обиход мужицкого мечтания!.. В праздник шатается, бывало, пьяный, по городу, отыскивает плачущих детей и оделяет мятными, в орешек, пряниками. «Не обижайте детей!» — это было его любимое присловье. Чудак был в своем роде и помер от вина. — Он придвинул хлеб и масло. — Вы кушайте, Марина. Биография — дело трудоемкое. Я не очень тороплюсь... И почему вы не записываете?

Странно, как он не понимал ее смущенья! Ее с треском выгнали бы отовсюду, если бы записала буквально, как он ей продиктовал. Ей требовалось нечто героическое, конкретный подвиг, побег, эпизод самопожертвования. Подобно всему своему поколению, она романтизировала прошлое, и чем больше становилась разница между старым миром и новым, тем все менее походили на людей вчерашние хозяева России. Вот о них бы!.. Марина испытывала неловкость и розовела. На листке чернела единственная строчка. Явно, Курилову было скучно перебирать для нее одной пыльные вороха воспоминаний. Ей с самого начала плохо верилось в успех предприятия. Конечно, Курилов давно разглядел ее беспомощность, оторвавшуюся подошву, такой смешной портфель и зимнюю курточку с воротником из кролика, крашенного под леопарда. Нет, он не уважал ее. Она огляделась, ища гитару; вспомнилось, как резонировал в ней голос. Нет, не было гитары; должно быть, спря-

тал, чтобы не подсказывала о том глупом летнем вечере. Кстати, конфета прочно налипла на зубы. Она не таяла, а все набухала, заполняя весь рот. Одеревенелым языком Марина спросила:

— Все это недостаточно для биографии. Вот про дядю, например... может быть, его при царизме арестовывали? — И слабая надежда прозвучала в ее голосе.

— Нет, не припомню. Да ведь он и не скандалил! Дети его любили, толпами ходили за ним. Впрочем, я понимаю, что вам нужно. Но, к сожалению, ничего т а к о г о не было. Человек я вполне человеческий. Каждый в равных условиях сделает вдвое. Пейте ваш чай, пока не превратился в мороженое. Что, вам не нравятся конфеты? — Он надкусил одну для пробы, оторвал с зубов и ожесточенно сунул в пепельницу. — Н-да, этим несгораемые шкафы взламывать...

Осмелев, она подалась в его сторону:

— Мне говорили, например, что вы находились в ижевской осаде во время восстанья...

Он ответил сухо:

— Да, это было... и что же?

— Вот если бы вы остановились на этом подробнее!..

Алексей Никитич зажег трубку, и вместе с хорошей затяжкой пришло воспоминание. Оно было неприятно Курилову, и вдобавок сами участники порою не в состоянии были указать расстановку сил и с точностью разобраться в последовательности событий описываемого времени.

Это была пора стихийного формирования фронтов, и то, что называлось тогда — летом восемнадцатого года — Восточным фронтом, представляло собою обширный перегретый котел, в котором то и дело вспухали пузыри восстаний. Контрреволюция наступала отовсюду, и вся стратегия революции заключалась в попытках задержать смыкание смертного кольца. Было бы трудно искать четкой военной логики в летних операциях того года, когда паника была таким же действенным фактором, как и героизм, когда объяснения могучим передвижениям вооруженных масс следовало искать не в совершенстве их технических средств или в искусстве полководцев, не в трусости или отваге, а прежде всего в глубокой идейности одних и опустошенности других.

Пока же удавка затягивалась все туже. Территория республики приближалась по размерам к владениям Калиты. Вторая

армия Советов, образованная из разрозненных партизанских и красногвардейских частей, отступала на Казань. Не добитое белыми добивали голод и сыпняк. Положение считалось катастрофическим. На Ижевском и Воткинском заводах в открытую зрело восстание. Задолго до взрыва сюда стало собираться белое офицерство, объединившееся под именем Союза фронтовиков. В эти тревожные июньские дни Курилов был послан туда из Сарапула формировать рабочие дружины для фронта.

Главный удар был нанесен белыми со стороны Симбирска. Шестого августа, с помощью подпольной организации и двухтысячной офицерской бригады Каппеля, была взята Казань. Двумя днями позже, когда основное ядро ижевских коммунистов было перекинуто под Казань, произошел известный ижевский мятеж. Его техника была обычная для того времени. Мятежники ринулись на оружейные магазины и, захватив власть, принялись за расправу. В их первый улов Курилов не попал; его отыскали месяцем позже, когда подполье окончательно провалилось. Ночью его привели в темную, душную камеру, где вперемежку валялись комиссары, рабочие, председатели деревенской бедноты и прочие так называемые враги народа. Курилов стал здесь тринадцатым... Этот невеселый эпизод звучал в его передаче сухо, отрывочно, без всякой краски. Возможно, Алексей Никитич вспоминал его вовсе не для Марины. Он рассказывал его так, точно гляделся в осколок окровавленного зеркальца и угадывал позади себя, живого, груды зарубленных, исколотых, посеченных своих товарищей, ощупывал себя, уже не прежнего, и не желал мириться с тем, что видел.

— ...горько признаться, Марина: я забываю даты, лица многих из тех, кто сидел вместе со мною. Улетучиваются из памяти даже замечательные адреса, по которым ходилось в юности (эх, жаль, вас не было на днях, когда у меня собирались друзья!), но это арестное помещение на Седьмой улице в Ижевске и темные лица палачей, Яковлева и Ошкурова, я вижу сейчас отчетливее, чем ваше, Марина. В особенности этот последний — изобретательный мужчина в яловочных, с ремешками, сапогах и в какой-то полуказачьей форме — памятен мне. Его считали пьяницей, а он кокаинист был; то и дело отворачивался — попудрить душу. И потом он очень обожал просунуть дуло в волчок двери и палить по арестованным — «на счастье»... или согнать всех нас, тринадцать человек, на нары,

крикнуть — чтоб подняли руки, и лупить взажмурку, по ком попадет. Любопытен был также его инструмент — длинная ременная, с цинковой проволокой плеть, а на самом конце — кусок свинца со спичечный коробок; словом, через плечо, вперехват, она доставала до поясницы. По рассказам товарищей, имел он также склонность сажать людей на шомпол и делал это, надо отдать справедливость, с детским увлечением. Меня он знал хорошо, любил зайти, поговорить. «Ну, здорово, Алеша. Ты мне грозился трибуналом, а бог-то нас и рассудил! — и плеточкой малость позмеит. — Ну, как характеризуешь положение?» Я облизнусь, скажу только, что настроеньице мое плохое, и зубы, бывало, заноют от некоторых несказанных слов. «Пули в лоб хочешь?» — «Рано,— отвечаю. — Сперва тебя надо повесить, стервеца!» Он только глазами блеснет, точно с порции кокаина. «Я тебя понимаю, но не жди ничего, Алеша. Твои бегут, как надраенные черти. Мы списались с чехами и теперь, с помощью божьей матери, станем совместно лупить большевиков!» Товарищи слушают, бывало,— кто кряхтит от злости, а один даже мякоть в ладошке до крови изгрыз, чтоб не закричать... Под конец скучно нам стало от такой жизни, а у многих уж и тело под рубахой подгнивать начало от побоев. Трудно бывало слушать ночные расправы, когда в обход камер пойдут палачи... Обратите внимание, бывает особый звук, передать только не сумею, когда штык входит в живого человека!.. потом петлю на ногу и сволакивают в одну камеру. Решились мы вырваться. Двери были не на замках, а просто приперты досками снаружи. Списались по камерам ломать двери, и кто первый вырвется, тот выпустит и остальных. Кстати, собрали пыль, золу с печного душника, соли накопили с четверть фунта — засыпать глаза первому, кто войдет. Двое стали по бокам с поленьями, а третий на корточки присел, чтобы броситься под ноги. И, так случилось, первым вошел Ошкуров... и мы его уронили... и стали рубить его же шашкой... и все не могли докончить. И выскочили и телом рвали проволочные заграждения, и бежали, половину растеряв под пулеметным огнем у пруда...

Тут-то и подумать бы о н е и з б е ж н о м, но не думалось, как будто тысячелетье оставалось в запасе! Он и сам удивлялся теперь, откуда взялась такая гимнастическая легкость у избитого, истощенного солдата. Непонятная сила поднимала его вверх; и случись бездонная яма в земле, он прыгнул бы в нее без раздумья, веруя, как в бога, в свою удачу.

— А ловок я был бегать тогда. Теперь уж не ускользнул бы...

Марина работала. Прыгающие строки неслись, сплетаясь друг с дружкой. Карандаш рвал и комкал плохую бумагу, пока не сломалось его графитное жало. Она растерянно взглянула на Курилова, как будто теперь-то и должно было последовать описание самого заключительного подвига, но опять — ничего не было, кроме искромсанного куска жизни. Отвернувшись, Алексей Никитич глядел в окно. Трубка потухла; напрасными затяжками он пытался раздуть последнюю искру. Сейчас он казался старше своих лет. Мысленно, лист за листом, он просматривал дальнейшие события биографии, недоступные детским глазам Марины. Отблеск первого снега, отразясь от потолка, контурно очертил его расплывчатой линией. Пользуясь передышкой, Марина втащила на колени портфель и шарила там — не то нож, не то другую такую же синюю палочку с графитом.

— Вас... — прищурясь, спросила она,— вас тоже избивал этот подлый человек?

— Таких вопросов не задают, Марина... и вообще зря вы это записываете.

— Но ведь это и есть жизнь! — его же словами возразила она.

— Это будни всякой борьбы... Знаете, я лучше поищу для вас готовую биографию. У меня валялась где-то копия.

Марина не настаивала на продолжении, потому что не чувствовала в себе уменья написать куриловскую жизнь во всей сложности обстоятельств. Больше того, она узнала, что человеческие биографии совсем не похожи на те, что впоследствии становятся известны людям.

— Я ужасно уважаю вас, Курилов,— тихо сказала она.

Он с удивленьем обернулся, она смутилась и прикрыла ладонью нижнюю часть лица.

— Зачем вы прячете свою улыбку? У вас прекрасные зубы... — Он также мог бы похвалить ее кожу, такую свежую, чистую и как бы подтянутую на висках, даже ее большие, не очень женственные руки, даже ее обильные веснушки, даже то, как она смеется, кончик розового языка показывая в зубах. — Кстати, вы очень поправились в Пензе!

— Перед Пензой я целых две недели провела в Борщне.

— Что ж, хорошо там?

— Это большая усадьба, и парк при ней. — И все искала карандаш при этом. — Река... я целые дни проводила в воде. Я ведь как рыба плаваю! (Куда же он все-таки завалился?) — Она взяла свой портфель и, запустив руку, на ощупь искала там. Было бы гораздо проще выложить начинку этой сумки на стол и разобраться, но, значит, не решалась обнаружить свои богатства. — Между прочим, там в лесной сторожке до сих пор живет старуха, родственница бывших хозяев именья. Ее всем приезжим показывают, как в музее. И верно, когда смотришь на нее, начинаешь понимать, зачем существует смерть. Она еще Александра Второго помнит... (Ведь вот был карандаш-то и пропал!)

Зайдя сзади, Алексей Никитич глядел в пушистую розовую ложбинку ее затылка. Со времени ее последнего посещенья стыдные сны о ней тревожили его, как молодого. И точно давил ее этот взгляд, Марина краснела и горбилась все больше. Видимо, ей хотелось прикрыть собою портфель. Курилов заглянул сбоку. Сверху лежали большой ломоть хлеба и бородавчатое яблоко. В глубине он разглядел также книгу, зеркальце, оббитое с одного угла, и какие-то лоскутки. Перечисленным не ограничивалось содержание этого огромного нищенского кошеля. Наверно, он взорвался бы, не будь он пронизан стальным стержнем и прошит черной смоленой дратвой. Вдруг что-то живое пискнуло там; Марина судорожно сжала портфель в коленях, и тотчас же снова стрельнуло оттуда смешным металлическим писком.

— Что это у вас?

Все гибло, и поздно было оправдываться.

— Это музыка,— сказала она, и ее сразу стало как будто вдвое меньше.

— Какая музыка? Ну-ка, покажите...

— Это детская.

— Все равно... да я не сломаю, дайте!

На самом дне лежала детская гармошка. Марина потянула ее оттуда за ушко, и она запела расстроенным, обиженным аккордом. Яблоко вывалилось и покатилось при этом. Игрушка представляла собою кособокий ящичек с мехами из цветного проклеенного коленкора. Жестяные ладки сидели на гвоздиках, и самая вещь более пахла клеем, чем звучала. Алексей Никитич отряхнул с нее хлебные крошки и оглядел с серьезностью, происходившей от неожиданности. Заранее он испытал дружеское сочувствие будущему владельцу этой игрушки.

— Вот видите, как неудачно все складывается у нас... — кусая губы, вновь вся краснея, сказала Марина. — Ладно уж, давайте сюда! А за эпизод спасибо... — Она рассчитывала найти дополнительные материалы о Курилове в каком-нибудь революционном архиве.

Курилов не слышал, он был занят.

— Постойте, не играет у меня ваша музыка.

— Так ведь она игрушечная. И здесь дырочка, в мехах. Вы зажмите ее одним пальцем и тяните...

Марина не смогла бы объяснить, как это случилось. Она проходила мимо витрины детского магазина, когда, случайный и торопливый, упал туда луч солнца. И столько ярких красок стало вдруг за пыльным стеклом, что она соблазнилась истратить половину своих денег... О, она купила бы все, что там лежало и цвело!

Курилов был все еще занят. С сосредоточенным видом он взял флакон чего-то желтого и тянучего, вырезал полоску из лоскута и заклеил отверстие.

— У вас... ребенок! — Тут гармошка заиграла, и это походило на торжественный марш в честь третьего лица, приносившего человечность в их отношения.

— Да... мальчик.

— Вы из-за него упрямились ехать в Пензу? — Он вспомнил царапину на ее носу и смешной жест, которым она прикрывала его.

— Да, с ребенком трудно устраиваться в командировках. На тетку оставить нельзя, она припадочная: у нее печень. Комнату мне отвели сырую, мой Зямка заболел... Ну-ка, давайте сюда, еще сломаете! — И запихнула игрушку на старое место, под хлеб.

Алексей Никитич смотрел на нее почтительно и недоверчиво. Совсем другая женщина сидела перед ним, и не было между обеими почти никакого сходства. Этой были уже безразличны расположение или враждебность Курилова.

— Надо было сказать, что у вас есть ребенок! Я мог послать другую вместо вас.

— О, что вы! — с холодком усмехнулась она. — Это моя вина, что у меня ребенок. Дорога не обязана платиться за это...

— Неправильно, Марина. Мы не механизмы, мы строим наше общество для людей...

— Я знаю... и даже другим объясняю это! — и поднялась,

чтоб уходить. — Спасибо за чай. Биографию передайте Фешкину, ладно?

Уже не стыдясь своих туфель, она уходила, строгая, спокойная, прямая. Алексей Никитич догнал ее в прихожей.

— Вы как будто сердитесь на меня, Марина? Вы просто устали, и вам надо отдохнуть. — Ему очень хотелось немедленно изобрести что-нибудь приятное для нее. — Если вы не спешите, давайте проедемся за город. Первый снег... в детстве вы не играли в снежки?

Она стояла, как большой растерявшийся ребенок: соблазн прогулки почти равнялся необъяснимой Марининой обиде,— нет, он был больше ее! В последний раз она ехала на машине месяца три назад, когда на грузовике перевозили книги и проекционный аппарат для ее пропагандистского кабинета.

— И много лет вашему сыну?

Она сказала, гордая (Курилову показалось, что она стала умнее и наряднее при этом):

— Послезавтра пойдет седьмой. Он очень занятный и самостоятельный гражданин. — Она усмехнулась и прибавила глухим голосом, как говорят во сне: — Сперва в парашютисты собирался, а потом передумал и назначил себя в вагоновожатые...

— Вот и отлично. Я завезу вас домой и познакомлюсь с вашим Зямкой. Признаться, обожаю вагоновожатых! — И сам подумал, что давно не разговаривал с детьми, а это нехорошо.— Итак, едем?

— Только ненадолго... — согласилась она, и вот уже была прощена незримая обида.

— Ну и прекрасно. Спускайтесь, я буду через минуту. — Ему необходимо было захватить похвисневские книги; оказия забросить владельцу его багаж могла долго не повториться.

...Марину он догнал только на пятом марше. Веселое настроение вернулось к обоим. Лестничный пролет наполнился смехом Марины и гулким куриловским баском. Внезапно Алексей Никитич остановился у чужой двери и, расщепив спичку, всунул ее в узкую щелку между штукатуркой и кнопкой звонка.

— ...Зачем это, Алексей Никитич?

— Тут один тип живет, ужасно обидчивый. Теперь будет звонить неделю, пока не догадается! Бегите...

Схватившись за руки, они помчались вниз, как напроказившие ребята. На последней площадке они чуть не сшибли высокую старуху в таком же кожаном пальто, как у Курилова. Она удивленно посторонилась и, повернув голову, глядела им вслед. Алексей Никитич невольно выпустил Маринину руку. Встреча была неприятна ему.

— Вот, хочу проветриться: первый снег! — смущенно выговорил он и неожиданно сделал какой-то мальчишеский жест. — Я все собирался звонить тебе... Ты не ко мне?

Вопрос был праздный. Курилов жил на последнем, на двенадцатом: Клавдия воспользовалась бы лифтом. Внимательно и печально старуха осмотрела куриловскую спутницу, и под этим взглядом гасли непотухшие искринки смеха на Марининых губах. Потом тою же спокойной, непреклонной, не по возрасту легкой походкой она стала подыматься вверх. Марина смятенно догадалась, что это и была знаменитая сестра Курилова.

ПЕРВЫЙ СНЕГ, ПЕРВЫЙ СНЕГ...

Они долго молчали, как будто Клавдия могла еще вернуться.

— Как она меня напугала! — призналась Марина, когда машина вступила в уличный поток.

— О, это строгая женщина. — И поднял палец.

— Вы тоже боитесь ее? — спросила она, вверяясь его силе и доброте.

Ему почудился сообщнический тон в ее вопросе; ему не хотелось отделываться шуткой.

— Нет, это не страх, Марина. Это нечто большее, вам сразу не понять. Это постоянная проверка себя. Знаете, Марина, эта женщина большой судьбы! Она никогда не возвышает голоса; я также никогда не видел ее слез, хотя она скупа и на улыбку. — Что-то заставляло его идти сейчас на предельную откровенность. — Видите ли, у нее в молодости жениха повесили... отличный образец человека и большевика! Сильный... орехи пальцами давил, а все, даже дети, звали его просто Семенушкой. Позже выяснилось: одиннадцать минут в петле прожил. Кажется, она его любила. Только не проговоритесь при случае: она этого не терпит... — Он помолчал, и в молчании его была нежность. — У нас в биографиях длинно распространяются о следствиях, а надо говорить о причинах, обусло-

вивших их. Было бы короче и умнее. К слову, много вы успели напечь биографий, дорогой Плутарх?

Она долго не отвечала.

— Ваша осталась, самая трудная. О вас стыдно писать обычными словами. Но со взрослыми вообще трудно; они скептически относятся ко мне, задают каверзные вопросы. Меня в Пензе на собрании спросили: морально ли в наше время подавать нищему? Конечно, аморально... но если о н тоже хочет есть? Ошибиться боязно! Мне приходилось голодать, я хорошо в этом разбираюсь! Тогда мне прислали записку! А т ы с ы т а?.. — и нехорошее слово в конце. — Она закусила губку и спрятала от Курилова лицо. — Вот кончу это задание и уйду!

Мокрым ветром хлестало в открытое окно. Шла уже окраина, сажей нарисованная на пасмурных слойчатых небесах. Шоссе взобралось на насыпь, Марина задумчиво глядела вперед, на серебряную птичку, что сидела на пробке радиатора. Два острых, вертикально поднятых крыла распахивали улицу; в отвалах падали дома, встречные грузовики, прохожие; и следом за птичкой, прикованная к ее ногам, почти приподнимаясь на воздух, неслась тяжелая машина. Было чудесно ехать так, в никуда, которое и есть страна неожиданностей и счастья.

— Куда же вы уйдете? В жизни везде трудно.

— Я к детям уйду. Я и раньше с детьми работала. С ними проще, и они не лгут.

— С детьми тоже нелегко, Марина. Они — лаборатория новых отношений. Это поколение вырастает на распаде старых общественных форм, и вам надлежит стать катализатором очень мудреного процесса... Вы дружно живете с вашим Зямкой?

— О, мы с ним приятели. Зямка — это Измаил. Я люблю гордые имена! Лет через двадцать люди будут очень гордые, без единой болинки и трещинки, всякая боль или озлобляет, или ослабляет... и вообще надолго бракует человека. У нас смирных любят. А гордых надо любить: гордый не изменит, не украдет, не продаст... Сейчас мало гордых людей; у нас пока смирных любят!

— Гордость антисоциальна, Марина; она доставляет человеку прямизну, но она же селит и рознь между людьми.

— Вы сами-то верите в это?

— Нет,— откровенно признался Курилов и засмеялся.

Она не стала добивать его: удовольствие поездки было сильнее. Магическая птичка уносила все дальше, в безграничное раздолье русской зимы. Снег на полях становился все белей, мерцанье его — таинственней. Чуть тронутый оттепелью, он округлял линии и придавал природе упрощенный, без подробностей, рисунок. Встречалась деревня на пути — в веселый деловитый гомон врывалась машина. Кричали петухи, колхозные журавли, собаки; вороны кричали в сучьях, осыпая белые хлопья; ребята пробовали санками первопуток. Все это суетилось, кувыркалось, вопило на все лады. Мокрые снежки, пущенные неметкой рукой, неслись вдогонку. Пошатывались какие-то уютные старички, выпившие по случаю первопутка; бабы, перейдя на зимний режим, судачили с ведрами у колодцев. Качалось репье, загримированное под хризантемы; танцевали избушки, политые сахаром. Пряничное царство милого первого снега!..

Но вдруг подступал лес. Потряхивая белой гривой, он бежал сбоку, наперегонки с машиной, и было весело смотреть на множественное мельканье его резвых и бесчисленных ног. Он бежал до упаду, отставал, стлался кустарничком, прикидывался собачонкой, рекой, прятался весь в подорожную часовенку, в ямку, в ничто... И было бесконечно жаль, что не заехали за Зямкой. Мальчик обожал всякие механизмы, а перед автомобилем испытывал подавленное благоговение. (И уж он-то разобрался бы, что машина у Курилова была старая, сменившая множество хозяев на своем веку! Марки машин, иногда пролетавших через окраину, он определял на глаз и без промаха. И, конечно, если бы древний волосатый бог, о котором ему успела нашептать тетка, вторично сошел на землю, он спустился бы на парашюте, в кожаных рукавицах, весь в масле и с французским ключом в руке!)

— ...поскребите смирного, и если он не дурак, то уж наверно недобрый человек. И пусть гордость движет поступками людей. Пусть это будет гордость мастера, гордость героя, гордость матери, которая их обоих родила. Жизнь, конечно, настанет красивая... Уж я-то это знаю лучше всех! Я все обдумала там, каждый уголочек. Я хожу по ней каждое утро, хожу и трогаю... Все там очень дешево, очень нарядно... туфли и калачи! (Я долго проживу; отец мой умер семидесяти, нагибаясь за бумажкой: он ужасно аккуратный был...) Я еще за-

стану совсем **чистую** жизнь! (Уж я-то знаю, знаю, что Москва — самая большая река на свете!)

— Вы плохо живете, Марина?

Она не сумела сразу вспомнить формулу, которая так хорошо и полностью разъясняет жизнь.

— О, мои несчастья слишком мелки, чтоб огорчаться ими. Я люблю жизнь всякую... даже когда идет дождь и надо идти за керосином через три улицы. И трудности меня только закаляют... вот как в Пензе, например. Я задолжала в общежитии пятьдесят рублей и боялась туда показаться, чтоб не отобрали документов. Такой переплет жизни, все одно к одному! Тогда я пошла к Зямкиному отцу, он в Пензе работает. Обрадовался (новая-то жена уж надоела!), повел меня в кино смотреть **Белое пятно Арктики**. Вот как стало темно (и не стыдно!) — «Слушай, говорю, я нахожусь в **промежутке**. Зямка заболел, врачи нужны (жалко будет, если умрет!), а у меня даже талончики на обед кончились. Ты, как товарищ мне близкий по личной жизни, должен помочь! Я отдам тебе в первую получку...» А он отвечает, что нет, «не могу, я себе пальто шью». Я помолчала (так и не запомнила, что на экране показывали!). «Ну ладно, говорю, купи тогда хоть белую булочку Зямке». Булочку купил...

Они мчались; фонтанчики грязноватой кашицы вскипали под колесами машины, что шла впереди.

— Вы никогда не любили мужа?

— Я узнала, что не люблю, только перед родами, когда он заставил меня перевести сбережения на его имя (на всякий случай!). **Он предусмотрительный!**.. а я тогда еще моложе, совсем **розанчик** была!

— Разок бы ударить его для протрезвления...

— Это аморально, Алексей Никитич. И, кроме того, он занятой, он ответственный работник: ему пальто действительно нужно! (Хотя, пожалуй, нет... не очень нужно.) Но и не судиться же с ним: знаете, перед Зямкой стыдно... «Чего ж ты глядела, скажет, мать?.. выбрала себе негодяя!» — Она спохватилась и замолкла.

Как много раз она каялась в непрошеных откровенностях (болтунья, болтунья!)! Вот так и теряют друзей, когда в отношения закрадывается жалость. А все из-за гармошки, глупой писклявой коробки, оклеенной вонючей тряпицей. (Впрочем, она пощупала украдкой в портфеле, не рассыпалась ли от сотрясений игрушка. Нет, она была цела!) Марина не заметила,

как они вернулись в город. И, как бы в подтверждение ее страхов, машина остановилась посреди кривого и пустынного переулка.

Курилов дружески касается ее руки.

— Я забегу только на минутку: мне надо отнести книги. Вы обождете меня здесь, Марина.

Его голос звучит успокоительно. Он захлопывает дверцу и пропадает во мглистой снежной тишине. Прижавшись в угол сиденья, Марина ждет его. Падают снежинки, и ей кажется, одна ухаживает за другой. Курилов все не возвращается. Монотонная дрожь мотора усыпляет. Марина блаженно закрывает глаза, и ей хочется только, чтоб всегда было так тихо и печально, как в этом забытом переулке... Она задремала, и ей приснилось, будто пришла Клавдия, очень необыкновенная, медлительная, величественная, и за ухо вытащила ее из чужой машины. Марина открывает глаза и не сразу понимает, что именно случилось. Улица неузнаваема. Белые мокрые хлопья несутся как попало. Все стало из снега. Пушистые грибы образовались по углам тротуара. Проехали сани, запряженные в сугроб; из-под него жалобно, точно пришитый, торчал лошаденкин хвост. Снежный мужик, вроде тех, каких в изобилии мастерит Зямка, скорчился в передке. Снег не успевал таять даже на кожухе радиатора. Шофер вышел накинуть чехол. Мокрая кашица сразу потекла по его лицу. Ветер стихал, но снег усиливался. Он падал без конца. Все вокруг бесшумно поднималось куда-то в пеструю тревожную высоту. Курилов не возвращался.

Боясь задремать снова, Марина строит догадки, что задержало Алексея Никитича в одном из этих серых, незамысловатых особнячков. Ей часто приходилось сочинять необыкновенные истории для Зямки. Сперва она увидела военного покроя сапоги. Расклонясь голенищами в обе стороны, они стояли возле простой лазаретной кровати, пыльные, но не оттого, что в них долго шли по знойной летней дороге: попросту их давно не надевали. На желтых мягких подушках лежит больной друг Курилова; с этими провалившимися щеками он похож на Некрасова,— когда умирал Некрасов. Курилов убеждает Некрасова соглашаться на операцию. Оба знают, что это бесполезно, но другой темы для разговора нет... Ей не понравилось, она зачеркнула. Гораздо вероятнее, что здесь живет мать Курилова. Старуха прежнего закала; она не ходит к сыну; по долгу старшего в семье он сам навещает ее раз в месяц. Вошло в

привычку — не раздеваясь отсиживать положенное время в этой м у р ь е́, пропахшей деревянным маслом и камфарой. Сын сидит в табачном облаке, откинувшись к стене; подбородок вдавился ему в грудь. Сохлая и маленькая, перед ним мать; она в черной косынке и с увядшими глазами. Еще в годы ссылки она оплакала сына и проводила в непонятную жизнь, как в могилу. Боги из угла глядят понуро, как обделенные родственники. И снова Марина зачеркивает выдумку: матери он не повез бы книг!..

Третьего варианта она не знала. Могучая домохозяйка с корзиной мокрого белья на плече отперла Курилову и показала дверь, куда стучаться. Он прошел мимо столика с четырьмя керосинками, по числу семейств, мимо четырех дверей, за которыми поочередно плакал ребенок, фальшивила мандолина и трещали горящие дрова. Без стука он вошел в комнату; он спешил. Его ослепило обилие света, хотя вся стеклянная стенка у Похвиснева была залеплена снегом. Тотчас же маленький старичок выскочил из-за занавески с петухами. Курилов сказал, что рад его видеть оправившимся от потрясенья, и, протягивая узелок, прибавил шутливо, что вот дорога доставляет даже невостребованные грузы. Старик кивал, поглаживая матерчатые свои, со вздутиями на коленях, брючки. Глаза с резвостью игральных блошек прыгали в его лице; оставалось предполагать, что одно появление призрака из события под Саконихой повергало его в такое состояние.

Многословие его могло привести в отчаянье, а уйти сразу Курилову мешало какое-то смутное сознание вины перед этим человеком.

— О, вы правы! — сеял слова старик. — Судьбою я был неоднократно поставляем... э, в различные столкновения, но таких еще не бывало со мною... Мы, старики, к сожалению, мало приспособлены к тому, чтобы нас этак встряхивали в вагонах... И когда я очнулся, то немножко болело плечо, и окна были разбиты; но и то и другое оставалось на своих местах. Зато плевательница съехала на самую средину: она была... э, необычной формы и с крышкой. Я толкнул ее ногой, она не сдвигалась. В отчаянье, и даже крича, я стал теребить ее, но она оказалась привинченной! Это был вентилятор,— словом, я сидел на потолке. Но вы же соображаете, дружок, что я не в таком возрасте... э, чтоб проводить остаток жизни на потолке? Тогда я...

Курилов сказал, что он очень торопится, и взялся было за скобку двери, и тотчас же, почти падая на него в стремленье дотянуться до куриловского уха, старик сообщил, что полчаса назад его племянница прострелила себя. (Аркадий Гермогенович и сам удивился естественности, с какою родился этот экспромт.)

— Она жива?

Тот замахал руками, и, право, жестикуляция его была понятнее прерывистого старческого шепота. Пуля сильно царапнула лишь мякоть ноги, дело ограничилось домашней перевязкой. Несчастие сопровождалось рядом побочных, столь же несчастных обстоятельств. Единственный в доме телефон сняли месяц назад за неуплату; муж племянницы в командировке; извозчиков окончательно вывели из обихода... О нет, не врача, а только отвезти раненую домой! Такой большой начальник неминуемо должен был приехать на машине.

Курилов молчал. Все это было не очень правдоподобно. Выстрел произвел бы переполох в обывательской квартире. И даже замытый, непросохший пол да ведро с чуть розоватым снегом не рассеивали куриловских подозрений. Тогда, точно опасаясь, что Курилов одумается, Аркадий Гермогенович демонстративно отдернул петушиную занавеску.

Чуть ли не всю эту половину занимало огромное, обитое черной клеенкой кресло, и в нем с неестественно вытянутыми ногами полулежала Лиза. Она была бледна, ни кровинки на раскусанных губах; старенькой шубкой дядя укутал ей плечи. Несмотря на огненную пальбу в печурке, зимняя свежесть стояла здесь. Лиза постаралась улыбнуться; беспомощная враждебность читалась в ее взгляде.

— Ты напрасно беспокоишь постороннего человека,— сказала строго она, приникая щекой к клеенчатой обивке.

— Не учите меня правилам жизни, Лиза,— загорячился старик. — Вы звереныш! Вы даже не кричали от боли. Я всегда подозревал вас в бесчеловечности!..

— Но все равно я не смогу дойти до машины...

Тогда Алексей Никитич поднял на руки этот смятый комок человеческого вещества, заброшенный сюда с размаху, и, не говоря ни слова, понес к выходу. Она безучастно смотрела куда-то мимо его фуражки. И только бровка Лизина, время от времени дугою вскидываемая на лоб, как бы подсказывала, что боль еще не прошла.

— ...жжет? — Он вспомнил свое первое пулевое раненье.

— Нет, я только испугалась очень... — ответила она, радуясь легкости, с какою он ее нес.

...Марину разбудил холод. В дверцу лезла фигура в брезенте (и хруст показался Марине спросонок скрежетом зубов). Все еще длился сон, и было непонятно, зачем Клавдии понадобилась такая большая черная шляпа. А уже Аркадий Гермогенович тормошил за колено и с сомнительной ласковостью просил гражданочку выйти ненадолго из машины. Марина выпрыгнула прямо в сугроб, образовавшийся у подножки; снежная мокрядь охватила ее ноги, портфель сам собою вывалился на мостовую. Можно было лишь уловить, что произошло какое-то несчастье. И пока Курилов укладывал на сиденье обвядшее тело Лизы, женщины увидели друг друга; Лиза поморщилась и отвернулась первой. Старичок проворно вскочил на место рядом с шофером и захлопнул дверцу. Марина отошла в сторону, чтоб не задело крылом. Зажглись передние фары, колеса забуксовали, выкидывая комья снежной грязи ей в лицо. Потом кузов машины накренился, волшебная птичка вздрогнула, рявкнула, и красный сигнальный огонек стал быстро уменьшаться. Сон с Клавдией сбывался...

Вышел дворник на единоборство с последствиями вьюги. Сдвинув шапку на глаза, он долго чесал у себя в затылке. В подвальном окне зажгли первую лампу. Как быстро стемнело в этот день!.. Знобило, слегка болела ушибленная в щиколотке нога, хотелось есть. Марина отломила кусок хлеба и с нерешительностью подержала в руке яблоко (но Зямка как раз любил такие, бородавчатые, и оно отправилось назад в портфель). Едва можно было прочесть названье переулка, производное от каких-то Спасов и Болванов. Ей пора было домой. Ни мокрые чулки, ни дальность расстояния не пугали ее: все это был только очередной переплет жизни. И вот она вспомнила ту житейскую формулу, которую изобрела сама и забыла привести Курилову: человек живет радостью преодоленных несчастий.

Четверть часа спустя куриловская машина, словно обезумевшая, ворвалась в переулок. Световые потоки обшарили приземистые строеньица. Дворник шарахнулся к стене. Переулок был пуст. Выскочив из машины, Курилов сам обежал его, заглядывая во дворы. Происшедшее казалось ему величайшей несправедливостью перед спутницей. Марины не было.

— Марина... Маринка!..

Она возвращалась к себе. Город стал топкий. Ледяная кашица раздавалась из-под ног, и маленькие черные полыньи оставались в следах Марины. Она порадовалась, что Зямки не было с нею. Все кругом было рыхлое, текучее; оно гремело на крышах, сползая по скатам в желоба, оно сипло откашливалось в водостоках. И уже плохо верилось, что это и есть первый снег, милый первый снег!..

АРКАДИЙ ГЕРМОГЕНОВИЧ И ЕГО НАЧИНКА

Все знавшие лично Аркадия Гермогеновича единодушно относили его редкостное долголетие за счет разумной воздержанности. Он не пил, не курил и, следуя римским рецептам долголетия, не волновался никогда. Железное здоровье гнездилось в этом подсушенном организме. Не слышно было также, чтобы в молодости он изнурял себя и любовью. Была совершенна его биография, будто выдуманная в поучение непослушным детям. По его собственным словам, жизнь свою он выпил восторженно и неторопливо, как стакан морса на знойном перепутье из одной пустыни в другую; судя по цвету его щек, осадок на дне был так же сытен, как и радужная пена у края. Скромный учитель гимназической латыни, он обучил экстемпоралиям свыше пяти тысяч учеников, и сознание, что это хоть в малой степени украсило их существованье, доставляло потребное спокойствие его совести. Кроме того, в жизни он никогда ни в чем не сомневался, встречал замечательных людей, дружил с Бакуниным, имел жилплощадь в Москве, и враги его перемерли. Всюду, куда его забрасывала судьба, находились люди, способные понять душевную прелесть этого человека и оценить качества его отличной, бархатистого фетра, шляпы. Ее тулья была высока, а под широкими полями всегда держались сумерки. Она придавала романтический оттенок не только взгляду, но и мыслям, и даже самим поступкам Аркадия Гермогеновича. Поистине шляпа являлась частью его характера и, может быть, физической личности, если порешился спуститься за нею даже в дудниковскую могилу. Эта неимоверная вещь имела свою историю.

Ей и прежде грозили несчастия. За три года перед тем она едва не погибла от вспыхнувшей керосинки, а восемь лет назад ее почти унесло в море. Это случилось в Крыму, в одной уединенной татарской деревушке, куда он попал проездом в Фео-

досию. Он возвращался из дома отдыха, где очень поправился. Обычно кучера останавливались в этом месте поить лошадей, и у Аркадия Гермогеновича было время осмотреть в небольшом радиусе окрестности. День выпал свежий, в снежно-белой каракульче бежали волны (и вообще в той местности круглый год длится какой-то неистовый шабаш ветров). С Аркадия Гермогеновича сорвало шляпу и со скоростью велосипедного колеса покатило вдоль безлюдного пляжа. Он ринулся вдогонку; ветром парусило его брезентовый плащ. Старик то отставал, то даже перегонял свою беглянку, и становилось непонятно, кто за кем гонится. У самой прибойной полоски кто-то, однако, догадался наступить ногою на сбежавшую собственность. Аркадий Гермогенович поднял на спасителя глаза... Перед ним стоял тучный, рано одряхлевший человек в поношенных штанах, вправленных в трикотажные гетры, и в просторной, как море, серого тканья, рубахе. Дымилась на ветру его седая грива, стянутая по лбу узким ременным пояском. Восхищенный Похвиснев вслух сравнил этого человека с Овидием, скитающимся в устьях Дуная и обдумывающим свои П о с л а н и я с П о н т а. Сравнение попало в самый нерв. Человек улыбнулся и показал на двухэтажный дом; он приглашал нового знакомца к себе обедать и сушиться. Тем временем последняя линейка прошла из Отуз.

Новый знакомец Похвиснева и сам не раз уподоблял себя опальному поэту. Но нет, с Овидием себя сравнил он сам. Никто не отсылал его в забвенье. Отличный мастер приподнятого поэтического слова, он угасал здесь без славы и литературного потомства. Время было такое, когда пророки нарождаются в народе,— поэт мнил себя одним из них, но и отлично сложенные пророчества его не сбывались. Порою гости бывали единственными потребителями его творений, равно величественных, неискренних и умных. То были художники и профессора средней руки, состарившиеся поклонники и просто милые и болезненные люди, которым врачи прописали умирать на южном побережье. За комнату и близость к музам они платили беззаветным восхищением перед меркнущей звездой поэта. Со скуки здесь любили чудаков. Хозяин представил Аркадия Гермогеновича гостям как друга Бакунина и автора многих неопубликованных латинских стихов... Гостеприимство поэта не соответствовало количеству комнат в доме: на ночь Аркадия Гермогеновича поселили в библиотеке, в блаженной сени рыжих и пыльных фолиантов. Утром хозяин повел гостя смот-

реть Карадагские ущелья, а вечером — древнее Киммерийское плоскогорье: полынь хороша на закате. Он знал здесь каждый уголок и самое море считал своим произведением... Так Аркадий Гермогенович и прижился. Хозяин дома умел ценить друзей, которые делили с ним черствый хлеб и скорбное Овидиево уединенье.

Постоянное поэтическое возбужденье поддерживалось в этом доме. Каждый сочинял что-нибудь в меру сил. Кто-то высказал однажды вслух догадку, не Похвиснев ли анонимно сражался с Рейнской газетой за поруганное имя своего знаменитого друга. Аркадий Гермогенович промолчал. Он был сама тайна, которая улыбается, чтоб остаться неразгаданной. Вряд ли это была сознательная хитрость; он просто не понимал, чего от него хотят. Изредка он отправлял куда-то письма, и один бездельник выяснил, что старик хлопочет о пенсии и разыскивает некоего Дудникова, старого своего врага. Конечно, Аркадия Гермогеновича не столько интересовала скромная сумма пенсиона, сколь официальное признание государством всей его предыдущей деятельности. Этого человека всегда глубоко и искренне волновали идеи свободы. Правда, он не предполагал, что все это произойдет так сурово; к революции он привыкал долго и трудно, но втайне чувствовал себя несбывшимся бунтарем, чуть не сбежал с Бакуниным к Гарибальди и... Словом, на медных досках истории, хоть сбоку и петитом, он помещал и свое скромное имя. Итак, жил он совсем хорошо, татары уважали его шляпу, гости попроще называли его профессором, и сам он, следуя кокетству стариков, стал понемножку набавлять себе годы.

Дача поэта стояла на самом берегу. В свежую погоду дом наполнялся солоноватой горечью моря и мокрым скрежетом песка. Старику не спалось в такие ночи. Он выбирался на одноногую каменную скамью у ворот; другим концом она упиралась в зарубку большого меланхолического дерева. (Аркадий Гермогенович утверждал, что это просто вологодский осокорь; ему верили, потому что не возражали и в остальном.) Легкие волны бежали к берегу и во множестве гибли на песке. Дерево ежилось; сквозь ланцетовидные тамарисковые листья обильней проникали звезды. Аркадий Гермогенович усерднее запахивался в свой бумажный халатик. Тогда безликое пространство перед ним принимало видимость женского лица, призрачного и голубого. Женщина была причесана по моде восьмидесятых го-

дов, когда жил и созревал этот важный старичок с прилизанными височками. Она звала его к себе. Ее лучистые ресницы мерцали и жутким холодком овевали его лоб. Аркадий Гермогенович внушал себе, что видит вечность, и это было так же приятно, как есть мороженое.

Видение объяснялось скорее лирическим настроеньем, чем расслаблением сетчатки. (Все в мире он воспринимал возвышенно; всегда он был немножко капризник и фантазер; бахнув однажды в компании, что у него на Карадаге оторвало ветром пуговицу, он деспотически заставил остальных себе поверить...) Всем внешним обликом вечность напоминала Танечку Бланкенгагель; нежный и смутный образ ее он пронес сквозь годы разочарованья и суеты. Этой девушки, смуглой и задумчивой, ему никогда не смогли заменить другие.

Конечно, она умерла в молодые годы, но стихотворение о ней осталось. (И опять старику везло: дочери крупного, хоть и просвещенного аграрного магната трудно пришлось бы сегодня в жизни, и было бы подло со стороны Аркадия Гермогеновича не помочь ей в нужде.) Именно здесь, у моря, выработалась привычка мысленно, раз в неделю, посещать это воображаемое мирное сельское кладбище. День померкал, тени становились вдвое длиннее предметов, которые их роняли. Оранжево золотился черный люстриновый пиджак... По ему одному знакомой тропке Аркадий Гермогенович входил. В запотевшей руке увядал букетик полевых, липких от смолки цветов. Почтительно и важно, опустясь на колено, старик клал их в приножье могилы. В который раз он читал надпись на зеленом, щербатом и замшелом камне, цитату из Иезекииля, который даже съел свою горькую книгу и не насытился познаньем. Танечка была рядом. Она вся растворилась без остатка в птичьем щебете, в блеске вечернего светила, в зеленом шуме простоволосых берез... Словом, старинная олеография эта радовала его, как ребенка новая игрушка и воробья — мерзлый комок навоза на снегу.

Ты прав, Овидий: бессонница — мать видений!.. И вот занавес памяти раздвигался, и просыпались спящие актеры. Аркадий Гермогенович видел лиловую кайму леса, откуда тянуло свежестью и грибами. По широкой и гладкой поляне, изумрудной, как сукно ломберного стола, ехали на прогулку Танечка Бланкенгагель и молодой студент Аркадий Похвиснев. Маршрут их неизбежно повторялся изо дня в день: лесным просел-

ком на Балакино, ближнее к Борщне, и оттуда, вдоль новой железнодорожной насыпи, в долину реки Псны с ее колдовскими кувшинками и болотной ряской в затонах. Дорога строилась в почти волшебном молчании. Издалека были видны рыжие глянцевитые бугры нарытой глины и разрозненные группы людей, но ни свистков десятников, ни стука мотыг и лопат не доносилось оттуда. Вечерний тучный благовест раскачивал тишину и скрадывал грубые звуки, искажавшие прелесть пейзажа.

Танечке захотелось поближе взглянуть на н а р о д, о котором так много и пополам со страхом говорилось в усадьбе. Они свернули с просеки. Похвиснев первым въехал в кучу землекопов. Люди собрались ужинать. Посреди них, неряшливо плюясь искрами и по-стариковски разговаривая сам с собой, горел костер. Чадила отвалившаяся головня, и довольно вкусно булькало в котелке над огнем. Самые люди показались Танечке горбатыми, кривобокими и как будто даже с выемками от заступа в груди. Рано состарившаяся баба, одетая в посконину и нищее лыко, кормила грудью ребенка. Вытянутыми землистыми губами он жевал такой же землистый и длинный сосок. О приезжих догадались. (Танечкин отец, один из хозяев железнодорожной стройки, ежедневно бывал на линии.) Иные встали, сдернув с себя г р е ш н е в и к и, высокие валяные шляпы, иные остались сидеть; никто не поклонился гостям. Но какой-то озороватый старик, вроде тех Никол, что, вырубленные из колоды, стаивали по северным церквам, придвинулся ближе разглядеть немужицкую Танечкину красоту, ее пуховую, с синей вуалькой, шляпу и ловкую, в обтяжку, ее амазонку... (Сколько лет прошло, а все мучило Аркадия Гермогеновича воспоминание о том, как лоснилась ткань на ее острых, целомудренных коленках!)

— Как живете, ребятки? — по-свойски спросил Аркадий Гермогенович, присаживаясь на стопку нарезанного дерна; и почему-то ребеночек заплакал в эту минуту, и все зашикали на него, как на взрослого.

— Живем хорошо, из блох сало топим,— тяжеловесно пошутил коренастый мужик, малость как бы подрезанный с ног, видимо староста артели, и, обернувшись к бабе, приказал п р и к р ы т ь с я: — Глупая, вишь — барышня смотрит!

(Но еще прежде чем он докончил, мать сама полою армяка ревниво прикрыла своего младенца.)

— Смотри, чтоб не задохнулся! — остерег ее Аркадий Похвиснев, по книгам осведомленный в случайностях крестьянской жизни, и продолжал: — Вы что же, пришлые?

Ему не ответили, но некоторые заметно подтянулись. Опять тоненько заскулил ребеночек, и почему-то теперь, полвека спустя, плач этот в представлении Аркадия Гермогеновича связывался с удушливой струйкой дымка, исходившей от головни. Как ни мяла, как ни закачивала его мать, орал и скандалил непонятливый мужичок.

— Чего он плачет у вас? — подаваясь с седла в их сторону, спросила Танечка и пожалела, что не захватила с собой ни конфетки, ни яблока.

Тогда один, лет сорока, сухопарый и с медными, продавленными внутрь висками, выступил вперед. Лицо его было угрюмо, и жестки над ним лубяные волосы; староста лишь покосился на него, кашлянул разок ради острастки и тотчас же смиренно опустил голову. Ему-то было известно, что это и есть озлобленный человек, вожак, Спиридон Маточкин.

— Евойнова отца, милосердная барышня, француз нопе обыкновенно ногой саданул,— сказал Спирька, вслушиваясь в каждое слово, как оно звенит, и никому, кроме самой барышни, не глядя в глаза. — Видите что, он ему норовил в хлеб попасть, а угодил в самый страм. Вот и плачет младенчик, папашу жалеет. Ишь, така жулябия! — И перстом, прямым и негибким, как рог, по-хозяйски ткнул в маленькое тельце, спрятанное под армяком. Но и в этом нарочито грубом жесте было больше ласки, чем в той учтивости, с какою он обращался к приезжим.

(«Остановите спектакль!» — кричал своей памяти Аркадий Гермогенович, но уже никакая сила не смогла бы теперь разогнать актеров.)

Широкими глазами, готовая заплакать, Танечка глядела на эту бессловесную нищету; она бы и заплакала, если бы не настораживал острый и короткий смешок, на который нанизывал свои слова Спиридон. Ей было известно, о каком обидчике шла речь. Это был Поммье, инженер и подрядчик, очень милый и остроумный собеседник, которого Бланкенгагель в особенности ценил за требовательную резкость с подчиненными. Конечно, любые задворки даже великих дел всегда отвратительны; она смутилась.

— Какие они... — И не дошепнула молодому человеку. — Смотрите, ведь у него уха нет!

И действительно, уха у того не было.

— А где же у тебя ухо, братец? — строго спросил Похвиснев и коснулся своего, чтобы вопрос легче достиг темного сознанья Спиридона.

— ...ухо? — Спокойно, даже не без ленцы, тот пощупал грязноватый лоскуток над дырочкой. — Ево обыкновенно тож блохи съели. Земляна блоха, скажем по-нашему, слепая. Она не зрит, что́ ест, ей бы токмо хлебцем припахивало... — И опять никто, даже сам он, не засмеялся на эту неслыханную в те времена дерзость.

Танечка оскорбленно хлестнула свою Белку. Старик смешно шарахнулся назад. Всадница выскочила из таборного круга. О, Аркадий всегда лгал ей о великодушии и мудрости народа!.. Похвиснев же, следуя зовам совести и чтоб укрепиться в гражданских чувствах, отважился зайти в землянку, где лежал зашибленный мужик. Идти было недалеко. Спиридон взялся сопровождать его. Держась за оббитую ногами ракиту, Похвиснев спустился вниз. Нужно было нагнуться, чтобы не расшибить лба. Сквозь дерновую, на хлипких жердях, крышу просвечивало кое-где небо. Здесь стояли ко́злы, забросанные конскими потниками. Поверх, в рубахе, задранной к самой шее, лежало безгласное, одлиневшее от муки человеческое тело. Голова запрокинулась; лица Аркадий Гермогенович не разобрал, а только оскал зубов блеснул в потемках. Оранжевые отлогие лучи солнца окрашивали раненому пятки и руку, в смертной истоме скинутую к земле (и один палец на ней то прижимался к ладони, то с ужасной медлительностью выпрямлялся вновь). Голый живот мужика был обильно закидан глинистой землей прямо из ка́рьера; слегка вздымаясь, она лежала там, как в чаше, и самая рана, таким образом, была сокрыта от постороннего любопытства.

— Землицей-то мы его, видите што, она огонь отводит,— равнодушно молвил Спиридон и покосился в перепуганное лицо гостя. — А справный был паренек. На покос, бывал, выйдет, ровно стакан стоит: плотно!.. Извольте глянуть, барич, как он его клёво грохнул... — И небрежно, точно рыл могилу, стал разгребать этот живой суглинок, сваливая его прямо на сапоги Похвисневу.

От растерянности лицо молодого человека стало толще и краснее. Он хватал длинную жилистую руку мужика, моля об осторожности, а тот без усилия сопротивлялся, как бы говоря: не трожь, это наше... Уже победив, Похвиснев взволнованно

запрещал ему называть его баричем; точно стихи читая, он утверждал, что и он такой же, оттуда же, из народа, что и сам он ненавидит угнетателей (и украдкой оглянулся, произнеся это слово), что пока надо терпеть и острить топоры, что час мщенья близок... и еще уйму таких же блудливых и неопределенных слов, от которых и самому становилось жарко и гадко. А Спиридон, сощурясь, глядел на оставшуюся за дальним сквозным кустом половинку солнца, и ничего нельзя было разглядеть в Спиридоне,— на закате всего чернее омута́.

— ...Но не сразу! А пока вам надо учиться, читать книги! — запинаясь, бормотал Похвиснев. — Народ должен понимать, какой акт он совершает, беря власть в свои руки. Я дам кое-что, у меня есть... сперва самое простое, по географии, по химии. Знаешь дупло у дороги на Балакинской опушке? Я положу туда, а ты возьми... Читайте вслух, понемногу, объясняйте друг другу. Я к вам зайду, проверю, как усвоили... — И тряс руку Спиридона, торопя его согласие и втайне опасаясь, как бы не ударил тот его наотмашь, учуяв его скользкую и растерянную лживость.

— Э, не знаю уж, как тебя теперь величать... Всё едино скурим!

Без раздражения или усмешки мужик махнул рукой и первым пошел вон из землянки. Похвиснев побежал следом. По счастью, никто не видел их вместе. Люди всё еще стояли, как расставило их давеча изумление перед барышней. Лошадь рванулась... Хорошо, душисто было в вечерних сенокосных лугах!.. Скачка продолжалась долго; не существовало большего удовольствия, чем мчаться навстречу первовечерней звезде и сознавать молодость, здоровье и только что испытанную страшную близость к народу. Тени сливались с самими предметами, и скакать по сыреющей дороге было мягко, как по ковру... Уже в лесу он догнал Танечку; приспустив поводья, она ехала шагом. Носок его сапога пружинно ударился о круп Белки. Бедро скользнуло о бедро. Девушка вздрогнула, точно настигли ее призраки и мысли. Сперва осторожно, а потом все смелее и развязнее, Аркадий Похвиснев заговорил о скором всемужицком бунте, о свержении смешного, с бакенбардами, царя, обманщика и лиходея,— о том, как прольется по усадьбам тяжелая, красней и гуще неочищенной ртути, барская кровь... Втайне он сомневался, чтобы это загнанное, недавними плетьми исполосованное племя способно было на что-нибудь большее, чем

разбой, но нищему и разночинцу было приятно произносить эти угрозы. Они удовлетворяли какой-то смертный, темный зуд в душе, и вместе с тем чужая девушка, напуганная ими, становилась ему ближе и доступней. Правда, он не предлагал ей бегства с ним (хотя этот шаг, по его мнению, и охранил бы ее от народного гнева); он опасался, что Бланкенгагель, быстрый на руку, попросту излупит его плетью. Все же он попытался обнять девушку за талию; при его дурной посадке это был поступок почти героический. Танечка еще ниже опустила голову... И вот последовал тот единственный поцелуй, до сих пор обжигавший его губы, как вдруг напали комары, какие-то особенно певучие и зебровой раскраски. Молодые люди помчались в Борщню. На террасе, красивый и насмешливый, сидел Дудников и жрал вишни. Эдмошка, младший брат Танечки, отвечал ему урок о Меровингах и следил за полетом косточек, вылетавших из пухлого и низменного учительского рта.

Здесь заканчивался спектакль, актеры расходились спать до следующего раза. Вздыхая и ворча, море качалось, точно подвешенное на цепях; можно было даже слышать, как они гремели в глубине. Ночные облака, пепел сгоревшего дня, тянулись над бескрайними просторами моря. Каждое напоминало предметы, когда-то бывшие в употреблении, или людей, неузнаваемых, как отраженье в заветренной воде. Незаметно для себя Аркадий Гермогенович и сам вступал в призрачный хоровод теней и звезд. Так, длинными окольными путями, подступал к нему несытный старческий сон.

ТОТ ЖЕ А. Г. ПОХВИСНЕВ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

После смерти поэта, которого здесь же и похоронили в соленом киммерийском песке, Аркадий Гермогенович вспомнил про племянницу и без уведомления направился в Москву. Лиза не порешилась отказать в ночлеге старику, с узелком стоявшему на пороге, а на другой день он, как и всюду, стал уже своим человеком. Он ходил в очереди, штопал чулки, с особым воодушевлением варил на примусе обеды и целый обстоятельный огородик развел на подоконнике. В фанерных ящиках произрастали у него и лук и салат, а пучки сухого укропа, на нитках свисавшие с потолка, что-то знахарское придавали комнате. Лиза не каялась; скоро судьба заплатила ей за доброту

Протоклитовым. Комната осталась в единоличном владении Аркадия Гермогеновича. Он перевез сюда книги, сохранявшиеся где-то в провинции, и стал давать уроки латыни каким-то недоучившимся аптекарям. Жизнь его налаживалась... кстати, незадолго перед тем он совсем случайно наткнулся на Дудникова.

Старика давно томило подозренье, что Дудников тоже любил Танечку и, может быть, с большим успехом, чем он сам. И он стал ходить к нему в подвал, чтоб постепенно распутать тайну его прямолинейных и нечестивых намеков. Теперь, когда распались все остальные связи с жизнью, одна эта древняя вражда роднила и сближала соперников. Старики сходились в молчании провести вечер; все было уже сказано. Сидя друг против друга, они до мелочей припоминали Борщню, какою она была полвека назад: дом, выстроенный амфитеатром, ковровые цветники, высокие оранжереи с распятыми на стенах апельсинными деревьями, липовый парк и тенистые сумерки его аллей... Во весь рост перед ними вставали: Орест Ромуальдович Бланкенгагель в сиреневом халате и с царственными бакенбардами; сын его Эдмошка, тринадцатилетний паренек, прозванный горничными девушками щекотун; управитель Никодим Петрович, горбатенький, похожий на морского конька; Танечка, вся застывшая на полупорыве, точно услышала зов, вкрадчивый и неотвратимый; Спирька... И тут оживала еще одна сцена из развалившегося спектакля.

Шумит непогода, ветер хлопает оторванной ставней. Собаки топочут по нижней террасе и, как из гаубиц, гавкают на тишину. По дому, со свечой в руке, проходит Никодим Петрович. Похвиснев терпеливо ждет: вот-вот слабый желтый луч из замочной скважины прочертит ночной сумрак. Но нет луча, и не дается сон. Не то сторож гремит своей трещоткой, не то сердце... Страшно. По насыпям еще не открытой дороги ездят охранные патрули. В людской живут и жиреют стражники, присланные исправником Рында-Рожновским. В деревнях, наверно, не спят сотские. По всему уезду нехорошо. Где-то поблизости бродит со своей оравой Спирька. Он и с торгашей берет свою долю, что же касается сословий повыше, то он грозится вывести их начисто. Верно, до конца веков будут бродить в приволжских мужиках неугасимые кровинки Пугача... И тут звон, чуть глуховатый и мелодичный, в три разных струны, достигает ушей молодого человека. Он по-своему разгадывает звуки. Танечке тоже не спится; она встала, раздумчиво

тронула клавесины. Музыкальная фраза звучит как вопрос. Потом открыла окно. Падая одна на другую, движутся в мраке хлопотливые тени. Осень обдирает дубы и липы в парке, и они кричат, как Марсий в беспощадных руках Аполлона. Небо какое-то забинтованное. Звук повторяется, и Похвиснев почти видит Танечкины пальцы, смутно мерцающие на клавишах...

Предсмертное, оставшееся без кары, признанье Дудникова меняет весь текст пьесы. Новый режиссер, бессильная старческая ревность, перестраивает и крушит мизансцены. Снова Аркадий Гермогенович пробуждается среди ночи. Чья-то рука шарит снаружи по дощатой перегородке, у которой стоит койка Похвиснева. Шорох приближается, и опять хочется думать, что это дворецкий. Но нет, Никодим Петрович спит в своем чулане. Это Дудников, в одних кальсонах, красномордый и самонадеянный, крадется в Танечкин мезонин. Дюймовый слой дерева мешает молодому человеку прокусить эти осторожные шарящие пальцы. Стараясь ступать по краю лестницы, чтобы не скрипели половицы, Дудников удаляется. Танечка встречает любовника на пороге. В потемках руки ищут встречных рук. Нападение Дудникова стремительно. Ночная жуть и близость Спирькина ножа лишь усиливают грубую телесную радость свиданья. И тогда-то нежный струнный звук приобретает новое и страшное объясненье.

— Перестаньте,— мысленно кричит им Аркадий Гермогенович. — Вы не одни, я тут... я слышу все!

То не клавесины, а пружинный матрац звенит над головой. Ковер на полу Танечкиной спальни смягчает звук, но ревность, подобно усилителю, возвышает шорох до вулканического грохота. Аркадий Гермогенович задыхается. «Воздуху!» Он распахивает окно, и тяжелые от ночной росы листья врываются в комнату, к нему на помощь. «Мало...» Раздетый, он бежит наружу. На крокетной площадке с шипеньем крутится палый дубовый лист, и что-то зловещее есть в его центробежном разгоне. Безумие овладевает ревнивцем, мокрый ветер не отрезвляет его. Забыв о Спирьке, он бредет наугад и свертывает головки каким-то высоким и поздним цветам. Ничем нельзя остановить чужое свиданье. Покорный и иззябший, он возвращается и с головой прячется под одеяло.

Счастливые любовники уже не существовали, но это не доставило удовлетворения третьему, обманутому. Больше того, с уходом Дудникова утерялся последний смысл бытия; Аркадий Гермогенович как-то сморщился и пожух. Непорочная де-

вушка, от которой он не требовал ничего, кроме знания о его любви, и которую он украдкой посвящал в мечтанья Сен-Симона, Фурье и в свои собственные, становилась теперь еще обольстительней. Он начинал постигать, что означает этот затаенный блеск Танечкиных глаз, раскрытых так, точно мир и грешные радости его увидела впервые. Не стоило особого труда расшифровать внезапное исчезновение Дудникова из Борщни и, двумя неделями позже, поспешный отъезд Танечки в Крым... Припадок запоздалого гнева и заставил старика предпринять однажды рискованное путешествие в Борщню, прерванное на середине пути, под Саконихой. Он ехал туда растоптать Танечкину могилу, которую благоговейно, в мыслях своих, посещал целых тридцать лет. Железнодорожную катастрофу он принял за нежелание судьбы, чтобы кто-либо раньше времени прочел ее книги. Он вернулся сконфуженный и притихший, как ребенок, которому погрозили бичом, достаточным сразить и быка...

Подобно всем старикам, он думал, что стоит на пороге старости, когда она оставалась уже позади. Правду говоря, он уже мало понимал в происходящем. Поколение его давно ушло из жизни, и он один, как подопытный экземпляр, оставался посреди шумихи. Все двигалось и перемещалось; одно расталкивало другое, чтоб отступить под напором третьего. Аркадий Гермогенович отправлялся в парикмахерскую помолодиться и заставал на ее месте бакалейный магазин. Примирясь, он решался купить капустки для стариковских щей, и миловидная продавщица посреди фразы превращалась в основательного верзилу в косоворотке. Потрясенный, он выходил наружу, и тут внезапно выяснялось, что можно ехать на автобусе. Какие-то замысловатые силы нарочно дразнили его, чтоб выбежал на площадь и закричал от страха; и требовалось зорко следить, как бы его самого не подменили по дороге. Требовалось ухватиться за кого-нибудь и держаться крепче,— появление Протоклитова на своих горизонтах он приветствовал поэтому как благоволенье самого провидения и своевременное вмешательство потомков.

Таким образом, в несколько сеансов Илья Игнатьич полностью изучил биографию своего гимназического начальства. Выяснилось, что в дни юности они, Похвиснев вместе с Дудниковым, учительствовали в усадьбе некоего Бланкенгагеля, благоустроителя Горигорецкого уезда; что они разъехались, когда Бланкенгагелев сын отправился в кадетский корпус в Петербург; что встреча их произошла только на девятый год,— спе-

циальностью Дудникова была история; что через шесть последующих лет он оказался директором гимназии, где Похвиснев преподавал латинский язык; что в эту пору Дудников был женат на дочери видного администратора, имел недвижимость и вел себя вельможей от просвещения; что и впоследствии, став попечителем учебного округа, он держал Аркадия Гермогеновича в черном теле, обходил наградами и в 1906-м чуть не уволил с волчьим билетом, когда тот высказался за отмену форменной одежды для средних учебных заведений; что основой порядка этот сановник считал нравственность, но однажды согрешил из любознательности и лечился два с половиной месяца; что у Николая Аристарховича были две дочери и сын, застреленный при попытке бегства на гетманскую Украину; что его жена в голодный год сгорела от вспыхнувшей керосинки, а дочерей рассеяла судьба по кабакам заграницы; что последнее время он проживал с каким-то опустившимся попом, которого называл печенегом и который умер у него на руках; что этот человек никогда не нищенствовал, был до конца непримирим и...

Любопытство Ильи Игнатьича было удовлетворено в первые же полчаса, но только к концу полугодия он стал испытывать тихое бешенство, когда, забежав якобы на минутку в его кабинет, неутоленный старичок начинал снова и снова разоблачать своего соперника и дубасить его крохотными, бессильными кулачками... Впрочем, он так же охотно распространялся о народной медицине, знатоком которой считал себя, а иногда и о политике. Он, например, порицал уничтожение Романовых. Его ужасала поспешность этого пусть неминуемого исторического акта; ему хотелось пышного суда, криков фанатической нации (по счастью, своевременно обузданной!), пламенной речи прокурора, где красноречие борется со справедливостью, но побеждает великодушие... Однажды, решась поделиться сокровеннейшими опасениями насчет возможного падения Луны на Землю, он набросал перед изумленным Проклитовым полную картину, как это произойдет. Где-то прочитанная отвлеченная математическая формула Эйлера сочеталась в его рассказе с почти галлюцинаторными видениями. Повествованье сопровождалось аккомпанементом старческих придыханий и многих мимических средств, к каким он прибегал для усиления впечатлений.

В самом сокращенном виде это выглядело приблизительно так:

«...однажды она повернется на каких-нибудь два градуса, и люди заглянут на вторую половинку земного спутника. Кратер Коперника сдвинется к самому краю, и новую черноту, надвинувшуюся из небытия, назовут Морем Внезапности. В действие вступит формула о падающем теле и о притяжении светил. Предисловие к катастрофе растянется на месяцы, и ученым будет время потолковать, в какой степени укорочение лунных суток отразится на многих побочных обстоятельствах человеческого существования. Луна начнет свое паденье по замедленной эллиптической спирали, постепенно ускоряясь и уменьшая круги. Каждую ночь, каждую ночь она будет восходить все крупнее!.. Это будет пора великих открытий, удивительных физических явлений и больших социальных деформаций. Астрономы сделают блестящие наблюдения, не нужные уже никому. Газеты, пока им не запретят говорить об **этом**, напечатают гипотетические справки о падении первой Луны в доисторические времена, когда родилась Австралия. «Не от нее ли и пошел миф о пенорожденной Афродите?» Огромный шар, видимый и днем, станет обращаться все стремительнее. И когда край страшного конопатого диска будет восходить над горизонтом, люди испытают то же самое, что и всякий, к кому убийца заглядывает в окно...

«...поражает в улицах количество небритых. Последнему смятению предшествует период растерянности и восстаний. Призывы правительств, чтобы все оставались на местах, не находят отклика; производитель не нуждается в покупателе, и наоборот. Никто не сидит в домах, не варит обеда, не ласкает детей. Человек скидывает с себя все, во что наряжался в предшествующие века. Разум намеренно прячется в дикарство. Возрождаются древние колдовские секты, обожествляющие падучую, распутство и небытие,— образуются новые, сравнимые лишь с эпидемией по быстроте распространенья. Их называют диладодиаторы, растерзатели; так будут они определены в специальной папской булле. Они пахнут псиной. Женщин и вина не хватает им. Их линчуют на всех перекрестках; в петлях они висят гроздьями, но их количество увеличивается по мере того, как Луна восходит уже среди бела дня, трижды в сутки, пять, восемь раз, в чудовищных фазах, совсем не светясь, ленивая, бугристая громада. Утверждают, что за день она **прибывает** втрое. Нужно вертеть головой, чтоб осмотреть ее всю. Происходит разговор циников: «Она вступила в атмосферу... вы чувствуете как бы ветерок на лице?» — «О, с нее

даже сыплется что-то!..» — «Она как будто даже и воняет?» — «Чего же от нее хотите: труп!» Успокоители на радиостанциях напрасно играют народные танцы на балалайках или тянут гнусавые псалмы...

«...уличные громкоговорители оповестили, что до нее осталось всего восемнадцать тысяч километров. Всего восемнадцать тысяч, полтора земных диаметра осталось до нее. Неслыханные наводнения, следствия приливов, опустошили материки. Газеты перестали выходить. Трижды в сутки по радио публиковались предварительные данные международной комиссии о координатах грядущего события: скорость полета, остающийся срок, место падения. Расчеты колебались в пределах, подрывавших всякое доверие к ним: между безумием и невежеством колебались они. «Они врут! Когда же косинус был равен тангенсу? — фальцетом закричал однажды голос в уличные репродукторы. — Богачи строят летательные аппараты, чтобы не быть на планете в момент столкновенья!..» Впервые мир слушал по радио странную возню, звон разбитого стакана, выстрел и хрипенье у микрофона. Ни одна война, где погребались миллионы, не приводила толпу в такое исступление, как умерщвленье этого простака. Именно убийство безвестного человека подняло низы. «На воздух,— кричали они, громя правительственные кварталы. — Мы тоже хотим на воздух!» (Как будто еще возможно бегство!) На улицах чаще слышна стрельба. Декрет о воспрещении самоубийства в публичных местах не выполняется. Отчаянье воскрешает в памяти всех другую грозную дату, 1456, когда папа Каллист V особой буллой изгнал и проклял комету Галлея; она повернулась и умчалась восвояси, как наскипидаренная... «Слышите, братья? Как наскипидаренная, умчалась она!..» И вот римский первосвященник в сопровождении всего конклава выезжает на автомобилях в Среднюю Европу. Он отслужит здесь экстренную мессу на самом большом, на самом большом поле, какое нашлось на материке,— несколько веков назад Жижка давал здесь бой немцам из своего вагенбурга. Молящиеся, заполнившие все до горизонта, хрипло воют латинское: «Тебя, бога, хвалим...» Громовым радиоголосом, которому позавидовал бы и Моисей на Синае, папа беседует с богом. И хотя утверждают, что пресуществление святых даров, залог небесной благодати, произошло на глазах у всех, Луна восходит в этот день девятый раз. В девятый раз морда убийцы заглядывает сквозь облачное окно!.. Проносится слух, что диланиаторы снова начали свои убийства. Толпа бе-

жит по полю, переваливаясь через самое себя; гора приливной океанской воды гонится за ними, когда темное тело, подкрашенное с краев закатцем, начинает закрывать небо и неторопливо опускается над полигоном, позади знаменитых пушечных заводов. Опять светят звезды, пронзительные и неподвижные,— «злые живые ангелы, обитающие в пламени, смотрят на мертвых».

«...внезапно новое имя оглушает мир. Слава этого человека образовалась в полчаса. Он доцент хиромантии в Бразильском университете, откуда-то с Балкан родом, с глазами чудотворца и развесистыми усами отставного военного. Ему верят; сильней наркотиков пьянит надежда. По его вычисленьям, небесное тело, достигнув опасной зоны астрономов, разорвется в клочья, как это было со спутниками Сатурна и случится с лунной свитой Юпитера. Кто не устрашится каменного дождя, будет свидетелем единственного в своем роде зрелища. Лишь малая часть Луны, около трети, скользнет по касательной к планете в районе от Гавайских островов до штата Алабама. «...Итак, беречь посуду, детей и ценности держать на руках, продовольствия запасти на неделю. Бодро встретим космическую невзгоду! В крайнем случае планета расколется пополам: науке знакомы такие факты. Полушария будут вращаться одно вокруг другого. Сообщение между разделенными родственниками станет поддерживаться на особых ракетокатапультах, проект которых разрабатывается...» И хотя он допускал даже арифметические ошибки в расчетах, заявление маньяка вызвало целое переселение из Америки, так и не законченное...

«...целую ночь стреляло небо. Падение метеоритов напоминало горькую судьбу Гоморры. Оно сопровождалось пожарами, горными обвалами и потопами библейских масштабов. Вихрем вырывало деревья, многие вещи утрачивали вес. Радио бездействовало, и только один будущий Ной безмятежно спал в арзамасском захолустье. Он был сапожник, его звали Гаври́лой. Накануне была получка, и он был выпимши. Удар последовал на рассвете, в Атлантический океан. Пиренейский полуостров обрушился, и воздух над ним как бы воспламенился. Дымящаяся вода, смешанная с огнем из недр, поднялась, хороня нации и государства... Ною померещилось, будто кто-то не очень деликатно обнял его десятью руками и кинул с размаху на дерево, как в большую корзину. Утром он вылез из сучьев и двинулся в поисках своей кадушки, обшитой кожей. Он обо-

шел окрестность, кадушки не было. Опохмелиться было нечем. Он понял так, что за ночь кооперативы закрылись, а заказчики переменили адреса. Земля была нехороша собою; кроме того, горела внутренность и болело вывихнутое плечо. Праотец будущих поколений сел и заплакал. Часом позже он поймал кошку и съел. Через три дня он встретил немолодую женщину с распущенными волосами; она поведала ему, как ангел внушительных размеров охранил ее от ночного погрома. Они поженились. Детишки, восемнадцать человек, почитали рассказы отца про спички, самовар и ружье за откровения всемогущего. Из опасения подвергнуться насмешкам потомков арзамасский Ной не описывал им более важных достижений погибшей цивилизации; великий правнук его, смышленый паренек, без подсказки изобрел колодезный насос... Все получалось очень хорошо. Отсюда пошло священное выражение: «Крути, Гаврила!..»

Выпалив это в один дух, Аркадий Гермогенович изнемог и отвалился назад. Илье Игнатьичу предоставлялось решить на выбор — поэма перед ним, никогда не написанная, или нормальный случай старческой дементности. Так или иначе, стенокардия была налицо: старик слабо стонал и держался за сердце.

— Эге, да вы и фантазер, дядюшка! — ошеломленно заметил Илья Игнатьич и тут же, как врач, порекомендовал воздерживаться впредь от подобных напряжений. — Ишь ведь как вас прорвало...

— Да, из меня трудно что-либо выудить,— сурово и многозначительно откликнулся старик. — Но эта история принадлежит не мне. Ее автор — Бакунин... А этот человек любил поразмыслить над будущим планеты. К сожалению, он запивал. Поэтому ход мысли его был угрюмый... и, пожалуй, именно общение с ним научило меня быть таким молчаливым!

Илью Игнатьича начинал душить смех; так, через непривычное, даже насильственное ощущение щекотки он медленно приходил в себя. Имя Бакунина в устах Аркадия Гермогеновича всегда настораживало его. Трудно было допустить, чтоб этот знаменитый анархист, участник международных конгрессов и оппонент Маркса, почтенный старик в старомодном сюртуке и с наружностью ересиарха, был способен на такое дурное сочинительство. (Впрочем, чтение мемуарной литературы научило Протоклитова не удивляться разнообразным слабос-

тям великих людей.) В таком освещении Илье Игнатьичу всегда представлялась феноменальным явлением дружба этих двух совсем несхожих людей. И он уже собрался послушать еще что-нибудь *такое* неопубликованное о Бакунине, когда Лиза, вернувшаяся из театра, позвала их ужинать.

КСАВЕРИЙ ПОЛУЧАЕТ НА ЧАЙ

Недолгая болезнь Лизы получила столько же толкований, сколько было задано по этому поводу вопросов. Версия, выдуманная Похвисневым для Курилова, отпадала сама собою: Аркадий Гермогенович бледнел, даже когда на картинке попадалось ему оружие... Какому-то старику, зашедшему повидать племянницу, сам же он сообщил, что Лиза вывихнула ногу. Протоклитову, вернувшемуся из командировки, Лиза объяснила свое недомогание угаром: простыми *голландками* отапливался театр. Проверять было нечем и незачем: через день она отправилась на работу. Правду знала только Галька Громова, старинная подруга, с которой Лизу сроднили многие несбывшиеся надежды.

Беременность Лизы она подозревала давно. При встречах она слишком старательно прижимала к себе подругу, стараясь разглядеть что-то там, в глубине, через Лизины зрачки. Однажды ей случилось войти в квартиру Протоклитовых с кухаркой, у которой имелся ключ от замка. Галька неслышно пробежала по коридору и заглянула к Лизе. Она застала подругу за одним занятием, полностью подтвердившим ее догадки. Подсунув под платье круглую диванную подушку, вся откинувшись назад, Лиза прогуливалась перед большим зеркалом. Ей нужно было знать, как *это* будет выглядеть через полгода.

— ...и целова Елисавет. И бысть, яко услыша Елисавет целование... Откуда это? — торжествующе пропела гостья, обнимая смущенную подругу; у нее всегда была в запасе подходящая цитатка, но никогда не помнилось, откуда она. — Детка, не таись, я все знаю.

Скрываться стало поздно, гнев был бы смешон, запирательство не гарантировало тайны. Лиза криво и холодно усмехнулась:

— Похоже?

— Подложи еще вон ту, маленькую. Так будет в самый раз!

Совместными усилиями они попытались добиться сходства, хотя и с неполным успехом: платье расходилось по швам.

— Ты не одобряешь... меня? — спросила Лиза.

— Детка, я просто не имею права омрачать твое семейное торжество. Знаешь, я даже побегу от греха, пожалуй...

— Останься,— попросила Лиза вполголоса, удерживая подругу за рукав. — Я боюсь своих мыслей...

Галька не могла отказаться от превосходства, какое ей отныне доставляла роль наставницы хотя бы в делах такого рода.

— Хорошо, но... тогда дай мне чаю. Я прямо с репетиции. Столько навалили работы... — И она деловито осведомилась кстати, тошнит ли ее уже и знает ли про это муж.

Они перешли в столовую, и вдруг, охваченная неожиданным, ложным и гадким чувством если не вины, то тревоги, как бы предвидя возражения Гальки, точно та имела право возражать, Лиза принялась сбивчиво оправдываться перед подругой:

— Видишь ли... Илья очень привязан ко мне. У него по всем ящикам рассованы мои портреты. Он сказал, что хочет еще один... живой. Словом, он... любит меня.

Она произнесла это немножко извиняющимся тоном, чтоб не обидеть подругу. Галька была не шибко хороша собою; только искусственная отчаянность поведения, сомнительная острота суждений, ребячливые кудряшки на лбу да еще вертлявая подвижность, происходившая от нежелания подвергнуться обстоятельному рассмотрению, привлекали к ней мимолетное, такое оскорбительное любопытство мужчин. Она играла роль убежденной холостячки, и с годами все ненавистнее становилось ей это амплуа мировой грешницы, каким привыкла маскировать свое одиночество. Слушая Лизу, она с ревнивой завистью из-под приспущенных ресниц оглядывала знакомую, даже летом сумеречную, с тяжелой мебелью, протоклитовскую столовую, где не хватало только надписи с запрещением говорить громко и смеяться. Но уже бросались в глаза решительные перемены, точно полдень вламывался откуда-то сверху, прямо сквозь нагроможденье этажей: всюду виднелись фотооттиски улыбающейся Лизы, подавляло обилие цветов, везде были раскиданы пышные коробки дорогих сластей — чтоб не тянуться за ними, и, наконец, видимо не умещаясь в детской комнате, целый угол занимали игрушки, веселые и пестрые до рези в глазах, почти алтарь в честь маленького человечка, которому в недалеком будущем предстояло всту-

пить в жизнь. Во всей этой подготовке к торжеству сказывалась монументальная обстоятельность Протоклитова,— никто никогда не проявил и доли такого внимания к Гальке Громовой.

— Ну говори же что-нибудь! — сказала Лиза из самого дальнего угла.

— Твой муж дома?

— Он на заседании в наркомате, вернется не раньше ночи...

Галька помолчала.

— Извините меня за вмешательство, но... ты хорошо обдумала этот... ну, предстоящий шаг?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Мне жаль тебя, бедная моя. Я понимаю твоего мужа: ему нужна жена, хозяйка, сторожиха имущества... сейчас так участились кражи. Но ты... разве, став женой, ты перестала быть актрисой?.. Ты что, решила уйти из театра? Ведь ты же растеряешь все роли. Мы живем в эпоху, когда нельзя слишком надолго пропадать с глаз как дирекции, так и публики: забудут. Искусство — коварный любовник, он всегда неверен в долгой разлуке... — Она обстоятельно распространилась на эту тему не только для убежденья Лизы, кусавшей ноготки в своем углу, но и самой себя, что в данном случае ею руководит бескорыстная дружба. — Ты же не любишь мужа, детка. Он знает это и собирается ребенком привязать тебя к себе. Они все так хитры в достиженье цели... Тебе рано это, ты еще совсем девчонка. Если ему не нравится, как ты играешь на сцене, то чего же он хочет от тебя?

— Ну... чтоб я училась.

— Господи, зачем тебе учиться и чему?

— Не знаю. Наверно, философии...

Обе не очень весело рассмеялись над дурашливым супругом. Тогда-то, подметив оттенок скорее страха, чем даже враждебности к н е м у, еще безыменному и не родившемуся, Галька предложила ей свой, неоднократно на деле испытанный план.

— Милая, е г о надо просто отложить,— сказала она, обняв подругу по праву опыта и, значит, старшинства, и затем последовала ее обычная скороговорка: — Это совсем просто, ты приходишь и уходишь. Я не помню точно адреса, но это почти рядом с театром, второй дом от церкви. На ней еще нарисован бородатый такой мужчина в купальном халате, с крестиками. Кажется, Григорий Богослов. Дом бревенчатый, во дворе со-

баки. Там живет не то окулист, не то... Но ты не обращай внимания. В приемные часы к нему ходит одна мадам. У ней легкая рука. Ну как же, быть или не быть?.. Откуда это?

Лиза слушала ее с содроганием: откровенность подруги заставляла ее ежиться и холодеть. Ей почему-то представился клеенчатый, в подозрительных пятнах, диван и — самый инструмент, самоделка из дерева и железа... Она спросила, вся в пятнах стыда и ужаса:

— Слушай, это... это очень неприятно?

— Родная, это не только неприятно, это вдобавок и больно,— тоном взрослой успокоила Галька.

...Самый дом выглядел порочней всех других в том грязном переулке. Собаки во дворе тявкнули по разу и отвернулись... Дверь вверху деревянной лестницы, перекрещенная тесьмой по диагоналям, напоминала большое траурное письмо. Висели глазные таблицы. «Г а т о р е н»,— прочла суеверно Лиза, пока мадам поучала, куря и тончайшей струйкой пуская дым:

— И воздержитесь от крика: у соседей больные дети...

Все прошло как в чаду, и не радость освобожденья, а муть, серая безнадежная скверность последовала тотчас за болями. На прощанье мадам предложила записать номер ее телефона, для знакомых. Лиза ушла через час, пошатываясь. Собаки спрятались. Григорий Богослов качал бородой и приговаривал: «Как сука, как сука!» Начиналась вьюга, первая вьюга той зимы. Прохожих почти не было. Вдруг пошла кровь, слабость увеличилась вдвое. Аркадий Гермогенович понял лишь, что случилось что-то очень ужасное, ж е н с к о е, когда Лиза с опустошенными глазами, держась за стенку, ввалилась к нему. Старая квартира оказалась ей по дороге. (В этих условиях и произошло ее знакомство с Куриловым.)

Чувство освобождения пришло позже, но с такой примесью пустоты, внутренней неуклюжести и какого-то непонятного сожаления, что она почти не испытала обещанной легкости. Муж не возвращался. Должно быть, все режет и шьет, «портняжит во исправление божьих ошибок», как вышутилось у него перед отъездом... Эти два дня вялости и тоски длятся целую вечность. Галька приносит свежие новости. Постановка М а р и и С т ю а р т решена в театре окончательно и в положительном смысле. Ставить будет Виктор Адольфович. Композитор Власов сочиняет музыку специально для четырех барабанов. «Представляешь, что он напишет. Его музыку придется исполнять на паровозах, потому что обычные инструменты будут

ломаться от нее!» Кагорлицкая, как сторонница Петра Федоровича, вряд ли получит роль...

— Ты выздоравливай скорее, а то все уплывет!

— Мне не дадут этой роли... да мне и не сыграть ее. И я боюсь, как будто мне предстоит взбираться на башню, откуда нет лестницы назад. Это кончится поломанными ногами.

— Какие глупости, Лизка! Все зависит от режиссера. — И она приводит в пример бесталанных актрис, которых сработали их театральные мужья. — Ну, не болит у тебя?.. Придумала, что сказать мужу? Ничего, ты его поцелуй покрепче, чтобы не успел удивиться...

— Галька, ведь я же не лживая!

— Пустяки, ты всякая, ты актриса. Но у тебя аппетит не по росту. Девчонка, а тянешься за такой ролью: что́ тебе в ней?

Лиза молчит с минуту, потом велит ей идти в кабинет мужа и принести с нижней полки шкафа толстую книгу в белой коже с бронзовыми застежками. И вот они вдвоем листают это протоклитовское сокровище. Страницы шумят латунью, черные готические литеры стоят шеренгами с важностью бюргеров или гильдейских старшин. Похоже, что текст этой средневековой германской хроники, история сражений, мятежей и злодеяний, написан сукровицей, потемневшей от времени.

— Видишь ли, Галя, в свое время это заменяло газету,— почти слово в слово повторяет Лиза объяснения мужа. — Сюда сводились все самые свежие новости века, хотя иногда расстояние между ними измерялось десятком лет. К некоторым приложены гравюрки. Вот горит Гус в бумажном колпаке с нарисованными на нем чертями. Вот битва при Грансопе (ватаги швейцарских лучников обрушивались на бургундцев, одетых в железо и почти заштрихованных тучей летящих стрел), а это портрет н о в о г о венецианского дожа, Николая Спонте. Он был оратор и мореплаватель. (Долгоносый старик с рубиновой застежкой на плече и в колпаке-единороге надменно глядел с листа.) Понятно?

— Как он угрюм, и худ, и бледен... Откуда это?

— И вот главное, что я хочу тебе показать. Это и есть Мария!

Гравюрка не имела качеств документа; это была простодушная запись летописца о своем впечатлении от знаменитой казни. На стеганом атласном ковре громоздился мясниковский чурбак. Склонив на него голову, стояла на коленях немолодая

женщина, одетая по моде горожанок той поры: в рубашке с четырехугольным воротником и обшитой золотым шнурком по краю. Шестнадцать пожилых шотландских баронов, все на одно лицо, коленопреклоненно и с воздетыми руками молили всевышнего освятить последнее дыханье мужеубийцы. Палач замахивался топором с силой, достаточной расхватить и самое плаху. Перегнувшись назад, он глядел при этом на своего подмастерья, схватившего за волосы голову королевы, чтобы не отскочила в сторону.

Здесь не было ничего лишнего, но Протоклитов научил жену прочесть по-своему, с внимательностью врача, и тяжелые цепи на шеях дворян, и щербатый топор заплечного мастера, и кожаный фартук его подмастерья... В десятый раз Лиза держит на коленях эту торжественную книгу ради одной этой бесхитростной картинки. Но ее пленяет здесь не сгусток темных страстей, или мрачное безумие властолюбья, или горячее сердце, слишком расточительное на любовь и месть, а лишь самая смерть, трагическое послесловье, происходящее уже за кулисами искусства. И Лиза не догадывается проверить себя вопросом: стал бы Шиллер писать об этой женщине, если бы соперница пощадила ее?

— Она была очень грешная, эта Мария?.. ты говоришь, она убила мужа? — спрашивает Галька. — Как это страшно!

— А если она ненавидела его?

И, точно пугаясь мысли, что Галька заподозрит и ее в дурных намерениях, торопливо рассказывает о своей героине. Она знает о ней почти все, кроме того, что надо почувствовать актрисе. Семи лет от роду она стала королевой, шестнадцати вышла замуж за будущего французского короля, девятнадцатилетней вдовой она вернулась в Шотландию, привезя с собой знамя католической реакции. Она не признала Елизавету наследницей ее матери и сама приняла титул королевы. Она вступила в брак со своим двоюродным братом и после гибели его обвенчалась с его же убийцей. Гражданская война выгнала ее из Шотландии. На двадцать шестом году жизни она попала в руки Елизаветы и восемнадцать последующих лет провела в заключении, тратя время на интриги, заговоры и любовь. На сорок пятом году ей отрубили голову. Она была некрасива; это она изобрела знаменитый стюартов чепец, чтоб прикрывать свой высокий, продолговатый лоб. Ее книги были переплетены в черный сафьян, а на нем вытиснены лев в щите и сверху корона. Она никогда не снимала с пальца перстня с веткой дрока

на камне, древним украшением шотландских племенных вождей... И по всему видно было, что не Лиза, а сам Илья Игнатьич работал за нее над будущей ролью, собирая всякие сведения о несостоявшейся английской королеве. Лизе оставалось лишь запомнить никогда не использованные ею подробности. Она принадлежала к несчастной разновидности художников, которые возлагают надежды только на природное дарование и на чудесную кратковременную одержимость. Приписывая обстоятельства той борьбы личным отношениям между королевами, она обкрадывала самое себя, потому что преуменьшала размеры события, которому сценой служила вся современная Европа. Итак, это была влюбленность даже не в самый образ, а лишь в его нарядную книжную эффектность, в старую материнскую сказку о женщине, провинившейся и несчастной.

— Мария!.. Она хотела слишком много, но не сумела, и ей отрубили голову.

Сбивчивый Лизин рассказ прерывает какая-то распря в прихожей. Двое кричат во весь голос, и можно подумать, что через овраг перекликаются они. Галька бежит узнать и, возвратясь, беззвучно хохочет в ногах Лизы, окутанных пледом. Лиза накидывает на плечи халатик. В прихожей разговаривают двое глухих. Кухарка гонит смешного старика в рваной бекешке, закапанной стеарином, в старомодном, с золочеными кисточками, башлыке. Воинственно размахивая руками, тот не собирается уступать ей позиций. Свет из двери падает в потемки, старик оборачивается.

— Скажи ей... — плачевно произносит призрак, ища покровительства Лизы.

Ее испуг проходит быстро. Это уже не прежний Днестров-Закурдаев, а чучело, поеденное молью. Наверно, притащился за подачкой, и Лиза мучительно припоминает, куда она засунула деньги. «У стариков тоже расходы!»

— Ну, войди. — И посторонясь, пропускает Ксаверия в кабинет мужа. — Видишь ли, я нездорова...

— Я только башлык сниму. Все простужаюсь, знаешь... Плохи, плохи Ксаверьевы дела: сплошной цикорий — дела! Я ведь ненадолго, Лизушка... Хотелось поглядеть тебя разок!

Он сдергивает свою рвань как попало и бочком вбегает в комнату, не давая Лизе времени одуматься. Руки его плотно прижаты к поясу; он не здоровается, чтобы не вводить Лизу во искушение обидеть его. По всему видно, что с ним уже не церемонятся. Он немножко суетлив, но смирный, совсем

ручной. Не верится, что это тот самый озорник, ухитрявшийся посреди трагического монолога стащить пенсне с суфлера, изобретатель настойки на сухих грибах, повергавшей самых отъявленных пьяниц, фанфарон и самаркандец, как его в ту пору называли. От былого Ксаверия остались только кадык, да вислый чувственный нос, да цветная рубаха с отложным артистическим воротником; даже обычной перхоти нет на пиджаке. «Ага, ты почистился, прежде чем заявиться сюда. Ты даже снял тюбетейку, чтобы видней была твоя старость...» И верно, именно седина придает Ксаверию такую почтенную чистоплотность.

Он осматривается, трогает вещи; привыкшего к номерному существованию, все его восхищает здесь. «О, у тебя Шекспир!» Он отмечает это с благоговением, точно видит его живого, и пальцем проводит по золоченому корешку, чтоб и его коснулась эта святость. Лиза зорко следит за его руками: надо приглядывать, чтобы не стащил чего-нибудь в суматохе чувств.

— Я рад за тебя, Лизушка. Ты деловая женщина, я всегда таких боялся. Ты ловко устроилась в жизни, но смотри! Разум опасно заменять хитростью... Впрочем, ты молодчина... и это правильно: надо поиграть всеми игрушками в этом мире! Но только не запивай! Что бы с тобой ни случилось в жизни — не пей. А у тебя еще много будет всякого в жизни!..

Так, значит, он пришел каркать, этот подшибленный ворон? Лизу настораживает его жалкий и какой-то зыбучий хохоток.

— Как ты отыскал меня?

— Я к дядюшке твоему забегал. Тоже оборотистый, в линию пошло! Мы с ним посидели на сундучке, пошептались постариковски, ухо на ухо. О нет... боже сохрани, чтоб я о чем-нибудь проговорился. Я сказал, что был твоим учителем... Ты ведь сейчас за доктором?

— Да, он хирург.

Ксаверий внимательно смотрит на ее подрагивающие губы:

— ...ты сказала, хирург? Это хорошо, очень хорошо. Вот инженеры сейчас тоже хорошо зарабатывают. Им премии дают, дачи, автомобили, очень приятно... И что же, любит он тебя?

— По-видимому.

Ладонь приставив к уху, Ксаверий взволнованно покачивает головой:

— Это тоже очень хорошо. Любовь — самая страшная, только малопрочная власть. Владей им, владей, не выпускай, жми его, пока не раскусил тебя. Знаешь, я сюда еще третьего дня заходил, да старуха твоя не пустила. Ядовитая... жаль, что лаять не умеет! Душа моя болит о тебе. Что с тобой было?

Лиза пожимает плечами.

— О, совсем пустяки. Поела несвежей колбасы...

Старик придвигается вместе со стулом. Лицо у него заискивающее и виноватое.

— Что, что ты говоришь? Ты громче, я ведь не слышу. Закурдаев-то какой стал! Курам на смех, цикорий, а?

— Я говорю, угорела! — в лицо ему кричит Лиза.

Он кивает, кивает, обрадованный, что она не сердится на него.

— Ты осторожней со своим здоровьем. Ты хрупкая, маленькая... береги себя! — В его голосе звучит ревнивая заботливость о женщине, которая выкинула его за ненадобностью.

«О, Галька права: вас чаще надо бить по сердцу, по щекам вашего сердца!»

Лизе становится скучно. Ясно, старец будет просить о чем-то. Было бы дерзостью тащиться к ней вовсе без всякой цели.

— Ладно, перестань! — Он все мямлит, и она сама идет напрямки: — Как ты живешь? Я спрашиваю, как ты существуешь?

— Я? О, хорошо. Я теперь перешел на социалку, снимаю угол у вагоновожатого, очень хорошо. В наше общежитие хотел, да вакансий нет: актеры плохо помирают.

— Пьянствуешь поди? Вот тетеря!.. Я говорю, поди водку хлещешь?

— Я? О нет. Меня из статистов-то не за пьянство, а за глухоту выключили. Левое-то еще немножко слышит, его лучами лечили. А вот на правое не изобрели подходящих лучей. Цикорий дело! Я сейчас архив один разбираю. Синие бумажки налево кладу, а розовые в отдельную стопку. Работа неинтересная. Товарищ Тютчев посулил хоть в билетеры определить, все-таки по специальности. Ты с Тютчевым не знакома? Большой человек, даже коммунист, а просто-ой. Зайду, поговорю с ним... а мне и лестно. Соскучился, знаешь, по людям. Со мной говорить-то трудно, глотка сипнет. Ты уж молчи, береги себя, Лизушка! — И с усмешкой глядит на ее голое плечо, с которого соскользнул халатик. — Твой муж не сердитый? Ничего, что

мы сидим у него? Ты ему скажи, если спросит, что мы с тобой, как Иосиф и Мария, как Иосиф и Мария... А?

— Ничего, сиди. Его нет дома. Я говорю, он уехал. Может, есть хочешь?

— Нет, что ты! Я ведь так зашел, по знакомству... чем стала — взглянуть. Я издаля-то слежу за тобой. Пахомов (ведь когда-то служили вместе!) билетик даст, я и отправляюсь... Такой праздник, такой праздник! Я все твои роли наизусть знаю... — И сам смеется такому явному неправдоподобию выдумки. — Соврал, прости, Лизушка, на слабости моей!

— Ну и как, нравится тебе?

— Неплохо, неплохо... — И какой-то сатанинский уголек блестит в ближнем его глазу. — Но до Марии тебе далеко, как до Англии. Ты сладенькое любишь, а тебе бы рассольцу хлебнуть! Единственно в ролях твоих — резвости много. Но играть ты могла бы. Однажды в жизни как ты играла... смертельно играла!

Она вся подается вперед, она хватает большую, как растекшееся на коленке тесто, руку Закурдаева:

— Когда это?.. когда это было?

— А в тот раз, Лизушка, когда ты пришла ко мне в номер. — Мятый крупитчатый нос Ксаверия краснеет. Гость шарит по карманам и сморкается так громко, что, кажется, должен прорваться платок. Остатки закурдаевского пафоса заставляют дрожать его надтреснутый голос. — Ты была дитя природы, дикой нашей российской природы. Ты пахла ситчиком и вся была как репка, тверденькая, едва сполоснутая из ведрышка родниковой водой. И песочек твой до сих пор на зубах у меня хрустит! Ты играла девочку, невинную до степени бесстыдства... ты играла самое себя. Тобой руководила истинная страсть, если ты посмела заявиться в логово, устланное костями предыдущих жертв. Господи, лопаточки-то как шевелились у тебя!.. И, помню, васильки твои были блеклые, щипаные такие, как цикорий... И даже я, я поверил тебе!

Этот человек имеет право быть несправедливым к ней. Лиза морщится и до самой шейки запахивается в халатик.

— Ну, перестань, довольно об этом. Я рассержусь!

— Лизушка, я ведь не в обиду. Ты только расквиталась за слезы, какие причинял я сам. Все равно, кто-нибудь должен был съесть Закурдаева! По слухам, мудрый заяц благословляет волка, который его грызет, благословляет и пищит. Ты меня извини за нескромность: твой муж курит? Укради у него па-

пpосочку для меня, а? Не курит... чудак у тебя муж, если деньги на табак есть!

Опять начинается сморканье. Старческая чувствительность сопряжена с постоянным насморком. Не замечая Лизиных зевков, он длинно распространяется о своих чувствах. «Вот когда, Лизушка, я сыграл бы Лира!» Несомненно, он и репетирует его тайком от всех: сидит на бульваре и читает, читает эти, для него одного написанные, строки.

— Ну, ладно... ты надоел мне. Надоел, говорю!

Он вскакивает, тормошится, поднимает с полу башлычок.

— Ты извини, Лизушка. Старики ведь все надоедливые. Нашего брата надо на ночь уксусом заливать да на холод ставить. Я уж побегу. У меня, знаешь, тоже дела...

Лиза идет проводить его. Расчувствовавшись, Ксаверий надевает протоклитовские калоши, и Лиза молчит: пускай уж! Ради сохранения достоинства он бормочет еще о каких-то житейских пустяках. Лизе неудобно, чтоб он ушел от нее с пустыми руками. Она возвращается к себе и торопливо ищет в сумке. Алый краешек тридцатирублевой бумажки вылезает изпод пачки квитанций. Ксаверию достаточно!

— Возьми это себе. Купишь что-нибудь...

Тот отшатывается; красные фуксинные пятна проступают по лицу. Комкая, Лиза засовывает ему бумажку в нагрудный карман бекеши.

— Ну, какие пустяки, бери же. Только условие: не напиваться! Ну, ладно, ладно...

Старик убегает, закрыв лицо руками и даже забывая повязаться башлычком. Он ломится в стену, не видя дверей. Золоченые кисточки волочатся за ним по ступенькам. Лиза зовет работницу почистить кресло, где сидел Ксаверий: с него могли и наползти!..

Галька входит с видом понимающей и сочувственной серьезности. Все становится понятно.

— Ты подслушивала? — с ужасом спрашивает Лиза.

— Детка, не могу же я протыкать себе перепонки ради твоих гостей. Имеющий уши слышать пусть подслушивает... откуда это? Кстати, сколько ты ему дала?

Через полчаса к Лизе приходит сожаление, что дала так мало. «Впрочем, все равно пропьет!» В сумерки приносят телеграмму: Илья Игнатьич приезжает ночью. Надо выспаться, чтобы никаких признаков болезни не осталось на лице. Ей очень хочется увидеть во сне свою героиню, хотя бы та вышла

к ней из подземелья Фозеринге со своею окровавленной, улыбающейся головой под мышкой. Говорят, для этого надо только сильно захотеть и загадать перед сном. (Ей все еще кажется, что проникновение в предмет состоит в усердном размножении деталей!)

Воображение переносит ее на пустынную дорогу от замка Фозеринге, места казни, на юго-восток, к резиденции Елизаветы. Лиза стоит, прижавшись к дереву; идет зимний дождь. Ледяные капли, сбираясь на голых сучьях, падают ей на плечи. Деревянный мосток, еле видимый в ночных потемках, пересекает овражек перед Лизой. Во тьме она слышит скрипы, топот коней и плеск разбрызгиваемых луж. По размокшей дороге, прыгая на колеях, без остановок, через всю Британию мчится наглухо закрытый возок. Дюжина оголтелых молодцов, сиплых и веселых от смородинного вина, конвоирует эту чертову телегу, втыкая шпоры в бока своих чудовищ. Факелы с разгону задевают о сучья и роняют трескучие крупицы огня. В возке сидит плохо выбритый человек в сапогах с отворотами и с ячменем на глазу. Человека мучают блохи; время от времени он просовывает кончики пальцев под камзол и сквозь низаную кольчугу чешется, чешется. Бочонок, обвязанный кожей, стоит на его коленях. На ухабах слышно, как плещется там желтый спирт и содрогается царственная тяжесть, помещенная в нем. От этого вещественного документа зависит теперь спокойствие всего королевства. Это голова Марии... Видение проскакивает сквозь Лизу, оставляя холодок на лице и внутренностях. Сверкают мокрые ступицы, гремит мостовой настил, бессонный возница лупит коней, нависая над ними, как судьба.

Лиза закрывает глаза, и вместо выдуманного желанного во сне к ней вламывается пьяный Закурдаев. Тридцатка пригодилась старику. Лиза бежит от него, захлопывая и запирая двери, но количество их бесчисленно, как бесконечна самая погоня. И тогда вмешивается благодетельный, все подавляющий Протоклитов.

— Ты очень кричала, Ли (это ее домашнее имя)... и я решил разбудить тебя.

Он, как ребенка, целует ее в лоб и тотчас же, несколько дольше, в голое плечо. Ветер из его ноздрей щекотно колышет какой-то завиток ее волос. Лиза со скукой узнает этот признак,— но сейчас она закричит, если муж вздумает обнять ее. И чтобы отвлечь в сторону, произносит первое, что вспомнилось:

— Как хорошо, что ты приехал. Представь, вчера вечером ворвался какой-то человек в железнодорожной форме. Очень хотел видеть тебя, но не назвался. Груша заметила, что, уходя, он направился вверх по лестнице... Мы так перепугались!

Все это очень странно. Илья Игнатьич живет на последнем этаже, и выше приходится лишь чердак. «Если это был Глеб, то почему не оставил записки?» Лиза еще долго слышит, как Илья из угла в угол расхаживает по комнате. Потом ее веки тяжелеют, все невесомее становится тело, и вот уже кажется, что радость жить на свете состоит в том, чтоб безнаказанно совершать глупости.

КОЛЬЦО

Никогда Илью Игнатьича не занимала в такой степени личность его брата. В конце концов он ничего не знал о нем. Глеб налетал неурочный, всегда чем-то взволнованный, излагал очередное дельце, тряс руку и растворялся в тишине за дверью. Улица, на время поглощавшая Глеба, не достигала сюда вовсе. По самому своему ремеслу Илья был уединенного, камерного действия человеком. Его работа не терпела посторонних вторжений; улица же, первичный и самый шумный цех жизни, была прежде всего септична. Так высокое искусство владеть скальпелем доставляло старшему Протоклитову сомнительное право на замкнутость.

Сперва Илье казалось, что Глеб попросту строит из себя загадочную натуру. Позже он сочинил для брата образ непоседливого человека со множеством излишних телодвижений. Последняя подробность насчет прогулки Глеба к чердаку не выходила из того же ряда; если только он не был чердачным вором, она не заслуживала никакого вниманья! И этот хитроумный врач с известностью, наполовину обязанной его изобретательности, не сумел отыскать самого простого житейского объясненья: не потребовалось ли Глебу переждать у чердака какое-то время, прежде чем снова появляться на улице...

Карьере Глеба, так расчетливо начатой десять лет назад, на всем разгоне грозило крушение. Страх родился изнутри, внешних поводов для него пока не имелось. Дело началось с пустяковой анкеты, присланной для заполнения. Предвидя всякие случайности, Глеб заготовил тогда же краткое, полное

достоинства и мужества заявление в высокую инстанцию, где сокрытие социального происхождения объяснял разумным нежеланием платиться за политические преступления отца. Добровольность этого признания, сопоставленная с безупречной семилетней деятельностью, должна была, по его плану, парализовать главный пункт возможного обвинения. Через неделю настроения его в корне изменились, и опасная бумага была уничтожена. Как раз на другой день после того он получил длиннейшее, третье по счету, письмо от Кормилицына, вложенное во второй конверт и с припиской, сделанной незнакомым почерком. Она гласила, что адрес был уже написан покойником, когда произошло несчастье, задержавшее отправку письма на целых полмесяца. Евгений Львович Кормилицын, купаясь в реке, утонул при неизвестных обстоятельствах.

Так иногда с червивой улыбкой Ирода-Антипы судьба дарит удачнику голову его врага. Но в самом начале гнев был сильнее радости о смерти дурака. Глеб с яростью прочел эти шесть убористых страниц, начиненных благодарностью, пересыпанных множеством интимных признаний, почти улик, и украшенных восклицаниями вроде: «Молодец ты, Глебушка, наши нигде не пропадут!», или: «Мы на тебя издали смотрим, любуемся украдкой и гордимся тобою...», или: «Уверены, что дойдешь до высоких степеней; но, зная твой темперамент, просим — не торопись!» Письмо отличалось от предыдущих искренностью, порою даже нежностью, а кое-где и проблесками живого сердца. Кормилицын и сам предвидел изумление приятеля: «...пусть не покоробит тебя это нашествие непрошенных слов. Но всякий имеет право закричать однажды о своем разочаровании. Вот мне пошел сорок первый год, и я без прежней беспечности гляжу в будущее. Кроме того, я вижу разные вещи, и они стыдят меня. Странное дело: много убили, а пусто не стало! А помнишь, как страшно пахла земля сраженным, упавшим человеком? Еще недавно в краю нашем усердно помирали мужички, а дети их нынче шпарят плясовые на гармоньях (помню, как ты всегда ненавидел эти расписные, ноющие голенища!) и составляют планы великого набега на мир. И, знаешь, Глебушка, мне нравится и трактор сам по себе, и наш совхоз с его прекрасными конями, и даже армия — сытая, умная, в добротных сапогах (я сам, своею рукой их щупал!). А вчера, блуждая по рощице и слушая трельные девичьи голоса на вечерней реке, я даже спугнул чужую любовь. Жизнь-то весьма продолжается. Глебушка...» В этом месте он элегически

распространялся о горечи преждевременного стариковства; предчувствием близкой гибели были пронизаны эти строки:

«...растрогало, что ты выполнил мою просьбу. Старушка пишет, что получила наконец твои деньги, хотя и не поняла, почему ты внезапно превратился в Григорьева; я объяснил ей письмом, как умел. Не жалею, что ограбил тебя на эту сумму. Со временем верну тебе с лихвой, а пока считай, что ты помог своей собственной матери. Теперь этой старушке ты стал роднее ее пройдохи сына. Ладно, черт с тобой, зарабатывай благословение Исааково, не ревную. (Между прочим, зря ты послал все пятьсот. Я нарочно запросил, а ты не поторговался. У меня есть подозрения, что старушка скупает на черный день мануфактуру. Мамаша обошлась бы и половинной суммой.) Зато насчет Зоськи берегись! (Писал я тебе о своей женитьбе, милый друг?) Она фельдшерица, умница и красавица, из тех, какие могут только сниться изрубленному войной солдату вроде меня. Довольно часто она расспрашивает меня о тебе; видимо, черты твои в моей передаче выглядят особенно привлекательно. Зоська — это все, что во мне еще не умерло. Вот уже полгода длится мой медовый месяц. Но если и ее отнимут у меня злые люди, тогда... Кстати, чтоб не забыть: я из газет вычитал, что комиссаром на твою дорогу назначен некий Курилов. Узнай, не тот ли, на которого мы так безуспешно охотились в камский период. Если же так, то остерегайся его. Эти люди умеют мстить и возвращать удары, это у них недурно получается. В крайнем случае сматывай удочки и катись к моей старушке под крыло...» Глеб сжег письмо и проклял наивную дружбу, водившую пером этого недостреленного изгнанника.

— Тебе следовало отправиться купаться до написания письма. Вода протрезвила бы твой жар... — сказал он вслух, растирая в ладонях хрупкие стружки пепла.

С силой взрыва вспомнилось ему все, что старался забыть. Значит, не порвались связи, не остыло прежнее родство! Прошлое протягивало Глебу свои обугленные культяпки; он прятал руки за спину, и тогда властно, мослами обрубков, оно сжимало ему самое сердце. Было ужасно думать, что кто-то третий прочел это болтливое послание с иного берега. Глеб подверг всестороннему изучению внешность конверта и нашел, что клеевая полоска в одном месте сдвинута в сторону. В течение недели он с беспокойством всматривался в лица своих черемшанских знакомых. Всякая мелочь, даже небрежный кивок соседа,

настораживала его. К нему возвратился детский страх, как у раскрытого окна освещенной комнаты; по внутренней неловкости он угадывал снаружи чужие, недобрые глаза; он не различал ни одной пары из них, а они видели его в подробностях, недоступных ему самому. И все ждал, кто выстрелит по нему первым. Он явно заболевал. Сидя на заседаниях, он испытывал болезненный озноб, почти паралич воли, едва кто-нибудь вставал позади и смотрел ему в затылок. Потребовалось истребить у себя все, что могло обнаружить его знания или культурные навыки; его комната опустела, но и самая голизна бревенчатых стен выдавала. Он научился урезывать свои потребности во всем, лишь бы не утерять спасительной легкости и зоркой подозрительности. Он ждал залпа по себе и уже уставал ждать.

Его душевное состояние отразилось на его деятельности. Газеты отметили перебойность в работе черемшанского депо. Очень своевременно забыли, что оно дважды получало почетные дипломы, а его начальник ставился в пример отстающим. Теперь этот человек падал, и причины падения заключались в нем самом. Задолго до развязки он выпустил вожжи из своих рук, утратив уверенность в доверии к себе. Депо изобиловало людьми, мало склонными к новым порядкам на железных дорогах, и даже самого дерзкого из них Протоклитов не смел назвать негодяем из опасения получить в ответ еще худшее словцо. Несмотря на увеличение штрафов и взысканий, грозивших войти в систему, к зиме неблагополучие достигло почти аварийных показателей. Это происходило в самый разгар знаменитой истории с комсомольским паровозом. В продолжение двух месяцев Протоклитов противился выделению машины для деповской молодежи, пока редакция дорожной газеты не приняла участие в начинающемся скандале. Начальник депо ссылался на пункт инструкции, требовавший от машиниста годовой работы в качестве слесаря. (Сайфулла́ же, комсомольский кандидат, миновал это условие, сразу выдержав экзамен на машиниста.)

Общественность всего узла не решалась включиться в борьбу; Протоклитова боялись. Только что назначенный из ЦК партийный организатор работал до того директором маленькой обувной фабрички; его знания не превышали знаний рядового пассажира. Протоклитову не составило труда убедить его в рискованности комсомольской затеи. Вдруг, круто повернув, начальник депо согласился отдать молодежи одну из лучших машин, ходившую на товарных дальнего следования. Угадывая

какой-то хитроумный ход, молодежь отказалась и взамен предложенной взяла другую, добротную, но запущенную машину, стоявшую после крушения под Саконихой в бездействии с отломанным колесом. Ее ремонт начался немедленно. Скандал как будто улаживался, но тогда-то и начались таинственные происшествия с комсомольской машиной, закончившиеся приездом заместителя редактора дорожной газеты, Пересыпкина, очень въедливого и вредного, по слухам, паренька... Везде не без болтунов: в это приблизительно время Протоклитову и сообщили, какого рода справки наводит о нем стороною Курилов.

Так, значит, сам Курилов был за егеря в этой удивительной облаве. И вот Глебу вспомнился во весь рост этот большелобый, Олегова обличья, седоусый человек, первая встреча с ним, неискусный тон его лукавого приятельства и еще — как усердно, точно пыж в шомпольное ружье, набивал он табак в прогорелую свою трубчонку. Такие загонщики в случае временной неудачи не отстают, а лишь пускаются наперерез зверю. Все чаще Глеб испытывал волчье стремление бежать из Черемшанска, пока охотники, живые и мертвые, не образовали сплошного кольца. Путями, слишком утомительными даже в перечислении, Глеб изучил биографию врага и не отыскал в ней ни одной черты, позволявшей ему рассчитывать на сговор или пощаду. Он правильно сообразил, что в случае раскрытия тайны одним из первых о ней узнал бы сам Курилов, как вдвойне заинтересованное лицо. Тогда он решился на поступок, вполне обнаруживавший его смятение. Он бросился в Москву с намерением в упор потребовать объяснений от Курилова. Эта беседа была задумана в тоне бравады, даже прямого нападения обескураженного и загнанного человека; она должна была выяснить, много ли Курилов знал о Глебе.

«Мне противна эта слежка, пойми меня. За один квартал меня посетили шесть всяких бригад. Обследуют все, кому не лень. Последняя интересовалась, правда ли, будто я ежедневно съедаю два казенных обеда. Пойми, что это дискредитирует меня как начальника. Дешевле и проще было бы снять меня вовсе с работы!»

«Чего же ты впадаешь в панику? Трудись, пока ничего не случилось, а мы посмотрим...» — трезво возражал воображаемый Курилов.

«Ты не отпустил меня с дороги, когда я просился, а теперь расспрашиваешь моих врагов обо мне. Сообщи мне свои подозренья. Может быть, я поджигал грудных детей на керо-

синке, или продавал паровозы в частные руки, или резал своих парторгов и муровал их в стенку? Скажи, и я признаюсь или попытаюсь доказать тебе, что это не совсем точно!» И хотя все это была только симуляция гнева, самая опасность предприятия заставляла его сжимать кулаки.

Так, разгорячив себя, он взбежал по лестнице в управленье дороги и остановился с чувством досады и растерянности. Из коридора подвигалась на него необычайная процессия с Куриловым во главе. Двое поддерживали его под руки, и один из них, с выраженьем государственной скорби на лице, был Фешкин. Курилов шел неверным, шатким шагом, беспоясый и с померкшим лицом. Ему было очень больно. Он показался Глебу огромным, несчастным и трагическим. Уборщица волочила кожаное его пальто, а старичок справа, почти не касаясь пола, нес на вытянутых руках фуражку и пояс. Глеб прижался к стене, пропуская шествие мимо себя. Их глаза встретились, и в куриловских не отразилось ничего. (Все, что Глебу удалось выяснить в секретариате, было крайне неточно и противоречиво. На этот раз припадок сопровождался рвотой, и хотя Курилов жаловался на боль в пояснице, местный, недавнего выпуска, врач настаивал на отравлении. Глеб имел основания не поверить диагнозу этого самонадеянного молодого человека; слишком едко однажды в его присутствии потешался Илья Игнатьич над ошибками амбулаторных врачей...)

Итак, сводя их на поединок, судьба уравнивала и самое их оружие. В этом свете даже гибель Кормилицына приобретала высокое провиденциальное значение. «Э, не без козырей в любой колоде!» Теперь все зависело от характера и темпов куриловского заболевания. Желтое, остаревшее лицо врага живо стояло в памяти Глеба. Во время войны и позже, когда доводилось выезжать на дорожные катастрофы во главе вспомогательных поездов, он научился распознавать жертвы не по исковерканности их тел, а по признаку особого равнодушия и отрешенности в глазах. В эту минуту пока еще неуверенного торжества он испытал странное смущенье, почти стыд за свои мысли и понял, что давно, с самой первой встречи, завидует Курилову. И если только всякая зависть есть уважение подлеца, он уважал его за все — за то, что Курилову не надо скрываться, что перед ним лежат прекрасные, океанской широты пространства, что достойна подражания прямизна его жизненного пути, что даже промахи и ошибки его величественны и человечны. Зависть становилась гигантской увеличительной

линзой, под которой в гипертрофированных размерах представали достоинства врага. Она показывала объекты по частям, и в каждой из них Алексей Никитич переставал быть самим собою,— а на деле Курилов был обычный человек, не чуждый ни одной из земных утех: он любил вино, могучие деревья, статных лошадей, хорошие книжки и, случалось, засматривался на красивых и всегда чужих женщин. Только эта завершающая встреча объединила в целое разрозненные наблюденья Глеба. Был смертен даже и этот человек, отец идей, выходящих далеко за пределы видимых горизонтов!

Глеб вышел на улицу, когда, по его расчетам, куриловская машина должна была уже отъехать. Стемнело; с высоты зданий лилось плывучее сиянье вечерних прожекторов. Наступал торопливый час разъезда; иною, ночною стороной поворачивалась Москва. После первого морозца приходила первая оттепель. Снежинки щекотали лицо. Вдоль громадных отсырелых стен двигались пешеходные потоки, то тончая до узкой нитки, то уширяясь и выступая на мостовые. И тогда, мешаясь с милицейскими свистками, раздраженней кричали автомобильные гудки. Глеб бесцельно двигался в общем потоке, в одном месте кто-то отдернул его за плечо, и тотчас же аварийная машина, подобная осадной башне, скользнула мимо. Он так и не понял, что именно произошло. От непривычки к новым обстоятельствам все раскачивалось в нем, и эта неустойчивость была так же приятна, как выздоравливающему его радостная слабость. «Он скоро умрет, он скоро умрет!» Потом он свернул в переулок и вышел на один из московских мостов. Здесь, опершись о перила, он смотрел вниз, в черноту ледяных промоин. В воде отражалась часть кремлевской стены. Рябая снежная мгла все гуще заволакивала это пышное нагроможденье золота, древних святынь и белого камня. Снегопад усиливался... Когда Глеб поднял голову, рядом с ним стоял старик в рваном треухе. Тощий пес у его ног как бы удостоверял личность человека. Старик пристально смотрел на Глеба.

— ...подари десять рублей, сынок,— говорил старик. — Выхворался весь до полной тощести, а нас двое... — и показывал на пса.

Были еще какие-то две фразы до этого и после; Глеб не разобрал их. Мельком он покосился на опухшие руки нищего и подумал, что милосердие требует почти больничной опрятности просителя. Грязная, невеселая нищета никогда не

трогала его. Он отодвинулся и продолжал следить за ленивым бегом зимней воды.

— Я тебя, сынок, лучше принимал. Помнишь, на Пушечной... вы там человечка искали, а человечек-то на чердаке у меня сидел. Эка забывчивая нонче молодежь!

Голос был чужой, бродяжий, но наглость обращения не могла быть беспричинной. Этот человек собирался что-то напомнить, подмигивал и даже положил посинелую руку на кожаную рукавичку Протоклитова. Глеб помнил точно, у него не было знакомых с таким лицом, как бы оклеенным в седой и мятый войлок... но вдруг он выдернул руку и побежал. Собака метнулась за ним, и сам старик, опасаясь упустить поживу, проявил несвойственную его возрасту резвость. Выгоднее всего оказалось бежать прямо в тот узкий проход, где из-за густоты движенья и близости травмайной остановки всегда происходила толчея. Как раз там образовалась пробка. Слышались брань ломовых, нетерпеливые возгласы машин и резкий, знобящий свисток постового. Поверх толпы вскинулась оскаленная, с хомутом по самые глаза, голова битюга, как с маху осадил его возчик. Из-под козырька татарского малахая сверкнули закошенные глаза, и тотчас же кто-то закричал надорванным фальцетом: «Задавили, задавили...» Изовсюду рванулись люди, и даже в окнах прилежащих домов явилось какое-то оживленье. Мгновенно образовалась толпа; задние еще вопили, а передние уже смолкли, удовлетворив свое любопытство к смерти.

...третью голову на протяжении недели дарила Глебу судьба. Напуганный ее щедростью, как будто тем грознее становилась расплата, он вернулся и, протискавшись, выглянул из-за чужой спины. На утоптанном снегу, перед самым колесом пятитонки, лежал длинный, косматый, сплющенный посредине мешок. Но это была только собака старика. Радужный отблеск от зеркального обода фары падал на голову дворняги, и было видно, что успели втоптать в снег и хвост и простецкое ухо Егорушки. В сутолоке несчастья шофер подал машину назад, и, следовательно, э т о случилось дважды. Милиционер махнул рукой, чтоб не задерживали движенья. Толпа раздалась, булькнула жидкость в длинных оплетенных бутылях, и круглая резина в третий раз ступила на омеличевского друга.

Движение приходило в прежнюю стройность; только на заиндевелом экране кремлевской стены еще шарахались четверорукие, двойные тени пешеходов. Глеб испытал облегченье: в счет шла только собака! Но сбоку от себя он опять заметил

старика. Глеб ускорил шаг, и тот последовал за ним. Если раньше у него не было намерения выдавать Глеба, сейчас — озлобясь за гибель собаки — он мог решиться на все. Глеб вскочил в автобус, и целых пять минут старик терся сзади о его плечо. Они вылезли на одной и той же остановке, и уже ясно стало, что вовсе не денег нужно было преследователю от Глеба. Прорваться сквозь густую вечернюю улицу казалось безнадежным предприятием. И тут-то ускользающему от этой непонятной погони Глебу и потребовалось заглянуть на квартиру Ильи, случившуюся по дороге.

ПЕРЕСЫПКИН ИЩЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В те годы создавались черновики будущей истории эпохи. С ними торопились, пока жили ее непосредственные участники. Разделами сюда входили фронты, заводы и восстанья — все, вокруг чего объединялись боевые и творческие силы революции. Все стремились подводить итоги, как будто эпоха была в основном уже закончена... Заместитель редактора дорожной газеты Алеша Пересыпкин также решил примкнуть к этому почти стихийному движению. Правда, Волго-Ревизанской дороге не равняться было, конечно, с основными очагами рабочего движения, но и у нее имелись свои герои. Кроме того, дорога росла с каждым годом, и юноша верил, что со временем из нее образуется нечто большее, чем только транссибирская магистраль. Подобно Алексею Никитичу, он также имел виды на будущее, хотя и уступавшие куриловским в масштабах. Так, например, он уверял Алексея Никитича, что вовсе не рыбой, лесом или сырыми кожами пахнут вагоны, приходящие на их дорогу с востока, а прежде всего свежим вольным ветром Океана, которым и предстояло дышать последующему поколению. Иногда это оформлялось у него в фантастические проекты объединения всех железнодорожных линий в восточном и юго-восточном направлениях, как будто это имело отношение к объединению воль миллионов таких же нетерпеливых юношей, как он сам, жаждавших борьбы, шумной деятельности и подвигов. По его словам, это диктовалось особыми мирными задачами Советского Союза на помянутых окраинах.

— Замечательный ты парень, Лешка! — задорил его Курилов, стремясь проникнуть в самое его существо. — Демагог, правда, и чуточку сердит. Впрочем, у испанцев есть даже

такая поговорка: мужчина должен быть свиреп. Кстати и нос подгулял, точно велосипедом переехало. Ты б его хоть припудривал... все-таки лицо должностное!

Тот принимал с видом равного этот дружеский шлепок.

— Бóтай, бóтай меня, старик! (Как ни старался Алексей Никитич, так и не сумел вытравить из речи Пересыпкина полублатных оборотов, привычки беспризорных лет.) Ты мой старший товарищ, и я, твое творенье, верю тебе во всем... но не зазнавайся, Алексей! Я начинаюсь там, где кончаешься ты. Нынче забегал ко мне в редакцию Костя Струнников. Он заведует домом отдыха в Борщне. Парень — нечем крыть; мы с ним школу кончили вместе. Я еще ему однажды кронциркуль проспорил... Так вот, говорит, что надоело жить на ренту от папаш, скучно пересчитывать простыни да варить супы для малокровных. Пора, говорит, и нам заиметь свое прошлое. А Костя у нас не один! — И он закусывал при этом безволосую губу, а глаза загорались сдержанной и вызывающей усмешкой.

— Учись пока, Лешка... всему учись. Без знаний не бывает истинной храбрости!

К слову, о Пересыпкине. Этот непоседливый юноша был значительным эпизодом в семье Куриловых. Под Царицыном Алексей Никитич достал его из-под своего вагона — маленького обмороженного дикаря. За это путешествие мальчик платился всю жизнь: уши и нос его приобрели свойство шелушиться при всяком похолодании. На расспросы Курилова он отвечал, что мамка его сгибла, объевшись глины, а сам он намеревается пробраться в Турцию, а зовут его Лешкой. Два месяца мальчик жил в куриловском вагоне, деля с хозяином поровну фронтовые приключения. После того как в вагон попал снаряд, легко подранивший и как бы сроднивший их обоих, Алексей Никитич отослал приемыша к Катеринке. Прирученье малыша происходило с трудом; бродяжьи склонности время от времени пробуждались в нем, он убегал и возвращался, каждый раз тише и задумчивее. Ввиду частых переездов Курилова с места на место Пересыпкин на время учебы был помещен у Тютчева, не покидавшего Москвы. Они часто встречались, и Алексей Никитич с пристальным любопытством присматривался, как из беспризорного парнишки пробивается отличный молодой человек, годный и жизнь делать и, в случае нужды, нащурив левый глаз, бить из автоматического ружья. В последнюю встречу Пересыпкин смотрел на жизнь уже вполне серьезно, был

перепоясан множеством неизвестного назначения ремешков и носил сбоку кожаную, военного образца, сумку с государственными бумагами. Курилов всегда держался в отношении к нему тона покровительственной иронии, а Лешка платил ему вспыльчивой и беззаветной дружбой. На дорогу Пересыпкин пришел годом раньше.

Толчком к началу Алешиной работы послужила одна макулатурная брошюрка, подложенная под пачку книг, чтоб веревка не резала переплетов. Это был оттиск анонимной статьи с очень трудным и длинным заглавьем. Явно полемическая, статья эта обсуждала некоторые вопросы государственного кредитования и гарантий строителям частных дорог в бывшей Российской империи. Стояла дата: 1876. В редакционных сносках внизу приводились точные цифры оказанных правительством льгот Либаво-Орловской, Феодосийской и С.-Петербургско-Варшавской железным дорогам — сравнительно с теми, какие получили учредители новой линии Волго-Ревизанского общества. Именно эта дорога, четверть века спустя преобразованная в Волго-Московскую, доводилась прабабкой той, где теперь работал Пересыпкин. Статья была написана по-русски, она не изобиловала цифровым материалом, касалась предметов уже знакомых, но Лешка прочел ее трижды и не понял ничего. Глиняная ассирийская дощечка была бы в той же мере доступна ему, как и эта архаическая путаница из В е с т н и к а п р о м ы ш л е н н о с т и восьмидесятых годов. Самолюбие Лешки было задето; несколько дней он потерпел, а потом с готовым предложением ринулся к Курилову.

Вначале он потребовал объяснения многих непонятных ему терминов. Алексей Никитич выразил удивление. Советская система настолько круто перестроила все правовые, финансовые и прочие отношения, что уже незачем было воскрешать варварские законоположения минувшего века. Он даже обмолвился в том смысле, что история дороги должна быть прежде всего историей революционного движения на ней. И тут Алексей Никитич прочел молодому человеку небольшую лекцию о том, как правительство Александра Второго, напуганное провалом севастопольской кампании, бросилось на поддержку любой частной инициативы, сделав дороги ведущим тезисом государственной политики тех лет. В заключение он советовал прочесть ряд общеизвестных книг по истории капитализма, списаться от его имени с живыми участниками революционных бурь и пригласить толкового сотрудника со стороны, который придавал

бы стройную последовательность собранному материалу. Словом, он строго учитывал небольшие возможности товарища Пересыпкина. Будущий историк отмалчивался; по всему видно было, какое-то нетерпение переполняло его. (После того как газета раскричала одно не шибко удачное изобретение по автоблокировке, Алексей Никитич стал подозревать Пересыпкина в излишней склонности ко всякого рода сенсациям.)

— Ты меня не понял, Алексей,— осторожно намекнул Пересыпкин. — Я хочу проникнуть в самые истоки.

— Чудак, ищи их в общем развитии экономики.

— Мне хочется понять, что поделывали самые людишки, пока развивалась твоя экономика. Видишь ли, тут пахнет какой-то махинацией... — уклончиво возражал Пересыпкин и вдруг высыпал перед Куриловым целую пачку давно забытых и безжизненных имен.

— Да зачем они тебе, отрочá? Зачем тебе главноуправляющий Мельников или этот парижский банкир Исаак Перейра?

— Мой Бланкенгагель учился мошенничать у Перейры.

— Умойся, Леша... какой Бланкенгагель?

Впрочем, начальник так и не понял, что его приемыш замыслил в художественной форме свести кое-какие счеты с отечественной историей. Стремясь всемерно поощрять развитие искусств на транспортной тематике, он значительно облегчил Пересыпкину доступ к дорожным архивам. Ничего там, однако, не оказалось, кроме устарелых отчетов о грузооборотах и сводок о движении профсоюзных взносов. Предстояло или отступление, или создание скучнейшего очерка, каких имелись уже десятки. Тогда Пересыпкин вспомнил, что именно Борщня была когда-то штаб-квартирой волго-ревизанской авантюры. Косте Струнникову было послано спешное письмо с просьбой, во имя проигранного кронциркуля, прислать любые клочки исписанной бумаги, какие отыщутся на борщнинских чердаках. (В бытность беспризорником товарищу Пересыпкину приходилось посещать провинциальные чердаки, и всегда ему бросалось там в глаза обилие осиных гнезд да вороха всякой переписки.) Юноше повезло в размерах, заставлявших подумать о существовании высшей справедливости. Через месяц в адрес редакции прибыл ящик из-под копченых сельдей, 42×65, полный старой бумаги. В уголки Костя насовал яблок из «собственных» садов, прямо с веточками (яблочный запах одолел все прочие!), а в сопроводительной записке прибавлял, что по-

слал бы почтой одну музейной давности старушенцию, не то няньку, не то дядьку последнего помещика, если бы не опасения, что рассыплется на составные части при перевозке. (Старуха проживала в сторожке при парке, наводя суеверный ужас на все юное население Борщни.)

Даже яблока не надкусив, наш историк кинулся на обследование приобретенных сокровищ. Он испытал головокружение, знакомое лишь удачливым кладоискателям. Немыслимо было в один прием охватить разумом исполинский дар Кости Струнникова. Все это были остатки личного архива Ореста Ромуальдовича Бланкенгагеля. Сюда входили амбарные и инвентарные книги с полными, за несколько лет, отчетами по усадебному хозяйству; альбом рыжих овальных дагерротипов с изображениями всех тех, кого Пересыпкин сажал ныне на скамью подсудимых; проект и устав Волго-Ревизанского общества с копией прошения на имя главноуправляющего Чевкина о дозволении произвести путейские изыскания; переписка на разных языках, а о чем — это было пока сокрыто от Алеши; неоднократные рапорты горигорецкого исправника Рынды-Рожновского о военных действиях против разбойника Спирьки; две жалобы управляющего имением М. Бородулькина о потравах гречихи, о самовольном выкосе трав и о блуждании мужиковских умов; акт поимки помянутого Спирьки на свадьбе в деревне Кострица 12 мая 1876 года и подшпиленное тут же удостоверение местного врача Дубяги и приходского священника о смерти его от неисследованной хронической болезни; телеграммы директора Флуговского завода в Берлине, Унруэ, о продаже и отправке первой партии, шести паровозов, в адрес Волго-Ревизанской дороги; набросок карандашом миловидной девушки в амазонке, сделанный на обороте уведомления министерства двора о том, что предводителю горигорецкого дворянства, О. Р. Бланкенгагелю, надлежит явиться для несения ночного караула при прахе государя Александра II; еще один рисунок той же особы, отлично сохранившийся, если бы не давленая муха, прилипшая к ее лицу; неизвестно каким образом попавшее сюда послание сергиевского архимандрита Антония к горигорецкому иерарху о выгоде соседства с железной дорогой по причине наплыва лишних богомольцев («...видится мне токмо польза, преосвященный брат, а буде приступит грех, да не смятемся, встретим в поле и сразимся с ним!»); ругательное, в сжатой форме, письмо Э. Г. Гриббе об отыскании неизвестной личности Пафнутия, энгелиста по виду и по наличию длин-

ных волос, и о нахождении при нем саквояжа с книгами преступного содержания, как-то: «История французского крестьянина» и «Сказка о четырех братьях». (По указанию г. уполномоченного корпуса жандармов, штаб-ротмистра А. Т. Штейнпеля, Гриббе просил установить наблюдение за домашним учителем А. Г. Похвисневым...); вырезки из газет об открытии Волго-Ревизанской дороги, чем завершалось присоединение Горигорецкого округа к лону европейской цивилизации; переписанная от руки роль магнетизера Жезлаковского из несохранившегося водевиля Дядюшкин поцелуй, поставленного на домашней сцене в Борщне 19 июля 1876; афишка помянутого спектакля, с указанием исполнителей и вставленная в пенальчик из бамбука... (В виньетке, сработанной в древнеславянском стиле, желтые херувимы с лицами присяжных поверенных несли в зубах, за неимением рук, визитную карточку с загнутым уголком. На ней под титлами написано было: Дядюшкин пцлуй. При этом выяснилось, что роль гусара выполнял Н. А. Дудников, роль дядюшки — О. Р. Бланкенгагель, роль лакея Робино — г. Жак Поммье, роль Аглаи, 22 л. — Таня Бланкенгагель, роль волшебника Агафита Абдула, 72 л. — г. Шемадамов и, наконец, роль шалопая Митрофана Спиглазова — некий Аркадий П., причем в скобках было помечено карандашом: три с полтиной, и мощный восклицательный знак. Отвергая всякую мысль об уплате исполнителям в домашнем спектакле, следует предположить, что это был только домашний псевдоним артиста.) Словом, нет никаких возможностей перечислить в один дух все сокровища, обвалившиеся на Алешу Пересыпкина. Уже от одного созерцания их должна была родиться новая Илиада!

Весь тот вечер он потратил на изучение лишь одного из них. Это была фотография большого размера, снятая на террасе борщнинского дома в день открытия дороги. На обороте имелись дата и фамилии лиц, составивших группу. Этот документ пострадал больше всех; какой-то своенравный ребенок подправил его по своему вкусу и одного из гостей одел в юбку, другого подрумянил отличной, цвета речной бодяги, зеленцой, третьего же аккуратно превратил в подойник. Пересыпкину долго пришлось смывать ваткой этот простосердечный комментарий потомка. Труды его, впрочем, были вознаграждены полностью. Налицо был иллюстрированный список действующих в его будущей повести лиц... Все это были покойники. Перед обширной террасой, под сенью превосходных лиц, сидели они

в предвкушении обильного обеда, свидетели открытия Волго-Ревизанской дороги, которая уже не существовала в прежнем своем виде. Покойники прислуживали им, таща мертвую ботвинью и заливную осетрину, изготовленную покойниками же. Умерло время, но сохранилось мгновение, запечатленное на бромосеребряной бумаге... Покойник наводил на них суставчатый длинный глаз штейнгелевского объектива, который давно устарел. Уже невесомые клочья пены падали из бокалов, поднятых за здравие героического Бланкенгагеля. Шипучее вино, охмелявшее их рассудок, было с тех пор и облаком, и лужей, и мокрым снежком в руках ребенка; оно поднималось на высоту лишь для того, чтоб сверкнуть в полосе радуги; оно извергалось из глаз страдалицы или из мочевого пузыря животного; оно просачивалось в затхлую глубь земли, кроша камни по дороге, чтоб через год вкрадчиво вползти снова в гроздь винограда, голубую от солнца. Так, через тысячи скрытых от разума русл, оно вливалось в трепетный недремлющий Океан. Материя стремительно пронеслась сквозь эти призраки, напрасно расставлявшие руки, чтоб уловить ее и задержать. И даже солнце — неповторимое, моложе на полвека — грело этих заносчивых и деловитых мертвецов.

В центре помещался плотный, львиного вида человек с отменнейшими бакенбардами. Они были главное в его лице, остальному предоставлялась роль декоративного дополнения. Они уходили за отложной воротник сорочки и, несомненно, продолжались вдоль всего тела, до самых пят, наподобие лампасов. Это и был старик Бланкенгагель. Парадный, как базилевс, он один сидел в кресле. По сторонам, уже на стульцах, сидели другие мужчины, все еще в соку, с цилиндрами на коленях и в приятно-замысловатых позах. Один только затесался между ними старичок с лысой и острой, как ракушка, головой и со старческим вислым сальцем на щеках. (Вдумчивый ребенок преобразил его в дерево, покрытое желтыми, вроде одуванчика, цветами.) На нем был надет мундир неопределенного ведомства и с таким обилием орденов, что Алеша Пересыпкин даже засмеялся тихо-тихо. (Не этот ли Эдуард Гаврилович Гриббе и был главным сообщником Бланкенгагеля?) Обращали на себя внимание еще один, пришедший на обед со здоровенной саблей, и другой, в громадном сюртуке, откуда и выглядывал, как св. Тихон Калужский из своего дупла. Какой из них был П. Д. Пестриков и какой П. П. Хомутов, выяснить стало уже невозможно. Прогрессивные демократы, они позади себя

поставили четырех рослых, с решительными физиономиями и крестьянского обличья, стариков; наверно, это были родоначальники каких-то купеческих или кулацких династий. И как будто совсем случайно попал сюда молодой студент, А. Г. П. — в форменной тужурке; но он шевельнулся в момент съемки, да так и остался для истории с неуловимым, смазанным лицом, подобным горшку на гончарном круге.

Схема возникновения дороги была налицо. Оставалось подыскать связь между событиями, перенумеровать датами эти звонкие кости и, по способу Кювье, надеть на них румяное тело событий. Сама судьба, предвидя суд потомка, копила эти документы на борщнинском чердаке. Удачами такого рода Алеша не был избалован, и, кроме Курилова, иронии которого он всегда побаивался, не было у него ни матери, ни сестры, ни задушевного приятеля под рукою, чтоб поделиться с ними радостью. Но — «ты честно заработал мой кронциркуль, Костя!..» В эту пору Алеша еще не знал, что ему придется всесторонне исследовать существо Бланкенгагелевой аферы, в хитроумной паутине которой путались сами испытанные министерские пройдохи.

ЗНАКОМСТВА РАСШИРЯЮТСЯ

Следствие по этому делу затруднялось смертью как подсудимых, так и свидетелей. Но поэту, одержимому своей идеей, всюду мнится бесценный матерьял. Он бредет по земле, длинными руками ощупывая людей, ветер и страны; он дерево обращает в соломинку, чтоб вплести ее в шляпу героя, песчинку взращивает до размера скалы, о которую сам же разобьет своего любимца через неделю, и даже в плеске дождевой капели различит грохот его исполинского паденья. Мир для него становится единой палитрой, и многоголосое, тысячерукое начинает разговаривать и действовать в унисон. Сама судьба, такая снисходительная к маньякам и детям, начинает злоупотреблять совпадениями. Так случилось и с Алешей Пересыпкиным. Бумажка с адресом Аркадия Гермогеновича на фешкинском столе чудесно совместилась с инициалами А. Г. П. из Бланкенгагелева архива... Итак, последний свидетель еще жил, но возраст его заставлял торопиться. Близился момент, когда и Аркадия Гермогеновича должна была природа разобрать на части и, как утиль, запустить на образование новейших и совершеннейших миров.

В течение двух декад Пересыпкин каждое утро собирался навестить Похвиснева в его переулочке, но сперва газета переходила на новый формат, а потом заболел выпускающий; времени оставалось лишь на то, чтоб обновить в памяти Бланкенгагелевы листки да часок-другой посидеть в главном архиве. Когда же все вернулось в прежний порядок, из Черемшанска было получено известие, взволновавшее всю молодую общественность дороги. Дело касалось комсомольского паровоза и живо затрагивало самого Пересыпкина. Он по справедливости считал себя шефом этого большого почина. С телеграммой в руках Пересыпкин рванулся к Мартинсону, но тот сидел на диспетчерском совещании. Фешкина не было на обычном месте, никто не охранял ворот к Курилову. Молодой человек влетел туда без стука и тотчас смущенно отступил.

Начальник был не один, и посетительница его мало подходила к общему характеру их учрежденья. Женщины, заходившие сюда по делу, обычно бывали одеты по суровой моде девятнадцатого года, женщины-работницы, снующие по ячейкам громадного перенаселенного улья. Эта же прежде всего ошеломила воображение юноши. (Мало того, что он был нехорош собою, он был еще и влюбчив!) Ее пушистый беретик с голубой кистью, ее нарядная шубка, ради которой умертвили, может быть, тысячу белок, показались ему бездельным изощрением вполне буржуазной фантазии. Подозрительному юноше также показались искусственными наивная стрельчатость ее ресниц и вялая яркость губ; отсвет какой-то воспаленности раскидывался от них по всему лицу. Словом, глядеть на эту женщину Пересыпкину было приятно и тревожно. И хотя в статьях своих он никогда не проповедовал аскетизма, однако он не предполагал таких знакомств и у Курилова... Сунувшись, он мгновенно отпрянул назад, но Курилов как будто даже обрадовался его появлению и не позволил уйти.

Невольно Алеше приходилось стать свидетелем разговора, очень официального и только что начавшегося.

— ...я рада вашему удивлению. Оно показывает, что я не слишком затруднила вас, если вы настолько прочно забыли этот случай! — И улыбнулась так искренне и доверчиво, что Курилову стало неловко за деловую сухость, с какой он ее принял.

Алексей Никитич смущенно погладил усы.

— Что ж, рана оказалась пустяковой?

— О, все обошлось благополучно,— уклонилась она.— Я звонила вам на квартиру, но вашей жены не оказалось дома. Мне хотелось поблагодарить вас... — Она порылась в маленькой сумочке, в сравнении с которой портфель Марины представлялся дорожным хурджумом со спины верблюда, и там Алеша разглядел со стороны массу мелких и изящных вещиц неизвестного ему назначения. Потом она положила перед Куриловым незапечатанный конверт. — Это вам и вашей жене! Она очень милая. Передайте ей, я крайне сожалею, что ей пришлось тогда остаться на улице и в снегу. Я как-то не сообразила сразу...

С неподвижным лицом Курилов покосился на Пересыпкина. Он испытал незнакомую ему прежде неловкость отца в присутствии сына, слишком живо помнившего покойную мать. Но юноша пристально разглядывал профильную карту дороги на стене, повешенную под портретом вождя. Он делал это с показным усердием... О, его вовсе не интересовали любовные похождения овдовевшего начальника!

— Что здесь? — строго спросил Курилов.

— Это билеты... — И виновато, потому что поняла свою оговорку относительно жены, прибавила, что это билеты на утренник, что завтра, в пятилетие театра, идет в пятидесятый раз Сын Фредерика, что в этом спектакле ее лучшая роль, что, наконец, пьесу хвалил даже ее муж, который очень придирчив к современным авторам. Словом, она заметно поторопилась сообщить, что она замужем.

— Он, э... тоже артист? — поиграв пальцами, спросил Курилов.

— Да, но... только в другой области. У него и фамилия другая. Я играю под своей девичьей — Похвиснева.

Она с надеждой взглянула на Курилова. Нет, он не слыхал про такую актрису,— в его лице не отразилось ничего, кроме смущенья.

— Я недавно на сцене, и это довольно трудно в искусстве — заставить помнить о себе!

Курилов вдруг заторопился:

— Нет, я приду, непременно приду. И кстати, совсем недавно мы вспоминали вашу фамилию.

— Кто же был ваш собеседник?

— Один молодой, подающий надежды журналист. — Он заметил нетерпеливое движение Лизы. — Идите-ка сюда, Пе-

ресыпкин. Это артистка П о х в и с н е в а,— со значением сказал он. — Знакомьтесь!

Тот придвинулся каким-то странным зигзагом, потому что боролся с непостижимым влечением убежать. На нем были надеты громадные ботинки, как бы для хождения по горным вершинам; они прилипали к полу, стукались друг о друга, когда он с усилием пихал их вперед. И уже совершенно не подлежит оглашению, что творилось с его носом. Алеша пожал руку Лизы так, точно пробовал себя на силомере.

— У вас большая газета? — спросила она, потирая сплющенные пальцы.

— Порядочная. Ее читают на протяжении почти полутора тысяч километров.

— Значит, в ней имеется театральный отдел?

Он сокрушенно пожал плечами.

— Она называется П р о л е т а р и й н а т р а н с п о р т е.

Лиза вежливо удивилась; название она слышала впервые.

— А!.. Я видела что-то в этом роде. Это где про паровозы и кондукторов. Зачем же вам потребовалась тогда моя фамилия? — И уже холодком веяло от вопроса.

Лицо Пересыпкина напряглось; ответ его выражал, конечно, лишь крайнюю меру юношеского отчаянья.

— Я рад, что знакомство с вашим дядей начинается так приятно... — неуклюже объяснил Алеша.

И все трое засмеялись на такой ослепительный ответ. Разговор был закончен. Прежде чем уйти, Лиза сказала еще:

— Да, он забавен, мой дядя... если его кушать понемножку. Но мы живем на разных квартирах. Он скучает и нуждается. Конечно, он будет очень признателен, если вы поможете выхлопотать ему пенсию (ему не хватает каких-то пустяковых бумаг!) или напечатаете, например, его воспоминания. По его словам, он дружил с Бакуниным...

Она ушла, забыв пригласить на спектакль молодого журналиста,— ушла, оставляя по себе едва уловимый запах духов. Оба молчали, пока не растворился он в стоялом табачном смраде.

— Она пахнет отравой,— все еще внюхиваясь, отметил Пересыпкин.

— Она актриса... и существует специальная парфюмерная промышленность.

Алеша не дал ему договорить:

— Эта промышленность существует для более разумных целей! Словом, замнем, старик!

— Ты огорчен, юноша, что столичные театры не выписывают твоей газеты. Что ж, сумей придать ей живую и увлекательную внешность или заведи театральный отдел. Кстати, я могу помочь тебе для начала... — Он весело подмигнул ему. — Забирай эти билеты, пригласи свою девушку и отправляйся завтра...

— Мне не до девушек, Алексей!

— Зря, не пренебрегай. Чем дальше в жизнь, тем все недоступнее и сложнее становится это...

Пересыпкин блеснул глазами и поправил на груди какой-то незначащий ремешок.

— Вам это лучше знать, товарищ Курилов!

Он был дерзок сегодня; по-видимому, его пригнала сюда какая-то очередная сенсация, Курилов шутливо просил его поделиться новостью со старцем, не пригодным уже ни к чему.

— Твои настроения, Алексей (вполне понятные!) — и кивнул на дверь, куда ушла Лиза,— сейчас значительно охладятся. Вот: мерзавцы кинули горсть песку в цилиндры комсомольского паровоза. Завтра же я выезжаю в Черемшанск...

И правда, едва было названо черемшанское депо, Алексей Никитич тотчас потянулся за трубкой. Он сразу надымил вокруг себя и, зябко потирая руки, уставился на вечереющее окно. За последнюю неделю показатели работы в черемшанском депо понизились, но они ухудшились и по всей дороге. Своим чередом шла зима. Снежило и таяло, а в промежутках ударяло азиатским морозцем. Тогда сразу наваливались топливные грузы, открывались течи дымогарных труб, лопались рельсы по почам, замерзали водонапорные колонки, а в околотках толпились обмороженные люди. Дорогу начинало лихорадить... Кстати, и хваленое протоклитовское благополучие оказывалось ненадежным. Впервые до Курилова доходил плеск скрытой борьбы; чья-то яростная пятерня просунулась из тишины, и опять все затихло. Правда, иногда в основе таких явлений действовал механизм обычной человеческой зависти; кое-где она становилась обратной стороной соревнования, и следовательно, как в случае с горстью песка, приобретала крупное общественное значение.

— Будешь в Черемшанске, присмотрись к Протоклитову. Ты любишь шахматы и ребусы, тебе не будет скучно... — Он ограничился намеком и не дал никаких определенных инструк-

ций. — Я не тороплю тебя, юноша... но, кажется, ты засиделся у меня!

...через час билеты снова попались Алексею Никитичу на глаза и теперь вызвали лишь чувство досады. Предстоящий выходной день он собирался потратить на то, чтоб крепко выспаться после двух сряду бессонных ночей. Вдобавок Алексей Никитич всегда был равнодушен к этому виду искусства. Зачем ему театр, когда настоящие реки скитаются по земле и живые птицы концертируют в вершинах неподдельных деревьев? Кроме того, в актерской слезе совсем с иною математическою кривизною и, во всяком случае, с откровенным нарушением пропорций отражаются события чувственного мира. За театром он оставлял одно лишь учительное право — предостерегать. Но разве за время тысячелетнего существованья театра предостерегся хоть один? («Хитрые люди! Даже листая Иеремию, они не забывают, что был когда-то молод и сей слезоточивый пророк».)

Он попытался сплавить билеты Фешкину, благо Фешкин, по слухам, понимал в театре. Но секретаря знобило; он сидел нахохлившись и мычал что-то в телефон. Друзья уже разъехались по необъятным окраинам, и на примете оставалась лишь Клавдия. Алексей Никитич не любил, когда даром пропадает добро. На всякий случай он позвонил сестре. Несколько раз она переспросила, что же это за билеты, если он так хлопочет о них.

Он смутился.

— Билеты обыкновенные, в ложу. Идет какой-то Сын. Хвалят.

— Ты что же, кассиром или барышником заделался, чтоб билеты распределять?

— Билеты мне достались бесплатно... но неудобно перед актерами... пустые места.

— Но почему ты именно мне предлагаешь их?

— Я думал, ты заинтересуешься. Тема очень такая историческая...

Клавдия удивилась:

— Ты, кажется, полагаешь, что я настолько одряхлела, что ни к чему другому не способна, кроме как ездить по историческим спектаклям!

— Да нет же, я просто хотел проявить внимание к тебе, Клаша,— мягко объяснил Алексей Никитич. — Не арифмометр же ты, надо и тебе отдохнуть...

Слышно было, с какой глубокой досадой вздохнула она:

— Возьми чистый палец в рот, Алексей, и подумай, какую ты сказал банальность. Ты просто хочешь пристроить мне билеты, ненужные тебе самому. Кстати, мы давно не видались. За это время ты стал впадать в младенчество. Ведь это ты устроил со звонком?.. щепочку подпихнул в звонок — ты? Вы так летели по лестнице с этой девушкой, что я сразу догадалась...

— Ну и что получилось? — насторожился Курилов.

— А то, что на меня высыпали все домочадцы, человек девять... и какой-то дедушка с костылем грозил посадить меня в милицию. Они решили почему-то, что все это проделала я. Было очень нудное объяснение. Но ты ведь знаешь, я не люблю уступать... — Она тотчас же прервала свой смех, едва услышала, что смеется и брат. — К слову, что за женщина была с тобою?

— Есть одна такая. Она работала на дороге, теперь уходит. — И тут же, вдруг почувствовав свои вины перед Мариной, решил именно ее пригласить с собою в театр. — Очень милый человек. Судимостей не имеет, торговлей не занималась.

— Ты находишь ее *милой*? — странным голосом спросила Клавдия.

— Уже не ревнуешь ли, Клаша?

— Я не ошиблась. Ты заметно поглупел, Алешка. Плохо, что это сказывается на деле. Дорога твоя работает неважно!

— Но все-таки лучше других, Клаша.

— Плохое дураку оправданье, что и сосед дурак.

Тогда, беря грозную сестрицу на измор, он терпеливо принялся объяснять ей все — от причин, увеличивших норму оборота вагона, до колхозников, которые без варежек, без сахару, без ситцу не идут на расчистку путей. Он говорил, нарочно вводя в речь непонятные ей слова — тяга, эксплуатация, перепробег,— а она поняла его маневр и не прерывала. Он сдался наконец.

— Иной раз утопился бы, да замерзло везде! Ты заезжай, я изложу тебе все это в живой и увлекательной форме.

— Да, я навещу тебя завтра,— посулила Клавдия, и на этом они простились.

...Утром он поехал к Марине. В сугробах окраины он признал ее дом лишь по длинной фабричной трубе в конце улицы.

Девочка с синими от холода коленками провела его на черный ход: парадный на зиму забивали досками для тепла. Курилова впустила тучная женщина с маргаринового цвета лицом. Она вытирала мокрые руки о передник на колеблющемся животе и ждала.

— Мне Сабельникову... — И назвал себя.

Та с достоинством качнула головой; расправилась и залянцевела бородавка на подбородке, а глаза потонули в маргарине. В этом дьявольском фортеле и состояла ее улыбка.

— Я ее тетя, Анфиса Денисовна,— гостеприимно произнесло чудовище. — Войдите. Полы у нас скрипят, но вы не обращайте внимания!

Они двинулись мимо целой вереницы дверей: половицы рычали под тетей, пока она занимала Алексея Никитича разговором. Жильцов действительно много, но жильцы все подобрались хорошие. Живет военный музыкант с матерью, образованный человек, из латышей; живет также Гришин с водопровода. Странно, что Курилов не знает его, потому что Гришин тоже начальник. Правда, в угловой налево проживал один специалист, но, слава богу, его отдали под суд. «Представьте, он военному музыканту котенка в кастрюлю кинул, и тот заметил только в конце обеда. Вообразите, ему играть что-нибудь такое, а его с души воротит...»

— О, это такая роскошь по нынешнему времени — приличные жильцы! — заключила она.

Она ввела Алексея Никитича в бедную комнату об единственном окне. Самое нарядное здесь было — вычурный инейный рельеф на стекле. Дыханьем протаяв глазок на улицу, смотрел туда мальчик лет семи. Табуретка под ним опасно покачивалась. Он обернулся на шорох.

— Зяма,— сладко произнесло чудовище,— подойди и поздоровайся с маминым знакомым.

Мальчик не ответил, и тетя сделала жест, которым как бы обращала внимание гостя на подрастающее поколение.

— Может быть, хоть вы подействуете на него! Это растет невыносимый скандалист. Третьего дня отправился на Северный полюс, и Марина поймала его уже на трамвайной остановке. — Она вполне удовлетворилась успокоительным взглядом Курилова: все обойдется и станет очень хорошо. — Где твоя мама, Зямочка? Она ушла гулять или читает?

Тете, видимо, очень хотелось изобразить перед гостем вполне интеллигентную жизнь.

— Она бюлье вешает на чурдаке,— сказал Зямка и, неохотно отрываясь от окна, больно ударился коленом о край табуретки. (Они всегда скептики и разоблачители по преимуществу, эти дети окраин!)

Чудовище еще раз проделало фигуру с улыбкой и уплыло. Мальчик поочередно то потирал коленку, то поглядывал на окно, за которым оставалось главное.

— Это твоя машина? — спросил он вдруг. — У тебя жараж две машины или одна?

— Одна, Зямка!

— За што тебе орден дали?

— Видишь, меня однажды искали белые, чтобы повесить, но не нашли. А я не испугался и продолжал работать.

— Это хорошо,— помычал Зямка рассудительно. — Ты коммунист?

— Угу, а ты?

— Я все расту... больно долго!

— Ничего, мы подождем. Вырастай скорее, а то дела ждут... Давай знакомиться. Тебя зовут Зямка. Это я по лицу узнал. А меня Алексей...

Они сделали паузу, давая окрепнуть дружбе. Тем временем Курилов огляделся. Свисали с подоконника бутылки с фитилями, чтоб не стекало на пол в ростепель; недоштопанные детские чулки валялись на стуле, ходики вертляво помахивали хвостиком. Кровать была одна, и в ореховой рамочке над нею было пусто. Лежали Зямкины сокровища на стуле: мятая железная коробочка из-под табака, носившая следы всех своих обладателей, фарфоровый изолятор, рваная резиновая автомобильная груша и отличного желтого цвета зуб от какой-то гигантской гребенки. Алексей Никитич увидел также знакомую игрушку под столом и поднял ее. Уже не марш, а нечто грустное игралось теперь на гармошке; видимо, Зямка помыл ее под краном и вскрыл нутро из любознательности... Пауза закончилась.

— Коленка не болит шовшем.

— Это хорошо. Это и есть мужество, Зямка. Запомни.

— Нет, не болит,— отозвался тот, не поняв, чего от него требуют. — На парашуте летал?.. А почему? Меня Марина не пушкает, што я маленький. А ты уж ждоровенный...

Дружба явно налаживалась. Все же, стремясь обследовать сообразительность нового приятеля, Зямка деловито осведо-

мился, бывает ли жар у градусника, умеет ли Калинин управлять машиной, бывают ли у мух товарищи и есть ли в лягушке кость? Нет, Алексей был сообразительный, хотя насчет лягушки они и разошлись во мнениях. Потом они стали играть, и к возвращению Марины их дружба приняла опасные для общежития масштабы.

Комната отдаленно напоминала чем-то маньчжурские сопки.

— Лучше, давай, ты Япония, а я Дальний Вошток,— договаривался Зямка об условиях.

— Так ведь это ты маленький, а я большой. Ну, кричи, как я тебя учил, и нападай на меня!

И Зямка бросался напролом, размахивая черенком кухонного ножа, и стулья рушились, и фарфоровый изолятор, заменявший воздушную бомбу, с грохотом взрывался, и самый воин увязал в широких объятиях Курилова, который немедленно вязал ему, побежденному, руки красным пионерским галстуком. Марина озабоченно взирала на этот переполох. Она объяснила потом, что порвалась чердачная веревка и ей пришлось переполаскивать целых полкорзины белья, хотя и знала, что Алексей Никитич ждет ее.

— Едем в театр... опаздываем,— мельком бросил Курилов, следя за очередной хитростью Японии.

— А что показывают? (Получалось как будто, что она могла еще и отказаться, и Алексей Никитич понял ее вопрос правильно, как рефлекс на недавнюю обиду.)

Когда очередное сражение закончилось, Марина оказалась уже одетой. На ней было узкое, раструбом книзу, в огромных цветах платье, подпоясанное лаковым ремешком; Курилов с удовольствием отметил, что туфли на ней были также новые. (Но он и представить себе не мог, как они жали в подъеме крупную ногу Марины.) И хотя они отправлялись в малозначительный театр, на посредственную и с неважными актерами пьесу, Марина от радости и смущения выглядела старшей сестрой Зямки. Вдевшись в монументальные валенцы, Зямка конвоировал их до улицы. И пока Марина садилась в автомобиль, мальчик все выделывал различные головоломные фигуры на одном коньке, стараясь возбудить низменную зависть в Курилове. Восхищенный Алексей Никитич пообещал послать за ним машину после спектакля.

— Ты заедешь ко мне, мы сперва поедим конфет, а потом сразу обсудим все — и о градусниках и о мухах.

— Ладно,— согласился тот. — Если меня дома жараж не будет, я тогда, значит, у Шаньки буду... Ты шмотри, не загуляй, мать! — деловито прибавил он Марине.

Они поехали, и Маринина тетя, привстав на табурет, любовалась через открытую форточку на негаданное счастье племянницы.

ПРИПАДОК

Марина вошла в полупустую ложу и пугливым жестом женщины, на которую смотрят и которая не очень уверена в безупречности внешности своей и наряда, провела рукою по волосам, на осязание проверяя каждую их прядь. Но мускульное ощущение в плечах, в груди, даже в коленях (оттого, как складки платья бились при ходьбе, точно шла по высокой траве!) подсказало ей, что все ее тревоги напрасны. Все еще не выходя из ниши, она бегло и озабоченно, в два поворота головы, окинула взглядом пространство перед собою. Оно было безличное, живое, чуть-чуть враждебное. Мерцали непонятные световые пятна на потолке, роились шепотки, и опоздавшие смешно метались между рядами. Склонив голову, она смелее шагнула вперед, только бы скорее сесть — и стать незаметной; но затхлым таинственным теплом театра пахнуло ей в лицо, ноздри расширились, из рядов обернулись в ее сторону, и она испытала кратковременное торжество, как перед зеркалом, в котором она отразилась вся. Было жутко и до головокруженья ново смотреть на себя сотнями чужих глаз, и тут заиграла музыка, и Алексей Никитич придвинул ее стул к самому барьеру.

И вдруг ей стало нравиться все здесь (и этот же самый театр совсем не походил на тот притон искусства, где однажды наблюдал свою жену Протоклитов!): нарядные полукружия соседних лож, отделанных полированным дубом,— густые оранжевые блики света стекали в нем; простая и величавая кубичность зрительного зала, образовавшаяся от выемки пола между двух, один над другим, этажей; праздничная — как всегда бывает от одного присутствия не опробованного еще вина — возбужденность зрителей, уже оплативших свою порцию искусного обмана; сложная осветительная арматура под потолком, на которой, как на рояле, играл неопытный осветитель; даже незамысловатый холстинковый занавес, еще задернутое, но уже колеблющееся окно в чудесную страну тайн и совпаде-

ний,— в его складках прятались лиловые сумерки, готовые расцвести... Марина и Курилов приехали вовремя: вполнакала горели лампочки. Голубовато засветилась рампа. Легкая судорога, как в ночном, перед рассветом, небе, пробежала по занавесу. И спрятанные музыканты тотчас же заиграли что-то грустное и о том, чего не бывает в жизни. Марина нахмурилась, и вдруг философические раздумья Власова перебила беспечная песенка, заставлявшая вспомнить о невытоптанных лужайках, об июньских ветерках, колышущих тонкие, на струнных стеблях цветы, о сонмищах пестрых и важных жуков, играющих на басовитых игрушечных виолончельках... Постепенно в музыке растворились и говорки, и скрипы сидений, даже лапстый январский кашель и, наконец, все недавние тревоги Марины.

Но это было только лукавое коварство постановщиков. Вместо обещанной идиллической банальности они подсунули другую — банальность нищеты. У сводчатого подвального окна тачал свое изделие сапожник. Он был очень усердный и поднимался из-за верстака только ради одной молоденькой девушки; в ее присутствии вещи падали из его рук. Потом пришли его товарищи по ремеслу и судьбе, трое. Из их разговора выяснилось, что стал бы гордостью всей сапожной гильдии этот отменный мастер, если бы не захватила его глупая и тщеславная блажь стать непременно королевским сапожником. Но парень был упорен и молчал. Кстати, и добивался-то он своего звания в неурочное время. Трое туманными намеками указывали ему на нищету народа и его право приостанавливать жизнь, когда она несправедлива, на его священный обычай брать хлеб бесплатно, если не на что его купить, на его старинное пристрастие рубить в первую очередь головы королевским холуям. Но девушка была ветрена и жестока; она хотела нарядных платьев и хотя бы тех смешных почестей, до каких может дослужиться сапожник. В общем, первый акт состоял из десятка более или менее удачных суждений о семье, о праве мастера на свое мастерство, о тех торжественных моментах, когда право народа на восстание превращается в его гражданскую обязанность. Фабула пьесы была нарочито упрощена до сходства с формулой, да зрители и воспринимали ее как сказку, легко запоминающуюся и не заставляющую думать. Содержание легко угадывалось из названия. Фредериком мог быть всякий проходимец, но пронумерованным — только король. Судьба сапожника так-

же была ясна, потому что пьесы с двояким решением вопроса редко попадали на сцену. Марина запомнила фразу из текста: народ живет желудком, герой — сердцем, а вождь — разумом, и почувствовала облегчение, что ей не нужно никому разъяснять социальную направленность пьесы.

В антракте Курилов ушел подымить своей трубкой и вернулся, когда второе действие уже началось. Очень условная, на сцене помещалась опочивальня старого короля. Под балдахином на витых бронзированных колонках и высоким, как небо,— желтый, длинный и ужасно плоский, лежал он сам. Он умирал. Врач в черном сюртуке, похожий на стоячие часы, озабоченно составлял лекарство, необходимое, чтоб прикрыть бессилие придворной медицины. На ступеньках рядом, раскачиваясь от горя, плакала маленькая женщина, слишком красивая для королевы, неискренняя для дочери, молодая для сестры. И хотя агония происходила в красноватых потемках, а линзы старенького Марининa бинокля давно сбились с оптических осей, Марина сумела разобрать лицо актрисы... Это была Лиза, и враждебное чувство к ней возникло у куриловской спутницы еще прежде, чем она подняла с колен свою битую, с перламутром, драгоценность. Она решила не глядеть на сцену, и тотчас же в поле зрения ее бинокля попал козлобородый начальник финсектора их дороги, во втором ряду. От этого писклявого придиры ей всегда доставалось, когда сдавала ему оправдательные документы по поездкам. Он сидел один, в обычной толстовке — мешковатой и глухой до ворота рубахе, выгода которой заключалась в возможности подолгу не менять белья. Петров глядел на сцену и ел мятные пряники, предварительно кроша их в ладонях и вбрасывая под усы. Зрелище было еще тоскливее прежнего. Марина снова обернулась к сцене, где Лиза оплакивала своего высокого любовника.

— Наверно, эта женщина никогда не плакала в жизни. У нее так фальшиво выходит! — вполголоса сказала Марина Курилову.

Она ревниво ждала возражения и, когда его не последовало, обернулась к Алексею Никитичу. Курилов сидел, подбородком упираясь в грудь и с закушенными губами. По влажному лбу его проступили темные, с глубокой тенью, жилы. Он делал скрытные, конвульсивные движения при этом, точно отпихивая что-то боком. Марина схватила его холодную руку, он постарался улыбнуться.

— Мне нездоровится, я хочу уехать домой. Вы оставай-

тесь, Марина... — И, толкаясь, почти не различая людей, вышел из ложи.

Марина побежала следом. Курилов стоял на ступеньке лестницы, держась за перила. Когда Марина заглянула в его прищуренные, остановившиеся глаза, он сделал один, совсем механический, шаг и весь выпрямился, точно шел на протезах. Теперь это был какой-то подмененный человек, родной брат той шарнирной Клавдии, которая напугала Марину во сне. Ей хотелось кричать, чтоб помогли, чтоб разбудили ее...

— Она меня жует... — четко проговорил Курилов про боль, и Марине почудилось, что он сейчас же рухнет вниз, как большая сломавшаяся вещь.

Протекла мучительная четверть часа, прежде чем Марина успела вызвать машину из гаража. Алексей Никитич сидел в раздевальне, изнеможенно привалясь к чужим шубам. Лицо у него было смятое и красное, как будто уносил на себе тревожный багрец королевской опочивальни. Внезапный одинокий вскрик, потонувший в грохоте рукоплесканий, вернул его к действительности. (Окраина аплодировала какой-то ловкой режиссерской выдумке, которою тот обыграл смерть деспота.) Очень удивленно Курилов смотрел в овальное, плохо оштукатуренное окно, где кружились снежинки. На несколько мгновений боль утихла. Точно разбуженный, Алексей Никитич обвел глазами пустой театральный вестибюль. Сперва бумажка на заслеженном паркете привлекла его внимание; потом гардеробщики за своим прилавком, двое, попались ему на глаза. Мечтательно, слегка покачиваясь, один, такой длиннорукий, рассказывал другому, как он д о м а у с е б я убил волка. «О Рождество богородицы, в году — как война, привадился к нам во двор волк ходить. Тощой, а у-умнай!.. «Што б ему надо?» — думаю. Засел я раз утрышком в стожок...» И лицо у него было такое ласковое при этом, а руки — добрые, точно ласкал своего ребенка. (Другой в это время считал выручку, сурово и истово раскладывая столбики монет.) Алексей Никитич пристально вслушивался в историю волка; детское непонимание светилось в его взгляде. И когда зверь в рассказе гардеробщика упал и заскреб лапами мерзлую, проиндевелую траву, приступ боли вернулся с новой силой. Алексей Никитич приподнялся уйти куда-нибудь, откуда не слышно голоса, и в ту же минуту Марина крикнула ему с верха лестницы, что машина уже у подъезда. Гардеробщики подбежали к Курилову. Ему на плечи накинули пальто, чуть набекрень, как на пьяного, на-

садили фуражку; он не позволил Марине взять его под руку. Потом те же люди в несколько рук открыли дверь. Отшатнулся нищий. Машина рванулась на полный ход. Вдруг Курилов фальцетом закричал шоферу, чтоб ехал скорее. Он торопился домой, как подбитый зверь в берлогу, где можно было выть и зализывать невидимую рану. В лифте он стоял спиной к Марине, чтоб не видела его лица. Припадок усиливался.

Курилов пробежал комнаты и бросился на диван. Им владела животная уверенность, что, если изловчиться, прижать плечо к щеке, завязаться узлом, можно обмануть боль. И он старательно изобретал эту позу, изгибаясь, запрокидывая туловище, заставляя звенеть пружины, лишь бы сгинули, затихли на мгновенье эта резь, эти корчи и смертное жженье в спине. Диван был узок, Алексей Никитич не помещался на нем целиком, он опробовал стол, кресло, даже низенькую скамейку, заказанную еще Катеринкой для кадушки с фикусом (увядшим вскоре после нее). Так он проходил по всем комнатам, под новым углом пробуя мебель; и минутами боль отступала. Он поднимал голову, с радостью чувствуя другую, маленькую боль в прокушенной губе и слыша отчаянный голос Марины, по телефону вызывавшей врача.

...у нее спрашивали, терапевт или невропатолог нужен,— в суматохе она забыла разницу. От нее добивались названья болезни или хотя бы пищи, какую он ел, сердились, язвили, что это специальность ангелов — заочно ставить диагноз. Тогда она разыскала на каком-то заседании Клавдию Никитичну. Приподнятый, звенящий голос Марины беспрепятственно пропускали к аппаратам, недоступным для других. Суховатое, спокойное удивление Клавдии не отрезвило ее, испуг пришел много позже. Клавдия не переспрашивала, она обещала приехать с врачом. Еще Марина держала трубку, еще жили там замирающие вибрации старухина голоса, когда ее оглушил звонок в прихожей. О, только ангелы могут так быстро... Марина распахнула дверь и увидела Клавдию Курилову. Явление походило на галлюцинацию, от которой прыгают с любого этажа.

— Здравствуйте... — с ужасом прошептала Марина.

Та осмотрела ее с головы до пят — может быть, искала какого-нибудь непорядка в ее туалете, и не нашла, и промолчала. Единственный вопрос, возможный в таком случае, отпадал сам собою. Конечно, Алексей Никитич был дома, если эта женщина, не жена его, присутствовала здесь. На этот раз Клавдия выглядела необыкновенно; она несколько располнела

за последний месяц и была наряжена почему-то в черный нагольный полушубок, обвязанный поверх добротной шалью. Под ним оказалась ситцевая, навыпуск, кофта и длинная, темной ткани юбка. В довершение всего она пришла в валенках и с корзиной, крест-накрест обтянутой красным ямщицким кушаком.

— Катеринка дома, девушка?

— Нет... она же умерла! — с раскрытыми глазами прошептала Марина.

— А-а! — длинно протянула женщина и почему-то поглядела на свой прутяной сундучок (там лежал ее подарок для Катеринки).

Что-то начинало проясняться. Это была не Клавдия; эта была шире, добрей, разгонистее в движеньях. Когда-то эта была красавицей, а та... была ли та когда-нибудь и женщиной? Эту сестру звали Ефросинья, по старшинству она была средняя из живых Куриловых. Не дожидаясь рассказа о Катеринке, она неуверенно прошла в комнаты. Все здесь говорило об отсутствии постоянной хозяйки: нежилой, подтравленный табаком воздух, много пыли, и по углам — вороха бумаги от покупок. Потом ей бросилась в глаза кожаная фуражка брата, скатившаяся на пол с дивана; она стряхнула с нее пыль и положила на место. В соседней комнате, брошенное на письменный стол (так, что на сукно пролились чернила), валялось пальто Курилова. С удивлением она повесила его на спинку стула и озабоченно глядела то на темную, наполовину впитавшуюся в сукно лужицу, то на свои испачканные пальцы. В предпоследней комнате она обнаружила ремень и гимнастерку, разорванную по шву. (Это был путь, которым проходил Курилов, сбрасывая с себя вещи.) И наконец, у самой крайней двери, она громко позвала брата по имени; ей не откликнулись, она заглянула внутрь.

Алексей лежал на боку, подогнув под себя ноги, поперек Катеринкиной кровати, как свалила его боль,— уткнув лицо в пыльные, несмятые подушки. Рубашка задралась, и видно было тело с рубцом старинной раны под лопаткой да жировая складка на пояснице, покрасневшая от натуго затянутого ремешка. Ефросинья решила бы, что он спит, если бы не эти досиня сжатые кулаки, скомкавшие тканьевое одеяло... Они не виделись четырнадцать лет. Тогда он был быстрый, молодой, презрительный к опасностям и болезням,— гвозди вязал

в узелок; нынешнее их знакомство начиналось с этого тяжелого седеющего затылка.

— ...Алеша, что с тобой?

Она наугад коснулась его руки; он содрогнулся и заворочался, точно хотел уползти от нее.

— Вот пропадаю, сестра... — скрипуче произнес Алексей Никитич. — Погибаю, как последняя сволочь.

Больше он не отвечал ни на что. Тогда она побежала звать кого-нибудь — доктора, Марину, бога, чтоб пришли спасти этого человека. На пороге передней она наткнулась на Клавдию; с нею был врач. Сестры не обнялись и, хотя не виделись столько лет, даже не протянули руки друг другу. Старшая спросила, где Алексей; младшая молча показала кивком головы. Клавдия шагнула вперед и этим решительным движением как бы принимала на себя верховную власть в куриловской квартире. Прежде чем зайти к больному, врач пожелал вымыть руки.

Клавдия вернулась в прихожую; Марина все еще сидела в своем уголке.

— Идите сюда,— сказала старуха. — Где лежат полотенца?.. и вообще, где у Алексея Никитича находится белье?

— Я не знаю,— отвечала Марина, привстав. — Я не знаю, где лежат его полотенца...

— Как же это вы не знаете! — Она больше всего не терпела ханжества и от допрашиваемых требовала прежде всего безоговорочного признания вины. — Это по меньшей мере странно...

Если никто, кроме Катеринки, не мог похвастаться ее расположением, то не в привычках Клавдии была и такая обидная, раздевающая резкость. Но она волновалась и была уверена, что пышная эта, на невысокий вкус, девица метит замуж за брата. Марина молча и гневно глядела в бесстрастное, точно из желтоватого алебастра высеченное, лицо; Клавдия опустила глаза и отвернулась. Затем все прошли к Курилову. Стало тихо. (В театре, наверно, повстанцы уже свергли хилого и малодушного Фредерикова сына; прозревший королевский сапожник уже ворвался в дворцовую башню отмстить за поругание невесты, и стал трицветным королевский горностай. Дома терпеливо ждал Зямка, что вот заедут на машине и отвезут его в сказку...) Дверь снова отворилась. Клавдия подошла к Марине, и отзывало лаской даже это мимолетное прикосновение ее руки.

— Что же вы сидите здесь одна, Марина?.. сердитесь на меня? Не стоит: старики сварливы и неуживчивы. Идите, он зовет вас.

Все сидели. Врач укладывал свои вещи в чемоданчик. Зажгли свет, но абажур с лампы валялся почему-то на подоконнике. Алексей Никитич полулежал в кресле, с чуть опухшим, красным и сконфуженным лицом. Не глядя ни на кого, он на ощупь набивал себе трубку. Левый его рукав был засучен чуть не до самого плеча. Вдруг кисет с табаком выскользнул на пол; Марина подняла, и Курилов дружественно кивнул ей. Он советовал возвращаться в театр, была надежда застать последний акт. Речь его была машинальна; он путался в словах и, было заметно, все время прислушивался к удивительному затишью, наступившему во всем теле.

— Зямка ваш преотличный субъект. Мы, наверно, подружимся. Кланяйтесь ему... — И повернулся к врачу. — Это был морфий? Какая хорошая вещь...

Врач заговорил; он подозревал худшее, чем обычная невралгия, и рекомендовал обратиться к хирургу. Из-за болезненности обстоятельное прощупыванье — пальпация, как он сказал,— было невозможно, но ему показалось, что почка не двигается. Клавдия быстро подошла к нему, точно боялась, что он скажет лишнее в присутствии больного. Она сумрачно глядела, как купалась и при этом пропадала в бесцветной жидкости тонкая игла, доставляющая облегченье.

— Так это же хорошо, что она не двигается... Чего же ей двигаться! — нервно и сухо сказала она.

— Да я от нее и не требую, чтоб она резвилась сверх положенного... — Шутка не удалась, он стал прощаться.

Клавдия пошла проводить его. Она плотно прикрыла дверь, с особым значением взглянув на остающихся женщин. Некоторое время все молчали.

— Как поживаешь, Фрося? — спросил брат.

Она сказала, что понемножку ее жизнь снова налаживается.

— От мужа не имеешь вестей? Он у меня на дороге устроился, но, кажется, сбежал теперь...

Нет, они расстались с ним давно, еще до высылки из городка. «Все мечется, какого-то смиренья ищет, да разве Омеличевых ржаным хлебом накормишь!» Она сообщила также, что хочет уехать подальше, в Сибирь. Знакомый писал ей оттуда, что у них на строительстве требуется хорошая повариха,

а Ефросинья с юности была отмечена особым кулинарным даром.

— Надо уехать. Слишком много людей помнят нас, как мы жили прежде...

— Это правильно, это правильно... — невпопад подтвердил Алексей Никитич, и видно было, что все это время думал о другом. — Ну-ка, поди послушай, про что там докторишка балакает! — неожиданно сообщническим тоном попросил он.

Он подмигивал сестре, кивал ей на прихожую, где обсуждался самый главный секрет его существования. Ефросинья колебалась, а пока она делала что-то, не очень необходимое, вернулась Клавдия. Алексей Никитич заметил, что она не глядит ему в лицо. Марина воспользовалась паузой, чтоб проститься и уйти. Зазвонил телефон, Алексея Никитича приглашали на какую-то вечеринку.

— Нет, я не буду записывать никакого адреса, милый товарищ Похвиснева,— раздраженно заметила Клавдия. — Алексей Никитич не терпит никаких вечеринок. Нет, не звоните ему больше.

Очень деловито и кратко она изложила свой план. Алексею необходимо заняться своим здоровьем. Болезнь, по ее словам, была почти пустяковая, но пока он нуждался в постоянном присмотре. Клавдия поймала его пытливый, требовательный взгляд и, впервые на его памяти, смешалась. О, ничего страшного, но — диета и полный отдых! Самый режим лечения будет зависеть от врача, и Алексей отправится к нему завтра же. Что касается длительного отпуска и всяких переговоров в лечебных комиссиях, эту сторону дела она брала на себя.

— Соску мне купите... — поморщившись, сказал Курилов.

Сестра не удостоила ответом его шутку.

— Ну, как твоя боль сейчас?

— Я почувствовал облегчение, едва ты вошла. Она испугалась тебя, Клаша!

Уже без прежнего осуждения или нетерпимости Клавдия покачала головой.

— Когда же ты наконец станешь взрослым, Алешка?

Она все чего-то не досказывала; он начинал подозревать худшее, сидел беспомощный и подозрительный, выжидая, что сестра проговорится. Та беспокоилась, как он проведет эту ночь, совсем один, когда действие наркотика прекратится. Разумеется, Ефросинья приехала своевременно, и нужно,

чтобы на некоторое время она осталась у брата: свои дела она успеет и потом! Но Ефросинья медлила с согласием, и Клавдия начинала сердиться.

— Может быть, тебе не выдали паспорта? Это, конечно, хуже... И я не смогу тебе помочь.

— Нет, паспорт мне дали. Я уже девять лет работаю сама. Но, видишь ли, я не одна здесь...

— ...муж?

Нет, но с нею был ее ребенок. Она оставила его на вокзале, пока навестит Катеринку.

— Я же не знала, как встретит меня Алексей. Мог и погнать...

— Как тебе не стыдно, Фрося,— сказал с досадой Алексей Никитич. — Все-таки родня!

— Ну, какая мы родня. Ваша радость с нашим горем — вот кто родня. (Она кратко посмеялась и стала оттирать лиловые пятна с пальцев. — Какие нынче чернила ядовитые пошли!)

Тогда Клавдия решилась проявить инициативу:

— Бери мою машину внизу и поезжай за своим чадом. Ты должна пожить здесь... отдохнешь кстати! — В ее голосе слышалось нетерпение, продиктованное боязнью за брата.

...и вот, получасом позже, Ефросинья втолкнула к ним худенькое существо в стоптанных сапожках и крест-накрест укутанное в старенькую шаль. Когда его раздели, оно оказалось мальчиком лет десяти. Мать подтолкнула его вперед, чтобы поклонился, и в самом жесте заключены были и жалость к сыну, и согласие остаться в доме до выздоровления Алексея, и смущение за свою неудавшуюся жизнь.

— Лукой звать,— тихо сказала она, кланяясь за него в пояс.

Потекла долгая, неловкая пауза.

— Ну, здорово, цыганенок! — неестественно бодрясь, крикнул Курилов.

Мальчик молчал. Подломив ножку от застенчивости, он исподлобья глядел на всех поочередно. Он был смуглый, большеглазый и не очень хорош собой, потому что болезненный и хилый; обращала на себя внимание его нерусская кудрявость. Весь он был похож на стрижа, если вынуть его из-под крыши и, испуганного, положить на ладонь.

— Что же ты молчишь, мальчик? — за брата спросила Клавдия. — С тобой здороваются, а ты молчишь...

В его взгляде появилась недетская обеспокоенность; он хотел понять что-то и не умел.

— ...он у меня глухонемой,— строго объяснила Ефросинья, беря сына за руку, но что-то сорвалось в ее игре. Лицо стало серое, старое, и задрожали губы. — Деды грешили, а дети-то, дети-то за что должны отвечать... — шепнула она и заплакала.

ИЛЬЯ ИГНАТЬИЧ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ

Когда схлынуло первое счастье, Илья Игнатьич вполне добросовестно исследовал право жены на ее профессию. В последний месяц он старался не пропускать ни одного спектакля с ее участием. И тогда ни один рабочий день не доставлял ему столько утомления (а случалось, что он до сумерек не выходил из операционной). Всегда он волновался так, точно присутствовал при Лизином дебюте, затянувшемся на целые месяцы. Вначале бывало стыдно и жалостно глядеть на нее, хотелось ворваться за кулисы, схватить, измять, насильно увезти домой. Это была жалость мужа к жене, заискивающей у администраторов, нечестной в отношениях с подругами, лишь бы не мешали обманывать третьего, кто покупает билеты. Сквозняк лживости, интриги, душевной оголенности стал проникать в атмосферу, которой дышал Протоклитов; Лиза делала все, чтобы втянуть и его в свои планы. Постепенно он сам становился участником этого уголовного, по его мнению, предприятия, наравне с дирекцией, заманивавшей публику в свой сомнительный подвал искусства, наравне с режиссерами, подменявшими живую игру страстей умственной акробатикой, наравне с кассиршей, продававшей талоны на заведомо недоброкачественный продукт.

Позже ко всему этому присоединился протест мастера, привыкшего работать точно и безупречно, согласного оправдать даже праздность, но не эту рационалистическую подделку. Дальнейшее бездействие становилось в его глазах низостью, сделкой с совестью, даже взяткой, на которую он покупал Лизину любовь. (Кстати, всякий театральный термин вызывал в нем в эту пору беспричинное ожесточение.)

Однажды она полюбопытствовала, чего он хочет от нее:

— ...чтобы я бросила для тебя сцену? Никогда, милый.

— Я хочу, чтоб ты училась.

— Ты просто не понимаешь нового театра, Илья.

— Но ты же мало знаешь. Всякое добавочное знание научит тебя критически относиться к себе, даст представление о мире, в котором ты заблудилась...

— Разреши мне быть просто средним человеком,— холодно попросила она.

— Но это преступно — преднамеренно делать себя средним человеком!

Он сердился, он давно разгадал ту распространенную категорию художников средней руки, для которых искусство служило средством занимать место в обществе, не принадлежащее им по праву. Их расчет был или на некультурность, или на благодушие потребителя: покупают же граждане спички, которые не горят! Даже привыкнув к мысли, что дарованья их не хватит на великие дела, они продолжают мириться с нищенским заработком, в надежде, что какая-то лотерейная случайность вознесет их на уровень славы знаменитых стратонавтов, бурильщиков внутриатомных глубин, спасителей арктических экспедиций. Старея, они объединяются, чтоб по образу семи тощих библейских коров действовать сообща на темных перекрестках искусства...

Лиза слушала, и губы ее бледнели. Она почувствовала, что это созревало в нем давно, еще до знакомства с нею, и прорвалось только теперь. Уже не протест мастера, а бешенство потребителя звенело в голосе Ильи. Конечно, такой не задумается нанять десяток горластых молодцов, чтоб освистали ее в очередной премьере.

Намеки мужа относительно искусства, в котором больше скорлупы, чем сытного, съедобного ядра, она ревниво отнесла к себе одной. «Так что ж, Самарин, наследник самого Щепкина, тоже говорил про Ермолову, что из нее ничего не выйдет!»

— Меня радует, что ты так близко принимаешь к сердцу мою судьбу! Суждения твои, конечно, реакционны. Никаких тайн, милый, в этом деле нет. Каждый может написать пьесу, если только он общественник и умница. Кроме того, ты можешь справиться обо мне в самом театре. Они круто изменили мнение обо мне с тех пор, как я сыграла в Фредерике.

Однажды он и сам поинтересовался об этом у одной ее приятельницы: она показалась ему остроумной девчонкой. По ее версии, Похвисневу терпели, потому что каждому лестно иметь в запасе человечка, который в случае нужды стал бы

резать его со снисхождением. Это обнаруживало кое-какие закулисные приемы Лизы.

— Я запрещаю тебе употреблять мое имя в театре. Это низменно и смешно!

Лизиной улыбки хватило лишь на то, чтоб прикрыть угрозу и ожесточение.

— Ты теряешь самообладание, зря. В таких крикливых объяснениях растворяются без следа даже самые горячие привязанности! — произнесла она фразу из роли, которую ей не дали играть.

Тогда он вспомнил, что она беременна, подошел и обнял ее, тоненькую, маленькую мать своего будущего ребенка. (В эту пору Илья Игнатьич еще не знал происшедших перемен. Она противилась медицинским осмотрам; ей было стыдно представать мужу в ином виде, кроме как жены.)

— О, я молчу, вы перекричали меня. Га, вас двое!

И второпях она сочла эту внезапную мягкость за испуг и, следовательно, за признание ее правоты. «Я ведь поняла, милый, у тебя просто горло заложило, и вот ты его продуваешь. Га, верно ведь?» Расчеты на мир оказались преждевременными. Илья Игнатьич давно решился на последнюю меру, на разговор с директором театра. И он отправился к нему незадолго до окончания юбилейного спектакля, но уже с целью, обратной той, какая была вначале. Ему сказали, что директор полчаса назад уехал обедать и вернется в театр не раньше шести. Илья Игнатьич находился еще в раздумье, как распорядиться этими двумя с половиной часами, но тут спектакль окончился, и публика, точно освобожденная из заключения, ринулась к вешалкам. Чтобы не сбили с ног, он отошел в дальний угол коридора, соседнего с зрительным залом, и почти тотчас же из артистического прохода к нему вышла Лиза. Она была вдвоем с подругой. Они дружелюбно болтали и прошли бы мимо, если бы новый поток зрителей не оттиснул его прямо на них.

— Это очень мило, что ты подождал нас,— защебетала Лиза, повисая на его руке и попеременно обращаясь к ним обоим. (Она отступила, пропуская мимо себя эти стремительные ноги и падающие на них туловища,— какую пыль о н и всегда поднимают!) — Знакомьтесь, это Кагорлицкая. Прелестная актриса и хорошенькая женщина. Знаешь, я так много рассказывала о тебе мужу, что он заочно втюрился в тебя. Он у меня влюбчивый, но ты единственная, к кому я буду ревно-

вать. Знаешь, она играла сегодня Жаклину, невесту этого сапожника. Какая эффектная у нее сцена с капитаном в третьем акте, правда?

Протоклитов криво улыбнулся на ее бессознательную, почти наивную испорченность. (И еще подивило его, что, несмотря на беременность, жена не утратила своей обычной певучей ясности.) Кагорлицкая заметила его усмешку и сказала тихо, что Лизушкина ребячливость просто очаровательна. То была почти тощая для своего роста женщина с неприятно-тонким носом; наверно, она страдала чем-нибудь специфически женским. Но подкупало в ее глазах, больших и тревожных, выражение настороженной взволнованности; таков бывает взлет лесной птицы, напуганной овражным шорохом.

Рядом с Лизой она выглядела дурнушкой, бедной родственницей, и, наверно, Лиза трезво учитывала ее внешность, расточая свои коварные похвалы.

— Мы отправляемся со Стаськой купить что-нибудь для гостей. Ты не забыл, надеюсь, что вечером у нас гости? Будут Васильев, Пашка, Трубецкая, Пахомов... Ты слышал что-нибудь о Елене Аренс? Мировая актриса! Так вот, ее сделал Пахомов. Александр Иеронимович также обещал заехать после заседанья в Наркомпросе. Три кило сосисок, как ты думаешь, хватит? Пашка позаботится о вине. Будет человек пятнадцать. Для тебя же, чтобы тебе не было скучно, я думаю позвать одного начальника политотдела... ты все равно не знаешь его фамилии. Мы вас запрем, дадим вам коньяк... вы будете говорить о роли партии в медицине, а мы станем танцевать. Но он суровый... как ты думаешь, он не испортит веселья? У меня сегодня какая-то животная потребность веселиться. Так ты не забыл? — И еще раз пальчиком погрозила она.

Нет, он помнил. В этот день молодому театру исполнилось пять лет — срок, по тому времени, достаточный для юбилея. Одна крупная газета обещала поместить статью и поместила бы, если бы своевременно не раздумала. Когда среди актеров возникла идея отпраздновать эту дату в тесном кругу, только Лиза могла предложить для вечеринки свою квартиру: актерская молодежь ютилась где придется. По первому варианту, Илья Игнатьич должен был переночевать у приятеля, но Лиза настояла на его присутствии. «При тебе они остерегутся нализываться до непотребства...»

— Ты тоже едешь домой?

— Нет, Ли, мне необходимо заехать в клинику...

— Как это скучно! Опять кто-нибудь волнуется?.. мужчина?.. женщина?

В голосе Ильи прозвучала неискусно спрятанная нежность:

— На этот раз девочка, лет пяти. Ее зовут Ева! — И было удивительно, с какой свежестью прозвучало это имя. — Га, очаровательная, как из Диккенса. Бедняга, она проглотила что-то острое...

— Вы любите детей? — странно и не глядя в глаза, спросила Кагорлицкая.

— Га, не знаю... я уважаю и побаиваюсь их.

Лиза капризно сдвинула бровки.

— Ну, сошлись две родственные души!.. Стаська, ты никогда не видела, кстати, как он у себя в клинике проделывает э т о? О, он вскрывает их, как арбузы: чик-чик... красное... «клеммы!» — и готово.

— Ты ужасные вещи говоришь, Ли,— заметил, поеживаясь, Илья Игнатьич.

— Почему?.. разве это позорно — помогать людям?

Они так и не успели объясниться; подошел трамвай, Илья Игнатьич отправился в обратную сторону. В клинику, однако, он ехать раздумал, чтобы не опоздать к директору театра, а других маршрутов не было... но вот показалось, что когда-то видел этот угловой утесистый дом, подобно кораблю рассекающий площадь на две смежных улицы. Год назад Протоклитов добирался сюда с другой стороны. В его воображении возникла неопрятная отшельническая борода Дудникова, и с чувством того же мальчишеского любопытства он прошелся по переулку, в поисках знакомого церковного дворика. Ничего там, однако, не осталось: срыли, разнесли вместе с дохлыми сиреньками. Две метростроевских вышки стояли над целой группой свежих, непокрашенных тепляков. Не то пар, не то дым пополам со снегом подымался из темного зева шахты. Люди копались на глубине, как бы доискиваясь пропавшей кароновской луковицы.

Вещь эта, дальними путями сблизившая его с Лизой, находилась теперь в коллекции Ильи Игнатьича. И если только не азартный черт коллекционеров запускал ее снова в людской обиход, чтобы попользоваться процентами с оборота, можно было бы на ее примере проследить закон перемещения таких сокровищ, непохожего на движение других материальных ценностей. Чаще всего в периоды крупных социальных

сдвигов эти вещи вырываются из узкой орбиты ценителей и знатоков и, подобно комете, движутся сквозь самые различные прослойки общества, минуя любительские сундуки и музейные витрины, не задерживаясь нигде, кроме места, где суждено им погибнуть. Так, после кармана санитара, утаившего эту вещь при перевозке Дудникова в морг, она последовательно побывала в руках старьевщика, мелкого антикварного спекулянта, вторичного вора, блатного скупщика, следователя, оценщика и, наконец, часовщика, старого знакомого Ильи Игнатьича. Поистине заслуживает некролога этот нарядный шедевр часового искусства. Итак, это был хронометр на одностороннем шпиндельном ходу, с репетиром и календарем, ранних номеров, изготовленный, судя по водяным знакам на циферблате, в 1758, часовщиком Кароном в Безансоне, в год совершеннолетия его сына, Пьера-Огюстена Бомарше, дослужившегося впоследствии до звания «смотрителя комнатных собачек и хранителя королевских удовольствий» (и, кроме того, автора нескольких отличных сочинений). Самый механизм, чудо своего века, заключался в футляре из прекрасной пронзительно-голубой эмали такой глубины и силы цвета, что вещества ее хватило бы покрыть все небо, если бы нашелся подходящий растворитель. Чеканная монограмма первого владельца этой жемчужины осталась непрочитанной до самого конца. Было бы бессмысленно, в случае гибели этой вещи, искать замены: судьба не улыбается дважды. Но замыкался этот круг; только одно последнее событие отделяло хронометр от его уничтожения. И, торопясь на разговор с директором театра, Протоклитов тем самым укорачивал этот срок.

...трамвайный вагон успел обернуться у заставы. Тот же самый кондуктор выдал Протоклитову обратный билет. Вечерняя очередь стояла у театральной кассы. Директор еще не возвращался. Илья Игнатьич обошел все помещение, узнал из стенной газеты, что местный счетовод не ходит на производственные совещания, а уборщица Трунина проявляет рваческие тенденции. Также он приподнял чехол с кресла и увидел безвкусную бедность; поговорил с мафусаилом, топившим печь, и узнал, что тот женился полгода назад... Очень страдая от безделья, Илья Игнатьич вошел в зрительный зал и уселся в углу амфитеатра. Было прохладно, пели вентиляторы в тишине. Как всегда в нерабочее время, занавес был раздвинут. На деревянной стойке посреди сцены горела лампа. Гнутый листок жести отбрасывал в зал пронизывающие лучи своими

ломаными плоскостями. На их пути попадались — или бутафорское дерево, или кожуха осветительных установок в верхней ложе, или ажурная холстина падуг и партикаблей. Благодаря им голые известковые стены покрылись суровыми силуэтами, наложенными один на другой, и всякий отыскал бы свою тему в хаосе этих неповторимых фресок — кусок батального сюжета, или фрагмент циклопической стройки, или снасти корабля, уходящего в безвозвратное плаванье, и даже сад, весь в цвету сад, если бы только сад потребовался по ходу мысли.

Сейчас театр казался неизмеримо громаднее, чем был на деле. Тревожное, приподнятое над действительностью беспокойство зарождалось от созерцания пустой, без всяких прикрас, сцены. Высокая, кирпичной кладки стена позади рефлектора, заставленная дворцовыми каминами, рощами, цветными витражами средневековых соборов, накрепко пропиталась выделениями человеческой души; крепче цемента они связывали между собою грубые кирпичи. Наверно, можно было соскребать ножом и держать в руке этот серый, землистый тлен человеческих страстей. Понемногу Илья Игнатьич стал узнавать знакомые образы, обступавшие его с детства и скреплявшие его культуру. Здесь плакал Гамлет, действовал неугомонный Скапен и в который раз ненасытный Жуан губил покорную Анну! Они кишели, виденья, по всем углам этой пустоты, чтобы в любую минуту сойти на театральные подмостки.

И вот в тишине зародились монументальные, неторопливые шаги. Испытанные всякой нагрузкой, трещали под ними половицы настила. Все было ясно: Каменный Гость, соскучась стоять в паутинном углу между обветшалых задников, украдкой спустился с постамента поразмять ноги. Событие надвигалось, близился грохот каменных ботфорт, зловеще шевельнулась правая кулиса. Илья Игнатьич приготовился увидеть явление, не описанное никогда... Тогда из-за груды декорационных щитов вышел продолговатого вида пожарный, в каске и смазных сапогах, одной внешностью своей способный устрашить огненную бурю. Но театральные пожары становились редкостью, и караульный от скуки пускался время от времени в обход своих владений — может быть, в надежде увидеть огонь. Обойдя сцену по кривой, он остановился у рампы и деловито прижал к ноздре большой палец правой руки. Последовал звук, напоминавший всхлип кузнечных мехов.

И опровергнув во всем разбеге протоклитовскую романтику, он повернул лампу рефлектором в глубину сцены. Фрески омыло светом, и в ту же минуту кто-то назвал Протоклитова по имени. По той уверенности, с какой к нему приближался белобрысый, доброго роста и скандинавской внешности человек, легко было догадаться, что это и есть директор.

Илья Игнатьич принялся шутливо извиняться, что без билета забрался подсматривать самое сокровенное существо театра. Он рассказал о проделке Каменного Гостя во внеслужебное время, и оба посмеялись, одинаково склонные рассматривать этот случай как законную формулу отношения жизни к образному мышлению о ней. Смех сблизил их почти на расстояние дружбы, и Протоклитов перестал сомневаться в успехе своего предприятия.

— ...вы не узнаете своих пациентов, профессор,— сказал тот, присаживаясь рядом. — Правда, мы встречались мельком: я лежал, а вы стояли. Я плохо запомнил последующее, но, кажется, вы резали меня...

— Да, это в прошлом году. Как ваша печень?

Тот сказал, что весьма доволен качеством протоклитовской работы. И верно, при более близком соприкосновении легко было убедиться, что этот человек порядком выпивал за обедом. Он прибавил, что сочтет радостью быть полезным своему исцелителю. Трудно было пойти на полную откровенность в таком двусмысленном и щекотливом деле; тогда Илья Игнатьич и решился на маневр, который в иное время счел бы недостойным себя.

— Я хотел говорить с вами об одной актрисе.

— Их у меня табун. Но вы имеете в виду свою жену? — И в глазах его блеснула фамильярная любознательность.

— ...мою бывшую жену! — чуть покраснев и сам не зная пока, зачем солгал, поправил Протоклитов. — Мы расстались около месяца назад, но эта женщина не безразлична мне, и я хочу советоваться с вами о ее будущем.

Собеседник заметно удивился легкости, с какою этот почтенный человек посвящал его в свои семейные дела. Это обязывало, он насторожился. Со своей стороны, Илья Игнатьич сообразил, что допустил промах: директор был приглашен на Лизину вечеринку. Отступать стало так же поздно, как и объяснять смысл его не очень хитрого приема. Директор принял вид лукавой и недоверчивой серьезности.

— Это очень значительное обстоятельство... — И, подавшись вперед, крепко, по-мужски, пожал протоклитовскую коленку.

— У вас сильная рука... — заметил Илья Игнатьич.

— Бывший теннисист: это остается на всю жизнь!

— ...и несоразмерно доброе сердце. Это не обвинение, конечно...

— О, не стесняйтесь, дорогой друг. Я, как ваше изделие, с глубоким вниманием...

— Поймите меня правильно. Зачем вы держите в театре плохую актрису?

Только теперь директор стал проникать в причины протоклитовского визита. Было бы невероятно заподозрить Протоклитова в намерении мстить женщине, когда-то делившей с ним любовь. Но директору были известны случаи из жизни (и тут, как напоминанье, пожарный снова прошелся по сцене, но никто не заметил его на этот раз!), когда любовь толкала людей не только на героизм, но и на низость, и неистребимая сила одного чувства придавала свирепый разбег другому, ему противоположному. Лицо директора стало скучное и отсутствующее, и сразу размер благодеяния, оказанного ему Протоклитовым, уменьшился до величины, которой стоило пренебречь ради такого случая. Он промолчал, давая гостю своему возможность оправдаться или высказаться полнее.

— Я пристально наблюдал ее,— продолжал Илья Игнатьич. — Эта женщина не работает, не творит, а служит. Га, она берется петь, не зная нот, которыми написана жизнь. У вас она только насвистывает, и то с чьего-то фальшивого голоса. Искусство в наши дни — это труд чернорабочего. Угадать будущее русло реки в половодье — не значит ли создавать его самому?

Директор улыбался, по-своему объясняя запальчивость хирурга. Похвиснева всегда нравилась Виктору Адольфовичу, а злость обманутых мужей нередко делает их придирчивыми критиками.

— Мне лестно, что вы предъявляете такие значительные требования к нашему театру. Это показатель вашего серьезного отношения к нему. Но театр наш молодой...

— Я говорю об одной лишь актрисе.

— Она почти ровесница с театром!

Протоклитов сердился:

— Га, молодость не оправданье бездарности, не так ли?

— С точки зрения вашей науки вы сможете провести границу между гением и бездарностью?

Протоклитов сделал нетерпеливый жест.

— Итак, вы думаете, что не зря платите ей деньги?

Тому почудилась какая-то надежда в голосе Протоклитова; но, взглянув мельком в его лицо, не прочел там ничего, кроме спокойного и жестокого ожиданья, как и в тот раз, в операционной.

— Во всяком случае, любому контрольному органу я сумею доказать, что она вполне оправдывает свои сто сорок в месяц. — За двойственной формулировкой обнаруживались истинные мнения администрации. — Видите ли, профессор,— говорил он дальше, снимая с собеседника незаметные пушинки и бережно пуская их в воздух,— она вряд ли выбьется когда-нибудь на первое место... и, конечно, мы не пострадали бы от ее отсутствия. Но она любит театр и, разумеется, отдала бы за него душу, если бы ее имела, черт возьми! Я хочу сказать, что в каждом искусстве нужны не только творцы, но и рядовые работники, та рабочая плазма, в которой развивается гений. Кроме того, не кажется ли вам, что большое сердце — это не сразу? — И, продолжая освобождать гостя от несуществующих пылинок, привел пару общеизвестных цитат, чтоб закрепиться на своих позициях.

— Все это очень неточно,— несколько мягче согласился Илья Игнатьич. — Покамест наши науки о человеке — показатели нашего невежества. Люди никогда не были в силах дать абсолютное определенье явлению, без того, чтобы не отпечатлеть в нем несовершенств, свойственных веку. Я хочу сказать, что любая идея носит на себе дату своего выхода в свет... Но и в этих условиях ясно, что у Похвисневой налицо только ребяческое влечение к искусству, помноженное на детское тщеславие.

— Вы правы в том смысле, что искусство всегда служило ареной для столкновения честолюбий.

— ...словом, я прихожу с улицы и вмешиваюсь не в свое дело. Я не могу требовать от вас искренности, нужной мне как лекарство. Но мы, хирурги, привыкли к большему мужеству. Приятнее сказать пациенту, что он здоров, но честь нашего ремесла мы полагаем в нашем диагнозе. Чем позже обнаруживается болезнь, тем хуже. Запущенные, они приводят к катастрофе. Мне следует извиниться за похищенное у вас время.

Директор удержал его на месте. Оба сошлись на среднем мнении. Протоклитов вовсе не собирался совершать гадости в отношении своей бывшей жены; равным образом и администрация сходилась с ним во мнении, что этой актрисе нужна хорошая школа жизни. В общем, к концу получаса директор понял истинные намерения Протоклитова, и чем больше он соглашался с ним, тем непримиримее становился его тон.

— У нас не найдется прямых причин для ее увольнения.

Протоклитов поднялся.

— Этот разговор становится похожим на заговор, а я собирался просить вас лишь подумать об этой женщине.

Несколько минут они толковали еще о новых постановках и наиболее интересных операциях. Последующее молчание скрепило их союз.

— У меня есть один план,— сказал директор на прощанье. — Это очень крупное общественное начинанье... вы прочтете о нем в газетах. И если только вы не связываете меня сроками...

— Нет необходимости просить вас о сохранении этой беседы между нами?

— Я сам заинтересован в том же. — Он улыбнулся в самые глаза. — Увидите вашу уважаемую супругу, передайте ей, что я вряд ли смогу быть сегодня на ее вечеринке. Вызывают на совещание... такая теперь возня с репертуаром! Нам хотят зарезать Марию.

Откровенный намек директора на то, что им разгаданы побуждения просителя, следовало расценивать как не очень тактичную фамильярность. Добиваясь увольнения Лизы из театра, Илья Игнатьич втайне надеялся на отказ; во всяком случае, быстрое согласие директора огорчило его. И тогда Протоклитов понял, что не уважает этого человека ни как партийца, ни как работника.

ГИБЕЛЬ КАРОНА

Он вышел из театра и вдруг понял, что ему нечего делать в этот вечер. Еще утром у него созрело решение вернуться домой как можно позднее. Его присутствие могло повредить веселью Лизиных друзей. Он навестил девочку Еву, обошел больницу и неожиданно поймал себя на том, что бессмысленно листал прошнурованную операционную книгу. Потом он по-

чувствовал голод и обрадовался возможности убить время на еду. Таким образом, оказалось, что сутки построены неравномерно в отношении к приливам человеческой деятельности. Он поехал в Дом ученых, сердясь на быстроту, с какою всё происходит в жизни.

Машина понеслась по перерытым московским улицам. Официантка принесла сладкое прежде, чем он успел разделаться со щами. Никого из знакомых не встретилось ему. Остаток времени он напрасно старался потратить на чтение газет и возвращение пешком. И точно дьявольская сила докинула его — вдруг он оказался у себя на лестничной площадке. Как во всех новых домах, двери были тонкие; из его квартиры неслось сиплое дребезжанье джаза и сочился смутный плеск голосов. Они танцевали. Илья Игнатьич ошибся в расчетах: основная группа гостей собралась только после вечернего спектакля, и пирушка была в самом разгаре. Он снова спустился вниз, и эти добавочные мучительные два часа были наполнены переживаниями человека, у которого сгорело все. Тащиться в кино стало поздно, кафе закрыли перед самым носом, и целых полтора подлых бездомных часа он провел на бульваре, наблюдая ночных людей. От долгого пребывания на холоде всегда у него зябла голова. Пришлось отправляться домой. К его возвращению часть гостей действительно разошлась, но пиршество еще длилось. Он позвонил, и долго не отпирали. Вдруг в раскрытой двери появилась Лиза в необычайном каком-то халатике — цветы и листья, голубое с золотом. Щеки ее пылали. Тяжело дыша, она смотрела на серое, усталое лицо мужа. Все выше, удивленнее поднималась левая ее подрисованная бровь.

— А, это ты! — сказала она разочарованно.

Он уловил смысл ее душевного движения.

— Я встретил случайно в Доме ученых твоего директора. Он просил извиниться... Я тоже запоздал, прости. Ты чем-то озабочена?

Она перебила его:

— Ничего, ничего, раздевайся. Но там притащился один старик, мой первый сценический учитель... ты не слушай его! Верь мне, все это неправда. Я еще не жила, я даже не рождалась, когда выходила за тебя. Как мне гадко, Илья, как гадко! Не гляди на меня, я совсем пьяная...

— Зачем же ты? Тебе нельзя пить, даже преступно... — Так снова и снова он напоминал ей о ребенке.

— О, мы пили за мужей, я не могла отказаться. Все запасы иссякли, оставалось только пиво. Но ты не бойся, я всех их перехитрила. У меня только голова закружилась... раскололась, оторвалась, поплыла... Но я все, все соображаю! Семнадцать на семнадцать — двести восемьдесят девять... правда? Кстати... это верно, что пиво пьют только за лошадей? — встревоженно и виновато заключила она.

— Га, я плохо разбираюсь в этом, Лиза.

— Я тоже... Но где же ты был все-таки? А, в клинике!.. я все забыла.

Гостей оставалось совсем мало. На подзеркальнике, удвоенные отраженьем, лежали две мужские шляпы — выдровая обтертая шапка и зимний картуз; то, что вначале Илья Игнатьич принял за белый беретик Кагорлицкой, на поверку оказалось стареньким, с кисточкой, башлычком. Значит, оставались только мужчины. На шепот супругов, к недоброму удивлению Протоклитова, выглянул сам Виктор Адольфович уже навеселе и в фантастическом наряде, скомбинированном, видимо, из всех пьес, в успехе или провале которых он принимал участие. Так, он имел на себе президентскую ленту из Коварства и любви, расстегнутый, с прорезными буфами на рукавах колет Дон-Карлоса и еще круглую бороду вкруг шеи, мучившую своею знакомостью...

— Ага, сам обагряющий руки в крови! Много ли народишка безвинного порезал? — возгласил он тоном игривой, испытанной дружбы и, помяв Протоклитова в притворных объятиях, передал на потеху остальным.

Отяжелев, гости уже не подымались с мест. Их было шестеро, одетых так же пестро и невероятно. Один, достаточно пожилой, чтоб не ждать от него никакого серьезного хамства, с тесно поставленными глазами и в черной докторской мантии, вызывающе назвался Яго; почему-то в это верилось. В другом, глыбистом и рыхловатом, без труда узнавался Фальстаф; здороваясь, он сорвал с себя рыжую шевелюру и величественно помахал ею, как шляпой. Еще двое, столь же полосатых и необыкновенных, в обнимку спали на тахте — может быть, Монтекки и Капулетти, примирившиеся за давностью сроков. И, наконец, коллекцию завершал седой, длинноволосый, в меру пьяненький старикашка; он один пребывал в естественном своем виде, но зато самая внешность его сходила за подчеркнутый, даже чрезмерный грим актера из Дна. Он долго и униженно тряс руку Ильи Игнатьича, как будто надеялся вытрях-

нуть что-то — например, запасную бутылку из протоклитовского рукава, и все бормотал при этом о радости, какую доставляет ему созерцание Лизушкина благополучия... Нетрудно было догадаться об интимном замысле этого дружеского маскарада. Наверно, это были костюмы ролей, переигранных ими за юбилейные годы.

Беспорядочно сдвинутые стулья, залитая скатерть, груда бутылок в углу, алюминиевый тазик, зачем-то приложенный к патефону, и, наконец, явственный, совсем необъяснимый след мужской ноги на обоях... весь этот неряшливый хаос лаконически повествовал о юношеских страстях и выдумке в самом начале вечеринки. Все было выкурено и выпито, веселье шло на убыль; оживленье вызвала непочатая бутылка, извлеченная Ильей Игнатьичем из заветного тайничка. Ее встретили теми же аплодисментами, что и чудесную воду две тысячи лет назад в евангельской Кане. (Илья Игнатьич потирал руки, он озяб.) Таким образом, горючего хватило еще на четверть часа. Потом беседа, естественно, вернулась к прежней, до появленья Протоклитова, теме. Только тогда Илья Игнатьич понял, откуда происходила сконфуженная возбужденность Лизы...

— ...теперь я заканчиваю,— едко возвестил человек в обличье Яго. Он постучал ножом о рюмку, и Лиза сразу сжалась, как бы в предвестье удара. — Мне осталось немного... и ты сама этого хотела!

— Только чтоб всем было слышно... чтоб всем! — захлопотал старикашка, прикладывая к ушам ладони, сложенные дудкой; он привстал и уселся поудобнее.

— Итак, ты уже подкралась и замахиваешься на Марию. Без возраста, без темперамента, без становой актерской жилы, упрямая от слабости своей, коварная, равнодушная к людям, ты кидаешься в новую авантюру. А по существу, что на тебя ни надень, ты не почувствуешь разницы! Какие права ты имеешь на эту роль? Ответь, случалось ли у тебя в жизни, чтобы ты три дня не помнила ни о чем, кроме своего несчастья? Убивали у тебя жениха, или умирал твой ребенок, или выгонял из дому отец? Ты же никогда ничего не теряла, потому что никого не любила.

— Какой ты скучный и жестокий, Пахомов! — металлическим голосом вставила Лиза.

Тот пропустил мимо ушей упрек, которым она хотела остановить дальнейшее. Илья Игнатьич долил в свой стакан остатки

коньяка и тотчас поймал на себе краткий и острый взгляд Пахомова. Ему показалось, что все они, шестеро мстителей, нарочно дожидались его возвращенья, чтобы в присутствии мужа довершить уничтожение Лизы. Старикашка сиял, как будто зная все наперед.

— ...я говорил тебе: разруби себя, и если срастется, приходи, поговорим об искусстве. Я не знаю верного рецепта, никто не знает, у каждого по-своему. В древности продавали душу дьяволу, позже влюблялись в негодяя с крашеными усами и в обтертой визитке. Говорят, что помогает также, если убить мужа... Не пойми меня буквально, милочка: дело целиком предоставляется твоему вкусу и изобретательности. Ты девушка, способная на в с е. — Он снова покосился на Протоклитова, который теперь, допив коньяк, старательно составлял розочки из кусочков семги. — Но живи, двигайся, бойся душевного жира и помни: то, что не горит,— не зажигает! А пока не тем ключом ты отпираешь дверь в искусство. У всех нас развилась дрянная потребность нравиться начальству, а истинный успех приходит только снизу, и слава наша — отход производства, стружки с души, мусор, щекотная и ядовитая пыль нашего цеха. А ты полагаешь, что от близости с большим начальством ты вырастешь в высоту? Только в толщину, милочка, только в толщину! (Несомненно, Илью Игнатьича он принимал по крайней мере за директора какого-нибудь промышленного комбината.) Не нравится тебе моя правда?

— Ну, ты ее не очень, не очень! — испуганно затормошился старикашка, а сам придвинулся ближе, чтоб не пропадало ни словца. — Ты уже больно тово, под ложечку...

— Помолчи, Закурдаев! — небрежно отмахнулся Яго. — Ты, как ревизор, появляешься у меня только в финале. Ешь пока! Ешь, что подороже: завтра не дадут. Жри, уничтожай! Пускай она платит за то, что мы сидим за ее столом.

Нужно было какое-то длительное раздражение, усиленное вдобавок нехваткой вина, чтобы при муже так дерзко поносить жену. Он прервал поток своих ругательств лишь затем, чтобы чокнуться с Фальстафом. «За нищих комедиантов!» — воинственно возопил толстяк, открывая карты, и реплика прозвучала как пароль заговорщиков. Он выпил и с комическим ужасом взирал себе на живот, который двигался и содрогался. Его пухлые пальцы побежали по опустевшим тарелкам; одинаково поступал бы и живописец со своею палитрой, творя образ знаменитого обжоры и задиры. Пользуясь передышкой,

Лиза метнулась на кухню, и через четыре минуты вынужденного молчанья три котлеты, обеденная порция Ильи Игнатьича, шипели и смрадили на сковородке. Так, усердными хлопотами по хозяйству Лиза стремилась купить сострадание товарищей по ремеслу. Никто не обращал внимания на ее испуганную суетливость, чтоб не увеличивать степени униженья; никто, кроме мужа. Затем, присев на краешек дивана, она украдкой следила, как Яго капризно расковыривал доставшееся ему мясо.

Еще вчера, еще вчера — как хотелось ей залучить к себе этого холодного, озлобленного, всегда чем-то обиженного человека! Приобретая его расположение, она тем самым завоевывала признание всех остальных врагов, которые его боялись. И как она каялась теперь в своей предприимчивости! Она вспомнила недавнюю остроту директора о нем: «Закройте же наконец этого человека, я простужаюсь от него!» За три года Лиза хорошо узнала Пахомова. Этому актеру никогда не везло. Не испытав даже простой известности, он с тем большей желчностью знатока распространялся о существе славы. Когда профессия актера не далась ему, он сменил ее на грозную профессию неудачника. Единственную женщину, полюбившую его, постигла судьба Комиссаржевской: ее сглодала черная ташкентская оспа. Женщину звали Елена Аренс, она была отмечена задатками великой актрисы, память о ней всячески поддерживалась в театре, где работала Лиза. Как всякая молодая организация, театр нуждался в своих собственных святых. Давняя близость с этой женщиной безмерно возвышала Пахомова в глазах товарищей; так выглядит благодарность мертвых. И правда, он положил немало усилий, чтоб помочь покойной актрисе овладеть ее дарованием. Но когда умирает творение, судьбу его неминуемо разделяет творец. Сам того не замечая, он уже четыре года жил на проценты со своей тайны. В эту пору люди были забывчивы; все чаще приходилось ему трогать свой основной капитал. (Амплуа неподкупного судьи временно спасало его самого от нападок. Щадить Лизу — значило бы растрачивать свою злую репутацию — все, что у него оставалось.) Все знали, что очень скоро он заговорит о Елене, и было интересно, как это у него получится на сей раз.

— Итак, разберем по пунктам один момент твоей биографии, милочка...

— Поздно, Пахомов!.. Пора по домам! — торопливо заметил Виктор Адольфович. — А то у тебя, братец, сегодня какой-то деструктивный ум...

— Жуй свой паек и не дави мне колено,— скрипуче продолжал Яго, входя в азарт расправы. — Ты модный постановщик, тебе даже городничего в трусиках простили, а я старый актер и друг Ксаверия Закурдаева. Мы заработали право говорить во всяком доме, где проживает актер. Целых восемнадцать лет мы таскались с ним по провинции, из города в город, полуголодные (или, наоборот, страдая от переполнения желудка, что одно и то же!), беднее церковных крыс, в сапогах, напоминавших апостольские сандалии, зато в шляпах, этих засаленных фиговых листках благородной нищеты! И мы пропили с ним наши юности не потому, что папа с мамой зародили нас в беспутный час, а потому, что старый русский актер — мотор, работающий на тяжелом топливе. В российскую глушь, где моральные нормы диктовали поп с исправником, мы тащили грузную колымагу с Шекспиром, Островским и другими святыми отцами мирового репертуара. Мы изучили на себе географию этой страны — размах ее бессмысленных пространств, лютость ее морозов, разливы ее воистину песенных рек, своевольное гостеприимство ее жителей, из которого только и узнаешь про ядовитость чужого хлеба. Ну-ка, вы, нынешние, в трусиках, походите по ней!.. и кто из тех пастухов, ставших замнаркомами, или сельских учителей, которые нынче вершат историю мира, не помнит нас, коробейников великого искусства? Ха, хлопайте нам; если уж не сытный харч и обеспеченную старость, то по крайней мере это сотрясение воздуха мы заслужили с ним! — Он переждал несколько мгновений, глаза его увлажнились, и тоска раздвинула его губы. Сейчас это был родной брат Ксаверия, осмысливший свою бездомную юность.

— Не дотянули, не дотянули мы с тобой,— всхлипывая, шептал Закурдаев и все требовал, чтобы тот рассказал про какой-то особенный, саратовский случай.

— Молчи, они не поймут про Саратов! — вскинулся Яго. — И вот перед вами сидит пьяный, глухой, всем надоевший Закурдаев. Спрячься, неряшливый, гнусный старик, не срами истории русского театра. Эта женщина стыдится тебя и ненавидит меня за то, что я притащил тебя с собою, как призрак, как совесть, как чуму. Ничего, милочка, не жалей его, черт с ним! Российский актер всегда любил умирать на больнич-

ной койке. Он будет лежать в большой сводчатой и тухлой комнате, с березовым поленом под головой; молодые люди с ножичками вынут из него сердце со следами алкоголического перерожденья. Они не будут знать, что это чучело, составленное из тряпья и горсти седых волос, было когда-то актером проверенного мастерства, честного, наивного, хоть и дикарского таланта. Он был смешной, он разносил балюстрады, играя Отелло, а в **Трильби** выходных актеров хоть на веревках подтаскивай к нему, как к Сальвини или к Рыбакову. Он уходил со сцены в царапинах, порезах, синяках, в тридцать лет — с одышкой, чтоб, напившись в своей мурье, пролежать ночь до следующего спектакля. Это был не ваш зритель, нынешний, который ходит в музеи, в публичные библиотеки, в вечерние университеты... Наш зритель зачастую был волосат, неграмотен и дик; он знал единственную книгу — псалтырь, книгу мертвых! — все более запальчиво продолжал он. — Нужно было ежевечерне взрываться самому, чтобы потрясти эту нечеловеческую мещанскую пустыню. Да, милочка, этот ничтожный старик заставлял содрогаться или ликовать от радости страшилищ в чиновничьих мундирах, в чуйках, в ватных картузах, ремесленников, никогда не видавших неба и смертно лупивших своих жен со чады! Мы пахали эту пустыню мещанства наравне с сельскими учителями и безвестными агитаторами будущей правды. Этот старик — целая академия! Повернись в профиль, Закурдаев, пускай они тебя запомнят навсегда... ты особенно хорош в профиль. Правда, эта академия любит выпить, всегда любила...

— Правда, правда... — заворкотал и засуетился Ксаверий, как будто Пахомов льстил ему. — Чертей видал! Я их щупал... плешивые, с то-ненькими плечиками, и сквозь шкурку синенькое, ровно плохие чернильца, просвечивает...

— ...и вот ты два года жила с ним ежедневно, ежечасно... чему ты научилась от него? Не пугайся, я не о благодарности твоей говорю. Дай ему еще пятерку к тем тридцати, на которые у тебя хватило дерзости: ему за глаза довольно! Но укажи, какую черту в твоей душе оставила смешная, запоздалая закурдаевская любовь? Взгляни в зеркало: у тебя ж молодое, младенческое, ничем не тронутое лицо... и в нем непритворная ясность ребенка сочеталась с прожженным старческим практицизмом. Большая это вещь в искусстве — преодоление молодости...

— А равным образом и сохранение ее! — поучительно зааминил его декларацию Виктор Адольфович.

На этом бы и остановиться, эффект пахомовского выступления был полный. Вполне достойное отвращения зрелище увлажнившегося старца усиливалось чувствительным кряхтеньем Фальстафа, испуганным видом проснувшихся Монтекки и Капулетти и, наконец, сосредоточенным молчанием самого Протоклитова. Он как будто даже улыбался, рисуя какие-то замысловатые восьмерки по скатерти, а испытывал, наверно, то же самое, что и всякий муж, когда любимую его жену публично, под кнут и через палача, раздевают на площади. Какие бы новости ни узнал он сейчас дополнительно, ничто не поколебало бы его уверенности: постигшая кара значительно превышала Лизину вину перед этим стариком. Пахомов собирался продолжать пытку, и теперь только упоминание о Елене Аренс могло отвлечь в сторону внимание и злость мстителя.

— Елена тоже выглядела моложавой, но ты, помнится, держался иного мнения на этот счет,— тихо сказала Лиза, а глаза кричали: «Ты сам, как ворон, питаешься мертвой Еленой и вот вьешься в поисках новой падали!»

— ...ты назвала это имя! — вскричал Яго, и какая-то страстная несытая хрипотца явилась в его голосе. — Но вспомним, как о н а делала самые маленькие из твоих ролей. Никто не забыл, как она играла на вступительном испытании: вещи сыпались вокруг нее, и ждали, что самый потолок рухнет над нею. О, Елена была прежде всего женщина великого сердца, умевшая любить достойных, а кроме того, умница. Она до самого конца продолжала оставаться молодой... ты слышишь? а не моложавой. Французы, гостившие тогда в Москве, назвали ее второй Дузе, и она была бы ею, если бы не катастрофа. (Во что только не рядится судьба, чтоб придать разнообразие своим убийствам!) А я помню Дузе... в пьесе своего дурака мужа она играла вместе с Цаккони у Рейнгардта. Глубина голоса, трагическая прелесть лица...

— Ну, положим, Аренс была не шибко хороша собою,— молвил Фальстаф, выпучив воловьи глаза.

Пахомов осекся; спустя всего четыре года после ее гибели он и сам запамятовал ее прыщеватый, хоть и вдохновенный лоб, ее нехорошие уши и лицо, слишком инфантильное для рослой и могучей женщины ее лет. Отступать ему было поздно.

— ...они стоят перед моими глазами, эти рыжие кудри, свитые в тяжелые кольца и уже пронизанные тонким серебром, которым она платила за свою кратковременную славу. Она была вся как маяк, пламя ее таланта горело на ее голове. И когда в последний раз я держал эти прекрасные волосы, чтоб отстричь одну только прядь...

В этом месте Протоклитов поднял голову.

— Вы были ее парикмахером? — И зевнул, прикрывая рот рукой с видом вежливой и терпеливой скуки.

Намеренно грубую выходку Ильи Игнатьича можно было расценить как удар в спину и, принимая во внимание болтливость Монтекки, даже как покушение на жизнь. Яго споткнулся на полуслове и жалко озирался, ища помощи от друзей.

— Он был ее мужем... — укоризненно пояснил Виктор Адольфович.

— Невероятно! Лиза мне рассказывала кое-что об Аренс. По-видимому, это была достойная женщина. Но та апология алкоголизма, которую мы выслушали только что...

— Я вижу, вам не нравятся наши суждения,— прервал его оправившийся Пахомов, без особого достоинства и заблаговременно собирая в горсть полы своей мантии. — Что делать! Вы сами гадаете иногда, как авгур, по внутренностям своих пациентов. В спорных вопросах вынуждены анатомировать и мы. Правда, я не досказал всего...

Илья Игнатьич привстал.

— Ваш анализ моей жены не пострадает, если на этом и закончится. Притом же коньяк выпит, время позднее, а хозяева хотят спать.

Сразу стало очень нехорошо в этом уютном месте. Все, кроме Лизы, шумно поднялись, как бы выходя в открытое поле, на поединок. Итак, они бежали, эти размалеванные чудаки, как дьяволы, едва споет полунощный петух. Как быстро облупилась и осыпалась их бутафорская позолота! Фальстаф, отличавшийся нравом от шекспировского, шарил под столом наклевую, на столярном клею, прическу, чтоб не взыскали за утраченный реквизит. Монтекки и Капулетти уже в прихожей ссорились из-за калош. Очень бледный, но приветливый по-своему, Илья Игнатьич стоял у двери, опираясь рукой о притолоку и каждого провожая суховатым поклоном. Его заметно потешал Закурдаев; старик деревянно покачивался посреди, мигая и недоумевая, кто именно изгоняет его из волшебного рая. Скандалист и гуляка, он в душе изголодался по сытной

еде (и чтоб ее можно было есть медленно, не торопясь никуда!), по белой тугой скатерти (и чтоб милая сердцу женщина присутствовала за столом!), по мирной и дружественной беседе.

— Ну, нахамили, Ксаверий, и хватит! Здесь живут благородные люди... зрители! Они не любят отсебятины и постороннего шума... — говорил Яго, встряхивая старикашку за плечо. — Тебе пора бай-бай до радостного утра!

Он повлек его за собою, упирающегося,— жестоко и властно, как вещь, вышедшую из здешнего употребления. Тому не хотелось уходить, не крикнув чего-то очень оскорбительного, но ничего не изобреталось. «Жирненькая стала, поправилась на легких хлебах!» — лепетал он и хватался за мебель, за друзей, за все, что попадалось по дороге. Илья Игнатьич вышел взглянуть, как станет Пахомов натягивать пальтишко поверх своей дурацкой мантии. Оказалось, необходимо было предварительно зашпилить ее на булавки,— и тогда под нею обнаружились обыкновенные полушерстяные, с рисуночком, брючки. Вся в пятнах стыда и ужаса, надеясь поправить происшедшее, Лиза выразила сожаление о раннем уходе гостей. Ей ответили со зловещей учтивостью, что трамвайное движение прекращается в этот день на час раньше обычного.

Последним уходил Виктор Адольфович.

— Прощай, Лиза! — сказал он эффектно и пощекотал бородкой ее увядшую, бесчувственную руку. — Халло, дорогой профессор. Вам нужна жена, а нам актриса. Не будем ссориться по пустякам. Она сама сумеет сделать выбор!

Яго-Пахомов поддержал его.

— Забирайте ваш инструмент и играйте сами... — И уже с порога, из безопасности, прибавил что-то насчет скрипки, которая под любым смычком играет одинаково плохо.

— Вы ничего не захватили из моих вещей? — со сжатыми кулаками крикнул ему Протоклитов.

Он запер дверь и, развязывая галстук, давивший его, прошел к себе. Свежая книжка Хирургического вестника валялась на столе. Он листал ее, разрывая ладонью листы и прочитывая одни заголовки статей. Молчание Лизы обеспокоило его. И когда уже собирался отправиться к ней, в расчете найти ее примирившеюся и покорной, она сама ворвалась к нему.

— Что ты наделал? — И вихрилось все кругом нее: воздух, мысли, самые вещи. — Как неуклюже и плоско это вышло у те-

бя! Ты стал кричать на человека, который хотел мне добра. Ты аристократ, зазубривший свои книжки, ты хочешь, чтоб я штопала твое белье и таскалась на рынок за капустой? Они же выгонят меня теперь! — Она тянула его за руку и не могла сдвинуть даже на полдюйма: — Иди, догони их, верни...

— Я не безгранично широк, моя дорогая. И очень хорошо, что все разъяснилось. Га, тебе все равно придется временно уйти из театра, а там посмотрим...

Он держал ее руку и слушал; еще билась ее рука, но необыкновенная его пациентка была уже достаточно подготовлена к операции. Тогда он заговорил по возможности быстро, трезво и сжато. Операция должна была состояться без наркоза, и, как бы болезненна ни была, он торопился закончить ее. Первичный разрез был уже сделан, и он не стеснялся в оборотах речи: хирургическое вмешательство всегда носит элементы грубоватого и бессердечного насилья. Он говорил, что власть Лизы над зрителем обманчива, что служить курьершей и разносить горячий чай в опрятных стаканах честнее этой суетни вокруг пустого места, что полезность обществу определяется результатом деятельности, а не почтенностью намерений. На выбор Лизе предоставлялось или учиться, чтобы со временем помогать ему в работе на условиях, гарантирующих ее самостоятельность, или искать работу в соответствии с дарованиями. Самый уход из театра диктовался предстоящим рождением ребенка. Конечно, это будет сын — самое удивительное окно в будущее! Его планы в связи с этим были громоздки, восторженны и фантастичны. И до чрезвычайности выразительно Илья Игнатьич нарисовал перед нею, подавленной и молчащей, образ крохотного человечка, шагающего в ногу с нею по улице. «Этакий поджаренный, с розовой корочкой на щеках, бубличек!» Не боясь быть осмеянным за сентиментальность, он живописал перед Лизой его пухлое личико с усами, нарисованными шоколадом, его рассудительность, с какой он подвергает обсужденью события внешнего мира, его повадки, в которых смешно и жутко узнавать самого себя. Лиза внимала ему с содроганьем; о, на что способны они, маленькие, бессильные детские ручки!.. При этом Илья намекнул, какое высокое звучание при социализме будет иметь это самое древнее слово планеты — мать (отец же станет только составной частью этого единого понятья). Операция подходила к концу. Лиза сидела как бы в забытьи, низко опустив голову, — и

вторично обманула Протоклитова мнимая ее покорность. Он подошел сзади и за подбородок вскинул ее голову вверх.

— А когда все окончится... — емкая пауза включила в себя несказанные слова о временном ее уродстве, о всяких лишеньях и хлопотах, о родовых муках,— ...когда кончится все это, мы поедем все трое к любому морю. Уж на этот раз я отвоюю себе отпуск. И мы, двое стройных и любящих мужчин, согреем этот холодный носик, озябший от слез...

Фигурально выражаясь, это была последняя нитка кетгута. Но тогда Лиза отпихнула его в грудь и закричала, что ребенка не будет, не будет, что нет ему ребенка, что этот маленький требовательный человечек никогда не войдет в их жизнь...

— ...я убила его... в тот раз, помнишь, когда ты вернулся и я сказала, что угорела в театре!

Больше всего боясь, что он сочтет ее признанье следствием запальчивого желания доставить ему боль (а потом будет долго терзать ее ожиданием ребенка!), она спешила назвать ему переулок, день, час, цену и тысячи прочих подробностей, убеждавших в непоправимости происшедшего. Весь ее намеренно приподнятый до крика рассказ служил прикрытием ужасного смущенья перед мужем, который, по ее же собственной морали, вправе был почитать себя ограбленным. Спрятав лицо в ладонях, вся раскачиваясь, может быть жалости к себе добивалась она. Сквозь расставленные пальцы она видела его глухое важное лицо, темное на горле пятнышко от запонки, которое заметила только сейчас, и глубоко вырезанные ноздри, где шевелились черные волоски... и казалось, что весь он изнутри подбит курчавым жестким мехом, без горячих человеческих внутренностей, механический и рассудочный человек. Ей становилось тем более страшно, что уже иссякал ее крик, а он все еще не проронил ни слова. Вдруг он сказал:

— Я вытру вас из себя... га, как стирают губкой написанное мелом! — и, повернувшись на каблуках, пошел вон из комнаты.

Заложив руки за шею, он вошел в столовую. В окнах светало; кто-то успел потушить свет, и тем явственнее белели раскиданные по полу окурки. Илья Игнатьич услышал, как тихо и вкрадчиво Лиза позвала его, но остался стоять. Ему было удивительно, что когда-то одно приближение этой женщины повергало его в почти юношеское смущенье. Помимо воли всплывали в памяти подробности этого запьянцовского

балагана и представал Ксаверий, в сотню раз поганее, чем он был на деле. Не ревность, но брезгливость испытывал Илья в эту минуту. Потом он услышал звук, множественный и разгонистый, точно с размаху швырнули о пол пригоршню монет.

Слышно было, как последняя катилась дольше всех, по спирали, смыкая круги. Он понял это так: Лиза любым способом хотела вернуть его назад, чтобы самой перейти в наступленье. Машинально он припомнил все вещи на своем столе, какая из них могла произвести такой ломкий и хрусткий звон. Через его глаза прошли — граненый синий стаканчик, где хранились перья и цветные карандаши, потом новехонький цистоскоп с уширенным полем зрения и великолепными цейсовскими призмами, чудо оптической техники, только что привезенное из-за границы, и, наконец, китайское эмалированное блюдечко, куда складывались старые бритвы, запонки и всякая канцелярская мелочь. И его мучило, что он не может вспомнить того главного, что еще четверть часа назад видел у себя на столе.

— ...что там упало? — через всю квартиру гаркнул он.

В три громадных шага он достиг двери кабинета и заглянул. Лиза сидела на корточках, спиной к нему. Одна выше другой торопливо двигались ее лопатки. По осколкам голубой эмали, разбрызганной по полу, Илья Игнатьич догадался, что погибла его кароновская луковица. (Он имел привычку всякую новинку своей коллекции подолгу выдерживать на столе, пока не освоится с нею.) С глубоким и злым любопытством он зашел сбоку. Дрожащими исколотыми пальцами Лиза пыталась втиснуть назад в исковерканный футляр все эти колесики и шестеренки. Количество их как будто удвоилось. Маленькие частицы неизменно выпадали из ее рук и, покатавшись, снова ложились перед нею.

— Они у меня не влезают... — жалобно прошептала она и с отчаянием подняла голову.

Одним мимолетным словом он мог овладеть ее душою навсегда. Он не понял. Челюсти его разомкнулись, как зев пещеры. Он зевнул преувеличенно громко и пошел вон из кабинета.

— Ящер, ящер... — вдогонку ему шепнула Лиза.

...через два часа она неслышно, босая, приблизилась к двери и заглянула. Илья Игнатьич в одной сорочке сидел у посветлевшего окна, посасывая свой коньяк. На этот раз она не решилась нарушить его раздумья, но через час ее снова раз-

будило тревожное ощущение одиночества. Мужа не было в комнате. Она испугалась, но, проходя мимо зеркала, задержалась на мгновенье: актриса хотела запомнить, какое лицо бывает при этом. (В ее натуре было переживать свои несчастья быстро, бурно и бесследно.) Илья Игнатьич сидел на прежнем месте, и почему-то коньяка в бутылке значительно прибавилось. (Она отлично запомнила, что в прошлый раз уровень жидкости приходился по нижнему краю ярлыка. Второпях трудно было сообразить, что это была вторая бутылка.) Лиза подошла к мужу. Стратегия ее была до крайности проста: легкий шелк подчеркивал ее наготу.

— ...но это же глупо пьянствовать в одиночку,— смущенно сказала Лиза.

Он молча поднялся и взялся за трубку телефона. Номер, названный им, не был известен Лизе; он звонил в больницу, но не в свой кабинет, а в комнату дежурного врача. Очень заботливо он расспрашивал о здоровье какой-то Евы. Чужое женское имя поразило Лизу; в первую минуту она была готова заподозрить даже в этом разговоре прозрачную и банальную хитрость всех мужей. Нет, ее не интересовали его шашни с пациентками!

— Меня крайне беспокоит участь этого ребенка. Она улыбалась мне даже на столе!.. Да, мать можно допустить теперь,— продолжал Илья Игнатьич. — Зайдите к ней и позвоните мне потом. Я не буду спать...

Тогда Лиза вспомнила, что этой Еве всего пять лет. Ей стало холодно и стыдно, и собственное появление ее здесь в такую минуту казалось примером какого-то крайнего распутства. Горбясь, она вернулась к себе.

Я РАЗГОВАРИВАЮ С ИСТОРИКОМ А. М. ВОЛЧИХИНЫМ

Мальчика Луку Омеличева я встретил только раз, в одно из последних посещений Курилова и почти накануне того, как произошли грустные и непоправимые события. Сидя на полу, он играл с моделью паровоза, поднесенного Алексею Никитичу железнодорожниками. Такого страстного восторга перед вещью я никогда еще не наблюдал у детей. Игрушка действительно была чудесна. Она обладала всеми подробностями настоящего паровоза. И даже, если просунуть палец в будку ма-

шиниста, можно было нащупать на котле тоненькие трубочки инжекторов. Стоило толкнуть легонько механизм, и поршни двигались, колеса бежали, а мальчик бил в ладоши и, запрокинув голову, трубно мычал в воздух. Было не шибко весело смотреть на эту последнюю ветвь омеличевского дерева.

Когда я занимался в Пороженске всякими раскопками о детстве Лизы, мне посчастливилось отыскать одного краевого патриота, Андрея Матвеича Волчихина. Превежливый старичок с двухъярусным шишковатым лбом и цепкими проворными руками, он приходил в некое поэтическое исступленье, если речь заходила о его родине,— впрочем, в радиусе не свыше ста километров. От него я и обогатился кое-какими сведениями об омеличевской родословной. Я зашел к нему на часок, а он усадил меня в красный угол и, забаррикадировав самоваром и всякими маринадами, до утра потчевал диковинками пороженской старины. Он водил меня по дремучим лесам земли Буртас и древней Мордии Константина Порфирородного, мимо шалаша легендарного мордвина Теша, через вотчины первых мордовских правителей Пурейши и Пургаса, сквозь буйные орды болгар и половцев. Я наклонялся над князем Иоанном Брюхатым, что принял смерть от казанца Арапши на речке Пьяне; наблюдал благочестивого Димитрия Константиновича, удирающего из Нижнего без штанов; дивился подлости Симеона Кирдяпы, натравившего татар на восточную окраину тогдашней Руси. В упор, размахивая буздыганами, двигались на меня из мрака ночи громадный Улу-Ахмет с сыном Мамлюком, ногайский мурза Ахмед-Амин, полонивший воеводу Хабара Симского, что погребен в подполье пороженского собора, поджигатель и громила Сафа-Гирей во главе своих ватаг, и, наконец, запросто присаживался к столу какой-то Ибрагимка, а чего он натворил в истории, я уже не разобрал. Утомясь в одночасье от мелькания имен тихих наших рек и урочищ, буйных монастырей и военных деятелей, поивших кровью неплодные здешние пески, я боролся с сомнением, не врет ли, не расцвечивает ли зря свою пустыню этот оглушительный старичок. Было жарко натоплено в его лачуге; вдобавок пучило меня от волчихинской солонины, слишком долго ожидавшей гостя на дне глубокой кадки. А хозяин все попихивал меня в бок, чтобы запоминал я это дымящееся крошево безглавых туловищ, опустошенных храмов и обугленных богатств. Сконфуженный таким гостеприимством, икая и скорбя, я брался за шапку и снова поддавался магии его бисерного и образного

повествования. И снова он вгонял в меня неисчислимые массы чая, гриба и особо хрустких, сатанинской прелести, ватрушек.

— Опиши нас, деточка. Опиши древность нашу. Покажь ученым людям пороженское человечество, как боролось оно, и как росло, и как не удалась ему жизнь. А и осудят — на пользу! — И было бы бесчестным по отношению к старику умолчать в этой повести о его рассказах.

Он напоминал мне былого гостинодворского торгаша, что пытается всучить и коляску, и пару хомутов покупателю, пришедшему к нему за шлейным ремешком. Ради нескольких страничек об Омеличевых я должен был выслушать целые трактаты о различии моровых язв, навещавших Пороженск («возжигали мы навоз по оврагам, да разве от бога откуришься?»), об одиннадцати тысячах казней, произведенных тут при подавленье тушинского бунта («все больше на колья обожали сажать людишек. Уж и смердело у нас при тишайшем-то царе!»), о многих именитых пороженских гражданах. Я постарался отвлечь его в сторону Омеличевых и упомянул об отроке Луке. Андрей Матвеич отпрянул от меня как ужаленный. Мне стоило труда убедить его, что имя это без умысла соскользнуло у меня с языка. Но и после, когда характер этого чрезмерно общительного человека пересилил его недоверие, долго еще с опаской поглядывал он на мою тетрадку.

Его повествованье об омеличевской династии носило в себе элементы и былины, и криминальной хроники, и даже экономического исследованья. На этом примере он выводил закон падения всех таких скоропалительных торгово-промышленных фамилий. Слишком поспешная смена условий существования, не сопряженная с непосредственной борьбой за насущный хлеб, отразилась на последующих представителях рода. Зачинателей и подвижников первоначального накопления сменили растратчики заготовленного впрок; они питались верхушками знаний и ценностей, добытых не ими; род сгорел на протяжении века, полыхнул — и погас. Касаясь мальчика Луки, Андрей Матвеич живо нарисовал мне его нарядную колыбель и вокруг нее всяких дядьев и родичей. Сюда собрались и беглые графа Салтыкова мужики, и купцы, и кликуши, и буяны, и милостивцы, и просто юродивые, променявшие хоромное уединение на христарадное подзаборное житие. Каждый из них принес последнему потомку частицу себя в дар, и ни одно из приношений не выкинуть было из его родословной. Даже вступленье новой крови (я не понял, имел ли он в виду Ефросинью

Курилову или ту бедную таборную цыганку, мать нынешнего Омеличева) не смогло уберечь род от гибели.

— Вещество-т шлакуется при каждой плавке, убавляется в ём первобытный металл,— сказал Волчихин, придвигая кислые, не крупней грецкого ореха, яблочки. — Кушай, деточка, горькое наше яблоко. Оно голос прочищает, и кожа в лице мягше становится!

Итак, он начал издалека, с давнего золотого века, когда Пороженск лишь накапливал славу и капиталы. Оборотистый городишко брался за все, что доставляло барыш: золотил кресты во всех соседних епархиях, строил кареты для столичных щеголей, кормился на кружевах особого плетенья — мышиная тропа, и льняную пороженскую крашенину знавали в России так же, как отборный пороженский орех. Но неспроста на городском гербе был изображен упирающийся бык, влекомый двумя гражданами внушительного вида. Ему был обязан своим процветанием городок. По многочисленным трактам сюда сгонялся отовсюду рогатый скот, чтоб, погостив на пороженских бойнях, салотопнях и кожевнях, двинуться на Макарьевскую ярмарку в виде мыла и овчин, шорного товара и свечей. Это была пора, когда не знали ни керосиновых ламп, ни газа. Желтая сальная свеча одинаково чадила и во дворце петербургского вельможи, и в избе деревенского дьячка.

Главная прибыль, однако, происходила через знаменитую пороженскую юфть. Ее брали нарасхват, и красная, булгара, шла в Азию, белая — в немецкие земли, а черная и полуфабрикат, мостовье,— на вольный Дон. Труд был тогда дешевый, и кожевенные заведения следует понимать в самом упрощенном смысле. Дуб толкли пестами в каменных ступах, а кожу прыскали дегтем прямо изо рта. Заводишки эти сгрудились на восточной окраине, справедливо названной Погибловкой, и смрад в этом месте достигал такой плотности, что приобретал даже свой собственный цвет. По отзыву Волчихина, он был якобы слоеный, глухого кубового цвета и с желтыми, под адский мрамор, струйками. Текли вонючие лужи, и в них, надо думать, гнездились всякие моровые бациллы, чтобы воспрянуть однажды и черным смерчем пройтись по планете. Большинство этих кожевен принадлежало предприимчивым крепостным мужикам, находившимся у господ на оброке. По закону, крепостные не имели права иметь крепостных же, но ухитрялись заполучать их в кабалу, по двести рублей за душу, и можно было представить, каково жилось этим рабам рабов!

В ту пору и пришел в Пороженск мужчина в войлочной шляпе и поношенной черкеске. Он стал ходить, глядеть, примеряться, и часто его видели на высоком берегу Мялки; стоя с закинутой головой, то ли вглядывался он в лесные дымчатые дали, ставя предел будущим завоеваньям, то ли вслушивался в особенную пороженскую тишину: круглые сутки стояло над городом жалкое блеянье овец и мычанье убиваемых волов. Иногда незнакомец заходил в чужую лавку на гостином дворе и все помаргивал часто-часто левым веком. Его признали, назвали черкесом, боялись гнать и обходили при встречах; он наводил ужас, потому что не говорил, не дрался, не пьянствовал и ничего не просил. Все, духовенство и гражданского звания люди, дивились, какие только народы не населяют землю! И тут вплетается легенда. В половодье, в неурочный час дня, увидел он на реке — плывут в дырявой лодке трое, либо святые, либо беглые. Несло их льдом, закручивало. И будто бы он спустился к ним и помог от смерти, и беседовал с ними, и они плакали, посинелые, скорчась на талом снегу, а на рассвете выменял у них груду золота за полтора штофа водки, топор и четыре горсти гвоздей. Словом, тайну омеличевских богатств каждый расцвечивал сообразно достатку и воображению. Скоро после того пришлец приобрел себе кожевню у бездетного купца, собравшегося ко святым местам. При составленье купчей он показал бумагу, и из нее узнали доверчивые пороженцы, что прозывается черкес Лукой Омеличевым, и вовсе он не черкес, слава богу, а отпущенный бурмистров сын, обласканный барином Салтыковым за некие секретные услуги.

Подробности забывались, и чем дальше жил предок Лука в Пороженске, тем всё меньше знали о нем. За высоким, без щелочки, забором гремели и тявкали цепные псы. Ночью стучали сторожевые колотушки. И в самый светлый день темно бывало в окнах. Кто-то выбил сучок в доске, и люди могли видеть в дырочку, как самолично, камешек к камешку, мостил и утаптывал свой двор Лука, проводил канавы для стока коженных нечистот и сажал деревья. «Клены же возлюбил он паче всего!» — сказал Волчихин. Только к обедне и показывался Лука на народ, и то в сопровождении двух ражих кожемяк, длинноруких и молчаливых, как его вечерняя тень. Видно было также: у левого на лбу, под скобкой волос, выжжены были литерные знаки железом палача. Весь черный, как высмоленный, Лука и в церкви стаивал недвижно, не молился, а,

нацелясь на икону, все помаргивал, мелко-мелко, точно стращал пречистую и ее младенца... Никто не мог похвастаться, что хоть на грошик испил от омеличевского гостеприимства. Один только градоправитель заезжал к нему в крепость, не чаще двух раз в год, и через полчаса, весь красный и довольный, убирался восвояси.

Завод Омеличева выходил на первое место в Пороженске, но богатства его росли вне всякого соответствия с кожевенными успехами. Допускали, что он сеет деньги в землю, и уже к утру, напуганная его помаргиваньями, она родит урожай. Года четыре спустя, из той же неизвестности, к нему приехала жена с двумя рослыми сыновьями; мужицкие пошевни въехали в ворота, которые замкнулись с гробовым стуком. На пятый год Луку нашли зарезанным у чана с квашеными кожами. «Весь успел вытечь, и натекло с него, как с дожжа!» Меховщик Подсосов, сосед Омеличевых, показал на следствии, что в канун злодейства встретил в Басурманке у часовни трех рваных людей. Имея нужду в рабочей силе, он нанимал их свежевать зайчатину, но они только засмеялись, и так проникновенно, как умеют только святые да беглые. Не билась вдова па погребенье, улицы были пусты, выли собаки, дрожали попы. Младший Омеличев, Иван, вступил в наследство в тот же, по-видимому, год, когда старший, Афанасий, постригся в Высокогорскую, что на Мялке, пустынь.

В те времена богатства рождались или стихийно, или хирели в зародыше, не успев процвесть. Слишком много было путей ко внезапному обогащенью. Происходило это или от глубокой реформы экономической жизни (но железные дороги и коммерческое судоходство были еще впереди!), или — большая война и связанные с нею поставки могли доставить состояние бесчестному и ловкому дельцу; наконец, всякое промышленное нововведение, удешевлявшее производственный процесс, нередко возносило своего изобретателя. В основе всех путей лежала хищная человеческая страсть к объединению сокровищ,— первые Омеличевы были в преизбытке исполнены этого сурового стяжательского аскетизма. В средине прошлого века пороженские капиталы оборачивались до пяти раз в год. Изворотливость Ивана помогла ему в кратчайший срок укрепить имя фирмы и раскидать малосильных конкурентов. Он брался за все, никакой барышистый товар — ни щетина, ни воск, ни серая калмыцкая овчина — не отбивался от его рук. Так же, как и отец, Иван ходил по городу с низко опущен-

ной головой. Вскоре сограждане поняли, что он там высматривал внизу.

Почва нижней части Пороженска доселе перемешана с гниющими отбросами кожевен. Где ни покопай землю — везде песок да подзол, дуб и скотий рог. Вскоре после Крымской кампании, не прекращая отцовского дела, Иван Омеличев первым в Пороженске устроил кошмовый и войлочный завод; подражатели пошли вслепую, доверяясь инстинкту старика. Ежегодно он сам отправлялся в объезд Казани, Судислава, Осташкова и других кожевенных городов. Он скупал коровью шерсть и овечью, из которой работался высший сорт белых поярковых кошм. Ее свозили к нему во двор тысячами подвод, и длинный черный человек со скорбным взором, с утра до ночи считавший возы в воротах, был он сам. Позже его фирма занялась также варкой клея как из овечьих ножек, так и из мездры с кожевенных заводов. Этот сорт клея, как содержащий много жира, расценивался значительно ниже, но потребность в нем была громадна. По России входил в употребленье керосин, но еще не было ни железных цистерн, ни наливных судов для перевозки, ни баков для хранения на пристанях. Керосин содержался в дубовых бочках, промазанных клеем изнутри. Спрос во много раз превышал предложение. Продукт варили из всякой падали, и люди, проходя мимо омеличевских владений, в кулаки зажимали носы... Чего ради, дивились они, истязал он себя и безмолвных своих страдальцев, этот беспокойный старик? И верно, в шестьдесят он сумел сохранить ярость двадцатилетнего и острый блеск зрачков во впалых глазницах, как у мучеников, у влюбленных и у безумных. У него уже было собственное боенское дело, три завода, не мелких по тогдашнему Пороженску, пять каменных домов, оптовые лавки и денег тысяч с девяносто. Его власть и влияние росли с каждым годом; он замышлял открытие общественного банка в Пороженске; его прочили в городскую управу,— «авось утихомирится!». И вдруг новая затея заставила содрогнуться сердца сограждан.

Главным предметом пороженской меховой торговли был заяц-русак. Но с начала шестидесятых годов требования на бунтовую зайчину стали сокращаться. Этот простецкий мех, слишком дорогой для низов и дешевый для высших сословий, выходил из моды и употребления. Следовало найти ему подходящую замену для внутреннего рынка. В продолжение пяти месяцев, в глубокой тайне, шла подготовка нового завода.

Иван Омеличев открыл кошку на Руси. Через полгода он выбросил на сотни верст свои длинные руки и с трех губерний сгреб первый улов. Впервые в Пороженске раздался жалобный, с ума сводивший кошачий плач; по слухам, он заглушал даже благовест вечерних колоколов. И прокляли в Пороженске кошкодава, но машина работала, и дело, заклейменное, как нечистое, процвело. На второй год через фирму прошло свыше полутораста тысяч голов. Битая, соленая кошатина шла сюда даже с Ирбита. Роптали, судили, завидовали; ждали, когда же, растратив свое неистовство, пострижется и он замаливать отцовские злодеянья. А уже стало известно, как начудил в Высокогорске Афанасий. По второму году он умолил игумена заточить его в затвор, и тот уступил, невзирая на молодость его и синодские запреты. Но на третий день после того, как заложили камнем стену, молодой затворник проломал потолок и, подобно дикому зверю, выбежал в мир. Как он утолял свою жажду в нем — неизвестно. Через полгода он приполз назад, больной и битый, в рваной гуньке, мерзее и горше падали, из которой Иван варил свой клей. Все отворачивались от него, как от нагого. Маловато осталось богу от вчерашнего богатыря. Братья свиделись при закрытых дверях, рыдание было слышно и крик Иванов, после чего Афанасий остался в монастыре уже накрепко.

Состарившись, Иван изредка направлялся в обитель навестить брата. На дрожках впереди, между его колен, садился старший сын его, Гурий. Самый ласковый и девически безответный, он один из всех пяти сыновей тешил безрадостные сумерки старика. Встреча происходила после обедни. Братья садились друг против друга и молчали, потому что в этих стенах не имели разногласий ни в чем. Беседа начиналась только перед самым расставаньем.

— Все кисок давишь? — гундосил через носовую щелочку Ананий, Афанасий в миру, и трясся в хохотке, и шуршал нарядной рясой.

С момента поступления в чин ангельский он заметно утерял в облике человеческом; потучнел и оплешивел. Зажав племянника между колен, он гладил его по волосам, строил ему к о з у, и мальчик смеялся высоким, нелюдским, взахлебку, звуком.

— Тятенька-то, — начинал он снова,— у горцев в плену сидел, в Багдаде турчанок щупал... Тятенька-то людей под Бузулуком драл, а ты — кошек. Мельчаем, братан!..

— И то,— скорбно вздыхал Иван, двумя оттопыренными крашеными перстами запахивая полу поддевки. — Я тебе белужки привез да паюсной с Нижнего. Вели распаковать. Вот к Волге присматриваюсь. Все капиталы туда бегут.

— Как тебя хватает на все?.. небось хрустишь!

— Ничего, меня семеро. — И вдруг с тоскою: — Эх, ничего я не успею, брат, не успею!

И, не имея с кем поделиться новостями и планами своими, докладывал этой груде гнилого мяса: как открывал он при живодерне красильню на немецкий образец, как налип на него баринок Бланкенгагель на предмет вовлечения в железнодорожное строительство и как его не пустили на порог петербургские дворяне. «Врете, ваши сиятельства! Где моя шкатулка, там и я сам!» Каким бы ни был Афанасий, эта глубокая ямина страстей, лучше прочих мог он понять стяжательский недуг Ивана. И такое-то незадавленное чувство гневной зависти заставляло монаха окутываться в юродство, пуще и пуще задорить брата.

— Пропахнул ты здесь, Ванюша. Ангели-т от тебя шарахаются поди, от кошкодава! У них носы чистейшие. Они и о цветы-то страшатся запоганиться!

Иван кивал ему брезгливо:

— В человеке душа главное, а она в мешке, в кожаном. Ништо ей!

— В Нижний-то пошто ездил?

— Огнёву купил. Названье Б о в а, сорок восемь сил. Пускай ходит...

Был нечеловеческим его прыжок в мир. Старик преуменьшал свои успехи. Уже он арендовал два буксира и построил три, только что появившихся тогда, баржи. Начинался упадок пороженской юфти, и старик заблаговременно искал себе зацепки на иных вольных реках и землях. Семейные условия соответствовали крутому перелому в деятельности старика, многочисленная голодная родня ненавидела его, сыновья — за исключением Гурия — откровенно ждали отцовской кончины, дочери еще при жизни отца стали поигрывать с красномордыми дюжими приказчиками. В городе, несмотря на пожертвования в пользу благотворительных учреждений, его не называли иначе, как к о ш а ч ь я с м е р т у х а. И он не имел времени опустить на подпольных шептунов свою страшную карающую руку. На Волгу он ринулся скорее от одиночества и прошлого своего, чем в поисках новых прибылей. По роду дея-

тельности он часто сносился с волжскими судовщиками, постоянными заказчиками или подрядчиками по перевозке кожевенной клади. Всегда его подкупала могучая добротность этих первобытных волгарей. Как-то пришлось и самому проехать от Елабуги до Самары. Были пустынны берега тогдашней Камы; в лубяных шалашах дремали дровяные караульщики, и деревья, одно на другом, как после боя, гляделись в темные затоны. На девственную эту глушь надвигалось пугающее колесатое чудовище, сопровождаемое потоками чада, руганью лоцманов, грохотом балансирной, об одном поршне, машины. Это была занятная двухтрубная паровая лодка с железной покрышкой над палубой, чтобы уберечь пассажиров от обильной искры и мелкого древесного угля. Впоследствии грозную силу запрятали в умные экономические котлы, а в ту пору все ее механическое нутро было на виду. Пар с шипеньем извергался изовсюду, содрогался кузов, звенели стекла, и волос дыбом подымался у православного народа... Но старика пленила эта новая сила; и, глядя, как далеко за корму, подобно перышкам от подстреленной птицы, неслись комья пены, он ежился, как от холода, и грустно думал о том, чего не увидит никогда. И жалел, что мало у него и рук и срока, чтобы поглотить все, еще не открытые, сокровища. Переселиться на Волгу он так и не успел. Смерть опрокинула его в Рыбинске, на пристани; он рухнул на свою короткую тень с раскинутыми руками, как обычно спал, лицом в накаленную полдневным солнцем булыжную мостовую.

Третий Омеличев, Гурий, прославился приукрашением своей житейской скуки. Из белоголового кроткого мальчика получился ленивый и болезненный человек. От отца он перенял лишь его жестокое и уже вполне бесплодное беспокойство. С первых же шагов видно стало, что это господин с игрой. Откупив развалины екатерининского градоправителя, голые, крепостной толщины стены, среди которых росли дылдистые древеса да резвились мелкие пороженские черти, он восстановил их под жилье. Его наказ не рубить деревьев был выполнен, так что в кабинете его, возле самого стола, произрастал в натуральную величину ясень, и, пока не засох, все ходили смотреть, правда ли это. В праздники он любил собрать родню и, споив ее, приглашал пороженских властителей полюбоваться на омеличевский ассортимент. О его доброте ходили легенды, и сам он хвастался не раз, как с первого взгляда признавали в нем хозяина собаки. «Спускай любую, и меня не тро-

нет!» Через три года после смерти Ивана Гурий попал под опеку за неудачную попытку открыть ресторан в новопокоренном Ташкенте для новоприбывающих скобелевских воинов. Подыскав соответственный пункт в завещанье Ивана, родня всей стаей накинулась на имущество и рвала его на куски. Фирма распалась, братья разделились, и младшему, Степану, досталась Кама.

При нем наступила пора окончательного упадка. Спрос на прочную, но грубоватую в отделке русскую юфть понизился. Появлялись конкуренты в других городах России. Одновременно правительство приказало закрыть кожевни при домах, во избежание заразы. Желающим отводилось место в трех верстах, за чертой городских строений, на берегу Мялки, вниз по течению. Беда напала не в одиночку. С развитием пароходства и появлением железных дорог знаменитые пороженские тракты утратили всякое значение. Табак, чернослив, пшено и другая бакалея, шедшие на ярмарку гужом, с перевалкой в Пороженске, поехали в Нижний окольными путями. Сердце края билось вполсилы. За двадцать с малым лет эта почтенная дорога из Бухары, Персии и волжских низовьев была совсем забыта. Опустели шумные постоялые дворы. Ульи, откуда цедились славные меды и браги на радость урюпинских ямщиков, загасли. Сама владычица края, кожа, изменила Пороженску. Не стало ей выгоды ехать сюда, чтоб становиться юфтью. Лошадная доставка сырья на пороженские заводы удорожала стоимость товара на десять процентов, не считая удлинения переработки на двухнедельный срок... Да и по другим отраслям шел развал. Заповедные орешники, источник ценного масла, повырубили; мануфактура пестрым плечиком высаживала с рынков знаменитое здешнее суровье. В городе появились клубы приказчиков и зубоврачебные кабинеты. Торговый народ побежал из Пороженска от разоренья. К этому времени Степан Омеличев уже окончательно утвердился на Каме. Но место было новое и трудное. Первый в Пороженске стал последним на Каме. Волгу в те времена лихорадило. В упорной борьбе умерли дровяные буксиры, покончились гремучие кабестанные пароходы, и замолк протяжный бурлацкий вскрик. Благополучие фирм колебалось в зависимости от наличия грузов. Главным из них был хлеб, и неравномерность заволжских урожаев вызывала сильные понижения фрахтов. Великая река мелела чуть не вдвое против Олеариевых времен.

Фрахты падали до полутора копеек, а глубина на перекатах до четырех четвертей. Землечерпалок еще не знали...

— ...как и мы многого еще не подразумеваем, деточка. Пускай внучатки пошевелят ножкой кости наши и вспомнят наши труды!

К концу своих дней Степан стал почти единственным обладателем всего портфеля акций «Общества срочного товарного камского пароходства». С этого места стал заметно туманиться и спадать волчихинский рассказ. Уже и на Степана не нашлось у Андрея Матвеича красок. Можно было понять только, что Степан запивал и в эти периоды скрывался из дому. В один из подобных побегов он привез с собой цыганку из табора и сделал ее женою. Эта востроносенькая, как лоскут ветра быстрая женщина родила ему сына Павла и зачахла. «Каково ей было, деточка, из цыганства своего да прямо в старую веру. Хуже проруби, вот и ознобилась!» И тут Андрей Матвеич зевнул.

Волчихин был глубоко сухопутный человек и никогда не покидал Пороженска. Его еще увлекали дела первых Омеличевых — это был героический эпос Пороженска; будничная суета второстепенной пароходной фирмы не интересовала этого летописца вовсе. Реки он не знал, лоцмана путал с боцманом и о делах Степана Ивановича мог судить лишь по отраженному блеску на его пороженской резиденции. Когда же речь зашла о нынешнем, Павле, старик проявил совсем необъяснимую сдержанность. Судя по тому, что Ефросинью Курилову он не называл иначе, как Фрося (да и по некоторым другим наблюдениям), я склонен предполагать, что этот пороженский богач отбил у него невесту. (Соседи подтвердили мне, что Волчихин всегда враждовал с Омеличевыми.) Должно быть, простив ему свое горе, а может, и не желая показывать эту боль посторонним, старик не хотел, чтоб я, пришлый человек, волочил имя его врага по всей советской земле.

Ночь была для меня потеряна. От окна дуло. Время от времени повывало в трубе, и верилось — призраки, разбуженные Волчихиным, убийцы и убиенные, грабители и ограбленные ими, мчатся вкруг его избы, сцепившись в лютом хороводе.

— Так-то, деточка. Слава не стоит, богатство мимо течет!

КУРИЛОВ БЕРЕТ В ДОЛГ У ОМЕЛИЧЕВА

Ижевско-воткинское восстание белых и одновременное падение советской Казани в начале августа восемнадцатого года определили положение на средней и нижней Каме. Фронт красных частей мысом вдавался в территорию, уже занятую белыми. Вторая армия Советов (28-я железная дивизия Азина) висела на тылах сообщения поволжского отряда генерала Чечека. Ее средства были недостаточны, чтобы произвести фланговый охват неприятеля, и, кроме того, сзади, всего в трех переходах, ей угрожал белый Ижевск. Десятого сентября контрударом десантного отряда красных моряков Казань была взята обратно, и эта операция была решающим моментом в образовании 5-й советской армии. Отступающая лавина белочехов, нуждаясь в широком коридоре для отхода, двинулась к востоку напрямки. До того времени Кама не имела самостоятельного стратегического значения; ее судьбу решали основные направления возникающей войны. По существу, только теперь гражданская война вступила в тихие прикамские города.

Тот из них, где накрепко обосновался Павел Степанович Омеличев, издавна был как бы штабом второстепенных камских пароходчиков. Он помещался в уютной котловине, образованной пологими скатами высокого берега, пестрый, на две трети деревянненький, весь в коренных садах; и пароходики у дощатых пристаней напоминали стайку ящериц, намалеванных ребенком. После бегства из Ижевска и кратковременного пребывания в Сарапуле Алексей Никитич добрался до этих мест в самом начале сентября. Он вошел в город всего за два дня перед тем, как отряд полковника Степанова, подкрепленный силами чехов, обрушился на городок. На другой же день, неожиданно для себя, он встретил на улице сестру Фросю. Она обрадовалась, спросила, что он делает здесь. Алексей Никитич соврал ей, что месяц провалялся в сыпняке и теперь находится в отпуску. Она поверила; Курилов выглядел неважно. Она предложила погостить у них в доме. Он пообещал заглянуть при случае. Они расстались.

Красные ушли отсюда без сожаления, едва с речных судов началась бомбардировка. Стреляли не метко, на высоких разрывах, и многие выходили посмотреть, как выглядит эта самая война. Вскоре началось восстание, обычное при переходе всякого населенного пункта из рук в руки. Группа белых,

гимназистов и приказчиков, захватила комендатуру. По улицам провели первого арестованного, еще не избитого, но почему-то в одном белье; человек был долговязый, очень конфузился своего вида и все поеживался. (Уже летели листья, и резкий ветер задувал со стороны Набережных Челнов.) Человека убили в тот же день, в развалинах старого городища, и этот первый выстрел пробудил зажиточную часть населения к деятельности. Все спешили сделать что-нибудь для возрождения старой России, и не умевшие стрелять срывали советские объявления со стен или громили лабазы на товарной станции. Шла беспорядочная распродажа присвоенного добра, из города потянулись вереницы перегруженных крестьянских подвод. Двух пулеметных очередей хватило бы рассеять этот обывательский переполох. Белочехи вступили в городок лишь поутру следующего дня.

Они проходили по улицам, голубоглазые, не очень веселые, поскрипывая желтой кожей, в которую были одеты. Было в них что-то от клинка, пропарывающего живую мякоть. Они шли и озабоченно улыбались на цветы, кинутые им под ноги. Грохот духового оркестра мешался с набатным благовестом. На Соборной ждали завоевателей потные, взволнованные отцы города и духовенство в пасхальных ризах. Военачальники поднялись на помост, последовала краткая команда, победители сдернули с себя кепи с лакированными козырьками, Курилов вместе с другими наблюдал из толпы. По особым причинам он не эвакуировался вместе с красными и, пользуясь тем, что был здесь впервые, не скрывался совсем. Случилось, однако, что один малый с паралычным правым веком, одетый по-праздничному, в зеркальных сапогах, стал поглядывать на него украдкой. На всякий случай Курилов протолкался из толпы наружу, но и парень немедля повторил тот же маневр и уже стоял сбоку. Он был, видимо, с пристани; густое рыбное зловоние обволокло Курилова, как облако.

— Дожж будет, как полагаете? — спросил парень и жаждал послушать куриловского голоса.

Действительно, ветер усиливался, хоругви поворачивались на ветру, как флюгера, и голоса певчих растворялись в нем. Белые гребешки побежали по реке. И хотя ничего угрожающего не было пока в вопросе парня, Курилов понял, что его опознали по какому-то неуловимому признаку. Не торопясь, Курилов двинулся прочь по боковой улочке. Парень последовал за ним, и вот их стало уже двое. Второй был пониже ростом

и в русых усах, таких широких, точно булку держал закушенной в зубах. Курилов лениво пересек опустевший базар и стал спускаться вниз, держа направление на рабочие казармы спичечной фабрики. Тем временем погоня размножилась человек до пяти. День был все равно бездельный, праздничный, развлечений не предвиделось; всякому лестно было уловить внезаконного человечка и посмотреть, как он станет выглядеть после десяти минут страшного и суматошного вдохновенья. Алексей Никитич повернул на Аптечную и, быстро пробежав ее до конца, шагал как ни в чем не бывало. Но его обошли; он увидел человек двенадцать позади себя, и впереди выступал тот же, с паралично веком. Боясь приблизиться в открытую, они что-то кричали издали и подманивали во все двенадцать пальцев.

Тогда Курилов побежал, заглядывая во дворы, и все живое на улице рванулось следом, и даже рыжая цепкая глина хватала его за сапоги. Одна мысль о повторении ижевского приключения зажигала незажившие кровоподтеки на спине. Погоня отстала, и только один не по возрасту деятельный старичок резво бежал принести свою жизнь на алтарь отечества. Курилов выждал его за углом, и когда громкое одышливое степанье подсказало о близости врага, он выскочил и ударил его всей тяжестью тела, и тот покатился на скользкую осеннюю траву. Еще через минуту отчаянного бега Курилов потерянно огляделся. Высокие тесовые заборы, границы купеческих владений, стояли по сторонам. Чужая собственность взяла его в свое кольцо. Из последних сил подтянувшись на руках, Курилов перемахнул по ту сторону ограды. Показалось, что его схватили на лету; сапог зацепился за гвоздь, и Курилов плашмя повалился на груду прелой листвы. Так он лежал, тиская рубаху над сердцем. Собачий гул и вой пошли по саду,— ему все стало безразлично. Потом он услышал шаги и понял, что это свидетель его цирковых упражнений.

Возле стал нестарый, всего лет на шесть старше его, черноволосый, цыгановатый мужчина в короткой суконной куртке, что носили в былое время барские егеря. И хотя единственная их встреча произошла лет девять назад, в Перми, Курилов сразу признал в нем мужа сестры. Судьба поступила бы умнее, подсунув сюда Фросю в эту невеселую минуту, но сейчас он рад был и Омеличеву. Он неуклюже поднялся, потирая ушибленное колено; но это был жест маскировки, колено не болело совсем. Омеличев ковырял спичкой в зубах, щурился и не про-

тягивал руки. Все слышнее становились крики и волчий гон по ту сторону забора. Надо было начинать любой разговор.

— Вот, сапог испортил... хорошие были сапоги! — И поглядел сокрушенно куда-то вниз. — Сестра в гости звала... и в каком виде пришлось заявиться!

— Пора пошла, шуровья с неба валятся... — откликнулся хозяин и глазами показал на открытую дверцу ближнего погреба. — Взгляни мое хозяйство пока, после поговорим.

— Ну, спасибо... Хозяйство твое богатое,— кивал Курилов, ужасно спеша и все еще оставаясь на месте.

Омеличев затворил гостя и спустил цепных собак. Их было только четыре, но они мгновенно наполнили собою сад. Минута была выиграна; на заборе вдруг появился парень с приспущенным веком и тотчас же шарахнулся назад, когда четыре зубатых гиены с ревом прыгнули ему навстречу... Ночью, когда все заснуло (только изредка и непонятно постреливали на реке), Омеличев провел Курилова в дом, стоявший в глубине сада. Оба шли на носках, шикая друг на друга. Поскрипывали желтые лакированные полы, простеленные домотканой дорожкой. Наклоненное пламя свечи оставляло за собою струйку копоти и плыло — то в белых изразцах печей, то в стеклах почетных дипломов фирмы, развешанных по стенам. После двухнедельного ижевского сидения странно было видеть мебель в несмятых полосатых чехлах, церковный налойчик в углу (жива еще была бабка Глафира), зеленые дебри тропических растений у окон. Было тихо, в доме Омеличева некому было шуметь и сорить. Один только маятник бухал, как в бубен, в тишину. Гостя провели на чердак. Ефросинья постелила ему на сундуках, и вскоре он ел холодные рыбные щи и прислушивался, как рыщут во мраке псы, хранители омеличевской недвижимости.

— ...чего все вздрагиваешь? — спрашивает Фрося, кутаясь во что-то большое с пестрым турецким рисунком. — И глаза у тебя пуганые. И кашляешь. Ты что, больной?

— Нет, я здоровый и красивый. Но реку пришлось переплывать. Должно, простуда.

Она еще не догадывалась, что за простуда терзала ее брата.

— Как не надоест тебе, Алеша. Себя надо жалеть, ближе родни не бывает! Устали мы с Павлом. Даве опять по реке-т Ваня пробежал, пальнул два разка и наутек... — Она имела в виду боевое судно Волжской военной флотилии В а н я № 5,

которое несколько дней спустя геройски погибло у селения Пьяный Бор, попав в засаду между двух белых батарей.— Что будет-то, Алешенька, скажи!

— Будет советская власть, только и всего. Чего твой Павел на площадь-то не ходил?.. не нравится?.. с чего бы это? Щи, между прочим, у вас отличные. У всех должны быть такие. У тебя свежей рубахи не найдется? Мне можно и старую, если жалко: сойдет. И потом притащи чего-нибудь спину смазать. Я тут рухнулся, подшиб кой-где... — И было стыдно пожаловаться женщине на ненавистную ошкуровскую плеть.

В этой низенькой продолговатой коробке, отведенной под всякий домашний хлам, Алексей Никитич прожил полторы недели: разболелась спина. В полукруглое чердачное окно видны были полинявший омеличевский сад, занимавший почти весь квартал, деревянная колоколенка и бескрайние поляны по ту сторону реки. Курилов зябнул здесь; наверно, по утрам в камских затонах ледяной кромкой подергивается вода. Наверно, куриловские товарищи бьются с беляками где-нибудь у Вятских Полян; он совсем утерял ориентировку, в каких направлениях расположился теперь фронт. В углу отыскалась стопка книг без начал и концов, творения всяких провинциальных властителей дум: Ксавье де Монтепена, Густава Борна... И он до одури лузгал эти мадридские и прочих столичных городов любовные тайны; читал и вслушивался, зажмурясь, в редкую пальбу на затихшей реке.

За все время Омеличев только раз навестил постояльца. Покачав головой, он заставил окошко картиной, чтобы с улицы не видели света. В золоченой раме возлежала голая дамочка с прелестями на низменный вкус, а на нее шел густой и почему-то желтый дождик.

— Покури сперва,— сказал Павел Степанович и насыпал махорки в давно опустевшую жестяную баночку Курилова.— Не тошно станет с буржуем-то посидеть?

— Если буржуй умный, то не тошно! — И лез в карман за трубочкой, тогда еще совсем новехонькой.— Газетку бы принес.

— Я сам газетка. Даве прапорщик один старушку грохнул за дерзкое слово. С удару, военная сноровка! А я и петуха минут восемь кромсаю...

По всему видно было, радости по поводу прихода белых Омеличев не испытывал. У него хватало зоркости взглянуть поглубже в будущее; за чехами он угадывал прибытие новых

полчищ иноплеменников, которым наплевать было на омеличевскую Россию. Но, значит, не шибко верил и в силы красных, если прятал Курилова на своем чердаке... В ту пору Алексей Никитич не догадывался, почему Омеличев терпел его здесь, не бежал за людьми полковника Степанова, чтоб пришли и закололи его спящего, как медведя под снегом. Никто в то время не сумел бы учесть соотношения сил, хотя по стратегическим обстоятельствам власть белых на Каме и не могла быть долговременной. Русская история всегда изобиловала неожиданностями, и оттого Омеличеву выгодно было приобрести друга на черный день. Правда, в их отношения впуталась Фрося на правах сестры, но никакое родство не имело значения в условиях ожесточенной гражданской войны. Равнодушных в эту пору не было.

— Вяну я у тебя, Павел Степаныч.

— Может, пища скучная? Все рыба да рыба. На реке живем.

— Выходит, как бы в должок я у тебя беру, Омеличев... а?

— Боишься, что отдать не хватит?

Пароходчик засмеялся, поигрывая тяжелой связкой ключей. Переливчатый звон их сопровождал до конца ночную беседу.

— Горчит тебе мой хлеб... тогда жуй что знаешь!

— Ушел бы, да вот спина: изогнуться не могу. Негодный я пока человек... — И верно, было стыдно ему сидеть на омеличевских хлебах, пока не остановилось самое дыханье. Кашель обрывал его на каждом третьем слове. — Что же, Павел Степанович, нравятся тебе большевики и то, как они смотрят на твою собственность?

Тот правильно понял вопрос.

— Нет, я не сообщник твой, Курилов. — И опять проникновенно звенели ключи. — Руки коротки: не верю, не верю в тебя!

— Нам тебя и не надо. Народ поверит!

— Народ! — Он сердито усмехнулся. — Ты вот не кашляй так, услышат. Народ!.. У меня в доме двадцать два человека этого народа живут. И они растерзают тебя, коль скоро проведают, что ты тут. Понял про народ? И не умеешь ты с народом. Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли... и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нем гнезды станут вить посреди золотых яблок. Но чтобы аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего...

— Бессмертия ищешь, Омеличев... и собственность — вот призрачная лесенка к нему! А у тебя и сына-то нет пока...

Омеличев пренебрег его издевкой:

— ...не меньше тебя человека знаю. Он волшебником становится, когда отвечает только за себя. Никто ему с его щенятами не подаст в голодный день, и он знает это, сукин сын. И он ищет, тискает свои мозги, изобретает, радуется. Ты деда моего, Ивана, помнишь? Взрыв-человек! Загляни в него, поучись, Алексей Никитич. Человек-человек!.. чем ты ему заменишь радость земной, тяжелой власти? (Ты мне механику свою не раскрывай. Она мне тоже ночи портила, чужая нищета...) Чем ты работать его заставишь, как не выгодой? Али ради развития тела?.. Али страхом?.. так ведь страх-то — ненависти сродни. Борьба, борьба!.. и слово-то какое-то не русское, не наше.

— Есть еще чужое слово, которого ты не знаешь, Омеличев. Мы с тобой оба вышли из скотской пороженской жизни... но только я осердился, а ты сел поверх кучи и успокоился, что иным еще гаже твоего! Там не слыхали про это слово. Назови этим словом пароходишко, и тебя засмеют на Каме, кредита лишат. Это слово — т в о р ч е с т в о, Павел Степаныч!

Лицо Омеличева окрасилось гневом, и ключи захрустели в ладонях.

— Ты... ты солдат, ты бездомный, ты молчи. Ты покамест токмо убивал, а что, что ты создал? — И так же сразу утих.

Казалось, Курилов делал все, чтобы хозяин выгнал его отсюда, но тот не гнал, кормил его, скрывал от смерти. И снова продолжал беседу, точно насытиться стремился от истины, которую носил в себе Курилов. Дождик барабанил в крышу, и где-то в застрехах близкой кровли пищали сонные птицы.

— ...чего с ключами ходишь? Крадут, что ли, у тебя?

— У меня красть некому, Алексей Никитич. У меня сытые.

— Смотри, зарежут они тебя. Сытые — самые проворные на это дело. Они тоже хотят сыновей и внучат при золотых яблоках иметь... А?

— Еще кого из нас раньше, посмотрим! Искали тебя даве, комиссар.

— Кто? — И тело изготавливалось к прыжку.

— Двое молодых людей приходили, полковника Степанова холуи со взводом. Должно, подглядел кто, как ты через забор сигал. Один-то сущая дубина, а другой деятельный и на руку скорый. Все в дом норовил вступить.

— Ну?

— Я ему... — И победительно звякнул мелкий ключик в руке. — Я ему сказал, что не извещен, мол, много ли у вашего полковника лишних штанов, что он так заботится... а у меня в это дело, в Россию, полтора мильона вложено. Я, дескать, лучше вашего знаю, молодой вы мой сокол, что такое большевики. Идите на фронт с матросами драться, а не старух лупить на площади... А ты знаменитый стал, Алексей Никитич. Ведь он по фамилии тебя спрашивал!

Видимо, Омеличева тешил этот обман. Рассказ был длинный и сводился к следующему. Поручик поверил и решил, что Курилов прячется у служащих Омеличева. Два часа ушло на осмотр комнат, чуланов и шкафов. Что помягче — протыкали штыками. И пока рылись у лоцмана Чернодядьева, перебежавшего к красным, девочка его, всего пяти годков, притащила офицеру свою одноглазую куклу, чтоб и ее, осмотрев, проткнул разок. «Ляльку мою, и Ляльку!» И так длилось, пока не гаркнул тот, весь багровый, чтоб убрали ребенка. (Курилов заметил, что даже нежное слово нашлось в грубом омеличевском словаре для описания чужого ребенка...) После того разговора они не видались больше. Дня через три Алексей Никитич сбежал, не вытерпев пытки бездельем. Ночью он разбудил Фросю, она дала ему хлеба и проводила до ворот... Накрапывало, и зарницы мигали. Золотые серьги поблескивали в ушах сестры.

— Золота-то на тебе, как на матушке троеручице,— пошутил брат.

— Не дразнись, Алеша.

— Пойдем со мной, как есть... хочешь? Павлу твоему есть за что гибель примать: он за свободную торговлю стоит, хе-хе, а тебе-то что?

Она схватилась за мокрый столб верей, вся подалась вперед, и Алексей видел жадный оскал ее зубов. Черно и пусто было на реке. Торопливая пулеметная очередь где-то пронизала ночь. Завоевателям мнилось — всё идут на приступ большевики, неумирающие, не убиваемые никакой человеческой силой! Эта далекая, внезапная тревога помешала обняться брату и сестре. Оба успели справиться с минутным и бессознательным порывом; оба прислушались, но ничего не было, только непогода шумела в ближних ветлах. Алексей засмеялся:

— Ну... прощевай, родная: ашшо буду, ашшо нет! — сказал он словами песни, и сразу унесло его ветром куда-то под гору, в бездомную и манящую ночь.

Как бы маленький покойник незримо лежал в протоклитовской квартире, и пока не вынесли, все жили неслышно, думая только о нем. Илья Игнатьич не встречался с Лизой. Его рабочий день наступал, когда Лиза была еще в кровати, она возвращалась из театра, когда муж уже спал. Однажды они столкнулись в столовой; корректный и немногословный, Илья Игнатьич выпил свой черный чай и солдатским шагом прошел к себе. Лиза проводила его прищуренными глазами. Иногда она сама ловила на себе его внимательный, без прежней ласки взгляд; он как будто искал в ее облике отпечатка преступности и сердился, что не находил. Совсем нехорошо стало в доме. Лиза рискнула нарушить это гнетущее равновесие. Утром она ушла в театр и не вернулась. У нее хватило самолюбия и такта не брать с собою даже протоклитовских подарков; она ушла нищей, как и пришла. Она не оставила записки... Было стыдно возвращаться к дяде; она долго шаталась по улицам, готовая пойти хоть на вокзал и сидеть, сидеть — пока не подберут. Ночь была звездная, и Лиза промерзла. Через калитку, проваливаясь в снегу, она добрела до окошка Аркадия Гермогеновича и все-таки постучала.

Все обернулось по-старому, и уже дядя вынужден был оказывать гостеприимство незадачливой племяннице. Снова ситцевые петухи перегородили тесную светелку. Едва солнце — они оживают, изгибают шеи: это старик начинает свой хлопотливый день. Одеваясь, он бормочет что-то, и нет-нет на губах его взрывается дудниковское имя.

— Забудь его, он же умер... — грустно говорит Лиза.

— О, разве смерть освобождает от ненависти живых?

Ненависть! Он расходует ее понемножку, чтоб хватило надолго. Это и есть та горючая жидкость, на которой движется теперь его престарелый организм. Вот он водружает на керосинку закопченный кофейник, отправляется за хлебом и приносит газету. Они пьют жидкий овсяный отвар, и старик вслух читает новости дня. Челюскин пробивается сквозь льды. Араки бушует у себя на островах. Аркадию Гермогеновичу нравятся волнения, уже неопасные для его жизни. Профессиональный навык заставляет его с особым чувством выделять из текста всякий случайный дактиль. Лиза греет пальцы об остывающий стакан и смотрит в окно. Она никогда не высыпается из-за этого суетливого старика.

Аркадий Гермогенович обожает молчаливых собеседников. Их становится все меньше: молодежь не любит философического безделья. С тех пор как он получил официальное извещение о пенсии, он стал еще разговорчивее.

— Случалось ли вам, Лиза, смотреть на жизнь так, как будто вы наблюдаете ее извне? Всмотритесь, и вы увидите бесчисленное количество вариаций на одну и ту же тему. Наверно, э... мир будет длиться, пока не осуществятся все возможные комбинации из этих грубых вещественных элементов. Все должно отразиться во всем, чтобы, отразясь, содрогнуться и отхлынуть. Все летит, все вихрится во всех направлениях и отовсюду. Все проходит сквозь нас, и мы проходим сквозь все. Мы только временные сосуды, в которых природа сохраняет свою мысль. Каким понятным все становится, когда оглядываешься из старости! Какая простота во всем... А вспомните, в каких чудовищных горнах ковались эти благословенные миры и бездны. Подсчитайте, скольких усилий вещества стоило хотя бы вот это дерево, тощая ботаническая разновидность, с которой летом и веника не наберешь. Стоило ли оно затраченного труда?.. или вы скажете, что человеку, мастеру земли, дано исправить и увенчать мудростью подготовительную работу бога?

Он выжидает ответной реплики, но Лиза молчит, смотрит сквозь стекло, поцарапанное морозцем. Голос старика походит на надоедливую струйку дождя в водостоке. Лиза думает о своем... Шла деятельная подготовка к спектаклю, которым театр рассчитывал привлечь общественное внимание. Неделю назад, когда директор вызвал Лизу сообщить о включении ее в колхозно-узбекскую бригаду, она видела на его столе эскизы костюмов к М а р и и. С завистью, которую удваивала обида, она смотрела на это пестрое сборище средневековых министров и послов в шляпах, похожих на сады при бенгальском огне, тюремщиков с ключами, имевшими профили людей, шутов с мягкими вислыми носами, жезлоносцев в парчовых робах, отороченных мехом... и, наконец, сама Елизавета присутствовала здесь: сейчас ее мертвенно-синеватые груди, втиснутые в корсаж-корзину, могли отпугнуть даже снисходительного Дудлея. Колдовские краски тлели на бумаге, а директор скучным тоном проповедника говорил о самоотверженности и о пристальном изучении монументальных страстей народа, без чего не бывает истинного художника. С пылающими ушами она послушно кивала ему, догадываясь, что ее изгоняют из театра без надежды на возвращение. (Растерянная и уже сломленная,

она готова была признаться в любой вине, существа которой еще не понимала сердцем.) На сегодня назначен отъезд этой бригады, составленной из актеров, не занятых в очередных постановках. Поезд уходит в половине одиннадцатого. Она уже опоздала...

Журчит в желобе вода...

— ...давайте же осмыслим эти эмпирические упражнения природы. Не кажется ли вам, Лиза, э... что природа стихийно ищет какого-то счастливого совпаденья, которое оправдало бы ее хаос, ее смятенье, самые масштабы ее неумелости? Всмотритесь, она движется на ощупь, она создает уродов и губит, стыдясь их; она чертит и смазывает свои творенья, еще не успевшие осознать себя; она бьет их по головам, приговаривая навскрик — не то, не то! Ни в одном производстве не бывает такого брака. И вот, э... мы сами — только черновики гигантов, которые узнают в свое время, что и они карлики. Вы зеваете, вам скучна моя воркотня?

— Вчера ты говорил о том же самом. Налить тебе кофе?

— Полчашки. — Он испытующе косится в ее сторону. — Мне кажется, я надоедаю вам...

— Я зябну, дядя.

Тогда он вскакивает и приносит свое брезентовое сооружение, оно не гнется, оно трещит, как промороженное, оно похоже на саван.

— ...дует от окна. Сегодня все розовое от мороза. Газеты пророчат арктический февраль. Надо экономить дрова... — И недовольным жестом тычет в газетную сводку. — Дороги не справляются с перевозками топлива. Накиньте эту вещь на плечи, Лиза, и вам, э... будет тепло, как солдату в будке!

— Я оденусь в это когда-нибудь позже. Пока еще рано! — зловеще произносит она. — За что напала на тебя соседка? Она читала ту рецензию, где мне рекомендуют заняться белошвейным ремеслом?

Аркадий Гермогенович понуро опускает голову:

— Соседи всегда злы, а рецензенты — соседи искусства. Вы не опоздаете на репетицию, Лиза?.. Когда у вас начало?

Краснея и пряча глаза, она говорит, что в двенадцать. Старик не догадывается ни о чем. Он собирается на работу, и уже Лизе достается чистить картошку на обед. «Ужасно как губит ногти картофельная кожура!» Вдруг краска заливает ее лицо. Зажав рот ладонью, Лиза слушает, как шумит щеткой соседка, вызывая на ссору. Это жена водопроводчика, мстит Лизе за

отказ в дружбе. «Грязнуля,— громко возглашает она за дверью. — А еще с доктором жила!» Немедленно надо что-то делать. Лиза вскакивает и бежит на автомат, в аптеку. Мерзлый снег задорно взвизгивает под подошвой, на заборах балагурят, попрыгивая, воробьи. Лиза дважды звонит Гальке Громовой, но аппарат неизменно занят. Она бросает в щель последнюю монетку, чтобы услышать вопросительный, настороженный голос подруги. Должно быть, она боится Лизы: несчастье заразительно... Да, списки сокращенных уже вывешены в театре. Да, имя Похвисневой значится там. Нет, Галька не знает, что следует предпринять в таком случае. Кажется, составляется группа в Ойротию... Их разъединяют. Волнуясь, Лиза стучит по рычагу: гудки, гудки... Кассирша смотрит на нее с сожалением. Лизу уже признали здесь. Бывают дни, когда она звонит на целый рубль. Усталая, она возвращается. Не хочется ходить больше никуда, чтоб не слышать сочувственного и лишь в разнообразных тембрах мычания. Она возвращается медленно, со страхом думая, что у Аркадия Гермогеновича сегодня отменили урок. (Чудно́ — он обучает своих фармацевтов читать Горация в подлиннике, как будто без этого нельзя отличить аспирина от слабительного!)

День Лизы становится громаден, и ей не хватает себя заполнить его до краев. Она берется за десятки дел и не заканчивает ни одного. Она штопает старенькое белье, сохранявшееся у дяди в ее провинциальном сундучке. Оно из простенькой холстинки, и рваных мест в нем больше, чем самого белья. Она сваливает его как попало назад. Присев на скамеечку, она растапливает печурку. Колени охватывает тепло. Огонь с хрустом пожирает поленья. Лиза перелистывает книги из стопки, предназначенной на продажу: Похвисневым не хватает на жизнь.

Тут Лафарг и Дарвин, Овидий по-русски и разрозненные томики Франса. Эти сочинения выпали из обихода Аркадия Гермогеновича. На его столе появилось Добротолюбие, толстая сутулая книга схимы, старчества и христианского примиренья. Он читает ее не потому, что ищет веры, а оттого лишь, что уже нечем ему питать свой атеизм... Здесь на полке есть одна, любимая: о Марии. Лиза прочла ее несколько раз сряду, но ей все мало. Она узнала о Риччио и Дарнлее, любовниках Марии, хотя оба и не помечены у Шиллера в списке действующих лиц. Она удивилась именам Норфолька, Вольсингема, Мендозы и Филиппа, главных режиссеров трагедии.

Она прорвала нарядную оболочку образа, чтоб заглянуть глубже, и он стал увядать в ее руках. «Так вот какая ты была на деле!»

Соседка кричит через дверь, что Лизу спрашивает гость. Ее голос неожиданно почтителен. Лиза нерешительно идет в прихожую. На пороге монументально высится Протоклитов. На нем такая доха, что теперь уважения соседки хватит на целую неделю. «Как быстро сбываются желания, когда это не надо!» Лиза кланяется вполкивка и не протягивает руки.

— Можно мне войти к вам, Лиза?

— Нет, у меня сидят люди. — И только теперь сознает, зачем ей нужен был его приход: в лицо, в лицо ему крикнуть о своей свободе! — Вы по делу или просто так, на огонек?

Все двери комнат в квартире настежь. Девять жильцов пьют вечерний чай, слушают их и получают удовольствие.

— Выйдем на лестницу,— говорит Лиза. — Ну?

В разбитое стекло парадной двери струится холодок и доносится снежный скрип чужих шагов.

— Я не думаю, чтобы я был несправедлив к вам, Лиза,— размеренно начинает Протоклитов. — Такая профессия у меня. Га, мы делаем добро людям, и они боятся нас, как огня. Но если даже миновать все поступки, которые вы совершили...

Она перебивает его нетерпеливо, закрывая ладонью горло:

— Я же мерзну, излагайся скорее!

— Хорошо. Я хочу предложить вам денег... вам, наверно, трудно? — Его мучит опасенье, что его беседа с директором может стать причиной ее увольнения. Он не знает, что это уже произошло. — Я обязуюсь делать это ежемесячно, пока вы не вернетесь.

«Смешно, барин приходит дать копеечку».

— Вы хотите купить мою верность?

«Га, она не догадывается ни о чем».

— Логика обиженных всегда чудовищна... но я не вижу причин и для обиды.

— Я согласна с тобой, Илья: я работаю плохо... не умею лучше. Но я ем то, чего заслуживаю, и... черт, мне нравится моя еда!

Он кланяется с видом удовлетворения от исполненного долга и отступает на ступеньку:

— Хорошо, Лиза. Ваша твердость делает вам честь. Я вернусь через полгода.

— Напрасно!.. в такой шубе, в такие трущобы. — И уже вдогонку: — Тебя разденут в нашем переулке!

...четыре полена, суточная порция тепла, сгорели; чернеет и теплится огненный тлен. Лиза подходит к окну. Иней осыпался; деревья торчат, как обугленные. Приходит Аркадий Гермогенович. Они едят вчерашний суп. Дядюшка шумен, как никогда.

— Вы чем-то опечалены, Лиза?

— Нет... но я стеснила тебя. Ни проветрить, ни вымести...

— Вы хотите намекнуть, что в моем возрасте старики трудны в общежитии? Это правда, Лиза. — Он виновато треплет ее по руке. — Как прошла ваша репетиция? Я заранее пугаюсь... Наверно, я не приду на этот спектакль!

— Знаешь, дядя... я, кажется, откажусь от этой роли. Я раздумала... — Она прикладывает пальцы к щекам. — Как щеки горят... это от печки.

Аркадий Гермогенович демонстративно зажимает уши, гремит посудой, пятится от племянницы. И по этой неумелой, слишком прозрачной хитрости Лиза понимает, что старик давно уже догадался обо всем.

ТЕЛО

На всем распорядке куриловского дома сказалась хозяйственная властность Ефросиньи. Мебель прочно стала по своим местам; в промытые окна поступало вдвое больше света; поверх шкафов, куда и не заглядывала болезненная Катеринка, не осталось пылинки. Обед готовился к установленному часу, и Ефросинья бранилась за каждое опозданье Алексея Никитича. Клавдия чаще навещала его, и всякий раз оказывалось при этом, что она забежала случайно. Медленно проходя сквозь комнаты, она по каким-то неуловимым признакам читала о всех происшествиях за время ее отсутствия. Она приоткрывала буфет: новые вещи появлялись там взамен битой разрозненной посуды; она заходила в ванную: вытертый пол сверкал. В этот нежилой сарай возвращалась жизнь. Радуясь паркету, большому зеркалу, самому пространству квартиры, мальчик Лука бегал по коридору: тихо крался вдоль стены и вдруг пугался чего-то, созданного детским воображеньем, и с мычаньем шарахался в сторону, и снова из дальнего угла начинал свое наступленье. Так играл он в прятки сам с собою... Клавдия говорила ему, что хорошие дети никогда, никогда не шумят, — переводя это на язык жестов и чутко вслушиваясь в тишину:

кто-то пел... Насторожась, она шла на голос. А это пела Фрося на кухне, готовя обед. (То была уже не прежняя Фросина песня!..) Играя шнурком пенсне, Клавдия смотрела, как расправляются с овощами проворные пальцы сестры.

— Поешь? — вместо приветствия спрашивала она, дивясь, что жизнь не окончательно раздавила песню у этой женщины.

— Поется, Клаша,— не прерывая работы, откликалась та и откладывала в сторону капустную кочерыжку, лакомство Луки. — А что, не нравится? Больные любят, когда поют...

— Нет, ничего, пой. — И прибавляла еле слышно: — Если можешь...

Сестры и прежде не ладили. Клавдия никогда не могла простить Ефросинье ее замужества. Их и прежде сближала только забота о младшем брате. В пору, когда Алексея отправляли в ссылку по этапу, Клавдии случилось прийти в дом Омеличевых по секретному поручению брата, и тогда произошел единственный открытый разговор между сестрами, положивший предел их родству. Вместе с тем она жалела сестру, и это было в ней последним вчерашним чувством, которого стыдилась и которое, может быть, презирала в себе. Конечно, было бы лучше, если бы Фрося укатила с глаз долой в свою Сибирь!.. но Алексей был тяжело болен, и не состояло при нем другого надежного и постоянного человека.

...В другой раз, зайдя на кухню, она застала Ефросинью за протиркой стекол. Была оттепель, с крыш текло, все занавески в квартире шевелились. Едва держась за брус рамы, Фрося стояла на самом краю двенадцатиэтажной высоты и глядела вниз, в снежные сумерки набережной. Какой-то томящий ветерок потягивал ее туда, и вся фигура ее как бы выгнулась над бездной.

Клавдия резко потянула ее за передник:

— Ты с ума сошла, Ефросинья. Я велю тебе сойти вниз.

Та обернулась к ней с улыбкой, не предвещавшей добра, и какое-то острое чувство вернуло ей на мгновение прежнюю красоту:

— Боишься, что прыгну?

— Ты достаточно прыгала в жизни, с тебя хватит. Ты уже не очень молода, Фрося! Но ты можешь застудиться на сквозняке...

— ...и некому станет ходить за Алексеем? — в тон ей закончила сестра. — Не бойся, кроме Алешки, у меня еще малый есть.

Клавдия осеклась, но уйти сразу не могла, стояла, трогала какие-то не очень привычные ей кухонные вещи, считала рассыпанные спички на столе.

— У тебя табаком пахнет. Терпеть не могу женщин, которые курят.

— Нет, Клаша, я не курю. Наверно, от Алексея нанесло...

И Клавдия медленно отправилась на поиски брата.

Большинство своих дней он проводил теперь дома, обложив себя книгами, и с тошным чувством приговоренного выжидал очередного припадка... Клавдия села рядом, потом удивленно подняла бровь, увидев такое количество всякой дальневосточной литературы. Это были очерки о разных отдаленных народах, экономические исследования, проблемы войны между некоторыми тихоокеанскими державами, фантастические наметки железнодорожных линий, труды старинных синологов и статистические таблицы. Сестра заинтересовалась причинами такого увлеченья. Он ответил, что все это только детали одного большого слова — О к е а н, овладевшего им однажды на всю жизнь. Клавдии вспомнилась его давняя, с самого детства, склонность ко всяким большим водным пространствам. Она спросила только:

— Но ты, по-моему, вырос с тех пор, Алеша?

— Вырос и Океан, Клаша... непонятно? Трезвый ты человек, сестра!

Она отступила. Он, как всегда, не очень был прав, но не стоило давать сражения по пустякам. Своему новому вопросу она постаралась придать оттенок мимолетности:

— Ночью не болело?

— Не каждый же день!.. Хорошего понемножку.

— Я тебе купила шапку, принесла. Ты примерь потом! Это глупо, таскать картуз в такую стужу!.. — Она присела рядом с самым секретным видом. — Как, на твой взгляд, Ефросинья?

— Ничего, она поправляется.

— Я не про то. Этот... муж ее не ходит к ней?

— Так они же разошлись! Ты не знала?

— Да... но он может неожиданно прийти... навестить своего ребенка.

— Может. И я не прогоню его.

Она нахмурилась. Всегда она немножко опекала его, но теперь авторитет ее падал по мере того, как усиливалась кури-

ловская болезнь. Однако она не обрушилась на него по привычке — и не только из опасения разволновать его зря; после Катеринки, незаметно для себя, она перенесла на брата всю теплоту своей стариковской привязанности.

— Мне, конечно, неизвестно, какие у тебя с ним связи.

— Почему же, ты должна знать! Революция не отменяла прав отца... и, кроме того, эти люди кое-что сделали для меня.

Да, она слышала что-то. Кажется, они не дали белым убить его. Но не велика заслуга не оказаться подлецом!.. Тоном примиренья, точно хотела пробудить инстинкт, которым сама руководилась всю жизнь, она заговорила об осторожности.

— Видишь, Алешенька, они были сытые. А сытые всегда жалостливы. Сытому хочется поспать, но боязно, как бы не напали во сне. Так и Омеличевы с тобою.

— Это случилось п о с л е Октября.

— Что ж, они никогда не верили в наши силы. И помнишь его милую шутку на своем суде? «Я, пожалуй, и дурак, но когда сын мой будет президентом республики, то он будет у м н ы м президентом республики!» Он нас ступеньками сделать собирался... понятно? Теперь же, когда у них отнято все... и не в баржах омеличевских дело, Алеша, а в самих разбитых перспективах... когда настоящим горем пропитался их опыт, они озлоблены. И соломинка опасна в руках загнанного врага! Надо беречься; иногда поднимаются и мертвые, чтобы выстрелить в спину... — Ее голос опирался на низкие ноты, стал страстен и прерывист, точно выступала на митинге. — Я прошу тебя по крайней мере не хранить важных документов на дому. Это не трусость, это бдительность! — Он снова молчал, и она вспыхнула, и было любопытно Алексею Никитичу, как омоложал ее этот приступ неподдельного гнева: — Что же, ты собираешься возвратить ему свой должок, Алеша?

Отвечать было трудно; новая мораль зачастую еще базировалась на расплывчатых нормах разумности.

— Да... не в том же плане, конечно. Но я помог бы ему встать на ноги, если бы он захотел изменить себя.

— Поздно ему, Алеша, ложиться в колыбель. Да и тесно будет после Камы... Мне странно, что ты задумался над ответом. Это все боль твоя. Ты еще не побывал у хирурга?

— Некогда, Клаша.

— Имей в виду, все говорит за камни в почке!

— Ерунда, у меня все инженеры на дороге с камнями в почках. Я других и на работу не принимаю...

Он окончательно выходил из подчинения ей, она сердилась:

— Сделаем, дружок, так... я сама запишу тебя на прием. К кому из хирургов ты хотел бы?

— Покажи мне их фотографии, я выберу. Лично я предпочитаю шатенов, невысокого роста. По-моему, они мягче...

— Ты доведешь меня до седых волос, Алешка! — И смеялась сама.

Она поняла так, что он хочет отшутиться от своих собственных страхов; возможно, что о характере болезни он знал уже все. Внезапно ей представилось, что он лежит на столе, и она смятенно опустила голову. Красные пятна пошли по ее лицу, и вдруг он увидел в ней ту длинную голоногую девчонку, которая однажды спасла весь его флот от пленения слободских ребят. Он ласково погладил ее руку, уже приобретшую особую угловатость старости; он гладил ее долго, и она не отнимала, но только все растеряннее становились глаза. Она горбилась и как будто даже старела от его ласки; она не привыкла, она не знала, чем ответить.

— Спасибо тебе, сестренка,— сказал он едва слышно. — Ты искренне расположена ко мне. За это я накормлю тебя до отвала! У нас сегодня отличные капустные котлеты, в твоем духе, с луковым соусом. Я уже привыкаю!.. От мяса это разнится только вкусом, цветом и запахом. — Он сложил руки дудкой и покричал Фросе, готов ли у нее обед.

К этому времени Курилов достаточно знал о себе, чтобы иметь право на такие шутки. Прежде чем явиться на осмотр к знаменитому профессору, ему пришлось пройти через длинный конвейер всяких унизительных, как ему показалось, исследований. Выстукивали живот, предварительно накачав кишки воздухом; пускали синьку в локтевой сгиб и потом ждали по часам, что из этого получится. Впервые он узнал о существовании цистоскопа и испытал особое чувство наготы, когда человека просвечивают чем-то невидимым. У него болело в пояснице, а ему глядели под веки. Теперь он уже и сам не очень верил в простуду. Постепенно он переставал уважать свое тело. Привыкнув смотреть на него как на послушное и совершенное орудие, изготовленное природой для многих значительных дел, он с тем большей чуткостью замечал в нем самые мелкие измененья.

Со средины января недуг усилился, и если бы не Фрося, Алексею Никитичу стало бы совсем плохо. Самые припадки

не учащались, но почти через день нападал мучительный страх, что все это повторится сначала. Иногда страх ожиданья застигал среди ночи, и внезапная испарина проступала на висках. Лежа на спине, Алексей Никитич вслушивался в таинственные процессы, происходившие в его теле. Боясь кричать, чтобы напряжением не вызвать начала приступа, он ронял какую-нибудь вещь. Это был условный с сестрою сигнал. Телефонную книгу с этой целью они обвязали шнурком, чтобы не разлеталась при паденье. Потом происходила бесшумная и привычная суматоха. Ефросинья выдвигала ящик стола, где хранился шприц с единственным куриловским лекарством. Переживая за брата, она торопилась — с риском сломать иглу в его плече. Только в самом конце месяца она приобрела навыки заправской сиделки.

Потом, сидя против него, она рассказывала о своей жизни на Каме, об омеличевской родне, о свадьбе, случившейся в его отсутствие, о последующих разочарованьях. «Чудно мне,— призналась она однажды,— рассказываю — точно восковые подвенечные цветы перебираю. Все давно облетело, проволока колет пальцы».

— Я жадная была, Алеша. Наряды любила, всегда коляски мне снились и иллюминации. Человек, верно, для радости рожден... и если дается ему грусть — затем, Алеша, чтоб явственней оттенялось веселье. На тебя с Клавдией я всегда как на отреченных смотрела. Мне и жалко вас было, и жутко. Я ведь святых никогда не любила. У свекрови Глафиры (мужняя мачеха!) в моленной тридцать шесть икон висело, целая колода. Всех я звала по-своему: всевидящее око ходило у меня под названьем бубнового туза. И один у меня любимец был, Егор-победоносец, червонный, знойкий такой, тоненький... копьецо у него как струнка звенящая. Егор да еще Алексей — божий человек. Это был ты! Я ведь чинов твоих не знаю, в батальоне твоем не состою. А кому еще на свете ты как человек дорог?.. назови его мне, чтоб он другом моим стал! — И вдруг оказывалось, что она засыпает. С усилием она разжимала отяжелевшие веки, сгоняя дремоту. — Вот и заблудилась. С чего начала-то я?

— Ты о себе начала... Я твоего мужа спрашивал, жалко ли всего, что потерял. Говорит, что нет. А тебе?

— Он-то врет, а мне и вправду не жалко. Думаешь, из серебра-то горе слаще пить? — И кивала на стену, за которой спал ее отрок, ее совесть, проклятье и радость ее жизни, Лука.

— Кто же виноват-то, Фрося?

— Кто! — И тоньше становились губы сестры. — Помнишь, что́ в детстве ели?.. в чем ходила?.. где спать приходилось, помнишь? Все лучше за Павла, чем в омут, а? А как мне тогда, на́ Каме, хотелось уйти с тобой, Алешка!

— Я так тогда и понял, что ты беременна была! Это и был Лука?

— Нет, Лука — мое второе горе,— сказала она, вся потемнев.

И еще что-то, еще о том же, во многих смутных ночных словах. Наступал рассвет, и снова, как на службу, Алексей Никитич тащился в больницу, уже за бумажкой с описанием его недуга.

Исследование показывало на опухоль; она еще не проросла почечной капсулы, но значительная часть ее лежала ниже ложных ребер. При прощупывании она представлялась хрящевой твердости и бугристости, к тому же с достаточной болезненностью для пациента. Врачей сбивали с толку именно болевые ощущения, и окончательное слово принадлежало хирургу. Имя этого профессора неминуемо значилось под всякими правительственными бюллетенями. Курилов позвонил ему, уступая требованиям Клавдии. Очень тихий женский голос предложил узнать о дне приема через неделю; у профессора был сердечный припадок, и временно прием больных отменялся... Наконец их свидание состоялось. Курилов вошел. Очень худой человек, весь в красных пятнах, одевался в прихожей и с маху, не видя ничего, забивал ноги в калоши; видимо, этот куриловский предшественник только что узнал свою судьбу. Приемная была обставлена вещами конца девятнадцатого века, когда, по окончании курса, молодой врач только свивал свое гнездо. Теперь это был равнодушный, парафинового цвета старик с явными признаками сердечного недомогания на лице. За сорок с лишним лет хирургической деятельности он успешно променял здоровье и молодость на мировую известность и многие удобные обиходные вещи... Курилов назвал себя. Тот показал ему карандашом на кресло, поношенное и более прорезанное, чем все остальные в его кабинете, потом стал записывать сведения о пациенте. Курилов увидел здесь много мебели, старомодные пейзажи на стенах и две фотографии: Чехова (наверно, по врачебной линии) и сурового, безупречной внешности старца с бородкой — Авраама Линкольна. Где-то через этаж или за стеною звучали робкие учебные гаммы.

— Нуте,— сказал профессор, отрываясь от своего скорбного гроссбуха. — Скажите о себе.

Алексей Никитич сообщил все, что знал: про паровоз, про опоясывающие боли. «Я потерял уверенность в моем теле. Я стал думать о нем слишком часто. Я думаю, что-то поржавело у меня внутри». В лице профессора не отразилось ничего. Два безжизненных застылых блика светились в его глазах. Он велел Курилову раздеться и, пока тот сдергивал через голову гимнастерку, читал медицинский листок, принесенный Куриловым в запечатанном конверте. Не оборачиваясь, он приказал также спустить штаны... Осмотр длился недолго. Ледяные пальцы прошлись по телу пациента, и хотя при куриловском сложении прощупать что-либо было нелегко, Алексей Никитич заметил его прикосновенья лишь по беглому холодку. Профессор не спрашивал ни о кровотечениях, ни о каких-нибудь посторонних симптомах; он сказал, что данные исследования подтверждаются, с той лишь разницей, что опухоль сопряжена с камнями; они и объясняют боль. Он советовал немедленно ложиться в клинику, пока случай не стал неоперативным. Рука Курилова непроизвольно двигала какой-то круглый, гладкий предмет по краешку стола, свободному от книг и бумаг. Он приподнял ладонь, под нею оказалась бронзовая, отчищенная до блеска пепельница, и в ней лежал чей-то исковерканный, насквозь изжеванный окурок. Машинально он и сам потянулся за трубкой, но вспомнил своевременно, что здесь не курят.

Профессор заметил его движенье.

— Ничего, курите,— сказал он без выраженья и кашлянул в кулачок. — Решайте. — Он объяснил, что через неделю его посылают на съезд в Барселону, и тогда сам он уже не сможет провести операцию.

— Она серьезна? — переспросил Курилов и тут же сообразил, что старик может не дожить до Барселоны.

— Ваша болезнь опаснее всякой операции. — Голос его временами затухал почти до шепота. — С каждым днем происходит дальнейшее изменение почечной паренхимы...

Слово было незнакомое, солидное, и какое-то зловещее утешение заключалось в нем. Алексей Никитич постарался запомнить его.

— Я все-таки просил бы отложить это на месяц,— взволнованно заговорил он. — На днях у меня состоится железнодорожная конференция, связанная с крупным партийным зада-

нием. А потом я собирался проехаться куда-нибудь в глушь, в снег. У нас имеется о-отличный дом отдыха, а я не отдыхал семнадцать лет. (Он мог бы равным образом исчислять этот срок со времени последней тюремной отсидки.) Тем временем, возможно, появятся какие-нибудь дополнительные данные о моей болезни...

Он вложил сюда всю свою хитрость, и тот слушал его, полузакрыв глаза. Пациенты несговорчивы. Профессор давно привык ко всякого рода отговоркам, к попыткам сбить его с толку посторонними предложениями; ему было скучно снова и снова произносить слова, надоевшие за сорок лет. Ответственное задание и снежный дом отдыха — все это были лишь обычные, продиктованные страхом отговорки пациента от неминуемой процедуры.

— Не сострадания же вы ждете от меня! — сказал он просто, как говорят только с равными.

...А иногда они требуют точного наименования своего недуга, как будто это может если не исцелить, то утешить. Курилов спросил и вот — узнал о существовании слова гипернефрома. Оно было торжественное, оно гремело и по созвучию вызывало в памяти имя какой-то древнеготской королевы. Сейчас оно означало только опухоль. Сам не понимая сущности вопроса, Курилов осведомился, злокачественная ли она; профессор отвечал, что это покажет микроскоп. Хирург взглянул на часы, как бы призывая посетителя щадить считанные минуты старика. Курилов поднялся, оставляя рядом с изгрызенным окурком и свою щепотку обугленного табака. Вдруг ужасная догадка пришла ему в голову. Кусая усы, он спросил, могло ли это произойти от удара (он не сумел сразу подыскать приличного, нейтрального слова, подходящего к такой, почти священной, академической тишине)... скажем, от падения на спину куска свинца размером со спичечный коробок.

— И с большой силой ударил он?

— Он падал, как пуля... и несколько раз.

— Как же он попал туда? — уже с откровенной досадой спросил профессор.

— Скажем... это была особого устройства плеть.

Проблеск жизни родился в глазах старика; казалось, он хотел сказать что-то, возмутиться, крикнуть... «Человека же... плетью же!» Но все погасло и остыло, прежде чем отлилось первое слово: старик был далек от политики.

— Медицине неизвестны в точности причины происхождения опухолей.

...Все планы его смешались. Куриловских сестер в особенности напугало, что профессор не прописал даже порошков. Алексей Никитич заметался. Его уход в отпуск был решен утвердительно; уже две недели Мартинсон фактически руководил работой политотдела. За Куриловым оставалось лишь проведение дорожной конференции, и он с нетерпением ждал ее окончания, чтоб укатить в Борщню. Он еще пытался работать; два дня он провел на московских вокзалах, сравнивая их с вокзалом собственной дороги, и многие сочли за служебную самоотверженность эту нехитрую попытку укрыться от самого себя... А когда пересиливало чувство одиночества, он ехал в гости к Зямке.

Его привыкли видеть там. Маринкина тетя выбивалась из сил, чтобы устроить ему подобие уюта. Ее глаза струили безмолвное восхищение перед будущей судьбой племянницы. Она уже видела тот день, когда отправится за бараниной в служебной машине. В доме всегда наготове стоял самовар. Тетя доставала из-под замка сухарики, предмет великих Зямкиных вожделений, разливала чай, и в каждом стакане имелось по ложечке, пролизанной до латунного блеска. Алексею Никитичу давали самую новую. Потом Анфиса Денисовна садилась наискосок и с детским восхищением рассказывала, что она испытала на днях в крематории. «Играет орган, представьте, товарищ Курилов, и так хочется, так хочется разрыдаться от переживаний!» Время от времени она вставала и шла к кровати поправить п о д з о р или округлить сломавшийся угол одеяла. Она не объясняла ничего, но Алексей Никитич понимал без слов, что этот брачный эшафот, на котором двадцать шесть лет она спала с покойным мужем, пойдет теперь в приданое за Маркной. Курилов усмехался, подмигивал Зямке и скармливал ему сухари.

Тот ликовал, спускал их украдкой за пазуху, набивал полные щеки.

— Ты побольше приезжай. Шухари очень вкушные,— доверительно сообщал он потом и вдруг давился смехом: — Анфишка даве деньги-то на шухари у жильца жанимала. А тому жалко жараж-то!.. Как уедешь, так все под ключ. Ты шам-то ешь. Украсть для тебя шухарик?

— Кушай, Зямка. Я привезу тебе целое кило в следующий раз!

— Можно, жнаешь, полкило. А потом еще!.. а то протухнут жараж-то, а?

— Ладно, товарищ, ладно!

Доставляло больше чем развлечение смотреть в озабоченное лицо ребенка, в котором еще пылал январский румянец, и угадывать, что за человек выйдет из мальчишки; и будет ли он покорять Арктику, или строить океаноцентрали, или водить воздушные поезда между столицами мировой советской республики... Иногда он забирал Зямку с собою и катал по городу. (Анфиска также пробовала уцепиться. «Верите ли, товарищ Курилов, один только разик в жизни, восьмого марта, в женский день, покатали меня, да и то стоя, в грузовике!» Тетка неизменно получала отбой.) Он сажал мальчика, оцепеневшего от восторга, рядом с шофером, завозил в музеи, выдумывал всякие веселые небылицы, а тот заливался, уморительно хватаясь за живот и стуча валенками в пол машины.

— Ты меня не шмеши,— всхлипывал он в передышке,— а то иж меня вешь дух жараж выходит. — И вдруг: — Все гуляешь, а деньги небось получаешь? Ты шпе-ец?

— Я в отпуску, Зямка. В отпуску не стыдно.

— Анфишка говорит, ты хворый... верно? Што в тебе хворое?

— Тело, Зямка, тело.

— Ты уж штаренький... Все жараж побаливает или только нутро?

— Все зараз, милый.

Мальчик умолкал, становился серьезен, даже угрюм, и ни апельсин, ни смешная история не могли расшевелить его.

— Ты шмерть боишься?

— А ты почему спрашиваешь, Зямка?

— Небось маненько трясешься, а? — И украдкой, на ухо: — Я трясусь.

...Сестры замечали, что по возвращении из таких поездок Алексей Никитич выглядел как-то моложавей. Они ошибались в поисках причин, относя эти изменения за счет Марины. Какое-то секретное соглашение состоялось, видимо, между сестрами, но кто из них придумал лечить его чужою жизнью, Курилов так и не узнал. Раз, ближе к ночи, Ефросинья остановила брата, когда он шел в ванную.

— Мне надо поговорить с тобой, Алексей.

Он подивился такой неотложности.

— Это так спешно? Вода моя остынет...

— Да. Видишь ли, мне надо уезжать. Письмо получила... должность моя пропадает. И потом... — это было, по-видимому, главное: — ...Павла я на улице, у самых ворот, встретила. Горько мне! Не хочу его видеть, горько.

Он развел руками.

— Разве я заковал тебя здесь? Конечно, поезжай. Тем более что и я на днях забираюсь на месяц в Борщню. — Он просил только, если отъезд Ефросиньи будет внезапным, запереть квартиру и ключ отдать Клавдии. — Я и так очень многим обязан тебе, Фрося!

— Мы тут с Клашей все заранее обсудили. Тебе что, нравится Маринка эта? Мне казалось, что ты постных-то не шибко любишь: Катеринка худенькая была... — И она по-родственному, простонародно и на ухо, перечислила женские прелести Марины. — Вот бы и по рукам, Алеша, а?

— Я, Фрося, не понимаю, о чем ты?

— Чего добру пропадать... да другой-то такой и не найдешь: как она на тебя смотрит!

Предложение ошеломило его дикостью. И вместе с тем оттенок скрытой надежды содержался в замысле сестер. Глаза Фроси были ясны; значит, с чистой совестью предлагала она руку Марины,— значит, надеялись на его скорое выздоровленье? Он уточнил ее мысль:

— Так это ты Марину во вдовы ко мне прочишь?

Должно быть, длительное горе научило ее низости:

— Ты стыдишься людям рублик подарить, а они и копеечке рады!

А может быть, она еще не знала ничего?

— Нет, не вышло, Фрося. Видишь ли... у меня рак. — Он без усилия отвел ее руки, которыми она в испуге закрыла себе лицо. — Все в порядке, старая изба идет на слом. Доктор сказал: с паренхимой неважно... понятно? — И чтоб отвлечь ее от мыслей: — Взгляни, пожалуйста, не остыла ли моя вода.

МЫ ПРОХОДИМ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ

Наши встречи с Алексеем Никитичем становились реже. Я избегал нарушать его вынужденный отдых и, конечно, не смог бы заменить ему Зямки. Дни мои стали скучнее. В одиночку я шатался по избранному нами океанскому побережью, навещал окраины великого города, ожидавшего своих потрясе-

ний, заходил в старый китайский театр посмотреть, как преломился в искусстве подвиг Ян-Цзы, а иногда бездельно стоял на берегу, наблюдая, как между гигантских плавучих островов качаются на волне бедные сампанки древнего века... Оставаясь наедине, я размышлял о дальнейшем; Океан представлялся мне бесконечным пространством, утонувшим в розоватой мгле. (Так начинается в мечте всякое обетованное утро!) Дерево стояло на переднем плане; его длинная горизонтальная ветвь с блистающими листьями заслоняла от меня подробности. Мне нравился этот недосказанный пейзаж, потому что это избавляло меня от необходимости расширять рамки повествования, и еще оттого, что никто не знает, какие события скрыты за этой призрачной и радужною скорлупой. Будущее!.. Оно еще движется по ветру, растворено в воде, зарыто в недрах: оно еще не соединилось в кристаллы... и кто скажет, как распорядится ими история! Но вот рядом становился Алексей Никитич. Он небрежно отстранял мою лирическую ветку незнания и лености, приглашая глядеть и видеть. Во мгле рождались тени людей, происходили их передвиженья, такие быстрые и бурные, что я не успевал даже различать цвета кожи моих героев, и тогда наступало смятение, когда-то испытанное поэтом с маленького Патмоса. Так я увидел:

...Однажды в январе, в девятнадцатую годовщину убийства Ян-Цзы, в пору, когда малайские реки вздуваются и юго-западные ветры сеют туман на архипелаг, последовала новая диверсия Старого Света. На Яве, в центре Малайской народной республики, произошло восстание, захватившее и смежные острова. Объявился диктатор, называвший себя Абонг-Абонгом, по имени потухшего вулкана на Суматре[1]. Уничтожению под-

[1] (Подробности принадлежали мне.) Курилов хмуро встретил появление Абонга.

— Что он за человек?

— Он происходил из зажиточных обывателей Саравака. Он назвал себя Абонгом в том смысле, что, дескать, «пробудился малайский вулкан». Его темперамент объяснялся экваториальным происхождением, мещанской стихией, которую он возглавил, и откровенным жетоном с буквами Д.П.Т. — «Дженерал Провиденс Трест», созревший для мировых предприятий, получил от могущественных клиентов заказы на билитонское олово, саравакскую нефть, золото, медь, сурьму и другие чужие предметы. Словом, это была подставная фигура.

— Нам тоже представляли и Врангеля и Колчака, однако не вышло. Как могло случиться все это?.. утеря бдительности?.. распад в низовых звеньях?

Я смог лишь привести примеры, когда история оказывалась самоучителем ошибок.

верглось все, что сочтено было зараженным идеями с континента, даже пальмы, псы и хижины бедняков. Революционные партии и отряды территориальной обороны отступили на Суматру, унося с собой тела погибших.

Весь мир оцепенело глядел сюда. Каждый газетный лист окрашивал пальцы заревом сообщений; они казались выпачканными кровью. Резня вызвала волну гнева по всей Северной Федерации Социалистических Республик. Бесчисленные толпы стояли на площадях с обнаженными головами, пока на телеэкранах проносили красные, по десять в ряд, дощатые гробы. Безмолвие зрителей нарушалось истериками женщин и ревом перегруженных репродукторов. Горе смыло расовые отличья: лица белых, черных и желтых были одинакового пепельного цвета. То были самые грозные похороны в истории людей. Почти полтора миллиарда человек мысленно участвовали в процессии. В траурную ночь было запрещено пользоваться эфиром как для передачи представлений, так и для хождений в гости по радио, а города были лишены освещенья. В этой первобытной мгле, спустившейся на материк, белая мать из Дублина оплакивала желтых детей с Борнео. Утром массы потребовали военного выступления. Они дефилировали по улицам с ужасными муляжами отрубленных голов и рук, с лозунгами: хотим на Борнео. Кое-где несли вверх ногами портреты новейших теоретиков войны, прославившихся без выигранных сражений. Азия вспомнила древнюю монгольскую поговорку о верблюде, который не шевельнется, пока волк[1] не сожрет половину его ляжки. Правительство медлило, то ли сберегая силы, то ли накапливая ярость масс.

Нападение застигло врасплох: никому Океания не представлялась плацдармом для столкновения. Незадолго перед тем торговые самолеты, курсировавшие на линии Фиджи — Капштадт — Лима, сообщили о сосредоточении флота Старого Света (так называемого Флота Прямого Действия) в районе Новой Зеландии, но морские маневры полосатых[2] у берегов Федерации стали обычным явлением: Старый Свет прикидывался охранителем суверенности Филиппинской народной республики. Последовательность событий была так стремительна, как

---

[1] Намек на вице-президента Д.П.Т., Джонатана Вольфа.

[2] Соединенный флаг будущей коалиции был испещрен шестью цветными полосами, по одной на каждого из участников.

будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам[1]. И хотя дипломатические отношения еще не были прерваны, следовало ждать продолжения в виде воздушных десантов, которые захватом опорных точек должны были обеспечить успех высадок с моря. В день похорон на Суматре посол Старого Света, весь в поту и озираясь на окна, за которыми шумела демонстрация, информировал наркома Внешних Сношений, что малайское недоразумение произошло из-за неурядиц в Д. П. Т.[2], что эскадры Флота Прямого Действия уже вышли в поход с предписанием навести порядок на островах[3], арестовать Абонга и произвести расследование дела. Все это была сплошная наглость, которой он трусил и сам, хотя его самолет и дежурил на крыше посольства, готовый к отлету. Народный комиссар, японец по национальности, учтивость которого вошла в поговорку, не прекращая беседы, позвонил в Верховный Военный Совет с вопросом, не пора ли ему наконец выгнать этого тучного и вонючего лицемера[4]. В ту же ночь произошел провокационный взрыв посольства, искромсавший полквартала в Кантоне. Владыки двуглавого материка не щадили средств для скорейшего развертывания событий.

На рассвете 18-го над бухтами Сиамского залива появились массы легких бомбардировщиков. Ночь была холодная, море — бурное. При первых залпах зенитных батарей на берег со дна залива поползли танки и, еще наполовину в воде, открывали огонь. Громыхая гусеницами, шаря причальными крючьями впереди себя, они (казалось при орудийных вспышках!) отряхивались от воды, прежде чем ступить на сушу. Хотя иные из них не останавливались и после нескольких попаданий, первая фаланга была смята артиллерийским огнем. Один полез прямо на батарею; его, вставшего на хвост, расстреляли

---

[1] 14 января — захват Борнео, Явы, Целебеса и Джилоло.

16-го — похороны жертв на Суматре.

17-го (в ночь) — взрыв посольства в Кантоне.

18-го (утром) — захват Суматры Абонгом-Миа, внезапные нападения на промышленные районы Европы, взрыв в Нибелунгенштадте, бешеный разгром авиабаз на Тайване, выход неприятельских подлодок на пути европейских коммуникаций.

[2] М. Мекези, глава компании, незадолго перед тем отправился к богу отчитываться в содеянных злодеяниях.

[3] — Это в чужие-то воды! — усмехнулся Курилов.

[4] Вопрос о мобилизации восточных округов Федерации был уже решен, и телефонная беседа служила лишь средством выразить состояние души.

в упор, но никого внутри не оказалось, кроме исковерканных механизмов... Вторая цепь была поддержана артиллерией крейсеров; их силуэты лениво двигались в моросящей мгле. Потом на бреющем полете пошла штурмовая авиация, сея смерть и что-то скрывая в плотной своей массе. Истребители обороны рванулись навстречу и были скомканы превосходством сил. Качаясь на высокой волне, щетинясь змеевиками ручных пулеметов, к берегу двинулись моторные баркасы. Точно разрубленная пополам, штурмовая авиация распахнулась, и в щель прыгнули десантные батальоны; их приземление произошло уже за пределами проволочных заграждений. Километровая полоса была захвачена в семнадцать минут. Прошли четвертая и пятая волны танков, и все еще было неизвестно, сколько их прячется на дне залива. Воздушный десант разделил обороняющихся на две части; сопротивление было подавлено. Саперы забивали последние гвозди в сухие сходни, когда, тихо покачиваясь на зыби, подошел первый океанский транспорт Президент. Из его чрева, урча, пошли бронированные чудовища; воздух содрогался, и рев бури казался лаем шавки, запутавшейся в ногах. С прежним успехом произошел второй воздушный бой; ничто не помешало разгрузке новых транспортов с топливом и оборудованием для постройки сухопутных аэродромов. Час спустя началась бомбардировка Пном-Пенха и Банама-на-Меконге. Схожие операции произошли на Кохинхинском побережье. Штурмовые канонерки совместно с авиацией форсировали все три русла Меконга. Индокитай был занят, война вторглась в цветущую страну[1].

Главные силы Флота Обороны и Маневра (как и восточные эскадры Федерации) не покидали своей постоянной базы, Средиземного моря. На полукилометровой мачте в Гибралтаре (для прямой ультракороткой связи с судами), поникший в безветрии, висел крепостной флаг. Командование Федерации выжидало минуты, когда определится направление главного удара. Проливы азиатских морей были закрыты. Японское море превратилось во внутреннее. Надводные корабли и самолеты вышли на охрану побережий. Стратопланы, как видения, носились между материками. Газеты прошумели о подвиге командира авиационной бригады, корейца, с боем совершившего глубокую разведку в сторону Полинезии. Федерация молча

[1] Современное помянутым событиям описание этой атаки в номере *Известий Кантонского Совета.*

принимала удары, и такое поведение было на руку Старому Свету. Полосатые считали, что наиболее выгодные военные маршруты открываются через покорение Азии. Только отсюда можно было успешно продвигаться на запад. Густая сеть промышленных предприятий и вооруженное рабочее население исключали возможность быстрой оккупации Европы. Упорной разведкой вдоль западных побережий, посылкой диверсионных партий [1], созданием множества второстепенных театров войны Старый Свет старательно поддерживал эту ложную уверенность, что весь удар с востока — лишь умышленная и недальновидная демонстрация.

Одновременно с атакой в Индокитае и стремясь запутать дело, полосатые задумали крупнейший фланговый удар в Центральной Африке, направленный к тому, чтобы перенести операционное направление в Европу. Они сосредоточили здесь значительные южноамериканские войска. Командующий Флотом Обороны и Маневра, Георг Швинт, под носом у которого состоялась переброска военных транспортов, был смещен и отдан под суд. Нейтральная среднеафриканская держава, носившая имя прежней метрополии, с готовностью вдовы подчинялась насилию [2], хотя ее морская торговля и терпела ущерб от подлодок у Атлантического побережья. Сам начальник экспедиционной армии, генерал Грегор, до конца высадки не знал объема и характера операции. Дойдя до развалин Аршамбо, он ожидал сигнала двигаться на Хартум и дальше, наперерез Красного моря. Вовсе не захват нейтрального Судана или Египта был целью этого трансафриканского рейда. Она заключалась в том, чтобы тотчас после диверсии в Суэце [3] переправить-

---

[1] 4 марта, пользуясь дождливой ночью, восемь танков-амфибий высадились с подлодок под Нью-Кестлем и двигались по шоссе, ни у кого не вызывая подозрений. Им козыряла охрана, и детишки, идя в школу, заглядывали в щели их бойниц. Осведомленный о расположении ПВО, неприятель последовательно приступил к действиям, устраивая пожары вблизи объектов, подлежащих уничтожению. Через два часа появились эскадрильи, их работа заняла всего полчаса. Пользуясь замешательством, танки успели погрузиться и уйти, за исключением одного, который, вломившись в ангар, в упоении давил самолеты и прожекторы. Такие же глубокие рейды к очагам промышленности были повторены в Гавре, Гамбурге, Риге и на Гельголанде, позже они уже не имели такого успеха.

[2] Впрочем, она успела сказать вдовье «ах-ах», когда двухмиллионная армия Юго-Восточного Союза прошла через ее территорию на соединение с Грегором.

[3] — чтобы преградить доступ Флоту Обороны и Маневра.

ся на смежный Аравийский полуостров, молниеносно проникнуть к северу [1], ворваться в южнорусские степи и отсечь Европу и Северную Африку от Нового Света. Фантастичность замысла должна была служить ему маскировкой, а плацдармом — могучие тылы Юго-Восточного Африканского Союза. Поход начался; стопятидесятитонные песчаные линкоры поползли вдоль электрифицированных верховьев Нила, руководя тысячами телемеханических танков [2]. Армии двигались в этой стальной крепости, и крылья могущественного воздушного флота служили им надежной кровлей против коварства военной судьбы. Но суэцкая диверсия не удалась (26 апреля). 11-я эскадра Флота Обороны и Маневра обошла Красное море и, оставив крейсерское охранение, воротилась на Мальту.

Тогда, во изменение стратегического плана, генерал Грегор перенес направление на Каир, вдоль знаменитой магистрали трех К. Трехмиллионная армия, заходя машинами с левого фланга, из пустыни, с малыми боями продвигалась по Нилу; вернее, североафриканская армия обороны не мешала ей в этом [3]. Экспедиционные полчища находились уже в двухдневном переходе от Абу-Хамеда, когда внезапно внушительные отряды федерационной армии под начальством некоего командарма Фейзи появились у Адена и в тот же день переправились в Сомали, крайний север среднеафриканской державы. Ее посол закатил дипломатическую истерику в Кантоне, но улика в два миллиона чужих солдат мешала ему придать негодованию оттенок искренности. Оставалось или вступать в войну, или, воспользовавшись гарантией Федерации о неприкосновенности границ, прекратить питание оккупационной армии через Кабинду. Боясь друга не меньше, чем недруга [4], держава решилась на вторую меру, и тотчас же Южно-Африканский Со-

---

[1] В намерении было поднять по дороге магометанский мир. Пожар в Аравии мог стать прежде всего лозунгом для отсталых мусульманских дивизий, принудительно набранных в Судане. Древний путь Магомета совпадал, таким образом, с путями иракской, сирийской и кавказской нефти.

[2] — которые начинялись взрывчатыми веществами, так как в самой идее их создания было посылать их на верную гибель.

[3] Даже когда Грегор стал взрывать шлюзы, чтобы прекратить доступ к судам речной обороны, североафриканская армия не дала ему отпора, и это насторожило его.

[4] Нам помнится карикатура из бирмингемской *Си-Уоркер*, изображающая неудобства хозяина, в квартиру которого ввалилось два миллиона гостей с пистолетами.

юз выставил еще армию на ее границы[1]. Страшась охвата Фейзи, Грегор потеснился в Ливийскую пустыню. Ему было плохо. Регулярные налеты каирских самолетов прервали сообщение с Южной Африкой по восточному побережью. Все эти автоматические крокодилы, железные носороги и механические гарпии сидели посреди песков, под яростными ливнями, на голодном пайке, который кое-как еще тащился из Гамбии на Тимбукту, старинной караванной дорогой через оазисы Тинтума и Мо-мо. В войсках вспыхнуло брожение, начались эпидемии, машины были брошены. Стаи хищников таскались по следам неудачных завоевателей; их облезлая шерсть начинала глянцеветь. Командующий нервничал, требуя от солдат подвига — продержаться до прихода помощи, хотя благоразумнее было надеяться на чудо, которое и произошло. Дошли слухи о междоусобной войне в войсках Фейзи. То ли соблазнила иранца возможность воссесть на древнее Аксумское царство с его сикоморами и бруссопецпями[2], то ли из обиды, что им командует совсем незнатный узбек из-под Чарджуя, но он задержался здесь со своими корпусами и, впредь до показательного суда, расположился среди нагорий прекрасной Кафы. Грегор двинулся к нему на поддержку и отдых; их совместная жизнь потекла как баллада[3], и так длилось, пока северная армия обороны не поставила их снова в стесненные обстоятельства.

Тогда, не ослабляя натиска в Индокитае, умножив число вторжений в Европе, вызвавших милитаризацию стокилометровой прибрежной зоны[4], главное командование решилось на помощь Грегору. Из австралийских портов на крупнейших океанских лайнерах было двинуто в Африку до шестисот тысяч человек с самой мощной техникой. Караван, окруженный могучим конвоем, пробирался на Момбасу, разведочные эскадры ощупывали путь. Вторая партия готовилась к погрузке. Незадолго перед тем подлодки вышли к о. Сокотре, в воротах

---

[1] — в качестве вооруженного коридора для питания Грегора.

[2] Фейзи носил имя известного когда-то иранского поэта и, может быть, поэтому не лишен был воображения. Позже в социальном положении его предков были отысканы причины этой измены и двурушничества.

[3] Грегор вспоминал в мемуарах, что это были самые неприятные минуты в его жизни.

[4] Прибрежные маяки были потушены, моря вымерли, города погрузились во мрак, люди жили украдкой. Мы проходим с Куриловым среди бронированных холмов. Какая-то простреленная луна отражается в мокром бетоне. Мы грустно говорим друг другу: «Война, война!»

Аденского залива, чтобы преградить Флоту Обороны и Маневра выход в Индийский океан. Случилось, однако,— часть из них была потоплена самолетами, а другая, загнанная под воду и истощившая свой подводный ход, захвачена в плен. Тотчас после этого...

Оглядываясь на эти передвижения исполинских и еще не существующих армий, мы напрасно искали с Куриловым неотразимых героев, эффектных военных афоризмов, головокружительных баталий в стиле Уччелло и Сальватора Розы — всей той мишуры, какою, бывало, украшали кровавый хаос сражений. Правда, мы встречали удивительных бойцов и запомнили много героических эпизодов, но тридцать шесть миллионов вооруженных людей, единовременно поражающих друг друга, не могут стать предметом восхищения ни историка, ни поэта...

Для народов Федерации это был прежде всего тяжелый, черный труд. Громадная родина посылала своих сыновей не для ограбления слабейших или присвоения чужих богатств, и оттого подвиги их были лишь долгом, исполненным до конца. Огромные массы людей, одетых в цвета войны, толпятся в моем воображении. Я выбираю одного, чтоб проследить его судьбу. Его зовут Сэмюэль Ботхед, он негр, ему тридцать восемь. Его биография еще не была закончена, но мы-то с Куриловым знали, что его прославят люди и скажут, что при Шанхае лицо его было черно, как солнце в гневе.

Нам давно хотелось посетить его, и пока мы собирались, Ботхед стал во главе средиземноморского Флота Обороны и Маневра, на смену осужденного Швинта. Мы пришли к нему на стоянке в Адене, прямо на флагманский корабль Ленин под видом корреспондентов все тех же Кантонских известий. Около часа мы высидели в хорошо изолированном помещении, пока по радио выяснили наши личности[1]. По счастью, в комментариях к толстому тому, изданному на потребу

---

[1] Алексей Никитич сердился:

— ...садитесь сами, если вам потребно, в этот канатный ящик (то есть в помещение, где хранится якорная цепь, то есть в кутузку) и увольте меня от ваших художественных подробностей!

Я разделял его негодование. Там было темно, стояла вонь, шуршали крысы и капала соленая вода. Кроме того, тот же материал, из которого мы с ним были созданы, должен был пойти на образование этого потомка. Не потому ли Курилов и требовал уважения к себе, что природа дала ему напрокат этот материал раньше, чем Ботхеду?

— А бдительность? — напомнил я Курилову.

— Пускай они запросят о нас Кантон!

академиков, нашлись схожие фамилии Крылова и Леонтьева... Нас провели в салон Ботхеда, его библиотеку, составленную из старых математиков войны вперемежку с Шекспиром. Ветерок, струясь в иллюминатор, шевелил нитяные ванты на модели старинного стопушечного фрегата. Мы сели, я объяснил нашу потребность; у Ботхеда хватило такта не удивляться ничему. Он придвинул нам воду, табак и пепельницы. Нас часто прерывали; и хотя все здесь было автоматизировано, секретные донесения подавались по старой моде, в железной запертой шкатулке.

Он стал излагать свою биографию, и я испытал затруднения Марины, когда она за тем же пришла к Курилову. Эти поверхностные сведения были лишь каркасом большой судьбы; они расплывались и уходили корнями в события чужого, непонятного века. Поистине надо сотворить целый мир, чтоб подчеркнуть существование песчинки!.. Итак, его прадед был куплен в Судане одним британским сэром в подарок племянникам. После того как их убили индусы, старый слуга был отправлен в Черную республику заведовать плантациями неутешного господина. В жизни второго и третьего Ботхедов, простых батраков, не состоялось приключений, которых хватило бы и на десяток занимательных строк. Правнук, повторяя судьбу миллионов, ушел из семьи одиннадцати лет. Семь последующих он проработал в портовых мастерских Пернамбуко. Его уволили оттуда за приставание к дочери белого инженера: слишком часто он провожал ее восторженными, немигающими глазами.

Громадное зеленоватое пространство стояло перед набережной; даже и в то время не хватало кораблей насытить его до конца. Человеческий разум склонен заполнять образами всякую пустоту; голод придает им подчеркнутую реальность. Наверно, Паскаль, ужаснувшийся пустоте мира, никогда не голодал, как Сэмюэль, и ни разу не побывал в Пернамбуко! Однажды, когда черный сидел здесь в оцепененье и равнодушии, к нему подошел волшебник из сказки, ради разнообразия прикинувшийся на этот раз капитаном парусной шхуны. Глубокий ножовый шрам проходил через его правую глазницу, а из левой, неповрежденной, смотрели сиреневые бухты, смертоносные архипелаги, побежденные бури и женщины, ветер и выпитое вино: море любит забулдыг. Обойдя со всех сторон скамейку, он спросил у безработного негра, не желает ли тот пойти к не-

му рулевым на посудину, ходившую от Форталезы до Паранагуа [1].

«...Это был скелет и призрак старомодного пирата. По утрам он, рыгая, выбирался на палубу, с шарфом на шее и с голым животом. Он тыкал пальцем в компас, прочно ли сидит, издавал ругательство, похожее на разрыв ракеты, и снова спускался к себе хлестать ром пополам с сальсапереллой. Над его вонючим лежбищем, приколотая ножом, висела фотография длинноносой девки с обнаженной грудью и с громадным бантом на подвязке; обычно он и чокался с этой распутницей! Но я благодарен ему, потому что, во-первых... — так говорил Ботхед, загибая для счета пальцы на руке,— ...он отучил меня блевать в штормовые погоды. Кроме того, он свел меня с товарищами, которые знали кое-что о прибавочной стоимости. Он доказал мне, что степень человеческого скотства не определяется цветом кожи. В-четвертых, он подружил меня с морем...»

Через полтора года Ботхед подписал контракт с пароходной компанией на сорок лет, без права женитьбы до производства в капитаны [2]. За это его приняли в школу, которую он и кончил штурманом дальнего плаванья. Двадцати четырех лет он стал четвертым помощником на судне, совершавшем рейсы между Америкой и портами Федерации. В американо-африканскую войну его в чине мичмана [3] назначили на старый линкор Альварес Кабраль. Во всеобщую южноамериканскую стачку на корабле произошло восстание, не поддержанное остальным флотом. Кабраль бежал, и его настигли только к ночи, когда, потеряв ход от воздушных попаданий, он покачивался на высокой волне. На предложение сдаться Кабраль ответил стрельбой. Произошла дуэль одного со многими. Они лупили его торпедами; он отворачивал, как умел. Битый, с обрубленной кормой, еле держась на плаву, он не спускал боевого флага. Люди прыгали в воду; их разыскивали прожекторами и пулеметами. Никто не понимал, как Ботхеду удалось

---

[1] Вся биография Ботхеда принадлежит Алексею Никитичу. Я с интересом следил за эволюцией образов из давней детской книжки, обогащенной его личным опытом. Я узнавал самые слова — Пернамбуко, Форталеза, Аракажу, похожие на возгласы птиц в полдневном тропическом лесу.

[2] На двуглавом материке существовал закон, воспрещавший жениться бедным, чтобы не плодить нищих и мятежников.

[3] Gardia marina.

спастись из ада... Несколько лет он еще оставался в стране на безвестной, невознаградимой работе организатора революционных сил. Впоследствии, после бегства в Федерацию, он водил ее торговые корабли, был принят в морскую академию и... Тут принесли еще одно сообщение. Ботхед поднялся и приказал подать нам катер. Случилось что-то, перекрывающее важность нашего посещенья. Курилов так и не успел набить трубку (о-отличным!) ботхедовским табачком. Наши предположения оправдались: эскадра снималась с якоря [1].

В несколько сильных ударов Ботхед захватил ближние к Мадагаскару острова под авиабазы и стоянки наливного флота. Другая эскадра вышла к Кокосовым островам, превращенным в опорную точку его разведки. Она доносила Ботхеду о движениях противника и прекратила сообщения между Африкой и Австралазией в полосе от экватора до 20-й параллели к югу. Ботхед полагал, что Деттер-старший [2] не рассчитывает на выход Флота Обороны и Маневра, который был почти вдвое слабее соединенного флота полосатых; он знал также, что от Явы до меридиана Сейшельских островов Деттеру идти при самых благоприятных условиях две недели. Прогноз погоды указывал, что противник поведет десанты именно теперь, пока Грегор не капитулировал. Грубоватая дерзость негра вынудила белых адмиралов отвернуть курс на юг и бросить достаточные силы к Кокосовым островам, но там ничего уже не оставалось, кроме консервных жестянок и других следов пребывания живого человека. Курс эскадр снова был изменен к северо-западу, на Сейшельские острова и Момбасу. И только когда Флот Прямого Действия втянулся в средину Амирантских и Маскаренских островов, стало понятно, куда исчезали разведывательные самолеты, что приключалось с нейтральными судами и крейсерами, высланными вперед. Деттер предпринял деятельную разведку, но Ботхед уже действовал...

Произошло расчленение полосатых, транспорты бросились врассыпную, и с тех, которые не затонули, были взяты заложники из офицерского состава. Когда прибыло предписание правительства оставить нейтральные острова, батареи уже были погружены, авиация стояла на старте, и сам Ботхед успел ценными подарками отблагодарить губернаторов островов за вы-

---

[1] Секретное сообщение гласило о выходе конвоев Старого Света из австралийских баз.

[2] Командующий Флотом Прямого Действия.

нужденное гостеприимство. Индийский океан был надолго утрачен для Старого Света.

После неудачи с десантом сухопутный натиск в Азии усилился. Форсированье индокитайских предгорий затянулось на полгода и превратилось в жесточайшую позиционную войну. Не помогала никакая концентрация техники. На чашку весов было брошено все, вплоть до бактерий, белковых ядов, отравления воды, термитных туч, двигаемых по реле, использования парламентерских флагов. Это была истерика войны; она скреблась о бетон в поисках щели, лишь бы просунуть жало. Был опробован субдевилит; его первые трофеи остались лежать в виде мумий, тление не трогало их, но ни одно средство уничтожения не находило себе противодействия в столь короткий срок. Обычные охладительные баллоны при самом слабом воздействии высокочастотных токов заставляли его распадаться и лиловатыми лужицами стекать в канавы. Нащупать уязвимую точку Федерации не удавалось. Фронт стоял на месте.

Тогда, бросаясь в обход затруднений, полосатые высадили значительные части у Кантона [1] и, ощупывая дорогу превосходной авиацией, медленно поползли вдоль берегов к северу и югу. Они искали слабого места у Федерации, скованной множеством фронтов, чтобы обрушить туда новую трехмиллионную армию, формирование которой только что закончилось в Южной Америке. По согласованию с правительством, Деттер-старший наметил направление удара через Шанхай в сердце социалистического Китая. Мотивы такого маршрута в равной мере были наивны и поспешны. В свое время социалистическая переделка мелких производителей в долине Ян-Цзы происходила с особыми трудностями; это позволяло рассчитывать на широкую поддержку населения и, следовательно, возможность держаться даже в случае обрыва морских коммуникаций [2]. Так была совершена эта поучительная ошибка. Коман-

---

[1] Операции против Макао и Гонконга еще ранее определили судьбу этой второстепенной столицы Федерации.

[2] Мы побывали и на борту Фратерните, флагманского корабля Деттера-старшего. К слову, попали мы туда не вовремя. Перед строем моряков командующий принимал делегацию китайских крестьян; нам показалось, что косы на них привязные. Делегаты очень бойко рассказывали про «ужасы социалистической жизни» и в один голос обещали чуть ли не всенародное восстание, едва войска Старого Света вступят в Средний Китай. Деттер, цветущий старик на восемьдесят два кило, пожимал руки этим сомнительным мужикам и мысленно примеривал на себя лавры «освободителя от социалистического гнета».

дующий приказал начать тренировку головных ударных батальонов, назначенных на высадку в условиях хаоса и ужаса [1]. К этому времени почти три четверти всех транспортов успели пройти Австралазию, и эмиссары деттеровской разведки не отмечали умножения воинских эшелонов на трансмагистрали Лиссабон — Шанхай.

И вдруг индийская Народная газета от 5 августа поместила сообщение, что командующий Ботхед с флотом в 260 вымпелов стал на якорь в заливе Петра Великого, в Сасебо, Нагасаки и смежных с ними портах, что восточный и западный Флоты Обороны и Маневра соединены под его командованием, что громадные демонстрации встретили прибытие эскадр, что флот разойдется по ближайшим портам для проведения «двухнедельника моряка всех широт», что представители нейтральных держав были приглашены во Владивостоке на местные щи и кашу, и все видели черного адмирала в белом кителе и с красным орденом за Сейшельское дело. Агентура подтвердила прибытие Ботхеда на стратоплане [2]. Шпионы донесли, что Флот Обороны и Маневра в прежнем количестве находится в средиземноморских базах. Если бы речь шла не о пушках и линкорах, следовало бы допустить вмешательство мистических сил. Словом, начальник разведывательного бюро был снят с работы с дурною аттестацией, а сам адмирал Деттер душевно заболел [3] и оставил службу. На смену отцу при-

---

[1] Группы унтер-офицеров по двести человек помещались в специальные камеры, и автоматы проделывали над ними все, что могло произойти в действительности. На шлюпке люди попадали в пенящуюся от снарядов воду, над ними грохотали шрапнели, газ рвал им ноздри и легкие; их слепили искусственные вспышки орудий и прожекторов, на голову им лили кипящую пакость, пули рикошетировали о пуговицы шинелей и крошили весла в их руках; вода переливалась через голову, их душили сумасшедшие товарищи, взрывы бомб подкидывали их в черные лохмотья небес, а они должны были грести, петь веселые песни и грести. По секретным сведениям, людской брак от таких испытаний достигал сорока восьми процентов, но те, кому удавалось задержаться на грани здорового идиотизма, способны были пойти на завоевание ада. Подготовка была прекращена после восстания, известного под именем «унтер-офицерского мятежа».

[2] Ни у кого, однако, не хватило воображения перекинуть тем же способом около пяти миллионов тонн металла: самые корабли!

[3] Этот неизвестный ранее вид заболевания сопровождался рвотой, подергиванием конечностей и расстройством памяти. Грустно было видеть бравого командира сидящим в глубоком кресле и безысходно повторяющим: «Черный босяк, тубик с ваксой, купленная башка (bougt head)».

шел его сын, образованный и способный флотоводец, даже лицом не похожий на отца. Памятуя наставление Нельсона не презирать врага, чтобы не ослаблять ненависти к нему, он давно и пристально изучал военный стиль и манеру мышления будущего противника. Сын вступил на этот пост в трудную минуту, осложненную возможностью выступления буржуазной Индии.

Деттер молча разделял опасения штаба. Собранный в кулак, флот Федерации был теперь способен оспаривать морское превосходство у полосатых; в этом свете высадка ударной армии сразу приобретала характер дрянной авантюры. Становилось ясно, что если в острую минуту встречи Ботхед завладеет воздухом на двадцать минут, вся алгебра войны обратится против Деттера и он сядет в кресло рядом со своим отцом. Тогда, разгадав значение «двухнедельника моряка» и следуя сомнительной заповеди древних стратегов доводить раз предпринятое дело до конца, Деттер постановил форсировать высадку под Шанхай и добился от сухопутного командования быстрейшего продвижения на север. Уже 7 августа (вместо 15-го по плану) Деттер овладел Тайванем и превратил его в базу питания для будущего шанхайского фронта. Гектары танков ждали лишь прикосновения живой человеческой руки. На рассвете 10-го к Шанхаю должны были приблизиться первые транспорты с войсками, прошедшими специальную тренировку.

Контрпланы Федерации отличались от планов полосатых в той же мере, как и самые цели войны. При одинаковом уровне техники они были рассчитаны на дополнительное, недоступное штабам Старого Света, оружие. Его тактические свойства были еще раз опробованы при переброске кораблей Ботхеда из одного полушария в другое. Это был умный и скупо расходуемый героизм людской массы[1]. Флот Обороны и Маневра имел заданием допустить высадку ударной армии Деттера и впоследствии, когда в упорном трехдневном бою она истощит снаряжение и горючее, обрубить ее морские сообщения. Огромным полчищам, втиснутым в узкую полосу между морем и линией заслона, неспособным к развернутому маневрированию, воору-

[1] Ботхеду стоило усилий ввести в русло военной дисциплины почти стихийную отвагу своих моряков. Курилов сохранил в памяти его приказ о предании суду командира одного из миноносцев, в кочегарке которого умер от перенапряжения механик.

женным лишь индивидуальным оружием, останется испытать участь Грегора[1].

События показали Ботхеду, что противник стремится использовать время, необходимое ему для ремонта. В этих условиях и неделя бездействия могла оказаться смертельной. Приказ командующего с разъяснением положения был обсужден в доках, машинах и кубриках. Флот вызвал на соревнование заводы; моряки бросились чистить еще не остывшие котлы. Это была злая и молчаливая схватка отчаяния и мужества. Двухнедельник сокращался приказом до десяти дней, но уже ночью 9-го, когда противник начал тралить подходы к Нин-Бо, Ботхед уведомил правительство, что его главные силы будут готовы к 11-му. Стремительность, с какою Деттер лез в мышеловку, автоматически ускоряла выполнение расписаний. Задолго до появления Ботхеда на востоке весь азиатский подводный флот Федерации был отправлен к промежуточным и глубоким базам полосатых;[2] теперь рация с Коломана[3] торопила его занять свои позиции на путях связи десанта с Манилой и портами Австралазии. Еще прежде эскадрильи бомбардировщиков постепенно стягивались сюда с малых фронтов; теперь они получили предписание немедленно слетаться под Шанхай, хотя сосредоточение больших воздушных сил и могло дать повод Деттеру одуматься и вынуть голову из западни.

Тотчас по окончании подготовки Ботхед навестил всею своею авиацией деттеровские аэродромы на Тайване. В эту пору он представлял собою гигантский арсенал всевозможных средств войны. Защитительные воздушные барражи были смяты численным превосходством, но, сказать запоздалую правду, успех атаки был прямо пропорционален потерям. Зато массы бомбовозов и танков Старого Света были превращены в груды исковерканного утиля, в стальные болванки, в металлическую щепку, в ничто. Тем временем сухопутное сражение длилось уже сутки. Старый Свет со всего разгона ударился лбом в за-

---

[1] Излагая свой план Верховному Совету Обороны, Ботхед заключил его словами: «...с тех пор как первый военный корабль вышел в море, ни один флот не имел такой простой и почетной задачи. Я полагаю ее в том, чтобы предоставить истории и возмущенным народам творить без всякой помехи со стороны свой справедливый суд и гнев. Великая мать, социалистическая родина, да не упрекнет нас в равнодушии!»

[2] Планы Старого Света относительно шанхайского направления были разгаданы командованием Федерации. Это и вызвало переброску части средиземноморского флота на восток.

[3] Флагманский корабль Ботхеда.

литые бетоном окрестности Нин-Бо. Наутро, выражая настроения войск, командующий десантом угрожал своему штабу сдачей, если до вечера не прибудут подкрепления; к концу дня он донес о своем приказе выдать неприкосновенные запасы снарядов изнемогающим армиям. В поздний вечерний час две радиограммы пересеклись в Океане. Деттеровская предписывала своим базам немедленно отправлять конвои на помощь шанхайскому фронту; ботхедовская напоминала подводному флоту, что от точности их истребительных действий зависит теперь сократить или удлинить нечеловеческие муки войны.

Через полтора часа на Фратерните поступили первые полупанические описания безрассудной по натиску атаки ботхедовских кораблей на конвои Старого Света[1]. Без предварительного траления, цепью в три ряда, подлодки врывались в гавани, обрекая головные на верную смерть[2]. Поведение уцелевших, прорвавшихся сквозь смерть, было поистине грозно... В таких условиях представлялось неразумным дожидаться благополучного прибытия этих плавучих складов. Тогда пушками своих восьмидесяти линкоров Деттер решил заменить потопленные конвои. Пока выбирались якоря и пороховые погреба забивались снарядами, штаб разработал боевые порядки эскадр в предстоящем походе[3]. Тревога снова посетила Фратерните, когда цусимские дозоры донесли о выходе в море главных ботхедовских сил. Теперь некогда было менять решения; если бы Деттер уклонился от похода к устью Ян-Цзы-Киянга, этот рейд совершил бы Ботхед, и десантные армии, пронизанные кинжальным огнем с моря и со стороны укреплений, подверглись бы прямому избиенью. Для выяснения места и построения эскадр Ботхеда Деттер-младший бросился на запад, предварительно совершив морской поиск, свип[4], на север.

Восточно-Китайское море было меридионально разлиновано на двадцать полос, и в каждую назначена пара миноносцев со звеном самолетов. Имелись инструкции не переходить в соседнюю зону: была обязательна стрельба без предупреждения по любому встречному силуэту. Суда вышли засветло. В море стоя-

---

[1] В донесении Деттера-младшего любопытна фраза, где вполне зрело звучат интонации его несчастного отца: «...стратегия морской войны и джентльменские традиции Флота Прямого Действия никогда не были рассчитаны на борьбу против сумасшедших!»

[2] Первыми шли автоматы, но и минные заграждения стояли в несколько рядов.

[3] Деттер шел отрядами.

[4] To sweep — подметать.

ла легкая зыбь, вскоре затянувшаяся мглою[1], как бы нарочно созданной для всяких случайностей[2]. Свип, наткнувшийся на разведку Ботхеда, завершился знаменитой «бойней миноносцев» и почти не дал результатов. Деттеровский офицер, расставлявший на карте флажки с именами неприятельских кораблей, за всю ночь успел распределить всего четырнадцать. Строй Ботхеда и его местонахождение остались тайной; ясна была лишь конечная цель его выхода в море. В семь утра с берега сообщили о первой сокрушительной контратаке заслона. Китай-

[1] Было до отчаяния тихо, и нам с Куриловым казалось, что мы с головокружительным ускорением падаем куда-то в черный расширяющийся круг.

[2] Первая произошла на левом фланге со второй парой. Противники, шедшие без ходовых огней, заметили друг друга по носу, когда столкновение стало неизбежно; оба остались на курсе. Головной миноносец Ботхеда успел просигналить мателоту (то есть концевому миноносцу, следовавшему в голову) убавить ход и бросить пулеметы на левый борт; пушкам был задан угол снижения. Первыми вспышками суматошных залпов уцелевшие из команд были повергнуты в мгновенную слепоту. Хрустя панцирями, корабли прочертили бортами, накренились, почти сошлись килями и застопорились. Левый винт ботхедовского миноносца проломил обшивку соперника и одной лопастью шарил в его внутренностях, пока и та не обломилась от удара. С мателота ударили прожекторы и грянули орудия. В двадцать секунд деттеровский Гарсия пошел ко дну. Оставшись под одной машиной, головной поменялся местом с мателотом, чтобы погибнуть через полчаса... Десятью минутами позже Деттер получил сведения о гибели после кратковременной стычки еще нескольких сторожевиков. Стальная щетка свипа быстро редела.

В то же время головной десятой ботхедовской пары атаковал четыре больших силуэта. Он донес командующему флангом, что отбит противоминным огнем и следует в кильватер за своей будущей добычей. С ближайшего авианосца была поднята дюжина самолетов. Завидев огненные шлейфы из выхлопных труб, миноносец подал тайные опознавательные знаки и, получив отзыв, осветил свои жертвы. Прожекторы вломились во тьму. Напрасно линейные корабли (и в центре их плелся дряхлый Нагато, уведенный аристократами в самом начале японской революции) пытались прятаться в задымление и сменить курс. На предельной скорости самолеты почти коснулись их труб, и два корабля, содрогнувшись, изменили очертания, а на третьем возник пожар. Отблески пламени заструились по воде. В суматохе ботхедовский миноносец под вихрем обломков подобрался ближе и в упор, ликуя, разряжал свой торпедный запас, пока Нагато, уже опустившийся на одно колено, не оправился: он открыл прожекторы и градом выстрелов буквально растворил в воде героический миноносец. Концевой миноносец, выйдя на зарево с самолетом своей зоны, донес, что уже только три больших силуэта, хромая, уходят на юго-восток. Повторная атака самолетов не состоялась, флотилия деттеровских миноносцев обнаружила соглядатая, и подбитый самолет, чертя пламенем небо, упал на свой же миноносец, когда тот зарывался носом в воду.

ским армиям показалось, что генерал Ян-Цзы вернулся к ним, чтобы довершить свое дело до конца... Деттер понял, что вторая и третья атаки станут решающими, если он не прикроет десанта мощным покрывалом заградительного огня. Единственная сводка, подобная голубю Ноя, таила в себе надежду. Подлодки Федерации, на короткое время и с громадными потерями развившие энергию, предельную для человека и машины, теперь явно выбивались из сил. Двадцать два конвоя сумели вырваться из горящей Манилы; Деттеру пришло в голову, что из тысячи транспортов половина доберется до Шанхая и при поддержке морской артиллерии заберет часть армии обратно на суда. Его армада полным ходом приближалась к берегам, и через три часа головные корабли могли открыть огонь по наседающему заслону. С целью ввести в бой возможно большее количество орудий единовременно, он стал производить перестроенья, когда над ним прошло с берега несосчитанное количество эскадрилий; было что-то зловещее в том, что ни одной бомбы не упало в его расположение. Деттер поднял в воздух свою авиацию, и самолеты обороны отступили. Опасаясь появления Ботхеда во фланге, он отозвал самолеты назад, но копья[1] Федерации снова вонзились в его воздушный строй. Опять последовала непродолжительная схватка — и новая игра в бегство. Придерживая авиацию Деттера на месте, Ботхед все главные силы готовил к нанесению сокрушительного нокаута.

Итак, сейчас он шел с севера строем фронта и дугою в отношении к развернутой фаланге деттеровских кораблей[2]. Тайна его боевого порядка была обеспечена и с воздуха, и эскадрами линкоров во флангах. В десять утра они прорвали охранение противника и, расстреливая мелочь, расчищали пути подхода. Бой с самолетами продолжался далеко на юге, когда начался великий погром авианосцев; в то же время главные силы Ботхеда приступили к истреблению фланговых линкоров. Эта атака делала уже невозможной помощь десанту: Деттеру стало только до себя. Были сделаны судорожные попытки лечь на параллельные курсы и выровнять смятый фланг, но снова и снова Деттер оказывался в центре смертельной дуги, и четыреста пушек метили ему прямо в сердце.

---

[1] Вылетев клиньями, они успели перестроиться в строй копья.

[2] Представлялось невероятным, что при том высоком искусстве флотовождения можно было поймать противника на старинный к р о с с Т. Но история не любит побежденных, и постоянная привилегия их — казаться глупее своего противника.

Первыми дрались автоматы; этот трескучий диспут неслыханных человекоубойных новинок длился недолго, должно быть, им не хватало человеческой ненависти,— так быстро они стремились погибнуть. Следом двинулись машины, душою которых был уже живой человек. Все, что несло на себе самолеты и торпеды, ринулось вперед. Головные катера ударили с 15 кабельтовых; их уничтожили немедленно, и было страшно видеть, что никто не прыгал с них в воду. Некоторые взрывались, круша все вокруг и оставляя, как на суше, глубокую воронку, над которой долго не смела сомкнуться вода. Оба командующих, не покидая рубок, видели на телеэкранах все подробности боя, пока не наступил кромешный хаос [1].

...бессмысленно повествовать о дальнейших перестроеньях. Все сбилось. На Океане стало тесно. Вспышки памяти, бессильной охватить целое, освещают лишь отдельные эпизоды [2]. Так наступила расплата... Легкий пар исходил от поверхности воды, как бы разогретой людским неистовством. Все обрушилось на все, и уже не дарованиями полководцев, а идейной закалкой сражающихся масс решалось дело. Скоростные бомбовозы почти по отвесной линии падали на дредноуты Деттера, жалили и уходили, а скрученные дымы взрывов втягивались в воронки их стремительного бегства. Старый Свет оборонялся. Его корабли, заваленные ранеными и исковерканным железом, пытались бежать в Такао. Сумерки наступили на три

---

[1] Приблизив лицо к самому телеэкрану, я оцепенело глядел, как два громадных корабля, неосторожно сблизившиеся дуэлянты, подбитые, с большим креном, неуклюже циркулировали на месте.

[2] Мне помнится, как над морем, где еще торчали гроты затонувших кораблей с намокшими вымпелами, появились две стаи самолетов. Их бой походил и на сражение падших ангелов, и на множественное столкновение аэропоездов. Тысячи машин яростно поражали друг друга: пикировали, таранили, ломали врага на полной скорости, платясь гибелью за краткий миг героического упоения. Все кишело, стреляло, дымилось, соединялось со всего разгона и, одетое в пламя, падало вниз. Благоразумный и отступающий немедленно становился преследуемым. Ракетометатели и зенитные батареи молчали из опасения подбить своих. Безумие овладело сознанием. Внезапно один из миноносцев Деттера открыл бешеную пальбу по этому воющему сгустку издырявленного металла, несущих плоскостей и человеческой дерзости. Это прервало гипнотическое оцепенение кораблей...

— Погодите,— кричал я сквозь грохот Курилову, стремясь внести какой-нибудь порядок в эту ожесточенную суматоху,— начнем сначала! Остановитесь...

И бой начался снова, и мы, режиссеры события, были бессильны руководить силами, созданными нами же.

часа ранее обычного, все заволоклось вонючей мглой... Посреди секундной тишины раздавался как бы глубокий вздох, и судорога пробегала в антеннах деттеровских чудовищ, когда вода врывалась в распоротые днища. Сбитая линия Деттера дрогнула, утратила волю и прекратила стрельбу. Было видно, как четыре дредноута, со сметенными палубами, как бы переделанные в авианосцы, дымились и покачивались, увязая в воде. Телевизоры не действовали. Ботхед с катапульты бросился в воздух и уже из самолета руководил преследованием, пока случайным разрывом не искрошило щита управления перед ним и не ранило его самого...

...на берегу произошло заключительное сраженье. Во многих местах механизмы истребления были уничтожены посредине боя: смялась броня, стальные кулаки разбились, и схватка завершалась врукопашную. Скоростные танки Деттера дезертировали в Федерацию, и своя же артиллерия расстреливала бегущих. С утра армии сплелись в единоборстве тесно, как пальцы. К полудню побережье густо пахло человеком, мертвым и живым. К вечеру стало слабнуть страшное рукопожатье. Мышцы на изнеженной варварской руке порвались... Этим закончилась азиатская эпопея войны, длившаяся около двух лет. Старый Свет, обезумев, тушил кровью человеческие пожары, возникшие в его тылах. Федерация имела все возможности для переноса операций на самый двуглавый материк; было ясно, что одно появление федерационных армий должно было пробудить в массах силы пролетарского тяготения. Тот, кто навестит Сэмюэля Ботхеда после нас, пусть расспросит его подробнее об этой предпоследней схватке миров [1].

---

[1] В последний раз мы с Куриловым обошли эту исковырянную равнину. Мы шли и не замечали мертвых. Был поздний, очень ясный и прохладный вечер. Только что прошел ливень, редкое явление для августа тех широт. Природа поторопилась замыть следы неистовства своих детей. На мокрой земле горели костры. Дозорам уже нечего было скрываться. Мы подошли к одному. Двое японцев, сидя на рваной, бывалой т а т а м и, молча ели своеобычный рис с редькой. Третий, прислонясь к громадной соленоидной катушке, рассеянно стоял в стороне, то ли следя за мельканием палочек в руках товарищей, к а с и, то ли вслушиваясь в треск горящих поленьев. Русское его лицо, забрызганное грязью сражения, показалось нам знакомым.

— Здорово, война! — сказал ему Курилов и сконфуженно прибавил что-то о радости победы.

Тот не обернулся и не ответил. Нам показалось, что, прежде чем замертво свалиться от усталости, он уже думает — хозяин, хозяин! — о завтрашнем дне планеты.

ЕЕ ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬКА

Иногда, не чаще раза в неделю, Лизу приглашали на случайные концерты. Знакомый маклер, организатор человеческих развлечений, заявлялся к ней в последнюю очередь. Лизу не спрашивали о согласии; ей просто сообщали час и место. За выступление он платил от пятидесяти до пятисот. Из всех поставщиков эстрадного крошева он слыл самым щедрым; Лиза получала у него двадцать пять. Случалось также, вместо денег он выдавал ей отрез на блузку или талоны на еду. Ее объявляли артисткой столичных театров, потому что она не состояла ни в одном из них. Ее выпускали первой, пока усаживалась публика и передние ряды пустовали. Привыкнув, она отправлялась туда задолго до начала.

Никогда раньше она не испытывала потребности побыть наедине с собою. Теперь она ходила пешком на все очередные халтурки. Темные улицы одинаково пригодны были для грабежей и свиданий. В тот месяц с уменьшенным накалом горели фонари, газеты громили лодырей транспорта, и она вспомнила, куда шла. Концерт должен был состояться в заключение одной железнодорожной конференции. О его качестве можно было заранее судить хотя бы по тому, что в программу включена была и ее читка... О, наверно, это будет клуб, переделанный из домовой церкви: лишь убавили высоту да украсили по вкусу местного коменданта! Она живо представила себе артистический стол, заставленный бутылками ситро вперемежку с бутербродами. Так и было. Она сидела, прислушиваясь к гулким интонациям докладчика в соседнем зале. Он все кончал, но воспламенялся снова, и опять ускользал от него желанный конец. Лиза взяла себе бутерброд побольше и ела его в уголке...

Ей понравилось, она взяла второй. Тем временем стали собираться артисты. Дама со злым накрашенным лицом доставала из ящика говорящую куклу, страшную по своему натуралистическому правдоподобию, и еще человек-арифмометр прохаживался из угла в угол, попеременно трогая кадык и ероша волосы под какого-то знаменитого математика. Концерт начался, но программа потерпела изменения, и Лизин номер отодвинули на самый конец. Она зря поторопилась с бутербродами... И она доедала уже третий, когда увидела знакомое лицо. Об этом человеке она вспоминала не раз в дни униженья; ей казалось, что если рассказать ему все без утайки, он выслу-

шает ее до конца и сможет назвать то главное, чего ей не хватает для успеха. Она и в театр-то приглашала его с тайной надеждой заслужить его похвалу (и теперь вдруг захотелось спросить, понравилась ли она ему во Фредерике). Это был Курилов; он стоял в коридоре и набивал трубку. Лиза сделала так, что они встретились. Освещение находилось за его спиной, и оттого он выглядел помолодевшим. Она откровенно сказала ему об этом.

Он засмеялся.

— Ну, в мои годы не стариться — это уже молодеть. Танцуете, играете, поете?

— Я читаю плохие стихи. Пытаюсь прославиться...

— У вас все впереди, товарищ. Значит, жизнь движется?..

— ...хорошо! — Она с профессиональным навыком тряхнула головой. — У меня был длительный отпуск. Я много прочла и, кажется, впервые в жизни крепко думала...

Их толкали, они стояли на самом проходе. Пробегали уборщицы с чаем. Проплыла какая-то второразрядная знаменитость, неся торжественно, как именинный торт, розовые плечи, полуприкрытые двумя песцами. Пришлось зайти в читальню, а раз оказались стулья — то и сесть. Беседа их проходила легко; и то, что он видел Лизу в минуту ее ужасной слабости, почти роднило их.

— Как идет подготовка к роли?

Лиза вспыхнула: видимо, он еще не забыл всего, что она наболтала ему в прошлый раз про Марию.

— Спасибо.

Он не подал виду, что заметил ее мгновенное смущенье. (Ежедневно, ежечасно ей приходилось расплачиваться за свою болтливость!) Он улыбнулся:

— Мне понравилось, как вы сказали в прошлый раз. Вы сказали... сейчас припомню точно... что в этой роли заключено ваше право на радость. Правильно: при социализме деятельность каждого будет средством доказать свое право на радость.

— Право на радость или на хлеб?

— Не путайте, заблудитесь. Право на хлеб сейчас дает всякий труд, но только творчество — право на радость, а завтра всякий труд будет творчеством, понятно? Словом, когда состоится спектакль? Запишите меня на контрамарку. Я крайне подвержен всему историческому.

В мыслях он представлялся ей старше и суровее; ее поразила и теперь резкая пристальность его взгляда, которую смягчала лишь улыбка, дружеская, снисходительная, совсем простая. Было бы бессмысленно лгать ему — он мог бы заподозрить худшее. Она постаралась замаскировать шуткой дурную новость о себе:

— Разве я вам не сказала? Ведь я ушла из театра.

— Разошлись в направлениях? — И посасывал незажженную трубку: в читальне не курили.

— Да, этот театр далек от современности. И, кроме того, очень дурные традиции приютились там,— небрежно заметила Лиза. — Кстати, вы заметили, какой он неуютный?

— Он какой-то сараистый!

Она обрадовалась:

— Вот именно, вы заметили?

— ...и там дует от пола,— в тон ей заключил Курилов.

Насчет полов было сказано зря. Ей почудилась ирония. Она взглянула исподлобья и увидела, что он давно догадался обо всем. Ей оставалось только прыгать вниз; она сказала, ломая ноготки:

— Мне ничего не удается, Курилов. Должно быть, я бездарная. Обидно, что я рано узнала это...

— Вам открыли это люди... или это пришло изнутри?

— Люди злы, Курилов.

Он засмеялся, спросил, не с того ли дня она так думает о них, как Клавдия отчитала ее по телефону. В тот раз он плохо чувствовал себя, простудился: на паровозе проехался. (Эта версия стала у него теперь обиходной, она ни к чему не обязывала собеседника.)

— Неверно, товарищ! Если есть в тебе что-нибудь хорошее, в той же степени ты найдешь его и в других.

— ...и наоборот? — неожиданно спросила она.

— Конечно, его можно вырастить и в себе.

О, этот человек знал выход. Может быть, его-то она и искала? Признаки совпадали. Он был огромный, рябоватый, великодушный. И он спрашивал обо всем так просто, как будто знал ее с детства.

— Где же вы теперь?

— Пока нигде, Курилов! — И усмехнулась. — Может быть, подамся куда-нибудь в белошвейную мастерскую. У меня мать говорила: для человека всегда найдется какой-нибудь омутишко невдалеке.

— А что рекомендует муж? Вы говорили, что он тоже артист...

— Я рассталась и с ним.

— Тоже из-за разницы в направлениях?

Она пожала плечами, и лицо ее исказилось.

— О, это была просто неудачная гастроль. Бросим это! — И поднялась. — Кстати, я ошиблась давеча. Вы не помолодели...

— Да, прокурился. Вот собираюсь отдохнуть хоть раз за всю жизнь.

Вдруг он попросил у нее зеркальце, сославшись на соринку, попавшую в глаз. С внезапным и жестоким любопытством он рассматривал себя, стараясь отыскать перемены. Он никогда не гляделся в зеркало, разве только в парикмахерской, да и там внимание уходило целиком на ловкие, почти бескостные руки мастера. На этот раз стекло обладало откровенностью того старичка, что собирался ехать в Барселону; оно не хотело ни лгать, ни льстить. Алексей Никитич вернул зеркало и на мгновенье задержал ее руку.

— Слушайте, товарищ... ведь вас зовут Лиза? Мне уже отмечали, что у меня отличная память. Я буду звать вас так. На лыжах ходите?

— Нет.

— Зря, надо научиться. Вы рано стали уставать, чрезмерно поверили в себя, рванулись, и... стало нехорошо. Синячки под глазами! Вот что, Лиза. Я уезжаю на месяц в отпуск. Это четыреста с чем-то километров отсюда. Глушь, небо без копотинки... что касается тишины, то тишина просто экспортного качества! Единственный минус — газеты приходят черствые, на третий день. Называется Борщня. Хотите со мной в Борщню?

— Вы совсем поэт,— холодно сказала Лиза. — И слова-то у вас на этот счет какие!

— О, душа у меня тоже высококвалифицированная,— пошутил Алексей Никитич. — Соглашайтесь!

Тогда она резко выдернула руку из его руки. Ей знаком был этот вид атак. «Ого, и этот туда же!» Она спросила грубо, оскорбительно, напрямки:

— Будете ж и т ь со мною?

Его глаза сощурились, точно его хлестнули по глазам: себя или его хотела она обидеть? Он спрятал трубочку в карман

(и на это у него ушло некоторое время), потом сказал обыкновенным голосом:

— Разумеется, мы будем жить в одном доме. Там много комнат. А если вы согласитесь организовать кружок из отдыхающих, то вам и платить не придется. Соглашайтесь, если хотите померзнуть, почитать, подумать о том, чего вы еще не додумали. Борщня — это много снега, книг и дров...

Ей стало стыдно, она струсила и колебалась:

— Я позвоню вам по телефону.

Тут ее позвали на сцену. (Обычно она изображала провинциальную девчонку, которая в бойких ребяческих стишках осмеивает трамвайные порядки и конференцию по разоружению. Ей хлопали, щадя ее молодость и награждая за сомнительное мужество выходить с таким номером.) Потом она возвращалась домой и все думала о предложении Курилова. Втайне она не верила ему. Курилов был коммунист, а эти люди ничего не делают зря: слишком коротка жизнь, слишком велики поставленные ими задачи. Чего хотел от нее этот человек? Или только ее малой песчинки не хватало в громадной бетономешалке века?.. Но выгоды были налицо. В Борщне она могла отдохнуть от философских бормотаний дяди и надоедливого танца петушиной занавески. Ради этого она поехала бы в любой чулан, лишь бы отапливался да в окошечке неба клочок! Вдобавок Курилов мог научить ее пониманию самых хитрых пружинок жизни; по ее мнению, этих мелочей ей только и недоставало всегда. И, наконец, Алексей Никитич состоял в близких отношениях с Тютчевым, директором Молодого театра. Этой организации пророчили блестящую будущность. Они ввели новшество, неизвестное прежде. Они отваживались менять строй спектакля по мере того, как старела его форма; таким образом, текст пьесы читался в нескольких толкованиях, и весь сезон становился ожесточенным вещественным диспутом режиссеров. Работники этого театра сразу приобретали известность. Лиза взирала на их здание с затаенным восхищением пороженской золушки, проходящей мимо омеличевских палат... Когда-нибудь в беседе с другом Курилов мог упомянуть мельком имя Похвисневой. О, что стоит для больших устроить праздник маленькому!

Отъезд был назначен через четыре дня. Накануне она передала Курилову телефонограмму своего согласия. «Халло, Ку-

рилов? Похвиснева. Еду». У нее осталось такое чувство, что он забыл о своем приглашенье; но потом вспомнил, засмеялся и сказал, что это очень хорошо. Он обещал заехать за полчаса до отхода поезда. В этот же вечер Аркадий Гермогенович узнал — племянница покидает его па целый месяц.

Он понял так, что она боится этой поездки и спрашивает его разрешенья.

— Что ж, поезжайте! Прекрасная мысль, в ваши годы я тоже любил природу. Вы едете одна?

— Нет, дядя.

Старик принял такой вид, как если бы он отвечал за племянницу перед своей совестью:

— Он... он приличный человек?

— Ты его знаешь. Это Курилов.

Он все еще вздрагивал при упоминанье этого имени.

И вдруг оказалось, что, несмотря на возраст, дядя продолжал оставаться толковым и дельным человеком.

— Вот не знал!.. разве он холост?

Лиза вспыхнула, и никогда в таком гневе не видел ее старик. Она сорвала ситцевых петухов и бросила под ноги. Добротолюбие, как тяжелый подстреленный ворон, порхнуло в дальний угол светелки. Она кричала, что он не смеет, не смеет расспрашивать ее об этом. Она была готова разрыдаться.

— ...тебе стыдно, стыдно. Ты старик! Это грязно, грязно...

По существу, она кричала сама на себя за бестактность, допущенную в разговоре с Куриловым; во всяком случае, в этой вспышке сказалось все передуманное за три дня. Аркадий Гермогенович внимал ей с повышенным любопытством. Впервые в голосе племянницы звучали драматические нотки. Точно сидел на репетиции, он полузакрыл глаза и по вибрации ее голоса силился представить себе сухой блеск ее глаз. Он выждал конца Лизина выступления.

— Совсем, совсем неплохо, Лиза! Вы зря отказывались от роли. Но не увлекайтесь: соседи! Они могут подумать, что мы ссоримся. — Двумя минутами позже он продолжал допрос:

— Как далеко вы отправляетесь с ним?

— Мы едем в Борщню,— ломая пальцы, сказала Лиза.

Тогда пришла очередь поволноваться и ему. Аркадий Гермогенович принял это слово с крайним недоверием; он пе-

респросил, не ошиблась ли Лиза, и весь остаток вечера просидел у окна, притихший и маленький, уставясь на свои игрушечные огороды. Время от времени он вскидывал голову чуть наискосок и как бы прислушивался к голосам извне. Какой-то очень длительный процесс получал сейчас свое завершение. Они легли спать в положенное время, но разволновавшиеся петухи шевелились еще долго после того, как Лиза заснула.

Ее разбудили посреди ночи; кто-то легко, почти бесплотно присел к ней на кровать. Это был дядя. Похрустывал его брезентовый балахон, накинутый вместо халата. Старик показался Лизе суше и суровее обычного.

— Не пугайтесь, Лиза, это я. Я разбудил вас по делу, которое вручаю только вам. Слушайте меня, я не хочу повторять: есть зеркала, куда не глядятся дважды...

— Тебе приснилось что-нибудь?.. какие зеркала?

Он даже не качнул головой в знак отрицанья, он просто не услышал ее.

— Завтра днем вы едете в Борщню. В этом месте — громадная восходит луна. В этом месте мне приснилась моя молодость. И там, по всем данным, похоронена женщина, которой я был верен всю жизнь. Я слишком поздно узнал, что был обманут ею. Было бы мудрее, если бы радостное незнание юности так и завершилось бы скорбным невежеством старости. Я не хочу больше произносить это имя. Не расспрашивайте ни о чем, не проговоритесь Курилову: я и сам осмеял себя! — Он сделал паузу.

Видно было, что он давно заучил эти слова. Уличный фонарь бросал колеблющиеся тени ветвей на промерзшее окно. Аркадий Гермогенович сидел как бы в саду, нарисованном на голых стенах. Брови старика нависли на самые глаза. И Лизе мнилось, что ее дядя разговаривает с призраками, обступавшими его.

— ...там, в Борщне, есть кладбище. Однажды я поехал туда, чтобы отвезти на ее могилу свою ненависть, но судьба остановила меня на полпути, как евангельского Савла. Теперь все переменилось, и я прошу вас, Лиза, о другом. Ступайте от террасы вниз по аллее. Спуститесь к оврагу и от беседки поверните вправо, посреди старых лип вы увидите две урны на каменных столбах: ворота... Там похоронены все владельцы усадьбы за полтораста лет. Наверно, там же лежит и она, отыщите ее могилу. Ее зовут... — И он шепотом, в самое ухо

Лизы, произносит запретное имя. — Наклонитесь и шепните, что я простил их. Скажите, что если бы эта женщина, оставшаяся для меня девушкой, пришла ко мне сейчас, я принял бы ее как сестру, я делился бы с нею всем, я поселил бы ее у себя, я...

Лиза приподнимается, и ей смешно.

— Ну, вдвоем вы окончательно выкурили бы меня отсюда! — говорит она, зевая и потягиваясь.

— Вы поняли меня, Лиза. Вы стали достаточно взрослой для своих лет. У меня нет ни имущества, ни великих мыслей. Я уйду, не отяготив вас никакими завещаниями. (Природа требует меня к себе. Посмотрим, какое применение она найдет этой одряхлевшей трухе... Увижу и посмеюсь!) Только этого я и хочу от вас. И верьте, что это не только старческая прихоть: к этому свелась целая, хоть и пустяковая, жизнь! — И Лиза вздрагивает, когда он почти горячечными пальцами касается ее обнаженного локтя.

...ей снится, что она в вагоне, который движется. Внезапно в тело вступает острая ознобляющая свежесть. «Это Черемшанск...» — произносит среди ночи Курилов. И Лизе странно, что, такой громадный, как жизнь, он может уместиться в тесном пространстве купе. Он нагибается к ней и сонную, теплую, в одной рубашке, легко поднимает на самых кончиках пальцев, чтобы пронести через глубокий снег. «Ведь мы не делаем ничего дурного?» — шепотом спрашивает Лиза. Но она остерегается сказать ему, что за тонкой перегородкой подслушивает каждое их движенье муж. Курилов, незримый и угадываемый лишь по сердцебиенью, выносит Лизу наружу. Это даже не сон, а только расплывчатое ощущенье наступающего перелома.

БОРЩНЯ

Как похоже!.. Курилов стучит в дверь ее купе. Лиза спит не раздеваясь. Печальны на стоянках паровозные голоса. Точно умываясь, кончиками пальцев она проводит по лицу. Все еще длится сон, приходится руками отдирать его от горящих щек. Проводник помогает ей спуститься. Она выходит на холод. Поезд уходит тотчас. Очень много снега и звезд. Высокий человек в кожаной куртке меряет шагами пустынную платформу.

— Это Черемшанск? — зевая, спрашивает Лиза.

— Это станция, гражданка. Самый город в двух километрах. — Он идет сбоку, пристально вглядываясь в лицо Лизы. Вкрадчивая наглость звучит в его голосе. — Кажется, теперь я узнал вас. Ведь вы актриса?

Вялая надежда заставляет ее улыбнуться.

— Наверно, вы видели меня в театре?

— Я видел вас на письменном столе у моего... приятеля.

А ей-то пришло в голову спросонок, что ее жалкая слава могла проникнуть в такую глушь!.. Лиза крепче прижимает к груди бедный клеенчатый чемоданчик и поспешно отходит. Но, значит, у этого человека есть потребность удостовериться еще раз. Он идет и все глядит, глядит ей в лицо. Он ведет себя так, точно сделал находку и еще не знает, куда приспособить ее.

— Вы так же хороши в жизни, как и на бумаге. Вы похожи на шахматную фигурку, и вас зовут Лиза. Правда?

— Уж не собираетесь ли вы ухаживать за мною сейчас?

Но вовремя появляется Курилов. Лиза слышит, как человек рапортует начальнику о благополучии своего депо. «Вы зря поднимались в такую рань, товарищ Протоклитов. Я еду в отпуск,— лениво говорит Курилов. — Приказ по дороге последует на днях, товарищ...» И он опять произносит фамилию ее мужа. Лиза ежится, как будто ее застали на чем-то постыдном. Легко поверить несвежей головой, что Илья раздвоился, и пока один оглашает храпом московскую квартиру, другой, бессонный и переряженный, следит за нею. (Илья ревнив.) Мужчины говорят долго. Курилов недоверчиво смеется, держа этого человека за пуговицу. Лиза мерзнет, как забытая собачонка. Снежная дымка стелется по путям.

— Поехали, Лиза?

— Как мне хочется спа-ать, Курилов!

В потемках за водокачкой ждут ловкие санки. Успело запорошить их лубяной кузовок, а под меховой полостью скопилась крупитчатая стужа. Рядом поплясывает целая изба в тулупе. Она ввалилась на облучок. Визгнул полоз, свистнул кнут. Путешествие в Борщню — только повторение сна, но зыбкие символы его приобретают прочные, вещественные очертанья. Мороз обжигает ноздри. Дорога качается, и качается Лизина голова. Изредка снежная ветка стегнет по рукаву. С глубоким вздохом, как всегда при пробужденье, Лиза открывает глаза. Спросонок мнится, будто тоненькой пилкой отпиливают нос.

Из-за спины возницы выбегают перелески. Пейзаж бесхитростно припахивает свежей рогожкой и сенцом.

Курилов недогадлив: не поприедержит за плечо. На крутом спуске сани занесло, и Лиза едва не вывалилась со всего раската. Их ноги соприкасаются: так теплее. Ее колени слабеют от дремоты.

— Это еще не скоро, Курилов?

— Обопритесь на мое плечо и спите. Детям надо спать...— Остатки слов смывает сон.

Когда она снова открывает глаза, большой дом стоит среди деревьев. В нем темно. Сугробы по бокам его похожи на пенистые отвалы у корабельных бортов. Зеленая звезда, большая и добрая, стоит в зените... Они входят по скрипучим ступенькам. Домовитое тепло пахнет свежим, из печи, хлебом. Простоволосая женщина разводит приезжих по комнатам. Их номера 6 и 8. Ага, эти комнаты, считая промежуточную, выходят на один балкончик! Лиза срывает с себя одежду. «Покойной ночи всем, покойной ночи...» Так засыпают маленькие, подмяв под себя подушки.

...Старый дом остывал за ночь. Утром Лиза вскочила и вспомнила все. Ледяная вода намочила завитки на затылке. Весь день она будет носить с собою этот бодрящий холодок. В коридоре трещали печи и натекали лужицы с вязанок дров. Курилов уехал. Лиза выпила холодный чай. Лестница, помнившая тяжкую поступь Бланкенгагеля, поет и ухает под легкими шагами Лизы. Никто не попался по дороге. Отдыхающие разбрелись. Лиза распахнула стеклянную дверь и зажмурилась, точно лопату снега, перемешанного с солнцем, бросили в глаза. Все искрилось. Она заставала день во всем разгаре. Синие лыжные следы полукружиями расходились во все стороны от террасы.

Она прошла по разметенной аллее, озябла и вернулась. Кстати, позвонили к обеду. За столом находилось десять мужчин и шесть женщин. Лиза присела на уголке. Разговор шел о взаимоотношениях между транспортными и местными партийными организациями. Лиза удивилась оживленности их беседы. Курилова все не было. Как странно, что он не оставил даже записки!

— Вы из управления? — спросила соседка, передавая Лизе блюдо с мясом.

— Нет, я из театра... — И почему-то покраснела.

— А!.. вы инструктор? — И, оживясь, искала поддержки у других. — Вот хорошо...

Солидные люди поглядывали на нее с шутливым почтением. Лиза поднялась к себе. Молоденькая зашла к ней через полчаса, условиться, что именно они будут делать в драматическом кружке. Она была восторженна и нетерпелива. Тем временем солнечный спектакль за окном окончился. В окно виднелась серая холстина давешних декораций. В доме было много сверчков. Когда зажигали свет, они начинали свои запечные песни. Вечер был длинный, как железная дорога. Лиза снова спустилась вниз. «Ну, будем знакомиться...»

Она по очереди обходит усадебные постройки. Дверей здесь не запирают нигде. В свинарнике ворочаются и хрюкают сытые, съедобные чушки. Слабо синеет замерзшее окно. Сытые кони дремотно движут ушами. Нога мягко и звучно ступает по соломе. В узких стойлах вздыхают коровы. Кажется, старшая с содроганием рассказывает сестрам, что вчера опять по кормушке пробежала мышь. Новость заставляет насторожиться ее слушательниц. Теплый аромат навоза расширяет ноздри; жирно, приторно, свежими сливками пахнет он. Улыбаясь, Лиза проходит дальше.

В длинной оранжерее такие же тишина и сумерки, как в ней самой. Знакомая звезда зеленовато течет в крутой стеклянной крыше. Возможно, что она примерзла снаружи. Сизый многослойный дымок плывет над стеллажами. Топится боровок. Человек сидит возле на чурбаке; оранжевые блики огня скачут по его костяному лицу.

— Здравствуйте,— приветливо говорит Лиза. — Как угарно у вас. Цветам не вредно?

— ...зато от мошек хорошо,— не оборачиваясь, произносит садовник... — Недосмотришь, нонешние мошки все съедят. В клопу хоть совесть есть. Клоп не любит, как на него пристально посмотреть. Он стесняется, а эти... — И он кивает куда-то в сторону своих богатств, бесчисленного количества зимних цинерарий и примул; зеленоватый свет звезды мерцает на бледных венчиках цветов.

Садовник молчит. И оттого, что поза его, точно он беседует с огнем, соответствует настроенью Лизы, нет ей сейчас человека ближе, чем он, чужой.

— У меня нет никакого дела. Можно мне посидеть у вас?

— А садись... — И второй чурбачок волшебно выкатывается из потемок.

Печной жар властно охватывает Лизины коленки. Двое молча наблюдают последние метания огня. Как и все в мире, он не вещь, а только процесс. Оранжевая мышца огня встает из пепла и никнет. Пламенная судорога пробегает по раскаленным уголькам. «Как гордо умираешь ты, огонь!»

— Так в одиночку и сидите здесь?

— Зима, все повяло. А придет пора, все оденется... — Он говорит еще много, как бы сам с собою, и смысл его путаной речи в том, что в одиночестве приходится черпать из себя; тут-то и узнаешь, много ли внутри накоплено. — Наедине с собой побыть — все едино, что в гадальное зеркальце посмотреться...

Короткий и горький опыт дня заставляет ее согласиться без оговорок. Как много было ошибок! В одно дыханье не вскинешься на самую вершину. И вот оранжерея представляется длинной залой, где лежат мертвые, подобранные на улице или покончившие с собой. Лиза мысленно проходит среди них; они лежат к ней пятками, и на одной — пометка чернильным карандашом. Номера совпадают. «Так это ты, Закурдаев?» И все это сложное ощущение — растерянная вера в зеленоватую звезду, испуг перед неизвестным, отвращение к Закурдаеву, страх перед ласками Протоклитова — все это жестокой силой впрессовано в одну самовольную слезинку... За первой следует вторая. Лизины плечи вздрагивают. Она плачет. Никто не останавливает ее.

— Обидел кто-нибудь? — не шевелясь, спрашивает садовник, и Лизу томит ощущение, что он видит ее всю.

— Нет, я сама.

— А то зря! У каждого понемножку. Иной от болезни скулит, иной оттого, что денег мало. А я, так от жены... — Он скручивает папироску и пальцами берет на прикурку полузатухший уголек. И по всему, а больше всего по медлительности слов видно, что впервые объединяются вслух его разрозненные воспоминанья. — По военному времени произошло. Под Карпатами в три дня полущили нашу бригаду, ровно семечки. Война только начиналась, патронов богато, народишку еще боле. Согнали нас с разных рот человек полтораста, которые поцелее, гонят наступать. А местность — чуть покажемся,— лупят нас со всех горок. У меня приятель был, Гречишшев Василь Адрианыч, вояка тоже, вроде меня. «Пойдем, говорю, убеждают на-

ступать. Затягивай ура, а я подтяну». А он ску-у-ушный стоит: «Мочи нет, мутит меня... лучше бы сам на штык сел». — «Тогда, говорю, не годимся мы в ерои. Давай сматываться: войны без плена не бывает!» А уж пальба пошла, роняют нашего брата бессчетно. Прапор наш, такой кипучий парнишечка, уж лежит, на лбу — абы сургуча накапали, а лицо, скажи, поко-ойное, ровно в санаторий попал. Ну, значит, он нас не видит! Мы в кусты, орем, пустое место штыками шпыняем. До вечера ходили, никто в плен не берет. Под конец отвел нас по назначению один добрый человек, дай бог ему здоровья!

Садовник мешает жар в боровке и бережно, точно золотники, сбирает с земли упавшие угольки.

— Лагерек наш был небольшой, а работа громадная, а еда маленькая. Всяку отборную нечистоту заставляли работать. Видно, хуже падали пленный-то солдат! А у меня жена молоденькая была, только три месяца и пожили, ознакомиться не успели. Решился я тогда на рысковое дело, благо охраны-то — ну, ровно медведя на нитке стеречь! Да тут застрелили одного при побеге. Одумался я: прибегу, все равно ведь на позицию отошлют. Надо, значит, ждать, пока уж остальные не насытятся. Со временем трое нас образовалось, по-ихнему — альянс! И вроде негр один был с нами, очень хороший человек, хоть и черный. Заберемся в уголок, кажный про свою лопочет, я Машей хвастаюсь. Местечка на них не было, чтоб не описали. Кто в плену сидел, тому понятно! Вскорости распался альянс. Гречишшев от тифа, африканца же лошадь копытом в лицо хватила. Только по двадцать первому году вернулся домой... (Ехали всё, ехали, куда паровоз тянет, шестьдесят пять дён ехали мы назад, на родину, больные, срамные, опухлые. Иной — уж и губы помертвели, дотронуться жутко,— а и тот помертвелыми устами всё Машу свою кличет...)

Звезда движется с наружной стороны, и по мере того как движется она, высыхают Лизины слезы.

— А я допрежь лесником был... Как вышел на свою поляну, дрожат коленки: одно слово — подбитые. Местность болотная, комара-человекоеда много, а мне уж о ту пору и комар родня. Толкутся, поют вокруг меня, как собаки: должно, узнали!.. На поляне сторожка стоит, огонь в сторожке. Заглянул — ружье на стенке висит. Маша моя спать ложится. Покидал ее — сущий стебелек была, а теперь — в экое кудрявое деревцо распустилась... Очень хорошо, думаю, и что ружье на месте ви-

сит, и что жена спать ложится. И стукнулось мне пошутить на радостях. Был я в бороде, тощо́й, одежка не наша. Стучу... незнакомая собака откликается... прошу милости переночевать. Сказался соседним жителем,— благо всех на селе знавал. Заправская лесничиха Маша стала: вышла, посмотрела через плечо: «Входи, и чтоб по заре духу твоего не было». Свет потушила еще до меня, я на лавке лег. Натоплено, в дровах проживает. Лежу, смех меня берет: жена мужа не признала. Счас, думаю, ты меня расчухаешь... Полез к ней под тулуп, сгреб... и даже не толкнула, приняла. Поспал, а без радости: краденое. Лежит она на спине, говорит про жизнь, про хозяйство, очень интересно говорит. Мужа у ней будто убили, а она, дура, заклятье дала, что замуж не выйдет. «Сколько мужиков зря упустила!» — «Сдержала заклятье-то?» — спрашиваю. «То-то и беда, что сдержала». А уж ночь, ейного лица не видать, только ружье на стене поблескивает. «Заряжен громобой-то?» — «Заряжено, а тебе что?» Лежим, я опять: «Вот, заклятье давала, а я что — не муж?» — «Ты не муж, ты грех!» — говорит. Вот и все!.. И тогда, ой, тошно мне стало. Чуть начало светать, ушел я тихонько. Топор снаружи валялся, забыл с вечера; вогнал я его в осинку по самый обушок и ушел... Давно уж было! Помнится, как скрозь сна...

Папироска его догорела. Вянут в печке угольки, и уже вовсе не разобрать, что написано на лице у садовника. Лиза не знает, что́ надо говорить в таком случае. Где-то каплет. Душно пахнет парная земля.

— Спасибо за все... — тихо говорит Лиза и отряхивает с колен легкую глиняную пыль. — У вас здесь хорошо.

— Заходи, коли поправилось. За цветами приходи, все одно девать некуда...

И у него нет потребности оглянуться на смущенное лицо Лизы, чтобы узнать, с кем он делился историей своего одиночества.

ДЕНЬ, ОДЕТЫЙ В ИНЕЙ

Всю ночь кто-то ходил по парку большими шагами. Гулко стреляло в стенах. К утру образовался иней. Молоденькая дала валенки. Лиза попробовала стать на лыжи. Усадьба стояла на возвышенности. От ворот начинался крутой спуск. Львы на каменных вереях поросли розоватым на солнце, жестким мехом. Лыжи скользнули вниз. Накатанный полозьями снег по-

крылся за ночь ледяной глазурью. Все пошатнулось. Теряя палки, Лиза покатилась вниз. Ей удалось схватиться за дерево по дороге. Колкие перламутровые искры посыпались сверху. Лыжи застряли в кустах... Но зато уж потом с каждым шагом тверже становилась походка. Дорога вела на Ахметово и дальше, в Черемшанск.

Все было пенистое и розовое. Сколько нужно рук, чтобы в одну ночь и с такою пышностью нарядить лес! Горстка конского навоза на дороге походила на утерянную драгоценность. И даже осиновое полено, выпавшее из саженки, выглядело почти надменно, как будто с него началось творение этого великолепного утра... Жалобный лязг и фырканье донеслись из-за поворота. Лиза замедлила шаг. Навстречу ехал старый автомобиль, гордость Кости Струнникова. Он был заново обшит железом и покрашен мумией; надо было энергично ударять кулаком по резиновой груше, чтоб исторгнуть ржавый кашель. Природа содрогалась вокруг, и на лицах пассажиров было написано удовлетворение. Смельчаков было трое; кроме Курилова, Лиза не знала никого. Он закричал что-то, неразличимое за грохотом движения. Машина остановилась. Лиза узнала, что за рулем сидел сам директор, Струнников, а соседом Курилова был Шамин, секретарь районного комитета молодежи. Через две минуты машина уже примерзла. Ее подталкивали, заводили рукояткой, поочередно пробуя силы, но в старости любой машины есть что-то от лошадиной старости. Было легкомыслием останавливать ее до места назначения. Директор Костя ссылался на качество бензина. Никто не возражал ему из нежелания огорчать хорошего человека.

Чтобы не отставать, Лиза пошла пешком. Она испытала истинное облегчение, когда Шамин предложил ей нести лыжи. На нем был нагольный, весь в заплатках и коробом полушубок. Шамин был очень высок; у Лизы заболела шея говорить с ним. Выяснилось, что в Черемшанске происходила партийная конференция, и Шамин по телефону уговорил Алексея Никитича выступить. Курилов сказал отличную речь и, говоря о будущем, отыскал хорошие образы, тем более увлекательные, что фантастика их исходила из уже достигнутых цифр.

— Он очень интересный человек,— на всякий случай подтвердила Лиза.

— Да... И можете представить, что случилось с нашими хозяйственниками и кооператорами, когда он нарисовал приблизительные масштабы нашего будущего хозяйства!

— У нас мечтают все больше по линии насущного хлеба,— осторожно заметила Лиза и поглядела на Шамина, не обиделся ли. — А разве будущий человек станет съедать больше, чем ему нужно теперь?

Шамин говорил бегло, будто читал по книжке:

— Речь идет не только о пище. Мы хотим освободить человека из подчинения слепым стихиям. Он давно выстрадал право на лучшую участь; ему осталось только завоевать ее. Мы жадные, мы хотим много. Арктический лед и океанская буря, ход времени и самая смерть будут служить ему и ждать, когда им прикажут действовать!

Для убедительности он даже за плечо потряс Лизу, и той понравилось. Шамин горячился, длиннорукий, непримиримый, запальчивый. «Такого братом хорошо иметь!»

— Вы бы валенки лучше отдали подшить,— засмеялась она.

Он ответил совсем по-мальчишески:

— А у вас ресницы совсем белые от инея. Кстати, это у вас настоящие ресницы?

У Лизы они были выгнуты вверх. Лиза скорее догадалась по тяжести их, чем увидела, что они такие же мерцающие и пушистые, как все вокруг. Он объяснил свой вопрос:

— Говорят, на Западе их делают меховые.... чем-то обклеивают. Мыться уже нельзя, а только щеточкой. (Вот бы взглянуть!) Вы небось слышали, ведь вы артистка?

Совсем легко было говорить с этим открытым долговязым парнем:

— Была, Шамин, но выгнали.

— Сказано честно, но непонятно. Что же, за плохую игру?

— По совокупности обстоятельств... Вы потрите нос себе, он совсем побелел!

Шамин стал действовать, и, хотя варежка была зеленая, как трава, все краснее становился нос.

— Что же вы намереваетесь поделывать?

— Искать применения непонятой гениальности. Пока спросу особого нет. Так вот и сижу в самой себе, как в тюрьме. Помогите мне бежать оттуда. — Она могла позволить себе однажды даже такую искренность; завтра Шамин укатит, завтра он ее забудет! — Вот притаилась, как паучиха, и подкарауливаю...

Шамин усмехнулся и промолчал. Стал виден дом — дымки над ним. Лиза шла и дудела какой-то марш. Мерзлая воро-

на, вся в белом, валялась на дороге; валенок Шамина коснулся ее, и она упорхнула в сугроб.

— Что же вы замолчали? — спросил Шамин.

— Я думаю. Итак, сперва хлеб. Хлеб в широком смысле. А когда счастье?

Тот с досадой пожал плечами:

— Меня всегда сердит это слово. Оно не имеет никакого социального значенья. Одни видят его в ежедневной булке с маслом, другие в собирании музейной ветоши. И если счастье — производная многих вещей, которые очень скоро мы научимся изготовлять комплектами,— следовательно, счастливы будут все. Боюсь, что человеку все-таки будет мало. Счастье — переменная функция.

— Все будут счастливы,— машинально повторила Лиза.

— Скажем, вам нужно платье. Пожалуйста!.. приготовить платье предъявительнице трудовой книжки номер такой-то. Шатенка, размер сорок восемь, глаза... Какого цвета у вас глаза?

Она увернулась от его пристального взгляда и засмеялась:

— Зачем же вам глаза?

— Кажется, женщины ориентируются в этом деле на цвет глаз... Или, положим, вас заинтересовал Южный полюс при лунном освещении. Вы собираетесь на аэродром, усаживаетесь вместе с чудаками вашего сорта в некую ракетную таратайку. «Прислонитесь к подушкам. Полный газ!.. Готово, прошу закутаться плотнее. Обратите внимание на зеленоватое свечение льдов. Не оступитесь, здесь обрыв в океан». Затем небольшая лекция о полярном животноводстве, чашка кофе или медвежья котлета для полноты впечатления — и домой! Гражданка имеет третье желание, которого я не угадал? — И он с видом чародея, торгующего чудесами в розницу, потер руки при этом.

— Вы все шутите. А у меня действительно есть заявка на будущее.

— Прошу вас, заказывайте! — Он комично раскинул руки, точно стоял за прилавком обширного универмага человеческих удовольствий. — Наше учреждение обслуживает клиентов, вполне полагаясь на их добропорядочность и скромность. К тому времени станет стыдной и излишней птичья хлопотливость о самом себе... Итак, я жду вашей заявки!

— Хорошо, вот... — И, произнесенное вслух, это давнее желание отпадало прочь, как омертвелая шкурка при линьке. — Я хотела бы сыграть Марию Стюарт.

Шамин быстро нашелся:

— Прочтите, пожалуйста, вслух пункт второй на обороте вашего клиентского билета. Там сказано, что счастье каждого индивидуума должно быть согласовано со счастьем других. Я правильно прочел? Ваш спектакль состоится в зависимости от того, доставит ли он удовольствие вашим зрителям, найдется ли у вас сказать новое об этом образе. Кстати, зачем вам понадобилась эта мрачная средневековая дама? Ищите что-нибудь поближе.

— Например?..

— Хотите приехать к нам в Черемшанск? Мне нужны восемь руководителей драматических кружков... а откуда их взять? Харч у нас дешевый, ребята отличные, климат, как видите, также живописный. Мне нравится, как вы давеча отщелкали себя. Нам такие подходят... а?

— Я боюсь, что у меня ничего не выйдет. Я мало умею.

— Мы не торопим вас с ответом,— улыбнулся он, относя ее сомнения за счет осторожности.

Дорога окончилась. И когда они поднимались к воротам, мимо промчался какой-то клубок тряпья. Сверкнули напуганные глаза на чумазом лице да еще руки — не меньше десяти, так быстро он размахивал ими. За ним гнались, и, не отступи Шамин вовремя, лежать бы долговязому на снегу. Все произошло, как в кино. Мальчишка скользнул по наледи вниз и забарахтался в куриловских объятьях. Он уже не бежать хотел, а только спрятаться от расправы. На том месте черной куриловской шинели, куда пришелся его рот, сразу образовалось инейное пятно. Их окружили. Из перекрестных криков выяснилось, что беспризорник обокрал борщнинского завхоза. Похищенное нашли, за исключеньем дамских рукавичек. Сам пострадавший был тут же, в теплом свитере и новеньких, еще не отоптанных бурках. Все расступились, давая ему почет и место: мальчишка принадлежал безраздельно ему одному. Тяжелая, как бы не уверенная в своих правах рука потянулась к грязным обмороженным ушам воришки. Курилов брезгливо оттолкнул этот инструмент казни, и тотчас же завхоз вскинул на него мутные глаза:

— Зря ребенка балуете, товарищ Курилов. Этак все мы красть будем, все...— И пятнами гнева стало подмокать его лицо. Должно быть, уже не впервые мешали ему свершить акт справедливости. Нужно было как-нибудь побольнее обидеть Ку-

рилова. Его голос взвился до фальцета: — Я на вас Мартинсону стану жаловаться...

Алексей Никитич строго посмотрел на этого человека. Из всех собственников, каких ему доводилось встречать, этот был самым крикливым. (И, значит, всем уже стало известно о возможном уходе Курилова с дороги?) Затаясь, ждали, не обмолвится ли завхоз о характере куриловской провинности, но тот молчал, напуганный собственной дерзостью. Разочарованные, зрители разошлись. Последней с места происшествия удалилась Лиза. Она прошла к себе и заперлась. Давний, почти забытый вкус украденной репки жег ее язык... Через час она отправилась к Курилову. Дверь была закрыта, и напрасно пыталась Лиза прочесть по неразборчивым звукам, что происходило в комнате. Ее спугнула уборщица — несла миску дымящихся щей. В короткую долю минуты, пока раскрывалась дверь, Лиза успела разглядеть все. Мальчишка сидел в углу, скомканный, точно завязанный в узел, и развязать его пытался всякими способами Алексей Никитич. В старообразном, плохо отмытом лице пленника были написаны ожесточение и упорство. Просторная куриловская рубаха была ему, наверно, хуже кандалов... Именно так чувствовала бы себя Лиза в его положении.

Она вернулась к себе. До самого вечера не читалось. И не запоздалую благодарность к устеремскому огороднику испытала она теперь, а лишь ироническое удивленье, почему не ударил, раз сошло бы безнаказанно!.. Перед ужином Курилов зашел за нею. Он осведомился, как она устроилась в Борщне, и долго раскуривал трубку.

— Устал,— признался он потом. — Выяснилось: звать Гаврилой, а Гавриле десять лет. Совершенный хорек. Ему хлеба, а он тебя... — И с усмешкой рассматривал руки, исцарапанные в утренней суматохе.

— Как люди к нему, так и он к людям. Квиты!.. Этот все равно от вас убежит. А надо, чтоб сам пришел, вот! Я это дело хорошо понимаю.

— У вас было, по-видимому, неважное детство, Лиза?

— Тоже крала. Тогда плохо подавали, да и стыдно было просить. Красть легче, Курилов.

— Давайте уж до конца! Оглянитесь... неужели ни одного настоящего человека не попадалось вам?

— Кроме вас?

Он забрал усы в кулак и хмуро мял их.

— Обо мне вы рано составили суждение. Думали, что вместе с другими я линчевать примусь этого зверька? Во-первых, у нас на этот счет строго... А во-вторых... Скажите, муж не помог вам изменить суждение о людях?

— Я всегда боялась его. Хотелось зажмуриться, когда он приближался. И я болтала, болтала при нем, только бы доказать, что я существую, несмотря на его присутствие!

— Зачем же вы сделали его своим мужем?

Она сказала, растерявшись:

— Уж какой достался...

Зазвонили к ужину. Алексей Никитич пошел взглянуть, «спит ли бесценное Гаврило». Лиза ждала его в коридоре. Пискнуло что-то в стене, и немедля откликнулось в комнате напротив. Потом сразу в два голоса отозвалось в противоположном конце, где печка, и побежало вниз по лестнице, и вернулось назад, вспыхивая то здесь, то там.

Начинался вечерний концерт сверчков.

В ЧЕРЕМШАНСКЕ

К январю обычно возрастало количество дорожных происшествий. На Волго-Ревизанской в большинстве это были случаи снежных заносов. Каким бы маршрутом ни отправлялась буря, территория дороги неизменно оказывалась на ее пути. В эту пору черемшанские начальники поднимались задолго до света, чтобы обойти свое хозяйство к семичасовому гудку.

Каменные постройки ремонтных мастерских разместились у подножья лесистого холма. Все вокруг них пропиталось гарью и копотью, даже снег, всегда припудренный тонким слоем угля, даже тощие бальзамины в барачных окнах, даже дети, чумазое племя будущих паровозных мастеров. Но там, на горе, если из вполья глядеть поверх деповских крыш, призрачно светился станционный поселок, и окна в луне казались слюдяными. Свежие, еще пахучие срубы ступенчато поднимались по склону горы, раскиданные среди редких взбежистых сосен. Незаметно они переходили в циклопические нагроможденья ночных облаков, пронизанных лунным сияньем. Они выглядели тогда как видение простодушного мечтателя о будущей беспечальной жизни, выращенное в сернистом, удушливом тумане. Крутая деревянная лестница сводила оттуда в беспокойное, изрезанное рельсами пространство; в них никогда не переста-

вал звучать отголосок колес. И каким бы хлопотливым ни намечался день, Протоклитов всегда на минуту задерживался здесь; где-то внизу караулил его охотник Курилов.

Держась за обледенелые поручни, он вглядывался в низину перед собою, полную чадных и блуждающих огней, неистовых машинных дыханий и дребезга снующих колес, загроможденную силуэтами чудовищ с горбами и гривами из непрозрачного дыма, насыщенную резкой для непривычного уха гаммой металлических голосов и вместе с тем легким снежным хрустом, отдаленно напоминающим о молодости. Еще до зорьки рано, еще тлеет в диспетчерской башне огонек... но с пятого пути, судя по сигнальным приметам и лязгу сцепки, отправлялся товарный маршрут на Воронеж; медленно, останавливаясь у каждого вагона, полз односторонний, белого стекла, фонарь: главный кондуктор списывал их номера. Третий путь ждал пассажирского из Сибири, а на шестом зеленый семафор, похожий на глазок павлиньего пера, приглашал войти чеэнку, чернорабочую машину, растаскивающую порожняк (сортировочной горки в Черемшанске не имелось). Другой маневровый настойчивым пунктирным свистком просился на второй путь, потому что состав местного сообщения, из Улган-Урмана, ежеминутно мог ударить ему в хвост. Сердился машинист, а стрелочник все медлил. «Чего кричишь, пускаю на второй...» — проиграл он на рожке и фонарем показал двойную, над самой землей, дугу: паровоз шел тендером вперед. Тотчас же из четвертых, крайних, ворот депо, сыто храпя и подрагивая на стрелках, вышла громадная машина серии КУ, угадываемая лишь по глубокому выдоху поршней да по могучему, приподнятому над тележкой торсу. Пар гремел, и Глеб записал в памяти: дать при встрече нагоняй дежурному кочегару за разогрев котла свыше законных двенадцати атмосфер. Итак, готовили сменный паровоз под новосибирский, дальнего следования. Он приходил в 6.40; меньше получаса оставалось до гудка. Так, стоя на тридцатиметровой высоте, Глеб читал события ночи по движениям огней и разноголосице звуков, угловато начертанных на тишине.

Этот поезд с востока неизменно приносил с собою мучительное и тревожное смущенье. Его многоголосый гудок, где бы ни заставал, напоминал Глебу о длинном пути, который когда-то сам прошел пешком, и невозможно было противиться этому властному голосу, как зову друга, с кем однажды поделе-

ны были радость или разочарованье. Всякий раз, как с грохотом пара в золотниках дико и неохотно останавливался у платформы паровоз, Глеб испытывал безотчетную потребность вскочить в последний вагон и заново проехать в прошлое. Хотелось вложить пальцы в зловещие отметины его, лишь бы еще и еще раз удостовериться, что сам он остался жить... Поддаваясь искушению, безотчетному и более сильному на этот раз, он стал торопливо спускаться вниз. Где-то слева и вдалеке пропел паровозный гудок и сверкнули стремительные огни. Глеб бежал вниз, прыгая через ступеньки, разрывая варежки о снег, намерзший на поручнях. Прошлое приближалось, и Глебу требовалось прикоснуться к нему, чтобы потом с животным ликованием отдернуть руку. Никто не видел его, совсем не тормозила воля. Вокзал находился на противоположной стороне станционной территории. Глеб добрался до него за мгновение перед тем, как вагоны, скрежеща в сцепленьях, остановились у платформы.

Там, возле забитого снегом палисадника, стояли кипы рогожных кулей, заготовленные под хлеб. Прислонясь спиною к ним, Глеб наблюдал суматоху, обычную для прибывающего поезда. Из предпоследнего вагона вывалились сперва корзины и мешки, а следом — четверо мужиков с физиономиями, залежанными с одной стороны. Тот же плоский отпечаток досок, на которых они лежали, сохранился и на самих их фигурах. Скрипя овчинами, мужики прошли мимо. Еще двое каких-то, бессонных, вышли подышать морозцем. Они равнодушно глядели, как бегал смазчик вдоль всего состава, как везли почтовые тюки к багажному вагону. Потом из третьего — от головы — вагона вышел человек в меховой куртке и с видом озабоченной праздности побрел по платформе. Он дважды прошел мимо Глеба, прежде чем рискнул заговорить с ним. Очень осторожно он осведомился, по-прежнему ли работает в местном депо Протоклитов...

Эта встреча сбивала с ног не хуже куриловского выстрела! Прошлое откликнулось на вызов и посылало своего гонца. Перед Глебом стоял Кормилицын. Была еще возможность спрятаться, избегнуть этой встречи; Кормилицын не сразу опознал лицо приятеля под приспущенной на самые глаза кубанкой; самое удивление выдало Глеба.

— Ты же утонул! — И с суеверным чувством, точно защищался, вытянул руку.

Тот засмеялся возбужденно, обрадованно,— это был повизгивающий смешок животного, отыскавшего наконец своего хозяина.

— Ого, ты веришь в привидения! — И с маху хлопнул по плечу в знак того, что не обиделся на оговорку. — Ничего, я постараюсь утонуть в следующий раз. Ну-ка, покажись мне весь. Да ты совсем молодцом, Глебушка! Ты пахнешь копотью... Индустрия! — И деланно похохотал, озабоченный молчанием приятеля.

Высокий, на мачте, фонарь помог Глебу разглядеть его серое, небритое, со впадинами на щеках, лицо. Кормилицын отяжелел и осутулел за эти годы, но еще болела ладонь от его рукопожатья. Острая, хриплая нотка какого-то крайнего ожесточения то и дело сквозила в тоне его речи. Он говорил много и часто, деликатно давая время Глебу оправиться; он отмечал необыкновенную моложавость Глеба, сочувствовал его одиночеству, хвалил его житейскую хватку; он пытался шутить без всякого повода, и уже через три минуты его болтовни стало раздражать Глеба это неуместное и беспричинное балагурство.

— ...далеко едешь?

Тот развел руками.

— Это зависит от попутных обстоятельств. Я ведь теперь бобыль, Глебушка. Старушка моя скапустилась ко всем чертям, а Зоська... Я не писал тебе про эту гадину? — Он весь сжался, закрыл лицо рукою, и такая сила была в этой судороге, что Глеб не удивился бы, если бы тот и разрыдался, уткнувшись в мерзлые рогожные кули. Стремясь предотвратить припадок, Глеб брезгливо коснулся его плеча, и тот понял его вынужденный жест как выражение сочувствия и ласки.

— Все мне безразлично теперь, Глебушка... все, кроме дружбы! Видишь ли, у меня нет тайн от тебя. Спуталась моя Зоська с агрономом одним. Носатый, черный, и имя зверское, точно из Апокалипсиса... Экзакустодиан, каково имечко, а? Парень раза в полтора меня выше. Э, она у меня всегда сластена была! — Он поперхнулся своей тоской, схватил руку Глеба и жалко, искательно, просовывал ледяные пальцы к нему в рукав, добираясь до живого тепла. — Тут я и запил, весь чирьями покрылся, с работы меня выгнали. Компаньон вскоре у меня отыскался. Он был лютый бас, в опере пел, а ему по пьяному делу палкой по горлу стукнули. Должно быть, хрящик какой повредился. Ну, и съежился его бас...

Глеб глядел куда-то в направлении головной части поезда.

— Очень интересно, если не врешь... — цедил он и уже сердился, что так долго не прицепляют паровоза. Их могли увидеть вместе... и все-таки он поддерживал разговор, лишь бы не расставаться врагами. — А я очень удивился твоему письму, Евгений.

— Это что я утоп-то? А ты и поверил, чудо-юдо! Кто же купается в октябре, милая душа! Что я, меховой, что ли, или непромокаемый?.. Не сердись, но мне показалось, что ты тяготишься мною. Я и порешил стать для тебя мертвым, чтоб доставить тебе спокойствие. Эту переписку я сам же и устроил Зоськиной рукой... (Понюхай, понюхай, рогожи-то на морозе фиалками пахнут!) А потом устыдился, что так дурно подумал о тебе. Словом, самый факт, что я заявляюсь к тебе теперь, рассматривай как меру моего раскаянья и дружбы!..

— Я не в том смысле, Евгений,— вставил Глеб, стремясь застраховать себя от писем на будущие времена. — Но ты написал неосторожные вещи в письме.

Кормилицын с видом заговорщика нахмурил брови.

— Ты думаешь?.. пожалуй, ты и прав. Теперь развелось много любознательных...

Глеб нетерпеливо перебил его:

— ...И не опоздай, Евгений. Поезд простоит не дольше полминуты...

Бригадный кондуктор уже держал наготове свисток; машинист выглядывал из будки (и страшно было видеть, что делала с ним зевота). Но тут оказалось, что Кормилицын никуда не торопился. О, его планы не нарушатся, если в дальнейший путь он отправится и вечерком. И вообще было бы законно, если бы Глеб пригрел на денек и накормил его, сорокалетнего, без папы и мамы, сироту. Это было сказано в том смысле, что, как бы далеко ни разошлись они по ступенькам общественной лестницы, солдат всегда имеет право прийти к солдату, с которым делили когда-то сноп гнилой окопной соломы,— хотя бы затем, чтобы молча просидеть у него час. И такая пристальность, почти приказание, читалась в его взоре, мимолетном и угрожающем, что Глеб не порешился раздражать попусту этого подбитого человека.

— ...конечно,— сказал он с неискренним оживленьем,— я рад поболтать с тобою. Но твой багаж?..

— Он в карманах! — И с хвастовством нищего показал пустые руки.

— У тебя нет ничего?

— У меня нет ничего. Сокровища мои остались у Зоськи. Понимаешь, даже бритва... Хотел к прокурору, но мне отсоветовали, как бывшему...

Так было даже лучше; с вещами он обращал бы на себя внимание.

— Отлично. Ступай, я вернусь тотчас же после обхода депо... — И только когда стало уже не догнать последнего вагона, передал ключи и, по чертежу на снегу, объяснил, как отыскать его дом на горе. — Но постарайся найти без расспросов!

Они возвращались сквозь игольчатый утренний мороз, поочередно перекидываясь через тормозные площадки, обмениваясь всякими замечаниями,— как ходили много раз и прежде, с тою лишь разницей, что теперь никто не пугался встречи с ними, да не очень удавалась былая искренность... Тем временем стало рассветать. Вступил в действие громоздкий механизм дорожного дня, и все жило ожиданием близкой смены. Густой сонливый дым стоял над депо; еще светились непотушенные, закопченные за ночь фонари, но уже подвигалось низкое, помойного цвета небо; громыхал в потемках маневрирующий порожняк; с перебранкой бежали станционные люди — неразговорчивое, всегда невыспавшееся племя; кошка с опаской пробиралась по путям, и вот, по-галчиному галдя, уже связывали мальчишки свои санки вверху горы, чтобы дружным поездом скатиться вниз.

У депо, где чистился над канавой паровоз, доставивший Кормилицына, друзья расстались. С минуту Глеб исподлобья следил, как развинченной походкой и чуть горбясь гость его поднимался в гору. Он шел не торопясь, должно быть — руками и глазом ощупывая этот совсем незнакомый ему мир, и, новичок, всем уступал дорогу. Вот он поскользнулся на обледенелой ступеньке, но не упал; вот проводил глазами ораву ребятишек, восторженно низвергавшихся по укатанному склону горы. Наверно, ощутив физическую тяжесть протоклитовского взгляда, он обернулся и что-то кричал, приветственно помахивая шапкой. Этими же жестами дружбы и близости он просил его не задерживаться в депо. Тогда Глеб повернулся спиной к нему и перед самым носом входящего паровоза нырнул в черный зев деповских ворот.

Тотчас же, как будто только его и ждали, взревел глуховатый утренний гудок.

ДЕПО

В такой ранний час утра депо представлялось огромными четырехугольными потемками, со всех сторон обложенными черным камнем. Ощутимые даже сквозь кожанку, бродили в нем рассветные сквознячки. Подобно металлическим брусьям под потолком, они связывали воедино разрозненные впечатления об этом сводчатом и нежилом пространстве. Депо состояло из шести секций; каждую из них промывные каналы делили на ряд стойл, и в них, с плотностью поршней вдвинутые в полутьму, покоились недвижные тела машин. Иные стояли без колес, поднятые на домкратах для обточки, другие как бы зевали разверстыми дымовыми коробками, и видны были располосованные светом их черные трубчатые внутренности. Оживленье начиналось по мере того, как очередная смена заступала свое место. В прокоптелых воронках на потолке зажигался неверный, чумазый свет, и в сознанье отпечатлевались не целостные предметы, как привык мыслить о них разум, а лишь искромсанные части их, попавшие в тусклые, качающиеся световые конуса. По числу лампионов таких кусков в первом помещенье, куда вошел Глеб, было четыре.

Можно было бы обобщить наблюденье и показать, как меняется выраженье мира в зависимости от того, освещен ли он ущербной луной, или вспышкой шрапнели, или тленом угасающего костра. С равным правом запах мог лечь в основу описанья, и тогда краской служили бы даже едкий смрад горелой пакли, или ядовитый дымок паровозов, стоящих под заправкой, или щекотная смесь пара и перегретого мазута. С не меньшей выразительностью и звук способен был оформить очертания деповского утра. Тогда в звуковой путанице ухо различило бы шумы трудовых процессов — скрежет сверл, или вкрадчивый шелест трансмиссий, или визг напилка, наложенного на подшипниковую бронзу... Подавленное настроенье Глеба могло стать таким же оформителем впечатлений. И хотя пока ничего преступного не произошло там, на платформе, никогда чувство вины не обострялось в нем до такой степени. Оно придавало подчеркнутую новизну этому месту, знакомому ему до отвращения. Так, с давно утраченной остротой он ощутил сернистый привкус угольной гари на языке... Вдруг он вопросительно вскинул голову.

Он услышал простенькую, в пределах одной октавы, мелодию, затейливо выписанную на шумовом фоне депо. Где-то

здесь, среди дремлющих и паралпчных машин, пели дрожкие латунные язычки. И оттого, что не сразу поддавались разгадке ни инструмент, ни самая песенка, раздражение Глеба усилилось. Стремясь доискаться до причины, он вступил в ближайший световой круг. Мелкий, частый грохот передался ему одновременно и через ноги и через ухо. Человек с отбойным молотком приник к дымогарной решетке; он вальцевал трубы. Гудело гулкое чрево котла (но песенка была слышнее!). Мастер поздоровался с начальником, и начальник отошел. Такой же точно паровозный хирург сидел на горбу другой машины, копаясь в сухопарном колпаке. Факелок, похожий на чайничек, пылал сбоку. Оранжевые, текучие отблески огня глянцевели на засаленных штанах мастера, и заплаты на них были как бы из красной меди. Самое лицо мастера исчезало в потемках, но вот блеснули зубы, и Глеб понял, что тот улыбнулся.

— Стараются татаре-то... всю ночь малярили! — И показал на соседнюю секцию, откуда доносилось шипенье пара и исходило голубоватое свеченье. — Точно невесту обряжают... На такую во всем Черемшанске хахаля не найдешь!

Смысл его замечания был злостный, непонятный, но постыдный.

— Я не люблю твоих прибауток, Гашин,— сдержанно заметил Глеб,— и давно держу тебя на примете.

Мастер засмеялся, с низменным воодушевленьем сдернул с себя шапку, и странно было видеть, что прическа у него слежалась в виде кепки. Смешок означал, что Гашину известны пределы его власти и что ссориться с ним не следует.

— Еще бы не приметить: место тесное. Я и не такое за тобою примечал, Глеб Игнатьич. — И тихонько постукивал молоточком по балансу, а намека своего не разъяснил.

Было унизительно стоять перед ним и ждать, не проговорится ли; вместе с тем не хватало силы повернуться и уйти. Держа руки в карманах, Глеб молча всматривался в лицо самого опасного из врагов (так ему тогда казалось) и старался припомнить, при каких обстоятельствах они встречались раньше.

— ...и скажем прямо, шалят ребятки, и оттого непременно что-нибудь у них случится.

Ясно, этот человек приложил бы все старания к тому, чтобы пророчество его оправдалось. Ему прямой был смысл противиться выпуску комсомольского паровоза. Когда-то эта машина находилась в его ведении, пока за неоднократный об-

рыв поезда в пути не перевели его с правого крыла на левое, а затем и вовсе сняли с паровоза по настоянью молодежи. Глеб хорошо знал, кто именно бросил горсть песку в цилиндры паровоза и каким образом угольная лопатка оказалась в дымовой его коробке. Но это был единственный человек в депо, на которого не подымалась карающая рука Протоклитова. Считали даже, что Гашин находится под особым благоволением начальника депо, и удивлялись вслух, когда тот не сумел отстоять любимца. Надо было уйти куда-нибудь от этих нестерпимо дерзких глаз, но последнее, приличное для начальника слово не подыскивалось. Зная отношение Протоклитова к начинанию комсомольцев, Гашин видел в нем прямого сообщника и ворчливую сдержанность начальника принимал за намерение держать его, Гашина, на почтительном расстоянии от себя. В этом месте опять зазвучала давешняя мелодия, и тогда Глеб машинально обернулся к соседней секции депо. Он заглянул туда.

У окна происходила автогенная сварка. Догадались отставить защитную ширму, чтобы воспользоваться этим дополнительным освещением. Сиянье горящей кислородной струи во много раз пересиливало рассветные сумерки. Окна казались темными, хотя уже окончательно рассвело. И, празднично сверкая в пульсирующем свете, стоял посреди комсомольской паровоз. Потребовалось ввести эту громадную вещь в такое тесное пространство, чтобы явственней стали ее могучие размеры и возможности. То была гордая и красивая машина серии ЭШ, № 4019, пятискатная, с заново отремонтированным котлом, с зеркальными прожекторами и с поручнями, свежевыкрашенными в пронзительный суриковый цвет. Гигантский значок КИМ, точно снятый с груди богатыря, украшал широкую, конусом вперед, дымовую коробку паровоза. Профильная тень его на стене, чуть откинутая назад, как бы на последней скорости, могла служить девизом к замыслам будущих конструкторов. Машина исходила паром, и было что-то колдовское в том, как гремучий кипяток из брандспойта бился в стальные мышцы движения.

Ее мыли; после долгих волнений наступало самое ответственное испытание. Скоро, совсем скоро 4019-я уходила в свой первый пробег. Человек десять молчаливых ребят с тряпками и паклей суетились вокруг длинного, почти стрекозиного тела машины. Отполированные дышла и наружная арматура уже радовали глаз, но какой-то предельной, навеки пленяющей кра-

соты хотелось добиться энтузиастам. (Глеб подумал, что женам с такими жить будет жарко и весело.) Кстати опять зазвучала металлическая песенка, уже громче, ближе и увереннней. Мелодия была чиста и приятна; было хорошо, что чья-то свежая озорная нежность вступила в суровую утреннюю скуку депо. По возрасту и опыту Глеб был старше этих ребят, но не острое стариковское чувство было причиной его раздраженья. Все время он не переставал думать о Кормилицыне; в самом факте его приезда заключалась недоступность для Глеба этих простых и честных радостей.

Он прошел за машину. У просырелой стены, на тонком слое пакли, сидел парень в старенькой, залатанной фуфайке, одно колено подогнув к себе; сапог на другой, вытянутой ноге подмокал в лужице воды. Музыка исходила отсюда. Левая рука парня держала недокуренную папироску, а в правой была зажата пластинка дерева, одетая жестью и начиненная уймой всяких латунных голосков. Он самозабвенно проводил мимо губ свою певучую игрушку, и стремительная россыпь звуков — то собранных в низкие трелистые пучки, то в одиночку, по-птичьи звонких — заставляла улыбаться его хмурых, бессонных товарищей. С видом сосредоточенного равнодушия Глеб слушал эти музыкальные упражнения. Кочегар Скурятников, из бригады комсомольского паровоза, был совсем недавно принят в организацию. Он был дерзкий, чудаковатый, не без норова; товарищи его любили.

Скурятников открыл один, потом другой глаз, и музыка замолкла.

— Что это вы играете? — по возможности дружественно спросил Протоклитов.

— Марш играем, товарищ начальник. — И спрятал гармошку в карман.

Он имел право заниматься чем угодно в свой выходной день; он никому не мешал здесь в уголке. Протоклитов собирался осведомиться и о причинах такого веселья, но тут его заметили; послышались шутливые приветствия, и кто-то вслух, настороженно позвал невидимого пока Пересыпкина... Надо было как-нибудь отметить их молчаливое упорство и усердие: Протоклитов сказал негромко, что на такой машине не зазорно въехать прямо в социализм. Ему гаркнули в десяток дружных глоток: «Налегаем!» Затем что-то зашумело в будке, и тотчас незнакомый молодой человек стал спускаться с паровоза, непривычно цепляясь за поручни. Фигура эта показалась за-

нятной Глебу; на вид ей было уже не меньше двадцати, но она стоически выносила бремя своего возраста. Вся она была обвязана ремнями, как чемодан в далеком путешествии. Рукав кожаной рыжей куртки носил следы свежей краски, и паренек заметно франтил этим пятном, как боец гордится раной. С минуту он пытливо и озабоченно всматривался в паровоз, точно в любимое свое творение, барабаня пальцами в походную сумку на боку. Потом протянул руку Протоклитову и сообщил, что это он и есть Пересыпкин.

— Давно ищу случая познакомиться с тобой! — заметил он с насупленными бровями.

— Ну, найти меня легко. На горе́ собственный дом, нижний этаж...

— Тогда извини,— тихо сказал Пересыпкин. — А я искал тебя в депо.

Упрек был незаслуженный; Протоклитов большую часть суток проводил в депо, но так уж пришлось к слову, и, кроме того, юношу слушали товарищи. Он и сам поторопился смягчить свою дерзость признанием трудностей деповской работы. Однако проявленная мягкость показалась ему чрезмерной, и он снова весь заострился, готовый к бою.

— Вот,— начал он, с нежностью касаясь голубоватого мяса стали, еще теплой от кипятка. — Вот то́, чему ты противился. Отличные у тебя ребята, Протоклитов. С такими только на штурмы ходить!

Протоклитов намекнул, что паровозная служба — дело сложное и выглядят несколько наивно скоропалительные суждения о ней.

— Ну, я не первый год на транспорте! — обидчиво вспрянул Пересыпкин.

— В таком случае, ты хорошо сохранился для своих лет, товарищ!

Тот вскинул лицо, уколотый в самое больное место; даже в роговице глаз, казалось, проступила краска. И, точно заподозренный в невежестве, он выпалил в один дух все обвинения, какие успел собрать в черемшанском депо. Он упомянул случаи недодачи паровозов, частый повторный ремонт, неправильное чередование горячих и холодных промывок; стремясь к похвальной точности, он указал, что у машины С-64 тендерные коробки разболтаны и текут, а в машину ОВ-201 еще вчера закачали несмягченную, при жесткости в тридцать процентов, воду. Наведя легкую критику на планы цеховых ячеек, он

спросил также, почему т. Идрисова не кончила до сих пор расчетов по водокачке за вторую половину ноября. Он раскалялся и потом — драться, так уж до конца! Угольная смесь по полугоду валяется под эстакадой, пока все калории не изойдут в воздух. Температурный режим в депо не соблюдается, и паровозы подвержены простуде в той же степени, что и люди...

— ...Они ж чихают у тебя, как сумасшедшие! — запальчиво и своеобразно заключил он.

Они были не одни; ребята слушали каждое слово этой перебранки. Копоть углубляла рельеф их нахмуренных лиц. Начальник депо указал молодому человеку и уважаемому журналисту, что разговор ведется в присутствии людей, от которых он требует безусловного подчинения. Он повернулся спиной к Пересыпкину, пообещав в свободную минуту и в ином месте продолжить эту поучительную беседу. Затем деловито, без особой ласки, он поблагодарил комсомольцев за проделанную работу и сказал об ответственности, какую они отныне берут на себя. Тотчас же старички, собравшиеся на шумок, оживились, и один каркнул вещее словцо «докатаются!», а другой пообещал выбрать им самую грязную рогожу для знамени, если проиграют эту слишком крупную для их опыта игру. Третий прибавил баском, что и до ремонта эта машина хаживала без греха.

— Осподи! Да дай в нее тройку лопат хорошей марки, и пар гремит!

Так несостоявшаяся ссора завершилась шутливой и дружеской перекличкой стариков и молодых. Комсомольцы приглашали начальника депо прийти к ним на собранье после гудка. Это было шагом к примиренью. Протоклитов пообещал и, стремясь закрепить дело дружбы, осведомился, кто станет испытывать машину. Высокий широкобровый юноша в замасленной, с графитовым глянцем спецовке выступил вперед. Это был единственный в Черемшанске механик из татар, только что переведенный с левого крыла на правое. Его звали Сайфулла, ему было не больше двадцати пяти. Он доводился каким-то дальним родственником Бадрутдину Зиганшину, комиссару мусульманского батальона, погибшему, по слухам, в башкирском восстании под Белебеем. И правда, Сайфулла походил на своего легендарного родича: те же рост и матросская осанка, та же гордая, всегда примкнутая подбородком к груди голова, те же острые, с желтинкой, чуть исподлобья ястребки-глаза. И, может быть, оттого, что Протоклитову довелось однажды

повстречаться с Зиганшиным, он недолюбливал и этого красивого и мужественного человека.

Ребята ждали слова от начальника.

— Ну, поздравляю, Сайфулла! — И даже угостил папироской. — Расти большой, умей хозяйствовать, не промахивайся...— И вдруг спросил мимоходом, что тот станет делать, если лопнет дышло в пути.

Таких вопросов не задают бывалому машинисту: широкие, как у его кочевых предков, брови Сайфуллы сомкнулись у переносья. Волнуясь, он заговорил, и с первых же слов стало видно, что о таинствах парораспределения он имел несколько смутные понятья. Глеб кивал одобрительно и стряхивал пепел с папироски. Потом он протянул руку юноше, и все тело Сайфуллы повело застенчивой и благодарной улыбкой.

— Вот хорошо, вот хорошо, начальник! — бормотал он, роняя на пол кусок наждачной бумаги.

Ребята разбрелись, а юноша все стоял посреди дымящихся луж, опустив глаза на свои растопыренные, в копоти и ржавчине, пальцы. Жар недавней радости проходил; сквозь спецовку, надетую поверх рубахи, добирался утренний озноб. Татарин поднял голову и увидел машину, владыкой которой становился. Детская мечта сбывалась, но иным представлялся теперь паровоз, чем в сновидениях крестьянского мальчонки. Он глядел на эту груду умно и отчетливо организованного металла, когда-то подавлявшую его воображение, и, казалось, наспех и в уме повторял все, что знал о паровозе.

В каменных выемках под крышей жили упитанные деповские голуби. По-воробьиному тесно они сидели на кирпичных выступах, покрытых парчой инея, и болтали что-то — наверно, о новых и новых хлебных эшелонах. Сайфулла рассеянно слушал их воркотню, напоминавшую о давних мальчишеских увлечениях. Громадный путь отделял его от прошлого. Вдруг он схватил шкурку с пола и принялся оттирать свежую рыжеватинку на буферной тарелке.

РАЗГОВОР С ПРОШЛЫМ

Кормилицын ждал Глеба, пристроившись на его койке.

Она была жестка; сквозь одеяло прощупывались щелеватые доски. Он оперся локтями в колени и так сидел, закрыв лицо руками. Часов у него не было, и неизвестно, сколько вре-

мени он высидел так, в безделье и забытьи. Он отдыхал от путешествия, от Зоськи, от самого себя... Дом был двухэтажный. Время от времени двигали стулья наверху, и Кормилицын, вздрагивая, всматривался в тесовый, гладко выструганный потолок. Он почувствовал голод и обошел комнату в поисках еды. В некрашеном стенном шкафчике, аккуратно сложенные, лежали нитки, пуговицы и всякая обиходная мелочь холостяка. Стопка книг по паровозному делу возвышалась на подоконнике; Кормилицын машинально полистал их. Третьим сверху оказался томик Ленина с красным матерчатым корешком; он напуганно, как от огня, отдернул руку. В незапертой плетеной корзинке под койкой хранились новые суконные штаны, белье и сверху, совсем на виду, револьвер. Холодок вороненой стали почему-то вызвал в памяти образ Зоськи и ее нового, громадного во всех своих частях любовника. Вещь почти прилипла к руке, потребовалось усилье воли, чтобы стряхнуть ее назад. Других тайников здесь не было. Комната казалась пустынней, ни зеркала, ни соринки... Все это соответствовало представлению Кормилицына о его приятеле. Это было лишь временное, по дороге к возвышению, пристанище Глеба; и здесь-то, на перекрестке двух дорог, суждено было им встретиться. Оба не имели вещей при себе; Глеб оттого, что подымался в гору, а Кормилицын — торопясь вниз, в долину блаженных. Так называлось на их давнем интимном языке последнее место назначения для всякого кожаного мешка с душою.

Тем временем за окном прояснилось. Дым спадал, и в небе призрачное, почти намек, объявилось солнце... Гость начинал сердиться. В самом отсутствии Глеба мнился ему заведомый и хитрый план: сократить до предела время близости. И так велика была все же его привязанность к Протоклитову, что разом простил ему недобрые догадки, едва тот вошел. С любовной и смущенной улыбкой он следил, как тот громадными ломтями резал хлеб и взламывал консервные коробки. Дополнительно Глеб извлек из кармана горсть конфет и бутылку водки, окончательно рассеявшую подозрительность Кормилицына.

— Я доставил тебе хлопот, Глебушка?

— Пустяки, присаживайся, будь гостем. Меня задержали, извини.

— У тебя неприятности в депо?

— Нет... но все горланят о борьбе, убеждают друг друга и забывают, что в атаку ходят молча. И прежде всего надо

гаркнуть басом этой равнодушной шпане: хочешь жрать досыта, хочешь жить в теплом доме, исполняй свое дело как следует. Я бы их поставил на место, да руки у меня коротки, Евгений!

И он со злой откровенностью распространился на эту тему, а Кормилицын почти восхищенно кивал ему, с точностью зеркала подражая его лицу.

— Ты умный, Глебушка. Ты умеешь выразить то, о чем я только подумаю. И ты любил всякое дело исполнять по совести. Но не кричи, вокруг чужие люди. — Он показал на потолок. — Там все стулья двигают... ничего это? Я теперь раскусил твой намек насчет письма... ты уж извини по дружбе! Кстати, что же ты, так без женщины и живешь?.. Обходишься? — И собрался было сделать соответственный жест, но испугался внезапного блеска в глазах Глеба. — Я хотел сказать — без семьи?

— Да, я один. Ты пей, пей... я в депо пообедал! — И это прозвучало, как «напивайся скорее!».

— А сам не хочешь со мной? Ну, не настаиваю. Значит, за нашу встречу, милый старик! — сказал хрипло, от нахлынувшего чувства, гость. И выпил, и, видно, застряло где-то; он провел ладонью по горлу, как бы продавливая слишком крупный глоток, и сидел оглушенный, со сконфуженным и подпухшим лицом. — Я уж еще налью, можно?

Глеб пристально изучал своего гостя. Это был только скелет прежнего богатыря, наспех обтянутый нездоровой, нечистой кожей. И какой-то дьявол неутешного горя надоумил его сверх того отрастить эти унылые поповские космы.

— Ты основательно пьешь, Евгений?

— Нет, изредка... чтоб отрегулировать организм. Понимаешь, увидел тебя, и ожило все, что закопано под нами. Вот мы ходим, и шаги наши гулко отзываются в их гробах, а? Так выпьем за них, которые слушают сейчас нашу беседу... Тебе не нравится, что я бубню?

— Нет, отчего же... ты мой гость. Только ты закусывай, закусывай!

— Так за вас, мертвые, погибшие нежеланной смертью! — сипло провозгласил он куда-то в пространство и высоко поднял руку, и, точно взорвалось в нем вино, поморщился, и опять потянулся к бутылке, но посовестился и спрятал руку под стол, и сидел, левой рукой пощупывая несуществующую бородку. (Видимо, в самом начале новой жизни за-

вел себе бородку, но сбрил в минуту просветленья, а привычка осталась.)

Глеб молчал; он сам вызывал свое прошлое на поединок, и оно выкинуло ему эту кость из могилы, и он следил, прищурясь, как содрогается на ней какой-то уцелевший мускул. Пряча глаза от друга, Кормилицын копался в консервной коробке перочинным ножом.

— Это лещ? — спросил он, тяготясь молчанием Глеба.

Похоже было, что вопрос разбудил Протоклитова.

— Кто ты теперь?

— Кто? — И захохотал униженно, постыло и визгливо. — Да как и ты, просто беспартийная шатия...

— Но ты... порядочный человек?

— Я не убиваю и не граблю...

— ...Сидел в тюрьме?

— Да. У меня нашли при обыске полковое знамя. Плохо спрятал, дурак я...

Глеб вопросительно поднял глаза; Кормилицын никогда не служил в пехотных частях.

— Откуда оно у тебя?

— Мне дал его на сохранение покойник Ферапонтов... Помнишь его?

Еще бы не помнить это приплюснутое снизу, мясистое, как у кита, лицо (и там, в смуглой мякоти его подразумевались косоватые глаза). Имя это пользовалось понятной и заслуженной ненавистью у красных.

— Ты сказал, он умер?.. отчего?

Кормилицын выпятил губу:

— Хо, отчего в наше время может умереть порядочный человек... от революции. Его опознали в поезде, он выпрыгнул на ходу, но сломал ногу. Стареем, уж не до гимнастики! Вот и мы с тобою...

— Ну, положим, сходство маленькое.

— А почему? — взъярился тот: начинало действовать выпитое вино. — Мы тоже вполне израсходованные люди. Э, не притворяйся, Глебушка! Тебя спасло неистовство твое, а меня лень — я ведь всегда оставался в тени. Но нам обоим поздно начинать себя снова и рано кончать... — Так, махнув рукой на будущее, он обращался к прошлому. — А чудно, Глебушка... в Забайкалье небось багульник зацветает сквозь снег. Еще ни листочка, а уж малиновые на голых прутиках цветы!

— Рано еще цветам.

— А что у нас нынче?.. январь? Да, пожалуй, рано. — Он правильно рассчитал, что под багульник можно выпить и пятую, третья и четвертая проскочили как-то сами собою, в пылу беседы. — Зачем это ты Ленина у себя держишь? У тебя бывают посторонние или... для цитат?

— Нет, я читаю его,— твердо сказал Глеб.

— Так, понятно. — Он с любопытством покосился на Глеба. — И что же, нравится тебе, как... он пишет?

Глеб постучал пальцами в стол; пора было кончать эти прятки.

— Видишь ли, Евгений... я член партии.

— Да ну-у? — пучеглазо, со всею искренностью, удивился Кормилицын. — И давно?

— Лет семь...

Тогда Кормилицин поднялся и энергично отодвинул недопитую рюмку; она расплескалась. Он был бледен и скорее сконфужен, чем потрясен оглушительным цинизмом признания. Глаза его забегали по комнате, пока не отыскали шапку. Он долго смотрел в ее засаленное ватное донышко, как бы не понимая назначенья вещи, потом положил обратно.

— ...не может быть! — И подмигнул почти напуганно. — Ты смеешься надо мной. Это все длится великий твой обман... ты же никогда не уважал меня, Глебушка, а?.. Как же все это произошло?

— Боюсь, что это выше твоего понимания, Евгений.

— Да, ты был даровитее всех нас. Ты все рассчитал, ты же математик. Но я помню твою угрозу, что надо считать перебежчиком всякого, кто пойдет на советскую службу. Неужели ты и тогда предвидел, кто кого подомнет? Наверное, ты хотел, чтобы всех нас постреляли и чтоб некому было уличить тебя... так ведь? — Он вскочил и с разгону вцепился в Глеба, скомкав одежду на его плечах. — Кричи, дьявол, правда это?.. а как же все, что было? А как же мы-то?.. что же нам-то — рукоплескать тебе, что ли?

— Это ваше дело. И не дыши на меня, Евгений: противно!

Кормилицын отошел, с машинальной брезгливостью вытирая руки о полы своей шерстяной рубахи. Он поднял шапку с пола; напряженно соображая, что же именно случилось, он выдергивал по волоску из меха и бросал вокруг себя. Вдруг он обиженно ухмыльнулся и очень бережно положил шапку на край стола.

— ...ну, тогда я, пожалуй, и сяду. Чего же мне стоять перед тобой! А я-то, балда... — Уже не стесняясь, он налил себе еще и следом еще, несчитанную. — Странно: ведь я ничего о тебе не знаю... есть ли у тебя сестра, брат, мать — чтоб плюнуть тебе в глаза! или ты от непорочного зачатия произошел? Кто же ты, кто?.. и как же... я хочу спросить: ты предан этой, новой власти?

— Я сам эта власть,— не очень уверенно произнес Глеб, решаясь идти до конца. — И я делаю свое дело честно и искренне.

— Да, да, понимаю. Что же это, честолюбие? Судя по твоим пожиткам,— он насмешливо обвел глазами пустые стены,— профиту тебе пока мало. Рассчитываешь отыграться в будущем?.. и ты же не за социализм борешься, но и не за какую-нибудь свою систему общего счастья, даже не за право открыться впоследствии, чтоб плакали над тобой, как над Жаном Вальжаном... Ведь ты же без верхнего этажа человек, без бога, без совести... ты, смертельно равнодушный ко всему, примазался к большим игрокам — а для чего? Занятно, все в жизни повидал, а вот раскаявшихся негодяев не приходилось... И знаешь, я могу убить тебя сейчас, и меня станут судить как убийцу советского праведника, а?.. — Он хохотал, балансируя на стуле, размахивая всеми конечностями. — Ах ты, гл-ладиатор, сук-кин сын...

Он проделывал все это уже без всякого стеснения, запрокидывал голову так, что Протоклитову видно было в подробностях его небритое, кадыком вперед, горло. (Стулья в верхнем этаже вдруг перестали двигаться.) Вслед за утратой кровли и жены Кормилицын терял единственного друга и мстил ему, и сыпал ему в раны соль, чтоб закричал наконец и признался в нечестной шутке. Чуть прищурив глаза, Глеб следил за конвульсиями Кормилицына. То была живая улика прошлого. Раздавленное, оно извивалось под ногами если не в состоянии ужалить, то ища хотя бы осквернить прикосновеньем...

Внезапно бешенство одолело разум Глеба. Руки непроизвольно сжались, и ладони с галлюцинаторной четкостью ощутили колючее, небритое горло Кормилицына. Внешне оставаясь недвижным, он сжимал кулаки, и оно туго подавалось, продавливалось внутрь, хрящеватое, теплое, ненавистное... А тот все хохотал, пускаясь в замысловатые рулады и переливы, размахивая руками и следя украдкой, как темнели протоклитовские

зрачки. Он перестал так же неожиданно, как и начал, и с прежней собачьей униженностью налил себе еще.

— Я прогоню тебя, Евгений, если эти судороги повторятся еще раз,— невозмутимо заметил Протоклитов и откровенно разглядывал следы ногтей в своих ладонях. — Кстати, я не особенно и верю в их естественность.

Сверкнув глазами, Кормилицын высоко поднял рюмку:

— Мне нравится бесстрашие твое, друг. Беру назад подлые свои ругательства. Пророчу тебе: ты в самом деле далеко пойдешь! Это, пожалуй, и лучше для нас обоих. Я старею, я становлюсь все менее изобретательным... ведь ты не забудешь меня? Итак, за великую будущность твою! — И тост прозвучал как обещание не портить карьеры друга. — Вот теперь можно и закусить. Я, знаешь, проголодался...

Он ел с порядочным аппетитом, ведя учтивый и вполне интеллигентный разговор. Темой служило пережитое и передуманное. Так, в повесть Кормилицына входили и описание совхоза, и живописные сведения о ссоре с неким бухгалтером Чумко, и кое-что об интересных разговорах со следователями, из которых последний заявил по окончании допроса, что он, Кормилицын, совершенно неопасен для советской власти. «Большой нахал; но в общем ему нельзя отказать в известной доле юмора!» Глеб рассмеялся проницательности чекиста и даже собирался выпить рюмку за состоявшееся примиренье, но тут прибежали из депо за Протоклитовым.

Кормилицын боязливо проводил его до двери.

— Ты надолго?

— Во всяком случае, мы еще увидимся до твоего отъезда. Советую прилечь и отдохнуть, Евгений. Я разбужу тебя...

Тот замялся:

— Видишь ли, я боюсь, что не достану билета на вечерний поезд...

— Пустяки, я устрою тебя в вагон. У меня имеются знакомства на станции...

Он ушел и пропадал до сумерек. Когда, за полчаса до прихода поезда, Глеб вернулся за Кормилицыным, тот все еще сидел у стола. Бутылка перед ним была пуста. Глеб сказал, что пора собираться, но тот бессвязно бормотал что-то все о том же бухгалтере Чумко; видно, досадил ему тот неизвестный кляузник. Глеб попытался было окрикнуть эту падаль, но та зашевелилась и выпустила когти. «Мы с тобой всё в сюртуках, а ну-ка, давай сымем их, любезный!» Однако он тут же раскаял-

ся в своей дерзости, заплакал, запросил прощенья и стал окончательно нестерпим.

— Я тут твои валенки надел, Глебушка,— вспомнил он и выставил вперед ноги из-под стола. — Они у меня обморожены были, болят... ноги-то, а?

Это были великолепные козловые сапоги, с длинным начесом и новыми обсоюзками, теплые, как лежанка в домовитой избе; вещам такого рода в Черемшанске знали цену, но Глеб на все махнул рукой:

— Ничего, забирай их на память, Евгений!

Тот упирался; обоим становилось тошно от этого соревнования в благородстве, где каждый ошибочный шаг мог иметь совсем обратное значенье.

— Мне стыдно, Глебушка... я ведь не грабитель.

— Пустяки, пустяки! Ну, я договорился насчет билета. Тебя сунут на место... Одевайся.

Кормилицын мялся и смущенно поглаживал краешек стола. Вдруг он заявил откровенно, что приехал не в гости, что ехать ему некуда, что временно он решил остаться у Глеба. «Жаль, понимаешь, ноги из валенок вынимать. Пригрелся... а взять их как-то совестно!»

— Значит, ты надолго ко мне? — по возможности сдержанно спросил Глеб.

— Боюсь, что да... — Приподнявшись через силу, он попытался заглянуть в самые глаза друга: — А здорово ты меня ненавидишь, Глебушка?

Он едва стоял на ногах; было бы равно и бессмысленно и опасно волочить его в таком виде через станцию. Тогда Протоклитов запер его на ключ и отправился на работу, более спокойный с виду, чем когда-либо.

На ночь Кормилицын великодушно устроился на полу. «Ты работаешь, Глебушка, тебе нужен отдых». До рассвета его мучил кашель. Все сотрясалось при этом. Дважды в течение ночи Глеб привставал взглянуть, какие гарпии терзают грудь этого дурака,— из всякого рода друзей он предпочел бы теперь иметь собаку: ее по крайней мере можно и застрелить в нужде.

МЕРТВЫЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ

Итак, он не уехал ни завтра, ни в один из последующих дней... Глеб ничем не выразил неудовольствия, даже притащил досок на плече и собственноручно сколачивал ему кровать, по-

ка тот, недоверчивый на всякую ласку, сидел рядом, в позе искусителя, истребляя остатки протоклитовского табака. Теперь все у них делилось поровну, даже белье. Кормилицын брал свою долю небрежно, жил сорно, вел себя надоедливо, все требовал вина и косил глазком при этом: ждал, что старый приятель взропщет, взбунтуется, а тогда-то он и разразится над ним ливнем мертвых костей, их совместным прошлым. Глеб как бы не замечал этих беспричинных приступов вражды, и втайне Кормилицын завидовал его уменью подчиняться без утраты выдержки или достоинства. Раскаяние приходило по мере того, как все глубже гость осознавал свою роль непрошеного нахлебника, если не шантажиста.

Однажды, придя с работы, Глеб увидел вымытые полы и понял, что Кормилицын томится бездельем. Сам он очень уставал в этот месяц и свалился в кровать, не произнеся ни слова. Днем позже он застал Кормилицына за штопаньем белья. Лицо его было красное и напряженное; заплаты выглядели уродливо; он сердился на свою неумелость и на исколотые пальцы. Кормилицын смутился, сунул иглу куда-то в паклю между бревнами и поспешно отошел к окну.

— Мне совестно есть твой хлеб,— через минуту сказал он оттуда глухо и ожесточенно.

Впервые он заводил такого рода разговор. (Обычно в присутствии Глеба он любил разыгрывать лодыря и еще недавно обмолвился фразой, достаточной, чтоб взбесить: «Брился сегодня утром, ужасно устал...») Глеб лежал на кровати и смотрел в потолок.

— А почему? Его достаточно у меня, кажется. Напротив, ты мало ешь для мужчины твоего сложения.

Кормилицыну почудился иронический оттенок в этих словах.

— Тебе это смешно, Глебушка... а ведь я еще живой! И мне хочется, чтоб и я — как все. Мне, например... — Голос его звучал так, словно речь шла о несбыточном. — ...мне даже хочется купить какой-нибудь сундучок, и чтобы там лежали новые брюки, непрочитанная книжка, собственная бритва, портрет девушки... хотя бы даже лет тридцати пяти, мне ничего! Ну, чего ты смотришь на меня египетскими глазами? У тебя, наверно, нечестные мысли обо мне! Э, не финти, Глебушка. Вчера ты имел бестактность предложить деньги, чтоб запихнуть меня куда-нибудь в санаторий. Это, пожалуй, слишком откровенно, милый. Боюсь, тебе столь быстро не избавиться от

меня. Я так понимаю нашу дружбу, что — или совместно взлетим с тобою, или грянемся оземь в обнимку. Пока не сдохну, я буду ходить за тобой, как верный пес, слышишь?.. но я загрызу тебя за минуту до того, как ты мне изменишь. Помни!..

Снисходительно и терпеливо Глеб выжидал конца очередного припадка. А когда эти словесные конвульсии окончились, он поднялся, обнял Кормилицына за плечи, заглянул мужественно и властно в его вылинявшие глаза, назвал дурачиной, и тот обмяк, осунулся весь, пожелтел, стал меньше ростом, поверил его мужской, сильной, грубоватой ласке.

— Разве я гоню или упрекаю тебя, Евгений? — И со скукою слушал суетливую тираду о том, как хочется Кормилицыну ожить, распрямиться, принять человеческий облик. — Чего же ты хочешь? Скажи, нас никто не слышит... мы обсудим.

Оттенок оживления явился в лице Кормилицына.

— Я хочу... (ему было страшно, как будто кто-то мог отказать ему в этом!) я хочу забыть все, уставать, как ты, врыться в эту грязь и копоть... и чтобы кто-нибудь, хотя бы самый маленький, хотя бы через десять лет, похвалил меня. Ты большой, сильный человек... помоги мне! — Весь красный от стыда, он произнес наконец это: — Я хочу работать.

Глеб выпустил его из своих объятий, потому что удивление оказалось сильнее, чем фальшивая давешняя нежность. Было странно умолять о работе в стране, где в любом деле и повседневно ощущается нехватка людей... Вместе с тем это было самое большое, что Кормилицын мог потребовать от него. Появление в Черемшанске нового человека, да еще с помощью начальника депо, привлекло бы широкое общественное вниманье. Из сотни зряшных догадок одна могла прийтись как раз впору, и тогда крушение становилось неминуемым. Некоторое время спустя Глеб потребовал у Кормилицына его документы и тщательно изучал их со всех сторон. Между прочим, он выразил неуместное изумление, что тому только сорок один; в ответ Кормилицын объяснил с горьким смешком, что остальные двадцать до шестидесяти протекли за один последний год. Глеб молчал.

— Ну!.. — поталкивал Кормилицын и зябко потирал руки. — Ведь я же отбыл все наказания. Или ты веришь в какой-то особый, первородный грех, достаточный для постоянного моего отлучения от жизни?

— Ты... чист? — неожиданно спросил Глеб.

— Ты уже спрашивал меня об этом. Могу сказать, что мне очень трудно притворяться свиньей. Я не боюсь никакой работы и раз взятое исполню хорошо.

Тогда Глеб вслух стал перечислять все возможные должности в Черемшанске. Табельщиком или нарядчиком паровозных бригад Кормилицын не мог стать без основательного знания деповского дела. Сидеть в конторке он не пожелал сам, хотя когда-то в этой самой должности служил на железной дороге. Оставалось только место заведующего деповским складом материалов. Его возможного предшественника собирались увольнять за продажу на сторону двух килограммов нашатырного спирта. По этому не очень хлопотливому разряду полагалось двести пятьдесят в месяц и, кроме памяти да честности, не требовалось ничего.

— Я жду, выбирай, Евгений! — с холодком предложил Глеб.

Тот вспыхнул и отвернулся.

— Мне бы куда-нибудь пониже, Глебушка. Любая работа... — ударил он на слове. — Я же очень сильный, ты не веришь? Экзакустодиан-то избегал встречаться со мною!.. Мне казалось, что если бы мне начать с самого низа, со дна жизни, как ты...

«Ага, этот бухгалтерский чин желал мучений!» Ниже была только деятельность деповского чернорабочего; она составлялась поровну из мускульной силы, скромности и безусловной исполнительности. По этому разряду нервов не полагалось иметь вовсе; не стоило искать другого средства с равными целительными свойствами. При хорошей дозировке этого лекарства у человека не оставалось времени побыть наедине с собой; таким образом, возникала надежда избавиться от себя и мучительного призрака Зоськи... Имелись налицо и для Глеба смежные выгоды, и первая заключалась в возможности держать Кормилицына подальше от себя. Вместе с тем Глебу не составило бы никаких хлопот устроить его на эту должность: текучесть чернорабочей силы в черемшанском депо неоднократно бывала предметом особых обсуждений. Администрация и сама частенько путалась в фамилиях и лицах этих людей. Словом, один из полусотни обращал на себя меньше внимания, чем один из пятка. Самое раздумье Глеба указывало на его согласие. Дело заканчивалось к обоюдному удовольствию. Весь тот вечер Кормилицын выглядел рассеянным, не пил водки, ронял вещи и, ближе к ночи, ушел бродить в снежные перелески на

борщнинскую дорогу. Теперь оставалось разыграть для публики заключительную пантомиму. Они решили сделать вид, что встречались когда-то, еще в ремонтной колонне, и Глеб по старой памяти покровительствует бывшему человеку на новой стезе раскаяния и труда. А пока что мирные будни все еще чередовались с истерическими конвульсиями Кормилицына... Уже на другие сутки Глеб проснулся среди ночи; какая-то внезапная сила через голову сорвала с него одеяло; он проснулся от ветра. Наклонясь к самому изголовью, Кормилицын стоял над ним с горящей спичкой, и явным безумьем отливала обычная косинка его глаз.

— Зачем же ты раздел меня? — строго спросил Глеб и не решался нагнуться за одеялом, чтобы в темноте не подставлять Кормилицыну затылка.

Чиркнула новая. Корчась и возбужденно смеясь, тот пояснил, что ему приспичило посмотреть на сукина сына в голом виде: «Ты хочешь убежать от колес, но все равно... ха, все равно они тебя настигнут! Вертись, вертись...» Глеб брезгливо усмехнулся на эту патологическую галиматью, а утром поднялся с головной болью, следствием двухчасовой ночной возни с этим ожившим покойником. Прикинув в уме всякие варианты и повторения этой сцены, он припрятал револьвер из корзинки в одно потайное, ему одному известное место. (Он успел заметить посещения чужой небрежной руки.) Во второй раз Кормилицын разбудил его по другому поводу, таинственно тормоша за плечо. Из бредовых его речей выяснилось, что ему приснилась Зоська, изменница и последняя его привязанность на этом свете... Она мучила его даже в сновиденьях! Заикаясь, поглаживая волосатое запястье Глеба, он описывал ему Зоську, как ее не знал никто,— ее высокий рост и гордую покатость плеч, ее гортанный металлический голос, темные, слишком правильные, как от циркуля, полудуги ее бровей, ее длинные и полные ноги, ее щеки в смешнушечках и нестерпимо розовые, точно наколотые усищами теперешнего ее молодца, ее глаза в смеющихся ресницах, чуть зеленоватые, как озерная вода сквозь осоку,— ее всю и в самых сокровенных женских тайнах. Глеб слушал его, спиною чувствуя каждую лучинку кострицы в конопатке стены. Какое-то темное, скрытное, мужское любопытство начинала вызывать в нем эта женщина, которой он не видал никогда. (Лишь наутро ему пришло в голову, что Кормилицын сознательно делал его сообщником своей

тайны, тоски и ревности, показывал ему живую Зоську, чтобы было на кого перенести злобу и мщение.)

Красной незрячей пленкой подергивались у Кормилицына глаза. Он простонал, падая и мечась:

— Она мне с этим Экзакустодианом... везде! Деревья палые вижу в лесу — они. Вхожу в темноту — они двое. Я закрываю глаза — опять они, они. Как же она его ночью-то, в обнимках-то, кличет... Кузей, что ли?

Его трепало в горячем знобе, и можно было представить, какие видения день и ночь наполняли пространство вокруг него. При этом ревность удесятеряла воображаемое количество соперников; они шли уже взводами, и всегда в центре их, развеселая, находилась Зоська. (А на деле это была тихая женщина, которой вконец опротивели унылые и восторженные клятвы кормилицынской любви!) Становилось понятно, что он убил бы ее, будь она поблизости...

Рассчитав все последующие за преступлением события, Глеб увидел в этом неплохой способ избавиться от Кормилицына. О, Зоське было гораздо больше причин опасаться за жизнь, чем Протоклитову. Тогда Глеб решил помочь другу, направить его руку так, чтобы не промахнулась. Надо было спешить: ненависть мелкого человека требует немедленного насыщения. Утром Глеб положил револьвер в корзину на прежнее место: так ставят перемет на рыбу. Он уходил в депо с уверенностью, что час спустя Кормилицын в поисках свежей рубахи наткнется на находку и сама вещь надоумит его. И верно, на другой же день Глеб не нашел револьвера на месте: наживка была проглочена... но к вечеру оружие появилось снова, чтобы исчезнуть через сутки. Кормилицын колебался выстрелить в свою вчерашнюю любовь, и Глеб решил усилить свой гипноз прямыми расспросами о Зоське.

Замышленную операцию он проделывал не слишком тонко, не церемонясь с сердцем этого скучного солдата. Он интересовался подробностями его запоздалой любви; он выражал сочувствие выгнанному любовнику; он растравливал зверя в нем, завинчивал свои слова, как штопор, в затверделую шкуру Кормилицына, нащупывая какой-то самый чувствительный в его мужском достоинстве нерв... Предположения Глеба не оправдались. После первого же дня работы Кормилицын заявился полумертвый от усталости и тотчас же завалился спать. Он набросился на работу с яростью голодного; никто не требовал от него таких усилий. Он нарочно изматывал себя на самом

тяжком, вертел ручные домкраты, поднимал паровозы на обточку; снимал дышла, чистил шлаковые каналы. Его чрезмерная расторопность могла даже внушить опасные подозрения, что не только ради заработка он поступил в черемшанское депо; старательность могли принять за маскировку. Одновременно Кормилицын стал посещать всякие кружковые занятия, высиживал скучные лекции, и девственное невежество в политических вопросах надежно охраняло его от посторонней зоркости. Ему нравился этот угар; он верил, что вместе с обильным пóтом с него сползает и вчерашняя шкура. Постепенно его наружность, речь, повадки становились неотличимы от тех же свойств его товарищей. Он выглядел теперь трезвее, черный воздух депо оказывался благодетельным для его душевного здоровья. Переезд в общежитие задерживался по разным причинам; так же как когда-то от кашля Кормилицына, теперь Глеб страдал от его чрезмерного храпа. Призрак Зоськи не ломился более в наглухо замкнутую дверь, забаррикадированную паровозными топками, бидонами со смазкой — всем, что в течение дня проходит через руки чернорабочего. (И Глеб решал со сдержанным сожалением, что, может быть, там, во сне, Кормилицын и убил ее!) Постепенно между ними устанавливались нормальные отношения начальника и подчиненного.

...И вот уже он пытался произнести самое слово — социализм. Глеб сердился, когда робкий и затихший Кормилицын приходил к нему и длинно выспрашивал, как именно будет выглядеть этот новый мир. И ни разу Протоклитову не удавалось насытить жгучую жажду знания в этом дикаре.

— Я присматриваюсь к тебе, Глеб. Ты ешь серый хлеб, знаешь только свои паровозы, спишь на жестком, не высыпаешься...

Тот отшучивался:

— Ничего, со временем отосплюсь за всю жизнь.

— Ты не хочешь говорить со мной об этом?.. может быть, мой язык оскверняет твою будущую страну? Но ты сам-то... Ведь нельзя же верить в ничто! — Очень путано он выкладывал свои опасенья; по его мнению, мысль всегда концентрируется в одной общественной прослойке, как капитал в руках стяжателя, а мысль вместе с собственностью не отнимешь у людей.

Протоклитов говорил, зевая:

— Мысль станет достоянием всех. У каждого будет с избытком времени подумать о мире и о себе.

— Вот-вот! — подхватил Кормилицын. — Но ведь никто не может предписать, чему вырасти на его костях, а?

— Что ты хочешь сказать?

— Новые-то люди родятся от старых, а ты загляни вовнутрь себя. Тебе все ясно там? Непонятно, но я не умею точнее... Хорошо, вот: кто же будет править и м и?

— А зачем это им нужно, чтобы ими управляли? Тогда не будет власти.

— Кто же укажет и м, куда двигаться... или что́ есть добро и зло?

— А кто указывал первобытному человеку?

— У него не было такого хозяйства.

— ...у него не было и такой культуры.

Кормилицын недоверчиво усмехался; в этих шахматах он чувствовал себя новичком.

— Ты не торопись, Евгений. Почитай, подумай. — И набрасывал приблизительную схему того, во́ что пытался верить. — Новый человек создаст себе железных рабов по образу своему и подобию. Словом, он станет богом. Он будет душою громадных механизмов, заготовляющих впрок пищу, одежду и удовольствия. Эти железные суставчатые балбесы будут трудиться, петь песни, пахать землю, плясать по праздникам на манер Саломеи, даже делать самих себя. Человеку не потребуется изнемогать от работы, он должен будет только знать...

— Это интересно,— тянул Кормилицын. — Я всегда любил почитать про чудеса науки и техники. А люди — сами по себе?

— Будут отдельные объединения... скажем, северная или северо-восточная ассоциация производителей льна. Возможно, единственным органом государства будет центральное статистическое управление планеты. Там будут составляться сравнительные таблицы за истекший год.

— А кто будет делать выводы из этих таблиц?

Его беспокойство за столь отдаленную будущность смешило Протоклитова:

— Ну, об этом нет и у Маркса. Это далеко, и это только деталь.

— Вот я и говорю о том человеке, в чьих руках соединятся нити совершенного знания. Ты не обижайся на меня. А что, если им станет такой же Протоклитов, как ты,— самолюбивый, затаившийся, не раскрытый никем?

Это был отголосок прежней и, казалось бы, погашенной вражды.

— Такой человек бессилен будет принести вред. Кроме того, он будет и сам совершенен...

— А ты помнишь в прошлом хоть какое-нибудь божество, лишенное недостатков? И потом — почему непременно в р е д! Он будет делать п о л ь з у, но по своему усмотрению... Словом, я не верю тебе, Глебушка. Революция убила врагов и поддержала друзей... но сколько и тех и других осталось еще нераскрытых!

Протоклитов начал сердиться. Он пошел к окну. Можно было заболеть от одного разговора с Кормилицыным. Глебу никогда не нравились простодушные провинциалы... Смеркалось. Чья-то тень мелькнула на снегу; по кожаной сумке на боку, придававшей характерный рисунок силуэту, Глеб узнал Пересыпкина. Молодой человек направлялся к нему, и Глеб вышел встретить его в сенцы, Кормилицын стал невольным свидетелем одного примечательного разговора. Упала железная щеколда, и почти сразу:

— У меня к тебе два дела, Глеб Игнатьич. Во-первых, относительно комсомольского паровоза: завтра он отправляется наконец в первый рейс... и мне немножко тревожно!

Глеб перебил его:

— Боишься ответственности?

— Я боюсь, что моих трудов слишком мало, чтобы делить вместе с н и м и эту ответственность,— заносчиво отразил Пересыпкин и тотчас же смягчился. — А может быть, зайдем поговорим?

Кажется, он намеревался проникнуть в комнату, но Протоклитов не видел необходимости затягивать этот разговор:

— К сожалению, ко мне сейчас нельзя, дорогой товарищ. Видишь ли, у меня сидит... — и уже шепотом,— девчонка одна...

Опять погремела щеколда. Протоклитов вернулся со сконфуженным и лживым лицом. По счастью, Кормилицын не заинтересовался, почему Протоклитов не пожелал сводить его с Пересыпкиным.

— Что же ты мне сразу-то не сказал, что бабёшку ждешь? — фамильярно, мальчишеским басом упрекнул он, чтоб не выдать вдруг мелькнувших подозрений.

Он заторопился, чтоб не мешать протоклитовскому свиданию; замешательство Глеба получало естественное объяснение. Они расстались на этот раз вполне мирно и как будто даже довольные друг другом. Глеб вышел посмотреть, не стоит ли Пе-

ресыпкин за углом. Зная о его почти родственной близости с Куриловым, начальник депо подозревал какую-то иную, спрятанную цель в посещении молодого человека.

САЙФУЛЛА

Им хотелось, чтоб это была самая шумная ночь за все время существования в Черемшанске комсомольской организации.

Ближе к ночи молодежь собралась в клубе. Вопреки обычаю, на повестке стояло одно лишь огненное для них слово — паровоз. Ребята пришли прямо из смены, и хотя в соседнем кинозале крутили в тот вечер ковбойскую картину, беспартийные заполнили скамьи задолго до начала; они ждали продолжения борьбы, приобретавшей почти романтическую увлекательность. Долго не начинали и всё поглядывали на дверь, но Протоклитов так и не пришел... Там, на столике, стоял радиоприемник, и кому-то пришло в голову поискать, не танцуют ли где-нибудь на свете. Из свиста вскоре родился звук. Это был одинокий ночной голос с московской радиостанции; он передавал сводку погоды. Центральное метеорологическое бюро оповещало о зарождении циклона где-то в районе Гаммерфеста. Буря двигалась по дуге через Мурманск, к югу от Печоринского бассейна. Пересыпкин, печатавший подобные сводки у себя в газете, разбирался в такого рода пророчествах; он оглянулся на беспечного Сайфуллу, сидевшего в президиуме. Глаза у него при этом были такие, точно кто-то третий замахивался на молодого машиниста. Решили начинать без Протоклитова.

Секретарь деповской ячейки огласил ответную телеграмму комсомольцев из третьего района, вызванных на соревнование. Звонким от волнения голосом стрелочница Катя Решеткина перечислила добровольные обязательства девушек со станции в отношении подшефного паровоза. Неожиданно для всех она приколола кумачовую розетку на грудь Сайфуллы. Она наклонилась над ним, глаза в глаза, и Пересыпкин видел, что в эту минуту их было только двое; остальные не существовали... Потом он и сам поделился эпизодами борьбы с Протоклитовым, имени которого, к великому неудовольствию публики, не называл; голос его достигал степеней разящего сарказма, когда речь шла о подозрительной спайке парторгов с администрацией. «У нас иногда так уважают культурность, что даже не обращают внимания, откуда она идет...» Он заверил собрание, что

очень скоро не только паровозы, а и поезда, и районы, и даже дороги целиком станут комсомольскими. Один сцепщик из четвертого ряда поинтересовался, куда собирается подевать старичков этот шустрый деятель; бородачу недоступно было риторское искусство. Оратор отвечал, что старики переведутся сами собою, как вывелись, например, в красной столице.

— На экспорт, видно, погнали нашего брата!

— Нет, а просто чистоплотнее стали и бреются каждый день... — И грохотом рукоплесканий был встречен пересыпкинский контрудар.

Тотчас по окончании торжественной части решили устроить небольшую пирушку; стали думать о месте. Общежитие слесарей отпадало само собою. Бедный мальчишеский их разгул могли подслушать и осудить степенные мужики из соседних ремонтных бараков. И оттого, что идти было больше некуда, постановили отправиться за три километра, в самый Черемшанск. Славилась там пивная под названием Красный Восток. Они пошли туда стайкой, человек двенадцать, молча, похожие на заговорщиков, и каждый думал, все ли выполнено для завтрашнего успеха. Катя Решеткина была с ними; не хотелось проводить вечер без Сайфуллы... Зима стояла неровная, к вечеру потеплело, снежная кашица с хлюпаньем раздавалась из-под ног. Катя Решеткина высоким голосом затянула про комсомольский паровоз, но мокрый ветер захлестнул песню; она загасла на полуноте. Сквозь рощицу засветились скудные керосиновые огоньки черемшанских окраин. Очень белые облака бежали в ночном небе, и такая же синеватая, пятнистая, точно в пролежнях, стала поверхность полей. Все слышали, как Сайфулла спросил Катю, не озябла ли... Ветер почти опрокидывал согнувшихся людей.

(Привести бы сюда Кутенко, чтоб послушал беседу молодых и увидел, как воплощаются в жизнь черновые планы старшего поколенья. Правда, он выглядел грубее и вещественнее, новый мир, но руки мастера всегда неискуснее чудесного могущества мечты. Да ребята и не помышляли о расплывчатых мировых задачах; их неистраченный задор объединялся пока вокруг образцовой машины, становившейся паспортом на зрелость... И пусть бы вместе с ними спустился маловер в провинциальную пивнушку, где плывет сизый пар от тающего снега, где зыбко пляшут половицы под шагами, где на съехавших скатертях пылают бумажные линялые цветы, где галдят и жгут дешевые папироски черемшанские ремесленники и подонки, где

из-за пивного бачка выглядывает рябой и медноликий Абдурахман!)

— Исанме, здравствуешь ли ты, знаменитый буфетчик? Вот мы пришли к тебе изведать твоего веселья!

Скаля желтые зубы из-под стриженых усов, Абдурахман смахивает пыль со стеклянного ящика перед собою. Там хранятся его соблазны — печенные до темной прожелти яйца, многострадальная и в луковом венчике селедка, горох на блюдечках, зерен по двадцать, и цветные обмылившиеся бутерброды. Ничего, что скуден этот выбор: два года назад не существовало и самого ящика!

— Хуш килясез, молодцы! У меня мировое пиво завода «Красный Восток». Ко мне ходят все, инженерлар, докторлар, техниклар. Я один такой, и все меня любят! — Он очень горд, этот черемшанский Бахус; через посредство вверенного ему учреждения он уважает даже себя. — Люди говорят, что я похож на Омара Гуммаршикелле, а я говорю, что Омар похож на меня, хо-хо!.. Садитесь, джигитлар!

Он смотрит зорко. Сюда редко заходят с девушкой, и вот уже скалится из угла хулиганская стайка. Но девушка эта не одна. Дюжина статных молодцов с броневыми кувалдами вместо кулаков окружила ее стеной. Они ее усаживают первой. Абдурахман разливает по кружкам грузную пенистую жидкость. Он любит пышное, изысканное слово: оно украшает еду. Он говорит, что за их плечами Катя, единственная, как солнышко за каменными зубцами крепости. Ей отдельно он приносит шипучее, с сиропом, и поочередно испытующе каждому смотрит в лицо, чтоб узнать, кто ее любимый. Беседа складывается из всяких отрывочных мыслей о паровозе. И одних пугает отсутствие администрации на собранье, а других настораживает фальшивая примиренность Протоклитова... Абдурахманово пиво мнится им бесценным вином, таинственно скрепляющим дружбу!

Тем временем Пересыпкин с видом исследователя обходит по кругу это низенькое помещеньице. Он трогает руками, он внюхивается, он изучает качества черемшанского бытия. Странная мебель, напоминающая комод, загромождает темный угол. Она расписная: усатый незнакомец, явный татарин, подносит фиолетовой даме букет жестяных цветов. Над головой у дамы щель и надпись, что именно сюда следует опускать монету. С научной целью Пересыпкин кидает туда громадный царский пятак и ждет. Гремят шепелявые пружины, и вот хор сиплых

металлических голосов выводит старинный мотив о маньчжурских сопках. (Какая старина, Кутенко! Вспомни: японская война и Порт-Артур, Рожественский и Куропаткин. В тот год ты становился на призыв, фельдфебеля тебя учили строю... Потом вас отправляли под Мукден, и тонкобровый гармонист с напуганным навеки лицом наигрывал тот же самый мотив во утешение всему серошинельному братству. Играй, играй, напоминай о прошлом, деревянный инвалид!)

Пересыпкин слушает, прижав к груди ладони. Ему хочется прокричать товарищам о замечательных странах, что близ самого великого водоема, о будущих братских республиках на океанских берегах, обо всем, что ему довелось услышать от Курилова и что думают по этому поводу он сам и его сверстники. Он машет рукой, но ему не дают сказать и полслова. Шумят пивные дрожжи в непривычных головах, и кто-то из татар запевает веселую песню «Бала-Мишкин...». Но Абдурахман бежит на них, подобно падающей башне. Он требует прекращения песен. Он хочет втолковать озорникам, что могущественным декретом местного потребительского общества запрещено петь в его заведенье.

— Гражданы, иптышляр!.. Грамотный пусть читает плакат. Мэна!

Опечаленные, они уходят искать другого места. Не удается нынче дружеская **п и р о в н я**, как обозначают в Черемшанске веселые встречи друзей. Они идут без цели по уличкам. Спят по сторонам домишки мышиного цвета. Ветер свистит в прорезях скворешен, брызги раздаются из-под ног.

— ...ты не промокла? — спрашивает Сайфулла, лишь бы услышать голос Кати.

— Нет, они совсем сухие...

Машинист Рябушкин, единственный старик в их компании и спутник их в эту бездомную ночь (это он помогал молодым в одоленье паровозной техники!), вспоминает о существовании Махуб-эби.

У старухи удобный дом, аулак уй!.. Отчаявшись, они бредут на окраинку, к лачуге бабушки Махуб. Их стайка редеет, только семеро доходят до места,— и Катя с ними. Они бьют в ворота. Гавкает простуженный пес. На опушке рощицы врукопашную борются деревья, и глазу мнятся их длинные сплетенные тела. Махуб спит. Махуб стара, Махуб устала.

— Эй, поднимайся, бабка! Мы со станции, и у нас есть деньги, целых восемнадцать рублей...

Простоволосая, она всматривается через форточку в ночь. Злые люди любят полночь; они рыщут и по окраинам!

«Йюк, у Махуб не осталось ничего. Все выпито, валлагибилляги! Горлышки ее бутылок давно заплела паутина, только пауки и живут в них...»

Но она уступчива, когда умеют уговорить. В низенькую дверцу, пригибаясь, они входят гуськом. Махуб отшатывается: впервые женщина приходит в ее дом. «Ничего, Махуб, мы пришли не за дурным, и девушка эта — невеста!» В темных сенцах, заставленных ларями и укладками, Сайфулла натыкается на Катю. Рука тискает руку до боли. Он произносит глухое гортанное слово, и та, не понимая языка, правильно переводит значение любовной обмолвки...

Старуха начинает колдовать. Она зажигает целых три керосиновых лампы и (чтобы скорее действовало вино!) красную, как пламя, скатерть стелет на шаткий стол. Чисто в доме у Махуб-эби. Вытканная на холсте и краткая, как заклинание, фраза из Корана висит над окном. Посконные полотнища, расписанные огненными шерстями, как молниями июльское небо, свисают со стен. Он понимал красоту, несравненный, безыменный художник!.. «Колдуй, мобилизуйся, Махуб!» Неслышная, она приходит и уходит. Она режет черный хлеб по числу гостей, приносит глиняный кувшинчик с разбавленной водкой и ставит чашку, битую и проклеенную замазкой; в ее лунке сбирается свет. Рассевшись на скамьях, сидят молчащие гости.

...Так текли бесценные минуты ночи. И тогда вылез из-за стола Рябушкин — как был, с камышовой сумкой, потому что послала его жена в кооператив, а он нечаянно увязался с молодыми,— вышел и притопнул ногой. Кочегар Скурятников заиграл на губной гармошке, что всегда хранилась в заветном кармашке на груди. Потряхивая плечиком, Рябушкин сделал два круга пляски и махнул Скурятникову, чтоб не тратил своей музыки зря.

— Нет, уже не побегаешь,— сказал он и смущенной рукой шарил то место на груди, откуда исходил недуг старости.— Эх, пора не та: должно, сносились шашечки на моих коленцах. А ну-ка вы, татаре!

Жарко топит бабушка Махуб!.. Ребята сидели парные и тревожные. Кровь стучала в висках. Тогда они распахнули уже заклеенное на зиму окно, и вот отдельные снежинки стали залетать к ним, на шумок молодости. Роль оркестра изображал все тот же Скурятников... И еще Катя Решеткина танцевала

цыганочку, и пока танцевала она цыганочку, немигающим и грустным взором следил за нею Сайфулла. Смуглая прелесть ее — и даже не красота, а сиянье глаз и неукротимая ее подвижность все могущественнее заслоняли от него образ далекой и гордой Марьям. И когда остался от Марьям лишь клочок, малый, как кровинка,— выскочил на середину Сайфулла и гортанно закричал о чем-то по-своему татарам, и смолкла певучая скурятниковская жестянка. И те запели что-то протяжное, выбивая такт в ладоши, раскачиваясь, перемигиваясь и поталкивая друг друга в бока. И он пошел по кругу между ними, как бы распихивая ладонями воздух вокруг себя, огромными сапогами ширкая по намокшим половицам.

Это был мужицкий танец, апипа́, веселый и грубоватый, что пляшут на свадьбах, заложив руки за спину. Сайфулла показывал его со всей стремительностью крови, со сдержанной и четкой страстью. Это была грация мужественного тела, привычного к тяжестям, к длительному напряжению и предельно уверенного в себе. Он плясал, и с озабоченной завистью морщил лоб Рябушкин, и надтреснуто звякала чашка, касаясь глиняного кувшина, и вздрагивала июльская гроза на полотенце, и, глядя на юношу, качала головой и двигала беззубой челюстью старая Махуб. И казалось, нарочно, в угоду Кате, прищурившейся и застывшей у притолоки, он топчет свое прошлое, свою вчерашнюю влюбленность, сердце и неуклюжие клятвы: милую свою Марьям.

... по реке плывет лодка,
девушки притопывают ногами.
Те, которые любят,
сохнут и желтеют.

А Махуб пришептывала, полузакрыв глаза,— уж она-то знала толк в этих древних строках.

Парни глядят на девушек,
и девушки знают:
земля кипела бы под веслами,
плыви они по земле!

Не закончив последней фигуры танца, Сайфулла опрометью кинулся из избы, опрокинув гремучую бадью в сенях, и бежал далеко, пока не затихли в ушах аплодисменты товарищей, пока ночным ветром не опалило лицо. Проваливаясь по колено в мокрый снег, он один стоял под звездами, вслушиваясь в глухую, дальнюю перекличку ночных паровозов. Точно завихренные скоростью его бега, звезды кружились над головой. Облака,

похожие на сугробы, веще проносились вверху. Это было счастье. И мало было Сайфулле зимнего холода... и полными пригоршнями он хватал снег и прикладывал к воспаленным вискам, и текло, и корчился от ледяной щекотки, уползавшей за ворот рубахи. Она была из грубой конопляной ткани, прощальный подарок Марьям, вышитая красными лебедями, маленькими, как ягодки волчьего лыка. И его безотчетное круженье среди ночного леса, как беззвучное шевеленье запухших губ, было самым выразительным из танцев созревающей юности — самой безыскусственной из любовных песен!

Здесь заканчивалась одна любовная повесть. Воспоминанье ведет Сайфуллу далеко в глубь Татарстана, к окошку бедной крестьянской избы. Оно разбито и заткнуто тряпкой. Ветер шевелит соломенную, под выдру выделанную кровлю. Горячим лбом Сайфулла приникает к холодному стеклу и смотрит внутрь. Скуден свет жировой коптилки, и нужны дополнительные усилья памяти, чтоб осветить подробности, спрятанные по углам. Сперва только тонкие волоконца копоти струятся над розовой дужкой огня. Потом юноша различает громадный ткацкий станок, чыпта суккыч, хитроумное сплетенье деревянных колес, длинных перекладин и отлакированных временем штырей.

Спит Альдермеш; и пока селенье Альдермеш спит, две старухи ткут рогожи, старушечью норму в двадцать пять кулей. И пока одна сильным толчком руки прогоняет сквозь лубяную основу тяжелый, как полено, челнок, другая, наклонив голову, разбирает на полу пахучее, саднящее руки волокно. Это мать, Биби-Камал. Она поет песню напевом германкис; его принес с мировой войны отец. На нарах, в глубине избы, лежит он сам, Самигулла, поломанный войною; шестнадцать лет он отдыхает от военной непогоды! И вот Сайфулла проходит сквозь стену и незримо движется, тень среди теней. Он заглядывает в жесткое лицо матери, которого никогда не видел смеющимся. Он наклоняется над отцом. Тараканы равнодушно путешествуют по этим горам тряпья и страданья. В головах у старика сложен вчетверо старый стеганый бешмет. Самое лицо — как подорожный камень, с тонкими, похожими на джеп, суровьё, усами; и там, во впадинах, покорно молчащие глаза... Сыновний селям тебе, Самигулла!

Прежде чем покинуть отчий дом, Сайфулла в последний раз обводит глазами стены. Соседкин мальчик (пока его бабка сурово творит рогожу) спит на груде пахучего мочала. Сквозь

дыру в рубахе виден большой, с лесное яблоко, пупок младенца. «Спи, вырастай, скуластый, бравый, веселый. Десятки новехоньких электровозов, что пройдут по пустыням в чудесные многоголосые страны, уже ждут не дождутся своих машинистов!» И вдруг, обернувшись, Сайфулла видит Марьям, приникшую к стеклу с того места, где за минуту стоял он сам. Ее лицо темное и худое. Золотые луны уже не качаются в маленьких мочках ушей. Она ревниво заглядывает в избу Самигуллы, не вернулся ли за нею ее гармончи-джигит... «Нет, не жди его, глупая. Он совестится прошлого, он читает книжки, он утром не дождется вечера, а ночью торопит утро... Он стал капитаном величественной и сильной машины, а капитаны — ветреный народ!» (Она была дочерью богатого, заносчивого бая. Когда они встречались на суюлы, дороге воды, что вела от колодца, Марьям ставила ведра и подолгу глядела на Сайфуллу. Единственно, чтобы добыть коня, сапоги и м а г я р — на выкуп невесты, Сайфулла ушел на железную дорогу. Он уходил сутулясь, нищий, и даже штаны на нем были чужие. Семья провожала его воем, как на гибель, и сперва трудно давалась паровозная наука, но удачливы, по поверью, дети, зачатые на лубяной постели. И теперь, если бы даже тысячи Марьям, неутешных и нежных, как вдовы, манили его назад, были отрезаны ему пути для возвращенья!)

Здесь, в перелеске, и отыскал Пересыпкин сбежавшего машиниста.

— Ну, в самую воду залез! Небось не дети... — бранился он, толкая в руку Сайфуллу. — Весь мокрый. Вылазь из сугроба, черт татарский. Остынешь, а завтра — помнишь, что?

Он захватил с собою кожанку Сайфуллы и заботливо, совсем по-женски, прикрыл его влажные, охолодавшие плечи.

— Катя ушла домой?

— Еще доплясывает с твоей Махуб. Хотя что ей там делать без тебя, твоей Кате? — проницательно заметил Пересыпкин, а Сайфулла улыбался, радуясь самому звуку этого имени. — Тебе спать пора, пошел! Здесь яма с водой, не оступись. Я провожу тебя.

С самого начала он неохотно шел на эту вечеринку; неловко было показывать себя сторонником дурной, обычной среди машинистов традиции. Всего за неделю в стенной газете появилась его громовая статья против станционных шинкарок вообще. Но раз случился грех, он старательно делал вид, что и его шатает от непривычки к хмелю.

— Хорошая ночь, Алексей!

— В такие и зарождаются глупости всякого покроя,— постариковски ворчал Пересыпкин.

— Хорошая ночь... — повторил во всю грудь Сайфулла и рассказывал, каким великаном среди людей был его дальний дядя Бадри, и какой это обширный и гостеприимный дом — советская власть, и что не случалось у них в Альдермеше, чтобы татарин становился машинистом. Он бормотал всю дорогу, мешая русскую речь с жаркими татарскими словами, как вскипали они на сердце. И хотя было им не по пути, они без сговора направились в депо. Комсомольский, 4019-й, стоял на заправке. Тощая, ленивая гривка копоти струилась в дымоход. С десяток таких же дремотных паровозов готовилось к завтрашнему рейсу,— не успевал обегать их дежурный кочегар. Но только у этого находился нарочно приставленный караульный комсомолец. Смысл его присутствия заключался даже не в охране машины от возможных покушений, а скорее в демонстративном недоверии к начальнику депо. Ребята поднялись в будку, и Сайфулла, касаясь кончиками пальцев, осмотрел все... Вдруг он полез за пазуху и достал полуистлевшее письмо. Бумага проносилась на сгибах, она распадалась на серые куски.

Он не сразу отдал ее Пересыпкину.

— Шесть лет — много лет, правда?

Пересыпкин сообразил, чем он сам был тогда, и согласился, что шесть лет — уйма лет!

— Возьми это, Алексей... рахим итэгез!

— Зачем мне это?

— Читай. Скажешь, что думаешь... Э, ты не знаешь понашему, гаур! — Он огорченно принял письмо назад и, почти не глядя, наизусть стал переводить его текст.

Чернила растеклись и выцвели от испарений тела, но Сайфулла не ошибался ни в едином слове. Письмо было от матери, из деревни, по-татарски. Старуха описывала жизнь и сообщала, что, слава богу, дни ее идут на убыль: все чаще деревенеют руки, разбирая луб на волокно. По праву старости на горькую и беспощадную прямизну Биби-Камал в лицо называла сына беглецом, утратившим сыновнюю близость. Она просила хоть на неделю заглянуть на родину, прежде чем на трех полотенцах опустят его отца в кабыр, в могилу. И еще писала она, что Хайруллиных раскулачили полтора года назад и мать умерла с горя, а хозяина, как члена мечетного совета, мутовалли, услали копать какую-то новую реку, которую

забыл сотворить господь. С предельной сухостью она уведомляла также, что в доме их очень хорошо разместились амбулаторный пункт со школой и что Марьям живет далеко, в Чукурге, у дальней родни. Каждый шестой день она приходит в дом Биби-Камал и, почернелая, с опущенной головой, сидит на лавке. И никогда ни о чем не спросит, а дожидается молча милого своего жениха... В письме имелось также упоминанье, что план посева колхоз выполнил на сто десять процентов, а тканье рогож только на семьдесят шесть; не проворны стариковские руки. А снега в этом году глубокие, и ягняток в колхозе поморозили, а мулла недавно вышел на улицу и кричал, плача и приседая и золой посыпая плечи, что никто не хочет молиться и нет ему ни баранов, ни хлеба, чтобы кормиться с семьей... Сайфулла читал некоторые места особенно четко, чтобы Пересыпкин на слух мог восприпять земляную тяжесть крестьянского слова.

— Теперь скажи! — И следил за сменой выражений в Алешином лице. — Ты все знаешь теперь.

Пересыпкин деловито почесал переносье.

— Что ж, это очень хорошо, что план посева перевыполнен. Татарстан... хорошая, честная твоя земля, Сайфулла! Похвали, станешь писать, непременно похвали. Но укажи, что рогожи также нужны пролетарскому государству... и чтоб ягняток берегли. Что касается отца, навести его в отпуск! — И горько двинулись его губы. — Это не у всякого в наше время — отец...

Сайфулла жадно слушал каждое его слово. Он волновался не меньше, чем в тот раз, когда приезжий ревизор тяги экзаменовал его на машиниста.

— ...а Марьям?

Пересыпкин опустил голову и молчал.

— Знаешь ли, Сайфулла, я немножко выпил... мысли идут кру́гом. Мне трудно об этом! — Но его почти давило вопросительное молчанье Сайфуллы, и он продолжил: — Видишь ли, я много испробовал на свете, попадал в крушения, был ранен снарядом, прыгал с парашютом, видел, что делается с человеком, когда он съест слишком много глины... А этого я не знаю, товарищ! — Вдруг он честно и прямо взглянул в лицо Сайфуллы. — Катя хорошая девушка. Она красивая, она умная, она *наша* девушка... Поэтому, может быть, забыть твою Марьям?

— ...забыть,— эхом откликнулся Сайфулла, и рука его, машинально протянутая к инжектору, дрожала.

Машина становилась теплой, росла на манометре ее сила. И, наверное, если бы слегка отвести влево ручку регулятора, легкая дрожь вступила бы в это массивное тело, длинное — точно к полету изготовившаяся торпеда. Всего семь часов оставалось до ее испытанья. В 9.34 должна была наступить зрелость Сайфуллы. Думать об этом было жутко и радостно.

— Ничего, Сайфулла! По слухам, Наполеон перед боем тоже нервничал. — Это была любимая Алешина поговорка.

Они пошли спать.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ АЛЕШИ ПЕРЕСЫПКИНА

Коллектив почти в полном составе вышел проводить Сайфуллу с его бригадой. Играл оркестр — четыре трубы и одна, старательная такая, флейта; остальные музыканты были заняты в смене. Просыревшие птицы тяжело шарахались от звуков. Все, что намело с ночи, потаяло к рассвету, но старый снег держался. Поезд был длинный; хвост его терялся в смутных, каких-то мерлушковых потемках. Кричали вослед вагонам, махали платками, у кого имелись. Катя Решеткина ковыряла прутиком мокрый балласт между рельсов. Незаметно Пересыпкин отправился назад. Победа утратила свою новизну: сыроватый снежок стал налипать на свежую покраску паровоза. И то обстоятельство, что в эту праздничную минуту все забыли об Алеше, потратившем столько усилий на одоление Протоклитова, доставляло ему маленькую и приятную боль. Он сознательно отказывался от своих заслуг в пользу героя дня, Сайфуллы. Он возвращался, слегка сутулясь, с высоко поднятыми бровями, даже в этом отдаленно подражая Курилову... Пожалуй, это было все, что осталось в нем от вчерашнего мальчика.

Его временное пристанище находилось в дежурной комнате кондукторских бригад. Помещение не поровну делилось печкой на две части. Всегда на ней сушилась мокрая одежда; гнилой овчинный пар мешался с махорочным чадом. В пустоте за печкой, у окна, прорубленного на диспетчерскую башню, стояли два стола. На одном и спал Алеша, подложив под голову Бланкенгагелев архив, который всюду таскал с собою; другой же употреблял для работы. Сделано было много, а все не виде-

лось конца его мытарствам. Первоначальный план истории дороги распался. Внутренняя логика материала диктовала Алеше причудливую форму полуисторического жанра и даже не без примеси фантастики, о чем своевременно догадался Курилов. В этом обширном сочинении, написанном на обороте бланков старой дорожной ведомости, юноша стремился исследовать некоторые деяния хозяев минувшего века; их вымытая фотография, приколотая к стене, украшала теперь пересыпкинский застенок. Алеша верил, что постоянное созерцание ее поможет ему проникнуть глубже в круг дворянских интересов того времени, в их быт, в их настроенья и идеи. К этому сроку документов скопилось непосильное множество. Эти амбарные и инвентарные книги, дополнительно полученные от Кости Струнникова из Борщни; эти интимные и скаредные признания гофмейстеров двора, архимандритов, откупщиков, поживившихся на авантюре; эти донесения исправников, деловая переписка с банками, безграмотные рапортички техников и рядчиков заводили Пересыпкина в такие дебри, откуда выбраться без посторонней помощи было ему уже не под силу. Но удача покровительствует неопытным игрокам!

По недостатку времени он никогда не писал романов. Некоторые стихийные обстоятельства помешали ему стать ученым-историком, а вредное прямодушие — следователем по такого рода делам. Для успеха же требовалось объединить в себе эти три смежных профессии... Больше того, он понимал, во что превращается всякая реликвия, побывавшая в небрежных руках потомка... Тогда ему захотелось стряхнуть с устарелых понятий и идей тот иронический налет, что происходит от ускорения темпов жизни, от развития новых творческих заданий и от накопления материального могущества. Словом, по наивности возраста он полагал себя достаточно сильным, чтобы быть объективным и даже бесстрастным в отношении к мертвому врагу, чей пепел нынче ждал его суда... Но нет, не давались Алеше эти стариковские достоинства! Он все еще слышал совокупный скрип чиновничьих перьев и железного ярма на шее подневольного люда. Итак, чернильницей ему служила ненависть, и сочинение невольно становилось его собственным портретом.

В тот месяц из Борщнинского совхоза дважды приезжал к нему Костя. Он входил, тоненький, подтянутый и острый, обдавая зимней свежестью; он стряхивал рукавички на стол,

протирал запотевшие очки, улыбался — точно зорьку дарил товарищу.

— Все скрипишь, Пимен?

— Сооружаю эшафот, Костя. Хочу судить их по-своему! — И, поминутно вскакивая в поэтическом возбужденье, делился всем, что скопилось у него на руках и принимало форму посмертного обвиненья.

Итак, после бессонных ночей, проведенных над первоначальным проектом Волго-Ревизанской дороги, после неоднократных посещений всяких архивов и, прежде всего, одного старичка бухгалтера, разводившего канареек на Зацепе, после пристального рассмотрения патриархальных картин прежнего бытия, запечатленных в документах, обстановка и детали того чудовищного предприятия представились ему в следующем виде. Это была пора, когда дворянство, выталкиваемое из жизни научившимся разночинцем и обогатившимся купцом, все охотнее подавалось в сторону коммерции. Напуганный угрозой разоренья, дворянин пускался во всякие спекуляции, нередко приводившие к прямой уголовщине. Но избалованному хищнику не хватало ни той выдержки, какая у купца происходила от недоверия и настороженности, ни того стремительного натиска, что характеризовал их современника — разночинца... Когда после неудачной войны объявилась грозная потребность в железных дорогах, все наиболее предприимчивое бросилось туда, как в Калифорнию. Но и здесь в основу был положен тот же принцип: если и марать руку, так было бы ради чего!

За исключением небольшого участка удельных земель, весь Горигорецкий уезд в семидесятых годах представлял собою феодальный монолит из четырех крупнейших поместий (крестьянство проживало, по-видимому, на межах). Три из них, граничившие с Волгой и ее притоками, принадлежали барону Тулубьеву, некоему Хомутову П. П. и, наконец, Бланкенгагелю, занимавшему особое место в пересыпкинском исследовании. Бланкенгагелевы земли, расположенные между пахотных угодий Тулубьева и бескрайних монастырских лесов, составлялись главным образом из пространств малодоходных, и обладатель их вскоре после 61-го года стал искать способа поддержать пошатнувшееся благосостояние. Не гонясь за чинами, где можно было бы торговать понемножку служебным положением, не имея титулов для блистания в высшем свете, этот ге-

роический человек удовлетворялся званием предводителя дворянства и репутацией усердного сельского хозяина. В период с 1858 по 1862 он поочередно занимался то акклиматизацией редких животных, то изданием журнала по племенному куроводству, то, наконец, шелководством; судя по сохранившимся распискам, все подвластные мужицкие души усердно и по сходной цене мотали ему шелк. Однако в 1862, в годовщину манифеста, на червей напала пебрина, тогда еще не зарегистрированная в летописях отечественного шелководства. Личинки чернели на глазах и сворачивались, как обугленные; их корзинами вытряхивали в яму и, побрызгав вонючкой, засыпали мартовским песком. Значительный капитал, вложенный в эти инкубаторы, морильные печи, оранжереи со скорцинерой (заменявшей по тогдашней моде тутовое дерево), мотальные станки и в прочие мудреные штуки,— этот капитал был подрублен в корне. Монаршее благоволение, выраженное Оресту Ромуальдовичу за развитие нового отечественного производства, звучало в таких условиях как прямое издевательство. Пользуясь случаем, Хомутов П. П. отстриг у будущего компаньона три богатейшие рощи, сыроварню и винный завод. Тогда-то Бланкенгагель и задумался над жизнью, что она такое есть, и какой в ней верховный смысл, и почему оно так получается!

Обогащение Дервиза на Московско-Саратовской и вслед за тем успешная продажа акций Волго-Донской железной дороги давно служили ему соблазном. Завязалась деятельная переписка, начались визиты и таинственные свидания: Бланкенгагель нащупывал возможных сообщников в предстоящей афере. Но только в июле 1869 состоялось в Борщне секретное совещание, где приняли участие ближайшие соседи Бланкенгагеля — находившийся в гостях у Тулубьева двоюродный племянник всесильного А. Е. Тимашева, в должности шталмейстера высочайшего двора, К. К. Шепеляшин и близкий друг самого Адлерберга, камергер Туфелькин. Приглашен был также видный промышленник и начинающий судовладелец И. Л. Омеличев, кровно заинтересованный в новой дороге, так как она создавала ему дополнительные потоки грузов для его будущего флота. Этот видел дальше всех. Он было и примчался по жаре, весь облепленный оводами и обмахиваясь хамским своим картузищем, но его не впустили по требованию старика Туфелькина: камергер не выносил кожевенного запаха. Сидеть в прихожей Иван Лукич не пожелал, и это смешное приключение отозва-

лось впоследствии на Бланкенгагелевом предприятии[1]. Совещание единодушно постановило присоединить Горигорецкий уезд к лону европейской цивилизации посредством железной дороги, для чего произвести изыскания, выпустить акции и, в духе времени, просить правительство о предоставлении льгот и гарантий.

— ...Все это было чистое мошенничество, милый Костя, и механизм его состоял в том, что группа высокопоставленного жулья в целях самообогащения учреждала некое общество. Ни денег у них, ни знания дорожного дела не было. Какой-нибудь иностранный банк давал им под залог акций, скажем, половину действительных затрат на дорогу; особого риска он не нес, так как русское правительство гарантировало прибыль, если бы даже дорога оказалась коммерчески невыгодной. Определим стоимость дороги... ну, назови любую сумму.

— Ну... пять миллионов,— осторожно откликался Струнников.

— Отлично... Смета, а впоследствии и отчеты составлялись на десять. Эти пять расходились по директорам, как первая прибыль от их учредительства. Один заключал договор на шпалы и брал за них двойную цену; другой покупал за бесценок землю у владельцев, не знавших о предположенной дороге, и через подставное лицо продавал обществу по десятикратной цене. Третий свою же собственную землю, назначенную в полосу отчуждения, вручал, скажем, тете и сам же от имени общества, покупал ее по приличной цене... Понятна махинация, Костя?

— Мутно пока, но просвет виден. Давай дальше... посмотрим, что у тебя там на донышке!

— Дальше начиналась биржевая часть. На помянутые десять миллионов правительство гарантировало шестьсот тысяч ежегодной прибыли. Любому вкладчику, в надежде на увеличение прибылей, представлялось выгоднее купить акции, чем положить деньги просто в банк. В том и состояла игра, чтобы путем взяток редакторам гостинорядских газеток, директорам

[1] В последующем частном письме от 21 января 1871 года на имя министра финансов М. Х. Рейтерна, имея в виду застращать наступлением неумытых купеческих орд, О. Р. Бланкенгагель приписывал кожевнику вещую фразу: «...не хотите, дворяне, Россией делиться, мы ее изпод вас с волосьями выпростаем!» — и еще что-то фольклорное, насчет бабы, которая не по чистой одежке, а по прочной сошке избирает себе мужика.

банков и прочей шпане создать в публике ложную уверенность относительно процветания дела. Таким образом, капитал в десять миллионов удавалось сбыть за пятнадцать. Это была уже вторая прибыль... (А дороги пока все еще нет!) Так вот и обогащались они под шумок так называемой освободительной реформы... Потерпи еще немножко, Костя: главное впереди!

Это была пора покровительства всяким железнодорожным компаниям, хотя предоставление в частные руки такого важного источника дохода и наносило ущерб народу, умножая его податные тяготы. Кроме того, у надлежащих чиновников были, видимо, основания забыть о действительном экономическом значении новой дороги. Почти параллельно предполагаемой уже велась Московско-Саратовская, и прямой государственной необходимости в Волго-Ревизанской не было. Бросалось в глаза, что намеченная трасса проходила через поместья всех учредителей. Эти люди не руководились соображеньями наименьшего пробега грузов. Только сам главноуправляющий путей сообщения, хитрый К. В. Чевкин, усмотрел спекулятивный характер молодого общества (никто из его столпов не зарекомендовал себя ни в промышленности, ни в строительстве, и между ними не было банкира). «Барыши-то уж поделили, ваши превосходительства?» — поворчал он шутливо, и был непреклонен его старческий смешок. Напрасно Бланкенгагелевы орлы, Тулубьев и Грибсе, будущий правитель дороги, метались по всем приемным Петербурга. Полтора года спустя, при обсуждении в совете министров, Чевкин лукаво соглашался на гарантию дивидендов из расчета четырех процентов на основной капитал, при условии, что стоимость пути, включая все расходы, не превысит 50 700 рублей за версту, а линия от пристани Тырца будет продолжена вдоль берега до Астрахани. Учредители предались размышлениям, стоит ли и Каспий присоединять к цивилизации... Словом, денег у правительства Бланкенгагель не получил. Тогда-то и был придуман стратегический маневр в обход затрудненья.

На первой же сессии губернского земства, тотчас по получении безгарантийной концессии, Оресту Ромуальдовичу удалось добиться того, что само земство становилось гарантом займа для Волго-Ревизанской. Гласным внушили, что они во имя все той же цивилизации обеспечивают держателям акций доход лишь с четверти всего капитала. Несмотря на то что Бланкенгагель помянул и Муция Сцеволу, и других носителей гражданской доблести, кое-кто из помещиков стал протестовать,

угадывая лихой стиль аферы. В столицу полетела просьба оградить интересы земства от увлечения некоторых влиятельных руководителей. Комитет министров заколебался... но высокий племянник посетил могущественного дядю, большой князь шепнул при случае августейшему кузену, и все уладилось. Правительство мудро утешалось тем, что кое-какие следы деятельности все же оставались от этих скоропалительных обществ.

Последнее сопротивление архиепископа Иннокентия, видевшего в распространении железных дорог угрозу вере, ущерб церкви и развращение паствы, было сломлено личным письмом Бланкенгагеля. Он заверил владыку, что уплата за отчуждаемые у Горигорецкого и Василь-Дубнянского монастырей земли будет произведена по цене, не меньшей, чем Мамонтов и Шипов платили Сергиевской лавре. Все же осторожный архипастырь списался с сергиевским архимандритом и только по получении благоприятного ответа[1] выразил свое одобрение. Больше того, движимый прогрессивными побуждениями, он самолично, с поднятыми хоругвями и хором монахов, где преобладали глубочайшие басы, отправился на освящение закладки. При большом стечении простонародья архипастырем были вознесены моленья о даровании всяческих преуспеяний г.г. благодетелям Горигорецкого края.

(— Ну, не надоело тебе таскаться по моим раскопкам, Костя?

— Нет... но я слишком узнаю тебя во всем этом: твое терпение, твой гнев, твою насмешку...

Кажется, он требовал уточнения границы между действительностью и вымыслом летописца; и он остерегался обидеть товарища прямым недоверием к его работе.

— Так докажи мне по этим бумагам, что всего этого не было! — запальчиво возражал Пересыпкин, сдвигая в его сторону всю груду балансов, коносаментов и рапортов. — Судья считает показания свидетелей достоверными, если нет других, им противоположных.

— Где они, твои свидетели? Они в безвестной отлучке. Спустись в их могилы, растолкай, расспроси их, Алеша!

— Я спрошу книги...

— Э, книги те же кости — идей, веков и великих человеков!

---

[1] А. В. Пересыпкину не удалось установить, каким образом оригинал послания от сергиевского Антония попал на Бланкенгагелев чердак.

— ...наконец, последний мой свидетель еще жив! — торжествуя, кричал наш историк, имея в виду Похвиснева; и кондуктора в соседней половине прислушивались, как к возникающей ссоре. — Я разыщу его, я возьму его за плечи, я взгляну ему в выцветшие глаза и по ним выверю мою правду...)

Достаточно было взглянуть на расценочную ведомость, чтобы постигнуть размах аферы. Считая, например, стоимость подвижного состава по нормальным ценам того времени в два с половиной миллиона, Бланкенгагель округлил эту цифру до трех. («И это в то время, милый Костя, когда берлинский завод Борзига и фабрика Флуга предлагали паровозы по цене в полтора раза низшей манчестерского Геста и бирмингамского Сого!») Количество земляных работ исчислялось в таких цифрах, как будто это была самая гористая часть империи. А местность была ровная, балласт укладывался по равнине, и требовалось лишь наковырять канавок по сторонам пути. Даже шпалы были расценены по рублю с четвертаком, хотя красная им цена была полтинник, включая стоимость пропитки. Таким образом, сто восемьдесят верст двухколейного земляного полотна с одним рельсовым путем обошлись по семидесяти пяти тысяч рублей. Самое утверждение этой ведомости обнаруживало полную неосведомленность министров даже в географических особенностях различных областей империи.

Итак, хрипучий бас велиароподобного Иова подал сигнал к движению бумаг, людей, капиталов, рабочих тачек. Первая партия землекопов, вследствие недорода в Заволжье и смежных благоприятных обстоятельств, готова была немедленно, за хлеб и воду, двинуться на место работ. (Покамест Бланкенгагель хлопотал о получении по сходной цене польских арестантов, как это практиковалось на постройке Харьковской и других дорог.) Главный подряд получил известный г. Орбек... Словом, происходила деятельная суматоха: директора подмахивали чеки, чиновники скрипели перьями, священнослужители воссылали моленья, а мужички («эти древнерусские экскаваторы, Костя!») потуже подтягивали пояса, отправляясь в дальний путь. Социальная машина века приходила в движение.

Акции нового предприятия разбирались неохотно; за полтора года из всего их количества была продана едва треть. К этому сроку правительство выпустило 5-процентные, с твердым доходом, банковые билеты, и малосильные дельцы принялись сбрасывать спекулятивные бумаги Бланкенгагеля. В середине 1874 года цена акций снизилась до 165 (против 225 по

номиналу), потом поднялась немножко, как всегда перед последним дыханьем, и уже накрепко рухнула до 112. Тем временем земские субсидии были уже съедены. Для продолжения строительства оставалось или вернуть расхищенные средства, или найти крупного и дураковатого пайщика, чтоб взял на себя финансирование дороги. В этих условиях было сущим ребячеством обращаться к знаменитому В. А. Кокореву; тогда-то Омеличев, состоявший в близкой дружбе с откупщиком, полностью расплатился за свое поруганье. Кокорев приказал передать Тулубьеву через приказчика, что не гоже неумытой купецкой денежке с белым дворянским рублем в одном кошеле лежать. Уже едва тащилась резвая русская тройка; из сил выбивался коренник, пристяжные путались в постромках... Когда впоследствии, по окончании дороги, приступила уплата процентов, в губернской управе подсчитали: для оплаты помянутой гарантии потребовалось бы увеличить земский сбор на семьдесят копеек с десятины. Великий, во всегубернском масштабе, вой плательщиков достиг столицы. Этот (названный так Рейтерном) бунт дураков грозил банкротством земству. И тогда, вопреки логике, казенные миллионы были брошены на заделку бреши в Волго-Ревизанской. Для видимости земство обложило дополнительно каждую десятину по пятаку, на этом и покончилось...

(—...взгляни только на эти пыльные хари, Костенька! — И пальцами прищелкивал по ветхой фотографической карточке. — Эти жулики — в чуйках, рясах, камергерских мундирах — шесть миллионов украли у казны. Никакой вор не нанес бы столько убытка!

— Приезжай в Борщню, пока жива наша старуха. Она тебе, наверно, порасскажет... Кстати, и Курилов гостит у меня сейчас. Приехал он, между прочим, с девушкой... миловидная, простенькая, а есть в ней какой-то кнутик на нашего брата!

Пересыпкин строго взглянул на приятеля, но глаза у Кости были ясные, и ни намека, ни насмешки в них.

— Ее зовут Мариной? — спросил Алеша, кусая губы.

— Да нет... Я уезжал, они отправлялись в соседнее село на прогулку. Помнится, он называл ее Лизой.

Перед таким сообщением становился в тупик даже он, разбиравшийся в хитроумных Бланкенгагелевых тенетах, Алеша Пересыпкин.)

В расценке земляных работ указана была цена кубосажени по два с полтиной. Казалось бы, работа на Волго-Ревизан-

ской постройке должна была обогатить землекопные артели. На деле же все получалось наоборот, потому что Поммье, правая рука Орбека, сдал подряд перекупщикам, чтоб не мараться о черную Россию, а те спустили его, в свою очередь, дальше. Каждый оставался не без барыша, и мужику в четвертой, а то и пятой руке приходилось едва шесть гривен за кубосажень вырытой, перевезенной и уложенной земли. Условия существованья были жестоки даже для привычного ко всему мужика тех лет. Суточный урок был громаден; требовалось подлинное самоотверженпе, чтобы уберечь копейку до возвращения в семью. И все-таки дорога продолжала строиться. Была поистине неистощима нищая сума российского мужика...

(—...и в этой точке, товарищ милый, рождается у меня образ Спиридона Маточкина. Он *жил*, потому что я видел следы его лаптей и крови на государственных бумагах. Он умер от *невыясненных* причин у тебя, в Борщне. И когда я писал об этом человеке, Костя, я думал о своем отце; видишь ли, его засекли белые... я не рассказывал тебе о нем? Не моя, значит, вина, если их судьбы будут немножко похожи.

Это было единственный раз, когда Алеша проговорился об отце, а Струнников подумал, что для истории выгоднее составлять биографии не великих, а именно рядовых людей, потому что в них много выразительнее скрещиваются все условия эпохи.)

СПИРЬКА ПРОХОДИТ ПО АЛЕШИНЫМ СТРАНИЦАМ

16 июля 1874 года, почти за два года до открытия дороги, Еким Шарвин, из артели Лариона Баюшкина, получил письмо с родины. Вечером, за своеобычной мурцовкой, полуграмотный Спиридон Маточкин прочитал его вслух у костерка. Всем было по поклону. Жены и старики землекопов уведомляли мужей и сынов, что жизнь их пошла совсем худо: едят что придется, а собаки на деревнях и лаять перестали, и были знаменья к войне и гибели, и в одном неназванном селении, поутру, сотского жена будто бы сунулась к рукомойнику дите омыть, а там жидкая, не гуще кваска, кровь... И началось с того, что сурожинское окружное управление государственных имуществ отбирает у бедных их скарб и родимые гнилушки, хлеб продает на корню, выводит со двора скот, у кого есть. Речь шла о шестистах осьмидесяти рублях недоимки, давно отосланных кормильцами и затерявшихся на почте. Чиновнику были предъявлены почтовые документы о высылке денег в уплату податей,

но тот не пожелал внять ни слезам, ни казенной печати, пока не получит полностью удовлетворения в долговой сумме.

— ...по-о... по-одыхаем, го-оремыки,— по складам, с натугой читал Спиридон. — Ду-ух от тела отстаё-от...

Сообщалось в письме, что у Кирилла Макурина корова пошла за восемь, а изба описана за двадцать девять целковых. А у Баюшкина старуху увели в уездный земский суд за неосторожное слово. А у Маточкина дочь Феонию, заголя тело, несмотря что невеста, постегали маленько крыжовником за причинение обиды стражнику Ломоносову. (Феония доводилась сестрой Спиридону.) Так всем досталось по гостинцу да новости. Чтец сложил письмо и отдал по принадлежности... Стояла отличная тишина. Горизонт помаргивал зарницами; луна вылезала, как после опоя; костер задыхался от отсутствия воздуха; комары из ближних болот трубили над ухом, точно ангелы Судного дня. Весь день калило солнце. Ждали — к вечерку косой, ровно из бадьи, дождик сполоснет дикие здешние пустоши. Но гроза изошла в громе и блесках дальних молний. Говорить стало больше не о чем. Вычерпав со дна миски лук и раскисшие ржаные корки, артель пошла спать.

Поутру проведали: такие же грустные послания в разные сроки получены были и в соседних артелях. И везде поспевал вышеуказанный Ломоносов. Однако на работу вышли вовремя, с рассветом, намереваясь по окончании урока сходить по холодку к инженерному начальству. Непорядков накопилось свыше всякой божеской меры. Главное мужиковское пойло и топливо — квас — неизменно бывал окисший; подстилка для ночлега выдавалась всего в размере одного снопа на человека в неделю; народ, договоренный на земляную работу, по той же цене употреблялся на каменную; сапоги, полной стоимостью записанные в рабочие книжки, оказались на сущем кленовом листке — «пальцы скрозь подошву кажного жучка, извините за выражение, учують!»; взамен бани, обещанной по неписаному контракту, выдают либо водкой, либо деньгами, по пятаку на руки; господин дистанционный офицер нанес удар поленом дров землекопу свиридовской артели Агафону Зимину, отчего тот маленько оглох, провалялся неделю в землянке, и ему же вписали вычет, хотя прогулял и не по своей вине... Множество имелось и других жалоб, а главная — на чиновника из управления государственных имуществ. И уж кстати, чтоб идти веселей, захватили в плошке нерушеного овсеца, накануне выданного на кашу...

Мужики в большом количестве полукругом столпились у конторки четвертого строительного участка и посреди поставили обвинительную плошку, а рядом сложили всякий земляной инструмент, так что все стало понятно без объяснений. Прокашливаясь, чинно, как перед молебном, ждали они выхода начальства. Но взамен инженер-поручика г. Щекотихина, славившегося отзывчивостью, равно как и преданностью картежной игре, вышел сам г. Поммье, предпринявший объезд строительства ввиду некоторых неблагоприятных слухов. Небольшого роста и чернявый, похожий на горелый пень, в чесучовом кителе, он по-русски знал только брань, что всегда поселяло недоверие среди рабочих. Вышел он зато не один, а в сопровождении чиновника особых поручений г. Шемадамова и некоего Ахиллеса Теофиловича Штейнпеля, который всюду выступал в роли губернской лисы, обладавшей высоким даром задушевного убеждения. Присланы они были в целях у з н а н и я о направлении мыслей[1], и было счастливым совпадением, что в этот именно час они оказались здесь.

Г. Шемадамов, плачевного вида человек с длиннейшими вислыми усами, выступил вперед, делая странные движения пальцами, как бы ощупывая воздух, и осведомился, что означает притча с овсом и грудой лопат. В голос он вложил всю возможную участливость, и мужикам показалось, что он тут же если не умрет, то непременно разрыдается. Тогда один птицеобразный старичок отвечал на это, что налево стоит п и щ а, а направо положен т р у д и что довольствие труду неравновесно. В один залп, за что и выбрали его миро́м в говоруны, он перечислил и другие обиды, пока г. Поммье насасывал свою хрипучую трубочку, а Штейнпель пристально рассматривал пыль на своем ботинке. Г. Шемадамов уныло наклонился к плошке и, зачерпнув десяток зерен, бросил себе в рот: ему показалось, что просто сапожные деревянные гвоздики попали ему на язык. Он выплюнул и покачал головой.

— Бога побойтесь, ребятки,— жалобно сказал он, высвобождая из усов один застрявший там гвоздик и скашивая на него глаза.

Мужики шевельнулись.

---

[1] В копии рапорта горигорецкого начальника г. Рынды-Рожновского в адрес департамента исполнительной полиции имелось указание на подслушанные в артелях разговоры о некоей в т о р о й свободе и прочих вредных пустяках.

— Богу стыдно не быват! — вздохнул один древний цинготный старик, весь дырявый, точно огонь съел на нем одежду, и с глазами — как две незаживляемые раны.

Толпа заволновалась, и тогда г. Штейнпель, быстро отстранив вислоусого Шемадамова, нашел толковые и вполне резонные объяснения всему. За время двухдневного пребывания на строительстве он успел ознакомиться с содержанием мужиковских неудовольствий. Так, по главному делу о взыскании недоимки он показал собравшимся бумагу за № 5591, посланную в Сурожин, и полученное оттуда сообщение за № 1115. Ввиду явной неясности № 1115 в управление государственных имуществ отослано было повторное отношение № 5602, на которое и следовало теперь дожидаться благоприятного ответа. Касательно оглохшего Зимина он во всеуслышание прочитал заключение местного подлекаря Дубяги и приходского священника, что органы слуха у помянутого Зимина оказались налицо и в нормальном состоянии, хотя и не могли действовать вследствие истощения прежними болезнями. Что касается кваса, бани и сапог, он предложил среднее миролюбивое решение, количество же соломы для спанья от лица дирекции обещал удвоить. При этом он все напирал на цифры, потому что, при неспособности русского мужика к быстрому исчислению, цифра издревле являлась лучшим способом убеждения... Таким образом, все улаживалось; г. Штейнпель довел толпу до ясного сознания святости контракта, и уже сами мужики готовы были хоть под присягой подтвердить, что обращение с ними было самое кроткое, как вдруг произошел анекдот.

Молодой голубоглазый мужичонка, одной волости со Спиридоном, Семен Шпагин, вздумал показать французу язвы и опухоли на русской ноге, доставшиеся ему на 124-й версте при возведении насыпи через Закреевское болото. Размотав тряпье, он отважно пошел прямо на г. Поммье, но, по незнанию русской речи, тот принял поступок Шпагина за поносительную дерзость и с маху, не выпуская трубочки, ударил его сапогом в нижнюю область живота. От этого действия Шпагин тотчас упал и лежал, как бы завязанный в узелок, с коленями у самого подбородка, страшась кричать, лишь мигая в небо глазами, ставшими совсем смолевого цвета. И хотя лицо его не повредилось при паденье, кровь выступила на губах у Шпагина. Вся работа г. Штейнпеля шла насмарку. Мужики зашумели, ворвались во двор, изрубили стоявшие там две телеги и дрожки г. Шемадамова, отняли ружье у караульного солдата и

раскололи икону — Зачатие св. Анны. Впрочем, стало накрапывать, и буяны мирно разошлись по землянкам, унося безжизненного Шпагина с собою![1] В тот же вечер г. Штейнпель имел беседу с г. Поммье и склонял его, как правую руку Орбека, к примирению с крестьянами в духе статей 1534, 2224 и 2226 Тома X, Части 1 Законов гражданских, но тот послал его к черту на французском языке. Опасения г. Шемадамова подтвердились. Утром четыре артели в составе 245 человек не явились на линию и землянки их оказались пустыми. Люди ушли в неизвестном, по-видимому северо-восточном, направлении. Тогда г. Штейнпель направился верхом в Борщню, где, как всегда, проводил свой летний отпуск О. Р. Бланкенгагель. Шемадамов же остался допивать свою долю и доигрывать партию с г.г. Щекотихиным и Поммье.

На совещании, где, кроме помянутых, присутствовали Э. Г. Гриббе, пристав второго стана Рында-Рожновский и домашний учитель А. Г. Похвиснев, высказана была догадка, что сбежавшие крестьянские артели направились к своему губернатору, который славился кротостью, просить об ограждении их семей от произвола чиновника управления государственных имуществ. Тело Шпагина, не могшее уйти самостоятельно, они, по всей видимости, захватили с собою. В таком виде, естественно, они являли собою подобие пороха: жители деревень на всем протяжении четырехсот двенадцати верст неминуемо должны были видеть горькое шествие мужиков, соблазненных на железнодорожную повинность. Можно было предполагать, что именно произойдет, когда эта босая орда появится на площади перед губернаторским домом. (Насмерть перепуганный г. Похвиснев не сомневался при этом, что душою всего дела был Спиридон Маточкин.) Тотчас была составлена телеграфическая депеша г. начальнику военной части с просьбою охранить от возмущения полторы тысячи рабочих на пространстве двадцати верст, ближайших к Борщне. В губернию же с нарочным послано было подробное изложение обстоятельств дела, сопровожденное удостоверением местного подлекаря Дубяги и приходского священника, что болезнь Шпагина проистекала скорее от хронического расстройства паховой части живота, чем от соприкосновения с ногою г. Поммье.

---

[1] Сопоставляя даты этого случая с одним неотосланным письмом Танечки, Пересыпкин имел основания догадываться, что похвисневское посещение землекопов произошло часа три спустя после этого события.

Очень расстроенная происшествием, Танечка Бланкенгагель передала подробности своего посещения землянок, и г. Штейнпель нахмурился.

— А с вами,— обратился он к Похвисневу,— я еще буду говорить, при каких условиях вы видались с Маточкиным и кто[1] надоумил их уходить с работ! — И тот испытал странную вязкость во всем теле от одного взгляда этих скользких, ализаринового цвета глаз.

В качестве временной меры постановили снять мост и переправу на р. Зуйке, но как раз проходили последние плоты по Зуйку, и мужикам не составило труда пяток из них подтянуть к берегу. Выбравшись за пределы ненавистной губернии, они двинулись дальше, и стало ясно, что у них хватит ожесточения пройти насквозь бескрайнюю Россию. Уже через полторы недели все наличные учреждения трех смежных губерний вступили в деятельную переписку по поводу буйства, покушения на жизнь г. Поммье, самовольного побега с места работ и, наконец, неслыханного кощунства, о котором страшились говорить вслух. Речь шла вовсе не о разбитии иконы св. Зачатия.

...и вот уже не хватало Алешиных сил изобразить беспорядочное шествие босых, истощенных людей; а вел их Спиридон Маточкин[2]. Впереди тащились что постарше, а потом четверо помоложе несли на армяке, подвязанном к жердям, распластанное, развязавшееся наконец тело Шпагина. Он умер на третий день, а его продолжали нести с мрачным и диким вдохновением; только почаще, по случаю великой жары, сменялись на жердях. В этом образе еще убедительней представали злодейства властей, а ради такого случая Шпагин, свой человек, мог и подождать с погребеньем. «Потерпи, родной!.. Мир простит!» И он плыл, черный и покорный, распространяя вокруг смрад и возмущение...

Так они шли, наугад, с сосредоточенным, даже фанатическим упорством, руководясь отчаяньем, как инстинктом, что гонит на старое место перелетную стаю по весне; шли через

[1] Имелись особые сведения, что г. Похвиснев фантазирует, умодействует, пытается увязать христианство с социализмом и грозится отыскать способ обновления человечества.

[2] Все это был, конечно, вымысел Алеши, потому что именно так поступил бы он сам на месте Спиридона Маточкина.

луга, молчаливо взбираясь на зеленые холмы милой **родины** и снова опускаясь в вечерние туманы речных низин; шли мимо зреющих нив, мимо беспечных тенистых усадеб, мимо веселых, на пригорках, деревенских храмов, и, наверно, сами при их приближенье набатно гудели колокола. Пели жаворонки над ними, жмурился от солнца мертвый, издалека блестели круглые, цвета розовой дресвы, обгорелые лысины стариков. Ночью сваливались, как придется, у костров, выставив дозорных и разложив по муравейникам тельные рубахи, чтобы освободиться от насекомых,— и Шпагин тоже отдыхал в сторонке... А был там среди них один не без воображения парнишечка: он захватил с собою плошку с овсом. Видно, засыпало ее пылью проселков, помочило дождичком, и зерно медным ядовитым цветом прозеленело в плошке. Не было ли расчета у паренька, что оно и всколосится к той поре, как доберутся они наконец до губернаторского дома?

«Что же вы, так-сяк, оглашенные,— отечески спросит губернатор,— государство свое позорите? Кто из вас пострадавший?.. пускай выйдет и скажется!»

«Не может он выйти и сказаться,— хором ответят мужички. — Он маненько ушибен, ваше дорогое превосходительство, и лежит невосклонно. А за эти сроки, гляньте, загорел малость и поправился...» И поднесут ему прелый **суприз** на армяке; и ужаснется, и уволит чиновника из управления государственных имуществ, а французу повелит всыпать двадцать пять горячих, чтобы не забывался на чужой земле, а семейству Шпагина выдаст денежное вознаграждение за порушенного кормильца. Так они думали, но вышло иначе.

Первою была брошена вдогонку горигорецкая инвалидная команда в составе двух унтер-офицеров и шестнадцати рядовых. В предписании предлагалось сперва мерами кротости и вразумления добиться раскаяния беглецов, а уже затем посечь зачинщиков для закрепления достигнутых результатов. Но то ли быстрее шагали мужички, чуя гон на следу, то ли отвыкли ветераны от военных переходов,— шествие продолжалось, и уже пространства второй губернии подходили к концу. После же того, как Спирька пытался увлечь с собою население одного села, последовало приказание конному отряду ногайских татар атаковать и примерно наказать на месте этих самодельных **пропагаторов**. Стремясь, однако, избегнуть возможного кроволития, отряду был придан А. Т. Штейнпель, уже в

полной форме жандармского полковника[1]. По человеколюбию, не желая доводить дело до следствия и тем портить карьеру молодого человека, а вместе с тем стремясь наказать его психологическими средствами, г. Штейнпель захватил с собою в поездку г. Похвиснева... Войско двинулось в путь под командой штаб-ротмистра Казначеева и в два перехода настигло беглецов.

Встреча состоялась при р. Псне, на выгонах у деревни Апраксино, и три белых разлатых березы давали достаточно тени, чтобы каратели могли без утомления потрудиться здесь. Дабы не пугать одичалых мужиков, отряд всадников спустился в лощинку, и солдаты имели возможность оправиться и попоить лошадей. Прыгая по лужку, коляска приблизилась к толпе, которая остановилась. Шпагина положили позади, на склоне холма; он уже отказывался двигаться дальше. Г-н Штейнпель решительно вытолкнул вперед перепуганного Похвиснева, и тот путано обратился к толпе с объяснением великого значения железных дорог в деле перевозки тяжестей, а также призывал отречься от заблуждения и верить заботам правительства о себе. Он едва стоял на ногах, и — то ли от долгой тряски по дурным проселкам, то ли цвет листвы отражался на нем — было совершенно зелено его лицо. Однако у него нашлось духу указать на свою собственную судьбу, судьбу простого крестьянского внука, достигшего и в нынешнем положении известных высот и образования. (Ахиллес Теофилович курил тем временем папироску и заметил сквозь зубы, что, наверно, и дедушка был такой же с у к к э н с и н.)

Тут еще ветерок со Шпагина повернул на молодого человека, и теперь плачевный вид его требовал даже медицинского вмешательства.

— Что ж ты, баринок,— жалостливо кивнул ему Ларион Баюшкин, поглядывая в сторону лощинки,— надгробно-т слово трудишь. Не бойсь, ето не тебя, ето нас драть станут!

Г-н Похвиснев окончательно смутился и, зажимая нос платком, устранился из беседы. В свою очередь, г. Штейнпель

---

[1] Из архивных материалов III отделения е. в. канцелярии Пересыпкин имел основания заключить, что Штейнпель был лишь подражателем некоего Джолио, жандармского полковника, действовавшего всего за шесть лет до описанных событий. Обладая внушительной внешностью, зычным голосом и глубоким познанием крестьянской души, последний зачастую единолично умиротворял беспорядки, возникавшие на строительстве частных железных дорог.

притушил папироску и приступил к выполнению службы. Форма к нему больше шла, нежели штатское платье. Уже без доли фамильярности он огласил постановление властей вернуть беглецов в землянки, тело Шпагина, умершего от хронической болезни, предать земле и выдать трех зачинщиков. Он было сам двинулся по рядам выбрать виновных, но мужики заволновались, и тут, между прочим, г. полковнику было нанесено неоднократное оскорбление действием...[1] Это послужило разрядкой злой, истерической устремленности мужиков; наступило трезвое понимание действительности, выступившей в образе г. Казначеева. Из лощинки следили за ходом переговоров. Было красиво видеть, как впереди лихой ногайской лавины легкий ветерок стлался по траве. Погрузив зажмурившегося г. Похвиснева в коляску, Ахиллес Теофилович отъехал в сторону, чтоб не быть помехой действиям г. Казначеева.

(Пересыпкин намеренно миновал описание расправы; и без того чернила пенились и вскипали у него на пере!)

Отправка покаявшихся преступников по этапу в горигорецкий земский суд и бегство Спирьки из-под стражи не нашли отражения в Бланкенгагелевом архиве. Только по частным письмам борщнинских обитателей можно судить, какой страх наводили на округу последующие похождения Маточкина. Удивляло всех, что, ставши теперь совсем вольным, Спирька не возвратился на родину, а продолжал действовать[2] в районе железной дороги. Им владела странная затея: изловить и посечь самого Бланкенгагеля. В разбое у него не было сообщников, и, может, поэтому охота на него заняла свыше года. Маточкина захватили наконец на чужой свадьбе и на той же тройке, с лентами на дугах и в хвостах лошадей, хмельного, доставили в Борщню. К этому времени казенные бумаги о нем весили почти столько же, сколько и он сам. Горигорецкий тюремный за́мок был закрыт по случаю ремонта, и, как-то случилось, последние дни жизни Маточкин провел в Борщне.

---

[1] Судя по личному рапорту г. Штейнпеля, он получил всего два раза по лицу; Маточкин, однако, показал, что целых шесть раз ударил пострадавшего,— Пересыпкину посчастливилось отыскать размашистую, недоуменную резолюцию шефа жандармов кн. Долгорукова: «Государственное дело требует точности. Куда девались остальные четыре раза?»

[2] Действия его, однако, не приобрели больших масштабов. Старинное пожелание г. Рынды-Рожновского («пошли, господи, кошмарное преступление, можно прославиться!»), высказанное в частной беседе с О. Р. Бланкенгагелем, так и не сбылось.

Следующее упоминание о нем попадается только в документах самого открытия дороги.

Оно произошло 20 июля 1876 года. (Пересыпкин отыскал в старых газетах кое-какие подробности этого знаменательного праздника.) Первым пустили поезд с солдатами, которые пели приличные случаю песни; с той же целью однажды Ной выпускал пробного голубя из своего ковчега. Потом, при стечении народа, на грузовую платформу поставили скамейки, устланные коврами, и впрягли двухосную, со здоровенной трубой, машину, которая дымила, как черт. Здесь уселись директора, инженеры, важнейшие из пайщиков со своими семьями, инспектора наблюдения и другие губернского масштаба деятели, приглашенные на домашнее торжество. (Официальный банкет в честь открытия состоялся двумя днями раньше, в Горигорецке.) Преосвященный согласился прокатиться при условии, что паровоз не будет свистеть в пути. Впрочем, он долго не решался влезать на платформу. «Как все это грустно!» — молвил он. Бланкенгагель махнул платком, простонародье гаркнуло у р а, солдаты взяли на караул, поезд тронулся. Искры летели в лицо, потом пошел дождик по причине Ильина дня, и многие не понимали, к чему же все это напрасное стеснение людей? Мокрые вернулись назад, и только Олегово пиршество на семьдесят пять человек вознаградило участников прогулки. Обед длился шесть с половиной часов; слепые воспитанницы из приютского дома непрерывно исполняли кантаты, а Хомутов П. П. произнес речь о культуре, где очень ловко и кстати [1] приравнял борзинговские паровозы к той огненной телеге, на которой, по преданию, пророк Илья отбыл на небо, в нетленные чертоги творца.

Когда гроза прошла и в травке засверкало солнце, уже утратившее свою силу в борьбе с грозой, все ходили смотреть на пойманного злодея. Интерес со стороны гостей проявлялся к нему огромный. Они стали полукругом и ждали, и дамы дрожали не только от вечерней сырости, хотя Спирька еще не выходил. Прошло минут десять, прежде чем из погреба вывели под руки Маточкина. На плечи его был накинут рваный чапан. Хомутов П. П. попросил гостей расступиться, чтобы и дамы, не приближаясь, могли видеть то же самое. Разбойник стоял

[1] Еще гремело в небе, и сквозь ленивую радугу надвигался лиловый вечер.

весь в багреце закатного солнца; оно еще пробивалось отлогими лучами сквозь ветви. Спирька молчал, низко опустив голову. Глаза его опухли. Зачем-то наспех, перед тем как вывести, сполоснули его водой. Слипшиеся волосы приклеились ко лбу. Врезалось в память страшное благообразие этого лица. Преосвященный выступил вперед.

— Приподнимите ему веки! — повелел он.

Будучи почетным попечителем народных школ, он поощрял гражданскую словесность, Гоголя же знал назубок. Бланкенгагелевы молодцы поняли его слова как приказание приподнять голову преступника.

— Видишь ли ты меня, Спиря? — тихо спросил владыка.

— Вижу, да руки коротки... — со вздохом произнес Маточкин, и все подивились обилию железа в этом битом человеке.

Он лгал, он не мог видеть ничего этими багровыми опухолями; он лгал даже и перед пастырем.

— А ты веселый, Спиря! — продолжал преосвященный, слегка смутясь и грозя посошком.

Темное лицо разбойника оживилось; кажется, он пытался улыбаться всем тем, кого не видел.

— Я веселый. Взял бы ты меня, старичок, в песельники...

Тогда, стремясь соблюсти благочиние, преосвященный сказал увещательное слово, и все увидели, как наяву, громадное черное тело Вараввы, обвисшее на гвоздях и веревках... С глубокой проникновенностью он распространился также о значении новой дороги для простого народа, когда каждый, купив билет в кассе, сможет посетить любую на родной земле обитель. Это был страстный поединок молчащей, отвердевшей души и проповедника, несправедливо забытого историей церкви. Спирька заплакал, хотя и были сжаты его кулаки; его прислонили к дереву, чтоб не упал сослепу на землю. Орест Ромуальдович приказал поднести ему чарку, и тот, задыхаясь, выхлебал ее в мгновенье ока. А преосвященный все говорил о тщеславном знании и напрасной гордыне людского рода. «Вот все болтают: Юпитер, Юпитер! А что это такое — никто в точности и не знает!» Было очень хорошо. Душевное умиление располагает к аппетиту. В воздухе посвежело. Все вернулись к столу. Натуры развернулись, и через полтора часа отца эконома Василь-Дубнянского монастыря замертво и в скатерти вынесли на руках. Если бы не это да не ссора двух бравых путейцев

по вопросу о спиритизме[1], день этот был бы совершенным праздником единения всех прогрессивных сил.

С самого начала, однако, дела на дороге пошли из рук вон плохо. Главные грузы успела захватить Саратовская, и на долю Волго-Ревизанской достались единственно дрова. Первые годы грузооборот был настолько мал, что по зимам не стоило и снегов разгребать. Акционеры разочаровались окончательно... и тут случилось, что новый главноуправляющий П. П. Мельников имел нужду проезжать по новооткрытой линии. И хотя этот высокопоставленный господин слыл великим скупердяем[2], Орест Ромуальдович совместно с тем же Хомутовым отправился к нему с ходатайством. Дорога все еще не давала своих пяти процентов, и Бланкенгагель собрался просить хоть каких-нибудь военных перевозок, солдат или пушек, или чего-нибудь другого, тяжелого и казенного. Свидание произошло на станции Бармалеево. Мельников встретил гостей радушно, отметил уединенное очарование здешних мест, богатства края и предприимчивость высшего сословия. Похвала смердела издевательством. «Я ждал увидеть горы!» — иронически заключил он, намекая на высокую поверстную цену дороги. В ответ на жалобы он дружелюбно посоветовал открыть на крупных станциях недорогие публичные дома для привлечения иногородних пассажиров. Орест Ромуальдович чопорно напомнил его высокопревосходительству о своем дворянском достоинстве, но генерал-лейтенант суховато осведомился лишь, почем платили хотя бы за отчуждение земель[3]. Бланкенгагель смягчился (главноуправляющий мог, например, потребовать лучших мостов в целях безопасности движения!), почесал бакенбарду и даже отвесил какой-то комплимент мудрой проницательности государственного мужа.

---

[1] За месяц перед тем как некий Менделеев выпустил разносную книгу о спиритизме (1876), сбор от которой предназначался на исследование верхних слоев воздуха. Эта отчаянная попытка выудить у русского общества 6000 рублей на постройку какого-то заатмосферного дирижабля, как и следовало ожидать, успеха не имела.

[2] Про него шла молва, что во внеслужебное время он и часов не заводил, чтобы не стачивались попусту драгоценные колесики. (В этом письме к О. Р. Бланкенгагелю по поводу банковского отказа в субсидии на приобретение дополнительного подвижного состава Гриббе явно напутал: острота касалась другого петербургского вельможи.)

[3] Учредители получили по 450 за десятину пахотной и по 285 за порубь, то есть за пенышки разных пород, а дровяные сараи обходились по 3000 рублей.

Очень скоро, впрочем, примерная наглость «горигорецких разбойников», как стали их величать в губернии, потерпела крушение. На дровяной дороге кормилась уйма всяких директоров с многочисленной родней. Пятипроцентные государственные субсидии не покрывали и наполовину хищений, производимых под видом окладов и жалований. Тогда Бланкенгагель заложил акции, в надежде обернуться к моменту оживления перевозок, но дошлые люди дознались, что сумма акций все же не покрывает его счетов. Банк потребовал покрыть возникшую разницу и следом принял крутые меры. Дело попало в руки следователя по особо важным делам. Управляющий дорогой, Э. Г. Гриббе, показал на первом допросе, что деньги были изъяты по приказанию Бланкенгагеля на благоустройство края, а кассовые прорехи наспех залатаны дутыми векселями. Вся губерния с замираньем сердца острила об аресте предприимчивого Ореста. Предводителем дворянства стал радикал, бывший мировой посредник в крестьянской реформе и непримиримый враг Бланкенгагеля. Уныние опустилось на Борщню. Учредитель действительно сидел под домашним арестом. Сюда заезжали на дрожках ходатаи, шпионы, замешанные в неприятность чудаки и просто воронье в поддевках и суконных казакинах. Опускались шторы, и час спустя небритый казачок отвозил на почту секретные депеши. Они остались без ответа. Петербург молчал. Адлерберг был болен.

Орест Ромуальдович много читал в эти дни. Его настольными книгами были Уложение о наказаниях и Апокалипсис. Так он примеривался по одной и вкушал горькое противоядие из другой. (Кстати, из столицы стали поступать запросы об исчезновении государственного преступника С. М. Маточкина. По-видимому, С.-Петербург также желал приложить руку к злодею.) Иногда Орест Ромуальдович спускался к Похвисневу в его получуланчик и до одурения играл с ним в шашки... Аркадий Гермогенович скучал. Ничто более не задерживало его в этом приюте изящной жизни, как он сам называл когда-то Борщню. Дудникова отправили вместе с Бланкенгагелевым отпрыском в столицу, Танечку же — в Крым, чтобы избавить их от присутствия при последнем акте родительского позорища. Романтические рощи опустели. Желтый лист валился на дорожки, и по ночам Спирькиным голосом кричал ветер. Ореол Маточкина окончательно истаял в его глазах еще до поездки со Штейнпелем на расправу, едва Аркадий Гермогенович

усвоил, что уж его-то самого этот самодельный Спартак зарезал бы в первую очередь за одно блудливое выражение глаз. Аркадий Гермогенович решил исчезнуть из Борщни. Он сделал это, даже не поблагодарив за гостеприимство. «Я задыхаюсь в спертом воздухе все еще крепостных латифундий!» — писал он в оставленной записке и обещал искать в других местах народную правду. (Так сильна была его уверенность, что Танечка по возвращении станет расспрашивать о нем!) Записку увенчала латинская цитата о Карфагене, который должен быть разрушен.

Бланкенгагелю подали ее утром, когда он расхаживал по террасе в ожидании кваса. Он прочел похвисневские объяснения и, усмехаясь, долго гладил пса. Халат его распахнулся, и горничные, собирая на стол, испуганно отворачивались. Старика удивило содержание письма. Никто не хватал за фалды этого щелкопера; притом же сей доморощенный фурьерист целых два года кормился на сытных карфагенских пастбищах и, кажется, имел время научиться учтивости.

— Крыса какая, а? Три с полтиной, балбес... — трубил в нос Орест Ромуальдович. — Латифундии, а? Тацит какой отыскался!..

(...Пересыпкин захлопнул рукопись и стал глядеть в окно. Первый огонек мигал в тумане, ночной снежок лепился на стекло.

— Ну, Костя, хватит с тебя на сегодня?

Струнников неохотно взялся за шапку:

— Чем же все-таки это кончилось?

— О, ничем, Костя. На этот раз Адлерберг выздоровел!)

КУРИЛОВ ИЗОБРЕТАЕТ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Уже к концу первой недели Алексей Никитич выглядел много свежее. Предельная ясность установилась в мыслях, и такая логика в явленьях жизни предстала перед ним, как будто мир был построен из одних прямых линий. Все остальное также говорило об улучшенье. Со времени приезда в Борщню припадки не повторялись. Монотонный голос профессора давно загас среди других шумов жизни, а практика учила Курилова не слишком доверять профессорским предсказаньям. В конце концов, медицина тем и хороша, что часто ошибается! Как большинство не болевших никогда, Алексей Никитич ребячливо верил в целительную силу стихий.

Он поднимался, едва первая жилка рассвета опояшет восток. Уборщица вносила таз с плавающими льдинками. Уверенный, что всякая болезнь не любит бритых, он заботливо выскабливал свои щеки по утрам. Читал толстую книгу — что-нибудь о соперничестве морских и сухопутных держав на Океане — и, поглядывая на спящего сожителя своего, Гаврилу, медленными глотками пил молоко... Когда он выходил из дому, еще таял месяц в небе, тоненький — как от надреза ножичком. Все спали. Шел наугад по скрипучей, все более слепительной дороге. Рассматривал следы ночного зверька и читал его приключения, записанные на снегу. Поднимался на Спирькину гору и недвижно, подолгу стоял здесь лицом в грустную и милую необозримость. И дышал, дышал, втискивая в себя как попало ощущения снежного воздуха, похрамывающего утреннего ветерка, кособокого и лохматого лесишка, торопливо нарисованного на снежной синьке. Думал,— как смешно, что вот он, грубый и сильный человек, прошел огромный путь, чтобы тайком остановиться здесь и ждать чуда.

Бывало славно на природе в эти часы. Облачишки в небе были какие-то мальчишеские, очень хорошие, и прозрачность пространства позывала на писание стихов. Алексей Никитич спускался в низинку покурить, посидеть на знакомом пеньке, опустить пальцы в черную, с топазовым отливом воду незамерзающего ручейка. Лес рыжел, цвет и звонкость меди приобретал он по мере того, как всходило солнце; выстрел охотника в чаще походил на удар в металлический бубен. Тогда Курилов поднимался и зачарованно шел на звук...

Так в нескончаемых этих блужданьях объявился у него потаенный и безыменный приятель годов шестидесяти двух. Это был веселый, совсем лубочный дед, охотник и невесомый человек,— без лыж хаживал по насту, чуть схватит снег морозцем! В трудные годы все у него померли, и теперь старикашка проживал один в заколоченной избе, бил всякую дичину на продажу, летом ходил по деревням — «выслушивал воду для новых колодцев» — и хвастался, что самая смерть трусит встретиться с ним, а все норовит тяпнуть из-за угла. Уговаривал Алексея Никитича полечиться у одного знахаря (что уехал сейчас покупать хомуты для колхоза и вернется на будущей неделе), рассказывал ему мужицкие истории, круто посоленные лаконическим мужицким юморком.

Алексей Никитич дымил трубочкой и слушал, слушал музыку его слов:

— ...вот приспело мужику помирать, и плачет жене: «Как умру, ба, чем ты меня накроешь?» — «Уж помирай, накрою...» — жена ему говорит. Вот помер, жена оммотала его тремя нитками (ничого-то у ей, бедняшшей, нету!) от пяток до головы, встала, убивается: «Друг мой милый, да-а на что же ты похож?» А он, ба, и отвечает: «На балалайку!»

Было уже не важно, какая сила поднимает его назад, в жизнь. «Лечи меня, лечи, лесной старик!»

Итак, признаков умирания не оставалось вовсе. Зато прежняя пронзительная пристальность заметно усилилась в куриловском взгляде, как будто внутри у этого человека открылись вторые глаза. Вдруг все ему стало интересно — как обделывает свои зимние дела лесная мелкокалиберная пичуга, как переметнется белка с дерева на дерево, оставляя игрушечную вьюгу за хвостом, как упадет на рукав и растает от дыханья граненая хрусталинка снега. Так он узнал, что зимний лес легонько припахивает псинкой, а дятлы до самоотверженности любознательный народ. И как с большой высоты взгляд легко проникает в толщу моря,— ему стали доступными все мельчайшие душевные движения людей. Издалека он прочел по-новому льстивую, тревожную восторженность мальчика Луки и открытую, мужественную дружбу Зямки. Тогда ему стало ясно, что и Гаврилу приютил у себя из-за неутолимого желания вслушиваться в детскую речь... Бывало также, заходил в соседние колхозы напиться молока, рассказывал мужикам о замыслах советской власти или, напротив, сам вслушивался в их жалобы, обозначавшие, по его мнению, рост потребностей, нетерпеливую мечту растущей зажиточности и, следовательно, стремление к тому, во имя чего были принесены жертвы. Он угадывал изнанку человеческого поведения (и смеялся, смеялся, когда забежал к нему борщнинский завхоз и все юлил, допытываясь, куда Гаврила запрятал рукавички, купленные им на именины жене; глаза завхоза бегали, точно на ниточках привязанные к мыслям, и в душе он, видимо, допускал тайное сообщничество самого Курилова); его внимание все чаще останавливалось на Лизе.

Он откладывал книгу, прекращая на время сражение величайших эскадр, и сравнивал двух, мертвую и живую. Чем-то Лиза отдаленно напоминала теперь Катеринку. По его мнению, их роднили кажущаяся беспомощность (хотя покойница имела силу воевать со старым Протоклитовым, а в числе Лизиных трофеев был Ксаверий), задушевная вкрадчивость и отсутствие

внешней нарядности, общее для обеих ощущение какой-то надкушенности, застенчивая двойственность речи (всегда позади сказанной звучала другая, главная фраза) и все то, что он дополнительно придумывал в поисках сходства и преемственности. Он ошибался; в облике Лизы имелось что-то, чего всегда недоставало Катеринке, и, сказать правду, эти поверхностные сравнения редко выходили в пользу покойницы. Он всегда слишком уважал и боялся огорчить ее, чтобы быть счастливым с нею. Двадцать три года Катеринкиной верности и преданности подвергались запоздалой переоценке. В своем позднем разочаровании он допускал несправедливость и к этому безжалобному другу, и к своей работе, полагая, что именно в работу он и вколачивал энергию всех своих грешных и вполне человеческих страстей.

На его примере неопытность юноши сочеталась с иронической прозорливостью старика. Все Лизины секреты он разгадал давно. Наверно, это была первобытная властная жадность к овладению миром путем создания его чертежа,— и не с нее ли начинается подлинный художник? Он определял это качество как подсознательное стремление закрепить в памяти мгновенье, его цвет и форму, идею и выразительность, самую игру заключенных в нем отражений обширного и сложного мира. Не осудить всего этого и значило понять неумелую самонадеянность молодости, сложенные лепестки еще не распустившегося существа, выращенного в условиях тех лет,— то самое, что проглядел в ней муж. В своей преувеличенной снисходительности Курилов старательно отыскивал в памяти случаи, когда размах ошибок определял и масштабы будущих побед... У этой женщины все было впереди, и это было так же верно, как то, что у него то же самое оставалось в прошлом... Его приветливая внимательность к ней сменялась каким-то тревожным и незнакомым ощущением.

Так вот как оно выглядит, настоящее! Похоже было, что его собственная молодость наступала только теперь. Поистине он выздоравливал. Здесь, на закате, любовь становилась могучим и еще не исследованным средством физиотерапии. В другое время он счел бы это за волшебство. Уже он считал десятками признаки своего помолоденья...

Куда бы ни глядел в присутствии Лизы, она всегда оставалась в поле его зрения. Встретясь утром, он до вечера носил на руке ее прикосновенье, как перчатку. Это чувство мешало ему думать, но он охотно свыкался с неудобствами своей вто-

рой молодости. Он хотел Лизы, он засыпал с мыслью о пей, и Лиза также, толчками, как сквозь сон, подвигалась ему навстречу... Дома отдыха всегда располагали к романическим приключениям, а в Борщне даже существовал особый лунный комитет из отдыхающих; он вел шуточную регистрацию всех любовных происшествий. Только этот двухнедельный роман ускользнул от летописей комитета; подготовка к нему совершалась втайне даже от самих участников, а завершение его походило на взрыв, слишком мимолетный, чтобы его успела отметить борщнинская сплетня... Актрису притягивала значительность этого человека, хотя Лиза и не разумела вначале, в чем она состоит. Но она всегда приписывала Курилову великое право порицания и похвалы и уже не желанного разговора с Тютчевым, а хотя бы маленького куриловского одобренья не хватало ей теперь для счастья. Вдобавок ежечасно она угадывала темное облако, нависшее над Алексеем Никитичем, и хотела бы отстранить его, но не умела...

В письме к Аркадию Гермогеновичу — по поводу его секретного порученья — она писала: «...извини мое запозданье. Я ходила на борщнинское кладбище, как ты велел. Едва нашла. Оно в запустенье. Это сплошной сугроб; хорошо, что я догадалась отправиться на лыжах. Ночью, при луне, это красиво, но луна здесь очень мелкая; должно быть, износилась со времен твоей молодости. Сколько влюбленных уже пользовалось ею!.. Ко мне хорошо отнеслись. Один добрый человек, Шамин, возил меня в Черемшанск показывать людей. Странно, в общении с ними испытываешь потребность делать что-то большое, чтобы иметь право сказать — мы. Не удивляйся, если я задержусь здесь. Возможно, я вернусь в Москву только за вещами...

...все сбиваюсь с темы, интересующей тебя. Дважды я обошла это место, но той могилы не отыскала. Оказалось, все памятники употребили в дело, когда мостили площадку на конном дворе; похоже, что и помянутое надгробие постигла та же участь. Между прочим, твоя Танечка могла быть похоронена где-нибудь и в другом месте... Вспомни ту же Марию: где созревала ее юность и где легли ее кости!.. Кстати, я окончательно отказалась от мечты играть ее. Это был только детский миф, но я обязана ему тем, что образ этот провел меня через многие книги, о существовании которых я не подозревала... Здесь сохранилась прекрасная библиотека. Я много прочла. Мне скучно думать о том, что было моей мечтою.

И опять удалилась в сторону, болтунья! Зато мы отыскали

здесь родственницу последнего борщнинского владельца, чуть ли не его родную сестру. Она живет здесь в сторожке среди парка. Я непременно постараюсь, если успею, расспросить ее о твоей Танечке; наверно, помнит. Мы ходили с Алексеем Никитичем посмотреть на нее. Кстати, ты напрасно так дурно отзывался о нем. Жизнь его — сплошной рабочий день, и все-таки я ловлю его на постоянном страхе, что он не успеет, не успеет сделать чего-то самого главного. Это, конечно, человечище. Я уже до краев переполнена им, а он все еще не умещается во мне. Не думай: ничего не случилось. Я прежняя. Считай, что твоя Лиза просто пьяна от воздуха, снега и людей...»

Самым убедительным доказательством ее искренности было Лизино безразличие, состоит ли Тютчев в куриловских приятелях. Больше того, она очень ловко переменила разговор, когда он сам мимоходом начал об этом. Она приходила к Курилову, теряя даже то бедное оружие провинциальной девчонки, каким кое-как научилась владеть. И если только это не было попыткой проверить себя, способна ли она на большое чувство,— значит, это и была нарождающаяся любовь. Лизу пугало только существование Марины, роли которой в судьбе Курилова она не понимала. Приписывая сопернице качества, которых та на самом деле не имела, она решалась вступить в заочную борьбу с ней. Она старалась придать этим попыткам оттенок случайности.

— Знаете, она красивая, эта женщина, что была тогда в машине. Такие утопленницы бывают: немножко полные и с зеленоватыми глазами... потому что насмотрелись воды. — Она произносила это, закрыв глаза, как стихотворение. — В июльский полдень... она плывет лицом вверх... Офелия... вся в желтых цветах и поломанной осоке. И все вокруг плывет вместе с нею...

Он даже не понял, что это была ревность, но ему было ясно, что Катеринке, например, не понравилось бы коварное замечание Лизы.

— Эта женщина — мать о-отличного сына,— сказал он с уважением к Марине. — Кроме того, она и сама неплохой человек... и она знает, где надо искать себя. — А сам подумал, что с такою, как Марина, Катеринка подружилась бы на протяженье часа и на всю жизнь!

Лиза замолкла, и, может быть, это был стыд. Они возвращались домой. С ночи, не переставая, валил снег. Лесная до-

рога угадывалась лишь по ширине просеки. Весь этот разговор и случился только потому, что из-за снега не видели лица друг друга.

— Ну, что ваше Гаврило?

— О, большой скачок. Он учится улыбаться. Знаете, ко мне ребята с большим доверием относятся.

Она кивнула, соглашаясь и, наверное, имея в виду себя.

— Это правда. У вас есть дети?

— И не было! — Он наспех придумал объяснение: — Сперва все прятаться приходилось, потом — помните? — республика три года не слезала с коня. А когда жизнь наладилась, супруга наша стала прихварывать...

— Она жива? — быстро спросила Лиза.

— Нет. — И шагов двадцать шел молча. — Но, бывало, очень хотелось завести себе сынищу... плечистого, насмешливого, сурового, такого... — и в жесте, каким он вскинул кулак над головой, сказалась сила его давнего желания, — ...чтобы я ему слово — он мне два. Сейчас он был бы уже красноармейцем. И он бы мне письма с Океана писал, не очень длинные, вполне деловые... поплакать не над чем, но в каждом листке едва уловимый запах большого водного пространства. «Прилетай, — написал бы он мне, — древний и многопочтенный старец, повидаться перед тем, как засунут тебя в большую печку, как уйдем мы с песней в далекий и последний поход!» И меня повезли бы, с уважением к отцу красноармейца... и я вошел бы посидеть на жесткой койке сына, а потом прошелся бы с ним по изрытой снова земле, угощаясь крепким красноармейским табачком... и все наблюдал бы, много ли в них от меня, а во мне от них. А кто знает, может быть, и внук прислал бы мне такое письмо. Мы бы дружно жили с внуком: я никогда не обманывал детей...

Все гуще становился снегопад. Дорогу заносило, но проехал кто-то на пошевнях и оставил смазанную, расплывшуюся колею. Полозом обрезанный прутик от подорожного куста валялся на снегу. Лиза подняла его и шла дальше, впереди Курилова.

— Вас, наверно, животные также любят... деревья, собаки, — сказала Лиза и с размаху хлестнула по елочке, одетой в синие вечерние хлопья. — Они любят таких хозяев — щедрых, с тяжелой и верной походкой. И чтоб не жалостливые, а умные были ко всему живому на свете! И тогда ничто им не страшно, ни ночь, ни враг...

— Вот насчет деревьев не замечал. Они мне попадались главным образом в виде дров,— суховато заметил Алексей Никитич, сердясь на себя за не очень ловкую остроту. — Идите быстрей, темнеет... еще заблудишься в этих чертовых рощах. — Он повысил голос: — Вы же видите, метель начинается!

Внезапно она повернулась к нему, поднятыми руками преграждая дорогу:

— Слушайте, Курилов... мне от вас ничего не нужно. Мне не надо, чтобы вы были моим спутником до конца, но... слушайте, хотели бы вы иметь сына от меня? — Ее пугало, что он заподозрит ее в какой-то нечестной игре: ее руки упали вдоль тела. — Я выращу его таким, как вы сказали...

Он молчал, иронически щурясь в ее приближенное и, за снегом, точно за дрожащей венчальной кисеей, лицо. Он подозревал, что это чувство в Лизе — минутное, головное, от порыва, без связи с сердцем. Ему хотелось сказать, что она не обратила внимания на нечто самое существенное в воображаемом письме сына. Лиза ждала, подняв голову. Снежинки повисали на ее ресницах.

...Вот вторично давалась ему молодость и распахивались ворота сада! Маленькую и легкую, он приподнял Лизу на руки, чтобы ей не тянуться к нему. Она повисла на нем, и сердце ее сжалось, точно взошла на высокий мост над громадной рекой, проникшей далеким устьем к Океану. Да, он был как мост, и люди по нему переходили в будущее... Ее вязаная шапочка упала с запрокинутой головы. Горьковатые, влажные от снега губы ее были тверды, как сургуч; они плавились и проливались куда-то в глубину куриловского существа.

Она старалась освободиться:

— Пустите меня, я искололась об вас. Это все равно что целовать куст крыжовника...

Он бережно поставил ее на дорогу, откопал ее шапочку в снегу и протянул. Она забыла ее надеть и пошла горбясь, с белыми от снега завитками волос. Минута была нехорошая, как всякая минута отрезвления. Алексей Никитич догнал Лизу и спросил, не обидел ли чем-нибудь. Она пробормотала сердитый вопрос, не карают ли законом тех, кто производит беспорядок в жизни ответственных работников? Она испытывала неловкость, точно все время из-за плеча подглядывал за ней Ксаверий и трясся, удушаемый стариковским хохотком. Тогда Алексей Никитич рассмеялся и по-товарищески сжал ее холодные, мокрые руки.

— Нашему брату простительно терять голову: возраст! А уж вам-то... — По-видимому, он имел в виду ее профессиональный, защитный инстинкт актрисы.

Как будто ничего и не случилось, они возвращались рука об руку, шутливо обсуждая имя третьего. «Наверно, он будет называться Измаилом... — думал Курилов. — Это хорошее имя для водителя великой освободительной армады, не правда ли?» Вдруг она остановила его и повторила, как бы обороняясь от самой себя:

— Мне ничего не нужно от вас, милый.

МЫ БЕРЕМ ТУДА С СОБОЮ ЛИЗУ

Прикасаясь и радуясь, мы повидали многое там, на Океане. Порой бывало грустно возвращаться назад, как из нарядного жилого дома в незаконченную стройку, которая стоит еще без кровли, где еще протекает, и стропила чернеют над головой, и видна грубая кладка кирпича на неоштукатуренных стенах, и поджигатель зачастую копошится у фундамента. Пешком мы обходили пространства преображенной планеты. Нам нравилось там все, и даже окраска вечерних облаков была наряднее и праздничнее, чем обычно. Иногда, без сговора, мы останавливались, брали в горсть эту тучную землю и подолгу, затуманенными глазами, смотрели на ее крупинки. Не мог не отпечатлеться на ней соединенный подвиг моих современников — землекопов, проектировщиков, вождей!.. Тогда мы с особой нежностью оглядывались на страну, одетую в строительные леса, и гордость принадлежности к поколению зачинателей овладевала нами.

И хотя беспредельно время будущего, мы успевали только полистать это великолепное переиздание мира, исправленное и дополненное человеческим гением. Впрочем, мы и не собирались составлять путеводитель по новой планете. Это была бы смешная попытка рассказать о блеске полдня средствами копеечной акварели. Мы ограничиваемся простым перечислением; известия первых путешественников всегда скудны и неточны...

Итак, мы старались побывать везде. Мы присутствовали при пуске монументальных гидростанций, и утро, например, когда воды средиземноморской плотины, вскипая и беснуясь,

рухнули в Среднюю Сахару и на турбины, сохранится в моей памяти, как величайшее торжество разума и человека, не заключенного в тюремные границы древних государств; мы обошли арктические захолустья и ели виноград, выращенный на семидесятой параллели,— он годился и для вина; мы познакомились с новейшим способом кольцевания электростанций: хевисайдовский слой служил им громадным бассейном энергии, откуда и высасывали ее по потребностям промышленные предприятия земли; мы посещали удивительные комплексные комбинаты, где все изготовлялось из всего, потому что едино вещество материи и все находится везде. Мы спрашивали, сколько это стоит, и нам отвечали, что это не имеет экономического значения, мы добивались, как все это устроено, и я рад, что моя техническая неосведомленность освобождает меня от необходимости приводить чертежи и цифры.

Не удивляясь технической умудренности потомков, мы пристально присматривались и к людям. Нам показалось, что улучшилась сама человеческая природа. Эти люди держались прямее и увереннее,— оттого ли, что каждый чувствовал плечом соседа и не страшился ничего, или оттого, что в чистом воздухе новейшего времени не носилось бактерий лжи... Я все ждал, что они станут хвастаться совершенством своего общественного устройства, и я не осудил бы этой заслуженной гордости, но они просто не замечали его. Здесь было достигнуто естественное состояние человека — быть свободным, тешиться произведением рук своих и мысли, не быть эксплуатируемым никем. Но хотя все было у них в руках — хлеб, работа и сама судьба, нам часто попадались люди с озабоченными лицами. Мы поняли, что и у них бывает печаль, что и они знают трагедии, но лишь более достойные высокого звания человека.

В особенности нам бросилось это в глаза, когда Океан готовился чествовать первого человека, совершившего межпланетное плаванье. Весь этот эпизод живо сохранился в моей памяти. Я помню, как целых две недели сряду газеты трубили о дне возвращения отважного путешественника. Это была самая популярная фигура того года. Его портреты были рассеяны во множестве по городам земли. Все знали наизусть его биографию и наиболее знаменательные ее даты; девушки сохраняли в любимой книжке фотографии его двух сыновей, отправившихся вместе с отцом во вселенскую Арктику. И мать смельчаков была в тот год матерью всех героев, мечтавших совершить дела, достойные истории. Трудность подвига состояла

не в том, чтобы погибнуть там во славу человеческой любознательности (смерть давно утратила характер сенсации, способной взволновать мир), но в том, чтобы вернуться живым, и никому не доставить печали, и поведать товарищам о развенчанной неизвестности. В назначенную ночь их прибытия планета светилась огнями, и для возвращающихся на большую родину она, наверно, плыла во вселенной, как пушинка в солнечном луче... Однако ночь прошла, как и вторая и третья за нею, а корабль не возвращался.

На пятый день весь мир заволновался о судьбе этих четырех человек. Стихийно, по радио, началась самая затяжная и ожесточенная дискуссия с участием конструкторов всех пяти континентов. Были подвергнуты придирчивой критике все навигационные качества корабля; делались невероятные предположения; газеты получали сотни тысяч писем с советами, как разыскать их там, среди миров. Репутация строителей астроплана повисла на волоске. Никто пока еще не обвинял их, но эти люди стали поистине несчастны. Неудача полета была равносильна их моральной гибели, потому что звание человека в ту пору окончательно совместилось с понятием действенного человека, то есть мастера. Под давлением общественного мнения и по их собственному требованию была создана правительственная комиссия из двухсот с лишком человек, которая должна была подвергнуть судно заочной экспертизе, выяснить расположение планет в день отлета и в срок предполагаемого возвращения, с целью определения формул межпланетного тяготенья, произвести подсчеты давлений, скоростей, парабол и всего того, что определяло успех предприятия. Заключение комиссии было самое благоприятное, но никто не видел, что конструкторы Океана 1 хотя бы улыбнулись своему оправданью... Корабль не возвращался.

Единственная — жена капитана и мать его детей — владела правом более других тревожиться за судьбу отважных. И хотя нам с Алексеем Никитичем было бы дорого ее рукопожатье, мы не навестили ее: зловещие слухи уже распространились среди народов; и что, кроме молчания, могло стать содержанием нашей беседы? Мы увиделись только на заключительном заседании правительственной комиссии. Не расходились, кого-то ждали. Потом в высокую дверь очень просто и без провожатых вошла она, маленькая и скромная мать гигантов, как называли ее современники. Суровый и высокий, неизвестный нам прежде старик заторопился ей навстречу. Все

почтительно привстали, когда, в тишине, он наклонился обнять ее худые плечи. На глазах у всех двое спустились на левое крыло амфитеатра, где, почти точечные, видимые как бы с обратной стороны бинокля, находились почетные кресла.

Эллиптический купол нависал над исполинским и будничным помещением. Самые размеры этого пространства внушали ощущение пустоты, сумерек и прохлады. (Какие овации потрясали эти стены в день отлета Океана 1!) И хотя то был главный зал Центральной обсерватории, нигде не виднелось ни привычных нам толстых труб со стеклянными чечевицами, ни тех чудесных всевидящих экранов, о которых мечталось радиотехникам древности. Был подан сигнал; неслышный человек стал у пульта, изображавшего звездное небо в меркаторской проекции; все померкло. Нарастающим гуденьем сопровождалось включение электронных телескопов. Глухой металлический звон сменился гулом отдаленных обвалов, и вдруг пустота перед нами наполнилась движением и чем-то, познаваемым только через безотчетный страх. Все вздрогнули. Бесформенное темное тело и следом другое, меньшее, пронеслись перед нами. Курилов зажал рот, как от ветра; мне почудилось — я озяб. Изнурительный холодок, как у Саула в Аэндоре, коснулся моего лба. Мелькание ускорилось, сиянье звезд явственней обозначалось во тьме... но мы не покидали земли, и оттого верилось, что сама вселенная ринулась сквозь нас, окаменевших свидетелей ее тайны. Поистине то был прыжок через время. В хаосе родился светящийся, еще наивный, как в утреннем сновидении, диск; он рос, угадывалась его сферичность, и смутные очертания, знакомые удачливым мореплавателям, проступили сквозь дремотные гряды облаков. Я вцепился в какую-то доску перед собою; она захрустела. Мое смятение слилось с неясным, как в катастрофе, пониманьем, что мы невозвратимо падаем на чужой, призрачный и девственный, материк.

Наше зрение обострилось, как у бога. Никто еще не познавал так близко вещества. Минутами мы различали самые клетки этой водянистой материи, продолговатые, почти хрусталь с зеленой пульсирующей пеной. Мнилось, стоило только протянуть руку, чтобы ощупать струящиеся стволы деревьев, похожих на глубинные водоросли; они покачивались во влажном лиловатом тумане. Панцирное насекомое, учуяв присутствие неведомого, суеверно забивалось в щель, и травинка гнулась под тяжестью росы: тихий вечер наступал на вечерней звезде... Подобно божеству или нетопырям, мы реяли над эти-

ми косматыми холмами, вглядываясь и шарахаясь, пугаясь отсутствия наших отражений в воде, к которой приближали лицо. Но, всесильные, мы не имели власти передвинуть и песчинку; всеведущие, мы нигде не находили первых, на чужой планете, следов любимого и мужественного человека. Мы рыскали везде, и не было, не было... но внезапно чей-то вопль вплелся в эти унылые свисты. Нельзя было ошибиться: человек кричал. Все помнили, как с поднятыми руками навстречу голосу рванулась из кресла мать: Андрей... «Нет, это только болиды...» — непонятно произнес человек у пульта. Когда окончился этот колдовской пробег через вечность, тени вылезли из своих футляров, и земные сумерки вступили в зал. Виновато и покашливая, мать простилась с нами, а мне показались юными впалые ее глаза. И если не величие горя омоложало ее, значит — то и была гордая радость сознания, что громадной родине ею отдано лучшее из того, чем владела.

«Ищите крепче, ищите каждую ночь»,— сказал им на прощанье суровый старик. (Он приказывал обыскать вселенную. Могущество! так вот оно, могущество, оплаченное такою ценою...) Но, по существу, все поиски становились напрасны. В четвертом пункте заключения несколько туманно было сказано, что запасы энергии, газа и продовольствия должны, по всем данным, подходить к концу (читай: иссякли), и все же газетам было запрещено печатать некрологи о погибших. Все четверо продолжали числиться в своих организациях, как находящиеся в бессрочной командировке. Не заключалась ли в этом самая совершенная форма бессмертия: считать живыми... Одновременно по улицам были расклеены новые списки добровольцев, предлагавших себя для повторного путешествия в неизвестность. Рядом с именами кандидатов были обозначены их научные работы и спортивные достиженья, которыми следовало руководствоваться при обсуждении кандидатур. И только когда по конкурсу был назначен завод для постройки нового астроплана, стало известно о приземлении Океана 1 в районе Тарусы под Москвой; постоянная межпланетная станция прозевала их прибытие. Во избежание наплыва любопытных местность была оцеплена и всякое сообщение с нею прервано.

В ближайшие дни по радио были опубликованы скудные, из четвертых рук, подробности возвращенья; что-то скрывали. Еще никто, кроме врачей, не видел их. В ежедневных бюллетенях, скрепленных первым правительственным секретарем,

много говорилось об утомлении навигаторов, но почему-то упоминались имена только двух. Потом все узнали, что в этом путешествии погибли оба сына смельчака. Передовые газет, исполненные глубокой и сдержанной печали, посвящены были первым человеческим могилам вне земли: с этого всегда начиналось заселение новооткрытых материков... Я ходил по улицам многих городов в тот день, и мне казалось, что все девушки мира чувствовали себя вдовами. Мать погибших поместила короткое письмо в газетах; она разделяла горе родины, потому что ее дети были хорошими мальчиками и всегда стремились оправдать любовь и доверие друзей. Количество писем, полученных ею отовсюду, было таково, как будто все юноши земли хотели стать ее сыновьями. Ничто другое на Океане не демонстрировало с такою силой человечной спайки между людьми.

Был назначен день и установлен скромный церемониал вступления в город этого Колумба новейших времен. Началось невиданное переселение людей из одного полушария в другое, и это не столько ради одного получаса, чтобы видеть его или услышать его голос, а лишь затем, чтобы в лицо ему сказать свое громовое земное здравствуй!.. Мы с Куриловым были там и захватили с собой Лизу, чтобы поверила, как прекрасен очищенный от первородной грязи человек.

Всякий, кто, кроме нас, побывал там, наверно, помнит, что, если пройти от набережной, минуя площадь Академий, и стать лицом на юго-запад, оттуда будет виден двугорбый холм Единства с гигантским фонтаном на его второй вершине, так называемым деревом воды. Конечно, это было самое великолепное место в нашем Океане... В глянцевитых стенах Дворца статистики, покрытых китайской глазурью, отражается арочный мост через канал, и кажется, что его тончайшие, как формула математика, конструкции пронизывают толпу фантастических призраков древности, изображенных на керамических панелях. Задолго до начала торжества мы на эскалаторах поднялись туда, в знакомое кафе. Но столики были убраны, потому что не хватало места для людей. Все было полно, шумело и смеялось. Слет начался с рассвета, и бескрайние поля за Нантао искрились от обилия авиэток. Было жарко; солнечные охладители не справлялись с июньским зноем. Мы выпили пряной, льдистого и крупитчатого вкуса воды. Город был виден на громадном радиусе. Как изменился он с тех пор, когда здесь бегали рикши и неуступчивые джентльмены гнездились в фортециях сеттльментов!.. Далеко впереди, за про-

ливом, маячил в зеленой дымке остров, а позади, как исторические письмена на сером выгоревшем холсте, лежали древние кварталы Путунга и героического Чапея. Пока Курилов спорил о чем-то с Лизой (и я тогда еще не угадывал, куда клонится развязка), я просмотрел газету. Только с десятой страницы шла информация и перечислялись второстепенные сенсации дня. На одиннадцатой, под кричащим заголовком, было отведено место для интервью с какой-то некрасивой женщиной, заболевшей сыпным тифом, ее фотографии и рисунка клиники, где она была помещена; я так и не понял, в чем дело. Я прочел также стихи расхожего поэта, в звонких образах восхвалявшего прогулку пешком. Это был лирический трактат о пользе ходьбы, о том, как благотворно работает сердце и сокращаются мышцы и как играли солнечные зайчики на тропинке, по которой он ступал... Внезапно послышался отдаленный грохот оркестров. Я выронил газету.

Вдруг все стихло. Улицы внизу казались пустыми из-за тишины и блестели, точно натертые тяжелым маслом. Произошло общее движение, как будто все кругом вспорхнуло. Люди обнажили головы. Я рванулся вперед, и давление могучего, единодушного вздоха упало на мои плечи. Мне все казалось, я увижу человека с темным лицом Лазаря, три дня пробывшего по ту сторону жизни. Он будет идти один, капитан сверхдалеких плаваний, распространяя вокруг себя безмолвие и холод вечности. Мои предположения рухнули сразу. На эстакаде, отлого спускавшейся на площадь, внезапно появились трое. И опять я увидел того же высокого бритого старика с вислыми усами, в широкополой черной шляпе,— председателя исполнительного комитета этого полушария. Рядом с ним и под руку шел плотный, коренастый человек в темной суконной шапочке, с умным и мужественным лицом Коломана Валиша, когда-то, на заре эры, повешенного за горло дикарями земли. Он шел, немигающими глазами глядя прямо на солнце. Третий, врач и помощник капитана, шел позади в нескольких шагах. Глаза и телемеханизмы следили за каждым их движением. Оркестры молчали, никто не кричал этим людям, и во сто крат внушительнее оваций было это человечное безмолвие.

Он вступил на трибуну, и тотчас же девочка с букетиком цветов, нарванных ею самолично, побежала к нему через площадь. Вся планета, ликуя и смеясь, следила, как мелькали ее загорелые коленки. Не смея сказать и слова от восхищения и испуга, девочка протянула ему цветы и раз и два, а он про-

должал стоять, глядя в небо перед собою. Оно было синее, очень доброе, нисколько не похожее на то, которое убило его сыновей. Затихшая толпа шевельнулась, подалась вперед, и шелест догадок смутно пронесся над головами. Старик в громадной шляпе шепнул что-то на ухо ослепшему т а м человеку. Тот оживился и, наклонясь, виноватыми, осторожными руками стал шарить воздух перед собою. Сам того не замечая, он наступил на упавшие цветы... Но он поймал ребенка, и нежно ощупал его лицо, и поднял его над головою; и все сдвинулось со своих мест, и в эту минуту, мне показалось, в едином вихре разрядилась тихоокеанская гроза...

Доклад начался не прежде, чем изошло из сердца все, что скопилось там за три с половиной года беспримерного по героизму путешествия. Тихим, почти домашним голосом (и потрясала мудрая обыкновенность этого торжества!) человек в суконном берете говорил о чувстве благодарности народам земли за участие и поддержку; он сожалел, что слепота лишает его возможности повторить это плаванье; он рассказал вкратце про гибель своих спутников, про катастрофу при обратном отплытии, про то, что видел, чего касался и неостылое воспоминанье о чем привез с собою. Эти годы состарили его, но он находил силы и на шутку и на острое, запоминающееся слово. Со временем, если продлится наша дружба с Алексеем Никитичем, мы припомним подробности этого самого удивительного приключения, когда-либо выпадавшего на долю человека.

Затем пошли приветствия, и не длиннота, а краткость речей, доведенная до афористической сжатости, считалась достоинством у этих людей. На невидимом телеэкране, преувеличенные и почти трехмерные, появлялись представители народов, стран, материков; мальчик позади меня (может быть, радиолюбитель тех времен?) шепнул с деловитым придыханьем: «Сейчас будет говорить Африка!..» И вот мы увидели знаменитого Сэмюэля Ботхеда. Мое сердце забилось, как если бы другом моим был этот седой, величавый негр. Он сильно постарел с тех пор, как мы виделись с ним в Адене, и заметно прихрамывал на ногу, раздробленную в шанхайском сражении. Что-то оставалось, однако, в его голосе от прежней страстной устремленности, которая так привлекала меня в его молодости. Он говорил, отбивая такт клюшкой, на которую опирался; он говорил о беспредельных пространствах мира, которыми овладевает свободный и стократно гордый человек земли. Я дослушал его до конца и стал спускаться вниз, оставив Лизу и Ку-

рилова. (Она жадно впитывала все, что окружало нас,— и этот благородный воздух дружбы, и это прекрасное волнение, происходящее от созерцания героических дел; такая детская восторженность была в ее глазах, что мне пришлось навсегда изменить свое первоначальное мнение о ней.)

Уже стемнело. Высоко в небе, яркий и вдвое больше луны, светился старинный иероглиф, означающий долгоденствие. В громадных парках, под деревьями, танцевали люди; легкий ветерок их движений еще лежит на моем лице. Я слышал смех и нежные слова; мне было грустно покидать Океан в такую ночь. Проталкиваясь среди людей, я чувствовал себя почти стариком... Какие-то сверкающие мелодические жуки порхали в воздухе над ними; мне почудилось, они пели. Я видел, как один из них, летевший издалека, со всего лёта ударился о фонарь и отвалился, сложив крылья, сытый и мертвый. (Так вот как решалась проблема смерти там!) Я прибавил шагу; нужно было торопиться, потому что реальные, ничем не остановимые события отрывали меня от блужданий по сияющей неизвестности.

СОЛДАТ СТУЧИТ ВЕСЛОМ В КУРИЛОВСКУЮ ДВЕРЬ

Еще немало раз Курилов встречался с Лизой на том же месте, в лесу. Никто не мешал им видеться и дома, но на приволье эти свиданья казались и чище и честней. Оба выходили из дому порознь, часто останавливаясь на пути и вслушиваясь в вечерние потрескиванья веток, сворачивая с тропинки в снег и путая кого-то, кто задумал бы пробираться по их следам; всесильная борщнинская сплетня, объединенная в лунном комитете, везде имела своих агентов. В этих страхах, пожалуй, и заключалось самое острое, неизведанное чувство новизны... Итак, они сходились, стыдясь той первой метели, и сперва брели наугад по бесконечной зимней дороге. Угасала линялая небесная зеленца; скупая оранжевая краска мерзла в накатанной колее. Курилов рассказывал о друзьях и врагах, и Лизе бросалось в глаза, какими значительными выглядели они в его передаче, как будто среди особого, великанского племени провел он свою жизнь. (Лиза начинала понимать, отчего все ее собственные встречи с людьми казались такими жалкими и ничтожными.) Пожалуй, здесь и заканчивался желанный трепет свиданья. Каким-то зловещим холодком бывали пропитаны эти минуты.

Иногда Лиза решительно верила, что Алексей Никитич

действительно владеет ключом к миру и жизни, и нужно было войти вовнутрь этого человека, чтобы прочесть на дне его это могущественное, все объясняющее слово. (Измаил, имя не родившегося никогда, становилось для нее дорогой на куриловский Океан.) Значит, неспроста ее тянуло к этому человеку?.. Словом, та вспышка, что однажды почти сблизила их, уже не повторялась. Алексей Никитич и сам ловил себя на мысли, что эти встречи в зимней глуши — лишь неискусное подражание безвестной парочке под его политотдельским окном. Нет, не получалось у них певучей легкости, которою отмечены все поступки влюбленных,— от таинства первого рукопожатья до того заключительного порыва, когда в одночасье расходуется вся накопленная по крохам нежность.

Месяц подходил к концу, борщнинские окрестности были исхожены, и пересказаны события жизни; к слову, их оказалось не так много у Курилова, и все они включались в одно бездонное слово — работа. Разбег романа замедлялся все более. Шамин требовал у Лизы решительного ответа. Все чаще Алексей Никитич заговаривал об отъезде; манила привычная сутолока, Клавдия писала о возвращении профессора из Барселоны, и, наконец, не таким организмом оказался Гаврило, чтоб заменить иронического и занимательного Зямку... Вскоре одно маленькое происшествие оборвало их свиданья. Вняв приглашениям друга, в Борщню приехал Пересыпкин. В его намерениях было отыскать Спирькину могилу и посидеть на ней часок, прежде чем закончить эпическую главу о волго-ревизанских жертвах. Едва вылез из саней, бросился наверх к Курилову обнять старика и поведать об очередных сенсациях, но Алексей Никитич оказался на прогулке. Алеша бросился по следу и через четверть часа наткнулся на сцену, заставившую его пересмотреть привычные представления о самых близких людях.

Не дальше тридцати шагов двое преградили ему дорогу. Склонив голову (и будь это посторонний, сцена приобрела бы, пожалуй, комическую окраску!), мужчина глядел в лицо женщины, гораздо ниже его ростом; протянув руку, почти повиснув на нем, она гладила пальчиком его глаза и щеки. И хотя он вместо форменного пальто был одет в нагольный, полюбившийся ему в Борщне полушубок, Алеша сразу узнал Курилова, как признал и пестрый беретик Лизы. Бывшего беспризорника, наученного жизнью всему, потрясла именно непередаваемая, ему показалось — стыдная, интимность этой сцены, похожей

на расставанье. Его первым побужденьем было бежать сломя голову (и, конечно, Курилов оглянулся бы на шум и закричал бы: Алеша, Алеша, куда ты?), но Пересыпкин поборол ребяческое чувство и, не имея времени для отступления, притаился тут же за деревом, в рыхлом и топком снегу. Он хотел дать им время уйти... Держась за руки, Курилов с Лизой прошли мимо, они уже миновали дерево, когда Лиза заметила следы и настороженно показала их Курилову. Тот шагнул с дороги прямо в лес, и в ту же минуту Алеша выступил из своего укрытия. Теперь они молча стояли друг против друга, и никогда еще Алеша не видел у Курилова такого холодного и недоброго лица.

— Что ты здесь делаешь, Алексей? — строго спросил Курилов.

И хотя юношу могли заподозрить, что он нарочно примчался из Черемшанска подсматривать за своим вторым отцом, Алеша молчал, ломал ветку, губы его дрожали. Алексей Никитич брезгливо отвернулся и пошел догонять Лизу... В тот же день, не обменявшись с ним и словом, Пересыпкин уехал назад в Черемшанск.

...Соблюдая тайну, они и прежде скрывали от посторонних свою дружбу; теперь за общим столом они вели себя как чужие. В то время, по счастью, в борщнинском доме одновременно происходил шашечный турнир и в полном разгаре были репетиции хорового кружка. (И всегда в начале вечера какой-то основательный мужчина из ревизоров тяги, с плечами атлета и зеркально выбритой головой, пел один и тот же романс; он делал это во всю свою физическую мощь, расставив ноги, чеканя слова и так громко, точно читал нараспев дисциплинарный устав или воображал себя радиостанцией.) Курилов заметно избегал Лизы, уходил на прогулки один, и по вечерам она чаще оставалась дома послушать упражнения певцов. И всякий раз к ней подсаживался Шамин, зачастивший в Борщню со времени приезда Лизы.

— Слушайте, слушайте, говорит радиопередатчик эРВэ два... — шутливо начинал он, кивая на изготовившегося ревизора.

...Однажды Лиза сказала ему, что согласна ехать в Черемшанск на работу.

— Итак, слово? — спросил Шамин. — Имейте в виду, что это вовсе не хождение в народ. Взамен своей работы вы кое-что получите и от нас.

— Слово! — И протянула руку.

Она спросила, где ей придется работать; оказалось, ее кандидатуру намечали в улган-урманское депо.

— Что это значит, Улган-Урман?

— Кажется, мертвый лес.

Она повторила, кусая губы:

— Ага, мертвый лес, мертвый лес...

— От вас зависит изменить его названье, товарищ, как мы сами изменили однажды содержание дремучего слова Россия. — Ему приходилось почти кричать: радиостанция работала на какой-то особо оглушительной волне. — Что у вас с Куриловым? Похоже, вы поссорились с ним. Старик отправился гулять один. У вас такое милое и... и, я бы сказал, приятное лицо, что трудно предположить...

Она перебила его:

— О, пустяки. Он утверждал, что вы непременно станете ухаживать за мной, а я говорила, что вы прежде всего — отличный и умный товарищ.

Он покряхтел, поерошил озабоченно свой бобрик, потом рассмеялся и поднялся уходить.

— Ну, спасибо за вправку мозгов. Пойду жарить в шашки с радиостанцией!

Алексей Никитич действительно бродил теперь в одиночку. Вся история с Лизой вдруг показалась ему преступной. Встреча с Пересыпкиным напомнила ему о том, что почти выпало из памяти. И это не было напоминаньем о Катеринке (как будто в его возрасте не только прилична, но и обязательна верность мертвой!); он вспомнил о своей болезни. Ничто не изменилось со дня приезда; профессор из Барселоны точил на него свой ножик, солдат стучал веслом к нему в дверь... Тогда он сворачивал с полузанесенной тропки в парк и долго, проваливаясь по колено, брел по целине. Там начинался овраг, точно метлами заросший молодым осинником. Сюда не достигали порывы ветра. Курилов оглядывался; никого не было. Он снимал рукавички и, пригнув к себе сук в пушистой меховой рубашке, принимался ломать его. Хвоя царапала лицо и руки, древесина скручивалась в жгут и не рвалась. Он пережидал минуту, слушая, как кричит верховой ветер, и опять оглядывался. Было глухо, ничто не подсказывало даже о близости жилья. И снова с преувеличенными усильями принимался за сук, и опять в передышке слушал себя: не расшевелил ли болезнь, здесь ли она еще? Но болезни не было, не было... и если бы не посви-

стыванье ветра, напоминавшее давний прутик в Лизиной руке, такая же тишина стояла в природе, что и в теле. Потом острый клинышек месяца́ прореза́лся в дымящейся высоте. Новые набегали сугробы, рассыпаясь вокруг зеленоватым серебром.

Домой он возвращался поздно... И будь лето, он наломал бы охапку каких-нибудь желтых овражных цветов и, войдя к Лизе, бросил бы к изголовью спящей этот пахучий увядающий сноп. Но была зима, и сад его стоял мерзлый... Он забредал в незапертую безлюдную оранжерею и с зажженной спичкой обходил стеллажи; черные тени, попрыгивая, бежали по растениям, похожим на салат и крапиву. С пустыми руками он поднимался в дом, и половицы ворчали под ним, как сама старость. Свой полушубок он закидывал через полуоткрытую дверь, чтоб не будить отрока Гаврилу, и, в перешительности постояв минуту перед комнатой Лизы, отправлялся в читальню: слишком мало, в конечном итоге, знал он пока о своем Океане, и оттого правда в его построеньях была вкрутую перемешана с ошибками.

...но однажды эта дверь к женщине осталась полуоткрытой; жизнь в Борщне была простая. Он увидел Лизу. Что-то случилось там. Полуодетая, стоя на коленях, она одной рукой торопливо шарила в чемодане, кинутом на полу. На ее левой, откинутой в сторону руке он заметил кровь. Зажмурясь, он спросил баском, не нужна ли его помощь... Оказалось, Лиза сильно порезала палец и просила Курилова натуго перевязать кровоточащую ранку. Он вошел, она протянула ему руку...

— Я не гляжу... не гляжу! — бормотал Алексей Никитич, а ночной воздух Лизиной комнаты мутил ему голову.

Она стряхнула кровь с руки, чтобы виднее была ранка, и тотчас же новая капелька выросла на порезе, и созрела, и упала на пол. Она гипнотизировала обоих, эта смородинка крови, и через какую-то внезапную жалость сблизила их... Он взял ее на руки и понес. Лиза не сопротивлялась и только откидывала руку в сторону, чтобы не измарать его кровью, завороженно глядя на капельки снега в его седых усах.

...Случилось, точно обрушилось небо. Глубокие морщины вдруг просекли куриловское лицо. Его голова упала, и усы, как железные, вонзились в ее лоб. Лизе показалось, что он умирает. В ужасе она отпихнула его ладонью в лицо. Шатаясь, Алексей Никитич ринулся к себе; начался припадок... Так вот когда постучал к нему солдат! Кровь из ее порезанного пальца так и осталась на его щеке. Все это было страшно. Зажав ру-

кою рот, готовая кричать, Лиза смотрела, как он, точно ослепленный, боролся с дверью и не мог ее одолеть... Потом, полуодетая, она выскочила на балкончик. (Не стоило труда открыть дверь, заклеенную на зиму полосками бумаги.) По колено в снегу она приникла снаружи к куриловскому окну. За стеклом мимо нее метнулась большая неразборчивая тень, и это было все, что она увидала.

Если бы не отраженное сиянье месяца на стекле, она разглядела бы, как он шарил на верху печки коробку с пузырьком и шприцем, спрятанным туда от любознательности уборщиц, как вывернулся из-под него стул, и он, всем телом чиркнув по стене, теряя равновесие, рухнул на кровать; как раздирал на себе рубаху, обнажая руку; как вошла в несчастное тело тонкая благодетельная игла... Мокрый холод заставил Лизу вернуться. Дрожа от стыда и озноба, она с поджатыми ногами сидела на смятой кровати и вслушивалась. Напоминающе, может быть — караульные, посвистывали сверчки. Где-то разбилось стекло. Через десять минут жалость снова толкнула ее, уже одетую, к Курилову... Светил месяц. Простыни и одеяло сбились с кровати на пол. Бесформенно, как заколотый, Алексей Никитич лежал ничком на полосатом матраце; ноги свисали на пол. В комнате было свежо. Лиза подняла полушубок и бережно накрыла Курилова. Она не посмела его разбудить, а он не спал.

Он поднялся, едва она ушла, и сидел, оглушенный, мешковато привалясь к стене. Блаженная онемелость разлилась по телу. Минуту спустя он открыл глаза и с резкостью, как на судебной фотографии, различил осколки раздавленного шприца на полу. Еще не разбираясь в побужденьях, он машинально пошарил трубку. Он позвал по имени своего маленького пленника (ему не пришло в голову, что мальчика Гаврилу, если бы он был здесь, должна была разбудить его суматоха). Ничто не откликнулось ему. Зямкин заместитель исчез: бродяжий инстинкт оказался сильнее куриловской ласки и страха перед метелью. Перевернутый чемодан валялся в углу. Видимо, этот человеческий зверек шарил там что-то, потребное для большого путешествия. С тоскливым чувством Алексей Никитич поискал глазами трубку: она всегда лежала где-нибудь на виду, но, значит, хозяйственному Гавриле понадобилась и трубка.

(«Зачем уж тебе, братец, трубка!» — как бы говорил Курилову солдат Харон из похвисневской книжки.)

Самый вид чемодана надоумил Курилова на бегство. По

четным дням, около полуночи, из Борщни уходила почтовая подвода. Надо было торопиться, но только через полчаса он нашел в себе мужество одеться и собрать раскиданное имущество. У него хватило воли нагнуться и подобрать с полу иглу, чтоб не оставалось материала для догадок. На это ушло две длинных минуты. Чемодан оказался ему вовсе не под силу, он бросил его на пороге. Хотелось неслышно миновать Лизину дверь. Мгновенный ручеек пота проступил по лбу, едва Курилов сообразил, что она могла дожидаться его в коридоре.

И она действительно стояла там.

— Вам плохо?..

— Уйдите, Лиза... — И махнул рукой.

В их положении разумнее и великодушнее было бы считать, что ничего и не случилось. С беглой и виноватой лаской он погладил ее рукав, когда она сделала попытку взять его под локоть. Она настаивала, и он подчинился: без ее помощи ему было бы трудно добраться до конного двора. Они двинулись по цельному снегу, и это была первая тропинка, проложенная после той метели от дома. Вьюга совсем утихла. Великолепная ясность наступила в природе; можно было пересчитать снежинки.

— Вот видите, как было бы весело со мною бедной моей жене,— скрипел Курилов, руша коленями сугробы. И еще, чтобы переменить тему: — Большой снег выпал... теперь машинистам, часовым, бездомным — зарез!

Двое в старых овчинных куртках, поставив фонари на снег, снаряжали подводу. Запряженная лошадь понуро глядела на полузанесенную ветлу. Пустая керосиновая бочка лежала на дне розвальней.

— Ну, потеснитесь, сударыня... — сказал Курилов, прилаживаясь сбоку, и Лиза видела, каких усилий стоила ему шутка. — И вы тоже... не сердитесь на меня, товарищ!

— Мне жалко вас, как себя... — шепнула она.

Он объяснил ребятам, что должен немедленно ехать на станцию. Его узнали, подкинули сена, накрыли дерюжкой, чтоб не мерзнул, и он замолк сразу. Никто, кроме Лизы, не провожал его. Розвальни тронулись, чертя крылом по целине. Проваливаясь в снег, Лиза побежала следом.

— ...я приеду. Мы еще увидимся...

Обещание прозвучало как прощенье, в котором он не нуждался. Лиза осталась позади: лицо ее измельчилось и пропало.

Дальше, чем она, провожали Курилова призрачной процессией борщнинские березы. Будущее стало ближе, чем то, чему радовался еще вчера. Все позванивало что-то, не то в брюхе у лошади, не то в бочке, которой передавались самые мелкие толчки дороги. Когда Алексей Никитич выглянул, березы уже отстали — должно быть, воротились в Борщню.

— Угости покурить, товарищ. Была у меня о-отличная трубка, да вот...

Возница протягивал ему бывалый, из пестрых лоскутов сшитый кисет. Курилов доставал себе братскую щепотку, лежа на боку, свертывал мужицкую цигарку. Он вытягивал ее всю, пока не начинало жечь пальцы, и никогда не бывал так вкусен этот сизый, пресный на морозе дымок... Подступало забытье; Зямка проходил об руку с Арсентьичем, и Фрося вдруг начинала биться на груди у сестры. («Что вы тут, без меня, наделали с Алешкой!..») Потом будил толчок; сани черпали снегу, съезжая на обочину дороги и стукаясь о спрятанный пенек. Четверть часа уходило на то, чтобы пропустить мимо себя громадные бесшумные возы. Ехало сено. Оно тащилось медленно, как крестьянское время, и возницы в тулупах сидели высоко, под самыми звездами, молчаливые рождественские волхвы. Древними запахами сухих трав и конского навоза обдавало Алексея Никитича... и в следующий раз его будили уже девичьи смехи, такие трелистые при луне. Хари, разрисованные сажей, наклонялись над Куриловым; в тулупах наизнанку, искатанные в снегу, размахивая вениками, они ударяли в керосиновую бочку, как в бубен, кричали, не на свадьбу ли отправился со своей круглой железной невестой. Кое-где в глуши еще сохранялся обычай русских святок, и вот искала себе компаньонов деревенская молодежь. Алексей Никитич приподымался, и, напуганное чернотой его глазниц, все пропадало в легкой лунной дымке ночи.

На станцию приехали рано. Рези прекратились, и неизвестно, длилось ли действие наркотика или окончился самый припадок. Было жалко покидать теплое належанное сено, но предчувствие нового приступа мучило, как самая боль. Алексею Никитичу показали, как пройти в амбулаторию. Никто не сопровождал его на этот раз в блужданьях по сугробам. Сейчас здесь жили очень занятые люди; после вчерашней метели станция представлялась оазисом среди снежной пустыни. Казалось, сюда сбился подвижной состав чуть ли не со всей дороги... Больных было мало. Курилов уселся на узкую скамейку и все

посматривал украдкой на свое собственное, в хорошей раме, изображение; тот, что на бумаге, выглядел посвежее и построже. От соседей по очереди Алексей Никитич узнал, что вьюга наделала много бед и что Мартинсон тем же вечером уезжает из Черемшанска. Это было хорошо; везде не без счастьишка: Курилов мог пристроиться к нему в автомотрису.

Потом в двери объявился плотный, рекордно рыжий доктор. Рыжеватина просвечивала сквозь белый врачебный халат, который имел такой же вид, как если бы штабель кирпича обмотать слоем марли. Под халатом невозмутимо двигались добротные, медноватых отливов, сапоги. (И верилось почему-то, что в былое время лечил он крупных животных, но за выслугу лет его перевели на людей.) Он поглядел на Алексея Никитича, помычал, откровенно покосился на портрет, сравнил еще раз, покашлял и, видимо не признав, начал прием по очереди. Больные протискивались от него обратно с напуганными лицами, и Курилов решил, что этот мужчина лечит болезни преимущественно посредством страха.

— ...давайте теперь вы! — октавно возгласил врач, когда очередь дошла до Курилова.

По-видимому, медицине безразличны чины и звания. Фамилия пациента не произвела впечатления на черемшанского доктора. Из деликатности, делясь эпизодами повседневной борьбы с искателями больничных бюллетеней, стал он прикрывать рот ладонью, но однажды не уберегся, и на Курилова пахнуло спиртным перегаром: уединенность станционной жизни скрашивал он, мобилизуя местные средства... Какая-то отчаянная надежда на чудо заставила Алексея Никитича согласиться на осмотр; процедура длилась не дольше трех минут.

— Мовэ,— пробасил доктор, отправляясь мыть руки. — Шибко *мовэ*,— повторил он, и, как назло, из всего французского языка Алексей Никитич знал только одно это слово, означающее *плохо*. — Пьете много?

(Наверно, хотел посоветовать, чтоб уж не стеснял себя, при таких условиях, ни в чем! — решил его пациент.)

«А *вы*?» — собрался пошутить Алексей Никитич и не успел.

— Морфий... — прохрипел он с закушенными губами,— и склянки на столе — точно ветерок прошелся по ним — зазвенели тоненькими лекарственными голосками.

БУРАН

Все три раза Сайфулла приводил поезда точно по расписанию. Для молодого машиниста это было крупной победой, но Пересыпкин, по часам караулививший его прибытие, даже не подходил к нему, чтобы не портить парня похвалами. Только в третий раз он решился одобрительно пожать руку машиниста... И хотя шумело в висках и глаза слипались, Сайфулла сошел с машины не прежде, чем самолично поставил ее в стойло и сделал мастерам указание по текущему ремонту. Он неторопливо возвращался домой, разминая ноги и думая о Кате Решеткиной; на целых девятьсот километров первых трех рейсов она становилась ближе к нему теперь. Здесь, на полдороге, ему сообщили о приезде матери... Тогда со всех ног он помчался в общежитие за товарной платформой; там, в низенькой угарной комнатушке о восьми кроватях, дожидалась его с полудня Биби-Камал. Притихшая, с маленьким высохшим ртом, она расположилась на табуретке у койки сына и то поглаживала бедное его лоскутковое одеяло, то безмолвно и сурово смотрела на портрет Сталина (и тогда с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены).

— Вот, даже сердце забилось. Эх, куандыр, дын, анкай... обрадовала, мать!

Он ворвался, ее мальчик, и в избе задрожало стекло; он вбежал, и один вид поношенного материнского бешмета, лаптей, ситцевого головного платка, сухоньких и как бы с благословеньем поднятых ему навстречу рук, ее потухших очей — остановил его. «Какая стала!» Уже давно Биби-Камал не носила посеребренных пятаков на концах кос... Недоверчиво, но все еще улыбаясь всем своим существом, он пошел к ней. Мать привстала, поклонилась ему низко и почтительно: он стал совсем взрослым, ее Сайфулла! Остренькая косточка ее подбородка вопросительно выдалась вперед. Но он обнял старуху, и она забилась в его руках, забормотала — «тьфу, астагфирула — пропадает мое дитя...» — и заплакала. Сын не удивился: это был обычай всех матерей на свете. И было хорошо, что никто третий не мешал им в этом жадном ощупывании друг друга словами и пальцами.

Разминая в ладонях очерствелые руки матери, он сразу стал рассказывать ей про мелкие огорчения и крупные радости своей удачи, про комсомол, про паровоз, про все, что отличало его от прежнего Сайфуллы. Мелко-мелко, чтоб успокоить, она

колотила его по плечу и вглядывалась украдкой в похудевшее, испачканное копотью лицо. Она не шибко верила в его татарское счастье. Конечно, он стал хозяином большой машины и ему доверяют многотысячные грузы, но бедное его одеялишкото было прежнее, что увез из Альдермеша шесть лет назад... Гортанно, в тоне высокой приподнятости он рассказывал про маленькие злоключения своей первой самостоятельной поездки. Она глотнула воздуху и, глядя в скудную лампочку под потолком, сообщила, что отец его умер: «Зиарат, вот место, где хорошо беднякам!» Тут же она передала ему и наследство — серебряные закрытые часы Самигуллы, великую ценность, полученную еще в старой армии за стрельбу,— часы и старую, сточенную бритву.

— Ты ее поточи, койра аны! Тут еще осталось,— хозяйственно сказала она, пальцем проводя по обушку. — Вина не пьешь?

— Нет, нам Ленин не велит, анкай!

Она склонила голову в знак того, что это очень хорошо. Не зря в Альдермеше говорили, что Ленин был честный мусульманин!

Все еще стремясь поразить ее или хотя бы отогнать черную тень ее горя, сын докладывал ей, как любят его товарищи (и еще на днях вся организация поручилась за него своей честью!). Очень довольная с виду (и украдкой потирая грудь под ситцевой голубой рубахой, где все болело и болело), мать сказала, что дом их износился вконец, и объяснила жестом, как легко входит рука в просторные щели завалинки. Плотники запросили двести за смену подгнивших венцов, а у нее не было: последние гроши ушли на похороны и на с о д а к у мулле. Вот она приехала спросить у старшего в семье, стоит ли и есть ли на что́ чинить их обветшалый шалаш. (Она говорила, кончиком головного платка прикрывая рот: он все-таки был мужчина, ее Сайфук!) Сын слушал ее все угрюмее. Он правильно понял вопрос: возвратится ли он когда-нибудь домой в Альдермеш? Новые, уже чуждые ему заботы и ответственность надвигались с этой стороны. Ему показалось, что сейчас старуха произнесет самое горькое из слов — М а р ь я м, отзывавшее полынью, запахами вечерних стад и суховеем степей. Он пожал плечами; нет, он вряд ли вернется туда, ведь там не проходят его паровозы! В искреннем порыве он чуть было не упомянул о Кате, но мать торопливо закивала, потому что уже прочла в нем все: на новых местах растут и новые цветы! И с молча-

ливой деликатностью стариков стала развязывать свой грубый крапивный мешок, в котором привезла гостинцы...

Их свидание прервал посыльный из депо, вызывальщик. Он принес неожиданное известие о назначении Сайфуллы в следующую ездку. Его напарник заболел, и отказ Сайфуллы неминуемо отразился бы на работе паровоза. К просьбе диспетчера не задержать отправки присоединился приказ дежурного по депо, ответственного за сроки. Товарный транзитный на Сарзань отправлялся через сорок минут. Времени оставалось в обрез на осмотр паровоза и сопряженную с отъездом беготню, и — еще минутка, чтоб ледяной водою сполоснуть лицо. Отдых отменялся.

— ...ты жди меня, мать, я вернусь, тис кантермен. Ты ложись и спи во всю мочь, отдыхай. Я вернусь, юкла! — И он убежал.

...теперь они отправлялись в путь уже без всякого торжества. Бригада Сайфуллы была давно на месте. Вождение паровозов еще не стало для них ремеслом; дополнительная нагрузка льстила им; она показывала, в какой степени нуждаются в них люди. Кроме того, все трое находились в том возрасте, когда человеку свойственно еще и еще раз испытывать свои силы. Профиль этого плеча дороги был им известен, а Протоклитов отказал бригаде в сопровождении машиниста-наставника, потому что на товарную серию в Черемшанске их приходилось только два, и оба были в разъезде. С тем большим и даже приятным сознанием ответственности ребята поднялись на паровоз. Было 18.20. Свесившись на поручнях, Сайфулла принял жезл, условный металлический документ, с кольцом — хватать с ходу поезда, и дал оглушительный свисток: молодые машинисты любили сигналить на всю станцию. В дальнейшем он действовал так, как если бы самый придирчивый экзаменатор следил за каждым его движеньем.

На быструю проверив все, он поставил золотники по ходу и сдвинул регулятор на треть зубчатой гребенки. Тотчас же в водомерной трубке прыгнула вода, а в топке алое, как бы подстриженное, затрепетало пламя. Дым плотными цинковыми хлопьями пополз назад, в депо. Зашевелились чугунные плиты под ногами, и станция — ее вечерние огни и звуки — сдвинулась куда-то в прошлое. Зеленая семафорная звезда, осеняющая дорогу в неизвестность, волшебно всплыла над головою... Станция стояла в низинке. Кочегар прибавил угля, а Сайфулла приспустил поддувало. Чтобы не резать графика движения,

требовалось пройти две ближайших станции с нагоном времени в двадцать семь минут. Машина была прекрасна, и в закрытой будке ни сквознячка; случись закуривать, спички хватило бы на пятерых. И Сайфулла придумал здесь, что́ скажет про паровоз Кате Решеткиной по возвращении из четвертого рейса.

«Я на нем ездию и песни пою!..» — скажет он Кате Решеткиной тоном бывалого русского машиниста, и та рассмеется на его понятное удальство таким звонким смехом, что и Марьям услышит из убогой Чукурги!

Итак, их было трое здесь, в этом, памятном для черемшанских летописей, пробеге. Помощником действовал Витя Решеткин, и было странно узнать, что у маленькой и кроткой Кати такой внушительный брат, еле умещавшийся под железным потолком будки. По-видимому, брился он перед поездкой: бумажкой был заклеен порез на губе... А при топке состоял тот самый Скурятников, что работал за целый оркестр в памятную ночь у Махуб-эби. По слухам, несмотря на сравнительную молодость, он успел пройти через кочегарки всех заводов в области, и отовсюду уводило его мечтанье, и везде беспощадно громили его как летуна. И правда, бессемейный, непривязчивый, он имел дурную склонность уходить вдруг, не попрощавшись. Бродяга по призванию и, следовательно, с врожденным пристрастием к огню, он, видимо, только здесь отыскал себе должность по праву: законно блуждать по свету «со своим костерком под мышкой» — так определял страсть свою он сам. Ездить с ним бывало нескучно и, пожалуй, поучительно. На длинных перегонах он любил вспоминать свои приключения вслух, пока не накричит на него механик.

Так и сейчас. Едва минули Бармалеево, представилось ему, будто служил пожарным в Калуге. А уж кому и рассказывать про огонь, как не пожарному!.. В самом начале Решеткин еще подзадорил его:

— И врешь же ты, Скурятников, прямо как на экспорт!

— Э, не скажи, в Калуге хо-орошие пожары бывали! — откликнулся тот, поглядывая на слепительную щелку шуровочной дверцы. — И мясные ряды, например, а ветеринарная лечебница!.. А то, было еще у меня, горел купецкий дом на площади Жен Мироносиц... красота глядеть! — И по особой заманчивой глухоте в его голосе можно было предсказать, что истории его хватит до самой Куллы. — Я и раньше знал его: шикарный дом, на столбах и с галдарейками. Случалось, мимо проходишь, то кусочек ди-ивной музыки подслушаешь, то

цветной зайчик с люстры на тебя упадет. А глаз у меня на эти штуки вещий, Соломон-глаз!.. Раз иду, и как-то нехорошо в окнах, маетно. Так меня мысль и обожгла: будешь ты, родной, вскорости гореть, дивно и по первому разряду. И войду в тебя, и посмотрю, какая в тебе жизнь происходит. Знаешь, в пожарной каске и во дворец пущают! И, скажи, неделя проходит — не горит. Месяц сошел — не горит. Полгода!..

Сайфулле было сейчас не до его огненных баталий. По этой ветке на Сарзань и дальше на Миас ему пришлось ездить лишь дважды, еще помощником. Боясь прозевать всякие низенькие путевые отметки, он высунулся за брезентовую шторку, и сразу все погасло — голос Скурятникова и шипенье инжекторов. Ударило ветром с размаху, и снежная крупка заколола бритые виски. Сперва не увидел ничего: только оранжевое зарево из поддувала, попрыгивая, бежало по снежным кочкам насыпи. Когда пригляделся — различил: слегка шевелилось волнистое ночное поле. Поземка играла с травяными кустиками, где были, и как бы расчесывала не очень ласково их. Впрочем, на протяжении четверти часа они пропали вовсе, и Сайфулла понял, что снежный покров в этом месте глубже. В выемках задувало еще сильнее. Помнилось, на карте здесь, судя по времени, обозначен был небольшой, в четыре тысячных, уклон. Не оглядываясь, он потянул проволоку свистка и дал один протяжный сигнал о большей бдительности: снежку прибавилось, и могли потребоваться тормоза. Взвилось визгливое облачко, и тотчас же вся кондукторская бригада показала ему с ходу белые сигнальные фонари. Их было семь, по числу тормозов в составе. Все обстояло хорошо, в машине нигде не стучало. Сайфулла приспустил клапаны своей ушанки, чтоб не обжигало щеку с левой, подветренной стороны, и достал мороженое, оттаявшее в кармане, яблоко,— привезла мать. Оно приятно припахивало соломкой. Сладкий крупитчатый сок брызнул из надкушенной кожуры.

Он подумал при этом, что мать приехала кстати. По дедовскому обычаю, которого, как и почтения к родительнице, никто не отменял, следовало показать матери свою невесту. Биби-Камал — хорошая женщина. (Он живо вспомнил ее поднятые руки и древнее, сытное тепло материнских объятий.) Пусть успокоится ее сердце, пусть сравнит Катю с той гордой и полуграмотной дикаркой! Конечно, Кате трудно будет вести эту первую беседу: мать Сайфуллы не умела по-русски. И еще жаль, что Катя не любит бус, не сурьмит бровей, не носит кра-

сивых, жестких и с синим отливом, косиц, чач тулум, как та, прежняя. «Но если бы ты увидела, ты сама отступила бы в тень, вчерашняя!» Он суеверно избегал произносить это имя, как будто теперь оно приобрело силу вызывать бурю или причинять неизлечимую болезнь; во всяком случае, оно мешало его искренности с Катей. В течение последнего года (ровно столько времени таскал он в кармане письмо из Альдермеша, прежде чем показать его Пересыпкину) имя Марьям следовало за ним всюду, заглушая радость, звуча отголоском бедствия и горечь придавая еде. Сайфулле представилось, что́ произойдет, если она однажды через гордость свою прорвется к нему в Черемшанск. Она придет в рубище, в тысячу раз красивее и чужее, чем прежде. Она спросит, улыбаясь и обнажая черные, в цвет агата, зубы (наверно, там еще красят зубы, по старой моде, для большей женственности и очарованья): «Ты не радуешься мне, Сайфулла?»

Оскорбленная его испугом, она вскинет стрельчатые глаза и протянет письма, что удалось сберечь от ревнивых рук отца. Она скажет: «Возьми, это написано тобою; не стыдись. Ут алсын аларнэ,— пусть их съест огонь! А то кто-нибудь прочтет и донесет, что ты любил дочку кулака, и тебя прогонят отсюда старой метлой. Бери, у меня нет лучшего подарка для тебя». И он возьмет, потому что нехорошо оставлять улику в руках женщины, которую собираешься забыть. Она скажет еще: «Пойдем куда-нибудь в поле или, по старой памяти, на киюг, колодезь, а то нас увидят вместе, а это не нужно!» И он согласится, и всякий чужой взгляд будет причинять ему неловкость, потому что научился бояться того, чего раньше страстно добивался... Смеясь и видя его насквозь, она ударит его по сердцу: «Тебе стыдно со мной. Напуганная совесть кричит прежде, чем к ней прикоснулись. Наверно, ты стал честнее оттого, что заучил, в какую сторону открывают регулятор. Не стоит уважать дочь кулака, если она не сумела стать женою машиниста!» Очень сердитый на себя, что не прогнал ее сразу, он закусит губы и не промолвит ничего.

«...ну, как же она любит тебя, русская?»

О, если бы Катя любила, как умеют это женщины его племени. «Первая любовь дороже рукопожатья русской девушки: ведь в потемках сами собой соединяются руки, уж они устроены так. Или в два ее неосторожных взгляда верить?.. Скурятников злословил не зря, что товар этот доступнее, чем калоши нужных размеров в кооперативе. Альдермешские старики, имев-

шие несчастье выходить за пределы родной деревни, сказывали не раз про веселье и изменчивость русских жен. Они обжигают, как водка, и раньше срока приносят старость; они впиваются в грудь, как недуг, и сердце исходит грустными песнями, морщинится и увядает: никакая честная утеха не порадует его после первой опаляющей ночи; и когда насытится, она уйдет с первым русским... и они посмеются над тобой, Сайфулла, перед тем как схватиться в любовном ликовании!» У стариков выходило, что пьяный бог создавал эту женщину на радостях творенья, месил ее тесто на сладком вине и жгучей отравы прибавлял в него для крепости.

«Она м а р з а! (Так в просторечии зовут старухи русских женщин.) Мать проклянет тебя за нее».

«Все равно. Я не вернусь к вам никогда».

Тогда черная девушка приникнет к уху и обожжет его последним увещаньем. Ему стало холодно; он с ожесточением выкинул руку, как бы отпихивая ее: «Уйди, Марьям. Югал, исчезни!»

Случилось, что рука задержалась в таком положенье... Она быстро побелела с подветренной стороны. Сайфулла удивился; он не заметил, когда э т о началось. Густой, рыхлый снег несся навстречу паровозу. Ветер усилился; в световых конусах фонарей взлетала и курилась снежная путаница. Сайфулла настороженно поднял бровь, на слух проверяя исправность машины. Ничего не было; только свистело где-то в паровозных снастях, ныл гудок, и когда налетал порыв бури, брезентовый лоскут бился о железную стойку. Немножко пугала мысль, что в самый разгар метели придется брать проклятый Сарзанский перевал; судя по времени, до него оставалось не свыше тридцати километров. Старые паровозники шутили в Черемшанске, что право езды машинисты приобретают лишь по ту сторону перевала. (Они намекали на другое: с т а р ы е паровозники имели обыкновение навещать покладистых сарзанских шинкарок.) Занос не пугал Сайфуллу; существовало правило: в случае беды отцеплять паровоз и в одиночку пробивать снежные завалы... Он обернулся к бригаде. В той же позе, что и два часа назад, Скурятников сидел на чурбаке, живописуя калужское пожарище.

— ...и довелось мне из всего переполоху спасти одни часы со звоном... и ни барышни этой чертовой, ни добренькой старушки! И вот несу я их сквозь дым, те часы,— плачу от гари, и они дивно звонят на мне, как живые...

— Эй, давай! — крикнул Сайфулла.

Кочегар вскочил; повествованье, в сущности, закончилось. Этот человек любил уходить не попрощавшись и обрывать историю на полуслове... Он подкинул угля и, защищаясь лопаткой от жара, почти любовно разглядывал деловое качество огня. Пламена в топке закосматились и напряглись; бегучий золотой подшерсток появился среди белых плещущих языков. Скурятников умел различать достаточность порции по оттенкам и повадкам огней: еще и еще требовалось пищи насытить эту геенну. Они шли на приступ самого Сарзанского перевала, и теперь уж наверняка весь мир затая дыханье следит за ними!.. Кочегар отправился на тендер; он не успел скинуть и десятка лопат, как, скомканного, его впихнуло назад в будку; белый вихрь еще гнался за ним. Смущенно опираясь на лопату, Скурятников дышал по-рыбьи, во весь рот,— и даже в ушах у него торчал снег.

— Что, небось дыханье повредилось? — захохотал Решеткин; он был силен, самое тело его предназначено было для преодоления тяжестей; явления слабости всегда вызывали его насмешку.

Тот виновато пожал плечами. Было странно узнать Скурятникову, что существуют стихии, равные по размаху и могуществу его огню. А он уважал огонь, потому что неоднократно и вблизи наблюдал его подвиги.

— Чудно, сокола́, душа горит, а ноги холодные! — невпопад отозвался кочегар. — По первому разряду крутит. А, врешь, шатия... — И, озлобясь, снова рванулся на тендер.

Он сделал это с решительностью, точно кидался с обрыва. Слышно было, как он бранился и сквернословил там, точно это воодушевляло его на рукопашную с бурей. Опять покатились с тендера глыбы обмерзшего угля, и столько было на них воды, что и коксовать не стоило. Впрочем, и на этот раз единоборство длилось не долее трех минут. Скурятников воротился растерянный, без кепки, весь облепленный снегом. Вихры на нем, зализанные бурей, стояли прямо и дико, как на черте.

— Во, кепку унесло,— промолвил он, изумленно протирая глаза и облизывая с губ талый грязный снег. — А еще поносилась бы кепка!

Раззадорясь, он щедро кормил свою топку. Он приникал к самому ее устью, растрясая уголь по колосникам; казалось, он ластится к огню и жалуется на свою обиду. Черные гневные пятна зашевелились в плывучей массе огня; они полностью

впрягались в работу. В щель брезента было видно, как золотые космы искр понеслись и рассеялись по тьме... И почему-то утрата кочегарской кепки рассмешила остальных. Кепка была новая, дивная кепка, Скурятников ее любил. Шутили, что он и спал в ней, а без нее испытывал гнетущее чувство наготы... Вместе с тем стало уютнее и веселее от сознания, какая вьюга плещется в борты их комсомольского корабля. Решеткин даже выразил сожаление, что нет с ними Пересыпкина, чтоб воспел потом в подходящих стихах их сарзанское приключенье. И опять не возникало сомнений, что они одолеют эти тридцать рискованных километров. Никогда бригада физически не ощущала в такой степени железного здоровья машины... Итак, перевал начался. Сайфулла дал два коротких сигнала — требование отпустить тормоза. Он высунул голову за брезент, силясь разглядеть очертания этой громадной выемки в равнине. Уже сказывались и снег, и крутизна подъема; время от времени буксовали колеса; могучая одышка котла смешалась с выхлопами пара из трубы.

— ...шурай! — приказал за начальство Решеткин.

...ничего нельзя было понять; не только рельсов, но и насыпи не стало видно. Вернее, глаз видел все, что представлялось встревоженному разуму. Залепленные снегом фонари почти не светили. Походило, что паровоз движется вслепую сквозь громадный взбесившийся сугроб. Но если высунуться по пояс, можно было различить два-три вагона, совсем белых и округленных от налипшего снега. Все это, впрочем, происходило от воображения; не имея никакой опорной точки, оно приобретало сейчас небывалую гибкость. Оно рисовало на этом летучем полотне то дом, то дерево, то человека, чтоб смазать их через мгновенье. И если вслушаться в грохот ветровых валов, казалось — далеко, одна посреди поля, бездомная поет Марьям... О, Сайфулла узнал этот голос, бесхитростный и такой чистый на подъеме, точно звенели колокольчики из серебряной фольги. Напев уводил Сайфуллу куда-то за пределы ночи, в призрачный сумрак детских видений, радостей и испугов. И вот старая сказка проходила снова мимо ослепленных глаз, а визг и стремительность бурана получали новое обозначение. Молодой Хасан-Батор ищет место для основания Казани. Ватага конных батырей в белых туркменских тельпеках, косматых и башнеподобных, сопровождает его в напрасных скитаниях по пустыне. Они рыщут из края в край; снежный пепел дымится под копытами коней. Увы, нет в этой унылой степи достойного

места для татарской столицы! И когда притомились витязи и приустали их рослые кони, нападают они на место, где живет Аждага́...

Последняя сестра древнего китайского дракона, она обитает в глубокой норе, и даже на след ее наступить смертельно. Образ этой великанской змеи прошел сквозь совместное детство Сайфуллы и Марьям. Зимами, обнявшись от ужаса, они слушали бешеный снежный посвист ее крыльев; в летние ночи, когда стачиваются метеоры о холодный воздух, они наблюдали в небе огненное сверканье ее чешуи... И вот огромные, в полмира, крылья взмывают над головами батырей. Непобедимая, она убивает многих из них, чтобы, через столетия народного сказа, напороться на тоненькое, как лучинка, копье Хасана.

«Не пой, Марьям, про то, чего не было. Ерлама! Человеческому разуму известно: не существует Аждага́, и легендарный твой Хасан — только выдумка бродячего поэта, терче. Ты зря не читаешь книг, Марьям...»

Сильны в такую ночь зовы детства; из памяти не вычеркнуть того, что записано там лесами, молнией, запахами полевых цветов... Уже не солнце, а детское невинное сердце заново восходит над миром. Эти еле угадываемые деревья, досуха высушенные морозом и ветром, обтягиваются зеленью, точно накинули на рощицу зеленый чапан муллы. Мальчик и девочка бегут по опушке леса. Они торопятся. Идет гроза. Их колени в ссадинах, но еще далеко до дому. Зелень становится лиловой: серой изнанкой оборачиваются листы. Проносится птица, такая быстрая, что тень ее не поспевает за нею. Тощие стебли размахивают подобиями рук. Травы оживают. Скромный ползучий копытень пахнет так, как будто стремится пересилить все остальные запахи земли... Вдруг задымились дороги, зачертили стрижи. Падают первые капли дождя; сухая почва звенит под ними. Потом удар, минутная слепота, отчаянный крик Марьям... Одинокое дерево на холме пылает от корней до вершины. Оно стоит в красном балахоне, оно ежится. Оно двойственно отражается в раскрытых глазах Марьям. Движутся злые угловатые плечи огня. Упав на колени, дети жмутся друг к другу. То же изумление, смешанное с восторгом и ужасом, испытывал перед солнцем дикарь. Тучи, расшитые молниями, трещат: нитку за ниткой выдергивает ветер. Минутная река ливня. Видение гаснет. По лугу, кувыркаясь, бежит первый солнечный лучик. Еще чадит огромная головня, которую по-

сетило божество. Белые дымки на обугленных ветвях кажутся чудесными цветами... «О, пусть такой же гнев настигнет тебя с чужой женщиной, прежде чем ее кровь соединится с твоею, Сайфулла!»

Он вслух спросил, нахмурясь:

— Ты угрожаешь, черная, недобрая Марьям?

И вот не милый напев про Хасана,— тревожный визг резнул его слух. Длинны сарзанские составы, много снегу на путях; машина буксовала, и теперь все трое внимали, сощурясь, отчаянному и напрасному вращению колес. Видимо, они достигли Шамаевской выемки. Две цифры определяли это место: девять тысячных подъема и стометровые холмы по сторонам. Между них, как в тоннель, врывалась буря, и снежный вихрь приобретал материальную упругость. Скурятников выглянул за брезент, и было так, точно взяли его за лицо и насильственно втолкнули обратно. Стало страшно подумать, что станется за перевалом, когда навалятся семьдесят пять задних вагонов и понесут под уклон.

— Качай песок... эй! — крикнул Сайфулла и сдвинул регулятор на последний зубец.

Скурятников порвал проволоку, песок не сыпался под колеса. Паровоз продолжал скрежетать на месте. И как только поняли, что с песочницей неладно,— не дожидаясь приказанья, Решеткин выскочил на площадку паровоза. Его охватил беспорядочный вой, как будто единовременно дули в тысячу пустых бутылок,— и снег, снег... Слипшиеся комья ударялись о накаленное тело паровоза, таяли, текли и отвердевали внизу. Боясь заморозить насосы, Скурятников задавал все новые порции топлива. Тяга усилилась, и угольная мелочь почти целиком вылетала через трубу. Потоки искр метнулись в небо, и это было единственным освещением для Решеткина. Он нахлобучил шапку и с прыжка ухватился за с о б а ч к и песочницы — винты, наглухо запирающие ее крышку. Сразу стало тепло и липко в ладони; он понял много позже, что сорвал кожу. Ноги в сапогах соскальзывали с котла. Тогда он изо всей силы подтянулся на руках и кое-как оседлал машину.

...приходилось сбивать собачки, они не отвинчивались. Колпак отвалился, и Решеткину удалось железным прутом нащупать под песком трубу. Ушло много бесценного времени, чтоб пропихнуть туда смерзшиеся комья. Ветер ломал ему руки, рвал одежду, и парень ощутил напористую силу его мускулов, гибких и ледяных. Налипший в ладони песок мешал работать,

пальцы коченели и сами тянулись за пазуху, греться... Кстати, там имелась у него пакля; он сунулся за нею, чтобы досуха вытереть кровь, но потерял равновесие и свалился бы к колесам, если бы не подвернувшиеся поручни. Стало страшно и обидно. Срывая снег с лица, выкрикивая ругательства, лишь бы заглушить садную боль во всем теле, цепляясь за паропроводные трубы, он полез обратно. Требовалось выкинуть из песочницы набившийся снег и поставить крышку на место. Под ноги забивался лед с песком, и Решеткин едва не плакал от ярости... Все это время паровоз работал вхолостую. Рельсы должны были светиться, если бы не поступала постоянная снежная смазка.

— А, сукины дети... песку не могли насушить!..

Избитый, окровавленный, дрожа заметно для глаза (и даже бумажку с губы сорвало!), он вернулся в будку. Он улыбнулся, когда первый сильный рывок обозначил движение. Тем временем успели связать проволоку, а Скурятников все румянел, все кормил своего рыжего зверя. Целое зарево искр шло над паровозом. Никто не произносил ни слова; затихшие, все прислушивались к повизгиванию колес и переглядывались. Теперь власти у всех стало поровну. Очень медленно, хотя поршни работали на полную, с пятикилометровой скоростью, они выбирались на Шамаевское плато. Все отчетливо помнили, что воды в котле было еще на четверть стекла. Вместе с тем видно стало по манометру, как садился пар. Они берегли его и не пытались закачать дополнительное количество воды, чтобы не сбавлять ходу. Опасность заноса оставалась позади. Так, значит, не за пивом в дружеской пирушке, а вот как достается она, зрелость мастера!

— Ну, теперь лишь бы спуститься, товарищи...

Решеткину промыли руки и, приложив на место оторванный лоскут кожи, замотали платком. Парень морщился и, верно от боли, дразнил Скурятникова. (Всем было известно, что в отсутствие одного бригадного кондуктора ходит кочегар к его жене, беспутной и шалой бабенке. По малости все грешили в Черемшанске; что касается Скурятникова, то, зная характер супруга, ждали от этого предприятия если не приблудного младенца, то поломанного кочегарского ребра.) Скурятников отшучивался, как умел, и облизывал губы, еще сохранявшие вкус краденых поцелуев... Тем временем паровоз рывками набирал скорость. Снова замолкли. Сайфулла глядел наружу, опасаясь оборвать состав неравномерным ходом машины; Ре-

шеткин приготовился крепить тендерные тормоза... В этот момент и произошло несчастье.

В топке зашумело, и желтоватый клуб пара плеснулся сквозь шуровочную щель. Густо запахло железом и кипятком. Внезапно в водомерном стекле исчез уровень. Решеткин крутнул пробный кран, воды в котле не было; он схватился за инжектор — оба не качали. Все стало ясно: воды в тендере было мало, она на подъеме ушла назад, и всасывающие рукава инжекторов не доставали до нее... Теперь же, при спуске, она откачнулась вперед... и никогда так не шумел, не хлопотал огонь, почуяв свою силу.

— ...тушить машину! — в голос закричали все.

Открыв колосники, они били по ним лопатой, лишь бы скорее провалить жар, и за шипеньем пара не слышно было голосов. С разгона паровоз продолжал идти, но, в сущности, это двигалось уже мертвое тело. Вскоре его поршни замерли совсем. Можно было и не заглядывать в топку. Если только не случилось самого худшего в судьбе машиниста, поджога огневой коробки, то есть прямого убийства паровоза, следовало считать, что контрольные пробки расплавлены. Лицо Сайфуллы дергалось, ручейки пота вымывали полоски копоти с его щек. Остатками пара он дал последний сигнал бригаде — тормозить.

— ...эх, хараб булдым быт! — высоким голосом вскричал он, и жест, каким он бросил шапку об пол, означал то же самое: погиб, потому что слишком рано доверился удаче.

Надо было предупредить Черемшанск о катастрофе. Решеткин, физически самый стойкий из всех, отправился на ближайший разъезд, к телефону; едва спустился вниз, тотчас растворился в метели. Здесь, на оголенном месте, никакой преграды не было ветру. Он налетал, и свистковый клапан звучал на одной унылой ноте; он налетал в поисках любой щелочки, чтобы немедленно просунуть в нее целый сугроб. По пояс проваливаясь в снегу, бежали кондуктора спросить о причинах остановки, и, пожалуй, это было самое стыдное — объяснять им. (Один какой-то неунывающий смазчик, пользуясь случаем, щупал буксы своих вагонов, еще не догадываясь ни о чем.)

Состав заносило, колес не было видно. Наверно, часа через два все это будет под снегом, который уже не растает никогда, никогда!.. Легкой ломкой корочкой льда успел покрыться паровоз. Тогда Скурятников уселся на груде угля и опустил голову. Минут через десять он достал гармошку и несмело

приложил к губам, заклинательно поглядывая в залитую топку. Но не вставало убитое божество. С видом полного безразличия он спрятал свой инструмент; стало ясно, что завтра же ему придется искать какую-нибудь другую должность на свете. Сайфулла молча и без шапки опустился рядом с ним на чугунный пол...

Так ждали они помощи и расправы.

«Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К ТЕБЕ, МАРЬЯМ!»

По линии Черемшанск — Сарзань в сутки проходило до семнадцати пар поездов. Легко вообразить, что творилось к утру на станциях по обоим плечам перегона. К рассвету подъездные пути были сплошь заставлены поездами. Они стояли в шахматном порядке; орда бессонных пассажиров таскалась среди сугробов и штурмовала начальство; но никто не знал, когда удастся расшить этот общедорожный скандал. В Черемшанске о катастрофе догадались поздно. Обмороженный Решеткин только через три часа добрался до разъезда, но провода оказались порванными, и добиться Черемшанска-станции он не смог. Тревогу поднял диспетчер, не получавший подтверждения из Куллы о проходе 4019-го; это он затребовал снегоочистители и ремонтную бригаду до выяснения причин задержки. К полуночи снежный покров на путях достигал метровой толщины. Ветер стих, но убийственный снегопад длился всю ночь. Протоклитов в это время ехал в Чемшу на ревизию оборотного депо; от дежурного в Савшуре он узнал, что эшелон Сайфуллы застрял в пути. И хотя это было дело скорее начальника участка, Протоклитов сам отправился со вспомогательным поездом на место происшествия. Он прибыл туда незадолго до рассвета, когда снегу намело вровень с крышами. Балансируя, чтобы не поскользнуться, он по крышам вагонов добрался до паровоза.

В будке было холодно и темно. Двое сидели на полу, скорчившись и привалясь к железной стенке. Они озябли; на плечо Скурятникова, ближнее к выходу на тендер, нанесло снежку. Может быть, он дремал, но когда чужая тень заслонила просвет в брезенте, вяло поджал откинутую ногу под себя, и снежная складка на плече сломалась... Светало. Сайфулла поднял голову, но лицо Протоклитова терялось в потемках, и он опять сгорбился. Синеватый отблеск снега из щели лег

на его чуть приплюснутый нос. Прошла ужасно длинная минута, а начальник депо все еще не сказал ни слова, и лишь фонарь прыгал в его руке. «Ишь, как повешенный выплясывает...» — сравнил Скурятников и отвернулся, чтоб не видеть.

— Хозяин паровоза тут? — четко спросил Протоклитов и, обоим показалось, улыбнулся; и оба бессознательно повторили эту усмешку брезгливой снисходительности. — Встань, я тебе не приятель. Ну-ка, держи фонарь...

Протоклитов был одет в кожаное пальто, для тепла подпоясанное узким ремешком; и почему-то ему потребовалось расстегнуться в эту минуту и затянуть пояс потуже. Затем последовал быстрый и беглый осмотр паровоза. Машинист, снова ставший мальчиком, с видом равнодушного отчаяния протягивал фонарь в ту сторону, куда устремлялся протоклитовский взгляд. Начальника депо прежде всего интересовали пар и вода. Водомерное стекло было пусто; на манометре еще сохранилось два очка пара. Протоклитов пощупал также инжектора и откинул ручку регулятора, утратившего всякий смысл. Потом он достал горсть угля и внимательно рассматривал ее, высунувшись на сизый предутренний свет; не представлялось иной цели его исследования, кроме как продлить муку. Говорил он совсем мало; он берег свое неистовство, как еще недавно они сберегали пар. Он изгибался во все стороны при этом, он гнулся легко и ловко, совсем бескостный, и Скурятников усмехнулся сквозь горечь свою — какую гибкость и статность придает человеку ненависть!.. Пытка продолжалась. Просунув фонарь в топку, Протоклитов пошарил на колосниках, изловчился и схватил со шлаковой корки кусок расплавленного, остылого свинца. Диагноз был окончательный.

Было тихо; точно из-под снега доносились глухие голоса. И опять кто-то покричал Пырьева с Тетешиным, как полгода назад в Саконихе. Снегоочистительная бригада начала свои раскопки.

— Ну, кто следил за уровнем воды, босяки?

Ребята промолчали, вопрос был задан ради униженья и не требовал ответа. Сайфулла глядел на начальника устало и безразлично. Мускулы его лица расслабились, и как ни подымал он свою тяжелую бровь, она неизменно сползала вниз. Его знобило: черные губы бормотали что-то, и можно было подумать, что он пьян. Протоклитов спрятал расплавленную пробку в карман. Его взор блуждал по обындевелым стенам будки. Вдруг он увидел на стене намокшую, разодранную впопыхах стен-

ную газету. Карикатура посреди листа изображала его самого, как он спит на кровати в обнимку с дырявым паровозом. Судорога прошла по его телу; он стал еще суше и выше.

— ...кырга́н! — сказал он единственное оскорбительное татарское слово, какое знал, и рука его круто откинулась в сторону, но пространство будки было слишком тесно для драки; костяшкой пальца он больно ударился обо что-то, и это уберегло его от самой большой глупости, возможной в его ожесточении.

Сайфулла не отшатнулся и лишь прижимал к груди фонарь; любое наказание показалось бы ему незначительным в эту минуту. Да и слышал ли он, что происходило дальше в будке!.. Тогда Скурятников поднялся и, отряхнув снег с плеча, жестко заглянул в глаза Протоклитова.

— Жалей товарища... — сказал он, за плечо и с силой оборачивая Протоклитова к себе. — Жалей татарина, скотина. Он же тоже ж пролетарьят!

Протоклитов вздрогнул и, что-то пробормотав, быстро вышел из будки.

...Отсюда начинается падение Сайфуллы. Личное его несчастье было ничтожно в сравнении с позором организации, преждевременно поверившей ему. Он представил себе невидящие, осудительные глаза товарищей, блестящий и насмешливый взгляд Кати. Беда состарила его... Потом он сидел в углу чужого вагона и все разглядывал руки, обожженные при тушении топки. Странное дело: не болело совсем... Рассвело, но в теплушке еще стояли потемки. Рабочие, возвращавшиеся с заноса, тут же кипятили чай на железном очаге и как бы не замечали виноватого машиниста. Один взял чурбак из-под Сайфуллы и стал колоть его на лучину. Почти физически ощущалась теперь близость Марьям. Строгая, злая девушка опять стояла перед ним, протягивая руки для примиренья. Сейчас она улыбалась: «О, ты променял меня на паровоз, Сайфук!» Черная бархатная безрукавка, по-городскому обшитая стеклярусом (все, что осталось от разоренья!), обтягивала ее маленькую, никем в его отсутствие не тронутую грудь. И Сайфулле стало жалко ее. Но один из бригадиров молча вставил в его руку жестяную кружку с чаем. Сайфулла жадно выпил этот пустой солоноватый напиток, и ледяная Марьям истаяла на время, отошла в свое небытие.

Вдруг он понял — надо что-то делать. Болезненное возбуждение охватило его по приезде в Черемшанск. Он отправился искать секретаря своей ячейки. Его не оказалось ни в

депо, ни дома. Организация в полном составе вышла на расчистку путей. Через полчаса он отыскал между вагонами и секретаря и Пересыпкина сразу. С лопатами, мокрые от пота, они показывали колхозным мужикам, как могли, пример социалистической работы. Лица у всех были виноватые. Должно быть, их успели оповестить о преступлении бригады 4019. Как по сговору, они сделали вид, что не замечают приближения Сайфуллы. До решения организации он как бы переставал существовать в Черемшанске. Кроме того, время было дорого, работы хватало на сутки, и все еще подсыпало из продырявленных небес. Сайфулла долго, всем показалось — лениво рылся в кармане; трое комсомольцев, опершись на лопаты-движки, исподлобья наблюдали за ним.

— Возьми это,— сказал он, отдавая сломанную, захватанную пальцами комсомольскую книжку. Потом в память ему пришло, что возвращению подлежит не только это. Он торопливо принялся обшаривать свои карманы, и боязнь утерять такой документ, право на жизнь и дружбу товарищей, на минуту вернула какое-то нездоровое оживление его лицу. Нет, она была на месте, таких вещей не теряют! Это была книжка ударника. — На!

Секретарь пощурился, сделал озабоченное лицо.

— В чем дело, товарищ?

— Билета возьми,— терпеливо и настойчиво повторил Сайфулла.

— Куда же я его дену?.. — Он недоуменно развел руками, и не хватило у него дерзости взглянуть в опустошенные глаза товарища.

И уж готов был спрятать за пазуху судьбу машиниста, как вдруг взъярился Пересыпкин и с маху воткнул лопату в снег:

— Нет, милый... ты жди, когда мы сами тебя погоним. Это не мораль для комсомольца — наблудить и удрать. Мы еще судить... да-да, судить тебя станем! — И вдруг, изловчась, ударил словом побольнее. — Жалости ищешь?

С ожесточением заводного механизма он продолжал работу. Снег полетел через голову; и мужики с почтением глядели на него, как на пароходное колесо, вырвавшееся из воды. «Уж такой наделает бед!» Сайфулла постоял, потом поплелся прочь. Он долго блуждал между вагонами; целый город выстроился здесь за одну ночь. В одном месте Катя пересекла ему дорогу; он напряженно проводил ее глазами, и уже не

Марьям, а она сама показалась ему виденьем; возможно, ей хотелось взглянуть на него издалека. Кроме того, дома ждали его пытливые, всевидящие глаза матери.

...Сайфулла ударил в дверь ногой. Переобувался товарищ,— он как-то слишком быстро поторопился уйти. Биби-Камал, точно и не ложилась, сидела на том же месте, где ей велели. По обычаю крестьян, она поднималась чуть свет. Сайфулла устало потянулся, но недозевнулось; лицо его сморщилось, как у старика. Мать привстала. Несчастье успело наложить отпечаток на ее мальчика. Мать подбежала, отвела его к койке, попыталась снять с него сапоги, как всю жизнь стаскивала их с Самигуллы.

— Ты сядь здесь... здесь мягко. Ты сядь.

Поеживаясь от суровой материнской ласки, он отстранил ее руку.

— Не надо, анкай. Я сам.

Она не смела расспрашивать ни о чем. О, он стал совсем взрослым, он даже научился горбиться, ее Сайфук. Она без запинки прочла по глазам, что страдание его велико, и старалась хоть дольку переложить на свои привычные плечи. Конечно, она никогда не поймет сложной механики деповской жизни; она никогда не держала книг в руках, и безошибочное чтение людского горя было единственной грамотой, какой ее обучили в молодости.

— ...снег еще не перестал? Ах, какие снега легли в этом году по Татарстану! И, значит, в Альдермеше — вдвое...

Стаскивая с себя мокрые сапоги, он потрепал ее по руке. «Ты вовремя приехала, Биби-Камал!» Мать следила за каждым его движением. От нее не ускользнуло также, что подошвы истончились на сапогах Сайфуллы, а каблуки сбились. (У нее где-то был спрятан кусок кожи. Как хорошо, что она не истратила его на себя.) Сын жался под ее взглядом; горе сделало его совсем прозрачным для глаз Биби-Камал; она видела в нем все. Как ей понятны стали в эту минуту — и паровозы, и люди, и бескрайние дороги на Океан!.. Его удивило, что так быстро рассвело. Вдруг прояснело, точно вымыли закопченные окна. Он заинтересовался, сколько же времени прошло с тех пор, как заодно с паровозом он убил и себя. Часы Самигуллы были совсем неношеные; покойнику некуда было ходить с часами; жизнь они пролежали в сундуке. Забыв первоначальное намерение, он протянул их матери.

— Возьми, ал! Я могу потерять. Вернусь — ты отдашь мне. Минга бирерсен... — И, забыв отдать, положил их обратно в карман.

Она торопливо закивала... Дальнейшее чередование событий становилось ясно. Конечно, дом надо чинить, чтобы ко времени женитьбы на Марьям жизнь в Альдермеше пришла в полную стройность. Она подумала, что остроносый Имамутдинов нарочно запрашивал с нее, чтоб не потерять уваженья. «Плотники нынче важный народ!» Кроме того, людского страха всегда легче добиться, чем любви, а уважение где-то посередке. Но она попросит, покланяется; он уступит, он сделает за полтораста.

Она сказала:

— Я думаю нанять Имамутдинова. Он самый надежный в Битамане. А лес мне обещали дать в колхозе.

Сайфулла рассеянно согласился:

— О, Минур хороший плотник. Как же, я помню Минура!

Итак, ее мальчик возвращался в отчий дом. Биби-Камал не зря молила бога. Он не пошлет ей одинокой старости. Жестокое желание матери сбывалось. Она будет нянчить внуков и, затихая навсегда, будет слышать высокий, веселее свадебной пляски, детский плач. Конечно, ее Сайфулла простой татарский мужик. Он не годится водить большие русские машины. Мулла Ибрагим скажет, что бог никогда не бьет, не дав предварительно попробовать сладости: так больнее! «Э, для нищего и в беде сыщется своя выгода»,— снисходительно молвит Ибрагим... И, в конце концов, Марьям славная девушка. Она красивая, вся черная, как с у л ю к, пиявка; парни говорят, что даже глядеть на нее жарко. Нужда поучила ее, но не сломала костей. Вдобавок в Альдермеше привыкли к повадкам бога: он не любит равнять людей богатством, он любит равнять их нищетой. Будущий муж Марьям может поступить в трактористы... о, даже в счетоводы может поступить он! Честному мусульманину везде путь.

— ...хочешь есть, Сайфук?

Хитрая Биби-Камал, она напекла впрок целую стопку пресных лепешек, чтоб не разорять сына своим присутствием... Он нерешительно взял одну, разломил, скосил глаза на маленькие руки матери, месившие этот хлеб. Тесто было безвкусное, название хлеба было к а б а р т м а. И вместе с этим забытым словом тысячи подробностей — и прежде всего голуби, голуби, стаи их на альдермешском минарете! — вспор-

хнули кругом. Глаза увидели с предельной резкостью (и даже заболели глаза!) свое село; оно приблизилось на расстояние взгляда. («Ешь, ешь, Сайфук; когда заботы — надо много есть; и заботы едят пищу, а ты стоишь в стороне!») Он удивлялся с холодком в спине, как быстро он проходит назад то расстояние, на одоление которого потребовалось целых шесть лет... Захотелось еще, она с радостью протянула две сразу. Он был голоден, он потрудился вдоволь. «Ух, как много похоронил он за одну ночь». Они стали обсуждать будущее. «Ничего продавать не надо. — И в голосе Биби-Камал появились хозяйственные нотки. — Ты купи мне на юбку, чтобы было чем похвастаться соседям. Не траться зря, бери подешевле. А для Марьям — зеленого с синими цветами ситца, что всегда так приманивает татарских молодух». Он кивал, в уме прикидывая расходы... Но вдруг ему стало жалко утерять дружбу товарищей, с которыми вырастал в люди; жалко загубленной вчера машины, а всего страшнее — что уже никогда он не вернется на свой паровоз. Тогда он поджал ноги под себя, как века делали его отцы и деды, и, раскачиваясь, заплакал; в ту же минуту заболели обожженные пальцы. Он не закрывал лица руками, ему уже не было стыдно перед Биби-Камал.

— ...разве тебя посадят в тюрьму, Сай?.. Ничего, пальцы заживут, Марьям подождет. Ты вернешься после...

О, откуда ему было знать: с ним случалось это впервые. Может быть, только выгонят без права поступления на ту же дорогу. «Я думаю, это как-нибудь обойдется, Сай! Товарищи тебя скоро забудут, а значит, и простят». Она уложила его в кровать и сама прикрыла одеялом. Он и в забытьи все стонал со стиснутыми зубами, точно прокусили самое сердце. Похлопывая его по руке, Биби-Камал размеренно твердила песню. Она умела сочинять их любой длины и по мере надобности, но в особенности давались ей колыбельные...

«Огонь устал. Он говорит: я сгорел, я не буду светить, я хочу спать. Юкла сым килязl.. Ночь ему сказала: спи, я постерегу. У тебя много работы, надо отдохнуть. Он погас, сюндэ. Хорошо».

Сайфулла заснул сразу. Биби-Камал натянула одеяло на его постаревшее лицо, потом стала собираться в дорогу. Она заторопилась назад — приготовить дом и невесту к возвращению сына. Время от времени она безмолвно и строго глядела на портрет Сталина, и с той же пристальностью Сталин всматривался в нее со стены.

ЧЕРЕМШАНСКИЙ УЗЕЛОК

Сайфулла проснулся, когда Биби-Камал уже уехала. Ясный день смотрелся в окно. Лицо горело, как обожженное, и кожа набухла, и на пальцах созрели волдыри. Ощупывая себя, как бы стремясь удостовериться, что это он сам, он перебрал в памяти подробности последних суток. Теперь, при трезвом обсуждении, еще очевиднее становилась неотвратимость беды. Кто-то прошел в сенях, и он торопливо поверил, что товарищи пришли за ним... но шаги стихли, и по-прежнему только огонь постреливал угольками из печурки. Идти к ним первому не хотелось, потому что и сам, как ему сейчас казалось, никому из них не простил бы подобной вины... Итак, нужно было узнать сначала, с чем он вернется в Альдермеш. Сундучок, где с пожитками хранились деньги, оказался незапертым. Вдруг пришло в голову, что их украли и возвращаться назад в Альдермеш будет ему не с чем...

Но опять эта отчаянная и, кажется, последняя надежда не сбылась. Все было цело. Он смирился и, вытерев руки о штаны, чтоб не измарать бумажек, стал лениво пересчитывать деньги. Их хватило бы, пожалуй, на юбку матери, но мало было для подарка такой девушке, как Марьям. Тогда он вышел; снег ослепил его, заломило в висках. И, так случилось, вместо кооператива он оказался на дворе у шинкарки Медведевой. Возможно, он сделал это скорее из любопытства (вдобавок в его положении горше пытки было безделье), чем из подражания заправским машинистам, когда ожжет их горем; во всяком случае, это посещение также могло отсрочить возвращение в Альдермеш. Вдова ушла за водой. Сайфулла ждал ее, сидя на ступеньках. Погода была теплая и ветреная. Мокрое белье трепалось на веревках. Никаких событий не происходило; только сытый петух с видом убийцы погнался за курицей, и настиг, и оповестил об этом соседей.

Медведева носила солдатскую папаху и мужские сапоги. Она спустила ведра на снег и, приставив коромысло к боку, вопросительно глядела на машиниста. Сайфулла протянул ей в горсти бумажки, сколько пришлось. Вдова оглянулась, не заманка ли, не попрятаны ли свидетели по-за углами. Впрочем, она не боялась; про нее знали все в Черемшанске и помалкивали: у каждого могла случиться неотложная потребность в ее услугах. Послюнив пальцы, она считала деньги;

сбиваясь и сердясь, она ногою отстукивала счет рублям. Их было там только одиннадцать.

— Половинки все вышли, а на полный туман мало,— равнодушно сказала Медведева. (Она нагнулась, скатала снежок и кинула в петуха, чтоб не блудовал с чужими курами.)

— Больше нету... — И показал пустые руки, и сам осмотрел их со всех сторон, не прилипло ли между пальцев.

Тогда вдова закричала, размахивая багровыми ручищами, что все ходят к ней, а потом прописывают в газетах, и что только сиротская доля заставляет ее кормиться от черемшанских прощелыг. Хотя этот широкобровый паренек заявлялся к ней впервые, она на всякий случай припомнила и покойного мужа, задавленного на сцепке вагонов, и свой ежечасный риск быть сосланной заедино с детишечками в холодные, нежилые края... Сайфулла слушал гулкое журчанье простыней на веревках и все отворачивался, чтоб ненароком не попала пальцем в глаз. Кстати, он вспомнил молву, что Медведева принимает и вещами; он достал ей отцовские часы. Солдатским громким шагом они маршировали и на холоду. Вещь понравилась вдове, перекрещенные ружья на крышке чем-то напомнили молодость. Кроме того, она любила разные николаевские предметы. Ее калмыковатое бесчувственное лицо стало человечнее. Почти с материнским умиленьем она осмотрела вещь; прикладывала к уху, дышала на нее, а потом терла рваным рукавом. Стрелки показывали половину второго, и она решилась дать за вещь двадцать пять рублей: целый литр той особенной настойки на березовых почках, что как выпьешь, так и заперхаешь и засмеешься, точно целая роща вместе с вешними птахами войдет и разольется по душе...

Они вошли в дом. Две худенькие девочки-однолетки нараспев, как стихи, читали книжку. Приученные ко всему, они приникли к страничке и замолкли. Сайфулла томительно мял шапку; вдова, чертыхаясь, рылась в чулане; темноликий, как индеец, Никола нацеливался в татарина со своей скоробленной доски. По обычаю всех шинкарок, Медведева налила себе первую и пригубила, в знак того, что не подмешано отравы. Потом ее припухлое веко деловито оползло вниз.

— Литр я ценю в осьмнадцать. Сдачи у меня нету, да и потеряешь. Там еще осталось у тебя... доплатишь, вторую возьмешь! — Не хотелось ей обманывать татарчонка за такую знаменитую вещь. — Придешь, стукни два раза в оконницу. Я уж буду знать.

Сайфулла вырвал покупку и побежал. Он долго метался по каким-то лесным дорогам в поисках укромного места: все казалось, вот выйдет из-за угла та девушка, что приколола розетку ему на грудь в памятный вечер его возвышенья. (И не существовало, наверно, иного такого же выразительного танца первого юношеского отчаянья!) Бутылка оказалась липкая, битое горлышко резало язык, настойка была мутного чайного цвета. Он сделал два глотка, чтобы заглушить густую животную тоску, и все гладил грудь, где застрял огневой глоток... Потом он закопал остатки в снег, с расчетом еще прийти за нею, и с шальной головой отправился искать справедливого и задушевного человека, чтоб рассудил его старинную тяжбу с ненавистной Марьям...

А через час, сумрачный и одинокий, он сидел в заведении Абдурахмана, и стайка темных гулящих молодчиков облепила его. Точно ослепший от хмеля, глядя прямо перед собой, Сайфулла без утайки выкладывал им все из себя и сам платил за всех, потому что в растрате этих денег только и мнилось ему спасенье. Так они пили на его счет и за его невесту, тормошили и хлопали по плечам, под шумок сыпали ему в кружку пепелок с цигарок, пытливо интересуясь, что от этого дела получится с человеком.

— Ну-ка, опиши нам, дружок, свою бритую,— воодушевленно тормошили Сайфуллу другие. — Не с нею ли погулял маненько на прошлой неделе наш Гриня Кашечкин? — А сам Гриня, безусый удалец, атаман черемшанской шпанки, словно не о нем речь, неторопливо обрывал бумажный цветок из вазочки, гадая на новую избранницу.

Тогда-то увесистый, в броне несмываемой сажи, кулак просунулся сбоку, так что подгулявшая компания не сразу смогла установить, кому он принадлежал. Удар пришелся в лицо ближайшего из озорников. Хилое тело шутника так лихо запрокинулось вместе со стулом, что даже Абдурахман, готовый жизнь сложить за благочиние заведенья «Красный Восток», по-детски засмеялся от удовольствия. Он подбежал, бережно поднял поверженного с полу и, посадив его на стул, оправил на нем сбившийся на сторону галстук.

— Ай, нехорошо так падать,— сказал он ему с преувеличенным акцентом и восхищением; он даже отбежал в сторону — посмотреть, хорошо ли оно получилось, и укоризненно покачал головой. — Так переломиться можно. Мерсе скажи

гражданину, что не убил... папироской угости! — Но тот молчал и сидел как загипнотизированный.

У стола, пошатываясь, стоял внушительной наружности мужчина, чумазый,— и все завязки на его ватной куртке были порваны,— копоть проникла и дальше, на серую исподнюю рубаху; только в депо можно было измазаться так. Удар его вряд ли имел воспитательное значение; скорее то был естественный отклик на замеченную гадость... Очень тихо, остро и интересно стало в пивной. Вдруг Гриня стукнул костяшками пальцев в стол, и все вскочили, шумно раздвигая стулья, и Абдурахман предусмотрительно стал у двери, а сам Гриня с очень бледным лицом, подрагивая, как на пружинках, стал обходить обидчика; он держал руки за спиною. Ватага крякнула в голос, в табачном дыму блеснула широкая металлическая радуга ножа... В ту же минуту атаман с раскинутыми руками смирно лежал меж столов, и, точно перезрелую розу осыпали ему на лицо, стекали алые лепестки с тонких Грининых губ.

— Пойдем отсюда, татарин... — взгремел победитель Грини Кашечкина. — Как тебя... Миргалим?.. Хасан? Рази ж это звери, чтоб понять твой крик, кочевник... Это ж люди!

Сайфулла подавленно взирал на своего избавителя. Он не раз встречал его, но шумело в голове, и он не умел припомнить хоть какую-нибудь наводящую подробность. Кажется, сейчас это был единственный человек, по сердцу расположенный к нему. И оттого, что денег у обоих не оставалось, они пошли догуливать вместе пропащий день. В обнимку тащились они от сугроба к сугробу, и невозможно было бы во всех интонациях передать их душевную и многословную беседу. Впрочем, Сайфулле досталась роль доверенного в сердечных излияниях хмельного человека.

— ...я помню, ты Зиганшин. Мы с тобой родня, с дядькой твоим воевали... ха, в одном хомуте распахивали эти чертовы пустоша! И я присту... приступс... — не далось ему многосложное слово, он сплюнул его и посмеялся: «какое упорное!» — Я был, как воздвигали тебя на паровоз. Э, не горюй, у нас это бывает: воздвигнут человека на пьедестал, а он и нагадит. Но тебя обманул паровоз, а меня баба. Черт была, шайтан, по-вашему. Э, описать,— не поверишь... — И затем следовал знакомый многим в Черемшанске рассказ, как его выгнала женщина Зоська, обозвав на прощанье верблюдом, и как он замахнулся на нее ножом, а женщина равнодушно

обернулась спиной к нему, и спина была тугая, вкусная, как сметана.

Была у него потребность вводить всякого встречного в круг своих видений, чтоб надоумили — убить ее, простить или предать забвению. Он кулаками потрясал при этом, в надежде, что хоть ветер донесет к ней его звериное отчаянье.

— Ты тихо говори... ты кричать не надо! — вразумлял Сайфулла и думал, что вот бы поменяться им местами.

— Умолкни... как тебя, Хасан?.. Миргалим? Нам Скурятников сказал, что обидел тебя мой Глебушка. Что, ударил он тебя либо хотел ударить? Куда он тебя? щека?.. голова?.. зубы? — И сам кулаком ударил по ветру. — Ничего, не жалей. Иди сейчас к Протоклитову, назови мое имя. Скажи ему громко, что тебя послал Кормилицын и что я велю ему помочь тебе, слышал? И в глаза ему гляди, как они заюлят перед тобою. Хха, дарю тебе талисман на этого человека... владей и твори чудеса! — Так хрипел он, и тесно ему было на дороге, и оттого, что всегда в России уважали пьяных, объезжали их встречные возы.

Сайфулла лишь зажмуривался; в его положении можно было рассчитывать только на чудо. Многое победил в себе, но осталась суеверная надежда на какое-то древнее, у стариков хранимое, могущественное слово. Стоит произнести его в урочный час, и оно сизым пламенем вырвется наружу, опаляя гортань, и горе испепелится, и вторично судьба дарует юноше возможность с честью пройти через Сарзанский перевал. И почему-то крепко верилось, что Кормилицын знает это тайное слово и вот проговорится... А тот все бродил поблизости. И тогда, хитря, татарин повел этот громадный футляр с тайной на то заветное место в лесок, где была у него закопана бутылка.

...до самого вечера никто не видал их больше... А ближе к сумеркам Кате и Пересыпкину случилось проходить мимо кооператива. Они заметили кучку всякого поселкового люда. Сбившись в кружок, они наблюдали какое-то не очень веселое происшествие. Пересыпкин заглянул из-за чужих спин. «Эге, голубчик,— жестко усмехнулся он,— да ты вдобавок и пьяница!» И пальцем поманил Катю, чтоб полюбовалась на избранника... Посреди, весь в снегу и с рассеченной бровью, плясал Сайфулла; то была уже не лихая, сдержанного и бешеного ритма, а п и п а́, а лишь беспорядочные конвульсии отравленного человека. Он вскидывал руку при этом, и она вспархи-

вала, как подстреленная, и хватал что-то и с силой кидал оземь. (Кормилицына с ним уже не было.) Зрители с пристальным и сумрачным интересом наблюдали эти судороги. И одна крохотная старушка — наверно, машинистова мать — вслух пожалела свихнувшегося паренька: вот еще один окрестился в паровозную веру...

Катя ворвалась в толпу, которая послушно расступилась. Она схватила за руку Сайфуллу и заглянула в глаза,— и он задрожал,— и потащила за собой, и такая неистовая властность была в ее порыве, что и жены паровозных мастеров, ревнивые до чужих секретов, не нашлись осудить ее. И хотя он радовался, радовался, что она отыскала его здесь, отбивался, как мог:

— Кыт мун нан... убирайся!

Она довела его до водоразборной колонки, заставила нагнуться и обмыла ему лицо. Он повиновался с удивленьем перед ее силой. Жажда жгла его; сломив сосульку с крана, Сайфулла грыз ее, хрусткую, как стекло. Они двинулись, Катя — с закушенными губами — чуть впереди. Она решила отвести парня в дорожную будку, спрятать его, пока не вернется к нему человеческое обличье. В ту смену на стрелке дежурила подруга; она не выдаст тайны. В помещении было темно и тесно, ровно на двоих. Забрел было погреться стрелок охраны, потоптался сконфуженно, побурчал — вот, мол, наворожила себе девка злато,— и вышел, следуя обычаю простонародной деликатности. Скрестив руки, вся раскачиваясь, Катя в упор разглядывала сидящего Сайфуллу. Проходили паровозы за окошком, и Сайфулла ежился от их ползучих, медленных и зрячих огней. Отрава давно изошла болью через виски. Все стало ясно. Глухие, издалека, донеслись гудки отправленья; вечерний поезд уходил на Альдермеш. Юноша рванулся к двери, и Катя насмешливо посторонилась, но самые руки Сайфуллы, уцепившиеся за край дощатой койки, не пустили его. Что ж, в Альдермеш можно поехать и позже, когда он снова накопит денег на подарки: Марьям подождет, она привыкла ждать!

— Вот, упал... — И коснулся опухшего надбровья. — Чего молчишь, ругай!

— Что с руками?

— Сжег.

Она молчала, все ждала, что он придумает себе в оправданье, и, конечно, выгнала бы его, если бы посмел произнести

хоть слово лжи. Вдруг он вскочил и вскинул руки над головой.

— Бэтюн, весь Татарстан смотрит. А хуже — ты смотришь...

Она топнула ногой, чтоб молчал; потом спросила брезгливо:

— Верно, что *он* тебя ударил? — и по щеке разлилось тепло, как будто и на нее должен был распространиться позор протоклитовского удара.

Он крикнул, руками защищаясь от ее глаз:

— ...не было, не было!

Катя опустила голову и перебирала в пальцах бахрому платка. «Что же мне делать-то с тобой?» — шепнули губы. Она пошла наружу, приказав ему оставаться здесь. Ночной холод не успокаивал, территория станции показалась маленькой. Катя дважды обошла ее, и все еще не родилось решенья. У клуба толпились люди, и посреди высокий нетрезвый человек выкрикивал что-то, заставлявшее людей смеяться и подталкивать друг друга в бока. Катя послушала, ей стало противно, что еще существует *такая* гадкая жизнь. На задворках поселка, уткнувшись лицом в забор, она поплакала от злости и кулаками барабанила в садные, неструганые доски: «Как же мне поступать-то теперь?»

Бросить Сайфуллу — значило потерять его навсегда. Но он не мог оставаться в Черемшанске: взбунтовалось бы деповское старичье. Ей пришла мысль, что ошибка только тень преступленья, а в истории с загубленным паровозом имелись смягчающие обстоятельства (от брата Катя узнала подробности этого несчастного рейса), и что *свой* человек стоит дороже всякой машины. Она струсила этой догадки и торопилась выкинуть ее из памяти... Потом вспомнила Мартинсона,— его автомотриса еще торчала на запасном пути. По должности этот человек имел право принимать решения, даже когда они шли вразрез с обычаем карать, не справляясь о причинах. Тогда она пустилась напрямки в тупичок за контрольным постом, где стоял вагон начподора. Уже она вступила на подножку... ее остановило соображение, что все это она делает *для себя*. И пока колебалась в раздумье, дверь распахнулась, и сверху почти свалился на нее Пересыпкин.

Вряд ли кто-нибудь заставал его в таком виде; он обезумел и не соображал ничего на свете. В полном смятении чувств он метнулся через сугроб, шапкой ребячливо зажимая

рот себе, но какая-то лютая сила снова вернула его к вагону. И хотя Катя не знала, что произошло там, наверху, ее собственное горе заставило подойти, притянуть к себе товарища и гладить, гладить его ускользающие плечи.

— Что случилось, Алеша? — Нечаянно она коснулась его мокрых щек и отступила, не узнавая прежнего, деловитого и жесткого, паренька. — Ты плачешь?

Он содрогнулся от этой непрошеной близости; он промычал, освобождаясь от ее рук:

— Алексея жалко... (И Катя не сразу поняла, что это было сказано про Курилова.)

Ее неожиданная ласка отрезвила его; он попытался объяснить Кате, чтó за человек сидит сейчас в запертом купе наедине со своей ужасной мукой, как бережно растил его самого этот «отец и садовник многих людей вроде меня» и как подло это, как никакою большою радостью он пока не успел отплатить Курилову за себя. Катя слушала, и ей было грустно за свою собственную минутную слабость... Они пошли прочь от вагона. Алеша шел впереди, очень связно обсуждая черемшанские события, но вдруг присел, почти свалился на чугунный кожух стрелки и, втиснув голову между колен, заплакал. Жалость к Курилову была сильнее стыда даже перед этой девушкой, и у нее нашлось чуткости не утешать его. Потом он поднялся, свыкаясь с сознанием, что не всегда Алексей Никитич будет направлять его поступки и мысли; иногда с этого ощущения и наступает человеческая взрослость.

— Пойдем, бюро еще не кончилось,— сказал он, нахлобучивая шапку до бровей. — Ты отвернись, я оботрусь снежком... — И прибавил, как бы оправдываясь в дурной чувствительности, что вот он только что видел угасание великого человека. (Только теперь в каком-то ином, человечном освещении представилась ему сцена с Лизой, подсмотренная нечаянно в борщнинском лесу.)

...за непокрытым столом, в слоях табачного дыма, заседало бюро ячейки, вчерашние товарищи Сайфуллы, и, следовательно, самая строгая из судейских коллегий. В комнате, рассчитанной на пятерых, набилось свыше сорока человек. Все волновались, и было трудно вести собрание в порядке. Опять на повестке стояло одно, по-прежнему огненное слово: паровоз. Катя поискала глазами Мартинсона, но он еще не вернулся из Куллы; она поймала на себе пристальный, вопросительный взгляд Протоклитова и, пожав плечами, отвернулась.

Шло обсуждение приговора; вне зависимости от решения по делу самого Сайфуллы, Решеткин выводился из состава бюро и назначался в слесаря; Скурятников получал окончательное увольнение. Слово дали Протоклитову, вызванному для показаний; и хотя комсомольская неудача оказывалась козырем в его игре, ему удавалось даже сейчас сохранять скучающую невозмутимость эксперта. Он долго складывал газету и все косился на Катю, в лице которой читалась какая-то усмешливая тайна. Его выступление стоило расценить как призыв к сговору, и он платил щедро тем, кого приглашал в сообщники. Его предложение в равной степени поражало разумностью доводов и настораживало, потому что все видели в этом сложный и хитрый маневр. По мнению Протоклитова, суровое взыскание погубило бы молодого машиниста. «Не забывайте, друзья, что возвращаться ему отсюда некуда; деревня встретит его как отступника; а парень в доску наш». Щадя самолюбие соплеменников Сайфуллы (и вместе с тем льстя им, не пропускавшим ни слова), он мимолетно намекнул на культурную отсталость этого честного и деятельного народа; он подчеркнул, что бураны, подобные вчерашнему, сбивали с толку и опытных механиков, и кстати, не без юмора, привел пример из собственной практики, выслушанный с напряженным и сочувственным вниманьем. (Рассказанный случай действительно имел место, но — с одним белым бронепоездом и в ту именно ночь, когда Глеб решился на бегство в новую жизнь; он утаил эти частности от собрания, как не имевшие прямого отношения к делу.)

— Вот что касается музыкантика... — заключил он, имея в виду Скурятникова,— ...я бы стукнул его построже. — И стал скручивать папиросу, и на этот раз табак неряшливо сыпался ему на колени, выдавая его усталость.

Такое предложение не могло остаться без сторонников; кое-кому из ребят понравились почетные условия мира. «Пускай коллектив в кратчайший срок отремонтирует паровоз, а Сайфулла проведет его до Сарзани!» Но следом за Протоклитовым поднялась Катя, и оттого, что в лице ее читалось негодование, шум мгновенно затих. Она пошла к столу.

— Просишь слова? — спросил секретарь. — Опоздала, мы уже обсудили насчет Виктора.

— Нет, я собралась говорить о Сайфулле.

Судьи переглянулись; они испытали неловкость за Катю, отважившуюся защищать виновного. Никто не глядёл на

нее, и даже Пересыпкин, кусая ногти, неподкупно опустил глаза. Пальцы его дрожали.

— Почему он сам не пришел сюда? — поинтересовался он. — Переживает?

— Я подобрала его в нехорошем виде. А это было ваше дело — поддержать товарища в беде...

Секретарь задумчиво погладил кровяную мозоль в ладони.

— Ходят слухи, что начальник депо ударил его. Скажи про это.

— Я спрашивала, он отрицает.

— ...боится, что его сообщенье расценят как жалобу? В его положении это было бы, разумеется, смешно...

Она пожала плечами.

— Ну, я еще не жена ему, чтобы он лгал мне.

Пересыпкин одобрительно улыбнулся. Эта девушка любила ходить с поднятым лицом и не боялась сплетен!.. Она начала с того, что гневно отвергла поправку на национальность и осмеяла формулу товарищеского снисхождения: «...он ничем не отличается от всех вас и не нуждается поэтому ни в преувеличении похвал, ни в преуменьшении наказанья. Слишком много глаз, дружеских и враждебных, смотрят сегодня в Черемшанск, товарищи. Для дела станет лучше, если мы будем помнить о них — даже когда ссоримся или любим!» Ребята наградили аплодисментами скорее порыв, чем самый смысл ее речи; всякий знал и раньше, какое впечатленье в депо произвела бы любая поблажка провинившемуся машинисту. И хотя всем без исключения жалко было товарища, каждый старался говорить жестче и суровее, как будто это означало жесткость и к себе самому. Так решилась участь Сайфуллы. (Должно быть, Катя знала накрепко, что у нее найдутся средства удержать его от возвращения в Альдермеш.)

Иронически улыбаясь их юной пылкости, Протоклитов поднялся. Он спросил, необходимо ли его дальнейшее присутствие: его не задерживали. Катя Решеткина остановила его на полдороге.

— Погодите одну минутку,— сказала она через всю комнату и выжидала, пока утихнет шум. — Чуть не забыла, Протоклитов...

Тот медленно обернулся с внимательным и неподвижным лицом. Они стояли друг против друга, как на поединке. Катя казалась выше и бледнее обычного. Пересыпкин взирал на нее с нескрываемым восхищеньем.

— ...будете проходить мимо клуба,— кусая губы, сказала Катя,— заберите своего Кормилицына. Он там кричит, что вы белый и заслуженный офицер... а люди кругом смеются, и получается очень нехорошо.

Она проговорила это обыкновенным своим голосом, не подчеркивая ни слова, но собрание вдруг поднялось, кто-то уронил табуретку, и народу как будто сразу стало вдвое. Какой-то некрупный задиристый паренек выскочил на средину, делал ей торопливые, просительные жесты, чтоб продолжала, добивала до конца... но больше она не знала и сама.

И опять ничто не шевельнулось в лице Протоклитова. Он отрицательно покачал головой:

— У меня не вытрезвитель, милая барышня, подбирать всех пьяниц в Черемшанске. Но если у вас в будке найдется еще местечко для холостяка... — И подмигнул Кате, как бы рекомендуя заняться Кормилицыным.

Произошло замешательство; никто не знал, как именно поступать теперь. Потом Пересыпкин вскочил на стол и с поднятыми кулаками прыгнул вдогонку за уходящим Протоклитовым. Его схватили на лету, его держали за все его ремни, а он колотил по рукам товарищей и тянулся к двери, которая медленно закрывалась.

— Грубо, гадина, грубо!.. — кричал он срывающимся детским голосом, и потребовались соединенные усилия всех остальных, чтоб удержать его на месте.

ПЕРЕД ТЕМ КАК УЙТИ ИЗ ДОМУ

До Москвы Алексей Никитич устроился в вагоне своего преемника.

Накануне Мартинсон вернулся поздно. У Курилова в купе шумел черемшанский лекарь. Должно быть, знание физического недуга сближает с пациентом теснее двадцатилетней дружбы. Так рыжий доктор называл больного уже батенькой, посвящал в секреты человеческого организма и, хотя отвергал значение лекарств, натащил уйму пузырьков в знак того, что это он — хозяин болезней в Черемшанске. Мартинсон улыбнулся; речь шла о вреде и пользе внезапного отказа от спиртных напитков.

— ...представьте себе, батенька, ответственнейший мотор, который тридцать лет работал на высококачественном бензине.

И вдруг в него запускают, допустим, чай с лимоном, эх-эх! (Так он смеялся.) Что происходит? Катаклизм и м о в э в высшей степени. За примером ходить недалеко..: У меня товарищ был: цветущий мужчина, с высшим образованием, отец детей, муж жены, сын матери и так далее... представляете? Бросил пить, попал в растрату и теперь совершенно трезвый сидит в лагерях, эх-эх-эх!

— Так в чем же дело?.. механизма не улавливаю... — любопытствовал Курилов, и видно было, что теперь любой собеседник мог скрасить его одиночество.

— Как же, батенька! Резко переменились условия. Допустим, был Иван Ребров, а получился Семен Самсонов, эх-эх-эххе...

Сонливый мужчина в форменном кителе и с кошачьими усами принес им чай. Мартинсон не порешился нарушить этой задушевной, содержательной беседы и ушел на совещанье с молодежью. Протоклитова он уже не застал там. Ребята сидели притихшие; никто даже и намеком не обмолвился новому начальству о скандале, происшедшем час назад. Как и они сами — Сайфуллу, начподор мог заподозрить коллектив в попытке свалить на постороннего провинности истекших суток. Убитый паровоз стоял у всех в глазах. И прежде чем давать ход такому оглушительному открытию, следовало послушать Кормилицына в трезвом виде. Никаких добавочных улик, кроме оговорки пьяного человека, не имелось; всякий грубый шаг только напортил бы дело. И было негласно решено в тот раз любыми средствами проникнуть в это гнилое человеческое дупло, где, подобно сове, приютилась тайна.

Мартинсон вернулся только после полуночи и постучал в куриловское купе; тот еще не спал. Молодой товарищ спросил старого, не нужно ли ему чего-нибудь. Алексей Никитич сказал ему, чтобы подоткнул одеяло со стороны окна. «Продрог весь, наверно,— от утомления!» Тропическая жара стояла в вагоне; проводники старались. Потом световые сигналы станции двинулись по оконным шторкам, и автомотриса вступила в безмолвие и тьму зимней ночи.

— Ну, что у них т а м? — спрашивал Курилов и приподнимался на локтях.

— Лежи, старик. Ребята сожгли паровоз и растерялись. Истинное совершеннолетие никогда не бывает праздничным. Я помню свое... — Он оборвал на полуслове; этот четкий, почти литой, под бобрика остриженный человек не лю-

бил бесплодных лирических излияний. — Снег идет... и его много.

— Зима... — протянул Курилов и осторожно, сперва одной, потом другой лопаткой положил себя на подушку. (Наверно, и на Океане холодный дождь плещет в сонные улицы, и световой маяк высоко в небе помигивает громадным воздушным кораблям, прибывающим с братских материков.)

— Ну, что твоя болезнь? — Было бы бестактно не спросить об этом у больного.

— По-моему, проходит. — Он имел в виду только последний приступ. — Конечно, тяготит это жалкое, нищенское состояние: л е ж а т ь... и мимо тебя проходят люди, которым ты мешаешь работать.

В конце концов, Курилов не имел претензий к судьбе. Однажды при нем рубили яблоню на дрова. И не брызгалась сочной щепой, а крошилась и падала кусками прелая древесина. А это дерево тоже поработало всю жизнь, но устало и умерло, и люди освобождали место, чтоб посадить взамен него другое. Так никогда река не остается прежней!.. Но все же можно было и умнее истратить остаток жизни. И он жалел, что ему не досталось заслонить своим телом вождя или пасть на расстреле, чтобы кто-то научился его примеру. Столько раз дразнил и ускользал от смерти, чтобы теперь увидеть ее вдруг за спиной... или в самой спине.

— Был такой в средние века воитель, Коридал... — раздумчиво начинал Курилов.

— Вот не помню такого.

— Его мало кто помнит. В тысяча четыреста двадцать втором году при осаде Карлштейна во устрашение противника он швырял во вражеский город с катапульты своих мертвецов. Умница!.. умел использовать солдата до конца.

И Мартинсон понимал, что горечь бездействия отравляла сознание Курилова.

— Тебе надо становиться в док и здорово чиниться, старик! — говорил он с суровой лаской; и Алексей Никитич соглашался, что это действительно важное дело — ремонт боевого корабля.

— Болезнь, товарищ, это ненормальное состояние человека! — поучительно отмечал Мартинсон.

— Ты прав, ты совершенно прав,— с чувством откликался Курилов.

Дорога была длинная, и от обоих потребовалось много

уменья, чтобы разговора хватило до Москвы... Утром у вокзала их ждала машина. Куриловский шофер выслушал приказание Мартинсона ехать прямо на службу. За всю дорогу они обменялись едва парой незначащих фраз.

Они поднялись в кабинет, и по управлению распространился слух, что Алексей Никитич сдает дела. Обедать они отправились вместе: Мартинсон хотел посоветоваться, кого и в какой пропорции следует выбирать на предстоящую общедорожную конференцию. В столовой встретился Сашка Тютчев. Какой-то нешумный и слишком предупредительный на этот раз, он пешком проводил Курилова до дому. Алексей Никитич еще не прочел в Сашкином лице его сокровенных мыслей, а уж смерклось; он еще не успел расспросить его о московских новостях, как уже оказались у подъезда.

Тютчев спросил в тоне виноватой шутливости:

— Итак, отче, ложишься в больницу?

— Да, предписывают вскрыть нутро. Досадный перерыв в работе... и в жизни. Да и болезнь подлая, болезнь-вышибала, действует со спины...

В Москве чистили крыши в этот день. Ледяные глыбы валились сверху, и едва Алексей Никитич собирался разглядеть хоть одну из них, как уже разлетались в грязные обломки.

— Неудачно у тебя складывается дело,— говорил Тютчев, подыскивая слово товарищеского ободрения. — Ты помянул давеча, у тебя просьба ко мне?

— Да... — И теперь, подгоняемый течением событий, торопился сам. — Если кто из твоих поедет за границу, закажи привезти хорошую трубку. Постой, я тебе объясню, какую... — И очень подробно излагал ее признаки, марку фирмы, качество дерева, а в особенности остановился на ее прочности. — Видишь, у меня была одна, хорошая... пятнадцать лет, почти родня... но украли. Дай лучше я тебе нарисую!

Он сделал ему на память чертежик в записной книжке, и они расстались с мужественной и умной сдержанностью. Хотелось еще с минутку подержать горячую Сашкину руку, но знакомый вахтер, знавший в лицо всех жильцов дома, уже открыл дверь. Входя в лифт, Курилов вспомнил, что забыл указать другу одно обстоятельство (мундштук должен быть непременно прямой!), но стало поздно; железная коробка неотвратимо пошла вверх, щелкая на этажах. Он едва прикоснулся к звонковой кнопке, а сестра уже отперла ему. Так ни

разу за весь день и не удалось задержать событий, по минутам размеченных в графике жизни... Завидев брата, Фрося метнулась в комнаты, но раздумала, вернулась и с испуга даже не протянула руки. В доме пахло лекарством. Снимая пальто, Алексей Никитич разглядел на вешалке грязный, отрепанный пиджак. Такая же, точно собаками изглоданная, шапка-треушок валялась рядом с калошами (и, пожалуй, лежать ей там было пристойнее). В квартире находился кто-то чужой; он и был причиной Фросиной растерянности.

— А, у тебя гости, сестренка? — удивился Алексей Никитич.

— Муж. — И в лице читалось ожидание, что теперь-то брат и рассердится и выгонит их всех гуртом на стужу. — Знаешь, тут Лука болел... я и пропустила все сроки отъезда.

— Что с Лукою? — встревожился за сестру Алексей Никитич. — Врача бы надо... детских болезней не следует запускать!

— О, теперь-то дело на поправку идет. Я и не смогла прогнать Павла: все-таки отец. И как он учуял, что я с Лукою у тебя, ума не приложу...

Курилов еще раз покосился на вешалку.

— Вахтер-то не задержал его?

— Я позвонила вниз, чтоб пропустили. Ты уж прости нас всех, Алешенька! — И низко, рукой до полу, поклонилась.

Тогда он привлек ее к себе и, придерживая голову за подбородок, долго, с упреком глядел в виноватые, наплаканные глаза сестры, пока они не улыбнулись.

— Стыдно, Фрося. Павел Степанович там?

— Он у Луки... всю ночь дежурил. Он уйдет... Я ему сказала, чтоб на вторую ночь не смел... чтоб убирался куда знает. (Ведь квартира-то *твоя*!) Ящики все я сама заперла, ты не бойся... — Она опустила глаза, и брат понял, что Фрося слышала их разговор с Клавдией о бдительности.

— Ну, так вот. Согрей нам чайничек и дай что-нибудь пожевать. Можно и мясное, ничего! Налево кругом марш.

Не прячась, он заглянул в проем двери. Обернутая газетой, горела лампа на столе; видимо, абажур разбили как-нибудь в суматохе. Больше, чем лекарствами, пахло здесь горелой бумагой. Особый, *ночной* беспорядок, как всегда в комнате больного, бросался в глаза. На кожаном диване, очень

длинный, точно выросший за эти три недели, лежал Фросин мальчик.

Мало изменившийся со времени свидания в Саконихе, Омеличев сидел рядом, локтями упираясь в колени; черные со скупой сединою волосы пробивались между пальцами; недвижный, затаившийся, он глядел, как спал и во сне шевелил руками его плохой, незадавшийся сын. Шорох заставил его поднять голову. Он вгляделся в потемки, привстал, почтительно держа руки по швам.

Курилов стал рядом и смотрел на Луку. Мальчик поминутно ворочался и скидывал на пол все, чем был укрыт. Синева болезни лежала в его глубоких, страдальческих глазницах; с такими бровями, смыкающимися, точно две наклеенные шерстинки, редко выживают дети... Все было ясно. Алексей Никитич не испытывал ничего, кроме желания поскорее повидать Зямку.

— Вот, застаешь ты меня, как вора, незваного,— заговорил Омеличев и, не зная, как поведет себя хозяин этого места, тоже не протягивал руки. — Уйти, что ли?

Курилов вымолчал одну минутку. Что мог сообщить ему этот озлобленный и укрощенный человек? Но, может быть, уходя все вперед и вперед, захотелось Курилову в последний раз коснуться этой доисторической древности, напоминавшей о молодости, о рукопашных схватках с прошлым, о самоотвержении, происходившем от великого и не зря растраченного богатства.

— Куда же тебе торопиться к ночи, посиди. Фрося нам чайку сготовит... Ты, помнится, любил чаек?

Да, тот обожал это старинное русское безделье — чай. У него на Каме в месяц выпивали фунтов до семи; Омеличев почтительно кашлянул в ладошку и сам издалека удивился фантастической цифре своего прежнего благополучия.

После того как Алексей Никитич переоделся и вымылся с дороги, они вышли в соседнюю комнату, чтоб не тревожить больного. Ссылаясь на утомленность глаз после бессонной ночи, гость просил Курилова не зажигать яркого света. Впрочем, тот и сам сознавал, что не стоит смущать его излишней пристальностью. Шел на убыль этот человек и, хотя понимал бесповоротность судьбы, все еще не умел привыкнуть к новому своему состоянию. Он почти и не сидел, а все ходил, не давая Курилову рассмотреть себя; раза три за время беседы он выбегал взглянуть на Луку. Были пусты его руки, не звенели в

них привычные ключи от утраченных царств и будущего. Но все еще не отвыкли руки; и вот он брал вещь и мучительно вглядывался в нее, как бы стараясь узнать ее, и находил в ней иное назначение и новизну, ему уже недоступные, и сердился, и не ставил обратно, а как бы откидывал прочь. «Нет, ничего не изобретено нового со времени его пораженья!» Одет он был в то, что года два назад выдали из цейхгауза, а в то время не гонялись за красотой казенной одежды... Они сели; Фрося заварила им погуще и сама осталась у Луки.

Долго не налаживалось, и только на полчаса прорвалось с бывалой искренностью.

— Окосмател ты, Павел Степаныч. Уж не соблюдаешь себя. С дороги ушел, что ли?

— Не, мне отпуск дали. Ходил на Каму, на красавку свою взглянуть в последний разок... Мать!

— Это хорошо, что и маму не забыл. Что, легче жизнь стала на Каме?

Омеличев зябко поежился.

— У кого мозги попроще, тем легше.

— А себя к каким причисляешь, Павел Степаныч?

Тот не ответил и сидел с закрытыми глазами.

— ...встретил самоварного мужика моего, Анатолия. Столько лет протекло, а признал хозяина-то! Расспрашивать, видно, побоялся, а просто сунул мне три рублика, да без оглядки от меня. Очень мне хотелось спросить, кому он теперь самовары-то ставит, да остерегся. Власть не власть, хоть и с портфелишком... но одет чисто, и глаз... пугливый, но вострый глаз. Видно, сразу учуял, какой у меня дар на него припасен... У меня-то в заведенье он на самоваре состоял!

— Правильное наблюденье: растут людишки. Три-то рублика взял?

— А чего ж!.. он зато удовольствия на пять получил: кому дал!

Конфетки, простонародные сахарные подушечки, стояли в стеклянной вазочке. Омеличев раздавил одну в пальцах, осмотрел, бросил в рот, пожевал раздумчиво, усмехнулся: и цвет и вкус те же... «Так почему же, почему же жизнь-то такая непохожая?»

— Не вовремя на Каму ходил, Павел Степаныч. Зима, не видать красавки-то, спит.

— Э, что надо, то видать. Чиновника издаля видать.

— Не бранись, купец. Не все чиновники!

— А ты не обижайся, я не про тебя. Ты праведник... да ведь ни одна затея, помнится, на праведниках не вызревала. Я в эти дрожжи всегда плохо верил, хозяин. У меня крали густо; кто не ленив, тот и пользовался... но самому сытому из воров я более доверял, чем самому тощему из праведников...

— И это правильно: грабительское было время!

— ...зато и он все свое чувство пароходному делу отдавал. Левый глаз спать шел, а правый при деле оставался. Я людей поколеньями на деле растил. А у тебя — наблудил на суше, его, дурака, свиней пасти,— а ты его на реку... Ничего, что я так, начистоту? Ты прикажи, топни на меня, я перестану.

— Скушно ты говоришь, Павел Степаныч. Я ждал чего-нибудь повострее... чтоб по сердцу царапнуло!

Омеличев поежился; уже не имелось у него такого инструмента, чтоб оцарапать куриловское сердце. Он поднял голову, прислушался; замычал и забился мальчик в бреду; потом дошел успокоительный шепоток Фроси, и все стихло.

— ...и какой я купец, Алексей Никитич. Хозяйство было большое: баржей и пароходов... Осподи, одних акций от разных предприятий четыре тыщи листов, а пользовался я ими? Только и удовольствия было — закатиться на таратайке по чувашским лесам. Эх, рощи вы мои, под вечер оранжевые, безвестные ручейки...

— Брось, ты же их рубил, рощи-то!

— И ты рубишь, и тебе платят за власть. А меня самая суета радовала! Глядел на руки свои, всемогущие мои руки, и тешился. Белые в осьмнадцатом году весь мой флот в затоне спалили, чтоб красным не достался... воинство мое побито лежит... а ты видел мои слезы?

— Зато слова твои слышу, Омеличев. Слова мокрые! Все еще жалко тебе...

— Э, я бы и теперь всемеро скопил. Верни мне мою Каму! — Он оперся всею тяжестью о стол, и расплескались стаканы, и скатерть поехала в сторону, и с надтреснутой страстностью зазвучал омеличевский голос: — Я бы ее ежедень веником омметал всю!.. Я б тебя с судна на судно посуху провел до самого Пьяного Бора, где мой флот схоронен. Вода у меня на Каме не переставала б кипеть день и ночь. Найди-ка верную цену, купи эти руки у Омеличева!

Курилов откровенно рассмеялся на его хищную и взволнованную искренность:

— Купил бы... да придется их наперво от головы оторвать. — Ему вспомнился разговор с Клавдией о том же самом; он решил испытать этого человека: — Но если согласен, я поговорил бы с кем надо. Пускай руки твои на Каму едут и делом займутся... а?

Тот насмешливо покачал головой:

— Для кого? Я ж, по твоей статистике, на земном шаре не значусь! Был у меня пес Егорка, да и тот погиб.

— А Лука?

— Не смейся над этим, Алексей Никитич! — И пальцем вещe погрозил, точно пророча несчастье.

Куриловым овладевала зевота; уже он каялся, что затеял это чаепитие. Времени оставалось в обрез, чтоб выспаться перед больницей и позвонить кое-кому из друзей. К тому же Алексей Никитич собирался послушать злую и умную критику врага, но зеркальце было слишком мелкое, все в трещинках, битое: Курилов не умещался там во весь рост. (А можно было о-отлично провести вечер у Зямки!)

— Ну, а все-таки грузооборот на Каме выше довоенного?

Обида, обида отравила разум этого человека.

— Э, ты ловок... с довоенным-то себя сравнивать. А я?.. я спать бы стал эти шестнадцать годов? Думаешь, расти — это только тебе дадено? Нет, хозяин, это дерево срублено, а не засохло. Пятнадцать лет назад, вона, не было человека, а теперь уж и страждет, лежит. — И опять воспламенялся почти до крика, и видно было, как обсохший фитиль напрасно лизал опустошенное дно: никнуло пламя, не светило и не жгло.

Омеличев опустил голову, и руки, обессилев, повисли вдоль тела.

— А запал тебе в голову наш чердачный разговор. Много времени ушло. Глаза в глаза глядимся, а сколько промеж нас положено и костей человечьих, и головешек. А то еще встрелся мне т о т офицерик, что приходил за тобою на Каме. Сколько лет, а мало изменился... бровку-то по-прежнему ровно сабельку вскидает!

— Ты б его за рукав, молодца... да в надежное место, а?

— Что ж мне его губить. Я и тебя не тронул...

«Соврал, соврал, Павел Степаныч! — думал Курилов. — Просто хотел напомнить про должок...»

— Я так до сих пор и не уразумел, почему ты меня не

выдал. Мстил мною кому, или перетерпеть надеялся советскую власть... или просто так, по родству?

— Э, какое у нас родство: ты кочевой, а я оседлый. Тебе и мордва — свояки, а у меня они землю копали...

Алексей Никитич скучал; он все ждал, что заступничества или денежной помощи попросит Омеличев, и, стремясь закончить неудавшийся разговор, сам осведомился равнодушно, не нужно ли ему... Нет, разве только пару бельишка на сменку! (Хотел хвастнуть ничтожностью просьбы, но тут-то и прорвалась непрошеная обида: «было время, целая рота от меня одетая ушла!») Вскоре позвала его Фрося, подержать зачем-то Луку, а когда он возвратился, Курилов спал, положив голову на стол. Двумя часами позже, после ухода Омеличева, сестра разбудила брата и уложила его в кровать.

...утром поднялись рано. Чайничек, точно и не убпрали, сипел на столе. Завернутый в одеяло, Лука сидел на диване, и Фрося поила его с ложечки. Алексей Никитич брился, когда Клавдия вызвала его к телефону. Она начала с выговора, что не удосужился сообщить ей о своем приезде. Голос ее, поутреннему свежий, металлическим эхом отзывался в микрофоне.

— Мне сообщил о твоем возвращенье этот... ну, твой Тютчев. Чрезвычайно неприятные друзья подобрались у тебя, Алеша. Погоди, я возьму стул. — Она ушла, и Курилов терпеливо слушал, как потрескивает мыльная пена на щеках. — Что ты сказал?

— Я говорю, Клаша, чтобы ты составила мне комплект приятелей. Только избегай, если можно, нравоучительных женщин и вообще непьющих!

— У тебя остроты, как у провинциального адвоката, Алексей. А еще начальник политотдела, мальчишка!

— Ну, положим, я почти бывший начальник политотдела. А во-вторых, спешу: весь в мыле, и Лука корчит рожицы мне. Вот выпью чаю и отправляюсь...

— Я не успею приехать проводить тебя в больницу? — Вдруг какая-то робкая нежность прозвучала в ее голосе: — Позволь же мне что-нибудь сделать для тебя!

— Милая сестра, я еду не на тигров охотиться. А визит свой ты нанесешь мне завтра. Кстати, непременно приведи Зямку... пожалуйста. Ну, жму тебе руки изо всех сил...

Он положил трубку, но через пять минут Клавдия снова позвонила ему.

— Я хочу напомнить, Алеша, чтобы ты не забыл взять носовые платки и зубной порошок. Машина у тебя есть?

— Спасибо, я пройдусь пешком. Отличное утро, а я мало хожу.

— Утро довольно пасмурное,— резко возразила сестра.

— Распорядись, чтобы у тебя протерли окна.

Она помолчала, потом спросила о том, главном, в чем и заключалась цель ее вторичного вызова:

— ...трусишь?

— Нет. — И вот уже надоело притворяться шутником. — Идти, правда, не хочется. Как-то щекотно идти туда...

Тогда она потребовала к телефону Фросю, и та с печальным лицом слушала ее наставления. Через полчаса Курилов стал собираться, но потребовалось привести в порядок бумаги, и из дому он вышел только после полудня... В этот раз, однако, он так и не добрался до больницы. Вдруг увидел прямо перед собою ту же самую, как ему показалось, парочку. Да, это были они, и он давно свыкся с мыслью, что мир переполнен их отображеньями. Они встречались ему в любую минуту, стоило только вспомнить о них, везде — на всех больших стройках страны... или на первомайских демонстрациях (взявшись за руки, они проходили перед трибунами)... или у себя на вокзале (может быть, по дороге в таинственный, что на полпути к Океану, город Комсомольск). Была какая-то высокая периодичность в их появлении... Смеясь, раскачиваясь, точно спаянные в локтях, молодые люди вбежали в кино. Соблазненный цветной афишей (голубая фигурка ныряла в условную, лиловую, геометрическими кругами нарисованную воду), Алексей Никитич тоже купил билет в кино. Дневные посетители с любопытством посматривали на человека с узелком, точно пришел в баню. (Еще Катеринка все собиралась обзавестись маленьким чемоданчиком!) Он высидел сеанс до конца, вслушиваясь в шепот парочки впереди себя, и ему очень понравилось... и все еще не было поздно в больницу, если поехать на трамвае. Но вагоны шли переполненные, и это давало нравственное право отложить больницу на завтра. В конце концов он выиграл у судьбы целый день, о-отличный январский день, с нарзанной колкостью в воздухе, немножко даже длинный, как все бездельные дни... Возникла вдруг потребность повидать Зямку; он раздумал — из опасения, что там-то и застанет его очередной припадок.

Тогда он отправился бродить куда придется. Поднимался

в учрежденья и по-новому, со стороны, наблюдал деловую толчею людей; заходил в пустые дворы многоэтажных домов и с видом любителя разглядывал прокопченную штукатурку стен, немытые, с продуктами в форточках, окна (в темных сводчатых воротах парусным звуком шумел ледяной сквозняк); все стремился угадать, как будут выглядеть жилища людей не завтра, но через десять пятилеток. (Теперь ему уже безразличны стали сроки.) Он шел по улицам, мысленно снося целые кварталы и застраивая их зданиями, один вид которых вселял гордое и головокружительное восхищение. Он стоял у букинистических витрин, где в золотых корешках прекрасного и мудрого старья текло и таяло вечернее солнце, и ужасался количеству книг, которых так и не успел прочесть (и твердо решал тотчас по выздоровлении добиться двухмесячного отпуска, чтобы догнать знание, ушедшее вперед!). Он доходил до окраины, щупал там шершавые зимние шкуры деревьев, а потом зачем-то глядел на руки или, зачерпнув снежку в ладонь, изучал, как из грязноватого комка рождается живая и резвая струйка, стремящаяся заскользнуть в рукав. Он разговаривал с детьми, угадывая в них будущих инженеров, летчиков, воинов и вождей, и они отвечали ему так, точно говорили сами с собою. Он вел себя очень странно. Он не торопился никуда.

Домой он вернулся, когда ему показалось, что становится почти распутством его взволнованное созерцание чужих жизней. «У меня ужасно озяб нос, Фрося. К чему бы это? Ты не дашь мне рюмку водки по этому поводу?» Сестра не поверила его моложавому и окрепшему виду. Алексей Никитич сказал ей, что в больнице выходной день и все доктора лежат пьяные. В лице Фроси отразилось непонятное смущение... Оно объяснялось просто. Приученная нуждой к бережливости и готовя обед в обрез, на двоих, она никак не рассчитывала на третьего, постороннего.

Этим третьим теперь становился Алексей Никитич.

СТРАХ

Лиза не написала бы письма, если бы кому-нибудь другому могла доверить свои чувства. Она не отослала бы этих четырех намелко исписанных страничек, если бы знала, какое впечатление они произведут на дядю. Он даже не дочитал их

до конца, едва понял, что речь идет о живой Танечке. Все сместилось, и ни одной карты он не узнавал в колоде, которою забавлялся всю жизнь. Письмо было получено поздно вечером. Боясь и думать о том, что произошло, он поторопился лечь в кровать. Он снял толстовку и, почистив щеточкой за дверью, бережно повесил на стул. Брюки он приложил к толстовке, а ботинки приставил снизу, как делал это последние сорок пять лет. Остатки себя он уложил в кровать и накрыл одеялом... Сон не пришел, и никогда не доставалось столько этим желтым, пролежанным подушкам.

Ему представилось, что это он сам сидит на стуле и смотрит на самого себя; смотрит и смеется. Единственно чтобы оборвать эту мучительную раздвоенность, он зажег свет и оделся. Тут он снова взялся за письмо и не посмел прочесть его до конца. Строки путались в его глазах. Танечка была жива! Ему не хватало воздуху, и можно было думать, что сейчас дыхание его прервется. Он закрыл руками лицо, скупо — по крупице — переживая все то, что еще уцелело в памяти... Сомнений не оставалось. Покойница никогда не умирала. Помнилось, что Танечка всегда отличалась отменным здоровьем: любила вымокнуть в грозу, любила святочные гонки с бубенцами, любила опережать мчащиеся кавалькады и за все время пребывания Аркадия Гермогеновича в Борщне не болела ни разу. (Даже в минуты задумчивости, такой привлекательной для молодого Похвиснева, не очередное ли приключение обдумывала она?) Итак, Танечка Бланкенгагель жила, томилась и, может быть, неоднократно вспоминала о юноше, не посмевшем прикоснуться к ней.

— Как славно, что ты еще живешь!

...все становилось заново, и даже вещи в комнате выглядели свежее. Воображаемое кладбище, которого он стал постоянным посетителем, съежилось и пожухло, точно свернули его, нарисованное на бумаге, и бросили в огонь. Одиночеству его приходит конец. Соперников уже не существовало. Стоило еще жить, раз оставались невыполненные обязательства. Она омоложала, эта радость. Последний отблеск юности падал ему на руки, начинающие холодеть... Да, она была, была однажды, и это выходило так же верно, как то, что кресло под ним, источенное жуками, было когда-то деревом, рукоплескавшим солнцу и грозе!

Близ рассвета он кое-как заснул, клубком свернувшись в

кресле. Напрасно ждали его в это утро фармацевты. Что мог он им сказать, кроме стихов Сенеки:

Я вечной тьмы избегнул наконец!
И своды мрачные тюрьмы подземной
Слепит давно желанный день...

...Он принарядился во все лучшее, что имел. По-старчески забавляясь сам с собою, он поставил на стол два прибора для кофе и мысленно расспрашивал ее, будто бы сидящую напротив, как же она существовала все эти годы. Нет, ничто не смогло омрачить ее глубоких и лучистых глаз. Должно быть, она молодела по мере того, как старел он сам. С течением времени она утрачивала даже те недостатки, которые сопутствуют человеку как признаки земного существованья. Тем более тысячекратно прав был Вергилий: «...пусть остается, кто б мог прах мой доверить земле!» Потом он отправился купить цветов и поставил три грошовых горшочка на стол. В светелке стало вдвое чище и наряднее... Когда неожиданный и сумрачный явился к нему в этот день Протоклитов, старик встретил его торжественно и вел себя так, как будто кто-то третий и несомненный присутствовал в комнате.

Ага, стало быть, не под силу было надменному Илье выдержать полугодичное испытанье! Вот он раздевается, сажает свою доху на стул и сам с видом просителя садится рядом. Аркадий Гермогенович усмешливо молчит, целиком предоставляя ему инициативу разговора. Илья Игнатьич долго разглаживает красноватый рубец на лбу, след от шапки.

— Га, я угадываю, у вас какой-то праздник сегодня?

Аркадий Гермогенович утвердительно склоняет голову.

— Да... объявился человек, который пропадал целых... — Он не умеет счесть, сколько же времени длилась разлука, и произносит наобум: — ...больше десяти лет.

— Это родственник?

— Больше, это друг. — И с видом лукавого превосходства: — Вы пришли ко мне, конечно, не случайно?

Они выдерживают паузу, необходимую для приличного перехода к самой цели протоклитовского посещенья.

— Лиза еще не возвращалась?.. или уже ушла? Я видал на афише ее спектакль.

— О, она уже три недели в отъезде. Она здорова, отдыхает, ей очень хорошо. После всех неприятностей замужней жизни она имеет право на это маленькое удовольствие.

Илья Игнатьич не знал этого. Илья Игнатьич заметно разочарован и напуган. Илья Игнатьич стряхивает пятнышко с рукава, но оно не стряхивается. Он сердится, мучится, он ненавидит его, такое маленькое...

— Вы можете не отвечать мне, если вопрос покажется бестактным. Она уехала одна?

Аркадий Гермогенович двусмысленно пожимает плечами.

— Э, н-не совсем. Ведь это очень, э... далеко отсюда!

— Но все-таки... вы знаете ее адрес?

— Она просила не сообщать его никому. И даже я сам...

— Черт возьми, вы же переписываетесь с нею? — В лице Ильи Игнатьича читается бешенство пополам с растерянностью, как будто он сам ставит себе диагноз и узнает, что неизлечима его болезнь. — Га, я прошу... настоятельно прошу передать ей, что... несмотря ни на что, она по-прежнему дорога мне. Ее комната заперта на ключ и не занята никем. А если бы она захотела вернуться... — И вот перебивает сам себя: — Она уехала не с этим непристойным господином, как его?.. ну, Виктором Аграфенычем, черт! Было бы ужасно...

Аркадий Гермогенович игриво приподымает все девять седых и длинных волосинок правой бровки. Пускай, пускай этот важный и надменный человек помучается полчаса над тем, что самого его терзало целых полвека!

— Дорогой друг, тайна женщины — это превыше даже тайны пациента!.. — поучает Аркадий Гермогенович, шевеля поникшие обмороженные цветки. — Так говорил Бакунин.

Сейчас это имя, произнесенное Похвисневым, приводит гостя почти в исступление. Он издевательски смотрит в самодовольное лицо старика:

— Га, вы действительно дружили с этим человеком?

— О, я был последним спутником его многострадальной жизни,— без заминки и с почтенной гордостью отзывается Аркадий Гермогенович.

— Но он же умер за границей, и в год смерти (я подсчитал!)... вам было всего двадцать два.

Похвиснев долго качает головой.

— Простите, он умер на Басманной, в доме своего брата. Видимо, вы путаете его с кем-то другим. Мой Бакунин, Сергей Петрович, служил преподавателем космографии и естественных наук. Дудников ненавидел этого достойного человека не меньше, чем меня. Мне припоминается один памятный день.

Сотрясаясь от беззвучного хохота, Илья Игнатьич встает, лезет в свою меховую пещеру и, подобно Атланту, поднимает ее на себе. Проходы ему тесны, под ним скрипят полы, рассчитанные на худосочных. Растерянный Аркадий Гермогенович бежит следом в прихожую. «Сегодня я сварил кофе больше, чем это потребно для одного. Не хотите разделить со мною завтрак, милый друг?» Протоклитов уходит, он торопится: было бы отвратительно зрелище хирурга, избивающего беззащитного старика!.. Аркадий Гермогенович сконфуженно возвращается к Танечке, незримо присутствующей здесь. «Как хорошо, что ты жива...»

Целых три дня длилось это состояние чудесной взволнованности, сравнимое лишь с качаньем на высокой морской волне. Он доставал из секретного ящика старенькую фотографию, украденную когда-то из семейного альбома в Борщне. Была изображена смуглая девочка у жардиньерки с цветами; из-под пюсового, отделанного рюшем и с плиссированными оборочками платьица выглядывали узкие кружевные панталончики. Хлебным мякишем, уксусной кислотой, осколком стекла он пытался свести с обратной стороны надпись, сделанную столько лет назад его собственною рукою: «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой...» Позже, несколько свыкнувшись с радостью, он снова отыскал письмо племянницы: надо же было когда-нибудь дочитать его!.. На этот раз каждая строчка письма оглушала его.

«...Итак, здесь мы отыскали старушенцию, возрастом равную твоей Танечке (если бы она была жива!). Окрестные мужики почему-то зовут ее Арестантовной и утверждают, что она родная дочь последнего борщнинского владельца, убитого здесь же в восемнадцатом году. Мы с Куриловым ходили смотреть ее. Дороги от дома к ее сторожке нет; нам пришлось прокладывать тропку самим.

В лесу, вокруг ее жилья, много пней: мы обтоптали снег, уселись на одном и стали ждать. Потом Алексей Никитич толкнул меня в плечо. Что-то двигалось. Старуха возвращалась из обхода своей вотчины. С первого взгляда трудно определить, мужчина это или женщина (должно быть, природе это различие нужно только в молодости!). Я даже не запомнила, во что она была одета,— с такой силой эта встреча ударила меня по глазам. Но на ее голове, помнится, было что-то меховое, поверх окутанное цветною тряпкой. Она еле пере-

двигала ноги, хотя держалась еще довольно прямо. Милостынный мешок свисал с ее шеи, как торба с лошади. Мы затихли. Курилов шепнул мне, что такое долголетие горше смерти. И правда, видел ты когда-нибудь, чтобы морщины шли вертикально по лицу, как трещины в скале? Мимо нас двигался прошлый век. Она не взглянула на нас и пролезла в низенькую дверцу сторожки... Кстати, директор совхоза, Струнников, намекал вчера, что старушенцию будут переселять, так как место ее сторожки нужно под стройку...»

Со слов Струнникова же Лиза передавала рассказ, как жители соседних селений, сами — глубокие старики, водили Арестантовну года два назад на опушку рощи земле кланяться, чтоб «не томила лютой мукой жизни, чтоб приняла, уступила местечко поспать до великого дня...». И какой-то высокий старик, тамошний вещун и, видимо, знаток тайных сил, поталкивал ее легонько в загорбок, твердя: «Кланяйся ей, матке... шибче кланяйся ей, голубке!» И та кивала покорно и угрюмо. И, может быть, была весна, и вялые пахучие сережки упадали с берез. «Это, конечно, показывает, как сильны еще языческие суеверия в некоторых глухих углах СССР и как затруднена работа местных ОНО»,— прибавляла Лиза.

Только теперь Аркадий Гермогенович увидел Танечку такою, как она выглядела в действительности. Похоже было, что его разбудила та самая женщина, чье имя он повторял, засыпая полвека назад. Перед ним предстала внушительного вида сова, усищи росли на ней, как на унтере, мох выбивался из ушей: она окончательно приобрела признаки лесного чудища, на положении которого существовала столько лет. Это милое видение врывалось к нему не в одиночку, а в сопровождении таких же незабвенных призраков: Дудников подмигивал мертвым глазком, и Спирька шел навстречу со спрятанными за спину руками, и Бланкенгагель замахивался палкой. «Как страшно, что ты еще жива!» И вдруг невероятная догадка завершила всю эту историю (которую, впрочем, следует читать скорее внутренними, чем телесными глазами). Аркадию Гермогеновичу стало холодно во внутренностях, как если бы в один прием скушал слишком много мороженого.

Дальнейшее само собою напрашивалось в следующем виде. Из любопытства Лиза отправилась в лесную сторожку вторично повидать чудовище борщнинского долголетия. Они

уселись, и старуха рассказывала молодой женщине о занимательных людях своего столетия, о тяжести бессмертия, о предстоящем выселении в никуда... Но никто не сумеет предугадать содержание беседы двух женщин,— Танечка могла упомянуть о Похвисневе, а Лиза — подтвердить, что он еще жив и с прежней нежностью повторяет ее имя. Точно так же Лиза могла разболтать его секретное поручение... и тогда Татьяна оживилась, схватила руку Лизы и гладила ее, гладила своею, грубою, как рашпиль, благодарная и бессильная говорить. Возможно, она попросила Лизу записать на бумажке е г о адрес; первоначально в замысле старухи не было, конечно, ничего, кроме желания написать ему письмо, грустное, как последнее рукопожатье друга.

Все не унимается похвисневское воображение. Утром приходит директор Струнников вручить постановление местных властей. Старухи Бланкенгагель нет, она ушла за пропитанием. Он приклеивает бумагу клейстером на дверь и через два часа приходит снова. Старуха собирается недолго. Она уходит с узелком; его содержимое — какие-то полуистлевшие клочки пепельного цвета. Пока единственное желание старухи — добраться до первой канавы. Она выходит за околицу усадьбы; минутный испуг перед внезапным и непривычным ей простором кружит голову. Потом она осваивается... Какой-то непостижимый в таком возрасте порыв заставляет ее выпрямиться, и вот она уже знает, куда идти! Пешком она движется по дороге, вдоль замерзшей реки, где не раз ей случалось когда-то проезжать в лакированном, на высоких колесах, шарабане, с ливрейным форейтором впереди. Ничто не может служить ей вешкой,— так изменилось все кругом. Но она движется, не уклоняясь от верного пути, руководясь животным инстинктом, подобно кулигам саранчи... Она движется, и вянет вокруг нее уже пророзовевший январский снег; она ушла, и словно родимое пятно сошло с Борщни. Стало голубее в небесах, и птиц в лесу заметно поприбавилось.

«Не приходи ко мне, умри великодушно за порогом!» — мысленно шептал Аркадий Гермогенович, мечась в своей светелке.

...В эти дни он сидел взаперти, совсем разбитый. Обед ему приносил из столовой соседкин мальчик, за это старик гладил его по голове установленное число раз и, так приласкав, водворял ему шапку на прежнее место. Все остальное время, вооружась картой и самодельным масштабиком, он

пристально следил за маршрутом старухи. Это были занятия простейшей арифметики. В своем возрасте старуха могла двигаться не больше десяти километров в день. Если считать, что выселение произошло два дня спустя после отправки письма,— она должна была находиться уже в трети всего расстояния от Похвиснева. По счастью, этот вариант был допустим при условии, что Бланкенгагельша полетит прямым путем, на манер ведьм или ворон; на деле же ей преграждали путь и слабость сил, и морозы, и даже милицейские управления. Таким образом, срок прихода оттягивался на неопределенное время. С другой стороны, у чертовой бабы могли оказаться припрятанными родительские ценности, колечко с рубинчиком или другая реликвия из благородного металла, достаточная на покупку железнодорожного билета. Тогда она могла ввалиться к нему с минуты на минуту.

Все явственнее различал он жгучие подробности, от которых захватывало дух. Вот она спит в сарае, что забыли запереть, привалясь к сену. В полуоткрытом глазу меркнет блик ночной зари, пар выбивается из мохнатых ноздрей. Она жива, призраки не замерзают!.. Приходит рассвет, горланят зимние птицы, она идет дальше, волоча юбки по накатанному глянцу дороги. Механика ее движенья такова: то ноги отстанут, то костыль... Вот она бредет через базар. Ее соблазняет шипенье кровяной колбасы, она тянет руку к жаровне. Потом, под надежным конвоем зевак, ее ведут в отделение. Она усмехается, усердно дожевывая краденое, и молчит, молчит. Девать *такую* некуда: ее отпускают, пожимая плечами. Она плетется дальше за обещанным гостеприимством, и каждый шаг ее отзывается грохотом в сердце Аркадия Гермогеновича. Порой среди ночи будило его предчувствие, что сейчас произойдет ее вторженье. Неодолимый старческий страх рисовал феноменальные картины расправы: например, старуха войдет и изобьет его зонтиком, если не поступит с ним как-нибудь обидней, по способу Макбетовых ведьм!.. Надо было сосредоточиться и приготовиться к отпору, и он думал, думал, на всякие выдумки растрачивая благодетельный сон. Как никогда, звенело в памяти Вергилиево напоминанье:

...Как можешь ты спать при событиях этих?
Или не зришь, вкруг тебя что за опасности встали!
Что же стремглав не бежишь, пока можешь стремиться!

Наверно, посреди ночной тишины раздастся скрип ее костыля и негромкое, одышливое покашливанье. Он отопрет до стука, сам, шикая в темноту, чтоб не разбудить соседей. Он увидит незнакомое ему существо в старинной тальме, усыпанной черными круглыми блестками, и, ради большего ужаса, в швейцарской соломенной шляпке, увенчанной гнилою птичкой. Он увидит незнакомое ему существо, которое, однако, угадал бы и в толпе по своему тоскливому и виноватому сердцебиению... Оно войдет, оно сядет посреди, наполняя светелку пронзительным знобом могилы. Оно будет молчать. Оно спросит тихо:

«Ничего, что я плачу?»

Он удивится отсутствию слез и обычных конвульсий, разве так плачут? Впрочем, очень чопорно он поклонится ей, приглашая к мужеству, и обдернет украдкой свой люстриновый, приличный такому случаю, пиджачок.

«Вы не узнаете?.. вы меня забыли, Аркадий?.. вы не звали меня?»

Он вторично склонится, немой от ужаса и заложив руку за борт пиджака. Тогда, волнуясь, она заговорит басовито и бестолково; она напомнит ему все, вплоть до соленых грибков, которые он так обожал, лакомка! Знаков препинания в ее речи будет больше, чем самих слов. А он разглядит тем временем ее руки в дырявых нитяных перчатках, ее щеку, в знакомой ямочке которой уже просвечивает земля. Она достанет из узелка свой единственный документ, бережно обернутый серым платком, справку сельсовета о выселении с печатью и неразборчивой подписью, точно муха ползла из чернильницы.

«Уж только бы дни дожить, дожить дни...»

Аркадий Гермогенович сурово покачает головой, удивляясь такой настойчивости и сердясь, что затягивается ненужный разговор. «А Дудников, мадам?» — закричит он вдруг, уже не страшась, что и тот ворвется сюда из-за двери с сжатыми кулаками... Словом, он припомнит все мельчайшие, даже не свои, обиды, чтобы укрепить себя в принятом решении. («А помните, помните, сударыня, как однажды вы собственноручно избили кучера?!») Он постарается казаться оскорбленным, будучи раздавленным. Петушиным голосом он скажет, что он не жилсоюз, чтоб раздавать пристанища. И, опустив голову, Танечка зажмурится от нестерпимой стыдности этого человека. Ради соблюдения приличий и до-

стоинства она посидит еще немножко, спросит о каком-то Антоне Феофилактовиче, жив или убили; потом поднимется уходить. Он не остановит ее, хотя она будет уносить с собою все, что он кропотливо копил в душе все эти годы. Разве только обмолвится вслух восклицанием Сенеки:

...О, эта встреча
Вполне достойна выходца из ада!

Весь в испарине, он снова оставался один, и те же книги, что когда-то были его друзья, спутники, почти сообщники тайны, становились теперь его судьями. В порыве минутного раскаянья он бежал вслед за гостьей, и Танечка возвращалась. Тогда наступал великий переполох, вызванный этим самовольным вселеньем. Он уже заранее бессилел от гонений домкома, страдал от настороженной враждебности своих фармацевтов; уже он видел доносное письмо соседки о том, какими знакомствами располагает этот затаившийся пенсионер, и грозную резолюцию, наискосок начертанную красным карандашом. Поочередно старика выгоняли отовсюду, пока наконец он приобрел право нищего странствовать под руку с Танечкой и сообща пить скорбь, которую заслужил.

Так вот кого избирала ему судьба в палачи!

ГЛЕБ В ДЕЙСТВИИ

После поражения на Сарзанском перевале черемшанская война не закончилась. Казалось, Протоклитов шел на любые условия, лишь бы добиться взаимной сговорчивости. Было бы несправедливо обвинять его только в стремлении замять дело; он даже написал газетную статейку в защиту Сайфуллы, где, почти дословно в выражениях Кати Решеткиной, упрекал своих врагов в нечуткости к товарищу, попавшему в невольную беду. Он отыскал десятки доказательств невиновности молодого машиниста, признавал свою недостаточную внимательность к инициативе молодых, давал обещание в кратчайший срок исправить допущенную оплошность. Скурятников, читая эти пышные словеса, только в бок пихал Пересыпкина:

— Вот гад, вот... А ты говоришь, что я невыдержанный! Кабы я невыдержанный был, знаешь, чтó бы я с ним за эту пакость сделал?

Эта статья, прославившаяся впоследствии как образец ли-

цемерной маскировки под мужество и благородство, была правильно оценена в Черемшанске и названа попыткой произвести раскол среди молодежи. Чувство вины было общее у всех. И, пожалуй, эти судорожные поиски примиренья, исходившие от Протоклитова, объединяли молодых с не меньшей силой, чем их заботы по скорейшему вторичному выпуску на путь комсомольского паровоза. Первое крупное испытание их дружбы сообщило ей закалку, достаточную для перехода в наступление. Перед решительной схваткой (приближалась чистка Протоклитова) Пересыпкин ездил с Катей в Улган-Урман, где теперь работал слесарем Сайфулла. Из их беседы выяснилось, во-первых, что вынужденная разлука лишь укрепила отношения между Катей и провинившимся машинистом. (Пересыпкину предстал совсем иной человек; беда наложила на него отпечаток сосредоточенной серьезности и самостоятельности. От вчерашнего юноши не осталось и следа; этот вряд ли доверил бы ему письмо о Марьям.) А во-вторых, что и Сайфулле намекал Кормилицын на какой-то особенный секрет, который — стоит его помянуть вслух! — сделает начальника депо мягче травки. Но так и осталось невыясненным, было ли то пьяным хвастовством Кормилицына или отголоском спрятанной правды.

Естественно, Кормилицын становился как бы героем и центром внимания для всей черемшанской общественности. Этот человек, по выражению Пересыпкина на одном закрытом заседании, обладал бесценным сокровищем государственной безопасности. Остро ощущая отсутствие куриловских указаний, Пересыпкин сам изобрел систему тайного наблюдения; каждая интонация, каждый жест Кормилицына подвергались тщательному изучению. Однако, напуганный таким обилием ушей и глаз, Кормилицын сжался и на все расспросы отвечал одной и тою же скороговоркой, что Протоклитов — хороший, очень хороший человек. Они, может быть, и отстали бы, но молчальнику понадобилось зачем-то удариться в крайность: он начал сочинять явную чепуху относительно своего знакомства с Протоклитовым, проврался, запутался и еще более раздразнил любознательность преследователей.

Глеб пристально следил за ходом атак, не вмешивался, не подавал виду, что ему понятно значение этих заигрываний. Внешне ничто не изменилось в его отношениях с Кормилицыным, но время от времени тот ловил на себе его ленивый, прищуренный, остановившийся взгляд, заставлявший горбатиться

и поникать на полуслове. Тогда он переживал подлое раскаяние наблудившей собаки, мучительно выжидающей наказанья... Наконец Кормилицын стал вовсе избегать встреч с Протоклитовым и, хотя не верил в его показное равнодушие, не находил в себе силы внезапно исчезнуть из Черемшанска. Всем своим существом он сознавал, что, раз покинув это место, он немедленно попадет под власть старых призраков и отправится убить женщину, продолжавшую терзать его и на расстоянье. В эту неделю он не пил, проявлял повышенную исполнительность в работе, а в нерабочее время не показывался нигде на глаза,— и в этом состояла, пожалуй, вся его защита от Протоклитова.

Удивительная выдержка, всегда отличавшая Глеба от прочих игроков такого рода, как будто начинала иссякать: все чаще он думал о крутых мерах, способных положить предел подозрениям. Но хотя цепь улик и удлинялась, удача, как всегда, сопровождала его начинания. Так, у него нашелся повод посетить черемшанского врачевателя. Они посидели уединенно, за рюмочкой, и часом позже речь пошла о Курилове, и хозяин от скуки передал гостю содержание своей беседы с Алексеем Никитичем. Якобы бывший начальник спросил, какая из веселящих жидкостей более всего приходится ему по сердцу, и на это у лекаря хватило будто бы смелости ответить, что склоняется ко всем в последовательной и благородной гамме, пуще же всего предпочитает простачка: «Хватче берет, дольше держится и, самое главное, с него не першит!»

— Такой милый, такой обаятельный... Просто грустно видеть такого человека в подобном состоянии, эх-эх! — пролаял он с искренним сожалением.

Глеб заинтересовался сообщением, и тот, коснувшись сущности куриловского заболевания, нарисовал ему горелой спичкой чертежик на папиросной коробке — как она выглядит, эта гипернефрома, и как она на почке укрепляется, и каким способом валит она громадного, здорового человека с ног. Гость слушал, облизывая истрескавшиеся губы; все развивалось самым стройным образом, и не в его силах было подхлестнуть чередование событий. В ту же ночь, из непонятных на первый взгляд побуждений, Глеб снова заготовил пространное и умное заявление в партийную организацию, где с величайшей откровенностью признавался в одной вине — в сокрытии социального происхождения, чтобы замаскировать этим

другую и главную. Он не поставил даты и не отсылал его никуда, а держал у себя в корзинке на **всякий** случай, как документ, удостоверявший его чистосердечное раскаяние. Не дожидаясь времени, пока в игру со свежими силами ввалится куриловский преемник, он задумал в самых быстрых темпах обезвредить Кормилицына.

Этот унылый, со вдовьими глазами мужчина продолжал оставаться очагом всевозможных случайностей, потому что терять ему, кроме длинных волос да ненависти к Зоське, было нечего. Способов у Глеба было несколько; проще и сытнее для души было бы вывести его под благовидным предлогом в лес и там дать волю страстной и непреклонной решимости. Благоразумие, однако, заставило Протоклитова с большей кропотливостью обдумать детали покушения. Сложность предприятия не пугала его; в таком виде оно труднее поддавалось разгадке, и, кроме того, Глеб не переставал помнить наставление своего отца: сколько бы ни было у тебя врагов, всегда приходится уничтожать их поодиночке!

В скором времени стало видно, до каких пределов дошло смятение Кормилицына. Не выдержав своего двусмысленного положения, он сам решил напрямки объясниться с Глебом. В обеденный перерыв он почти ворвался к нему в конторку, сам не зная — упадет ли к его ногам, прося справедливого возмездия, или ударит его сзади гаечным ключом, чтоб разом положить предел своим терзаниям... Он не сделал ни того, ни другого: сквозь стеклянную дверь их могли увидеть вместе. Итак, он вошел, и хотя разговор мог занять неопределенно долгое время, Кормилицын не садился, поглаживал спинку стула, тупо глядел в подбритый, наклоненный над столом затылок вчерашнего сообщника и друга.

Наконец Глеб оторвался от своих ведомостей.

— А, это ты? — сказал он, не оглядываясь. — Ты подавал заявление насчет спецодежды. Я распорядился, тебе выдадут. Можешь идти.

Временные чернорабочие обычно не имели права на получение спецодежды; нарушением порядка Глеб намеренно подчеркивал свой вызов деповским законникам и обманывал бдительность Кормилицына.

— Спасибо, я получил! — И все глядел со страдальческим лицом в ямку на его затылке. — Скажи правду, ты шибко сердишься на меня? Я и сам не знаю, как **это** произошло. Я потом сразу отрезвел, но было поздно. Мне очень стыдно

и гадко... я плохо отплатил тебе. Ты ничего не хочешь мне сказать?

— ...кроме того, что ты отрываешь меня от дела. Будь друг, говори короче.

— Я не знаю, что со мной делается, Глебушка. Ты слышал, здесь проездом был Курилов. Знаешь, я не вытерпел, пошел на него посмотреть...

Глеб с силой повернулся на стуле:

— Ты совсем невменяем, Евгений. Ты же был пьян... зачем это тебе понадобилось?

— Мне нестерпимо захотелось увидеть человека, которого мы собирались уничтожить в т о т раз. Я не мог противиться себе. Мне хотелось испытать судьбу. Он мог узнать меня, почувствовать мои мысли, и все открылось бы сразу. Ясности!.. Любой ценою, Глебушка, я купил бы эту ясность. Нет, я его не видел и напрасно простоял у вагона. Но меня резнул (мне показалось!) ужасный крик сквозь двойную раму... Ты не слышал, он сильно болен?

— Болен ты, а не он, дурак... — Протоклитов с маху ударил в дверь ногой, не присел ли там кто-нибудь, подслушивая; он терял выдержку, у него начиналась одышка в присутствии этого человека. — Ты вредишь не только мне, Евгений.

— Да, знаю сам. Я даже яды в руки брал, но... Пересыпкин как-то намекнул мне, что любое бегство навлечет лишь новые подозрения. Кстати, это означает что-нибудь, что он все вьется вокруг меня? Вчера приглашал пойти по холостому делу к Абдурахману... Я отказался. Правильно я сделал, Глебушка? Я ничего ему не сказал, я только хвалил тебя. Что же ты молчишь?.. ты же великий человек, Глебушка. Дай мне какой-нибудь совет!

С серым, скривившимся лицом Глеб наблюдал его из-под приспущенных век. Он совсем не ожидал, что дело зашло так далеко. «Пьянка с Пересыпкиным, злее не придумаешь!» Ему пришлось побороть в себе приступ почти обморочной тошноты, чтобы погладить дрожащую руку приятеля.

— Прежде всего я советую тебе не пить,— сказал он раздельно. — В следующий раз мне придется тебя уволить. Ну, отправляйся!

Обстоятельства требовали крутых и срочных мер. И пока дружественно выталкивал Кормилицына, в голове уже содержалось начерно готовое решение. В сущности, план этот зародился свыше месяца назад, при обходе депо, как безотчетная

и чудовищная фантазия, что возникает внезапно в усталом мозгу и никогда не проходит бесследно. Глебу потребовалось в тот раз остановиться у больного паровоза. Он достаточно послужил на своем веку, и диагноз мастера состоял из перечисления обычных недугов машинной старости. Манометр врал, трубы текли, пар гремел уже на восьми атмосферах. Начальник депо рассеянно слушал, что бубнил ему этот паровозный хирург, и следил за слесарем, разбиравшим подшипники. Было ясно, что для основательного ремонта нельзя будет обойтись без разбора топочной арки. Протоклитову показалось несправедливым в тот раз, что слесарь этот зарабатывает больше того чернорабочего, которому придется работать в тесном и ужасном пространстве паровозной топки.

Эта арка представляла собою широкое полукружие, сложенное из огнеупорного кирпича и предназначенное в равной мере как для правильного распределения пламени, так и для охранения самого котла от доступа холодного воздуха из трубы. Обычно глина арки спекается в сплошной силикатный массив желто-матового цвета; ее разбивают кувалдой, присев на колосниках. Сюда требовались исключительного здоровья люди, способные пробыть два часа в густой и едкой стеклянистой пыли. Чернорабочие неохотно шли на эту работу. И если бы во время работы, закрыв поддувало, одновременно захлопнуть дверцу топки... В тот раз он и не додумал до конца и только теперь сообразил, что этим экспериментальным животным мог быть Кормилицын. Основательная изоляция такого, к примеру, паровоза, как серия ЭШ, исключала всякую возможность проникновения наружу крика о помощи. Трезво оценивая физическое состояние намеченной жертвы, Глеб определял ровно в полчаса тот срок, по истечении которого ее вынут оттуда с истерзанными легкими и глазами навыкате.

Делая необходимые технические расчеты, Глеб обдумал все, как если бы уже отвечал на придирчивые вопросы следствия... Итак, Кормилицын был новичком и пьяницей; кроме того, приближалась встреча с ударниками Улган-Урмана, а покойный уже давно добивался случая быть премированным. Для правосудия было бы также вполне правдоподобным считать косвенным виновником этой смерти арматурщика, снимавшего манометр для проверки. Чтобы достать эту круглую латунную коробку, он неминуемо должен был встать на ручку шуровочной дверцы, предварительно захлопнув топку наглухо. Самая ответственность за несчастье падала непосредственно

на бригадира чернорабочих и старшего мастера депо... да и то лишь по линии несогласованности в распорядке ремонта! Внезапная смерть Кормилицына должна была вызвать обильные кривотолки, но любое последствие было слабее, чем в том случае, если бы Кормилицына вскрыли однажды, как шкатулку с секретным замком. Таким образом, все неприятности, связанные с этим делом, вполне окупались результатом. При некоторой же счастливой игре обстоятельств почетная гибель Кормилицына на работе снимала с него подозрения, служила немым укором врагам и, следовательно, временно выручала и самого Протоклитова.

В два дня все было готово. Подходящая для исполнения приговора машина отыскалась в крайнем правом стойле депо. Соседний паровоз, поставленный для обточки, мог служить отличной ширмой для преступления. Протоклитов изучил обстановку и нашел, что было бы бессмысленно ждать другого такого же благоприятного случая. Для верности это предприятие следовало провести в обеденный перерыв, чтоб избегнуть свидетелей мгновенья, когда начальник депо поднимется на паровоз... Однако в полдень двадцать второго января план этот подвергся пересмотру. Сомнения застигли Протоклитова, когда он входил к себе в конторку. Очутившись в безвыходном положении, Кормилицын мог ударами кувалды в стенки котла обратить на себя внимание и призвать на помощь. Следовало искать более удобного случая отделаться от дурака, и новый вариант возник почти молниеносно, как возникает большинство крупнейших изобретений, если все данные для них подготовлены раньше.

Протоклитов шел к себе в конторку и положил уже руку на скобку двери, когда дежурный громко, через всю секцию, потребовал у бригадира одного чернорабочего на шлаковую канаву. Оба штатных чистильщика паровозных топок не вышли на работу в этот день, а категория Кормилицына всегда служила резервом при всяких нехватках рабочей силы. Было слышно, как бригадир прокричал фамилию Кормилицына, и это безумно взволновало Протоклитова, хотя он и не знал еще, как обратит эту мелочь себе на пользу. Очень медленно он достал табак и стал скручивать папироску; бумага прорвалась, а он все крутил и крутил в пальцах, растирая в пыль оставшиеся крупинки табака. Сверху капнул голубь ему на плечо; Глеб вздрогнул и продолжал дожидаться своей минуты... Три минуты спустя он увидел в стекле отражение

Кормилицына, выходившего наружу со скребком и лопатой на плече. Стояло самое горячее время в депо: только что окончился обед, и приближался конец отчетных суток.

Он вышел наружу десятью минутами позже; за это время, по его расчетам, механик должен был сдать машину чистильщику, указав на сохранность контрольных пробок и количество пара на манометре, а Кормилицын — залезть под паровоз и приняться за работу... Глеб вышел и осмотрелся. Чистке подлежала маневровая машина ЧН с низким, старой системы, поддувалом, которому и предназначалось стать орудием убийства. Эта ломовая железная лошадь, имея маленькую топку и большую служебную нагрузку, пожирает громадные количества топлива; шлака в них накапливается столько, что вся операция должна была занять не меньше часа. Этот момент и был началом плана. Место рядом с чеэнкой было не занято, но чистильная канава не пустовала никогда, и было немыслимо, чтобы в течение этого срока не подошла другая какая-либо машина. Технические подробности благоприятствовали покушению. Паровоз стоял на канаве тендером к зданию, и самый тендер приходился уже над целым полотном; следовательно, Кормилицын работал под паровозом, упираясь спиною в крайнюю стенку канавы. Глеб отчетливо представил себе, как — закрыв лицо варежкой и оберегаясь, чтобы не загореться,— Кормилицын яростно выгребал на себя из топки раскаленный и оплавившийся шлак.

Потом, во исполнение желаний, на канаву вступил мощный пассажирский паровоз, и передние буфера остановились всего в четверти метра от чеэнки. Холодная испарина нетерпенья проступила по телу Протоклитова, едва представил себе, что произойдет, если неожиданным толчком сдвинуть эту громаду. Тотчас же он почти наяву увидел бледное лицо Кормилицына, его намертво закушенные губы и грудь его, расплющенную болтами зольника. Так образовалась вторая половина решения... Из будки паровоза спустился седоусый чумазый человек и сконфуженно козырнул начальнику. Машина его была непотребно грязная, и Протоклитов насмешливо осведомился для начала, не валялась ли она пьяная где-нибудь в навозном рву. Тот дернулся, как от ожога; тон начальника не предвещал механику добра. Многосемейный, не шибко задачливый, он подчинялся мельчайшим интонациям протоклитовского голоса. И так как виноватому свойственно искать еще более виновных, механик стал жаловаться на ремонт, на

скверное качество баббитовых прокладок, на неряшливость дышловой бригады, на всех, кто только мог разделить его ответственность.

— Ты смотри, Глеб Игнатьич, что деется-т! Вона, как язык в колоколе, болтаются. Ровно под музыку едешь...— И рукою потряс подшипники. — Всю дорогу крепили, веришь ли!

— Ну, значит, и помощник у тебя не лучше своего хозяина,— угрюмо, пряча руки в карманах, заметил Глеб; он был уверен, что Кормилицыну под машиной не до подслушиванья!

— Глеб Игнатьич... — взмолился механик, сдергивая шапку.

— Плохая, слишком беспартийная твоя деятельность, сердечный друг. Сколько лет ездишь?

— Одиннадцатый год с Покрова пойдет... — И хотел выложить какие-то дополнительные сведения о себе, и опять Протоклитов оборвал его, не то в шутку, не то всерьез.

— Все это недосмотр администрации... не зря нашего брата бьют. Тебя бы в домашние хозяйки, к примусу!..

Нужно было довести его до накала, когда теряет всякое соображение человек. И Глеб нажимал, и все еще было мало, и не умел найти слов, чтобы ослепить и парализовать волю этого человека. Мысль о Кормилицыне не покидала его ни на мгновенье; казалось, еще одно усилье воли, и колеса сами сдвинутся вперед. А у машиниста и в прошлом бывали провинности; месяц назад у него, по несчастной оказии, случился обрыв поезда в пути. Он растерялся; увольнение грозило ему утерей насиженного места, домишка и огородика, уймы мелких и привычных удобств. Заметавшись, он распахнул куртку и принялся отстегивать внутренний карман. Английская булавка колола пальцы, а он все шарил, а потом совал в руки начальника две захватанных бумажных ветошки, удостоверявших его многополезную деятельность в прошлом...

— Спрячь,— глухо приказал Протоклитов. — Давай посмотрим... Ну-ка, поставь на центр!

Это означало необходимость сдвинуть машину так, чтобы подшипники поршневого дышла переместились в положение над центром ведущего ската. Машинист одурело метнулся на паровоз. Протекла секунда, напоенная лязгом металла. Буфера пассажирской машины энергично ударились в маневрушку, и звук был такой, как если бы сомкнулись лезвия гигантских

ножниц. Протоклитов выпрямился, как при залпе, и опустил глаза... Кормилицын не существовал более. Действие ножниц было мгновенно, но все еще напрягался слух, пытаясь в хаотическом дребезге различить хоть стон в подтверждение случившемуся. Разговор с механиком пресекся сам собою. Почти не отдавая себе отчета, что́ говорит, Глеб пообещал подумать о судьбе машиниста и пошел прочь. Теперь, пожалуй, даже маленькую жалость испытал он к нелепому верзиле, оставшемуся под паровозом, но то была только мгновенная реакция на слишком крупное нервное потрясение. Вдобавок опыт подсказывал ему, что роль дураков в истории — это расплачиваться за деяния умных... Какое-то сомнение, однако, заставило его обернуться. Он увидел и вот прислонился к стене, ища себе какой-нибудь материальной опоры.

Ошибиться было невозможно — позади стоял Кормилицын, улыбающийся, невредимый, какой-то невещественный, как галлюцинация. Согнутым пальцем он призывал Протоклитова к себе, и рождалась слабая надежда, что даже и теперь он не понял ничего. Глеб не двинулся, не нашел в себе дерзости, и тогда сам Кормилицын, пошатываясь, точно хмельной, точно неуверенный, что он еще живет, пошел к нему навстречу. То, что издали принято было за улыбку, вблизи оказалось гримасой крайнего бешенства. (Случилась неожиданность, отвратившая несчастье. Кормилицын уронил варежку и нагнулся за нею в тот момент, когда железная коробка зольника стремительно прошла над головою. По-видимому, в просвет между колесами он узнал знаменитые козловые сапоги Глеба... Недаром всю последнюю неделю он выжидал жестокого и до мелочей рассчитанного протоклитовского удара.)

Он подошел, весь белый от золы, как мельник. Даже защитные очки, сдвинутые на шапку, покрылись тонким слоем пепла. Его трясло, подбородок отваливался; можно было ожидать, что он разрыдается от гнева, исступленья и гадливости... У него зудило в носу, и рот был еще полон горьковатой шлаковой пыли. Ему хотелось кричать,— спазма сдавила горло, не мог. Он стоял еще непрочно на земле, этот черемшанский Лазарь, и сплевывал на снег серую слюну, слегка окрашенную кровью. Защищаться стало немыслимо.

— Выслушай меня до конца, Евгений...

Тот прервал его:

— Ну, ты, животное... — и пожевал губами. — Узнаю протоклитовский темперамент!.. — И побежал прочь, неуклюже

перепрыгивая через сугробы и шлаковые кучи, падая и торопясь, как будто его могло настигнуть горячее протоклитовское слово, как будто тот владел грозной силой умерщвлять на бегу или даже ненависть человеческую обращать себе на пользу.

ПРОФЕССОР ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ В НЕОБЫЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ

...В тот вечер Кормилицын исчез из Черемшанска. Человек в его состоянии мог пуститься на самый рискованный шаг, и всего благоразумнее для него было открыться Курилову. Разумеется, свой донос он мог осуществить и в Черемшанске, но до выяснения обстоятельств дела это повлекло бы и его собственный арест, а у него еще оставались в жизни кое-какие незавершенные намеренья. Курилову в его положении не трудно было придумать какой-нибудь хитрый способ оплатить подобную откровенность. Правда, была несколько абстрактна их совместная вина перед Куриловым,— в те годы они так и не разыскали его; но Курилов вряд ли забыл тех своих соратников, которых они все же отыскали... Еще не соображая в точности, как парализовать дальнейшую деятельность бывшего приятеля, Глеб бросился в погоню, хотя всякое неоправданное бегство в таких условиях немедленно поставило бы его вне закона... Он опоздал уехать в тот же вечер. Кормилицын становился недосягаемым. Наступила самая скверная и бесплодная из протоклитовских ночей. К утру он не изобрел ничего, кроме законного повода для поездки в Москву.

Следуя одной спасительной догадке, он еще раз обыскал свою корзину. Револьвера там не было. Кормилицын захватил его в удобную минуту, и это внушало надежду, что ревность свою он утолит прежде, чем ярость на бывшего приятеля. Конечно, эта человекоубойная машинка должна была выстрелить в свое время... и если бы только Зоська первою расплатилась за все!.. Когда Глеб с утренним поездом покидал Черемшанск, его целью было прямое объяснение с Куриловым. Он ехал признаваться только в той части своей биографии, которая в письменном виде осталась дома. Наверно, это будет тоскливый диспут, мотня — по-черемшански, о праве человека на вторую жизнь, о мнимой ответственности за отцовские преступленья, и, наконец,— достаточно ли сильным чувствует

себя пролетарское государство, чтоб и великодушие включить в обиход своих высоких побуждений. (Он знал и сам, однако, что первая половина вопроса не обязана сочетаться со второй; что никто не вправе выдавать человеку метрику о его втором рождении, кроме него самого; что Курилова не поразят эти скорее задушевные, чем разумные аргументы. Глебом руководило отчаянье, и свою капитуляцию он намеревался сделать только средством передышки в большой войне.)

Конечно, Курилов усмехнется его появленью, поведет в комнаты, угостит хорошим табаком и сам из-за густой дымовой завесы будет наблюдать невеселые метания врага.

«Ты хочешь уничтожить меня?»

«Я хочу обезвредить тебя, Протоклитов. Эпоха только начинается, и ты достаточно грамотен, чтобы знать это. Было бы неверием в творческую программу пролетариата думать, что он ограничится Днепрогэсом или введением всеобщего обязательного обучения. Мы глядим далеко, и то, что мы видим там, на Океане, заставляет нас быть настороже. Вот почему мы проверяем все, что только может быть подвергнуто проверке...»

«Ты не веришь мне. Но если бы я просидел эти годы в тюрьме, разве я не приобрел бы права — пусть не на дружбу, а хотя бы на равнодушие твое?»

И Курилов усмехнулся на его нечистую уловку.

...С вокзала Глеб позвонил ему на квартиру, чтобы договориться о часе свидания. Втайне он рассчитывал по самым интонациям Курилова определить, состоялась ли накануне убийственная исповедь Кормилицына... Бесхитростный и грустный женский голос сообщил ему, что Алексей Никитич третий день находится в больнице. Женщина назвала ее; это была та самая, где работал Илья. Протоклитова глубоко взволновало сообщение куриловской сестры, и опять еще не знал, как именно следует сыграть этим несомненным козырем. Он догадался спросить, разрешено ли навещать больного: именно таким путем мог идти Кормилицын. Ефросинья сказала, что лучше всего это сделать после операции, которая состоится в ближайшие дни. Она спросила фамилию того, кто говорит с нею, и, как когда-то сам Курилов в беседе с Ильей, Глеб назвал вымышленную.

Задуманный разговор отпадал сам собою. Глеб вздохнул облегченно. До такой степени нуждаясь в сообщнике и даже в прямом исполнителе своих желаний, он всегда недооценивал выигрышного значения куриловской болезни. Было бы

полезно узнать о ней подробнее, и тогда он вспомнил о брате. Этот человек мог дать исчерпывающие сведения об участи Курилова... и вот окупалась его почти безрезультатная поездка.

Он позвонил у двери с медной дощечкой. Кухарка ушла за покупками. Илья отпер сам. Эта маленькая удача ободрила Глеба.

— Хорошо, что ты дома. — И обнял брата. — Почему ты в халате?

— Был грипп, но завтра собираюсь выйти. Входи в мой вигвам и располагайся. Га, ты не спешишь? Ведь у тебя все планы и планы. Ты, конечно, по делу?

— На этот раз никакого... Просто зашел мимоходом удостовериться, что жив, режешь и бодрствуешь.

— Спасибо, я не избалован ничьей лаской. Га, за это ты получишь кофе. Я варю его сам, и знатоки хвалят.

Илья был в хорошем настроении. Взгляд его был свеж и трезв, розовели скулы; Глебу почудилось даже, что от брата пахнет утренней рекой... Сейчас он казался моложе своих лет. Длиннорукий, в долгополом и пестром халате, со своей походкой, напористой и размашистой, он напоминал боксера, уверенно подымающегося на ринг. Было видно, что первую половину жизни он употребил с толком для накопления опыта и доволен ею, но знал твердо, что самого существенного в ней еще не совершил. Это была умная и зрелая молодость ученого... Мальчишеским жестом Илья втолкнул брата в кабинет, а Глеб намекнул шутливо, что предпочел бы подвести под кофе сытную материальную базу. Он привык обедать рано.

Илья лукаво подмигнул брату:

— Видишь ли, кухарка экономит мои деньги. Она меня жалеет. Га, кажется, она пропускает через мясорубку серую оберточную бумагу. Получается вроде того, на чем кладут кирпичи...

— Взбунтуйся!

— ...Терплю. Кроме меня, это, пожалуй, единственный человек, преданный моей жене. — Он решил, что проболтался Глебу, и нахмурился. — Словом, мне всегда не везло на старухах. Приходится питаться тайком. Хочешь отличной ветчины?

— Я хочу много отличной ветчины! — потирая руки, предупредил Глеб. — А что же твоя жена? Помнится, у какого-то Еноха сказано, что жена обязана заботиться о муже...

Илья нахмурился.

— Ну, значит, моя не читала Библии. Открой верхний ящик письменного стола. Там сверток... нашел? Га, действуй, я сейчас вернусь.

И пока младший брат свирепо расправлялся с тремя огромными ломтями мяса, старший отправился с кофейником на кухню. Слышно было, как повизгивала ручка кофейной мелепки и гремела посуда, небрежно сдвигаемая с плиты. Кухонных талантов никогда прежде у Ильи не наблюдалось. Гость искал каких-нибудь других перемен в квартире и смог только определить, что жизнь старшего Протоклитова сосредоточилась теперь вся в одной этой комнате. То было пустынное, какое-то пещерообразное жилье холостяка; роль сталактитов играли фантастические нагроможденья журналов и книг. Конечно, неубранный кофейный прибор и груда белья в углу, как ее доставили из прачечной, могли быть случайным явлением. Но обращала на себя внимание совершенная недвижность и тишина, непривычная уху Глеба. Тогда он сообразил, что перемена коснулась самого главного. Кажется, Илья охладел к своей знаменитой коллекции часов.

Внешне все оставалось по-прежнему, но ни один механизм не находился в движении. Некоторые из них, точно приготовленные к отправке, стояли как попало на полу. Не тикали маятники, не перезванивались колокольчики; мертво и тускло глядели старинные циферблаты. Без завода стояли и нарядные, с бронзовым амуром, французские часы-игрушка, что созданы были для отсчета минуток любовной радости; молчал и черный, в мраморе, масонский инструмент, предназначенный следить годы приближения к вечности. Вчерашние любимцы были низведены на степень домашней рухляди, и Глеб подивился с умешкой, как все это похоже на Илью!

Скоро тот вернулся и, не торопясь, стал разливать кофе; на черной изогнутой струе лежал чуть колеблющийся, продолговатый блик окна. Он поднимал кофейник, и окно магически вытягивалось почти в нитку. Чашки были огромны. В комнате густо и празднично запахло пряностью. Ноздри Ильи раздулись, вдыхая благословенный пар. И почему-то комната сразу приобрела уютность, располагавшую к дружеской и неограниченно долгой беседе. Глеб отхлебнул первый глоток, и ему стало жарко, как от вина.

— Можешь открыть кафе и прославиться!

— О, я подошел к этому делу научно. Я пью этот состав, как воду, и... га, работаю, как река! — Он сложился и вдвинул себя на кожаные подушки кресла. — У тебя несколько утомленный вид... но я бы сказал, вид лыжника, подходящего к цели. Как твои дела?.. тень родителя перестала тебя тревожить?

Глеб поторопился изменить направление разговора:

— О, все прошло... Кстати, что происходит с твоей коллекцией?

— Я отдаю это в музей. Сегодня обещали прислать приемщика. Уже теперь все это не мое.

— ...надоело? А у тебя здесь есть диковинки, с которыми мне было бы жаль расставаться.

— Га, много возни... надо заводить. Незаведенные часы похожи на склеп, а? Это стало недугом, а мы, хирурги, народ решительный. Заболит — вырезать и выбросить. Что, не согласен со мной?

Глеб пощурился и не порешился спросить, распространяется ли помянутое свойство хирургов и на привязанность к сбежавшей жене.

— Да... это была слишком беспартийная для нашего времени страсть. Ты мобилизуешься вовремя, Илья. Близится горячее время. Слушай, ты бы хоть скворца завел, чтоб шумел в твоей пустыне!

— Га, скворцы гадят и бранятся.

— Надо быть последовательным. Подавай заявление о вступлении в партию. Конечно, о н и подумают. И, скажу тебе наперед, о н и д о л г о будут думать. Ты устанешь ждать.

— Ну, ты плохо думаешь о своей партии... Меня нельзя не принять!

— ...а почему?.. чем ты доказал свою верность? работой? Но ты же ведь получаешь за нее. Вся эта рухлядь стоит денег. — Он брал вещи со стола и, показав, кидал обратно. — Это все отличный первый сорт... гравюры, мебель. Даже уходя в уединение, ты хочешь сделать его приятным...

Илья задвигался, и кресло закряхтело.

— Эй, не запускай в меня нечистую руку, Глеб. Там зубы.

Глеб замолчал; именно здесь следовало остерегаться болтливости. Не зря предсказывал старый Игнатий Протоклитов, что этого сынка надо бояться, даже когда он поддакивает, а он станет поддакивать, едва постигнет секретную изнанку Глеба. «Ты заметно прогрессируешь, Илья!» Последняя вещь,

какая попала в руки Глеба, оказалась кожаной дорожной рамкой с фотографией. Он заглянул: это была блудная, неверная, милая жена Ильи — Лиза. Объектив застал ее как будто врасплох; она не успела сменить выражение лица и вот улыбалась с наивной озабоченностью ребенка, безмерно удивленного раскрывшимися просторами мира.

По-видимому, Глеб слишком долго смотрел на изображение этой женщины.

— Поставь назад,— хмуро сказал Илья.

— Ого, ты ревнуешь меня к моей же родственнице!.. А знаешь, у нее очень детское и запоминающееся лицо. Когда же ты познакомишь меня с нею?

— Я прошу поставить это назад,— заметно краснея, повторил Илья.

«Ага, он продолжает любить ее, всякую. Он еще сберегает юношескую нежность к этой женщине. Нетрудно сохранить свой облик в малом, но даже в большом он остается Ильею Протоклитовым!» Все эти сведения заинтересовали Глеба; он копил их, как самоучка-изобретатель собирает всякие колесики, пока не отыщется им применение... Так длилось до предела, за которым начиналось уже бешенство Ильи.

— Ты, наверно, очень привязан к ней,— с притворной завистью заметил Глеб, ставя фотографию на место. — Она платит тебе тем же?

— О да! — убежденно протянул Илья.

И, солгав, тотчас же заерзал с самым страдальческим видом, побагровел, как мальчишка, даже воротник сорочки стал ему тесен. В довершение всего он опрокинул чашку, чтоб замаскировать смущение. Брат равнодушно и безжалостно наблюдал его рукопашное единоборство с самим собою. «Не признаваться же тебе, разумеется, что твоя супруга удрала от тебя... но знаешь ли ты с кем?» И оттого, что всякий перевес мог пригодиться ему в дальнейшем, он решился на дерзкую откровенность, которую в иное время счел бы рискованной.

Он неторопливо обошел стол и дружественно похлопал брата по плечу.

— Как ты не разучился краснеть, Илюшка?.. Где же профессиональные мозоли-то твои? А мне думалось, что урологи — непременно циники: специальность такая!

Илья барахтался, освобождаясь от сильных и чем-то подозрительных объятий брата:

— Ну это вопрос твоей личной холостяцкой биографии.

Они продолжали эту шутливую борьбу, как когда-то в детстве, но сейчас за нею крылся грубый житейский смысл, и победитель неминуемо становился хозяином предстоящего разговора; по существу, это была борьба за старшинство.

— Видишь ли, я хирург-уролог. И есть, милый, разница, недоступная, видимо, твоему сорту людей! У тех буж, а у нас нож.

— Ого, ты мстишь, ревнивый самолюбец! — улыбался Глеб, бледнея и выпуская Илью. — Ты выпускаешь протоклитовские шипы...

Илье и самому резкость его показалась чрезмерной (и уж никак не удавалось смягчить ее).

— Все надо уметь, товарищ. Не с паровозом разговариваешь!

Украдкой Глеб продолжал щуриться на фотографию Лизы.

— ...неладно ты устроился в жизни, если смущаешься даже от невинных вопросов. Судя по ее детскому лицу, не прав, конечно, ты, Илья. Домашние ссоры не мешают твоей работе? А ее, наверно, много у тебя?..

— Да, устаю. (А сам думал, что всегда и в детстве Глеб легко справлялся с ним.) Все разъехались. Старик вернулся из Барселоны и свалился... острый сердечный припадок. А Земеля переводят на Украину...

Глеб вернулся на прежнее место, допил кофе и, вытянув ноги, неторопливо обдумывал последующий ход.

— Послушай, кстати... в твоей практике часто попадаются гипернефромы?

Илья тяжело дышал; он бросил на брата подозрительный взгляд и не ответил. «Вот оно, очередное дело Глеба!»

— Скажи, эта болезнь серьезна?

— А... кто у тебя?

— О, не я!.. я намереваюсь жить, пока не опротивеет, пока не опробую из всех закромов... а у меня зверские аппетиты. Я имею в виду друга, которому многим обязан. Молчишь... значит, это нехорошо?

— Да! — веско сказал Илья.

— ...очень больно, наверно?

— К несчастью, нет. И потому они всегда приходят к нам слишком поздно. А у твоего приятеля боли?..

— Это незаурядной воли человек... но на днях мне при-

шлось проходить мимо его окна, и я слышал его крик сквозь двойную раму.

Илья нахмурился, и вот уже врач сидел перед Глебом (и как будто даже эфиром слегка запахло в комнате).

— Возможно, опухоль у него сопряжена с камнями. Они растягивают почечную лоханку и... Га, я почти не встречал людей, толерантных к этому виду боли. Впрочем, могут быть и другого рода закупорки, симулирующие камень. Ты пошли-ка его ко мне на днях. Я приму его вне очереди...

— Надо спешить?

— Камень из лоханки может попасть в мочеточник и... если не пройдет дальше... тогда анурия, уремия и... смерть.

Глеб щурился, что-то соображая, весь двигался, как будто примеривая болезнь на себя.

— Хорошо!.. рано или поздно придется резать?

— Ну, этого нельзя сказать заочно. Га, ступай к гадалке... — И все присматривался, угадывая какую-то искусно спрятанную фальшь. — Мне надо видеть, трогать. Требуется много дополнительных данных.

— ...например?

— Га, надо убедиться, работает ли другая почка, нет ли дизурических, пузырных явлений...

— О, туберкулез исключен. Бациллы Коха не найдено в моче. Только кровь и боль! Последний припадок был со рвотой. И хотя я знаю, что этого мало для диагноза...

Илья оживился.

— Га, ты изучил это дело! собираешься отбивать хлеб у брата?

Еще бы! Не зря Глеб высидел вечер у черемшанского лекаря, слушая музыкальные упражнения его жены и собутыльничая с ее супругом. Он перечел всю специальную литературу, какая нашлась на полупустых больничных полках. Он заучил формулы и теперь хотел видеть их применение в действительности. А выпитый кофе еще более побуждал его вести разговор в тоне острой и двусмысленной откровенности.

— Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я — ее ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в ее орбите и все не могу вырваться...

— Га, это, наверно, паршивое ощущение!

— Нет... если быть справедливым. Я лучше стал из страха, что он увидит меня дурным. Потерять его было бы

таким же событием, как потерять тебя. Впрочем, все это личные переживания... Но я пришлю его к тебе с запиской. Его зовут, скажем, Постников... да, Постников его зовут. А все-таки он будет жить?

— Иные выживают,— неопределенно пробурчал Илья.

Глаза Глеба озабоченно блуждали по стенам; какой-то глухой звук вырвался у него сквозь сжатые зубы, и у Ильи были все основания принять это как выражение бессильной жалости к погибающему другу.

— Есть у тебя коньяк, Илья? Дай... Теперь я охотно выпью с тобою.

— Чего ты нервничаешь?.. возможно, опасности и нет!

Однако он не заставил просить дважды и вот уже держал штоф обеими руками — так, точно согревал его своим теплом.

— Налей мне много,— сказал гость.

— ...хорошо! — И налил ему много.

Должно быть, Глеб устал от страхов и повседневных хитростей, обычная выдержка покидала его. Какого труда ему стоило, чтоб и капли не пролилось из переполненной чашки! И напрасно крику своему он старался придать будничный оттенок:

— Вот мы давно с тобой знакомы, милый брат, но подружились только теперь. Я не шибко верю в дружбу: друг — это первый кандидат во враги. И вместе с тем ничто не крепит так подлинную дружбу, как общность врагов. Так пусть же они у нас будут общие отныне! Ведь ты поможешь мне, правда?

— Не волнуйся... я сделаю все, что могу.

Стоя, Глеб выпил чашку в четыре больших глотка и, прижав руку ко лбу, казалось, слушал себя.

— Убирай, больше не буду. Теперь сядь, так!.. и расскажи мне все про эту болезнь, с самого начала.

Илья неторопливо подошел к нему:

— Ну-ка, раздевайся, я пощупаю тебя.

— Эх, Илюшка... Смотри на меня: похож я на больного?

То была правда: пронизывающий блеск его глаз, его до хрипоты приподнятый смех, почти атлетическая выразительность всех частей его тела, от челюсти до пальцев, стиснутых в кулаки,— все это сильнее слов убеждало в неосновательности подозрений. Голова была ясна, и каждая мысль пелась в ней, как музыкальная фраза. Его зрение как бы усилилось во много крат; его разум проникал во все мельчайшие извилинки

и складки мира, и в каждой крупинке бытия он угадывал чудесную и стройную пропорциональность его частей. Только теперь к Глебу пришло полное понимание всего, как будто владел всем, что видел,— Ильей, этими книгами, серым снежком на подоконнике, старухой, что, громыхая, запирала дверь,— завтрашним днем, самими судьбами мира. Это было великолепное, звериное ощущение физического здоровья, помноженного на постоянную удачу... Пока Илья относил кофейник на кухню, Глеб с воровской вкрадчивостью всматривался в портрет Лизы; и было такое чувство, что он уже и ее держал в своих руках, и пресытился, и отвергнул ради чистого, почти математического созерцания своей власти. Илья вернулся, почти забыв, о чем шла речь. Потребовалась повторная просьба, чтобы он продолжал описанье.

Это была его обычная, вступительная к циклу лекция, но применительно к аудитории об одном и неподготовленном слушателе. На протяжении часа нужно было изложить обширный опыт целого раздела сложной клинической науки. Глеб поминутно сам наталкивал его на тему, и в одном месте Илья с раздражением пригласил его помолчать, если он не хочет залечить своего Постникова до гроба.

Он начал с описания опухолей вообще, сообщил вкратце об их строении и развитии, несколько подробнее остановился на способах распознавания; эта часть более всего могла пригодиться Глебу. При этом он избегал специальных обозначений и старался без ущерба точности нарисовать образную картину процесса, когда из-за одной пораженной части человек начинает ненавидеть все свое тело. Он даже показал Глебу несколько типических рентгенограмм (чернее самих ребер выделялись там тени оксалатных камней), и тот, ревниво касаясь пальцами, пристально рассматривал эти убийственные туманности, наложенные одна на другую. Никогда он не слушал с таким вниманием... и хотя имена классиков хирургии, например, были упомянуты лишь мельком, он почти физически ощутил присутствие этих бесстрастных и беспощадных старцев с засученными рукавами, какими он представлял их всегда. С содроганьем и отвращеньем он видел бугристые, мнущиеся под пальцами куски полуживой ткани, то желтой, под янтарь, и размером в горошинку (но их множество!), то в тяжелых, обвисших капсулах бурого и мертвенного цвета. И самое страшное было, что тело противится всеми силами этому необъясненному злу, но зло растет, окрашивая все вокруг, мясо

и мысли, пузырясь и вламываясь в соседние органы, рассылая повсюду гнилостный яд, и наконец рушит человека, как большое дерево, напрасно цепляющееся ветвями за соседей.

Один раз Глеб все-таки прервал лектора:

— ...но если это распространяется даже по кровяным руслам, значит, через год, через два... я не ограничиваю срока... оно нагрянет снова?

— Судя по твоему описанию... Га, перед такой разлукой надолго, запоминай своего друга крепче, Глеб!

Расхаживая по комнате, Илья продолжал лекцию. Речь пошла о путях вмешательства медицины; почти все они были оперативные. Он говорил также о способах иссечения пораженной почки, о последовательности разрезов и о процентном количестве неудач для каждого из них. И стало так, словно Илья уже работал, а Глеб из-за плеча наблюдал быстрые и точные руки мастера. Так он увидел Курилова, боком положенного на валик, лица ассистентов, безлично завешенные марлей, и, наконец, резвый, почти невидимый нож хирурга, как он проходит сквозь толщу брюшной стенки, от двенадцатого ребра до края прямой мышцы на животе. Разрез был громаден,— вторжение чудовищно. Глебу показалось, что даже при благополучном исходе это будет уже не прежний Курилов, охотник, искатель людского счастья, человекогора, с вершины которой видно будущее.

Предавшись мыслям, он теперь почти не слышал Ильи. Лишь отдельные фразы скользили по поверхности сознанья:

— ...через двадцать секунд я увижу почку... ее околопочечную желтую клетчатку. Тогда я вывожу и оттягиваю почку вниз и наружу, а мой помощник раздвигает края раны. Я прощупываю пульсацию артерии renalis, зажимаю ее, перевязываю и надсекаю...

— Постой, ты берешь ее пальцами?..

— Конечно... Ну? — И ждал нетерпеливо объяснений.

— Она дрожит?

— Что это?

— Ну, эта жила, которую ты назвал! — напомнил Глеб и намелко ломал спичку за спичкой; он спешил, подсказывал, он как бы внушал, как должно это произойти.

— Да, она пульсирует. Ты успокойся... (Я уважаю тебя за такую степень дружбы!) Но не бойся: ничто не грозит твоему другу, пока он у меня на столе.

— Еще один вопрос,— мертвым, помимо воли, голосом спросил Глеб. — Ты волновался бы, если бы это был твой враг?

— Га, пустяки! Ты мало знаешь нашего брата... Мне довелось однажды оперировать тетку генерала Юденича. (Я невзлюбил его с того раза, как он приезжал к отцу... помнишь, когда отец по пустяку избил кучера Федьку? А я обожал этого простоватого парня: он умел ловить ящериц, запускать змеи с фонариками, делать свирельки...) Старуха была жирна, я попотел над нею... и, право, ей не за что жаловаться на меня. Через неделю по выходе из больницы ее сшиб трамвай. Га, я жалел. На ней впервые были применены кое-какие новшества, и мне хотелось проследить пути метастаза...

...Он окончил лекцию не прежде, чем довел воображаемую операцию до конца. И едва успел зашить недвижное, условное тело перед собою, Глеб собрался уходить. Несмотря на всю опытность в делах такого рода, он чувствовал себя дурно, точно высидел час в тухлом анатомическом театре; он ослабел, как игрок, поставивший все на свою постоянную удачу. Сейчас его почти пугали быстрота и легкость, с какою пригонялись одно к одному разрозненные колесики. О, Илья получит хорошую роль в предстоящем трагическом спектакле!.. И хотя только что выпили за дружбу, в глазах Глеба было оправдано любое поведение в отношении к брату. «Ты хотел ввязаться в большую игру? Так плати полностью и наравне с соплеменниками за право дышать глубоко в эту эпоху...»

В прихожей Илья Игнатьич сконфуженно коснулся его плеча.

— Меня тяготит,— ворчливо приступил он, разминая сустав указательного пальца,— что я солгал тебе давеча насчет жены. Обидно, что ложь, кажется, удалась мне на этот раз. Видишь ли, Лиза ушла от меня. Я долго верил, что благоразумие одержит верх и она вернется.

— Чудак, ты же мог вовсе не отвечать на мой вопрос! — засмеялся Глеб (и подумал, насколько бестактно было просить этого человека о намеренной лжи). — Извини за любопытство, но ты ведь сам начал... Кто же он, твой счастливый соперник?

— Подозреваю, ее сманил один режиссер. Га, в крагах и бархатной куртке... представляешь фрукта?

— Вызови на дуэль, проколи шпагой и насыться мщением. Кроме шуток, мне жаль тебя, бедняга! Ты был так привязан к ней. В чем же дело... разлюбила?

— Видишь, Глеб, ни в каком учебнике не сказано про женское сердце. Это еще более древний и туманный вопрос, чем опухоль твоего Постникова. Ну, ступай... навещай меня изредка!

Никогда их расставанье не носило оттенка такой горячей искренности. После ухода Лизы Илья трудно свыкался со своим одиночеством; вместе с тем уж невозможно было восстановить прежний холостяцкий уклад. Дверь захлопнулась... В самом низу лестницы Глебу встретились трое людей; они несли ящики и старые одеяла. Их вел унылый молодой человек в пенсне и шляпе пирожком. Учтивым, без всякой интонации голосом он спросил у Глеба о квартире профессора Протоклитова.

— Нам нужно взять у него коллекцию часов,— пояснил он почти скорбно.

— Потрите... если не хотите навеки испортить свою красоту,— строго сказал Глеб, кивнув на обмороженное, ставшее совсем воскового цвета ухо, и прошел мимо.

ГОСТИ

За окном, в глубине больничного двора, стояло дерево и еще дальше за ним — фонарь. Вечерами тени ветвей скользили по стенам палаты, где лежал Алексей Никитич, по жесткому сероватому белью, по страницам книги, которую он читал. Он поднимал руку — они качались на экране его ладони, и, приподымаясь поправить одеяло в ногах, он чувствовал их у себя на затылке. Ничего из прочитанного не оставалось в памяти. Глаза непроизвольно следили только за игрой теней, бесплотных и как-то по-весеннему набухших. Тогда Алексею Никитичу казалось, что он лежит уже очень давно. Через длинную цепь неуловимых промежуточных звеньев, в воображении слагалась одна и та же картина доброй русской весны. За городом, четыре часа дня. К деревьям вернулась их прошлогодняя гибкость. Ветер... и если выставить руку, он оближет ее, мокрый, сильный, искренний, как большая собака. Кружится грачиная стая. Подобно кораблям в бурю где-нибудь в океанской бухте, они хотят причалить к березе, но пристань колеблется, и они не умеют рассчитать могучего дыхания волны... Так, каждый порыв ветерка за окном сбивал его со строки. Читать стало невозможно. Кроме

того, койка была поставлена так, что скудный свет с потолка не попадал на страницу.

Сосед Курилова тоже сдвинул книгу в колени. Он был провинциальный изобретатель, и, значит, были у властей причины отправлять его на лечение в столицу. Алексей Никитич так и не понял, в чем состояла его болезнь; что-то разрасталось у него внутри; из него вырезали много скверного, дикого мяса, но выздоровление не приходило, и снова обок с Куриловым он ждал очереди на хирургический стол. Сиделки считали, что это был самый капризный и неукротимый пациент во всей больнице. Никто не навещал его здесь.

Книга соскользнула на пол; он не поднимал ее.

— Сколько будет на наши деньги — ливр? — спросил куриловский сосед.

— Сколько-то рублей, не помню. Что вы читаете?

— О, великая гадость. Представьте, Курилов... Молодая дура выходит замуж за маркиза. Она выхлопатывает... (Хамское какое словцо, а?) Она добивается для него голубой ленты, а сама сожительствует с его племянником. А в это время маркизова сестра... Не могу! Вы видите, Курилов, низменную рожу этого автора?

— А вы читайте что-нибудь другое!

Изобретатель заворочался и, свесив руку, тискал ножку кровати.

— Мне надоели наши жития святых. Я сам святой: у меня сотня премий и почетных грамот за изобретения... и я желаю повестей о геройских приключеньях, о красавицах с иссиня-черными кудрями. Я имею право на необыкновенность... понятно это вам, Курилов?

— Чего вы все протестуете, чудак! — засмеялся Курилов.

— Э, вам хорошо... Вы ходячий больной! А я... да вы знаете, чтó я мог бы еще напридумать, будь я здоров, как вы?!

Курилову странно, что он еще способен вызывать зависть. Но это плохое утешение, и ему неприятен этот разговор... Он пошарил вокруг себя наушники радио; тотчас же его движение повторил и сосед. Потребовалось такое же время привыкнуть к звуковому хаосу, сколько тратится и на то, чтобы войти, раздеться, сдать одежду под номерок и подняться по мраморной лестнице в зал... Только что кончилось первое, и начиналось второе отделение концерта. Галдела публика, настраивались инструменты, и по торжественному музы-

кальному гулу можно было судить о размерах зала. Все стихло, как будто затем, чтоб придать еще бóльшую внезапность аплодисментам. Наверно, появился или приезжий дирижер, или искусный пианист, игру которого призван был обрамлять целый оркестр. Напрасно кто-то старался перекричать овации и успокоить зал. Аплодисменты сникали, чтобы с новой силой вспыхнуть через мгновенье... и какой-то тихий женский голос, почти у самого микрофона — глуховато и чуть нараспев,— не уставал повторять имя артиста.

— ...вы видите ее, Курилов? Она очень хороша собой и знает это. Ей не надо кричать, чтоб обратить на себя внимание артиста. И она не знает, что мы подглядываем за ней, как старцы за Сусанной... Глядите, глядите, как он раскланивается им всем — людям, люстрам, мраморным колоннам. И ему хлопают за то, что он знаменит,— за то, что он такой строгий, выбритый, в добротном черном фраке...

«...И еще оттого, что накапливается богатство в этой стране и народ, избавленный от нищеты и научившийся понимать красоту, становится и великодушен и требователен к своим художникам!» — мысленно продолжает Курилов.

— ...смотрите, какой он розовый, ясный. Он хорошо выспался перед выступлением, правда? Сейчас он комкает хрустящий платок в руке и смотрит на женщину. Отвернитесь же, Курилов... не мешайте им!

«И у него здоровые, ничем не тронутые почки...»

Но ему нравилось это парадное волнение, потому что была и его невидимая доля в торжестве, и он прощал им, что ни разу за весь вечер не вспомнят Ошкурова и его безвестных жертв... Дирижер постучал по пюпитру, и деревянные инструменты сдержанно завели мелодию, незнакомую Курилову; вследствие занятости он никогда не посещал концертов. И оттого, что каждый читает музыку как умеет, Алексей Никитич снова увидел проталинки в полях, стаи крейсирующих грачей и всем телом учуял влажный и пряный холодок оттаивающих оврагов.

Дверь открылась. Санитарка впустила Клавдию, и Зямка старательно выкручивался из ее сухой, неумолимой руки. Едва освободясь от опеки, он подошел к Курилову, нахмуренный и очень важный. От мороза или смущения перед необычным местом встречи пылали его щеки. «Рано, рано взмечталось о весне!» Все трое поздоровались молча. Стул был один. Клавдия усадила мальчика и сама присела рядом, придерживая

его за плечи. На свидание было отпущено только пятнадцать минут, и никто не знал, как благоразумнее истратить эту маленькую вечность.

Клавдия свободной рукой поправила кружевной галстучек на блузке.

— Ну, как тебе лежится, Алеша?

— А, знаешь, неплохо. Отдыхаю... только мало кормят. Ты им шепни, чтоб не скупились!

Он приподнялся, собираясь познакомить товарища по несчастью со своей знаменитой сестрой, чтоб и тот принял участие в беседе. (Еще со времени тюремного сидения Алексей Никитич привык делиться с соседями по камере всем своим достатком.) Но изобретатель затаился и повернулся спиной, притворясь спящим.

— Я получил твои яблоки, Клаша, спасибо... Нет, здесь мне хорошо! Взгляни, какие цветочки нарисованы на панели. Души отсюда поступают непосредственно в райскую регистратуру.

Он спросил, не с пленума ли она пришла к нему. Нет, пленум ее организации начинался завтра в двенадцать. Алексей Никитич сообразил, что к этому времени все его мученья окончатся, и повторил, что все это очень хорошо. Он достал яблоко из-под подушки и сунул Зямке в руку. Клавдия отдернула рукавчик и взглянула на часы. Прошло полторы минуты, одна десятая всего срока.

— Что говорят врачи?

— Левая, говорят, погибла, но правая почка станет жить.

— Конечно, надо было решиться на это, Алексей. Куда ты хотел бы поехать после выздоровления?

Присутствие мальчика умеряло взволнованность взрослых. Попеременно поглядывая на обоих, он не пропускал ни слова, и Клавдия с суровой и сдержанной лаской коснулась его лба.

— Ты что-то хотел сказать, Измаил?

— Не, я только жамерж даве... — сказал Зямка, памятуя всякие предварительные запреты.

— Все равно, скажи... если только умное.

— Ничего ошобенного... У нас дворник жараж женился. Шмешно!.. а двор неметеный. Мильционер штраф принес... вот и женился! — давясь от смеха, сообщил Зямка.

Курилов покачал головой, значительно взглянув на Клавдию:

— Видишь, сестра, как вредно жениться не вовремя. Что же яблоко-то не ешь, парашютист?

— Я жараж яблоко Шаньке проспорил. Вот я ему отдам.

— У меня много их, мучитель... Ты заезжала за ним на квартиру? — спросил он у сестры.

Нет, Марина сама привела его. Она осталась ждать внизу. Дежурный врач отказался пустить третьего, а Клавдия не решилась настаивать. (Да и ей-то разрешили свидание вопреки правилам и лишь из уважения к ее почтенному имени.)

— Что же, рассказать тебе что-нибудь, Измаил? Вот... начало мне приятель, сочинитель один, поведал, а конец придумал я сам, хочешь, например, про слона?

Мальчик надкусил яблоко и, держа откушенное за щекой, настороженно молчал. Но по глазам видно было, что про слона ему в любое время интересно.

И Курилов начал неторопливо:

— Так вот, ехал по Азии один бродячий немец со зверинцем. Мимо Тибета ехал, по горам и белым пустыням...

— А где китайская крашная армия — тоже ехал? — неожиданно спросил Зямка.

— Немножко в сторону от нее... — сказал Алексей Никитич, снова переглянувшись с сестрой. — Он показывал своих зверей: плати пятачок и входи. Был у него такой шатер, вроде цирка. Зрителям ставили складные скамеечки. Немец выходил — гутентаг, гутентаг!.. — и начиналось действие. Тигра он заставлял кланяться публике, удава надевал на шею, а потом завязывал узелком, чтоб не уполз в перерыве... И даже собака, милый Зямка, выделывала у него такие вещи, что нередко сходила за обезьяну. Но народ там живет бедный, грабят его иностранцы, а чем дичей — тем трудней дается ему копейка. Только и норовили картинки с фургона сорвать, на память! Фургон — это большой ящик на колесах, очень скрипит... Плохо шли у немца дела. Зайдет, бывало, в главную клетку, жует бутерброд с повидлом, чаем запивает, и звери так печально смотрят, что всего один у него бутерброд. И выпустил бы на волю, чтоб сами добывали пропитание, но, во-первых, полиции боязно, а во-вторых, жалко слона. Его звали Али. Он был белый, умный, и черная клякса на лбу. Не скучно, Зямка?

— Давай уж жараж, давай! — кивнул тот с натужливым, сочувственным лицом.

— ...но тут входит к нему жена, она билеты у окошечка

продавала. «Все продано,— говорит. — Начинай!» Он подстаканник отставил, дает сразу третий звонок. Вышел и вспотел: публики никого нету, и только сидит клетчатая фигура в котелке и обмахивается всей пачкой билетов от жары. Немец плечами пожимает: «Гутентаг, можно приступить?» Фигура отвечает: «Гутентаг, начинайте сразу со второго отделения, только не торопитесь на слоне!» Жена шарманку вертит, считает в уме, на сколько им хватит пропитания... Дошло до слона. А тот уж оголодал, и когда выходил показывать свои штуки, немец подпирал его на всякий случай плечом. По окончании фигура сказала: «Видя, с каким успехом это у вас получается, хотел бы и сам попытать счастья. Покупаю у вас слона!» Хозяин уперся: «Да что вы! Такого слона... в чужие руки!» Но предстало на выбор — либо весь зверинец накормить слоном, пока не доберутся хоть до Китая, либо... Поломался — уступил. И все глядел с женой, как тот уводил слона на веревочке в направлении неизвестных гор...

Клавдия снова посмотрела на часы. Шла девятая минута. Они еще не успели обсудить главного, а бесценное время уходило на пустяки. Но сейчас у нее не стало мужества прервать шалость брата. Алексей Никитич лукаво покосился на сестру. Ее плечи заострились, левая бровь скорбно и высоко округлилась на лбу. Он понял вдруг, почему она не остриглась в свое время. Она была очень стара,— желтые косточки просвечивали на висках; у нее заметно редели волосы, и требовалось особое уменье, чтобы их хватило на прическу. Он протянул руку и украдкой от Зямки погладил колено сестры. Она вздрогнула, смутилась, поднялась и отошла к окну.

— ...а там, верст на триста к югу, помещалось смешное королевство. Народ платил подати и тоже трудился на иностранцев; жил, словом, и голодно и стыдно. Когда нечем стало его околпачивать, выдумали попы легенду. Будто придет избавитель в виде белого слона с пятном на лбу, и начнется столетняя сытость. Легенда — это нарядная неправда!.. Понимаешь теперь, зачем приезжал жулик в котелке?.. Вот выгрузили слона с товарной платформы. Он был одет в большой ящик (только ноги наружу), а на ящике — клейма и надписи: осторожно, не переворачивать, не ронять. (Они сделали так, чтоб народ не догадался, что бог приехал по железной дороге.) Пошел ящик на слоновых ногах через улицы, через базары. Пришел, раздели его от досок, покормили, а уж он, бог-то, догадывается, что в историю попал! Но слоны, Зямка, плачут

редко... Скоро праздник, народ съехался из деревень. Жгут цветные огни, жрецы до отрыва подметок танцуют, ждут появления бога. Вот вывели из темноты на свет, повели на золотых шнурках... ничего, ему нравится. А как ударили в барабаны, заиграли на длинных трубах, бог испугался. Оборвал поводья и бросился напрямки, все сокрушая на пути. Да, Зямка, бивнями!.. Тогда его загнали в большой сарай и долго убивали стрелами. Скоро бог лежал, точно сложенный брезентовый стратостат, когда его надувают газом...

— Алеша, нам осталось всего четыре минуты! — безнадежно сказала Клавдия, не оборачиваясь от окна.

— Я слышу, Клаша. — Он видел краем глаза, как она двигается, нервничает, и сказка была единственным средством избавиться от жалких слов расставанья. Он продолжал, следя за нахмуренным лицом Зямки: — ...тогда послали телеграмму механику. «Гутентаг?» — «Гутентаг!» — «Не можете ли починить эту вещь?» — «Можно... вам с разговором или только с движением? С разговором на двадцать процентов дороже». — «Нет, нам только с движением. Богу разговаривать не о чем». Два месяца трудился механик. Выгреб из слона лопатой, растянул на подпорках, вставил механизм, отрегулировал и живот на случай поломки сделал на застежке молния. Знаешь, как у твоей мамы на ботиках! Сломалось — джик, стамесочкой подвинтить, готово!.. Когда в будущем году повторился праздник, слон путешествовал как ни в чем не бывало. Размахивал хоботом, уши дрожали, мигали глаза. Он стал очень уравновешенный, толще и даже красивее в этом виде. Кожу намазали кремом, чтоб не трескалась от жары и не видно было заплат. Только жаль, что колесики поскрипывали в ногах по недосмотру техника. Так завелся собственный бог в черномазом королевстве. Вот и все, Зямка... Ты что-то хотела сказать мне, Клаша?

— Нет, но нам пора идти, Алеша!

— Ну, и славно. Кланяйся Марине!.. Вторую половину я доскажу тебе потом, Зямка. У меня будет время подумать, что случилось дальше со слоном...

Восемнадцатая минута подходила к концу. Санитарка появилась в дверях. Очень прямая и спокойная, Клавдия поцеловала брата в лоб. Зямка молчал; глаза у него были красные и брови насупились. Алексей Никитич вернул сестру с порога и распорядился передать Зямке модель паровоза, что стоит у него дома на столе.

— Поблагодари, Измаил,— торжественно и тихо сказала Клавдия.

Продолжая хмуриться, Зямка воротился к кровати:

— ...а самому-то?

— Куда мне!.. я большой, мне игрушки поздно.

— Может, еще выждоровеешь... — с суровой надеждой проговорил мальчик, и вдруг голова втянулась в плечи, и самое лицо его сморщилось, точно у маленького старичка.

Алексей Никитич взволнованно потянулся к нему, но Клавдия уже тащила его за руку вон, как напроказившую собачонку.

...Минуту спустя Курилов снова взялся за радио. Музыка еще продолжалась, и целых полчаса он уверял себя, что слушает ее. Внезапная догадка приподняла его с постели; он совсем забыл о Луке. Ему отчетливо представилась сцена передачи подарка. Клавдия войдет с Зямкой, когда Лука будет катать по полу этот чудесный паровоз. У Зямки зажгутся глаза, но он смолчит. Сестра нагнется отобрать игрушку, а Лука вцепится и не будет отдавать. «Нехорошо быть таким собственником, мальчик! — четко скажет Клавдия, забыв о глухоте Луки,— ты уже имел ее, теперь отдай другому...» А Зямка, наверно, прибавит: «Ничего, я подожду... ты доигрывай, доигрывай!» — и отвернется. Вмешаться в эту явную несправедливость стало поздно. Алексей Никитич лег и закрыл глаза.

...И опять воображение рисовало Зямку. Конечно, игрушку ему на руки не выдадут, чтоб не сломал. Ее ценность была слишком велика для мальчонки. Ее поставят на комод, на кружевную дорожку, посреди бумажных тюльпанов и рядом с фотографией покойного мужа тети Анфисы. Зямкины гости, мальчики со всей той бедной улицы, будут с почтительной серьезностью разглядывать этот слишком щедрый и непонятный дар. И самым несчастным из них будет сам Зямка (и тогда, может быть, в несытом восхищении растворится без следа его детская дружба к Алексею Никитичу).

Вдруг изобретатель заворочался:

— А вы вовсе не атеист, Курилов! — сказал он со злым смехом. — Я по поводу вашего слона. Атеизм — это неведение бога. А вы отрицаете, деретесь с ним, совсем непочтительно отнимаете у него вселенную. Я про себя не говорю. Я умираю и злюсь на все, что может быть виновно в причиненной мне низости. Поэтому я готов признать все, что сумеет доставить мне

исцеление или стать предметом ненависти. А вы-то!.. нельзя же злиться на то, чего нет! Правда?

Курилов молчал с минуту.

— В следующий раз я познакомлю вас с сестрой. Вы попробуйте развести ей вашу философию... она просто обожает таких собеседников! — И ему показался жалким этот цепляющийся за свою тень на земле человек.

ДОНОС В НИКУДА

Близ этого времени в служебном вестибюле больницы произошел скандал. Служитель вышел отнести вечернюю газету в комнату дежурного врача. Возвращаясь, он застал у перевязочной высокого, всклокоченного и такого неопрятного гражданина, что ужаснулось все его санитарное, с пятилетним стажем, естество. Не отвечая на прямые вопросы, неизвестный пытался идти напролом в ближайшую палату, и потребовалась внушительная сила, чтобы свести его вниз по лестнице. Тогда посетитель стал ломиться в клиническую лабораторию, но служитель, опасаясь за целость склянок с анализами, догадался позвать на помощь. Дежурный врач нашел скандалиста в почти истерическом состоянии; его руки были в неотмываемой копоти; он уже сидел на стуле, двое рослых больничных верзил держали его за плечи, и на белых халатах отпечатлелись прикосновения рукопашной борьбы. Ввиду необычности требований этого человека — о происшествии было доложено старшему хирургу.

В здании больницы Протоклитов оказался случайно. Он заехал навестить одну из пациенток. Молодая работница попала под циркулярную пилу четыре дня назад. Железом, скользнувшим от затылка почти до переносья, были вскрыты синусы мозга, а Протоклитову нравилось одолевать смерть, даже когда она почти успела потушить зрачки жертвы... Теперь он мог по праву гордиться своей работой. Сидя у койки, локтями в колени и лицом в ее лицо, он поочередно глядел то на остриженную голову девушки, где сквозь бинты угадывался длинный багровый шов, то в ее неживые глазницы; и опять — чуть окрашенная дорожка на марле, и опять — еле приметное мерцание поднимаемых ресниц. Он вслух назвал ее имя и терпеливо ждал, пока девушка не улыбнулась. Сей-

час это было лишь машинальное движение какого-то лицевого мускула; в нем не содержалось ни боли, ни радости, ни даже сознания своего несчастья. Но так же, наверно, улыбалась первозданная глина в сказаниях о сотворении человека, когда, меняя цвет и приобретая гибкость, она впервые почувствовала теплоту солнечного луча.

Много грубее, вещественнее отразилась та же улыбка в лице мастера.

— Га... вы позовете меня на свадьбу, девушка... — Он сказал это ласково и вкрадчиво, как говорят с детьми, когда их будят. К врачу, стоявшему позади, он обернулся не прежде, чем сомкнулись дрожащие ресницы больной. — Мы мало знаем о возможностях человека. Вот железо распилило ей голову. Она улыбается. Мне приятно. О чем вы?

Уже настойчивее дежурный повторил о происшествии. Нет, этот ворвавшийся человек вряд ли пьян, несмотря на бессвязную речь; он кажется истощенным бессонницей, и он грозит последствиями, если его приход окажется безрезультатным. Протоклитов попросил провести его к себе в кабинет. Пятью минутами позже, отдав необходимые распоряженья, он отправился туда сам. Он шел по коридору, бубня какой-то марш и испытывая сытость творца, уверенного в своем могуществе... Служители предусмотрительно стали у дверей кабинета. Незнакомец, горбясь, сидел на стуле. Его успели облачить в белую больничную униформу. В таком виде предстала бы душа бедного Дон-Кихота, если бы ее неделю поконтить в центральном дымоходе пекла. Человек был длинен и неряшлив; из-под коротких заношенных штанов видны были скверные, спустившиеся носки... Увидев входящего Протоклитова, он вскочил, демонстративно отставив в сторону стул. По-видимому, беседа предполагалась в форме самого официального объяснения. Больно покалывали его подозрительные зрачки. С первого же взгляда он стал физически противен Протоклитову.

Не предлагая садиться, Илья Игнатьич спросил, кто он и что ему надо в больнице.

— Уберите ваших урядников,— отрывисто бросил тот, жестикулируя, как в припадке. — У вас не только лечат больных, а и ломают кости здоровым!

— Хорошо,— сказал Протоклитов и сделал знак, чтобы ушли. — Успокойтесь, они не придут больше.

— Мне нужен Курилов. Он лежит где-то здесь. Я заранее

отвергаю все ваши возражения! — И властно усмехнулся. — Ведите меня туда.

Это было невозможно. Прием закончился вообще. Никто не мог проникнуть теперь к Курилову хотя бы для сообщения радости, способной исцелить. Свидание, таким образом, откладывалось (врач сообразил длительность выздоровления) по крайней мере недели на две. Тогда посетитель проявил чрезвычайное возбуждение; он кричал, что у него срочное, пороховое дело, что он отправляется в дальнюю и продолжительную поездку, что теперь уже никто не вправе остановить его; он бегал, описывал круги и петли, дважды упомянул какую-то Зоську — и все, что было перед ним на столе, мимолетно испробовал на тяжесть или остроту; он торопился, пока не выдохлась и не утратила крепости его ненависть. Судороги его становились нестерпимыми даже для Ильи. Врач сказал:

— Если это так важно, вы можете рассказать мне. В свое время я доведу это до сведения больного товарища. Если хотите, присядьте и запишите, но... Га, давайте будем кратки!

— Э, ваша внешность не внушает мне доверия!

Протоклитов опустил глаза, переложил толстый карандаш с места на место и снова бросил на гостя спокойный взгляд:

— Я должностное лицо, и мы ведем разговор в моем служебном кабинете.

Посетитель раздумывал, мял пальцами запущенный подбородок, подергивался, точно его везде кусало, и все поглядывал при этом на белые, с добротными запонками, манжетки врача. Уже он как будто и соглашался доверить тайну в чужие руки, но вдруг откинул стул, который снова оказался было у него в руках.

— Нет... — И мучительно потирал виски, силясь что-то вспомнить. — Я все-таки предпочел бы видеть самого Курилова. Баста!.. У вас барские руки... и мне не нравится, почему вы набиваетесь в посредники.

Поигрывая цветным карандашом, Протоклитов сказал, что он не предъявляет никаких прав на чужую тайну, что он не рискует волновать своего пациента накануне операции, что он слишком утомлен и сам, чтобы тратить время на явную чепуху. Хитрость не подействовала, и он брезгливо предложил посетителю зайти когда-нибудь в более доверчивом и уравновешенном состоянии. И тот уходил, но тотчас менял решение; как будто не рассчитывая на скорое возвращение назад; за-

тухал и воспламенялся заразительной нервной дрожью, принимался искать шапку и, найдя, потерянно выщипывал волоски,— с одного края мех совсем пролысел. Они проделали несколько таких туров, где возбужденное недоверие чередовалось с минутным и колеблющимся согласием, а вялая покорность — с упорным, даже вызывающим отказом произнести хотя бы слово. «Я не знаю, в чем дело... мне чудится, что он подглядывает за мною из вас!» — пробормотал посетитель еле слышно... Внезапно толстый карандаш с сухим треском переломился в пальцах Протоклитова, и эта внешняя подробность искреннего бешенства убедила посетителя сильнее остальных доводов.

— Вы сердитесь... тот не сердится никогда. Нет, я ошибся. — Он недоверчиво поднял с пола брошенные обломки; кажется, его поражало, что не сходятся цвета половинок. Потом на ощупь он подвинул стул под себя. — Ладно, вы отвечаете за все... Вы понимаете, как легко разделаться с нашим братом? Ну... моя фамилия Кормилицын. Может, пометите для памяти? Курилов должен узнать следующее. У него на дороге затаился подлец. Он работает начальником депо на станции... — Внезапно он вскочил, и стул покатился из-под него. — Ага, вы хмуритесь?.. догадываетесь, кого я предаю вам?

— Вы поистине нестерпимый человек! — тихо сказал Протоклитов и, хотя не все же начальники депо приходились ему братьями, почувствовал, как начинают рдеть его уши.

— ...У него на совести много жертв. (Впрочем, сам он проговорился однажды, что совесть — это только непривычка!) Я не знаю, десять или сто... я познакомился с ним позже. Он всегда и все делал исправно. И он не гонится за легкой славой... потому и уцелел. Но он таков, что призраки не порешатся навестить его... Э, он расстрелял бы их вторично! Словом, это равнодушный. Ну-ка покажите, что вы там написали?

И у него хватило дерзости потянуться за листом с беглыми отметками Протоклитова, сделанными более для его успокоения, но Илья Игнатьич откинул его руку и яростно навалился на стол. Однако упоминание о депо содержало отдаленный намек на Глеба, которого Илья всегда подозревал в чем-то нечистом (и, кроме того, островерхая крышка чернильницы отрезвляюще вдавилась ему в ладонь); он опустил глаза и уже не чувствовал за собою права выгнать вон этого распадающегося человека.

— Я полагаю, брань не обязательна для нашего документа? — рассудительно заметил он. — Предоставим оценку самому Курилову.

Последовала пауза, их глаза встретились; многолетняя привычка врача помогла Протоклитову выдержать подозрительный, блуждающий взгляд маньяка.

— Это... это хорошо, что вы не кричите на меня. Вы не должны. Вы только бумага, на которой я пишу свою последнюю записку... понятно? Я предаю человека, которого любил. Я был его оруженосцем и тенью. Я повторял его слова о России, славянах и бессмертии. Чего смеетесь?.. забыли? Это теперь смешно, а тогда это стреляло!

— Га, постойте о бессмертии,— нетерпеливо прервал Протоклитов (и чуть было не прибавил, что для такого единственная форма бессмертия — чучелом торчать где-нибудь в прикладбищенской пивной). — Для вступления вы нагородили уже достаточно. Курилов, несомненно, заинтересуется, имеются ли свидетели... как мне кажется, вашей совместной деятельности.

— Я сам!

— Га, мало! Судя по вашему состоянию, у вас есть причины не только говорить правду, но и лгать!.. А речь идет о жизни человека... не так ли?

Кормилицын растерялся; донос, на который он тратил всего себя, мог сойти в этом месте за бредовую выдумку. Теперь очередь была за Протоклитовым не доверять услышанному.

— ...но вы, наверно, понимаете, тут уж свидетелей не остается! — криво усмехаясь, каким-то вкрадчивым и гнусавым голосом оборонялся Кормилицын. — Иначе они пришли бы вместе со мною, хе-хе. Им бы тут, пожалуй, тесновато пришлось... всем-то!

— Факты! — прикрикнул Протоклитов.

Тот вздрогнул и вот подчинялся уже, как если бы его сжимал в кулаке этот суровый и властный человек. Прошла минута, в течение которой Кормилицын шарил в памяти каких-нибудь самых убедительных доказательств. Потом последовало стремительное перечисление частей и городов, через которые прошел герой его доноса. Да, Кормилицын мог указать место, где, один на другом, зарыты те самые Герасимов и Ферапонтов, в честь которых даже переименованы села. Да, они вместе разыскивали Курилова на Каме, и если бы успе-

хом увенчались поиски, не состоялось бы и этой головоломной беседы!

— Это уже другое дело,— кивал Илья Игнатьич. — Но мне думается... такие сведения могут быть интересны не только для Курилова?

— О, конечно, конечно,— лихорадочно поддержал Кормилицын. — Я этого и хочу... мы все этого хотим,— запальчиво крикнул он, раскинув руки в пустые темные углы кабинета. — Пускай, пускай мертвые повеселятся!

Рука Протоклитова неторопливо легла на телефонную трубку, но тот в два прыжка оказался рядом; всей тяжестью тела придавив рычаг, он выдернул шнур из розетки.

— Что... что вы собираетесь делать? — Тупое недоумение истекало из его окончательно расплывшихся зрачков.

— Вы попали с этим делом не по адресу. Я хотел исправить ошибку...

— ...нельзя! — шепнул Кормилицын, не то угрожая, не то заискивая.

— Га, вы трус! — брезгливо заметил Протоклитов.

— Нет... но у меня есть еще д е л а в жизни.

Глазами врача Протоклитов внимательно изучал его. Было ясно, этот неудачник делил равную ответственность с тем, чью голову украдкой притащил Курилову. Ему и самому недолго оставалось буйствовать и сгорать; кроме ненависти, уже иссякавшей, какие-то другие чадные пары переполняли этот кожаный мешок. Протоклитов снял руку с аппарата.

— У вас больше нет сведений для передачи товарищу Курилову?

— ...разве только подробности об этом негодяе?

— Что же... он убивал сам? (И этот вопрос был уже от себя.)

Кормилицын поежился.

— Мне кажется, это и не обязательно... — огрызнулся он.

Еще минут десять длилось бессвязное и без всякой хронологической последовательности перечисление эпизодов. Потом объяснение было закончено. Обессилевший, точно вытек весь, Кормилицын сидел, отвалясь затылком к эмалированной дверце шкафа. «Какое у вас тут все белое...» — бормотал он, а глядел себе на руки; кажется, он приходил в себя... Тогда Илья Игнатьич поднялся из-за стола.

— В суматохе, га... вы забыли назвать фамилию этого человека.

С детства он испытывал гадливое чувство ко всякому доносу. И хотя еще не было указаний, что речь идет о его собственном брате, именно через физическую и всевозрастающую враждебность к этому издерганному организму Илья ощутил незнакомую ему родственную теплоту к Глебу, как мужественному человеку, безропотно зарабатывающему право на жизнь и забвение ошибок. Ничто не изменилось в его лице, когда имя его брата было произнесено вслух. Очень медленно он сложил исписанный наполовину листок.

— Я гарантирую вам, что Курилов... так или иначе... получит сведения... С своей стороны (и вот они блеснули в корректной усмешке, протоклитовские зубы) — я обязан сообщить вам, что и моя фамилия тоже Протоклитов...

Кормилицын остался сидеть, но его заросшая волосом челюсть отвалилась куда-то вбок. Вцепившись в сиденье стула, не моргая, точно прозревший, он уставился в своего посредника и узнавал, узнавал то, что было спрятано под его белым халатом. Так вот откуда происходило его непроизвольное сопротивление этому человеку! О, его донос с равным успехом можно было засунуть и в урну для окурков. Обещание довести его до Курилова звучало почти издевательски. Ему казалось, что он сходит с ума... Сторукий, нацелившийся, Глеб следил за ним отовсюду. Можно было ждать, что дверь откроется, и не один, а семеро Протоклитовых, эластических, ловких и бесшумных, как на каучуке, станут вокруг него, а последний повернет в скважине ключ. Он одурело взирал на дверь, которая действительно шевельнулась. (Это было обычное явление: когда внизу захлопывали дверь, воздух с силой устремлялся наверх...) Пятясь и уже не слушая, что ему говорят, он стал отступать из кабинета. Затем последовал рывок, донесся стремительный спуск по ступенькам, и снова ослабленный поток свежего воздуха пахнул Протоклитову в лицо. Илья Игнатьич вышел в коридор, постоял, поправил уголок дорожки, загнувшийся при бегстве, и отправился домой.

Все назначенное на этот вечер механически отменялось... Он включил весь свет в квартире, как будто это могло доставить ясность разуму. Он путался и злился на Кормилицына, обрушившего на него свою гадкую, уличную тайну. Дружественное чувство к Глебу распадалось на какие-то обрывки жалости и сомнительного сочувствия, в которых уже созрева-

ло осуждение. И рядом с ним, осторожным, нигде не уловленным, вставал во весь рост безвестный Ферапонтов, отважный матрос или красногвардеец... (Старший Протоклитов вдоволь насмотрелся на этих безыменных апостолов социализма, крест-накрест перепоясанных пулеметными лентами, по-львиному вторгавшихся в мрачную историю человечества.) Не в пользу брата выходили эти сравненья... И когда, через час бесцельной ходьбы из угла в угол, он с облегчением отметил, что судьба Глеба проходит краем, не задевая его, когда уже готов был ограничиться ролью зрителя и постороннего лица в этом сомнительном предприятии,— на глаза ему попалась коротенькая записка Глеба, принесенная в его отсутствие. Незнакомый с почерком брата, Илья Игнатьич узнал автора лишь по содержанию ее. Подпись свою, видно второпях, Глеб забыл поставить. В конверте находились двести рублей в уплату старого долга. Шутливыми, скользкими словами Глеб благодарил брата за давнюю услугу и остальные обещал прислать на днях.

С самого начала Илье Игнатьичу не понравился беглый, гаерский тон записки. В иное время ему и в голову не пришло бы, что все это проделано ради последних десяти строк. Он вчитывался в них, пока не заучил наизусть: «Зря ты подозревал театрального Адольфа в совращении своей милой и ветреной жены. Мне довелось случайно выяснить: ее увез некий Курилов. Он работает у нас на дороге... я встречался с ним. Это обыкновенный солдат времен армейских комитетов, которого волна революции вынесла на поверхность: грубоватый, себе на уме, любитель выпить... все это с шекспировским оттенком, правда, но ты представляешь себе Шекспира на русский образец? Ходят слухи... неизлечимая болезнь... почки, и в этом свете тебе понятна, как урологу, его запоздалая погоня за удовольствиями. Теперь наши беглецы живут, кажется, в Борщне...»

И вот Илья Игнатьич стал узнавать черты брата в портрете, неряшливо набросанном Кормилицыным. Да, этот человек не промахивается никогда!.. И даже мелочи, усиленные через рупор гражданской войны и оттого казавшиеся вымышленными, теперь вовсе не оставляли сомнений. У Ильи Игнатьича было время подивиться изворотливости брата. Ради того, чтобы целиться без промаха, он проник в тонкости чуждой ему науки и вот даже намекал на усиление любовной деятельности Курилова как на следствие интоксикации выделениями пора-

женных почек,— то, что в медицине ходит под именем усиления локального тонуса. Больше того, из далекого Черемшанска Глеб выяснил с точностью, кто именно станет завтра оперировать его врага, и хотел только, чтобы Илья немножко помнил о Лизе, когда будет копаться во внутренностях Курилова. Неистребимое, подобное недугу, влечение Ильи к этой беспомощной актрисе он приспособил как реле, которым с расстояния направлял чужую, вооруженную ножом руку. Выдумка была рассчитана на самый грубый, низменный инстинкт, и в этом заключалась ее движущая сила. Таким образом, то, чего не успел сделать старый подлый Игнатий, их отец, Глеб передавал по наследству в надежные руки хирурга.

Илья Игнатьич постарался представить себе Курилова, каким он был у него на осмотре. Но их беседа не содержала ничего запоминающегося: Алексею Никитичу в тот раз было не до разговоров. Сложив вдвое и вчетверо смятый, как бы состарившийся у него в руках блокнотный листок, Илья Игнатьич пошел к телефону.

Он вернулся с полдороги вовсе не потому, что было поздно и коллега, который мог заменить его на операции, уже находился в кровати.

СТОЛ

Кажется, сосед еще спал, когда вошли и сказали, что пора идти.

Алексей Никитич отложил недочитанную газету, полную в этот день самых удивительных за всю жизнь новостей, и поднялся с койки. Он озабоченно осмотрелся, чтобы не забыть чего-нибудь, но ни одна из привычных вещей не могла ему понадобиться там. Он отправился с гнетущим чувством этой пустоты и волнуясь гораздо больше, чем в те разы, когда Ошкуров забавы ради выводил его на фальшивые расстрелы. Уже через несколько шагов это чувство сменилось обычным человеческим смущеньем. Большой седоусый человек, в одном белье, двигался по коридору под руку с очень миловидной палатной сестрой. Мучило подозренье, что все их провожают глазами... Но были будни; выздоравливающие играли в шашки или учились ходить. Мимо провезли что-то в тележке. Оно было живое, укрыто простынями и в таком виде, что чинить его было бы все равно, как к здоровому пальцу приделывать недостающего человека.

— Хорошо, это все хорошо... — зябко, чуть нараспев говорил Алексей Никитич.

Расстояние до стерилизационной комнаты прошло незамеченным. Да и там не запомнилось ничего, кроме стен, выложенных глазурованными плитками,— и в их глянцевой поверхности двигались искаженные и как бы разлинованные изображения людей. Упало в память и закрепилось прочно только окно. И, решив, что оно последнее перед темнотой, куда предстояло войти, Курилов пристально вгляделся в это очень банальное, служебное окно и в свежий (о-тличный такой!) день за ним.

То была постоянная ошибка, объясняемая подавленным состоянием больного. Напротив, следующая зала имела целых три просторных окна в мир. В голубой эмалевой раме среднего из них, выстроенного фонарем, стояло сухонькое, в скуповатом снежном пушке, деревце. Какая-то весенняя линялая раскраска была у старой штукатурки дальних больничных корпусов. Эти обманчивые цвета весны, робкие и как бы захватанные чуть-чуть, зеленоватые и палевые, проходили сквозь мытые стекла и в мельчайших дозах распределялись по склянкам и кюветам, по латунным штепселям и удивительным приборам, о существовании которых узнают лишь в самую крайнюю минуту... Их хватало также на ножки высокого шарнирного стола с широким над ним колпаком операционной лампы, на мрамор умывальников, на белые халаты людей; их было шестеро. Сосчитать их сразу Алексею Никитичу не удалось, но подсознательно ему понравилось, что их так много... Это успокаивало. Та же, как ему показалось, сестра дала воды пополоскать рот. Он выполнил процедуру с чувством почтительного недоумения и сконфуженно поблагодарил. По-видимому, все было готово; ждали только знака, чтоб начать. Трое у трех раковин одними и теми же движениями мыли руки. Потом крайний правый и самый высокий спросил, не оборачиваясь, почему не укладывают больного. Алексея Никитича повели к столу.

— Вы меня прямо как митрополита... — пошутил было он.

— Ложитесь, ложитесь! — торопливо и строго шепнула сестра.

Он влез с табуретки и скучно сидел на высоте. Ему сказали, чтобы он лег, и к чему-то холодному стали привязывать руки. А он смотрел на множество рассеивающих призм в конусе лампы и нежно думал о любителе всякой техники, о Зямке.

...Так и не дождался, когда зажжется это волшебное

устройство. Все пошло очень быстро. Над ним подняли матовый алюминиевый шар с резиновым кольцом; оно плотно легло вокруг губ, прижав усы. «Ага, это надевается на лицо. О-отличная вещь...» — словами Арсентьича, которого также не забывал никогда в жизни, подумал Алексей Никитич. Не дожидаясь приказанья, он энергично вдохнул холодную сладость наркоза, закашлялся, забился в лямках. Еще, казалось, нужно было вспомнить что-то самое существенное, но мысль остановилась, грудь выгнулась высоко, а тело стало длинное, узкое. Потом, совсем невесомое, оно с веселым звоном скользнуло куда-то вниз, в движущиеся круги неизвестности.

...Я узнал позже всех, что Курилова оперирует Протоклитов. В этот день Клавдия Никитична просила меня поехать с нею в больницу; просьба имела обычную для этой женщины форму военного приказания. Мы приехали вовремя. Оставив ее внизу вместе с Мариной, я поднялся к знакомому молодому врачу. Один из учеников Протоклитова и давний мой приятель, тайком грешивший в литературе, он давно обещал мне показать эту восходящую знаменитость за работой. Еще месяц назад он добился согласия Ильи Игнатьича на мое посещение, приписав мне буйное стремление написать очерк к столетнему юбилею больницы. Я оделся в халат, и мы вошли в операционную, когда Протоклитов с марлевой маской на лице уже стал на свое место у стола. Больной лежал в том положении, боком и на валике, какое требуется при почечных операциях. Все было закрыто простынями, за исключением самого операционного поля. Пигментированная, от частого употребления грелок, кожа имела мраморную расцветку; по незнанию я отнес это за счет световых эффектов лампы. Восемь человек глядели, как синел и сохнул йод. Я услышал позвякивание металла о стекло. В тот же момент последовал взмах, и тело Курилова распахнулось от правой паховой области до еле приметной родинки на спине.

Я все еще ждал мгновения, когда сверкнет скальпель, и вместо того увидел сразу губастый слой подкожной клетчатки и пульсирующие рассеченные мышцы. Они сокращались, отступая к краям громадной эллипсоидной раны. Там, в лиловой глубине, двигались и дышали органы, которых я не узнавал; в прочитанных почти накануне книжках они выглядели иначе. Я знал приблизительный порядок операции, но теперь мне странно было, что Алексей Никитич не кричал... А всего за два дня перед тем этот затихший человек спрашивал меня, не-

множко стыдясь, что такое каравелла, и я, второпях рассказывая ему про однопалубные корабли Колумбовых времен, понял, что мысленно он и теперь не разлучался с Океаном. Тот Курилов был много ближе и понятнее мне, но этот правдивей и убедительней. Напрасно добрый Сергей Петрович сообщал мне на ухо какие-то общеобразовательные сведения насчет спаянности с брюшиной и гигантского размера опухоли. Я машинально освободился от его руки, державшей меня за локоть, и сделал шаг в сторону. По долгу дружбы я обязан был находиться близ Курилова, видеть все и не допустить, чтобы Глеб незримо толкнул руку Протоклитова.

— ...хилус! — сказал в эту минуту один из ассистентов.

Маленький, нестерпимо красный фонтанчик забил из глубины, и выемка сразу залилась кровью. Видимо, металлический зажим соскочил с крупнейшей почечной артерии. Резвый ручеек сбежал вниз между желтых выпяченных позвонков. Тотчас много пальцев метнулись внутрь раны; их было, может быть, тридцать, а фонтанчик один, но почти целую минуту он с гибкостью червя извивался между ними... Тогда опять в поле зрения выступили медленные и властные руки Протоклитова. Я старался глядеть на рыжеватые волоски его запястий, чтобы не видеть этой молчаливой борьбы. Он поймал ножку сосуда и, сдавив ее пальцами, произнес вполголоса слово, встречавшееся мне раньше лишь в правилах стихосложения. Сейчас это двуликое слово обозначало инструмент, который останавливает кровотечение: пеан.

Я не знаю, сколько времени пробыл там. Сложный запах операционной почти отравлял меня, но это происходило оттого, что я слишком долго и в чрезмерной близости рассматривал физическое тело моего героя. Я пошел к выходу, и неприлично орали мои неразношенные башмаки в суховатой и как бы стерильной тишине. Так и не удалось мне выяснить, верно ли это, будто все хирурги ругаются на операциях. Никто не заметил моего ухода, но Сергей Петрович вышел за мною следом. Он догнал меня в коридоре и с привычной учтивостью спросил о впечатлениях.

— Прямо жалко расставаться... — грубо ответил я, пряча глаза (кажется, он дивился моей профессиональной бестактности навестить друга в такой час).

...Старуха, горбясь, сидела одна у самой двери, как просительница. Облака холода из наружной двери обдавали ее, когда кто-нибудь проходил мимо. (Марина вышла погулять во

двор: кажется, она волновалась больше всех. К слову, Клавдия дважды посылала меня привести ее, чтоб погрелась...) Меня встретили вопросительные, беспокойные глаза старухи. Я объяснил со слов Сергея Петровича, что все движется благополучно. Должно быть, это вышло у меня достаточно убедительно; ее рука благодарно стиснула мою, как будто от меня зависело возвратить жизнь и свет Курилову. Я сказал ей об этом. Она потерянно улыбнулась и пальцами провела по седым вискам.

— Есть у вас что-нибудь курить? — резко, чтоб не выдать смущенья, спросила она.

Я дал ей вместе со спичками. Пламя шаталось ходуном в ее пальцах, точно семеро дули на него. От слишком частых затяжек папироска обугливалась и не курилась. Это была вторая папироса в ее жизни! (Окурочек первой, которою она снабдилась, видимо, у служителя, валялся под стулом.) Клавдия Никитична потребовала от меня подробностей, и я с видом школьника доложил ей о мелочах, какие не ускользнули от моего внимания.

Она спросила еще, щурясь от дыма и поминутно отряхивая несуществующий пепел:

— Вы давно дружите с Алексеем?

— Два года.

— Этого мало, чтоб узнать его.

Но я знал его задолго до нашего знакомства.

Я хотел сказать, что имел неоднократно случаи наблюдать у куриловских современников наиболее типические его черты. Она поняла меня как-то иначе:

— Да... это только рядовой работник нашей партии, и это хорошо!

Никогда Клавдия Никитична не говорила так много. Она почти не стеснялась нас с Мариной, и в течение получаса я имел полную возможность наблюдать суровую человеческую изнанку этой величественной старухи. Вероятно, всю жизнь она издали следила за братом. Мы узнали множество эпизодов, переданных со стенографической сухостью и неизвестных нам прежде. В лице Марины я прочел сожаление, что ее куцая неполная работа об Алексее Никитиче уже вышла из печати. В эту минуту мне живо представился Глеб, характеристика которого начала складываться у меня еще раньше... Вот он входит в депо и смотрит на часы: четверть одиннадцатого! Значит, уже целый час Илья работает над его недругом. И, печально улыбаясь, он опускает глаза.

Когда Сергей Петрович спустился сообщить нам троим, что Курилов перевезен назад в палату, Клавдия Никитична заторопилась на пленум. Он начинался через двадцать пять минут. Марина простилась с нами, спеша на службу. Клавдия Никитична предложила мне поехать с нею на заседанье.

— Ведь вам, как литератору, полезно видеть все! — с ледяной ясностью упрекнула она.

Мы отправились вместе. Зал уже был полон. У входа мою спутницу окружили незнакомые люди. Я потерял Клавдию Никитичну из виду, с тем чтобы через несколько минут увидеть ее на трибуне. Она перебрала исписанные листки, терпеливо снося приветственные аплодисменты; они длились дольше обычного и как будто включали в себя какое-то сочувствие несчастью, о котором уже знали. Нужно было обладать почти мужеством, чтобы начать с той же фразы, какою злоупотребляли в своих речах все ее современники — большие и маленькие, честные и лживые, слепые и достаточно зрячие,— чтоб проследить разбег великой идеи в будущем. В ее устах это прозвучало как ведущая формула века:

— Мы призваны работать в радостное и прекрасное время, добрые товарищи мои...

В ее фигуре, наклоненной вперед, читалась непреклонная воля к полету. Запоминалась спокойная жесткость ее гипсового, бесстрастного лица. Никогда прежде я не знал, что может быть так по-своему красива поздняя и ясная молодость стариков.

АКТЕРСКОЕ ПАЛЬТО

Перед отъездом из Черемшанска Лиза получила сумбурное письмо от дяди. Речь шла о вещах, недоступных в ее возрасте,— о неисправимых заблуждениях сердца, о скорбной ясности разочарования, о мечте наконец, убивающей своего создателя. Что-то случилось со стариком за время отсутствия Лизы. На протяжении четырех листков, со множеством латинских цитат, исправлений и выносок на поля, Аркадий Гермогенович дважды впопыхах называл племянницу Танечкой; он писал, что не имеет веса у современности и бессилен помочь чем-либо; он перечислял, какие бедствия повлек бы ее необдуманный приход,— тем более оскорбительные, что они касались самих материальных основ существования! Наконец он просил ее воз-

держаться от всяких поспешных порывов, понятных в ее состоянии. Может быть, он предполагал, что Лиза по очереди станет читать эти листки всем борщнинским обитателям, пока не доберется до истинного адресата?.. Лиза поняла письмо так, что Аркадий Гермогенович противится ее возвращению в московскую светелку.

Но письмо родилось не сразу; это был длительный процесс. За первым смятением следовал прямой бунт, но все завершалось последующим примиреньем. С начала третьей странички много ровнее бежали строки. Аркадий Гермогенович признавался, что у него не хватает мужества вкусить от мечты, полвека сберегавшейся на дне могилы. Аркадий Гермогенович сдавался. Вопль о пощаде внезапно сменялся лирическим призывом приезжать немедленно. «И если маловато осталось на дне стакана, который пригубляли многие, полакомимся хоть ядовитой горечью осадка!» Эта фраза окончательно убедила Лизу, что старик бесповоротно спятил... Впрочем, относя стариковские метафоры на свой счет, она приняла их как согласие дяди вернуть то, что ей и без того принадлежало.

Самым важным в этом клочковатом послании была мимоходная сноска о посещении Пахомова. Конечно, Аркадий Гермогенович сообщил гостю о предполагаемом приезде Лизы, и тот обещал зайти на днях вторично, но дела своего не объяснил... Первою догадкой Лизы была робкая надежда, что театр подсылает к ней своего гонца. Уж не поторопилась ли она с обещанием Шамину?.. Она краснела от стыда и досады на себя и все-таки не могла противиться своим властным и несбыточным иллюзиям. Мысленно она возвращалась в этот мрачный подвал искусства; ее целовали почтенные и заносчивые старухи, искала дружбы театральная молодежь... У них не будет повода насладиться своим великодушием. Прежняя Лиза, вертушка и хохотунья, такая быстрая на всякую затею, кончилась вся... На деле она приехала с твердым намерением отказать Пахомову и не хотела встречаться с Алексеем Никитичем до поры, пока не будет одержана эта первая ее победа над собою. Его пристальные, знающие глаза спросили бы ее о новостях, а ей уже надоела роль провинившейся и покаявшейся девчонки.

Ее личные дела устроились в два дня; через полторы недели вступал в силу неписаный договор с Шаминым, а Пахомов все не приходил. Она жила смутными надеждами на то, что неминуемо должно было произойти... но ничего не случилось,

кроме мелких стычек с дядей. Он стал суматошным, хлопотливым, беспокойства наводил за семерых. Создавалось впечатление, что несколько летучих мышей беспрерывно пронизывают тесное пространство комнатки. Он все убегал куда-то и, возвращаясь, наполнял светелку шумом каких-то беспредметных восклицаний, вздохов и сожалений. Решась не прогонять Танечки, когда она вторгнется к нему, он принял и смежное с этим решение. Таким мог быть, по его мнению, только отказ от пенсии... И он таскался по всяким учреждениям в поисках человека, который выслушал бы до конца мотивировку его отказа: он не имел морального права кормить на советские деньги дочь помещика — прохвоста и дельца. Вначале его письменные заявления служили источником развлеченья для канцелярских девиц с кудряшками. Случай был слишком невероятен в истории наркомата социального обеспечения. Тогда Аркадий Гермогенович решил добираться выше по ступенькам служебной лестницы. Начальники пожимали плечами, и один, в военной гимнастерке, даже сравнил его с танком прорыва, рассчитанным на действие в наиболее укрепленной полосе противника... Словом, в самый короткий срок Аркадий Гермогенович успел надоесть целому ведомству.

У него выработалась своеобразная тактика для подобных атак. Он ловил соответственного начальника у дверей его кабинета и залпом пытался изложить суть дела, пока тот с озабоченным и деловитым видом шествовал по коридору.

— Я хочу быть чистым, вы понимаете... — твердил Аркадий Гермогенович, двигаясь бочком.

— Вам проще не брать этой пенсии вовсе! — раздражительно замечало начальство. — И кроме того, я спешу...

Нет, старику было желательно иметь государственное разъяснение на этот счет!

— Подарите мне только полчаса... я понимаю, что попал не в свой век, а это все равно что...

— Но вы же видите, куда я иду... вы же видите, черт возьми! — укоризненно и басовито произносило начальство, и узенькая дверца захлопывалась перед самым носом старика.

Вылазки эти заняли все его время. Фармацевты были окончательно заброшены. Книги бешено заструились с полок, которые пустели на глазах. Что когда-то служило пищей разуму, теперь валом пошло на пропитание тела. Он продавал их. Расставаясь с книгами, он как бы раздевался и сам. Хваленая его внимательность к людям исчезла, и уже не смела шуметь за

дверью водопроводчикова жена! В его характере появились черты неуживчивости, бранчливости, подчас и суеверности, небывалой прежде.

— Ты утрачиваешь последние признаки привлекательности, дядя! — обронила однажды Лиза и подумала со страхом, что, пока придет Пахомов, этот почтенный старец сжует ее всю.

...Но это посещение должно было состояться. Пахомов пришел наконец, очень вежливый и даже немножко грустный, он был в стареньком, но черном. Наверно, такими бывали секунданты и до конца веков пребудут приглашающие на похороны. Лиза укладывала вещи в чемодан, готовясь к отъезду.

— Я слушаю вас,— сказала она, не прерывая сборов.

Платья были уложены. Очередь была за туфлями. Нахмурясь, Лиза взяла одну из них. В каблуке блестело медное, сточенное от ходьбы, потускневшее колесико. Стальной стерженек врезался в кожу, и попытка выдернуть ногтем не привела ни к чему. Тогда она попробовала ножом, но лезвие скользнуло и оцарапало палец.

— Я не знаю, как вы встретите мое предложение, и я не удивлюсь вашему отказу,— торжественно приступил Пахомов.

— О, мне очень интересно.

Она вела разговор и все думала, как попала в каблук эта вещица. Вдруг она увидела, как наяву, разбитые в ночь разрыва часы Протоклитова и механизм, рассыпанный по полу... Вспомнилось также непрочное и обидное благополучие и двусмысленное уважение театральных подруг. Она укрепилась в намерении отказать театру, Протоклитову, Пахомову, всем...

— Я прихожу к вам переговорить относительно Ксаверия.

Все получалось совсем наоборот. В театре, наверно, и не вспомнили о ней ни разу!.. Лиза нетерпеливо пожала плечами. Что еще нужно от нее этому неугомонному старику? Или он еще не сыт ее несчастьями?.. предъявляет права?.. ищет мщения? Ей показалось оскорбительным, что Пахомов назвал его интимно, по имени. Она сказала, посасывая оцарапанный палец:

— Давайте!.. Как его здоровье?

О, длинен и полон глубоких переживаний закурдаевский век. Ксаверий жив, энергично лечится и, больше того, до зарезу нуждается в зимнем пальто. «О нет, никаких взносов! Закурдаев отвергнет любую подачку». Но друзья решили втихомолку устроить его юбилей. Правда, никакой округленной даты не выходило, но ведь ее одинаково можно исчислять и со времени

окончания театральной школы, и даже с того момента, как в детской душе пробудилось влечение к сценическим подмосткам. Словом, дата — дело второстепенное! Важнее было, что крупнейшие столичные актеры обещали играть в этом спектакле. Некоторые соглашались даже на выходные роли, а такая пестрая и нарядная афиша обеспечивала кассовый успех дела. — Пахомов знал, чем можно воздействовать на Лизу.

Дальше последовало приблизительное описание цели. Самое пальто предполагалось построить на ватине, из отечественного шевиота, с недорогим, но все же приличным меховым воротником. Старик мерзнет в своей кофтчонке. Совсем на днях конец его башлыка попал под колесо трамвайного вагона, но провидение удовлетворилось гибелью только золоченой кисточки. Остатки от добытой суммы положено было выдать на руки квартирной хозяйке Закурдаева, с тем чтобы она кормила его горячей пищей, на сколько хватит.

— Вы знавали Ксаверия... и нам хотелось бы, чтобы вы приняли участие в этом спектакле.

Ей почудилась какая-то ловушка. Вряд ли ее имя могло украсить какую-нибудь парадную афишу!.. и, наконец, Закурдаеву, может быть, просто неприятно ее участие? Она сказала об этом.

— Напротив, он намекал, что хотел бы сыграть с друзьями свой последний спектакль. Он слишком нежно помнит вас... но я не смею выдавать чужих секретов. Мы остановились на Островском — «Свои люди — сочтемся!». Я уверен, вы с двух репетиций одолеете роль Липочки.

На этот раз тон Пахомова был почти дружественный. Лиза похудела, притихла и как будто выросла за эти годы, прикинувшиеся месяцами. Старенькое, бедное платьице на ней окончательно примирило его с Лизой. Он сохранял прежнюю уверенность, что только горе придает человеку истинную человечность, и испытывал удовлетворение, что посильно, тайком и за кулисами, потрудился над этой девчонкой. А получив согласие Лизы на участие в спектакле, все не уходил, курил папироски, и Лиза догадалась, что старику некуда стало спешить.

— ...что же, однако, в театре-то, Пахомов?

— Я ведь ушел оттуда,— поежился тот. — Не согласен с направлением руководства. Изредка забредаю по старой памяти...

Там все обстояло по-прежнему, если не считать отмены Марии по настоянию художественного совета. Поговаривают

о переезде в новое помещение. Виктор Адольфович снимался в кино в роли ксендза, и ему выбрили тонзурку на голове. Уборные вверху починили, теперь не течет. Васильев две недели провалялся в гриппе и теперь вследствие осложнений (так и сказал!) храмлет... Скоро Пахомов выдохся, оставил записку с адресом, окурок на подоконнике, тетрадку с ролью и ушел... Лиза метнулась к книжным полкам. Островский еще не был продан, хотя и стоял уже в веревках, на очереди. Она развязала пачку и нашла пьесу. Ловкая купеческая дочка выгоняла из дому отца, заблаговременно прикарманив его денежки. Подразумевалось, конечно, что роль обманутого родителя исполнит юбиляр. Лиза с тоской подумала о его громовых рыданиях, рассчитанных на потрясение закоренелых и прочно оглохших негодяев.

Пьеса была не раз переиграна исполнителями, и репетиций не было. Именитые участники торжества считали ниже своего достоинства тратить время на упражнения ради шевиотового пальто. Даже и Лизе пришлось только дважды прочесть роль самому Пахомову; в надежде приспособить себя куда-нибудь, он впервые испытывал свои силы на режиссерском поприще. Он похвалил Лизу, с отеческой мягкостью указав на недостатки: это Лизины руки, красные и опухшие от стирки, которой занималась все утро, делали его таким снисходительным. И, конечно, если бы только настоящее потрясение удалось ему обрушить на эти худенькие, востренькие плечики...

На правах возраста и своих разбуженных симпатий он снова заговорил с ней на ты:

— Э, Лиза... любой ценой купи себе несчастье. Великий поэт рассекал грудь героя и вдвигал ему уголь вместо сердца. — Он посмеялся с горечью, как смеются над заоблачными мечтаниями фантазеров положительные мыслители, владеющие незыблемой истиной. — К сожалению, эта хирургия ангелов карается по земным законам!

— Мне кажется, молодость — недостаток, так легко исправимый временем, что...

Он не слушал ее: люди не ценят благодеяний, которые им оказывают.

— А я окунул бы тебя в прорубь, и когда зайдется сердце в тебе...

— Знаешь, у каждого бывали такие проруби,— вежливо и скучая вставила Лиза.

Он сердился:

— Э, опять не то! Я говорю о несчастии объемном... когда художник входит в него весь, как в готический храм, и теряется среди колонн, поддерживающих каменное небо. Новая музыка раздирает его слух, холод древних стен проникает в душу, и нужно очень вырасти, дорогая, чтобы через высокие стрельчатые окна выглянуть на зеленые лужайки вокруг. — Его, видимо, все еще преследовали образы — то несчастных Рашели и Асенковой, то прекрасной Адриенны, отравленной и выброшенной из могилы за свою любовь, то недавней Дункан, которую судьба — ограбив на детей и любовника — задушила ее же собственным шарфом. Всех их он считал родными сестрами своей Елены и, в порыве доброжелательного великодушия, не прочь был ввести и Лизу в их трагическую семью. — Да, я, мизерный, провинциальный комедиант, завидую твоей будущности, твоему очищению... даже самим будущим разочарованиям твоим!

Все это было противоестественно, не без слезы, выражено в безвкусных и напыщенных фразах и, самое противное, требовало немедленного восхищения со стороны Лизы: сердца учителей питаются благодарностью. Пахомов забывал, что, как ни лупила его жизнь обо всякие отхожие места, так ничего и не вышло из Пахомова. Но Лизу разволновали ее собственные раздумья о том же самом... И когда в ближайшую ночь Аркадий Гермогенович присел к ней таинственно на кровать, она не спала.

— Мне послышалось, вы плакали, Лиза?

— Нет... но как жарко ты топишь в последние дни!

— Идет весна, самое опасное время для нашего брата. Природа пересматривает живое: кого пустить на переплавку... Ишь как торопится все! (За чей-то счет, за чей-то счет!) — И он проводит ладонью по густому зеленому ершику своих оконных огородов. — Я так запутался в хлопотах, что даже не успел расспросить вас толком. Вы жили в Борщне... Ну, о чем же шумят борщнинские рощи?

— Зима же, дядя, все под снегом.

Он оторопело умолкает; зима!.. а ему, приезжавшему в Борщню лишь на каникулы, мнилось, что всегда в Борщне неувядающее лето!

— ...но вы видели женщину, которую я почитал мертвой,— говорит он с опаской. — Вы воскресили ее для меня. Расскажите же о ней.

Лиза поднимается с подушки. «Почему все-таки об этой старухе прилично говорить только ночью, когда не видно вы-

раженья глаз?» Сопливым ночным языком она повторяет содержание письма. Он слушает жадно, ему мало его тревог. Голодному кажется, что всех житниц мира не хватит для его насыщенья.

— Вы говорили с нею, правда?

— Я побоялась, это так страшно. Если бы ты видел... в нее уже теперь можно сажать дерево... Это земля!

— Не торопитесь, я хочу понять вас.

— Я говорю, что она уже приобрела цвет и качества рыхлой, распаханной земли. Всем, кто приходит к ней, она показывает кресло, обитое гобеленом... и пятна, бурые, недобрые пятна на ткани. Кажется, в нем и убили мужики ее родственника... последнего борщнинского владельца.

— Это был ее брат?.. его звали Эдмонд Орестович?

Лизе непонятно, куда ведут сомнения старика.

— Да нет же, дядя. Почему же ты сразу не спросил? Старуху зовут Дарья Андреевна...

Наверно, так чувствуют себя ограбленные... Рука Аркадия Гермогеновича вянет и обвисает. Он шатко бредет к стеклянной стене, обращенной к палисаднику; он потирает лоб, предварительно охладив ладони о стекло; он пытается сопоставить некоторые события, как попало раскиданные в памяти. Прошлое яснеет, и образ озорной беловолосой Дарьиньки зарождается там. Это была дальняя родственница Бланкенгагелей, взятая в компаньонки к дочери; она несла хлопоты по дому... и, помнится, присматривала за деревенскими девушками, собиравшими хвойный игольник в парке. Вот она наколола босую ногу и, похрамывая, возвращается по аллее, заштрихованной тенями деревьев; по ней самой вприпрыжку, снизу вверх, бегут те же смеющиеся косые полосы полдня...

Воспоминание охватывает старика так остро, что он даже различает пестрое куриное перышко там, на борщнинской террасе, слегка колеблемое не то солнцем, не то ветерком... Так, значит, страхи последних недель были напрасны. Побродив по знакомым местам, призрак снова улегся под свою замшелую плиту. «Ух, как напугала ты меня, Дарьинька!» Так это Дарьинька пришла в горькое и мерзкое ничтожество, а Танечка не увядала никогда! (Больше того, сейчас-то он знал крепко, что она все-таки приближается к нему. И уже нечего было пугаться, что скоро она примет его в объятия, пахнущие затхлой могильной землей...)

Все отчетливее мерцало перед ним Танечкино лицо, очень непохожее на прежнее, потому что и сам он отражался в нем. Воительница, она двигалась угасить комочек живой материи, называемой Аркадием Гермогеновичем... Резкий холодок исходил от ее ресниц. Все кругом стало понятно до полной прозрачности, и уже простой арифметики хватило бы для постиженья всех таинств мира.

ПАЯЦ

Еще прочно держалась тусклая и сухая московская зима. Снег вывозили на свалку, едва выпадал, и всегда вдоль улиц клубилась ядовитая зимняя пыль. Но, значит, наступал в природе какой-то долгожданный перелом... В эти сутки с полуночи начался ветер. День вышел лихорадочный: то сорило снежком, то светлело немножко, и люди на трамвайных остановках становились общительнее, доверчивее друг к другу; иные со скрытым ожиданием чуда смотрели вверх... И шел стекольщик по освещенной стороне, шел и всем подмигивал этот что-то знающий русоволосый паренек. Вдруг отраженный зайчик с его плеча метнулся по штукатурке теневых домов, такой тревожный, резвый и веселый, что всякий принял бы его за отдаленный сигнал к наступлению весны.

...Закурдаевские друзья не смогли подыскать театра под юбилейное зрелище. Спектакль должен был состояться в помещении только что отстроенного клуба. Идти было далеко, и, кроме того, пьеса открывалась монологом Липочки, примеривающей новые платья. Лиза отправилась туда пораньше. Все было хорошо, пока вел ее зайчик на стенах; но вот в поисках разбитых окон стекольщик повернул во двор. Тотчас же все поблекло, зимняя туча наползла на улицу. Ветер рванул, вывески задребезжали, и тогда-то в проходных воротах большой гостиницы Лиза увидела уличного продавца с корзинкой. Ежась от продувного сквозняка, он выжидал покупателей. Порывами стремительная жесткая крупка хлестала по его мерзлому товару. Паяцы! — целый цирковой коллектив помещался у него в лукошке. Все они были братья, все из одного лоскута. Двое дозорных выглядывали даже из кармана кустаря,— нет ли милиционера поблизости. Старик был частник. Лизе показалось издали, что он продает цветы.

Она остановилась. Старик протянул ей всех, чтоб выбирала любого. Лиза нерешительно взяла одного. Игрушка изобра-

жала клоуна. Это была наглядная агитация за использование всякого житейского утиля. В матерчатой груди прощупывались две неструганые дощечки. Торопливой черной ниткой к ногам и рукам были пришиты жестяные кружки; на них еще сохранились буквы с консервной коробки. На колпачке сидел бубенчик, в который забыли вложить камешек; он не звенел. И хотя голова паяца была глиняная, зато такая румяная, неунывающая жизнерадостность была нарисована на его лице, что невозможно было пройти равнодушно. Внезапно Лизе пришло в голову, что если бы жив был ее ребенок, ему пригодилась бы эта бесхитростная вещица. Сожаление о неудавшемся материнстве было совсем мимолетное, и гораздо важнее, что место Протоклитова в нем занимал Курилов... Потом вспомнила, что у нее самой никогда, никогда не бывало игрушек. Грошовая цена и черная щегольская, с позументиком, жакетка паяца соблазнили Лизу. Пускай висит до поры над ее бедной койкой в Черемшанске как символ ее плохого, неумелого искусства.

Чтобы привести игрушку в действие, нужно было поступить именно так, как советовал Пахомов: легонько нажать ему на то место, где находится сердце. Тогда дребезжали жестяные вьюшки и шарнирно поплясывало деревянное тельце.

— ...голоса ему не полагается? — огорченно спросила Лиза.

Старику было известно, что означает покупательское сомнение в такую минуту.

— Так ведь это он с холоду, барышня. А так они у меня все певчие. Отогреется, зачнет скандалить — не уймете!

Лизе понравилось, что он сказал про паяца, точно про живого. Бумаги у продавца не нашлось, и покупка была засунута прямо в карман. И верно, вскоре он стал попискивать там, а когда гардеробщик тащил на вешалку Лизину шубку, паяц как бы произнес даже целую связную фразу. Кажется, он негодовал, что его, актера, оставляют в прихожей.

...Итак, громовая афиша оправдала себя. Успех был оглушительный. Невольно вставали в памяти бенефисы старых времен, запоминавшиеся в захолустье как землетрясения. Публики собралось множество, причем все оказались знакомы между собой, все разговаривали вслух, а занавес открылся часом позже положенного. Героя встретили овациями; каждому было лестно принять участие в судьбе ничтожного, совсем постороннего человека. Вдобавок этому балованному зрителю была по вкусу терпкая, нарочитая провинциальность спектакля.

Но юбиляр поверил, расчувствовался и уже со второго акта раскланивался с ужимками любимца публики... Вначале собирались сделать вступительное слово о сорокалетнем пути Закурдаева, но общественных заслуг у него не отыскалось, кое в чем получалось как будто и наоборот, а приписывать ему особые творческие свершения посовестился даже и Пахомов. К тому же прямая цель затеянного переполоха была уже достигнута. Новое пальто очень декоративно висело на гвозде в тесной закурдаевской уборной. В перерывах нескончаемая вереница гостей тянулась туда не столько ради удовольствия пожать потную руку юбиляра, сколько ради потехи обследовать качество хваленого воротника и кстати накуриться вдоволь. (Из неизвестных соображений курилку выстроили где-то в причердачном помещении, пронизанном множеством отопительных, в глиняной изоляции, труб.)

Наверное, эти до несуразности длинные антракты были самою существенною частью торжества. Стол посреди украшали — подгорелая кулебяка, банка гортензии с цветочной коронкой как-то набекрень, невинного вида графинчик. Наиболее почетные гости, тузы и основная приманка спектакля, помещались на стульях. Они были в гриме, как сошли со сцены. Ребячливо чувствительные, как всякий старого закала актер, которого одинаково легко разжалобить или рассердить, они рады были помочь товарищу в беде, но сейчас стремились сохранять приличную дистанцию между ним и собою; в увлечении дружбой юбиляр именовал их попросту Васильями, Иванами, Николаями, а это было уже слишком!.. Остальные толклись где придется, и между ними, ужасно деловитый, с отклеившейся бородой в руке, донельзя оглушительный, сновал сам Ксаверий. Он уже успел изрядно выпить. Всякого прибывающего новичка он немедленно потчевал водкой; разумеется, не обделял при этом и себя. Становилось ясно, что к концу спектакля он нахлещется окончательно.

— Рюмочку, золотце мое! — в упоении покрикивал он, и все укоризненно дивились феноменальной громкости его голоса. — Ну-ка, ну-ка. Ух, прошло-о!

— Ты закуси, ты закуси, шут гороховый... — подсказывал Пахомов, не отлучавшийся ни на минуту.

Но старик отвергал всякую попытку насилия и опеки. Он наслаждался своим праздником. Он жаждал внимания, всеобщей любви, хвалебных рецензий, как будто только теперь зарождалась его слава. Он делал все, чтоб упрочить свой успех.

Он появлялся одновременно в четырех местах сказать теплое словцо кому следует, смачно целовал неосторожных посетителей, угощал театральных рабочих, заочно расхваливая их деток, руки пожимал дюжинами, расспрашивал всех о впечатлениях, хотя все равно ничего не мог услышать,— и публично, в самых сокровенных подробностях, повествовал о фортелях, что вытворял с Пахомовым тридцать два года назад на воронежских гастролях. Его уже ненавидели за такую чрезмерную живучесть и еще за то, что зря обманулись его внешней беспомощностью. Кто-то даже обозвал его свихнувшимся папильоном, а другой выразился в том смысле, что таких следует сажать на цепь... Наконец фальшивая и утомительная суета обрывалась звонком, и шумный поток посетителей возвращался в зрительный зал. Они сходили, точно боги из облаков, из серых клубов табачного дыма.

Спектакль проходил, как большинство ему подобных. Вначале — пышный и скучноватый парад знаменитостей, которым было тесновато в столь малом пространстве, позже все немножко разошлись. Но пьеса имела четыре длинных акта, и уже с начала третьего тузы играли так, чтобы выходило посмешней и чтобы не особенно утомляться. Один Ксаверий старался во всю мочь своего как бы подхлестнутого организма, сбивал партнеров своею толчеей, и некоторые заметно сторонились, чтобы не зашиб в такой интенсивной творческой разрядке. Из-за глухоты не чувствуя самого ритма спектакля и наизусть играя пьесу, сыгранную, наверно, во всех второстепенных городах страны, он ревниво старался перекричать всех. Уморительные выверты его менее веселили публику, чем его рыданья, усиленные до степени животного мычания. Спектакль принимал видимость семейного развлечения; капельдинеры, взятые из хорошего театра напрокат, только головами покачивали. Кто-то из старых, видимо, собутыльников гаркнул ему посреди акта из ложи: выдыбай, Ксаверьище! (И горлом издал крайне интересный звук, напоминавший откупориванье бутылки.) И тот выдыбал, как умел, всеми стилями, так что пенилось все вокруг, и не его была вина, что судьба не сокрыла его своевременно в своих гнилых и радужных водах.

Лиза грустно созерцала печальную изнанку этого беспардонного гаерства. По существу, то были похороны посредственного и неумного актера. Покойник выступал на сцене в последний раз. Ему за то и аплодировали, что он умирал легко, весело, никого не обременяя жалостью. Он знал и сам, что зав-

тра у него уже не останется ни друзей, ни славы, и вот обжирался своим мнимым успехом, как давится голодный, которому приснилась жирная похлебка... Минутами Лизе казалось, что сейчас его разобьет удар и юбиляра понесут вон, накрыв с головою новым пальто, и шевиотовые рукава станут волочиться по ступенькам черной лестницы.

Для поздравления она выбрала удобную минуту, когда Закурдаев стремглав проносился по коридору с заветным графинчиком в руке. Она тронула его за рукав; он выжидательно и неожиданно трезво скосил на нее глаза.

— Я хотела только сказать, что рада за тебя, Ксаверий,— сказала она ему в самое ухо.

Он пугливо втянул голову в плечи, когда ее теплые кудряшки коснулись его щеки.

— Спасибо, дочка, спасибо. — И хотя не очень верил, чтобы умный в эту минуту мог быть искренним, с чувством потискал ей руку. — Чепуха-то, дым-то какой! Вот пальто выслужил. Веришь, тыщу раз играл пьесу, и всегда выпимши. Первый раз — трезвый... и вот не выходит. Как ты думаешь, а? Ну, хорошо, хорошо!.. Ты что же, с доктором разошлась? Я к нему как-то забежал, а он такой странный, точно я резаться к нему пришел. «Са-адитесь да расскажите, да ка-ак вы себя чувствуете...» Неспроста, Лизушка, всегда я насмерть боялся моторов всяких и докторов...

В этом месте и подошел приветствовать Закурдаева тот высокий, грустный и, наверно, когда-то красивый человек, которого она заметила еще со сцены. Лизе показалось, что он должен быть непременно инженером каких-то особенно ответственных сооружений. Он произнес несколько слов, какие в подобных случаях говорят старикам, смягчая их неискренность дружеской шутливостью. Ксаверий вопросительно поглядел, рванулся было облобызать поздравителя, чтобы и этот помнил его неделю, но рука сорвалась с шеи жертвы и хамство не удалось... Его замешательство длилось, впрочем, недолго. Вдруг он с прихлынувшими силами схватил гостя за руки и поволок было за собою:

— Рюмочку на радостях, а?.. не угодно с ветераном? Публика-то... и все как на подбор, всероссийские имена. Бомба упадет — никакой газеты на некролог не хватит... Вы знакомьтесь-ка: воспитанница моя и ученица Лиза... (Какова закурдаевская школка!) — Он не смог отказать себе в удовольствии

взглянуть на нее при этом. — Пока запросто Лизушкой-то зовут, заручайтесь согласием. В былое время — контрактец бы, не знаю — как теперь. Ну, спасибо, спасибо за честь. А народишко-то помнит Ксаверия, чтит его, а?.. что же насчет рюмочки-то со стариком?

Тут он стал немного запинаться; вообще, чем дальше шло, тем все меньше оставалось у него сознательных способностей. Вдобавок стены были еще сыроваты; помещенье будущего клуба протопили особенно щедро на этот раз; парная духота стояла всюду. Старика развезло, разморило, и в зале поговаривали уже, что спектакль будут доигрывать как-нибудь в следующий раз. Новый знакомый Лизы воспользовался первым пустячным поводом, чтобы отойти от юбиляра. Она пошла вместе с ним.

— Тятенька захмелел маненько! — словами из пьесы, как бы извиняясь за Ксаверия, сказала Лиза.

Тот поддержал ее:

— Да, грустный день. Старая история о паяце, только прочитанная на новый лад...

— Он все-таки сделал то, что было ему по силам,— уклончиво заметила Лиза. — Башенные часы (мне муж рассказывал) тоже ломаются.

Ее спутник засмеялся:

— Не защищайте его, Лиза. Мертвые нуждаются только в справедливости. Вас ведь Лизой? — Они повернули назад по коридору. — Вы хорошо играли сегодня... отличная и свежая ясность. Кое-что недотянуто, но по утрам и радует, пожалуй, именно неполнота красок. У этого старика не было утра...

Она ответила не сразу. Она не знала сама, хорошо или плохо играла, но в этой роли она не каялась, а лишь утверждала свое право жить во что бы то ни стало. Она заметила потом:

— А вы тоже поздравляли его!

— Ну, значит, в самом себе еще не поборол старых актерских зачатков. Сам был плохим актером, но втянуло в революцию и... Где вы работаете теперь?

Ей хотелось закричать: нигде, нигде... Она сказала тихо:

— Еду на периферию. Есть такой город, которого никто не слыхал: Черемшанск.

— Жалею... я собирался приглашать вас к себе.

Лиза вздрогнула и покраснела.

— Простите, я не расслышала давеча вашей фамилии...

— Я Тютчев.

— А, вы тот самый... — Она выпрямилась, полузакрыла глаза, и ей стало жарко. — Да, я слышала эту фамилию.

Им пришлось посторониться к сильно натопленной батарее. Мимо двигалась группа людей, и в центре действовал неугомонный Закурдаев. Графинчик, наполовину пустой, плясал над головою, а у очередной жертвы Ксаверия был озлобленный и сконфуженный вид. Дело близилось к явному скандалу, но тут случился звонок, и вся эта листопадная бесовская круговерть распалась.

— Да... я дала слово поехать в Черемшанск. — Она протянула руку. — Ну, мне пора на сцену, товарищ Тютчев.

Так вот каким трудом дается всякая победа над собою! Отказ почти истощил Лизины силы. На мгновение показалось, что вся история с Черемшанском — головная, выдуманная, совсем лишняя. Кому это нужно, чтобы счастье миновало ее? Ей хотелось догнать директора знаменитого театра и повторять много раз, что она согласна, согласна... Но в гриме искать его по всему зданию было неудобно, а в четвертом акте она была занята с самого первого явления. Кроме того, вспомнилось беглое, и такое непонятное сперва, замечание Курилова о необходимости ежеминутно преодолевать себя, а ради его высокой похвалы она согласилась бы на еще бо́льшую горечь. Она доиграла акт в чрезвычайном возбуждении и тотчас ринулась в раздевалку.

Паяц попискивал в кармане, и люди вокруг улыбались на нее. В расстегнутой шубке она выбежала на улицу. Неслась быстрая поземка, и снежок грязнел, едва касался пыльной мостовой. Как никогда тянуло к Алексею Никитичу — ребячливо похвастаться своей двойной удачей и услышать от него простое, умное, отеческое х о р о ш о... Она торопилась, и все-таки отправилась туда пешком; ей уже нравилось держать в руках свою ветреную, непостоянную, как птица, судьбу; это давало ей почти р а в е н с т в о с Куриловым. Была полная уверенность, что выходные дни до обеда Алексей Никитич проводит дома. В эту минуту дочернюю признательность испытывала она к этому первому на ее пути человеку, который был добрым к ней не для себя.

В лифте, пока скользили римские цифры этажей, она высвободила паяца из его ватного заточения. «Ты ничего не потерял, глупый, что не видел Ксаверия!» Игрушка успела заметно полинять за эти полдня, но голосу у ней как будто прибавилось. Итак, к Курилову они приходили вдвоем... Она позвонила у двери, держа паяца за спиной, но долго не отпира-

ли, и она позвонила вторично. Потом на пороге появился чернявый, очень худощавый мальчик, с головой и под руки окутанный шалью. Следом вышла женщина, одетая гладко и надежно, по-дорожному. Она тащила с собою большую корзину, обвязанную ремнями. Дверь захлопнулась раньше, чем Лиза успела войти.

Большая, как всегда перед путешествиями, печаль исходила из глаз этой женщины. Лиза спросила, дома ли Алексей Никитич. Та отстранилась и осмотрела ее всю с горьким и недоверчивым сожаленьем.

— Нет, что вы! — сурово сказала женщина и покачала головой. — Алексей Никитич умер.

Лиза дико глядела на Фросины старомодные, из серого перламутра, разукрашенные звездочками, пуговицы. Ей казалось, что она ошиблась номером и позвонила не туда... Так почему же з н а л а эта женщина?

— Он умер после операции. Да вы прислонитесь, а то упадете! — встревоженно зашептала женщина, суетясь возле, и не догадывалась в суматохе подставить корзинку, чтоб та присела. — Я его сестра.

— А-а... — с раскрытым ртом протянула Лиза, и всё, стены и двери, стало оползать вокруг нее.

Ефросинья торопилась на поезд: это была ее последняя попытка снова н а ч а т ь жизнь. Наспех она стала объяснять подробности катастрофы. Это случилось четыре дня назад, от внезапного кровотеченья. Рассветало, о н лежал один, никто не смог прийти к нему на помощь. В ее беглом рассказе крупное перемешивалось с мелочами, но Лизу ударила по сознанью только фамилия Протоклитова, зачем-то упомянутая вскользь... Поезд отходил через сорок минут. На прощанье Фрося просто и как-то по-деревенски обняла Лизу и, незнакомую, крепко поцеловала в губы. Все это время мальчик Лука понуро сидел на корзинке и не сводил глаз с паяца, то и дело мелькавшего в мятущихся Лизиных руках.

— Пойдем, Лука,— сказала Фрося.

Их шаги скоро стихли, и взамен где-то заиграло радио. С высоко поднятыми бровями Лиза пошла прочь от куриловской квартиры. Ей вспомнилось, как, уходя из жизни, он призывал ж и т ь всех, кто мог. Никакая утрата, ни матери, ни театра, не доставляла ей такого опустошения. И то, чем в особенности стал близок Курилов, ей предстояло теперь долгие годы растить и скапливать в себе самой... Через два шага что-

то надоумило ее взглянуть в пролет лестницы. Мельчая и пропадая, спирально уходили вниз все двенадцать этажей. Где-то на последнем круге мелькнула прутяная корзинка куриловской сестры и исчезла. Лиза перегнулась через перила, потеряв волю идти. Далеко внизу горела лампочка в стеклянном тюльпане, и тускло блестел под нею желтоватый каменный квадрат. Она затягивала в себя, эта громадная гулкая воронка с расплывчатой звездою на дне, и тело само клонилось туда, и никого не было рядом — оттащить Лизу от пустоты! На мгновение сознание ее померкло...

Произошло, однако, нечто большее, потому что ей дано было наблюдать себя со стороны. Рука ли разжалась непроизвольно или пустота вырвала его из намертво сомкнутых пальцев — паяц мерно и сильно, как оторвавшаяся капля, скользнул вниз. Закусив губы, боком навалясь на перила, Лиза, не мигая, следила за его полетом. Он падал, уничтожаясь и как бы тая в перспективе лестничной клетки, и все падение заняло не больше времени, чем это потребно для одного глубокого вздоха. Она зажмурилась еще прежде, чем вещь коснулась камня, но толчок испытала одновременно с нею. И вдруг тяжелое и страшное любопытство охватило ее. Очень торопясь, прыгая через ступеньку (хотя руки обжигало полированное дерево поручней), она побежала вниз. Сломался каблук, прежде чем миновались все двенадцать этажей.

«Так вот как бывает это...»

Паяц лежал с расколотой головой. Один его стеклянный глаз, выскочив из глины, откатился на метр, а глазница другого была черна и густо обведена мелкими трещинками. Голоса у него уже не было — игрушка не была рассчитана для подобных испытаний. Лиза машинально опустилась на колени и, как когда-то протоклитовские часы, суетливо собирала рассеянные осколки... Еще кружилась немножко голова, но трезвое ощущение действительности уже возвращалось. Лиза ощутила запах пыли и свежей масляной краски. Она подняла голову поискать оторвавшийся каблук и увидела много незнакомых людей вокруг себя. Никто из них не произносил ни слова.

— Видите... она упала сверху! — еще с колен, растерянно сказала им Лиза.

Потом поднялась, отряхнула платье и с опущенными руками вышла из круга. Люди расступились и, хотя никто не

знал ничего, смотрели вслед ей, похрамывающей, с суровым и недобрым сочувствием, каким провожают неудавшихся самоубийц.

Так прошел день совершеннолетия Лизы.

ПЫЛЬ ИЗ-ПОД МЕТЛЫ ПОДНИМАЕТСЯ НАД ЧЕРЕМШАНСКОМ

...Итак, начало века походило на грозовой день. Горячее удушье повисло в воздухе — и злая тишина, и дымка мнимого благополучья: в такую пору всякое растет в особенности хорошо. Копились, зрели и распадались тучи, но каждая последующая была грознее своих предшественниц (тем настойчивее угадывал разум позади них голубое, беспечальное небо будущего). Они могуче проходили над головой, приводя в движение все живое, что под ними. И мнилось, самые материки, срываясь со своих первичных мест, плывут, как льдины по реке, в прекрасную и страшную неизбежность... Все внимание моих современников было обращено туда. Поэтому даже на дороге известие о смерти Курилова не вызвало отклика, соответственного значению события. Газеты поместили на четвертой странице скромную и краткую заметку куриловских друзей. Только в самом тесном кругу несчастие было воспринято в полном его объеме.

Вот они все передо мною, спутники последних лет Алексея Никитича. Скорбная и еще более сдержанная Клавдия; смятенная, с обгрызенными ногтями Лиза, Арсентьич — он приехал похвастаться орденом к бывшему ученику, опередившему своего учителя; надолго утративший свою обычную усмешку Тютчев; крепко зажмурившийся от боли Алеша Пересыпкин и, наконец, Марина. Утром четвертого после операции дня она по требованию Зямки отправилась навестить Курилова. Мальчик очень волновался, пока ехали на трамвае. Но больничный двор был оцеплен милицией, и не пропускали никого. Какая-то девочка высказала догадку, что снимают для кино. Они решили переждать, пока все кончится. Было много солнца на окраинах в этот день. Внимание Зямки привлекла подмерзшая лужица с тонкой, такою соблазнительной, корочкой льда. Мороз выпил ее ночью; было бы интересно продавить ее валенком!.. Но вот черный сапог ступил в эту крохотную выемку, и Зямка сбился со счета, сколько раз сряду повторилось это: полу-

рота красноармейцев с примкнутыми штыками входила внутрь ограды... Заиграла жалобная музыка, процессия двинулась наружу; кого-то увозили. И хотя Марина не узнала в лицо никого из куриловских друзей, она приняла эту встречу за дурной и неотвратимый признак. Истинное значение этого сурового красного ящика раскрылось получасом позже, когда ей с Зямкой удалось проникнуть в здание.

Почти одновременно с ними получил известие и Глеб Протоклитов. Казалось бы, тревогам его приходил конец: никаких слухов о Кормилицыне не поступало. И если только в дороге не растратил пули на себя,— где-то в луже крови, может быть, уже валялась безвестная Зоська, расплатившаяся за все... Смерть Курилова не доставила радости Глебу. Он ощутил необъяснимое на первый взгляд чувство не только свободы, но и одиночества. Это сознание происходило от глубокого, умного удивления перед Алексеем Никитичем... Тревоги Глеба росли по мере того, как приближалась чистка дорожной партийной организации. Впрочем, он не без пользы для себя употребил этот месяц.

Еле приметные изменения коснулись всего строя жизни на станции. Отыскались причины перевести Сайфуллу обратно в Черемшанск; это был ход Глеба в сторону Кати Решеткиной. Пересыпкина спешно вызвали в Москву; и вряд ли можно было рассчитывать на скорое его возвращенье. Секретарь ячейки, свидетель почти всех событий, был с повышением перекинут куда-то в Сибирь. Начиналась весенняя суета; по дороге двинулись посевные грузы. И прежде всего комсомольский паровоз вторично, и уже успешно, вышел на линию. Самым деятельным участием Протоклитов помогал молодежи одержать эту запоздалую победу. Старая распря как будто забывалась, и ловкость Глеба заключалась в том, что примирению он сумел придать разумную и неторопливую постепенность. Все приходило в норму, и даже самые показатели деповской работы заметно повысились.

На виду у Глеба оставался только Гашин. Этот человек имел привычку прикидываться несчастным, а потом жалить словцом свою жертву, обезоруженную жалостью. Тело его постоянно двигалось и содрогалось, точно во многих местах тлела на нем рубаха. Знание чужой тайны придавало ему храбрости и ума. Случилось, что слесарь этот попал под пустяковое взыскание за утерю гаечного ключа. Вычет полагался трехрублевый, но Гашин имел дерзость оспаривать прямую очевидность.

«Тебе, Глеб Игнатьич, на копейку чернил, а мне полдня работы!» — жарко и униженно уговаривал он. Глеб не захотел вступаться — и потому, что было противно, и потому, что пора было наконец проникнуть в секрет Гашина... Тот ушел с улыбкой, не предвещавшей добра:

— Тогда держись, дружок!.. — шуршит железная метелка.

И у Глеба не нашлось силы вернуть его и купить трехрублевой взяткой.

Стало известно, что комиссия уже два дня находится в Черемшанске. Никто не знал даже о ее составе, разве только — что во главе ее стоял наркомздрав одной из национальных республик. Дотошный, неутомимый, несмотря на возраст, он много бродил по территории поселка, расспрашивал всех, вплоть до домохозяек, приглашал подавать заявления, заходил в деповские цеха и, между прочим, все распространялся о санитарии как о главном условии исправного железнодорожного движения. При этом он сохранял строгое инкогнито, но не прочь был, чтобы его узнали украдкой. Протоклитов имел случай удостовериться, что председатель комиссии не очень грозный судья.

— Вот путевое хозяйство у тебя вокруг депо в неряшливом виде, Протоклитов. А на поверку — частые сходы паровозов. Ай-ай, чего ж ты смотришь?

Тот отвечал по-военному четко:

— Но дорожный мастер подчинен начальнику дистанции, а не мне.

— Отговорчики! — И грозил пальцем. — Чем спихивать на других, послал бы людей. Лежит, скажем, отравленный человек, а ты проходишь мимо. Конечно, это дело врача!.. Но не хватает у нас врачей, а все хотят лечиться. Как же, а?.. ведь он же брат твой, а? Лопаты у тебя найдутся? Дай мне сейчас же лопату!

— Хорошо, я пошлю людей.

...Заседания были назначены на вечернее время, с тем расчетом, чтобы по крайней мере две смены могли принять участие в обсуждении. Чистка началась с депо, а третьим по списку числился Протоклитов. Народу собралось, как на Судный день, и все ждали, что произойдет нечто неожиданное. У каждого запасен был камешек на Протоклитова, и всем было любопытно, что получится, если все их бросить одновременно. Кстати, и Гашин выразился кому-то доверительно и туманно:

«Будем нынче миром гнилой зуб рвать!» Протоклитов вошел, когда заканчивался опрос одного из черемшанских профсоюзных деятелей. Был это очень простоватый человек, и не мудрено, что он плохо разбирался в истории с комсомольским паровозом.

— ...А занимал я такие должности,— говорил он, волнуясь,— стекольный завод, работал по таскапию ящиков, потом каменщик на мартене, погружал ашелоны, секретарь вузовской ячейки, воспитатель в детдоме, член бюро райпрофсожа и так далее, и так далее. Взысканий имел два: за самовольную отлучку — заболела жена, и еще за неосторожную выпивку с футболистами...

— Это мы слышали,— кивал председатель. — Чем болели?

— В гражданскую войну пришлось маненько пострадать сыпным тифом.

Затем председатель задал несколько вопросов о решениях последнего съезда и социальных корнях правого уклона... Собравшиеся выходили покурить; следующим на очереди был Протоклитов. И едва произнесли это слово, помещение клуба сразу наполнилось до отказа, и все стали привставать, точно никогда прежде не видели его, а Гашин неслышно пересел из заднего ряда на краешек клубной сцены,— там, накрытый свежим кумачом, находился стол проверочной комиссии. Глеб появился на трибуне, и все глядели зорко, как он взялся за графин, и ждали, что он расплещет воду (и он не расплескал), и ждали, что выронит стакан (и он его не выронил). Гашин привстал, покачал головою, и все слышали, как он произнес с восхищением ненависти: «Во, волк какой!»

— Я родился не в рабочей семье, хотя сытости особой не знал никогда,— очень тихо и как бы сожалея об этом, начал Глеб. — Но мне тридцать девять лет. Это больше половины жизни. И будут правы те, кто скажет, что сделано слишком мало. Если же учесть условия моей среды, упрек этот в значительной степени ослабится...

В этом месте шапка его упала, соскользнув с края стола. И пока поднимал ее, все поспешили занять самое удобное положение, чтоб уже не двигаться потом... Дальше последовала биография, суховатая и слишком несытная для того любопытства, какое с некоторого времени вызывал в Черемшанске начальник депо. По-видимому, этот человек не желал хвастаться своим убогим детством; лишь иногда горечь воспоминанья пересиливала, и тогда одной подробности, соответственно развитой,

хватило бы на самую придирчивую анкету. Нужна была завидная смелость, чтобы в этой аудитории, повышенно чуткой к описанию всякой нищеты, пускаться в такое рискованное предприятие. Должно быть, за эти годы Глеб сам уверовал в правдивость своей выдумки и, больше того, почти полюбил свою новую мать, двужильную, одичалую от нужды старуху, по признаку отвратности выбранную из грязной, презираемой им толпы.

Итак, Глеб рано осиротел. Отец его, незадачливый фельдшер, мнил себя непризнанным изобретателем. За винные излишества, но еще больше за попытки изобретать новые способы лечения, его изгнали из земской больницы. Семья терпеливо несла невзгоды, в надежде, что богу надоест наконец долбить бедой в одно и то же место... Последним творением этого опустившегося старца были какие-то сапоги на металлических спиральных пружинах под странным и заманчивым названием универсал. По его утверждению, этим достигалась огромная экономия сил при ходьбе и увеличивался размах шага на сто восемьдесят шесть процентов. Он предлагал царскому правительству широко внедрить в жизнь свою пружину повсюду — от детских коньков до армейских пехотных частей и ломовых битюгов включительно. Ответа ему не последовало... Под конец он решился самолично отправиться в Петербург на этих самых сапогах-самоходах, чтобы продать изобретение и добиваться справедливости... Глебу было тогда четыре с половиной года.

— И что ж, нашел он в Санкт-Петербурге справедливость? — ядовито и с тонким агитационным сарказмом спросил один из членов комиссии, следуя за настроением зала.

— Он не дошел до Петербурга. Его зарезало ночным поездом близ Саратова,— невесело ответил Глеб и пошутил, что это несчастье косвенно и до некоторой степени определило профессию сына. — Словом, допрыгался мой папаня...

Он незаметно присмотрелся к тем, кто с затаенным дыханием ловил каждое его слово. Снисходительная ирония к этому злополучному чудаку — со всеми, однако, внешними признаками сыновнего почтения — понравилась простосердечной аудитории. Она одобряла также и умолчание Протоклитова об иных наклонностях старика, хотя всем стало ясно, что родитель был выдающимся пьяницей. Притча о лошадях и солдатах на пружинах должна была привести ее в окончательно

благодушное настроение. Спектакль удавался на славу, и самые невероятные подробности, задрапированные предельной наглостью, приобретали полное житейское правдоподобие. В том же тоне необходимо было выдержать исповедь до конца... Глеб видел, как, пошептавшись с Катей, Сайфулла пошел к выходу, и вспомнил, что приближалось время отправки товарного на Пороженск. Все было на руку, и только Гашин хранил усмешливое и неподкупное молчание.

...После смерти отца мать зарабатывала стиркой. Братьев и сестер у Глеба не было. Вдвоем со старухой они ютились на том незначительном клочке подвального пространства, какое оставалось от огромной, в беловатой мыльной коросте, лохани. Клиентура прачки была обширна,— нет, они не голодали. Зато широкая смрадная река помоев протекала через детство Глеба; облака вонючего жавелевого пара отражались в ней. Так, с самых ранних лет Глеб узнал истинные запахи рождения человека на свет, его любви, его болезни, его старости... Только одно целостное воспоминанье об этой поре сохранилось в памяти Глеба. На рождество 1904 мать принесла откуда-то много варенья. Этот совместный дар народившегося бога и местного чиновника Честнокова находился в битой стеклянной банке. Варенье было завернуто в старые газеты со штабными сводками о русско-японской войне. (Глеб уже умел читать.) Честноков обожал именно барбарисовое, с косточками, и расстался с ним только из опасения порезать себе внутренность осколком. Варенья прачке хватило надолго.

— Надо было есть его с осторожностью, и помнится, как усердно мы выплевывали на ладошку эти колкие льдинки! — заключил Глеб и сделал паузу, чтобы каждый в зале тоже ощутил на своем языке невидимое стеклянное жало.

Вот уже двадцать шесть минут стоял он на виду у всех и до сих пор не допустил ни промаха. Острый социальный смысл протоклитовской новеллы о рождественском варенье захватил даже Гашина. Уже он не пытался изловить рассказчика на оговорке, сидел понурый, поглаживая свои лоснящиеся, твердые от впитавшегося мазута колени. Начальник депо продолжал повествованье; его беззлобные, но и не очень веселые интонации,— когда повествовал о детстве,— казалось, проникали в самые сердца. В одном месте Гашин даже вскричал взволнованно, что если «закрыть глаза — так и поверишь!». Не меньшей остроты детали имелись и в дальнейшей протоклитов-

ской одиссее, однажды уже опробованной на Курилове,— о бегстве из подвала, о трактирной жизни, о добродетельном иркутском чиновнике, и выходило, что не люди, а только звери разных мастей и обличий попадались ему на пути... Как-то незаметно все стали курить. Наконец, точно освободясь от тягучего словесного наважденья, председатель спросил о деятельности Глеба в гражданскую войну. Глеб ответил уклончиво, но тот настаивал:

— Все-таки до некоторой степени немножко непонятно: воевал ты, или все варенье ел, или капусту стерег?.. Волна революционного-то духа захватила тебя?

Глеб неторопливо смахнул испарину со лба. Это была высшая точка напряжения. С убедительностью крайнего отчаяния он называл какие-то полки, мгновенные фронты, не успевшие отпечатлеться в истории, кавалерийские рейды, и так необычно было все это, что даже шорохом дыханья не прервал его никто. На его удачу, в зале не оказалось никого из участников помянутых боев... Чистка приближалась к концу: пошел перекрестный опрос; но после получасового сверкания сабель и топота партизанских коней все эти вопросы казались мелочными придирками. Гашин подавленно молчал, внимая звукам, приходящим извне. Накурили, и кто-то догадался поднять верхнюю фрамугу рамы. Слышно было, как пьяный стрелочник идет по путям, наигрывая на рожке, да еще где-то в отдалении сигналили о приходе семичасового пассажирского из Москвы. Поезд приходил, вернее, в семь двенадцать, и было ясно, что клубные часы опаздывают на пятнадцать минут.

И оттого, что как бы притупилась недавняя враждебность к начальнику депо, говорить Гашин поднялся уже без всякого воодушевления.

— ...все стоят на подмостях, кричат пролетарский элемент, не что иное. У нас и про диспетчера кричали, что он герой освобожденного труда, а он на поверку муллой оказался. Вот и Протоклитов: рабочий-рабочий, а он, вот что я вам скажу, чистейшей крови служащий! Что смотришь, Глеб Игнатьич?.. сотряхаешься?

И верно: крепко сжимая край стола, Глеб ждал завершительного удара, как ждали его и остальные. Всем памятны были таинственные намеки Гашина.

— ...и вот зашел я к нему, незваный, а у него книжка на столе... спрятать не успел. Иностранная, по электровозам. У меня глаз — видит все зараз! А скажи, откуда — если ты ра-

бочий — можешь знать иностранный язык? Целый день на работе, приходишь утром, уходишь ночью... обедаешь стоя, не разуваясь спишь...

Последняя опасность миновала... Там, в первом ряду, сидела девочка лет пяти. Бабушка, чтоб не оставлять ребенка дома, повязала ей косенки розовой лентой и привела ее с собой. Этот увядший, из стираного шелка бант придавал уютную нарядность и скрашивал общий сероватый и копотный цвет помещения. Внезапно девочка засмеялась на какое-то занятное движение Гашина, а следом за ребенком развеселились и взрослые. И когда не взорвалась его тайна, Гашин смутился, запутался и с позором бежал от красного стола.

— И выходит, зря я тебе слово давал,— шутливо гремел вдогонку председатель. — Невпопад пришлось! Больному, скажем, аспирин нужен по ноль пять, а ты его салолом потчуешь. Вреда не будет, зато время потеряно... Не-эт, родной, партия не запрещает своим членам иностранных языков. Эта вещь нам ши-ибко пригодится. Иностранным народам есть о чем с нашим братом потолковать. Сядь, не смеши людей! — И ладонью энергично показал, как именно он должен проделать это.

Окончательно выравнивалась судьба Глеба. Он смущенно признавался, что действительно урывает время на самообразование, имея в виду самостоятельную конструкторскую работу; покойный Курилов, по его словам, неоднократно настаивал на его уходе с дороги, но внутренние обязательства перед нею, как матерью, вырастившей его, мешали ему покинуть депо. Председатель задал последний какой-то вопрос и вдруг с интересом подался вперед, и тотчас же все стали привставать, и, как ни был переполнен зал, сразу образовался проход от входных дверей до самого красного стола. Гашин, пробиравшийся к выходу, снова перебежал поближе, давая всем понять, что вечер еще не потерян, а лишь близится к своему развороту.

Очень объемный, с настороженным лицом и в громадной шубе, появился Илья Протоклитов, войти которому раньше помешало чрезвычайно неудобное расписание черемшанских поездов.

ЗАНАВЕС ОПУСКАЕТСЯ

Он вошел, и в переднем ряду немедленно нашлось для него место. Он оказался рядом с девочкой: ее бант приходился ему чуть выше локтя... Выступления продолжались, но уже

одно присутствие этого слишком постороннего человека нарушало прежний стиль собрания. И прежде всего перемена коснулась самого председателя. Ни одной его шутки больше не услышал зал, и все старались сделать вид, будто появление даже и такого человека вполне естественно. В конце концов, всякий может прийти на чистку и высказываться по поводу партийца, подвергнутого проверке. Илью Игнатьича как бы не примечали. Ему становилось все более жарко и тесно, но дополнительного места в зале на шубу не было, и он продолжал сидеть, в испарине, очень строгий, очень одинокий, с влажным платком в руке... Расспросы пошли по линии текущей политики; председатель решил блеснуть идейной направленностью собрания. Это заняло много времени и, конечно, было бы самой легкой частью испытания для Глеба, если бы не присутствие Ильи. Пробуя разгадать смысл его приезда, брат кивнул ему осторожно, и старший Протоклитов ничем не ответил на его приветствие.

Илья написал записку, и девочка отнесла ее на красный стол. «От дяденьки...» — и в тишине голосок ее прозвенел, как будто стеклянное блюдечко уронили на пол. С этой минуты никто не слушал Глеба; слова его пропадали, не доходили никуда, и наконец он остановился вовсе. Председатель сделал неуловимый знак старшему Протоклитову, и тот поднялся, оставив шапку на своем стуле. (Все время, пока он говорил, девочка украдкой поглаживала его шапку, как чудесную и теплую киску.)

— Кратенько, совсем кратенько обозначьтесь, кто вы есть и кем работаете. Я-то знаю вас, а это для товарищей... И только не торопитесь! — предупредительно объявил председатель и поглаживал усы, не умея скрыть нормального человеческого любопытства.

Какой-то спектакль готовился в клубе. Неубранная декорация в глубине сцены изображала купеческую моленную с массой икон, намалеванных на холсте. Вначале все это резало глаз, потом привыкли, а как только Илья вступил на помост, их никто уже не замечал... Впрочем, заключительный эпизод, когда вдруг раскрылась темная и обильная злом деятельность Глеба, известен мне лишь в передаче Виктора Решеткина. Толковый и такой дельный паренек, когда речь шла о его паровозах, он оказался, по несчастью, совсем беспомощен изобразить в последовательности происшедший скандал. Вдобавок сидел он в предпоследнем ряду и за шумом, хлынувшим

тотчас после первых же слов Ильи Игнатьича, мог только догадываться о самом смысле последующих реплик. Кажется, старший Протоклитов передал только содержание своей ночной беседы с Кормилицыным, воздерживаясь от каких-либо дополнительных суждений. Таким образом, все то, что предназначалось для Курилова, поступало по назначению, минуя всякие промежуточные инстанции.

Однако неожиданность открытия была столь велика, что не фальшивую биографию Глеба, а именно сообщение Ильи восприняли вначале как чудовищное нагромождение клеветы, обмана и лжи. В первую минуту переполоха Глебу как будто забыли все прежние обиды и ущемления лишь потому, что потрепанная свойская куртка одного брата была ближе и понятнее собранию, чем такая барская, на ценном и с хвостиками меху, шуба другого. Сам председатель поддался этому миражу и подверг свидетеля весьма обстоятельному допросу; и теперь это уже не был прежний шутник, строивший свою речь на всяких медицинских иносказаниях! Все спуталось в клубок, всем захотелось поглядеть вблизи на Глеба, вдруг ставшего понятным в самых незначительных мелочах поведения. (Решеткин помнил в точности, что имени Лизы не называлось. Положение Ильи Игнатьича тем и было затруднено, что, рисуя подлую роль Глеба в куриловском несчастье, он не желал называть имя своей бежавшей жены.)

— Словом, ералаш на все сто! — рассказывал Виктор. — Девчонка ревет, правый член комиссии папироску в рот огнем вставил, Гашин кричит: «На каком месте, дьяволы, глаза носили?» Всеобщий аврал! Этот, в шубе, стоит как памятник. И только брови у него — помнишь, я тебе манометр показывал? — так вот, как стрелки на манометре, бегают брови. Начдепо, конечно, грустный очень; взял шапку со стола, надел на себя и сел... и так спокойно, точно собрался ехать куда! Народу толклось — и из смены-то все прибежали! Ну, тут уже не удерешь...

Все это были не те подробности, которых мне хотелось. Решеткин так и не объяснил, охотно ли расстался зал с искусным мифом о чудаке родителе, о человечестве на пружинах и о варенье со стеклянной начинкой. Зато у него нашлось достаточно точное определение протоклитовского ухода. «Пошел к дверям... и уж не на шубу, а больше на лицо ему глядели. Продолговатое такое и... точно пчелы его покусали. А тишина, хозяин!.. слышно, как у Федьки в депо напилок упал». И еще

подробность, которой сперва я не смог подыскать никакого объяснения. Будто бы Скурятников пришел в этот вечер в депо и уселся в уголок и все играл на своей жестяной игрушке, как бы испрашивая совета. (И она, наверно, отвечала ему, что все хорошо, а будет еще лучше!)

...У Ильи остается целых три с половиной часа до отхода поезда. Он идет в Черемшанск. Лихие санки перегоняют его, и седок-кооператор, отвалясь по ходу, долго всматривается в редкостную для тех мест фигуру. Смеркается, керосиновые огоньки множатся в окошках, когда Илья переступает городскую черту. Много сытного, огромного воздуха над головой. Морозит к вечеру, и дорога вкусно похрустывает. Великопостный звон по капле струится в тишину. Илья движется, и собаки сбираются за ним гурьбою, опасаясь нападать в одиночку. Он справляется с адресом, что дал ему на прощанье Аркадий Гермогенович...

Домишко одноэтажный; занавесочки прилизаны набок, как причесываются мастеровые; вход со двора. Двое мальчишек прилаживают к дереву скворечню. Один просит дяденьку подержать шест, пока сам с фанерным коробком лезет на дерево. В награду за помощь Илью ведут к флигельку в глубине. «Это он к новой жиличке пришел!»—вслух догадывается один. Илья тянет веревку железной щеколды и входит. Ушат с водой нарочно поставлен на дороге, чтобы незваные ломали себе шеи. Никто не выходит на шум... Вторая дверь очень похожа на отверстие в давешней скворечне. Коптит лампа, черная нитка сучится над стеклом. На садовом дощатом диванчике, одетая, спит Лиза. Она прикрыта полушубком. Илья Игнатьич знает за ней привычку прикорнуть начерно, где придется.

Он привертывает фитиль, и нитка рвется. В этой комнате долго проживал тусклый и ленивый человек; Лиза еще не успела наложить на нее своего отпечатка. Старинные открытки с молодоженами в фольговых рамочках окружены житейским бордюром из гнусных коричневых запятых; пузатый комод со множеством флаконов, такой высокий, что к зеркалу надо тянуться с табуретки... Шорох будит Лизу. Она свешивает ноги и по-детски, кулачками, старательно протирает глаза.

— А, это опять вы! — Ни испуга, ни прежнего ожесточения в ее голосе, вялом и равнодушном спросонок.

Илья Игнатьич снимает шапку.

— Я очень боялся не застать вас дома.

— Разве уже прошло полгода?

— Я прихожу раньше срока, потому что люблю вас, Лиза.

Она щурится на него и с особой, виноватой тщательностью обдергивает платье на коленях.

— Хорошо по крайней мере, что вы не предлагаете мне избавиться от нищеты!

Эта женщина никогда его не любила. А хуже всего, что в свое время он не нашел минутки справиться у нее об этом. Он видит стопку книжек на подоконнике и не смеет раскрыть хоть одну, чтоб понять, в каком направлении уходит от него Лиза.

— Ну, вот! Хорошо, что вы разбудили меня, Илья. Сейчас я должна уйти. У меня вечерние занятия.

— Вы учитесь... или учите сама?

— О, все вместе! Что делать, есть такие, которые знают еще меньше меня. А чем моложе, тем больше хочется сыграть и Гамлета, и Ромео, и даже мадам Стюарт...

— Если можно, я провожу вас, Лиза.

— Больные подождут на этот раз? — И у него нет оснований принимать ее спокойную шутку за упрек.

Лиза одевается... Оказывается, зеркало можно снимать и ставить на стол. Илье Игнатьичу пригодился его рост. Полушубок великоват Лизе, он свисает с плеч, но, подтянутый ремешком, очень идет к ней. В этой незнакомой оболочке она приобретает особую и таинственную привлекательность. Запах овчины ширит ноздри Ильи. Лиза предупредительно распахивает дверь.

Они выходят. Бездельные люди у ворот сторожки замолкают, пока Лиза со спутником проходят мимо.

— Итак, вы счастливы?

— А я не задумывалась об этом. Но когда делаешь себя сама, то даже и ошибки приятны. Все, все находится в себе самом... и знаешь, Илья, сердце — это глубже всякой шахты на земле!

Этой уверенности в себе он не замечал у ней раньше, даже в самые хвастливые ее минуты. Было бы бестактно теперь предлагать ей деньги и наивно — звать назад.

— Вы очень переменились, Лиза.

— Да! — И смеется. — Раньше, например, я боялась щекотки, а теперь нет. Раньше мне хотелось сыграть Марию, а теперь нет. Должно быть, я узнала слишком много о ней. Кроме того, у меня было большое горе. — И он знает, что не

утрату их ребенка она имеет в виду. — Расскажите все-таки, как он умер?

Нотка приказания, которого нельзя ослушаться, звучит в ее голосе. Она имеет великое право на это. В подробностях, словно читает по операционному журналу, Илья излагает обстоятельства несчастья, и мертвый ноздреватый снег скрежещет под его ногами... Самая операция прошла благополучно, но через два дня, ночью, лигатура прорезала перевязанный сосуд. Кровотечение вызвало нарастающую слабость, коматозное состояние и конец. Лизе требуется особая точность, и он не скупится на медицинские термины, объясняющие бессилие врачей.

— ...но почему же она прорезала этот сосуд?

— Видите, ткань была разрушена патологическим процессом. Она утеряла эластичность...

— Я верю вам, Илья.

— Вы были очень привязаны к этому человеку?

— Я не знаю... но Курилов никогда не упрекал меня за молодость!

Они проходили длинными улицами, и ей казалось, это те же самые, где когда-то она бегала босоножкой. Провинциальные города — все родня и в чем-то разненькие. В этом доме, где сапог гиганта на заборчике, умерла мать. У тети Шуры огонек: наверно, проверяет ребячьи диктанты, старенькая. На освещенном окне, у которого любил сидеть Закурдаев, стоит бутылка; видимо, этот номер по традиции занимают пьяницы. Собор налево стоит маленький и облезлый; около него идет сейчас приемка свиных кож. И вот наконец тот знаменитый овраг!.. Оползни подобрались к самой скамейке; Лиза останавливается у края. Молодой, рожками вверх, как бы на спину положенный месяц придает всему пронзительную весеннюю новизну. Смутная гряда снега мерцает на дне лиловатой бездны. Тишина—как льдинка, ее сломаешь даже шепотом. И давняя горечь полузабытой репки внезапно обжигает Лизин язык. Второй акт жизни закончен, и как хорошо, что главное еще впереди!

— Вот и все, Илья. Теперь нам надо проститься. Я не хочу, чтобы нас видели там вместе. По-видимому, еще не доросла до того, когда становится безразлично, что говорят о тебе люди... — И уходит навсегда, не пожав руки, не дав сказать ему ни о чем, очень легкая, прозрачная, не оглядываясь.

Илья Игнатьич возвращается на станцию. Он вспоминает, как и сам он сначала не умел ничего. (Делал операции и мысленно засматривал в книжечку... И только война доставила молодому хирургу громадную и жестокую практику.) Он думает о себе, но только к концу пути начинает понимать, что прозевал самое ценное, что давалось ему в руки,— юность женщины.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Летним вечером однажды, после долгого перерыва, ко мне пришел Пересыпкин, и я обрадовался, как если бы сам Алексей Никитич, живой и помолодевший, навестил меня. Именно через Курилова произошло наше знакомство, и первое Алешино посещение относилось ко времени, когда он только приступал к изложению причин и обстоятельств возникновения его дороги. Он врывался ко мне торопливый, задиристый, весь в шипах мальчишеских противоречий... На этот раз он заявился молчаливый, сосредоточенный в себе, и ничто не могло расшевелить его. Мне показалось, что он влюбился вторично.

— Меня перекидывают, кажется, на нефть! — сообщил наконец Алеша.

Если только не предстоящая разлука с друзьями,— значит, необходимость забросить свою историческую работу огорчала его. Новая область деятельности неминуемо содержала в себе и новые заботы. Я напомнил ему, что реки нефти, как и вагоны Волго-Ревизанской, как и все потоки товаров, народов и идей, неизбежно текут туда же, на куриловский Океан. Мой намек был понят без дополнительных пояснений... да и самая работа над историей дороги оказалась для Алеши своеобразным университетом. Видимо, ему становилось уже тесно в пределах одной Волго-Ревизанской. Угадав механизм малых преступлений, он заохотился подарить людям развернутую эпопею о мировом железнодорожном деле, богато иллюстрированную вставными историями Спиридонов Маточкиных всех времен и народов.

— ...она должна называться — Потомок оглядывается на прошлое! — признался он смущенно.

Я стал расспрашивать его о спутниках Курилова, и он рассказал мне о вторичном, почти эпическом приезде Биби-Ка-

мал на свадьбу сына, о смешных превращениях Зямки, на которого уже последнюю свою привязанность перенесла Клавдия Никитична, о неудачном сватовстве долговязого Шамина, об отказе Лизы и об аресте начальника черемшанского депо... Речь зашла также о Похвисневе, свидания с которым так давно добивался Алеша. Его рассказ ставит меня в затруднительное положение перед друзьями, согласившимися прослушать эту книгу до конца.

После возвращения из Черемшанска юный историк собрался наконец навестить своего свидетеля. Он не хотел уличать или допрашивать, а только взглянуть в линялые его глаза: не сохранилось ли там на донышке какого-нибудь отражения случая на Псне... Он отыскал дом, и вошел, и позвонил, ему отпер жилец-водопроводчик с намыленной щекой. Алеша спросил о Похвисневе, и тот отвечал, что никогда здесь такого и не числилось. Волнуясь, Алеша привел все его приметы, но жилец продолжал отрицательно качать головой. «Гулькин у нас есть, тоже пенсионер, но бывший кассир. А такого, как вы назвали, не значится!» Номер дома и квартиры совпадали с записанными у Пересыпкина. Водопроводчик сердился, мыльная пена сохла у него на щеке. Потрясенный Алеша ушел ни с чем. Должно быть, незаметный старик так же незаметно и убрался из жизни в свое бесследное небытие...

Остаток времени мы потратили в прогулке на Океан, какую я неоднократно, бывало, совершал в обществе Алексея Никитича. Мой юный гость также бывал склонен иногда заглянуть за эту плотно приспущенную занавеску,— и мы вышли за пределы тесной прокуренной комнаты и дождливой июльской ночи. По существу, мы вышли втроем: Алексей Никитич находился с нами, потому что с выходом из настоящего его реальность становилась теперь не меньше нашей... Мы миновали сотни расплывчатых, еле нарисованных на будущем событий: мы посетили в эту ночь десятки замечательных своей историей городов, которых еще нет на свете. Резвясь, как мальчишки, мы играли с Алешей в этом, самом громадном, просторе вселенной, и тень Курилова, подобно горе, возвышалась над нами. Мы поднимались на эскалаторах в высокую башню, где обитал со своим архаическим электронным телескопом седоволосый чудак. Мы мешали ему шарить по безднам его магическим пучком, расстраивая ему волну, и он комично относил это за счет усиления космической радиации.

Внезапным стуком в окно мы будили школьника, заснувшего над уроком о сражении при Шанхае; ребенку скучно было зубрить об эпохе капиталистов, которые представлялись ему чем-то вроде человекоедов-лестригонов («Яшная выдумка!..» — сказал бы Зямка). Мы взбирались на надземную пристань, откуда как раз отчаливало в Южное полушарие летучее сооружение, не определимое словами; оно не имело ни газовых колбас, ни несущих плоскостей, ни шумных воздушных винтов. Озабоченные деловые люди располагались на ночлег, и мы постыдились беспокоить их расспросами о счастье. И наконец, по молчаливому сговору, мы посетили новую мать веселых земных городов, Океан.

Была непогодная ночь, когда мы вошли в него. Стояла пора дождей на этом побережье. Планета зябла. Над головой, в вершинах высоких деревьев, скреблись друг о дружку жесткие, как бы металлические листья. Из гавани донесся вой сирены, адресованный ночным кораблям. Дыхание древнего века послышалось мне в соединенном шуме прибоя и ветра. Все спало... Внезапно дождь усилился, и мы принуждены были войти под сень деревьев. Где-то рядом с нами пряталась парочка; та же девушка, которую бессчетное количество раз встречал Курилов, тянулась губами к кому-то в сумрак, и вот я различил на светящейся струе фонтана ее тонкий, напряженный и девственный силуэт.

Но, точно ощутив на себе наши ревнивые взоры, они прервали шепот. Мы мешали им... Алеша сурово толкнул меня в бок, приглашая убираться отсюда. Я оглянулся в последний раз и уже никого не увидел в тени. Влюбленные всегда владели волшебным свойством растворяться в шелесте деревьев, в лунном свете, в запахе ночных цветов, когда требуется укрыться от постороннего любопытства... И хотя наши москвошвеевские пиджаки промокли до самых плеч, мы выступили из-под укрытия и молча пошли по дороге, неминуемой для всех, кто выходит из дому в непогоду.

1933—1935

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Дорога на Океан» был написан в 1933—1935 годах (начат в сентябре 1933 года и в основном завершен в августе 1935). Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1935, № 9, 10, 11, 12 (сентябрь — декабрь). Одновременно с публикацией в «Новом мире» отрывки из «Дороги на Океан» печатались в 1935 году в различных периодических изданиях: «Курилов избирает курс лечения» — журн. «Огонек», № 29—30; «Тело»—«Литературная газета», 20 октября; «Я разговариваю с историком А. М. Волчихиным»—«Вечерняя Москва», 23 октября; «Дорога на Океан»— газ. «Московская кочегарка», Богородицк, 30 октября и 11 декабря; «Дорога на Океан»— газ. «Звезда», Днепропетровск, 30 октября; «Жизнь Курилова»— газ. «Коммунар», Тула, 30 октября; «Встреча»— «Вечерняя Москва», 7 ноября; «Садовник»— газ. «Литературный Ленинград», 26 ноября; «Буран» — «Ленинградская правда», 12 декабря; «В оранжерее»— газ. «Пролетарская правда», Калинин, 29 ноября. Роман вышел отдельной книгой в 1936 году (М., Гослитиздат), затем неоднократно переиздавался и был включен в IV том Собрания сочинений Леонида Леонова в пяти томах (Гослитиздат, М., 1954) и в VI том Собраний сочинений в девяти (М., «Художественная литература», 1961) и десяти томах (М., «Художественная литература», 1971).

Роман «Дорога на Океан» писался Леоновым в кульминационную пору его настроений, когда, как ему представлялось, была достигнута высшая точка революции. Отсюда задача, поставленная перед собой художником: показать эпохального человека, подлинного, живого положительного героя. В образе участника гражданской войны, а затем начальника политотдела на одной из крупнейших железных дорог страны Курилова Леонид Леонов стремился смоделировать лучшие черты революционера-большевика и одновременно показать через него громадность будущего — вожделенного, чаемого мира, с путешествием на отдаленную планету, с могущественно-единым человечеством, решившим про-

блему людского счастья,— «там, за далью непогоды, есть блаженная страна...».

Для решения этой задачи, для проведения такой сложнейшей операции, как обмолвился сам Леонов, от исполнителя требовалось не только мастерство, визионерские способности, но и в какой-то степени простодушие и вера. У всякого мало-мальски стóящего писателя, продолжает он, в том, что он пишет, помимо его самого, отражается его эпоха, другими словами, роман — слепок самого автора с коэффициентом его эпохи. «Все мы вписаны в нотную линейку времени и звучим в зависимости не только от порядкового номера линейки, но и от поставленного в начале музыкального ключа...»

Курилов в сублимированном виде воплощает в себе общие качества созидателей нового мира (автор, выступающий на страницах романа и в ранге одного из действующих лиц, отмечает: «Я хотел сказать, что имел неоднократно случай наблюдать у куриловских современников наиболее типические его черты»), и в то же время он уникален и потому не имел какого-либо реального прототипа. Солдат, «рядовой работник партии» (как характеризует Курилова его сестра и товарищ по революционной борьбе, железная Клавдия), он безукоризненно подчинен дисциплине, словно гоплит, не снимающий никогда тяжелых доспехов. Однако в отличие от партийца-ученого Черимова («Скутаревский») Курилов наделен огромной широтой и свободой: масштабностью. Это проявляется в его способности — как бы в ином измерении — уходить в мир будущего. «И этот воображаемый мир,— говорит в романе Леонов,— вполне материальный и соответствующий человеческим потребностям, увеличивался в его догадках пределом знания — неумиранием».

От прочитанной по складам в детстве книжки об Океане в Курилове живет и разрастается мечта, выводя его за пределы линейного времени. Можно сказать, что Курилов — человек мечты. Если Черимов твердо знает, чтó он открыл и чтó ему дозволено открыть, то Курилов как личность воплощает будущее, которое умещается в нем одном. Этого не смогли или не захотели понять многочисленные критики, встретившие роман шаблонно-ведомственными мерками: политотдел на железной дороге, дескать, работал плохо; но вот пришел новый начальник, а политотдел и железная дорога продолжают работать плохо...

«Дорога на Океан», при всей скрупулезности изображения, скажем, работы черемшанского депо, железнодорожной катастрофы или молодежного движения по восстановлению паровоза, не является производственным романом в специфическом понимании этого термина. Член армейского реввоенсовета, Курилов назначается начподором Волго-Ревизанской железной дороги, но он мог бы оказаться и на любом другом месте. Для Леонова как художника-новатора важно было отобразить

принципиально новые конфликты, принесенные эпохой, и новые способы человековедения, когда растекание души делается объектом микрохирургических операций.

Когда-то, в «Воре», Леонов уже использовал прием: отнять у героя его орнаментум — его общественные чины, служебные регалии — для выяснения, что от человека останется. Но там это использовалось для развенчания Векшина; в «Дороге на Океан» этот же прием служит подчеркнутому возвеличению Курилова. Автор постепенно отбирает у героя, пораженного смертельным недугом, буквально все его житейское благополучие, и тогда остается голый человек, который вот лежит поперек кровати, натуго затянув ремнем поясницу, чтобы как-то заглушить нестерпимую боль. Казалось бы, болезнь должна была увести героя из тогдашней конкретной действительности. Но наедине с собой еще более реализуются его мечтания об Океане. Он приближается к самому себе внутреннему, каким должен был быть, каким он был задуман в идеале. Невольно приходят на ум слова Гоголя о столь полезной иной раз благодетельности тяжелого недуга.

Болезнь, тяжелая и мучительная, помогает Курилову глубже заглянуть внутрь себя и, освобождая от всего мелочного и преходящего, еще более размывает грань между реальностью и мечтой. Вот, неотличимо от рядового человечества, он идет на роковую операцию, пешком, с крохотным газетным свертком под мышкой, как в баню. Но поразительно, что тот же Курилов в беседе с автором, который приходит проститься со своим главным персонажем, владеет чертежами завтрашнего мира.

«Дорога на Океан» выделяется даже среди богатых сгущенной человеческой плазмой романов Леонова особым многолюдством. Здесь каждый из героев, будь то актриса Лиза Похвиснева и ее дядюшка, в прошлом — болтливый либерал и восторженный романтик; журналистка Марина Сабельникова и ее забавный маленький Зямка; сестры Курилова — непреклонная Клавдия и безответная Фрося; бывший белогвардейский офицер Кормилицын и бывший промышленник-воротила на Каме и Фросин муж Омеличев; черемшанские железнодорожники: рабочие из депо Катя Решеткина, комсомольский активист Шамин, лучший машинист Сайфулла; друзья Курилова — бывшая пулеметчица и подруга Клавдии Стеша, его старый учитель Арсентьич (с кем Курилов познакомился па заводе Лесснера и кто привел его однажды слушать доклад Ленина о штрафах на заводах), страстный путаник и беспартийный большевик Кутенко; наконец, братья Протоклитовы, старший — блистательный хирург Илья и младший — Глеб, обстоятельствами загнанный в тупик, и прочие, не говоря уже о тех, уже проживающих на берегу Океана, куда сбегаются железные дороги, куда течет время, шагает человечество и

устремлена цивилизация,— каждый из них имеет с в о ю, резко очерченную индивидуальность, незаурядную биографию.

И все же вблизи Курилова нет соразмерных ему фигур. Это, быть может, еще одна из причин куриловских порывов (и прорывов!) в Вечность. Он проламывает собой, своей личностью все временное и уходит в Завтра. Только в поздней, слишком запоздалой любви к Лизе Похвисневой он еще успевает сделать последний глоток жизни, чтобы затем, подобно сверхновой звезде, окончательно погаснуть, оставив после себя в памяти наблюдателей в небе мемориальный шлейф. Однако и тут Курилов не изменяет себе. По словам автора, его герой был добр к ней н е т о л ь к о для себя.

Пожалуй, лишь Глеб Протоклитов незаурядностью своей личности мог бы в известной степени потягаться с Куриловым: «Спокойная, расчетливая воля светилась в его глазах. Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С такими не бывает случайностей в жизни. Игра, которую он вел, была огромна». Но Протоклитов обречен. Его уже нет в послеоктябрьской таблице человеческих элементов, потому что порядковое место этого человека занято его антиподом.

Глеб Протоклитов живет под вечным страхом разоблачения. Как отмечает автор, «вредные подробности» его биографии «были недостаточны, чтобы столько лет спустя умертвить его физически, но их хватило бы, чтобы он споткнулся о них на всю жизнь». И вот уже он сосредотачивается инстинктивно на единой мысли: надо бежать, с налету, хотя бы через замочную скважину, сквозь запертую дверь. С незаурядной, виртуозной изощренностью придумывает себе Протоклитов блистательные подробности вымышленной бедняцкой биографии, когда суровые сердца на чистке должна размягчить сентиментальная история о матери-кухарке, которой щедрые господа подарили банку варенья, битую, со стеклянной начинкой, чтобы добро не пропадало зря.

А чего стóит воротила-миллионщик на Каме Омеличев, бежавший от новой жизни в личину путевого обходчика Хожаткина, или бывший поручик Кормилицын, волею судеб преобразившийся в чумазого рабочего из черемшанского депо...

«Дорога на Океан»— философский роман с «открытым» концом, с бесконечной перспективой, как на полотне Н. Рериха: «И мы отворяем врата». Здесь строительные материалы испытаны на дополнительную смысловую нагрузку, с учетом опыта предыдущих романов и выработанной писателем новой технологии. Леонов сказал как-то, что автору полезно ставить перед собой дополнительные задачи, о каких читатель не подозревает. Так создается возможность, позволяющая персонажам самим характеризовать себя. Таким образом, в роман включены как бы

автопортреты некоторых действующих лиц через их собственные рассказы. Темперамент мальчишки, комсомольца-историка Алеши Пересыпкина сказывается в его очерке о создании Ревизанской дороги; Похвиснева — через бредовое, с галлюцинаторной отчетливостью сказание о падении на Землю Луны, обретающем апокалиптический характер варианта будущего, с новым всемирным потопом и новым Ноем в лице сапожника Гаврилы; а Курилова — в развернутом повествовании о заключительной мировой войне. Отсюда диалоги в виде потенциальных диалогов. И композиция: идет диалог, а рядом отбрасываемые им тени, как отражения этого диалога. Это напоминает съемки уже известных планет или туманностей — в разных частотах электромагнитных излучений, в парах кадмия, натрия или водорода,— причем каждый из фильтров улавливает нечто новое, еще вчера недоступное науке.

В романе принципиальное значение приобретает вынесение авторских комментариев в сноски. «Полезно подкреплять замысел,— обмолвился Леонов,— иногда чертежом, формулой, иногда — иероглифом. И потому в «Дороге на Океан» и затем в «Русском лесе» были чертежи, формулы, которые мне помогали». Мы знаем, что А. С. Щербаков, бывший в то время секретарем правления Союза писателей СССР, приезжал к автору по просьбе И. В. Сталина с предложением внести в основной текст постраничные комментарии, помещенные под чертой. Автор отказался, ссылаясь на сложившийся задолго до начала работы над книгой композиционный чертеж, согласно какому была написана «Дорога на Океан», чем вызвал неудовольствие И. В. Сталина, отразившееся в газетных откликах и журнальных рецензиях на роман...

Композиция «Дороги на Океан» столь графична, что как бы просится на ватман, в чертеж. Недаром ученый из ГДР Рональд Опиц попытался даже геометрически выразить движущиеся конфликты романа, взаимодействия и взаимоотталкивания основных героев на векторной оси от прошлого к будущему (Ronald Opitz. Leonid Leonow. Philosophie und Komposition. Berlin, 1975). Усложненная партитура романа потребовала от автора и новой словесной инструментовки, иногда в особенности утонченной лексики.

Стиль Леонова многослоен, неоднозначен, всюду чем-то подсвечивается изнутри. Так, умирающий от гипернефромы Курилов отправляется в построенную им страну Будущего, к Океану. Знаменательное сюжетное уплотнение обретает иногда и мельком брошенная деталь. Этот игрушечный паяц, выпавший в пролет лестницы из рук Лизы Похвисневой, лежащий в осколках и символизирующий ее несостоявшуюся актерскую карьеру, заставляет ее после смерти Курилова подвергнуть пересмотру пройденный кусок жизни. «Детали,— в одном из разговоров упомянул Леонов, — должны быть прорисованы до предела точности, как

на старинной медной или стальной гравюре». Запоминающиеся живописные подробности складываются в единую систему леоновского показа событий. Например, погасшая «халдейская звезда» в расколотом зеркале у Дудникова возвещает последнюю стадию угасания, конец этого «бывшего» историка в генеральском чине. Таким образом, в ином психологическом контексте раскрываются потенциальные возможности, запертые в мельчайшей клетке литературного произведения — в слове.

В дополнение ко многому, уже высказанному им печатно, Леонов, говоря о том, что язык требует нового к себе подхода, отметил, что сегодня уже страница как некое вместилище должна искать уйму запасных емкостей. Кажется, что читатель должен порою ощущать себя на границе предельной выразительности языка. Но между тем некоторые высказывания Леонова заставляют думать, что возможен экспериментальный уход и «по ту сторону» отсчета, с переменой качеств (как это сделано во фрагменте из нового романа «Мироздание по Дымкову»). Новые средства выражения, языкового углубления, зависящие от направленного взаимодействия разнофактурных слов и понятий, совмещение их в генетической цепи — все эти сокрытые до поры резервы языка,— в частном разговоре сказал Леонов,— приводят к созданию нового художественного кода.

Весь мощный изобразительный арсенал служит в романе единой цели — осмыслению геологических преобразований, происходящих с людскими материками: пути человечества к Океану. Философский образ его является стержневым, сюжетообразующим и предопределяющим рамки произведения. Океан в романе — и океан как таковой, к которому прокладывается дорога, и возможное будущее, и цель, громадная цель, куда мы впадаем. Это и дорога в воображаемую страну обетованную, символ и смысл жизни. «Всякая изначальная идея в фабуле,— отмечал Леонов,— должна быть очень проста, как иероглиф». Мерцание Будущего (как отсвет зари, только неизвестно, утренней или вечерней) набрасывает легкий флер на все изображаемое, создает дополнительную подсветку поступкам героев.

От «Дороги на Океан», написанной «на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом, нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе», и до фрагмента из позднейшего романа «Мироздание по Дымкову» (откуда взята эта цитата) видится преемственность растущей мысли пытливого художника-философа. И слова Никанора Втюрина о том, что движение к высшей истине «низью не в пример ближе, ежели через середку самого себя», перекликаются с авторской фразой в «Дороге на Океан»: «Должно быть, всегда владела человеком темная и жадная надежда выиграть истину через интуицию, кратчайшим путем».

Футурологические искания Леонова в «Дороге на Океан» завершают целый этап в осмыслении автором движения человечества к вечности, к будущему, к неизбежному. Их глобальный характер становится особенно понятным в наши дни, когда горизонты поисков очерчены философскими фрагментами «Мироздания по Дымкову» и «Последней прогулки».

Стр. 18. *...черноволосая Олофернова голова...* — По библейскому сказанию, иудейская красавица Иудифь, спасая родной город, хитростью проникла в неприятельский стан, отрубила голову главнокомандующему вавилонской армии Олоферну и вернулась с ней в осажденный город.

Стр. 19. *Ефрем Сирин* (нач. IV — первые годы V вв.) — богослов, автор многочисленных проповедей.

Стр. 24. *Нечаев* Сергей Геннадиевич (1847—1882) — участник российского революционного движения, применял иезуитские лозунги и средства борьбы. Суд над нечаевцами привлек широкое внимание русской общественности.

Стр. 30. *Джованьоли* Раффаэло (1837—1915) — итальянский писатель, автор романа о восстании рабов «Спартак» (1874).

Симпсон Джеймс Янг (1811—1870) — шотландский хирург, акушер.

Дженнер Эдуард (1749—1823) — английский врач, основоположник оспопрививания.

Стр. 48. *...читал ей... авву Дорофея, Максима Великого...* — Дорофей, авва (ум. в 620 г.) — настоятель монастыря близ Газы, автор аскетических «Наставлений», а также «Слов» о подвижничестве. Максим Великий, или Исповедник (582—662) — церковный деятель, автор многочисленных сочинений.

Иоанн Лествичник (ум. около 606 г.) — отшельник, автор наставления об иноческой жизни «Лествица райская».

Стр. 64. *Купер* Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель.

Жаколио Луи (1837—1890) — французский писатель, автор приключенческих романов.

Буссенар Луи Анри (1847—1910) — французский писатель, автор остросюжетных романов для юношества.

Пиранези Джамбаттиста (1720—1778) — итальянский гравер, его графические «архитектурные фантазии» удивляли грандиозностью пространственных построений.

Стр. 65. *...знаменитый Карон, отец Бомарше...* — Бомарше (Пьер

Огюст Карон де; 1732—1799) — французский драматург, сын известного парижского часовщика.

Стр. 67. *Иван Дамаскин* (Иоанн; ок. 675 — ок. 753) — византийский богослов и церковный деятель, автор энциклопедического труда «Источник знания», многочисленных проповедей и песнопений.

...на манер халдейских мудрецов. — Халдеи — семитские скотоводческие племена, расселявшиеся в 1-й половине 1-го тысячелетия до н. э. на северо-западном берегу Персидского залива.

Стр. 68. *...гудоновский ларец...* — Гудон Жан Антуан (1741—1828) — французский скульптор.

...Эмиля с авторским посвящением Екатерине... — «Эмиль, или О воспитании» (1762) — роман и философско-педагогический трактат французского философа, писателя и композитора Жана Жака Руссо (1712—1778), который был в переписке с российской императрицей Екатериной II.

Стр. 69. *Лафарг* Поль (1842—1911) — деятель французского и международного рабочего движения.

...Декарта, путешествующего по обету на поклонение Лоретской богоматери. — Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик, физик и физиолог; во время военной службы, мучимый сомнениями в своих научных изысканиях, дал обет совершить путешествие в Италию, для поклонения Лоретской мадонне, если ему удастся избавиться от этих сомнений и открыть критерий достоверности; обет был выполнен в 1623 г.

...Галилея, присвоившего изобретение миддельбургского очешника. — Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский математик, физик и философ; изобрел телескоп, воспользовавшись случайным открытием голландского оптика Якова Метиуса.

...Марата, который, обезглавив живого математика Бальи, уже тянулся за мертвым, за Ньютоном... — Марат Жан Поль (1743—1793) — деятель французской революции, ученый, публицист; в своих научных трудах резко полемизировал с учеными прошлого, в частности с Ньютоном; призывал к террору против контрреволюционеров; в числе казненных был президент первого национального собрания и мэр Парижа, астроном и математик Жан Сильвен Бальи.

Стр. 75. *Мнимый больной* — комедия французского драматурга Жана Батиста Мольера (1622—1673).

Стр. 83. *Мария Стюарт* — пьеса немецкого драматурга и поэта Фридриха Шиллера (1759—1805).

Стр. 106. *Лаокоон* — скульптурная группа родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Атенодора, созданная около 50 г. до н. э. Подлинник находится в музее Пио-Клементино (Ватикан).

Стр. 108. *Мидас.* — См. примеч. в т. 4 к с. 188.

Стр. 109. *Литвинов* Максим Максимович (1876—1951) — советский государственный и партийный деятель, дипломат; в 1930—1939 гг. нарком иностранных дел СССР; содействовал установлению дипломатических отношений с США.

Стр. 112. *...Навуходоносоров и Васильев Болгароктонов, Хулагу и Альб, Махмудов и всех номеров Омаров...* — Навуходоносор II (605 или 604—562 гг. до н. э.) — царь Вавилона, победитель египтян и покоритель Иудейского царства. Василий Болгароктон, или Болгаробоец — Константинопольский император Василий II (с 976 по 1025 г.), который ослепил 15 тысяч пленных болгар, оставив каждого сотого кривым, и послал их в таком виде на родину. Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582) — испанский военный и политический деятель, с именем которого связаны почти все войны, ведшиеся Испанией во 2-й и 3-й четверти XVI в. Махмуд II (1785—1839) — турецкий султан, уничтоживший янычар и ведший войны с Россией. Омар Ибн-эль-Хаттаб. — См. примеч. в т. 5 к с. 176.

Стр. 119. *Варавва,* т. е. сын Аввы — разбойник, который, как гласит библейское предание, был освобожден от казни иудейской чернью, а Христос предан распятию.

Стр. 123. *...к владениям Калиты.* — Иван I Данилович Калита (? — 1340) — князь Московский, расширивший территорию княжества и заложивший основы экономического и политического могущества Москвы.

Стр. 131. *Плутарх.* — См. примеч. в т. 3 к с. 320.

Стр. 139. *...Овидием... обдумывающим свои Послания с Понта...* — Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский поэт; в 8 г. н. э. был сослан императором Августом в г. Томы (порт Констанца в совр. Румынии), где и умер. С берегов Черного моря (понта Эвксинского) Овидий посылал «Понтийские послания», содержащие жалобы и воспоминания о прошлом, описания суровой природы, тоску по Риму, просьбы о помиловании.

Стр. 140. *Рейнская газета* — «Рейнская газета по вопросам политики, торговли и ремесла»; издавалась в Кельне с 1 января 1842 г. по 31 марта 1843 г. С октября 1842 г. газету редактировал молодой К. Маркс, опубликовавший в ней ряд своих статей.

Стр. 141. *...цитату из Иезекииля...* — Иудейский пророк Иезекииль, находясь в вавилонском плену после того, как Иудейское царство было завоевано вавилонским царем Навуходоносором II, составил книгу, вошедшую в Библию.

Стр. 146. *Меровинги* — первая королевская династия во Франкском государстве (кон. V в. — 751 г.).

Стр. 148. *...как Марсий в беспощадных руках Аполлона.* — Согласно греческому мифу, Марсий осмелился соревноваться в музыкальном искусстве с богом Аполлоном, который за это содрал с него кожу.

Стр. 149. *Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760—1825), *Фурье* Шарль (1772—1837) — французские социалисты-утописты.

Стр. 150. *Эйлер* Леонард (1707—1783) — математик, механик, физик и астроном.

Стр. 152. *...комету Галлея...* — Галлей Эдмунд (1656—1742) — английский астроном, вычисливший эллиптический путь кометы, получившей его имя, и предсказавший ее появление в конце 1758 или в начале 1759 г.

Жижка Ян (ок. 1360—1424) — национальный герой чешского народа, полководец, ввел в армию систему *вагенбург* — защиты пехоты от конницы укреплениями из повозок.

...Моисей на Синае... — Моисей — ветхозаветный пророк, религиозный наставник и вождь еврейских племен в их исходе из Египта в Ханаан (Палестину). В пути, на Синайской горе, Моисею является бог Яхве, возвещающий ему свои десять заповедей.

Стр. 153. *...горькую судьбу Гоморры.* — Гоморра — город в древней Палестине; согласно библейскому преданию, был за грехи «сожжен небесным огнем».

Стр. 157. *Григорий Богослов.* — См. примеч. в т. 5 к с. 35.

Стр. 159. *...горит Гус в бумажном колпаке...* — Гус Ян (1371—1415) — национальный герой Чехии, возглавивший движение против власти германского императора; по решению папского собора как еретик был сожжен на костре.

...битва при Грансоне... — Грансон — город в Швейцарии, около которого в 1476 г. швейцарцы разгромили войска бургундского герцога Карла Смелого.

Стр. 164. *...мы с тобой, как Иосиф и Мария...* — Согласно Евангелию, преклонный годами вдовец Иосиф Обру́чник был лишь юридическим мужем Марии, а затем кормильцем и воспитателем Иисуса Христа в его детские и отроческие годы.

Стр. 165—166. *...героиню, хотя бы та вышла... из подземелья Фозеринге со своею окровавленной, улыбающейся головой под мышкой.* — Мария Стюарт (1542—1587), шотландская королева, после бегства в Англию была заключена по приказу английской королевы Елизаветы I в замок Фозеринге и сложила голову на плахе.

Стр. 168. *...с червивой улыбкой Ирода-Антипы судьба дарит удачнику голову его врага.* — Ирод Антипа, или Антипатр — сын иудейского царя Ирода Великого и властитель Галилеи и Переи; вступил в связь с женой своего брата Филиппа Иродиадой, что вызвало ропот в народе.

Мстителем за поруганный нравственный закон стал Иоанн Креститель, который явился к трону Ирода и высказал свой укор. Иродиада добилась того, что Иоанн Креститель был обезглавлен.

Стр. 169. *...зарабатывай благословение Исааково...* — Исаак — ветхозаветный прародитель двенадцати колен Израилевых. Ослепнув под старость, он решает сделать своим наследником любимого сына Исава; однако его жена Ревекка подсылает к незрячему Исааку другого сына, своего любимца Иакова, обманом получившего благословение.

Стр. 177. *...правительство Александра Второго, напуганное провалом севастопольской кампании...* — Александр II под влиянием поражения в Крымской войне 1853—1856 гг. и в условиях складывающейся революционной ситуации провел ряд буржуазных реформ (земскую, судебную, военную и др.), содействовавшие развитию капитализма, а также отменил крепостное право (1861).

Стр. 182. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных.

Стр. 207. *...поговорил с мафусаилом, топившим печь...* — Автор подчеркивает почтенный возраст истопника: Мафусаил, по Библии, прожил 969 лет (Бытие, 5).

Стр. 214. *Коварство и любовь* и *Дон-Карлос* — драмы немецкого писателя Ф. Шиллера (см. выше).

Стр. 215. *Ее встретили теми же аплодисментами, что и чудесную воду две тысячи лет назад в евангельской Кане.* — Согласно Евангелию, когда на свадьбе в Кане Галилейской не хватило вина, Христос по просьбе матери превратил воду в вино (Иоанн, 2).

Стр. 217. *...постигла судьба Комиссаржевской...* — Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — знаменитая русская актриса; умерла от черной оспы в Ташкенте 10 февраля 1910 г.

Стр. 219. *Трильби* — героиня одноименного романа английского писателя Джорджа Дюморье (1834—1896).

Сальвини Томмазо (1829—1915) — итальянский актер.

Рыбаков Николай Хрисанович (1811—1876) — русский драматический актер.

Стр. 220. *Дузе* Элеонора (1858—1924) — итальянская драматическая актриса.

Цаккони Эрмете (1857—?) — итальянский драматический артист.

Рейнгардт Макс (1873—1943) — немецкий режиссер и театральный деятель.

Стр. 228. *Уж и смердело у нас при тишайшем-то царе!* — Речь идет о царе Алексее Михайловиче (1629—1676), прозванном «тишайшим»: в его правление на Руси происходили многочисленные волнения экономи-

ческого («медный бунт» в Москве), религиозного (раскол) и широкого социального характера (восстание Степана Разина), жестоко подавлявшиеся.

Стр. 242. *Ксавье де Монтепен, Густав Борн* — французские писатели 2-й половины XIX в., наводнившие книжный рынок бульварными романами.

Стр. 270. *Уччелло* Паоло (наст. имя Паоло ди Доно; 1397—1475) — итальянский живописец, сочетавший пытливый интерес к научной перспективе со сказочностью и наивностью образов.

Роза Сальватор (1615—1673) — итальянский живописец, автор антивоенных, антифеодальных сатир и романтических пейзажей («Битва»).

Стр. 271. *Паскаль* Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.

Стр. 289. *...судьба остановила меня на полпути, как евангельского Савла.* — Савл — один из первопрестольных апостолов, почитаемый христианами под именем Павла. В молодые годы участвовал в гонениях на христиан. Намереваясь начать преследование бежавших из Иерусалима христиан, Савл направился в Дамаск, однако в пути испытал чудесное явление, которое стало поворотным пунктом в его жизни и сделало христианским миссионером (Деяния святых апостолов, 9).

Стр. 319. *Жан Вальжан* — герой романа «Отверженные» французского писателя Виктора Гюго (1802—1885).

Стр. 333. *...японская война и Порт-Артур, Рожественский и Куропаткин...* — Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг. за господство в Северо-Восточном Китае. Одно из основных событий ее — оборона русской военно-морской крепости. Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909) — русский вице-адмирал; был одним из виновников разгрома Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — русский генерал от инфантерии; командовал войсками в Маньчжурии, потерпел поражения под Ляояном и Мукденом.

Стр. 345. *Сцевола* Гай *Муций* — по античному преданию, римский юноша, пробравшийся в лагерь этрусков, чтобы убить царя Порсену; был схвачен и, желая показать презрение к боли и смерти, сам опустил правую руку в огонь.

Стр. 347. *...бас велиароподобного Иова...* — Иов — в иудаистских и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый сатаной; главный персонаж ветхозаветной книги Иова, громогласно взывающий к богу. Велиар, или Велиал — дух лжи, отрицания и разрушения, носитель сатанинского начала.

Стр. 348. *Кокорев* Василий Александрович (1817—1889) — русский

капиталист, разбогатевший на винных откупах; основал нефтеперегонный завод в Баку, Волжско-Камский банк; акционер железнодорожных, пароходных и др. обществ.

Стр. 361. *Его настольными книгами были Уложение о наказаниях и Апокалипсис.* — В ходе судебной реформы 1864 г. был разработан Судебный устав, в который входило Уложение о наказаниях; Апокалипсис — одна из книг Нового завета, приписываемая Иоанну Богослову и содержащая пророчество о конце света, о «страшном суде» и пр.

Стр. 362. *латинская цитата о Карфагене...* — См. примеч. в т. 5 к с. 189.

Тацит (ок. 50 — ок. 117) — римский историк.

Стр. 373. *...как у Саула в Аэндоре...* — Саул (конец II в. до н. э.) — первый царь израильско-иудейского государства. Согласно библейскому преданию, нарушив повеление бога, лишился его покровительства и перед решающим сражением с филистимлянами, объятый страхом, обратился к ворожбе. Волшебница, скрывавшаяся в Эйн-Доре (Аэндоре), вызвала по его просьбе тень умершего пророка Самуила, который предвестил ему гибель (Первая книга царств, 28).

Стр. 376. *...с темным лицом Лазаря...* — Имеется в виду Лазарь, согласно Евангелию, воскрешенный Христом через четыре дня после погребения (Иоанн, 11).

Стр. 430. *Сенека* Луций Анней (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель, представитель школы стоицизма.

Вергилий Марон Публий (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт.

Стр. 486. *...несчастных Рашели и Асенковой, то прекрасной Адриенны, отравленной и выброшенной из могилы за свою любовь, то недавней Дункан...* — Рашель (наст. имя Элиза Рашель Феликс; 1821—1858) — французская актриса, умершая от чахотки. Асенкова Варвара Николаевна (1817—1841) — русская актриса, погибшая от чахотки после короткой, шестилетней сценической деятельности. Адриенна Лекуврёр (1692—1730) — французская актриса, рано умершая. Дункан Айседора (1878—1927) — американская танцовщица.

Олег Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГА НА ОКЕАН

Роман

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ЛЕОНОВ

Собрание сочинений в десяти томах

ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор О. Афанасьева
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Л. Ковнацкая
Корректор Г. Ганапольская

ИБ № 3034

Сдано в набор 08.09.82. Подписано в печать 08.08.83. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,79. Усл. кр.-отт. 31,26. Уч.-изд. л. 31,61. Тираж 200 000 экз. Заказ № 587. Изд. № III-545. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



